

*Приложение к газете
«День литературы»*

Главный редактор:
Владимир
БОНДАРЕНКО

Выпускающий редактор:
Валентина
ЕРОФЕЕВА

Ответственный секретарь:
Алексей
ШОРОХОВ

Редакционный совет:
Вера
ГАЛАКТИОНОВА,
Николай
ИВАНОВ,
Сергей
КУНЯЕВ,
Станислав
ПАРФЁНЦЕВ,
Михаил
ПОПОВ,
Захар
ПРИЛЕПИН,
Александр
ПРОХАНОВ,

Адрес редакции:
119146, г. Москва,
Комсомольский
проспект, 13

Телефон:
+7 (499) 246-53-11

Email:
denlitera@yandex.ru

Сайт:
denlit.ru

*Регистрационный №
ПИ 77-7768
от 9 апреля 2001 г.*

**ДЕНЬ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Журнал русских писателей

№ 3, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО

Владимир БОНДАРЕНКО. Русское слово.....3

ПРОЗА

Юрий СЛАЩИНИН. Во веки веков. *Роман*.....12

Александр ЛЕОНИДОВ. Инферно. *Повесть*.....241

Максим ЯКОВЛЕВ. Аполлинария, которая всех огорошила. *Рассказ*.....303

Михаил ПОПОВ. «Любимец». *Измышление*.....315

ПОЭЗИЯ

Александр СУВОРОВ. «Я – пассажир в ночи земной...» *Стихотворения*.....323

Светлана СУПРУНОВА. Литературные пародии.....230

РУССКАЯ ИДЕЯ

Пётр КРАСНОВ. «Эта территория взята нашими предками на вырост»....233

КРИТИКА

Елена ГАЛИМОВА. Север в поэзии Станислава Куняева.....338

Валентина ЕРОФЕЕВА. «И нам сочувствие дается...»

О повести Михаила Тарковского «Фарт».....348

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Александр ТОКАРЕВ. Это наша с тобой революция...

К столетию Великого Октября.....354



Владимир БОНДАРЕНКО

РУССКОЕ СЛОВО

Почему сегодня русская литература не в чести у власть имущих? Почему по телевидению нет ни литературных вечеров, ни дискуссий с писателями и поэтами? Почему давно отменены поездки писателей по стране с выступлениями и концертами через Бюро пропаганды? Почему нет государственной поддержки ни художественным журналам, ни издательствам, почему по всей России закрываются книжные магазины и библиотеки?

В своё время император Николай I после встречи с Пушкиным сказал своим придворным: сегодня разговаривал с умнейшим человеком. С каким из умнейших писателей хоть раз беседовал Владимир Путин: не спеша, один на один: с Валентином Распутиным, с Василием Беловым, с Юрием Бондаревым, с Александром Прохановым, с Владимиром Личутиным, с Эдуардом Лимоновым, с Андреем Битовым?

Русскую литературу, и не только современную, но классическую,

Бондаренко Владимир Григорьевич родился в 1946 года в Петро-заводске. Работал завлитом в театрах Москвы, в настоящее время главный редактор газеты и журнала-приложения «День литературы». Известный критик и литературовед, публицист и общественный деятель, автор двух десятков книг по критике («Три лика русского патриотизма», «Серебряный век простонародья», «Последние поэты империи: очерки литературных судеб», «Живи опасно», «Трудно быть русским», «Трубадуры имперской России», «Поколение одиночек» и других).

Секретарь Правления СПР. Лауреат многих литературных премий. Живёт и работает в Москве.

давно уже не жалуют власти всех мастей. И я понимаю, почему? Литература им не подвластна. Денежное влияние можно контролировать, чиновничья власть управляется строго по вертикали, а что ты сделаешь гениальному поэту, будь то Юрий Кузнецов или Иосиф Бродский, когда они говорят неудобное властям? Влияние великих писателей никаким властям не подвластно. Разве что расстреляешь, или посадишь в тюрьму, но это по нынешним временам неполиткорректно. И поэтому большая русская литература выведена за скобки, в сферу или развлечения, или элитарной игры. «Глаголом жечь сердца людей», пророчествовать — ныне строго не допускается.

Впрочем, так было всегда, вспомним, как петрашевцев, а среди них и Фёдора Достоевского, приговорили к смертной казни всего лишь за чтение письма Белинского Гоголю. Не за попытку государственного переворота или измены, не за воровство или издоимство, процветавшие и в те времена, а за всего лишь литературный спор двух великих писателей.

Хорошо, что уже в момент казни, на Семёновском плацу, царь наш заменил смертную казнь годами каторги. Да и в наши дни отсидел свой срок в тюрьме писатель с мировым именем Эдуард Лимонов, были под следствием Юрий Петухов и Владимир Сорокин. Да и на меня за беседу с Александром Зиновьевым, опубликованную в газете «День», возбуждали уголовное дело.

Россия всегда, во все века жила Словом, большой Идеей. Поразительно верно об этом написал наш гений Николай Гумилёв:

*В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.*

Может, потому Бог и наградил Россию великой литературой. Пока жива была в народе Идея, жива была великая литература — жила и Россия. Даже в самые суровые сталинские времена художественное Слово очень ценилось, даже с перебором, за него могли и расстрелять, как Клюева и Мандельштама, могли сослать в Сибирь.

Зато сейчас, с началом разрушительной перестройки, когда была дотла разрушена великая промышленность, ликвидированы тысячи научных центров, разорено сельское хозяйство, разрушено было в России и то самое великое Слово, оно перестало влиять на общество, его власти оградили от народа.

*Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это — Бог.*

Как бы нынче ни старались хоть частично восстановить науку и промышленность, пока Слову не будет возвращено былое влияние, без возрождения великой литературы Россия никогда не восстановится.

Это новая форма социальной фобии — боязнь писателей, боязнь больших Идей русского народа, боязнь выражения этих Идей в Слове... Сегодня мы наяву видим неадекватные реакции советников по культуре, ненависть к русскому таланту. Для сегодняшнего дня публичному Слову русского писателя поставили предел...

Сколько бы нефти ни лилось, сколько бы газа ни выкачивалось, и даже,

не побоюсь это сказать, сколько бы храмов ни открывалось, без достойного доверия к русской литературе не будет и народного подъёма.

Цитируют к месту и не к месту сомнительное стихотворение о немьтой России, приписывая его Михаилу Лермонтову. Или советники по культуре у президента такие же «немьтые», или же осознанно Слову поставили пределы?

*Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.*

Увы, Россия без большой литературы — страна мёртвых слов. И хоть немало в нынешней России талантливейших писателей, держат их где-то на обочине, не допуская до народного сознания. Казалось бы, в любые времена, имей страна таких писателей, как современные живые русские классики Владимир Личутин, Александр Проханов, Анатолий Ким, Виктор Лихоносов, Андрей Битов, Юнна Мориц, Станислав Куняев; таких, набравших полную силу, уверенных в себе лидеров, как Дмитрий Новиков, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Чебакин, Олег Павлов, Алексей Варламов, Светлана Сырнева, Алексей Шорохов — талантливейшую молодежь, и вся Россия должна бы погрузиться в их книги, проводить их вечера и фестивали, слушать их живые выступления по телевидению. Но будто бы по какому-то тайному приказу всю русскую талантливую литературу держат на обочине, не допускают до читателя, замалчивают, утаивают. А в центр внимания выставляют ничего не значащих авторов мёртвых слов, пусть и талантливо технически написанных, таких как Дмитрий Быков или Людмила Улицкая. К СМИ и телевидению допускаются лишь писатели опустелого улья. Впрочем, даже и им, своим любимчикам, власть полную волю не даёт. Я представляю, какие бы жаркие дискуссии в прессе и на телевидении шли по книге Дмитрия Быкова «Один» в былые литературоцентричные времена, или по книге Дины Рубиной «Бабий ветер». Но — любая литература, левая, правая, русская или русофобская — сегодня вне общественного внимания. Никакой Константин Эрнст не допустит русских писателей до своего телеканала.

И вот в такое время мёртвых слов неожиданно к разрушителям русской литературы присоединяется наша православная Церковь. Ладно бы она обрушилась на дурно пахнущее телевидение, на нынешние извращённые выкрутасы псевдоноваторов, нет, церковные иерархи обрушились на всю великую русскую классику, от Пушкина до Толстого, от Достоевского до Чехова, решили, воспользовавшись случаем, уничтожить до корня русскую классику. Если бы на уничтожение русской классики накинудись парочка-другая церковных ортодоксов, это было бы не страшно, но возглавили этот антипушкинский заговор почти все церковные иерархи....

Мне скажут, а не пахнет твоя статья борьбой с Православием? Но мы не католики, где Папа Римский — живой наместник Бога на земле. Наши самые высшие церковные иерархи — лишь чиновники, не более. Какой-нибудь далекий от Храмов крестьянин или горожанин, учёный или инженер могут быть ближе к Христу, чем фарисействующие церковники.

Отец Всеволод Чаплин, не последний человек в церковной иерархии, прямо сказал: «В начале XX века и потом, конечно же, в советское время из литературы попытались создать эрзац религии. Имело место гипертрофированное почитание одних деятелей «золотого» и «серебряного» века при

полном игнорировании других. Многочисленные памятники Пушкину и бесконечное восхваление его на фоне очень скромного отношения к Тютчеву, Батюшкову, Фету, почти полного исключения большинства поэтов, которые всю жизнь были консерваторами. Подчёркивание Толстого и глухаватое отношение к Достоевскому. При полном игнорировании Загоскина, Аксакова, Булгарина – подчёркивание, в общем, таких абсолютно второстепенных в литературе фигур, как Герцен... Всё это создавало квазирелигию. И я с этой квазирелигией не согласен. Я считаю, что литература – это не священное сообщество...».

Во-первых, никто не трактует русскую литературу как религию, и то, что в советское время благодаря писателям мы вспоминали о Боге, а священники тогда тихо сидели в сторонке, и в споры не влезали, это скорее подвиг русской советской литературы, и отнюдь не еретический.

Заявлять сейчас, мол, светская литература вредна для сознания русского человека, отвлекает его от религии, а культ русской классической литературы мешал православному сознанию, и был создан искусственно, насаждался сначала интеллигенцией царской России, а затем советской властью, – это значит, смыкаться с самыми лютыми русофобами, ныне уничтожающими русскость во всех проявлениях.

Полнейший бред, неожиданно, в самые тяжёлые для русской литературы времена утверждаемый ныне высшими церковными иерархами. Решили воспользоваться варварским отношением к русской литературе наших властей и очистить себе место под солнцем. Будто русская литература хоть где-то когда-то отрицала Бога. Впервые в жизни я прочитал в церковной прессе слово «пушкиноцентризм», с издёвкой в адрес нашего русского гения. А уж что говорить о Достоевском или Булгакове?

И на самом деле, ещё в 1891 году высокий царский чиновник А. Родонежский в своём докладе для Учёного комитета Министерства народного просвещения вопрошает: «На что деревенскому мальчику, школьнику и простолюдину знать «Демона»?». Прошло сто с лишним лет, а вопрос всё тот же, теперь уже у наших церковных иерархов.

Как утверждает священник Всеволод Чаплин: «Здесь не правы все. В том числе и Достоевский... Он ведь один из родоначальников богословского модернизма, на самом-то деле. Более опасный, чем Лев Толстой. Потому что Толстой был явный враг, а Достоевский – гениальный писатель, с совершенно гениальными интуициями как политическими, так и религиозными, но всё же богословский модернист. Деятельная любовь не спасает человека от ада. Как сказал святитель Игнатий Брянчанинов, «добродетели падшего естества нисходят в ад». Спасают истинная вера и действие самого Бога в человеке, в человеческой жизни, проявляющиеся в том числе и через добрые дела, но не только через них. Добрые дела – не главное. Деятельность вообще – не главное. Это то, что должно естественным образом прилагаться к истинной вере и к таинственной, евхаристической жизни человека во Христе. Но если вот этой жизни во Христе нет, то все добрые дела – прах, и даже могут быть опасны, потому что стимулируют гордыню, и тут приходится даже говорить о такой чудовищной, антиевангельской вещи, как пиар добрых дел. Почитайте Нагорную проповедь – там такое поведение прямо осуждается! Благотворительность напоказ – это нечто такое, что полностью убивает смысл этой благотворительности...».

Наш критик Вячеслав Лютый достойно ответил церковным фарисеям: «В Самаре на чтениях, посвящённых жизни и творчеству нашего поэта, про-

звучала речь православного священника, в прошлом обретавшегося на кафедре научного коммунизма или истории КПСС. Главной идеей его наставления была следующая мысль: Пушкин греховен – по жизни и по стихам; учителем сегодняшнему русскому человеку он быть не может; вместо отечественной литературы необходимо читать сочинения святых отцов.

Сказал – ну, и ладно... Мало ли теперь идиотов, проникшихся даже самыми лучшими доктринами...». И далее Лютый продолжил: «Книжность и фарисейство – вот, пожалуй, самые тяжкие недостатки современного духовенства. В этой среде много людей поразительных нравственных и человеческих достоинств, у которых позади – сложный, подчас омытый кровью и смертью товарищей жизненный путь. Они терпеливы в своём подвижническом труде и знают цену человеческим поступкам. Однако рядом часто появляются фигуры мелкотравчатые, стремящиеся возвыситься на церковном поприще. Почти всегда у них прошлые годы наполнены неурядицами скорее житейскими, как раньше сказали бы – мещанскими. Однако лукавый сжимает в кулаке их сердце, и вот уже человек без собственной личности поучает, упрекает, переносит свою и чужую вину на согбенные плечи окружающих мирян. Безо всякого стеснения литературно бездарный Георгий Селин отвергает высокую русскую классику, которая во многом воспитала советского человека в преддверии Отечественной войны, едва не предаёт анафеме философа Георгия Федотова, а уж Льва Толстого в ином своём рассуждении жёстко рекомендует убрать с книжной полки, лапидарно упрощая вопрос об отлучении писателя от церкви, о чём даже в «Православной энциклопедии» сказано в достаточной мере деликатно и подробно.

Перед нами – откровенный в своём чиновничьем бесстыдстве шаг в сторону воцерковления русской художественной литературы. Шаг беспринципный и разрушительный, поскольку традиционно отечественное литературное пространство пронизано токами искусства и православия...».

Вышла и целая книга церковной публицистики, направленная против нашей великой литературы. Называется «Загадка 2037 года». Ладно уж ничемный и бездарный священник Георгий Селин в этой книге распинается о греховности всей литературы, но там же и уважаемый мною, печатаемый в нашем «Дне литературы» поэт, автор блестящих песен иеромонах Роман. Ему-то чем русская литература не угодила? Читаю слова иеромонаха Романа: «Помню, в университете педагог просвещала: «Вот ругают Пушкина за его легкомысленные связи с женщинами. Но зато какие стихи он писал потом!». Оправдала. Как будто на Страшном Суде писание стихов окажется весомее исполнения заповедей Христовых... Достоевский сказал: «Пушкин наше всё». Дюже громко... Христос наше всё!».

Опомнитесь, иеромонах Роман. Во-первых, «Пушкин наше всё» – сказал не Достоевский, а Аполлон Григорьев, глубоко верующий русский человек, а во-вторых, эти слова относились лишь к миру русской литературы. Надо ли вам так снижать уровень Христа до всего лишь лидера литературы. Может, вы его ещё лучшим булочником или лучшим аптекарем назовёте? «Пушкин наше всё» в литературе, Сеченов в медицине, Чайковский и Рахманинов – в музыке... А вот уже над всем миром, в небесной вышине – Христос наше всё! И в-третьих, не надо сравнивать самые лучшие стихи с заповедями Христовыми, вы их этим самым, – заповеди Божьи, – сильно понижаете. Оставим Богу – Богово, кесарю – керасево, а поэту – поэзию. Не надо видеть в великой русской литературе – врага Божьего.

Почитайте статью Георгия Селина: «...Если пушкинская звезда не-

предложно будет стоять над Россией, то придёт 2037 год, который во столько раз будет страшнее 1937 года, во сколько раз телевизор и интернет громче поют льстивые песни об империи и свободе, чем пел их поэт Пушкин». Бессмысленная абракадабра – рассмеётесь вы... Но в авторском предисловии к сборнику всё тот же священник Селин пишет: «...со времён Ломоносова именно они стремились быть учителями народа, предлагая ему услуги по духовно-нравственному окормлению и воспитанию. Веками жил русский человек, как учила его Святая Церковь, но вот возникает художественная литература – и через двести лет Христос низвергается, а на Его место поставляется новая учительница жизни – светская литература, и вместо Евангелия и творений святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста издаются миллиардными тиражами сочинения Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Есенина и др. Так чего мы хотим? Какого духовного мира? Какого Христа в душе? Неужели это не очевидно, что до тех пор, пока Пушкин и Достоевский будут пророками России, до тех пор Ленин и Сталин будут её апостолами?.. Литературно-художественная классика вновь и вновь рождает смятение в умах читающих её. Растворяющее влияние этой литературы на общество не прекращалось и не прекратится, оно перманентно, как перманентна революция, оставленная без покаяния и осознания грехов, приведших к ней».

Хорошо, что на это наступление фарисеев на нашу литературу обратила внимание «Литературная Россия», опубликовав яркие статьи Андрея Тимофеева и Вячеслава Лютого, но что же остальные отмалчиваются?

Как отрицательный пример, церковные фарисеи приводят икону известного иконописца архимандрита Зинова.

Но ведь Александр Пушкин на ней изображён не святым, а всего лишь собеседником своего современника святого Филарета Московского. В своём отзыве на эту икону православный русский писатель Александр Сегень пишет, что «Александр Сергеевич фигурирует на ней не в качестве святого, но в пропорциях, равных святому Филарету Московскому». Что так оскорбило наших фарисеев? Два великих современника, знакомых друг с другом, беседуют о русском Слове. Всё тот же Селин видит оскорбление в лилии, помещённой на иконе, мол, это династическая эмблема Мервингов и Ротшильдов, логотип тайного общества «Приорат Сиона», известный масонский знак. Я не могу спросить у уважаемого мною отца Зинова, что тот подразумевал под лилией, но на иконах Благовещения тоже архангел Гавриил предстаёт перед Девой Марией именно с этим цветком, как символом чистоты.

Если уж речь зашла об иконах, не могу не выразить своего несогласия с нынешней упрощенческой иконописной трактовкой всех наших святых.

Из всей иконописи убрали святого Христофора Псеглавца, хотя он таким был в иконописи изначально. Лишь наши древлеправославные старожилы сохранили в своих храмах пёсий лик знаменитого христианского мученика, незаслуженно позабытого синодальной церковью вместе с множеством древних обычаев, правил и порядков.

Данная икона вошла в иллюстрированную энциклопедию «Древности и духовные святыни старообрядчества» как одна из жемчужин Рогожской ризницы. А вот иным фрескам с изображением святого мученика Христофора в синодальных храмах не повезло, их просто замалевали. Так же как нынешние неистовые мусульмане взрывают древние статуи Будды в Афганистане.

Я заметил, у нынешних церковных фарисеев вообще тяга к изытью всего

животного мира из иконописи. Обратите внимание, наши самые любимые православные святые Петр и Февронья Муромские, символ любви и крепкой семьи, тоже на современных иконах изображаются без неизбежного для них зайца. Лишь на старых иконах мы видим этого верного помощника Февроньи в её лечении страждущих.

Вот так и с русской литературой, вдруг помешавшей нашим церковникам. Я сам – православный русский человек, но моей вере в Бога не мешают ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Шолохов, ни даже Иосиф Бродский.

Вряд ли, запретив читать художественные книги, тем самым церковные начетчики и фарисеи повернут взоры людей в Евангелию и к житиям святых отцов. И впрямь, «зачем нам тратить драгоценное время на чтение художественных вымыслов, которые, если характеризовать их прямо, должны называться не просто пустыми, но душевредными фантазиями».

Эта спущенная откуда-то ересь о вреде русской классики, боюсь, чудовищным образом может отразиться на интересе к самому Православию у нашей молодежи. То ли провокация, то ли глупость? Совсем ненужное соперничество.

А тем временем в самой современной литературе надо поднимать значимость замысла, надо стремиться соединять её с вечностью. Прочитал в «Завтра» великолепную духоподъемную беседу двух своих старых товарищей, Александра Проханова и Александра Дугина, вся их беседа и была направлена на очищение Слова, на возвеличивание его. «Христос – это вечный Бог, который стал человеком. В нём время и вечность пересекаются. Для нас, христиан, вечность вполне конкретна – это Христос, это Бог. И Он пришёл вовремя. Он пришёл в человечество. Соответственно, Церковь и есть некое развёртывание послания вечности. Это вечная Церковь, которая живёт сквозь земную Церковь» – заявил Дугин. Его продолжил Проханов: «Вечность – это всегда новое. Любое соприкосновение с вечностью порождает ощущение абсолютного творческого импульса. То есть будущее не просто содержится в вечности. Вечность давит на нас для того, чтобы мы это будущее создали. Вечность живёт нами, она не отдельна от нас».

Потому Россия и является до сих пор душой мира, что она еще не потеряла надежды на русское Слово. Не хочет ограничиваться бытовыми земными пределами естества. Очень верно Александр Дугин сказал: «Сегодня мы окружены, находимся в оккупации у низкопробной литературы. Русскую речь пытаются заполнить словесным сором и иноземной шелухой. При потворстве власти чужой дух ломится в наши школы и храмы, обволакивает дурманом наши святыни, проникает в души и сердца детей. Интеллектуальное оскудение и гуманитарная катастрофа нации – не пустые слова, – беда стоит на пороге».

И почитать бы нашим министрам, авторам сплошь провальных реформ, «неистового Виссариона», который чёрным по белому писал: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, – значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус»... Испокон веков русское слово помогало осуществить уникальные творческие замыслы, воплощалось в нетленных творениях гениев отечественной поэзии и прозы».

Во имя этого русского слова нам и надо объединять все творческие силы, во имя русского слова, направленного на истинную веру. Не надо заталкивать поэтов и писателей в узкие группировки, пусть пишут по своему разумению, но при всех авангардных и традиционных формах они должны объединяться этой самой истинной верой.

Появились за последнее время с разных сторон сильнейшие произведения нового поколения писателей: в Петрозаводске Дмитрий Новиков со своим романом «Голомяное пламя», в Перми Алексей Иванов с мощным полифоническим «Тоболом», на Донбассе Захар Прилепин с уникальной книгой «Взвод», посвящённой великим русским писателям, прошедшим через офицерство и войны, в Москве Сергей Шаргунов с потрясшей многих книгой «1993»... У каждого свой путь, но надеюсь, приходит и понимание, что в одиночку, без объединяющей идейной основы наше общество не объединить.

Как писал тот же Захар Прилепин: «Изменения, которые случились в последние три десятилетия с народами России, и в первую очередь с русским народом, — удивительны. Народ оказался сильнее и умнее пропаганды.

За эти годы страна получила в нагрузку тонны и тонны печатной продукции, посвящённой созданию «чёрного мифа» вокруг СССР и социализма.

На телевидении властвовал коллективный Сванидзе, эфирное время оккупировали бесконечные антисоветские сериалы, которые, надо сказать, снимают и по сей день.

Быть антисоветчиком во все эти годы означало быть модным, перспективным, милым власти. ...Больше половины россиян, согласно официальной статистике, желают переоценки эпохи «перестройки» и «ельцинских реформ». И уж точно не хотят жить в той же системе, со всеми очевидными её издержками — как минимум в виде социального неравенства и явной зависимости от мировых финансовых институтов; как максимум — в обществе, построенном на принципах стяжательства и конформизма.

Так почему же мы до сих пор пребываем в обществе, которое не отвечает чаяниям большинства? ...

Потому что кто-то нам сказал, что коммунизм — это прошлое, что он уже был?

А либерализм — его что, не было? А национализм — его только что придумали?

Коммунизм — это одновременно и наша традиция, и наша единственная надежда на прорыв в будущее. Более того, коммунизм — это ещё и стремление к свободе, проявление воистину дерзких, вольнолюбивых, яростных качеств нашего национального характера.

Буйство донского казака Степана Тимофеевича Разина, удаль башкирского атамана Салавата Юлаева, декабристский идеализм, поэзия Маяковского и поэзия Есенина, партизаны Сидора Ковпака, улыбка Гагарина — это тоже коммунизм. ...

Помните, как у Есенина: «А Россия — вот это глыба... Лишь бы только советская власть!».

Коммунизм — выбор народный.

Мы не раз видели в последние годы, где собираются люди во имя сохранения своей русской идентичности. Они собираются возле памятника Ленину.

Отстоявшие памятник — сохраняют право говорить на русском языке, жить в пространстве национальной истории, гордиться своими победами, а не смотреть на факельные шествия.

Красное знамя над Россией — неизбежно. Взяли рейхстаг — и здесь справимся...».

Здесь уже, как и в отношении к Сталину, призыв к коммунизму — не есть призыв к возвращению брежневского уютного застоя, такого и быть не может. Это призыв к справедливости и реальному возрождению, без олигархов

и коррупционеров. К тому же в разных формах и призывает современная русская литература.

Я вспомнил свою любимую поэму гениального Александра Блока «Двенадцать». Убежден, что это самая уникальная поэма на русском языке. Когда-то русский критик князь Святополк-Мирский сказал: «Если бы был передо мной выбор — оставить ли в вечности всю русскую литературу или только эту поэму, — я бы, по крайней мере, серьёзно задумался». Показана в поэме революция во всех её проявлениях, и дурных и героических, жизнь улицы, выведены самые разные народные типы, в том числе и поп (недаром Блока так не любит наша церковь):

*А вон и долгополый —
Стороночкой — и за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?
Помнишь, как бывало
Брюхом шёл вперёд,
И крестом сияло
Брюхо на народ?*

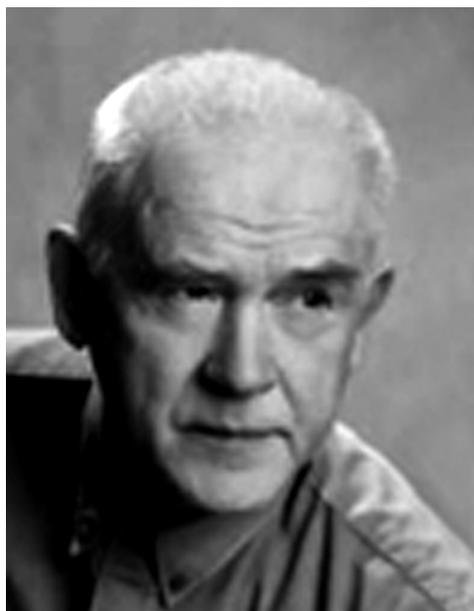
Хотя назвать эту поэму антихристианской я не осмелюсь, скорее наоборот. Что и доказывает гениальная концовка поэмы:

*Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули неведим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.*

И смысл революции сразу же меняется. При всех её издержках, репрессиях и провалах, старый мир ушёл, и наступает новый мир, и впереди — Христос!

Кто только ни ругал нашего русского гения за такую концовку — и справа, и слева, — какие только инсинуации не додумывали за поэта. К примеру, Андрей Вознесенский предложил считать, что это красноармейцы конвоируют Христа...

А сам Александр Блок в ответ на все претензии сказал: «Я сам понимаю, что там должен быть не Христос. Я вижу Христа, ничего не поделаешь...». Это и есть тот высший замысел, который даётся свыше, та Идея, которая делает русскую литературу великой. Это все равно, если человека, а то и всю страну — лишит души, что и было сделано во время перестройки. Вот и остаётся высшей целью современной русской литературы — обрести русскую Душу и дать народу русское Слово.



Юрий СЛАЩИНИН

ВО ВЕКИ ВЕКОВ

Роман

Часть первая. ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ...

1. Улыбки судьбы

С Ольгой Сергеевной познакомился Гаврила Матвеевич в тот год, когда сам вернулся «оттуда»...

Ездил на станцию встречать новую учительницу. Скорый поезд приостановился на момент, из вагона вышла тонкая женщина в узком пальто из светлой материи, быстрым взглядом окинула пустой перрон, одинокую фигуру в мокром брезентовом плаще, понурюю лошадь, залитые дождем колеи дороги, и в глазах её промелькнул испуг, как у зайчонка, увидевшего ствол ружья. Так же, как зайчонок, она неожиданно для себя развернулась к вагону, но оттуда весёленькие военные выносили её чемоданы и помогли сойти дочке — такой же большеглазой, как мать, — и, запрыгнув на ступени отъезжающего вагона, кричали напутствия.

Женщина тоже махала платочком; махнёт и приложит его к

Сладцинин Юрий Иванович родился в 1936 году в Оренбургской области. Творческую деятельность начинал как журналист областного телевидения. В Самаре, Ташкенте работал в качестве редактора региональных газет и журналов. Создал и возглавляет Всероссийское неформальное сообщество «Народный опыт» сторонников органической системы земледелия.

Автор нескольких книг прозы.

Проживает в Сергиевом Посаде Подмосковья.

лицу. Поезд укатился, скрылся за водокачкой последний вагон, а она всё смотрела в сторону закрывшегося семафора с красным зрачком, не отнимая от лица платка.

Гаврила Матвеевич пригляделся к ней и понял — неволя забросила к ним, сердешную. Прикинул, как подойти к ней легко, чтоб дух поднять. Заметил, что дочке годов пятнадцать. Обходительная: мёрзнет под дождем, а мать не теребит, даёт прийти в себя.

— Мама, может быть, дедушка за нами? — девочка осторожно тронула её за рукав, увидев идущего к ним Гаврилу Матвеевича.

— За вами. С приездом... Милости просим к нам. А ну-ка... — Гаврила Матвеевич снял свой дождевик и накинул его на девочку.

— Что вы, не надо.

— Не соболями жалуют. Завернись.

Скинув дождевик, он остался в стеганом ватнике, обшитом на плечах кожей, на голове — лохматая собачья шапка, на ногах — сапоги с заворотами по деревенской моде. И весь он как бы помолодел, раздался в плечах и приподнялся. Играючи подхватил два чемодана, отнёс в конец платформы, чтобы удобнее грузить их на телегу, и вернулся за остальными вещами.

— Спасибо вам. Меня зовут Ольга Сергеевна, — женщина подала руку и попыталась улыбнуться. — Моя дочь Ирина...

— Гаврила Матвеевич... — бережно потрогал он ее холодные пальчики. Посмотрел на лицо: отошла ли?.. Нет. И как же везти такую двадцать вёрст? Пальтишко не по погоде, и на ногах игрушечная обувка, в которой по их грязи — всё равно что босой.

Он отнёс оставшиеся вещи на конец помоста, подвёл лошадь поближе и принялся укладывать на телегу чемоданы. Ирина повеселела под плащом, крутила головой, разглядывая за вагонами товарняка чёрные от дождя дома и заборы, расспрашивала:

— А Петровское тоже такое?.. А дом у нас будет?.. Мама говорит, что теперь у нас ни кола ни двора.

— Село-то большое: при семи дворах восемь улиц. Избу школа даст. Неказиста, правда. И на курьих ножках: пирогом подперта, блином покрыта, полем огорожена. Но жить можно. Главное, что просторно: ни печки погреться, ни окошка посмотреться, ни образа помолиться, ни хлеба подавиться.

Глазки дочери, как смородинки в росе, весело блестели; частые взгляды на мать приглашали послушать весёлого дедушку. Завороженная прибаутками Ирина без протеста пошла к Гавриле Матвеевичу на руки, и он перенес её с помоста на телегу.

Ольга Сергеевна плохо слушала его, но отметила, что он, должно быть, славный, если сразу понравился Ирине. Видя, что дочь уже на телеге, она стала спускаться с помоста. Наступила на какую-то качнувшуюся доску и беспомощно протянула руку, чтоб поддержали её, а Гаврила Матвеевич вдруг так же, как Ирину, обхватил за ноги повыше колен, поднял и понёс к телеге. Ольга Сергеевна взвизгнула то ли от бесцеремонности, с какой обошёлся с ней этот мужик, то ли от неожиданного взлёта вверх в его сильных руках, но позволила отнести себя. И только возвышаясь над его шапкой и сдерживая себя, чтобы не вцепиться в неё руками, она первый раз улыбнулась завизжавшей от восторга, захлопавшей в ладошки Иринке.

— Распахни плащ, мамку к тебе подсажу.

— Гаврила Матвеевич, не знаю, право... Вот ведь какой вы...

Ольга Сергеевна зарделась и, кутаясь с дочерью в плащ, посмотрела на него с робкой улыбкой, в которой, кроме смущения за свою беспомощность, было ещё и почтительное восхищение, словно увидела она чудо. И Гаврила Матвеевич берёт этот взгляд в памяти, как первый шаг, проложивший тропку между ними.

* * *

После тюрьмы и лагерей Гаврила Матвеевич заимел привычку сидеть на полу, привалившись спиной к бревенчатому простенку между двух окон избы. Говорил, так зорче видать, копошась с немудрящим делом. Но родных не проведёшь: всё приметили и поняли, а сговорясь, не трогали вопросами — чего, мол, сидишь на полу, когда табуретки есть, — пусть отмякает, как сам знает. А он — лукаво-синеглазый, да по-разбойничьи бородатый, неукладный, как деревянный идол, — всё жался под стенку, чтоб не привлекать к себе внимания непокорной статью, не накликав новых бед на свою родню. Знал: соглядатаев больше всего злит независимый вид. Потому и прятался от людей в сторонку, пропадал в лесу, а когда работал, то всё больше в одиночку, особняком, с краю, в простенке на полу, как сейчас.

Оно-то, сидение это на полу между распахнутыми окнами, имело свои удобства: не выглядывая на улицу, он слышал и словно бы видел село. Вот босоногая стайка ребятшек на прутьях, как на конях, проскакала в МТС глядеть комбайны, а вот приблизился рокот сенокосилки Петьки Сапожкова, косившего луга за речкой. Там дальше, за лугом, когда-то были их десятины, и в эту пору поспевавшая пшеница уже всю гуляла на ветру волнами, словно готовая отхлынуть дальше в степь, в жаркое марево. Это наполняло его душу радостью скорой страды. Но нельзя вспоминать о былом... И он стал думать про Петьку Сапожкова, который, видать, проспал утренний разбор лошадей, впряг ленивого Лысака и стегаёт его теперь почему зря: ведь чужое... А проспал — потому что с Сашкой озоровали до утра, подумал Гаврила Матвеевич. Прощаются дружки. Сегодня ещё гульнут на проводах, напляшутся до упаду и разойдутся по свету кто куда. Будут думать: на время расстались, а выйдет — на всю жизнь.

В большом доме, поставленном по другую сторону двора, готовилась гулянка. Через распахнутые окна доносилось погромыхивание протвиней, бряканье посуды и озорной смех Василисы, пытавшейся узнать у брата, кого он выбрал в невесты. Гаврила Матвеевич тоже помогал там, разливая медовуху по графинам, вроде бы случайно пригубил кружечку, да на второй поймался глазастыми. Теперь ждал, когда Сашку прогонят или сам он прибежит к нему от гомона. Знал: в последний денёк захочет посидеть с дедом.

Со двора донеслись голоса:

— Саша?..

— Хватит, мама?!

По звукам Гаврила Матвеевич догадался, что внук вышел во двор раздуть самовар, и теперь невестка взялась за сына:

— Да как же «хватит», Сашенька. Сам сказывал, командир приказал без жены не возвращаться. А Наденька любит тебя.

— Если б только одна...

— Чуб-то надеру сейчас... Ишь, блудливый какой стал. Весь в деда.

— Ой, больно!.. Не буду... — притворно стонал и смеялся Сашка.

Гаврила Матвеевич горделиво заулыбался и гоготнул так, что смех его услышали во дворе.

— Смеёшься... Да как бы плакать не пришлось, — выговаривала теперь невестка в окна избы. — То Зацепины в сватья набивались, а теперь и Петрушины, и Самохваловы. Соберутся да любимцу твоему оторвут кой-чего, чтоб девчат не портил.

— Не трусь, Сашка. Резвого жеребца и волк не дерёт, — крикнул дед в оконце и увидел: на дворе что-то изменилось.

Сашка побежал к избе и стукнул дверью в сенцах, а невестка пошла к воротам, певуче приговаривая:

— С возвращеньем, Ольга Сергеевна. Как съездила?

Гаврила Матвеевич услышал знакомое имя и засуетился, как юнец. Вскочил с пола и тут же — на тебе! — увидел в зеркало бороду свою. Седую. Лохматую. И как плёткой стегануло: стар! Оставалось разве лишь глаз порадовать. Осторожно глянул в окно.

По деревенской улице шла неторопливо и свернула к ним директор школы Ольга Сергеевна Морозова, плыла лебедушкой гордой в белоснежной кофточке, спрятав печальные глаза за льдинками очков. Волосы на голове гладко зачёсаны и увязаны в узел — как у деревенских баб, в руке — кошелка. А городская стать ещё видна: по траве шагает, как по мостовой, и глядит и разговаривает необычно.

— Спасибо, Галина Петровна. Устала в поезде, не дождусь, когда домой дойду. Как там у меня?

— В обед Ириночку видела. Ольга Сергеевна, проводы у нас. Вы уж приходите с доченькой обязательно. Сашенька к вам ходил приглашать, а сейчас спрятался — застеснялся без рубашки показываться.

Гаврила Матвеевич отодвинулся от окна, вздохнул: дал бы Бог помолодеть — знал бы, как состариться. Упустил ведь лебедь белую. На час ума не хватило, теперь век кайся, трусливый дурак. Тьфу!

Их последняя встреча оставила у Гаврилы Матвеевича стыдливую досаду. Конечно, получилось всё по-людски, как надо, но вот эта улыбка её...

Дней десять назад к костру Гаврилы Матвеевича, рыбачившего на Сакмаре, вышла из леса, выломилась с треском и шумом заплаканная и перепуганная Ольга Сергеевна. Обессиленно присела возле огня и захлюпала, прикрыв лицо ладонями. В её распустившихся и перепутанных волосах торчали веточки; праздничный костюм, в котором она ездила в район, был облеплен паутиной; подол юбки и босые ноги — в грязи: видимо, спрямляла путь от станции до деревни да заблудилась.

— Поплачь, поплачь. Слеза покой даст. — Гаврила Матвеевич подбросил в костёр веток и подставил к огню котелок с ухой. — Наши бабы знают лес, а идут по грибы — аукаются.

— Я кричала тебе! — Ольга Сергеевна не замечала, что повысила голос, и с обиженным раздражением, допустимым разве лишь между близкими людьми, выговаривала ему. — Кричала я!

— Вот глухой тетеря, не слышал.

Гаврила Матвеевич запоздало засуетился. Хлопнув себя руками по бокам, что выражало его большую растерянность, он ринулся было к чернеющей стене леса, на полпути подхватил корягу и потащил её к костру. Зачем она понадобилась ему сырая, он не знал. Наверное, потребовалась минуточка обдумать невольно вырвавшееся её признание. Ведь раз кричала, зва-

ла его — значит, и шла сюда к нему. Ну, дед, оплошаешь если, по гроб досады не пережуёшь.

Поплакав, Ольга Сергеевна приходила в себя. Вытирая со щёк последние слёзы, разглядела грязь на руках и на юбке, и на босых ногах.

— Боже мой! — поджала ноги и бросила жалостливый взгляд на Гаврилу Матвеевича. — Вода у вас есть?

— Вода? — стал он торопливо прикидывать, как нагреть воду. В котелке уха — кормить надо...

— Господи, да что я говорю, — рассмеялась Ольга Сергеевна. Взяла из костра пылавшую ветку, подняла её над головой и, освещая так путь, пошла к реке.

Теперь и Гаврила Матвеевич посмеялся. Перед кучей хвороста, которую он приладил для сидения Ольге Сергеевне, расстелил белую тряпицу и стал выкладывать свои запасы: луковица, хлеб, кусок пирога с грибами, так кстати, оказалось, положенный ему в торбу кем-то из женщин. Уха — греется. Ложка — на месте. Постель...

Гаврила Матвеевич забрался в шалаш и стал пошире расстилать ветви и траву, где спал. Руки тряслись, и в висках стучало звонкими молоточками. «Я кричала тебе! Кричала!» — многократно повторялось и звенело в ушах.

С реки донёсся всплеск, будто упало в воду что-то тяжёлое: «Уж не свалилась ли?». Вылез из шалаша и насторожился, готовый броситься на первый её крик; всматривался в темноту.

Маленький серпик луны над лесом слабо освещал ближний край широко расступившейся здесь реки, камыш, торчащий черным заборчиком, и куст раkitника у воды. А где ж она?..

Опять в воде сильно плеснулось, и пошли бултыхать реку ритмичные сдвоенные удары ног. Гаврила Матвеевич приподнялся на цыпочки, чтоб глянуть поверх камыша на пловчиху. А может, самому туда? Представил, как с пугливым замиранием поплывет от него Ольга Сергеевна, а он в два-три маха настигнет её посерединке реки и пойдёт кружить да подныривать. Эх, лебедь белая, покажи красу!

Сдержался. Не нашенская баба-то. Может, не принято у них озоровать так. Да и какой он теперь озорун! Всё озорство повытрясли да повыбили, ничего не оставили про запас. Говорил так себе Гаврила Матвеевич, а сам всё тянул шею, заглядывая через камыш, и распрямлялся. И от этой распрямлённости зарождалось предчувствие дерзости, ещё не понимаемой им, но всё явственнее рвущейся наружу.

Из-за камыша, наконец, показалась Ольга Сергеевна. Плюхая по воде ногами так, что за ней не спадал фонтан брызг, она доплыла до середины реки, развернулась на лунной дорожке и поплыла назад уже тихо, без плеска. Скрылась за кустом.

Костёр зашипел, взметнулся пламенем. Гаврила Матвеевич выхватил из пламени котелок. Бросил в варево лавровых листочков, нарезал лук и тоже свалил в уху. Чай заварил смородинными листьями.

Быстро проделав всё это, он остался у костра, поджидая Ольгу Сергеевну. Чуткая насторожённость — как бы не упустить удачу — и ликующая уверенность, что своего он не упустит, не покидали его. Возвращаясь к её словам, выплеснувшимся с такой обнадёживающей откровенностью, Гаврила Матвеевич мысленно уверял её, что силы в нём ещё не убыло, хоть тайно черпай, хоть по закону — не вычерпаешь. Чего вдовствовать-то с таких лет? Дочка вырастет — у неё своя жизнь. Боже, помоги!.. И ничего-то мне больше не надо на этом свете.

Ольга Сергеевна выходила из темноты на свет костра в белом платье. Взбодрённая купанием, слегка озябшая, она встала близко к огню и, глянув на Гаврилу Матвеевича широко открытыми доверчивыми глазами, сказала с лёгким смущением:

— Я постирала... Высохнет к утру?

Только сейчас Гаврила Матвеевич увидел в руках Ольги Сергеевны постиранный шерстяной костюм, и что стоит она перед ним в нижней рубашке, как внучка его Василиса, не смущавшаяся в присутствии деда мыть избу в таком виде.

— На липку повесь, — показал он сук ближней липы, стоящей возле шалаша, и ниантически подумал, что она его не стесняется, за мужика не принимает.

Да нет, нет же, протестовало в нём всё против этой отрезвляющей догадки. Он стал следить за ней — может, хихикнет игриво или подаст другой знак вековой игры мужчин и женщин. Но с прежней доверчивостью она подошла к дереву и, приподнявшись на цыпочки, вытянувшись и нисколько не стыдясь того, что поднялась её рубашонка, приладила на ветвях мокрые юбку с жакетом, исподнее и вернулась к костру, зябко прижимая к груди руки.

— В шубёнку лезь, — распахнул Гаврила Матвеевич приготовленный полушубок, служивший ему на рыбалке одеялом.

— Ой, как тепло... Хорошо как! — восхитилась Ольга Сергеевна, кутаясь в полушубок и млея от разливающегося по телу тепла нагретой возле костра овчины.

Большие глаза её с благодарностью и неустанным интересом следили за Гаврилой Матвеевичем, словно был он сказочный волшебник и преподносил ей с каждым жестом новые чудеса. Посадил на кучу хвороста, оказавшуюся удобной для сидения. На колени, запахнутые полами шубейки, положил кусок коры и на кору поставил котелок с ухой, аппетитно пахнувшей в лицо ароматами лаврушки и дымка. И всё это творя, приправлял своими прибаутками-шутками.

— А вот тебе ложка. Хоть и узка, да берет по два куска: разведёшь пошире — возьмёт четыре. Хлеба ломоть, — подал ей краюху. — И руками подержаться, и в зубах помолоть. Поешь рыбки — будут ноги прытки. Одна беда: ни винца, ни пивца.

— Что вы, Гаврила Матвеевич, — махнула ложкой Ольга Сергеевна.

— Тогда только водки из-под лодки, — как бы примирился он, лукаво поблёскивая быстрыми глазами.

Ольга Сергеевна рассмеялась и принялась черпать варево. Опять восхитилась неопишным вкусом ухи, ароматом его лесного чая, какого никогда-никогда даже не пробовала и не знала, что может быть такой; восторгалась роскошной величавостью звёздного неба, таинственным неумолкающим шепотом ночного леса. Глаза её светились таким же изумлённым любопытством, как и у Иринки, её дочери, приходившей с его внуком вторым, Костиком, в избу к деду Гавриле послушать его игру на тальянке.

Потом она сушила над костром волосы. Вынув руки из рукава полушубка и приспустив его на бедра, вытянув ноги для равновесия, Ольга Сергеевна запрокидывала голову, приближая волосы к костру, перебирала их рукой. Во всей её опрокидывающейся позе, в поднятой и заведённой за голову руке, отчего так заметно приподнялась грудь под ситчиком рубашки, было для Гаврилы Матвеевича столько волнующего, что он готов был в любой мо-

мент отдаться нетерпеливому порыву, уповая на Бога и молодецкую удачу. И не мог пересилить где-то в мозгу засевшего тормоза, той обидной до бес-силія мысли, что она не воспринимает его как мужика. Что он для неё всего лишь дедушка-балагур.

— Гаврила Матвеевич, неужели и там есть тюрьмы, на таких-то краси-вых? — неожиданно произнесла Ольга Сергеевна, задумчиво и грустно гля-дя на небо, пересыпанное звёздами.

Он онемел. И стал гнуться. Не хотел, а словно бы видел себя со стороны и чувствовал, как на спине у него взбурился тяжёлый горб и давил его к коленям. Мелькнула мысль, полоснув, как бритва, что его добил «рябой». Окончательно. Сначала отнял волю. Потом слова лишил — всю жизнь мол-чи. А теперь и любовь отобрал, порушил последнюю надежду на тайный маленький кусочек счастья. Нет его — ни ему, ни ей.

Спать её направил в шалашик, наставляя по-солдатски: на одну полу лечь, второй — прикрыться. Сам спихнул на воду лодку, прошелестел камышом и, выбравшись на чистую воду, погнал лодку по лунной дорожке к тому бе-регу. Надо было замять досаду, чтоб не надрывала душу. Грёб так, что вёсла в его могучих руках изгибались луком и выстреливали лодчонку вперёд, а он всё прибавлял силы, махая веслами то вдвое, а то каждым порознь, как на-учил недавно Сашка. Вот же она, силушка-то! Есть ещё, не покинула. То, что ребячливым делом занялся, так это не от убытка крепости, а чтоб сбе-жать от кабалы крепостнической. Все так шустрят.

*Эх-да, начинаются... дни зо-ло-тые
Воровской непроглядной любви.
Свисну, кони мои... во-оро-ные,
Во-оро-ные вы кони мои!*

Запел вполголоса, а потом и раззадорился. Пусть слышит.

*Устелю свои сани коврами,
В гривы алые ленты влечу.
Прогремлю-прозвеню бубенцами
И тебя на лету подхватчу.*

Не подхватишь, дед. Кончено. Отбаловал своё. Осталось попоститься да и в воду опуститься. А хрена с редькой не хочешь?!

*Все дорожки степные я знаю.
Перестань, моя крошка, рыдать.
Нас не выдадут верные кони,
Вороних им теперь не догнать.*

Так, распевая песенки, Гаврила Матвеевич мотался по реке, проверяя жерлицы, без нужды поднимал сеть, занимал себя придуманной суетой. Пе-репугал всю рыбу и остался к утру без улова, так что Ольге Сергеевне дать было нечего. Опять подосадовал на себя, горлохвата. Это что же творится, а? Борода велика, а ума — ни на лыко. Тьфу!

А утром и была её та занозистая улыбка...

Он причалил к берегу и увидел Ольгу Сергеевну, собравшуюся в доро-гу. В своём чёрном костюме и белой кофточке, строгая и чужая, она сто-

яла на пригорке возле шалаша и, прислушиваясь к дальним гудкам паровоза на станции, осматривала берега, вглядывалась в протоку, по которой уплывал туман.

— Чего так рано поднялась?

— Доброе утро, Гаврила Матвеевич. А я и не ложилась, — сказала Ольга Сергеевна, бойко глянув ему в глаза. — Песни ваши слушала. Красиво пели... Рыбу приманивали?..

— Рыбу?.. — опешил он от мелькнувшей догадки.

— А тут близко, оказывается, — кивнула Ольга Сергеевна на протоку, со стороны которой послышался рокот заработавшего трактора.

— Недалече. Костер в момент вздую, похлебаем ушицы, и отвезу тебя на лодке.

— Нет, спасибо, побегу.

Ольга Сергеевна прощально стала оглядывать дедову стоянку — шалашик с брошенными на него удилищами, сохнущую на ближних кустах сеть, проступающие из лесного сумрака деревья, кучу хвороста у тлеющего кострища. На её красивом строгом лице появилась лёгкая улыбка сожаления — может быть, по чему-то несбывшемуся. Гаврила Матвеевич понял это, когда взгляд её зацепил и его, дал разглядеть в её глазах смешинку весёлой жалости, похожую на насмешку.

Спohватившись, она отвела взгляд и побежала по берегу. А Гаврила Матвеевич с загоревшимся лицом, на подгибающихся ногах добрался до шалаша, повалился на расстеленную шубёнку и, кляня себя распоследними словами, катался по траве, разложенной им с вечера в расчёте на двоих.

2. Молодо зелено, поиграть велено

В избу вошёл Сашка. Пригнув голову, чтоб не мести пышным чубом по потолку, он быстро глянул в окно и, примирившись с тем, что мать ещё держит Ольгу Сергеевну у ворот, сел на табуретку против деда так, чтобы видеть происходящее во дворе. Был он босой, в гражданских штанах, без рубашки. Только стесняться домашнего вида, по дедову разумению, Сашке было лишне. Внук и лицом пригож, и силушкой в деда. Плечи сбиты крепко, как напоказ, грудь выпуклая, широченная. В ласковой и вроде бы удивлённой улыбке на его румянном лице, в быстрых озорных глазах проглядывалось ещё что-то юношеское, но мужская стать превращала его в ладно скроенного породистого красавца. Тут было что показать и чем гордиться. И дед гордился первым внуком (Василиса в счёт не шла — девка), видя в нём собственное повторение, и вновь молодец, с последним азартом переживая его заботы. Все думы свои побоку враз!

— Сашк, пойдем сома ловить? Один я и братья не стану — пять пудов верных в нём будет.

— Погоди, деда-а, — отозвался он с протяжкой «а», как звали Гаврилу Матвеевича внуки. — До другого лета покорми его. Лягушек, что ли, мало?

Сашка поглядывал в окно на разговорившихся женщин и в душе сердился на мать: не уймётся никак, всё тараторит, тараторит. А там Ирина ждёт Ольгу Сергеевну.

— Лягушек он и сам глотает. Я ему ворон стреляю. После гулянки, под утро, слетаем и прихватим сомину. В часть с собой увезёшь подарочек. А, Саш?

— Не могу, понимаешь...

— С девушками так... Много в них заманности для нашего брата поднаме-шано. И не хочешь, так не устоишь...

Гаврила Матвеевич опять хитро прищурился, поглядывая на внука. Ви-дел, как он кипит-булькает, словно самовар, но не торопил расспросами, знал, сам сейчас выложит...

— Жениться буду. — Сашка впился взглядом в деда: одобрит, нет?

— Эх тебя крутануло!

— Заладил...

— Во, дурак! Дело-то человеческое. Поймался, может, — так и скажи. У нас в роду все до девок жадные были. Из-за меня так и сейчас старухи руга-ются меж собой. И отец твой сестрицу-то Василису до свадьбы завернул. Эх, делов было...

Опять смеялся Гаврила Матвеевич, сотрясая густую растительность на лице. Кивнул на двери:

— Привёл мать твою под вечер. Встали у порога и не знают, что говорить. А она махонькая, в сарафанчике сереньком... Как вдруг заревёт в три ручья. Её не отдавали за нас: шибко я с отцом её резался из-за Агрофевны. Да зна-ешь ты её — двоюродная тётка дружка твоего Петьки Сапожкова. Сейчас она кривобока, а тогда хороша была. Да... Не бывать свадьбе, говорит, не отдам за Валдаев. А они, значит, без свадьбы управились. Куда теперь де-нешься? А ты кого выбрал?

— Ирину Морозову.

Сашка почувствовал облегчение, когда увидел в окно подъезжавшую ко двору телегу: матери пришлось прервать беседу, попрощаться, чтобы открыть ворота. Теперь Ольге Сергеевне минут десять идти до своего дома, прикинул он, если ещё кто-нибудь не остановит. Возле дома она крикнет: «Ири-ноч-ка!». Иринка выпорхнет из калитки, повиснет у матери на шее, да ещё ноги подогнет. Сашка видел раз такую картину, — запищит что-то, заворкует и толь-ко после замечания матери догадается взять у неё кошелку. А потом войдут в дом, представил Сашка, и... Нет, не сразу, наверное, скажет. Выждет.

— Деда-а, ты чего молчишь?

Гаврила Матвеевич не ожидал такого поворота и растерянно соображал, как быть?

— Н-но! Н-но! — звонко донеслось со двора.

Костик ввёл во двор под уздцы лошадь. За телегой не торопясь вошёл отец. В линялой голубой косоворотке, с распахнутой душой, крутогрудный, как все Валдаи, да с гвардейскими усами, он казался особенно крупным ря-дом с матерью, забегавшей возле него колобочком. Улыбались, довольные, что в дом привезли добро.

— Дед-а, ты чего? Не нравится?

Сашка делал вид, будто не понимает деда. Ирина училась с Костиком, дружила с ним, приходила в эту вот горенку готовиться к выпускным экза-менам. Они собирались вместе поступать в Ленинградский университет, и, по деревенским соображениям, их считали женихом и невестой. И вдруг он, Сашка, встал на пути родного брата. Потому и молчит дед, прячет глаза.

— Приехали, что ль? — Дед отвалился от стены, легко поднялся и, ступая босыми ногами по скрипучим половицам, слегка пригнув голову, пошёл из избы. — Пошли, Сашк, подмогнём. Мне мука горбы хорошо проминает. Привык с молодости таскать на мельницах. Эх, сколько же я этих мешочков перекидал. Не совру, наверное, — мильён!

Хитрил дед, понял Сашка.

Муку перетаскали быстро. Пока мать с отцом вытряхивали над ларем мешки, а Костик отгонял в конюшню лошадь, Сашка понёс с дедом в сарай отруби и там припёр его:

— Деда-а, ты не молчи. Твой совет главный. Говори прямо всё.

— Тяжкий камешек подвесить на меня хочешь. Вы оба мне, как две руки: хоть ту режь — больно, хоть эту.

— Да любит она меня! Ме-ня — а не его. — злился Сашка: если дед не понимает, то с родителями будет труднее. — Ты можешь это понять?! Пожениться с ней стоворились.

— Ну, если любовь да совет, чего толковать. Девушка хороша. Тонка, правда. Как рябинка, что за МТС стоит. Как пройду мимо, всё она говорит, говорит, лопочет листочками.

В словах деда послышалась непривычная ласковость. Смотрел он в тёмный угол сарайчика, а глаза его ясно светились, словно видел он ту рябину, к которой Сашка ходил с Ириной во время вечерних гуляний. А может, тоже гулял там в своё время, догадался Сашка, и нежность, колыхнувшаяся в груди, толкнула его к нему; он обнял его, уткнулся лицом в бороду, благодарно стиснул в объятиях.

— Спасибо, деда-а. Ты мне самый первый товарищ.

— И ладно, внучок. Ладно. Наладим тебе свадьбу княжескую, чтоб семь дней гулять, не просыхать. И сватать сам пойду. Я за свой век полдеревни пережил. Как сватать кого, мирить — зови Гаврилу, говорят. А уж для родного внучка, да первейшего, постараюсь...

И тут же весело озаботился:

— Вот задачка какая: холостого-то сватать не посылают. Как быть, Сашк? Вдруг сосватаю себе мать её, да женюсь прежде тебя. Эх, да где наша не пропадала!

Дед смеялся, поддразнивая внука, видя его недоумевающую растерянность.

— Сашк, а Сашк! Мать-то её — ничего еще бабёнка, а?.. Ядрёна! Чего ей без мужика пропадать?

— Учи-тель-ни-ца!..

— И что с того?.. Вдовица не девица: не загордится. Бабам, знаешь как?.. С мужем нужда, без мужа и того хуже, а вдовой и сиротой — хоть волком вой. А я дедок ещё справный, сила бродит: плесни воды — брага вспенится. Мне самый раз такую гладкую. Две свадьбы и сотворим, а?

— Деда-а, наши не знают про Ирину, — озабоченно признался внук.

— Ну да... А с Надеждой ты, значит, совсем...

И Сашка не выдержал вопрошающего взгляда, виновато потупился.

Первая деревенская красавица Надя Зацепина досталась Сашке с большим боем. Дрался он за неё и со своими дружками, а потом и с хуторскими, и со станционными парнями, которых привлекала в Петровское красота Нади. Только до окончания училища свадьба не сложилась из-за невесты, приревновавшей жениха к своей подруге. А теперь, как понял дед, Сашкиной свадьбе с Надеей и вовсе не бывать.

— Ты вот что, внучок, не казись. Я за свой век много баб перебрал, а всё оттого, может, что любимая не досталась.

— Тётка Агрофевна?

Дед отрицательно мотнул головой.

— Приезжала к нам сюда эсерка. Ну, из тех, которые до большевиков народ подбивали к бунту. Славная барышня... Богатырского духу. Правду знала. Сейчас думаю, девчонка девчонкой ещё была. А начнёт про тиранов говорить — глаза, как угли на ветру, вспыхивают; кулачок сожмёт и машет им, машет, как молотом. Я её по деревням возил.

Под приподнявшимися кудельками бровей глаза Гаврилы Матвеевича осиялись тихим и ласковым светом, который шёл из далёких глубин, приблизился и вдруг вылился в бусинку, скатившуюся в ус. Сашка удивился: неужели слеза?

— Да, возил... — продолжал дед задумчиво. — Всего-то неделю с ней побыл. Проводил её на станцию. А когда она в поезд села и платочком помахала — резануло по сердцу: люблю! Прыгнул на телегу, погнал мерина вдогонку. Загнал бы лошадь, да знакомый цыган остановил. Эх, и бил я его!

— Зачем?

— Думаешь, знал тогда? Бил и всё... А потом отдал ему лошадь, чтоб сердца на меня не имел.

Сашка опять удивленно посмотрел на деда, будто впервые увидел его.

— Так я об чем сказать хотел?

— Чтоб не казнился.

— Это само собой. Жить всегда надо с лёгким духом, чтоб злосчастье на тебя не зарилось: оно на хмурых да понурых верхом ездит. А наказать я тебе вот что хотел: разлюбил девку — сразу брось! А полюбил — до смерти за неё бейся! Не отобьёшь — всё равно без любимой погибель, так уж...

Две корявых дедовых лапы перед Сашкиным лицом собрались в кулаки и задрожали от сомкнувшей их силы; взгляд стал острым и яростным, словно он видел противника, с которым надо биться смертным боем. Уронил кулаки и опять стал мягким и задушевым.

— Нутро мужика так настроено, что без милой не цветно цветы цветут, не красно дубы растут. Я с Марфой, с бабкой твоей, не бедовал. Красавица была. И хозяйюшка-хлопотунья, и любила меня до обмороков. Как услышит мою гармошку в другом конце села — хлоп на пол. Приду домой, а соседки её отливают. Да-а, было всякое; было, было. Жить бы да радоваться... Ан нет. Извёлся, что не та... Бояться себя заставишь, а любить не принудишь. От лютой тоски в Санкт-Петербург подался искать любушку, увидеть хоть разочек.

— Встретил? — прервал Сашка затянувшееся молчание деда.

— Слышал только, в Сибирь её сослали. А хоть бы и встретил, зачем я ей — мужик? А ты — не воронь! — стрельнул на Сашку горделивым взглядом дед. — Как-никак, а поручик. Ваше благородие.

— Не провороню, деда-а. Не поедет она в Москву. С собой увезу. Ты понял?.. Мне помощь твоя нужна.

Растерялся дед. Хоть на минутку, но опешил и глядел на внука, соображая, что это задумал он?.. Ну и хват! А что из этого выйдет?.. Скан-да-лице!.. И Ольга Сергеевна не простит ему никогда потери дочки. Вот она мелькнула перед ним с вопрошающим укором: неужели последнее отнимешь? И внук стучит в грудь.

— Ты сможешь, деда? Поможешь? Только ты нам сможешь помочь. Чего молчишь?

— Смекаю. Девку воровать — не поклоны класть. Или сговорились?

— Так я же тебе целый день твержу: любит она меня.

— И бежать согласная?

— Согласна! Согласна!! Ну, что ещё?..

— Тпр-р, торопыга! Остынь маленько. Ишь, как тебя, резвого, понесло. А я конь старый, мне огляд нужен, чтоб всё получше спроворить.

Под пристальным взглядом внука Гаврила Матвеевич проделал свой «огляд»; задумчиво повел рукой в одну сторону и уронил её — не то! Другой рукой покрутил на весу — и тоже не согласился.

— Думаю, Сашка, лучше старого нам не придумать ничего. Приведу тебе лошадей — в темноте у соседки спрячу. Выведешь свою любушку, посадишь прокатить и мимо дома с бубенчиками айда-пошёл...

— А Надя Зацепина?.. А отец её?.. А наши?.. Им хоть сейчас на Надюхе женись.

— Вот и... женись!

— Я Иринку люблю!

— На Иринке женись, — смеялся дед глазами, видя обидчивое недоумение внука. — На гулянке завсегда шуточки да смех, озорство да грех. Зацепина с отцом твоим... спою. С Ольгой Сергеевной закавыка выйдет. Не знаю, чем взять, а надо... Дочку-то добром она не отдаст. Учить её настроилась. Значит, шутейно бери. Крикну вам «горько» — целуй. А на людях поцеловались — твоя. На бумажках потом распишетесь. Подхватывай молодую и на поезд... Ту-ту-у...

— Деда-а!.. — порывисто обнял его Сашка.

И ушёл. Пробежал через двор, как перелетел на невидимых крыльях. Вот она, любовь-то какая...

А потом Гаврила Матвеевич с виноватой покорностью объяснялся с Ольгой Сергеевной. Сказал ей мысленно, что дочь завсегда отрезанный ломоть, что он не плохому помощник, а любви, значит — делу Божьему, и что он примет на себя все грехи, чтобы и детям их, и им самим было бы только хорошо. Много ещё говорил ей всякого. И чем дольше говорил, тем строже становились её глаза, заглядывающие прямо в душу. А там-то, перед ней, вся его правда нагишом: хочет её — и всё тут. Любymi бесстыдными путями изощряется привязать к себе: и замужеством её дочери с внуком, и её бы замужеством с ним. Оно-то, вроде бы, и не плохого хочет, но всё равно стало стыдно такой своей душевной наготы. И заторопился уйти в предстоящие заботы с азартом, который давно уже себе не разрешал. Так неожиданно свалившийся на его жизнь праздник мог быть последним, и надо было успеть его отпраздновать, пока не двинут прикладом по горбу.

3. Весёлые дела...

Смывая мучную пыль, Гаврила Матвеевич окатил себя водой из ведра, да — из второго и, пофыркивая, роняя вокруг себя капли, отжимая бороду, пошёл вытираться.

В избе был Костик. Умытый и одетый в праздничные брюки и рубашку, в новеньких брезентовых туфлях, купленных на выход, он стоял перед зеркалом и расчесывал волосы на сторону, ровняя пробор. Такую прилизанную причёску он завёл после приезда брата, в противовес ему, а чтобы чуб не топорщился завитушками, смазывал волосы маслом. Увидев в зеркало деда, Костик сразу же бросил гребешок, подошел к столу и начал хмуро прибирать там книги. Рассердился за то, что с Сашкой шептался, догадался Гаврила Матвеевич.

— Константин свет Тимофеевич, ружьишком опять баловался, а чистить дедку оставил?

Гаврила Матвеевич растирался полотенцем и прикидывал, как ловчее обстричь задуманное, на кого опереться? Без помощников в таком деле не обойтись. Да и внуков надо помирить. Ишь, надулся, следил за Костиком дед.

Убрав книги, Костик повернулся и уставил на деда скорбные глаза, источавшие не просто обиду, а какой-то сырой подземный холод. Под таким его взглядом Гавриле Матвеевичу стало зябко, и он поторопился надеть рубашку, полагая, что разговор будет серьёзный и надо быть в строгом виде.

— До гробовой доски, что ли, в сердцах будете друг на дружку? — решил прежде прикрикнуть на Костика Гаврила Матвеевич, а потом уже подвести к разумному.

— Не надо, деда-а! Не надо... — умоляюще сказал Костик. Вышел из избы и тихо прикрыл за собой дверь.

Гаврила Матвеевич задумчиво подергал бороду. Мысли пошли тяжёлые и корявые, надо бы разобраться, чтоб не сплеховать. Вон какой цирк устроили из-за девчонки, того и гляди за грудки возьмутся. Мирить надо, а как? Может, Василису позвать, подумал, выглянув в окошко.

По двору затейливо кружилась Василиса с заспанным годовалым Петенькой на руках, а за ней бегала Настенька, выпрашивая у матери понянуть братика.

— И не дам, и не дам, — поддразнивала дочку Василиса. Раздавленная в плечах и бедрах, подобревшая телом в своём материнстве, характером она оставалась прежней девчонкой. — Не достанешь, не достанешь... Не дадим тебе Петеньку...

Дед загляделся на них. И мать, как дочка, и дочь вся в мать. Ишь кипятится как, хочет заполучить живую игрушку. Женщина растёт. Ах, Настюха-горюха, тоже поднимешься скоро нарядной рябинкой, заневестишься, а там пойдут сынки-дочки, внучки-правнучки, и не быть концу плоти человеческой.

— Вот не дашь если.. — Настенька остановилась перед матерью и внушительно уставила на неё колкие глазки. — Я тебе тоже не дам свою ляльку поиграть, когда ты старенькой станешь. Попросишь тогда, мамочка...

— Не-к, не попрошу. Не-к... — беспечно уверяла Василиса и, заметив подходившего к дому мужа, певуче приговаривала: — А во-он папка идет. Петенька помаша ему ручкой, вот так помаша.

Во двор вошёл Зыков. Крупный мужчина с васильковыми, по-детски застенчивыми глазами, он словно бы всё время стеснялся — то ли своего иссиня-красного лица и такого же цвета борцовской шеи, то ли тесного парусинового пиджака, из рукавов которого свисали мясистые лапищи. Увидев в сборе всю свою семью, Зыков обрадованно и вместе с тем смущённо заулыбался, подхватил подбежавшую к нему с радостным, так что в ушах заложило, визгом Настеньку и посадил её на плечо. Настенька засмеялась, довольная и гордая тем, что видит всё с такой высоты и не боится.

— И Петенька к папке хочет... — Василиса пристроила сынка на руку мужа и стала по-хозяйски оглядывать эту пирамиду, похоже, отыскивая место и для себя. — Вот так папка у нас: перемазался опять, как дитя малое. Неужто директору МТС по тракторам надо лазить? Попробуй-ка отстирай такое пятно мазута. И ничем не отстираешь — заплаткой придется закрывать.

Василиса отчитывала мужа, хмурила брови, а губы её расплывались в улыбке, так что всем было весело от такой её сердитости: и Зыкову, добродушно хлопавшему сине-красными веками с редкой опушкой ресниц, и Настеньке, ёрзавшей на широком отцовском плече, и Петеньке, дотянувшемуся до отцова уха.

Гаврила Матвеевич тоже заулыбался, наблюдая из окна за Василисой! Ох, лиса! Ведь и выбрала себе такого, чтоб без седла ездить.

В свое время Василиса крепко удивила всех, когда после поездки в райцентр привела в дом к ужину Зыкова и объявила отцу-матери, что они зарегистрировали брак и теперь он законный её муж, а она — жена его. Помнилось в семье, как онемело смотрел на дочь Тимофей, а у Галины от такого известия вывалилась из рук сковорода с жареной картошкой.

Зыкова в селе и женихом-то не считали — инженер, не ровня. Возят в МТС на тарантасе, как районное начальство. А ещё была та причина, что приехавший инженер отличался какой-то детской застенчивостью. Давал распоряжения и краснел. На гулянки молодежные не ходил. И Василису ни разу не провожал до дома, как говорила Галина. Без деда было-то все... И вот привела его Василиса не женихом, а сразу — мужем. Без ухаживаний обошлась! Да хоть и так, ладно. Не мать велела, а сама захотела. Значит, углядела в нём то, что другим не дано было угадать. Вон ведь, второго родила, а всё любят, друг на дружку смотрят так, будто год с утра не виделись.

— Папка, а что будет... — Настенька воровато глянула на дедову избу и зашептала отцу: — Что будет — пришли воры, хозяев украли, а дом в окошки убежал?

— Сдалась, что ли? — Гаврила Матвеевич выставился в окошко и шевельнул куделистыми бровями, смешливо глядя на Настеньку. — Фу-ты, ну-ты... В нашем роду таких не бывало, чтоб без драки пятились, как раки.

— И не сдалась вовсе, — рассерженная Настенька вытянула ноги, соскальзывая с отцова плеча, и Зыков поставил её на землю; строго посмотрела на деда: — Только ты, дедуленька, не по правде делаешь: мне загадываешь, а я тебе нет. Давай я тебе тоже буду загадывать, тогда узнаешь...

— Ну, спытай дедка, — Гаврила Матвеевич с весёлой озабоченностью глянул на Василису: видала — какова!

Настенька приблизилась к окошку, руки в боки, головку набок склонила и хитрющими лисьими глазками прожгла его.

— Испытаю. Что будет: вокруг носа вьётся, а в руки не даётся? ;

— Муха! Комар ещё вёрток.

— И нет. Когда догадаешься — скажешь.

Настенька крутанулась на каблучке и степенно пошла к крыльцу большого дома, гордо подняв острый носик.

Отцу с матерью смешно, и деду в радость. Ах, топчи тебя комары. Нож девка будет! Валдаевская! Вроде перекинулся парой словцов, а как живой воды напился, живучим корешком закусил.

Выждав момент, когда Зыков пошел в дом, Гаврила Матвеевич подмигнул Василисе и повёл головой, давая понять, чтоб секретно зашла к нему.

Василиса вошла в избу и с привычной безнадежностью уставилась на деда, оставшегося сидеть на полу.

— Ну дед! Вот-вот гости придут, а он стенку подпирает. Не стриженный, не прибранный. Как бабку Агрофевну будешь встречать? Испугается такого лохматого и сбежит с гулянки.

— А помоложе кого?.. Мне б такую в гости, чтоб грела кости.

— Вставай, стричь буду. Оброс, как лесовик, мхом покрылся, а всё о молоденьких помышляет.

Пересевшего на табуретку деда Василиса обернула простыней и принялась отсекать ножницами пряди его бороды, как настоящий парикмахер позвякивая колечками. Гаврила Матвеевич доверял ей свою красоту с тех времен, когда звал её Васькой и учил ставить подножки пристававшим мальчишкам.

— Погоди звенеть, — сказал он, поглядывая на её белесые, с золотинкой брови, под которыми вспыхивали насмешливыми огоньками и беспрестанно прыгали, метались два рыжих зверька, то добродушно-смешливых, то безжалостно-цепких. Решил довериться ей... А кому кроме неё скажешь? Кто поможет?.. — Сашка женится.

— Ой, дед-а!.. Да ты что?.. Когда же?..

— Ну, когда ему теперь?.. Только на гулянке, на проводах этих.

— Невеста кто?.. Надя что ли?.. Мама-то с папанькой не знают. Не говорил он ничего.

Весело и чуточку растерянно Василиса отступила от деда и высвободила пальцы из колечек ножниц. Лицо её приобрело выражение лукавое, но отрешённое, говорившее, что в мыслях она уже где-то там, где будет сообщать новость. Все-таки бабой выросла, как ни старался воспитать её пареньком, подумал дед, осерчав.

— Ты стриги и слушай! Навострилась уже, всему свету по секрету.

— Надо же что-то делать, — Василиса оправдывалась, но прежняя её улыбочка не покидала лица.

— Стричь ты будешь, аль нет? Полбороды отсекла.

— С Тонечкой Петрушиной их видели, говорят...

— Тьфу, чертовка... И дёрнуло меня связаться с сорокой, — дед поднялся с табуретки, сбрасывая простыню.

— Сиди! — прикрикнула Василиса и вновь принялась стричь бороду. — Сорока... Не чужие ведь... Интересно... Мы с мамой и так и сяк, а он молчит. А когда жениться-то, если завтра в отъезд?

Дед строгим взглядом вразумлял Василису, но, видно, без пользы.

— Уходом женится. Смекнула?..

— Да на ком?.. С кем — уходом? — от нетерпения Василиса вроде бы ласково, но ощутимо огрела деда кулаком по голове.

— Ты что, сдурела? — подскочил дед.

— Значит, не Надя, раз уходом? Тонечка, значит?

Дед опять уселся на табурет, решив сказать ей всё сразу, пока ухо не отрезала. С такой всё станется.

— Иринка Морозова.

— Да ты что, дед?! — Василиса попятилась от него и села на подоконник, закрыв окошко спиной — в избе сразу потемнело. — Как же это?.. А Костик?

— Что тут гадать? Выходит, не сужена Костику: клад да жена — на счастливого, — деда сердил непонятливый и вроде бы подозрительный взгляд Василисы. — Раз уходом сговорились, значит, любовь у ней с Сашкой.

— А чего тогда не по-людски? — испытующе уставилась на него Василиса. — Ольга Сергеевна, что ли, брезгует, родниться с нами не желает?

— Не знает она...

— Как не знает? — подозрительность на лице Василисы сменилась удивлением, а затем с румянцем выплыла и её хитрая белозубая улыбка. И вот уже неудержимо захохотала она, поднимая руки и обессиленно роняя их на

мясистые ноги. — Ой, не могу... Ты ж, наверно, стараешься... дочку — Сашке, а матушку... Стриги да стриги, твердит, и Агрофевну не приглашайте...

Василиса стряхнула с пальцев ножницы на пол и, хватаясь за живот, перегибалась в поясе, то наклоняясь к коленям и открывая свет, то вновь закрывала окошко спиной, продолжая хохотать.

— Матушку-то себе наметил. Говорили бабы, ха-ха-ха.

— Что говорили?! — грозно сверкнул глазами Гаврила Матвеевич — и вдруг испугался. В деревне ведь как: во сне проговорился — наяву заплатишься. Не за себя страшно стало, за лебедушку свою тревожился.

— Кто говорил?! — опять вскричал он, чтобы напускным гневом побороть охватывающую его растерянность.

Сорвал простыню, поднялся с табуретки, а как увидел себя в зеркале, висевшем на стене, застыл в немом бессилии: роскошная своей дремучей мощью борода его была укорочена так, что из тупого среза её проглядывала белизна подбородка.

— Ты что ж наделала?! Обкарнала как! Чертовка! — с испуганной беспомощностью вскричал дед, схватившись за остатки бороды, и застонал. — На смех деда родного... Опозорить...

— Же-жених! Ха-ха-ха... — продолжала качаться Василиса, сидя в проеме окна.

В избу вошли отец с матерью, привлечённые смехом дочери. Тимофей Гаврилович в праздничной вышитой рубашке навыпуск, подпоясанный витой верёвочкой с кистями; на ходу скручивая сигарку, он с любопытством поглядывал то на дочь, то на отца, стараясь понять, что тут произошло весёлого. Мать сразу же увидела обезображенного свекра, жалостливо заохала:

— Да что же ты наделала? — встала она между зеркалом и обиженно растерянным Гаврилой Матвеевичем, принялась сочувственно трогать его щеки и остатки бороды.

— Жених... ха-ха-ха, — заливалась Василиса, показывая на деда пальцем.

— Я вот тебе! По мясам! — осерчал Гаврила Матвеевич и двинулся к ней припечатать ладонь.

Василиса сорвалась с подоконника, нырнула за отца и, толкнув его деду, выскочила из комнаты; хохотала во дворе, пока шла в новый дом. Не понравилось это деду: в десятке дворов заинтересуются смехом Василисы. Вот так помогла внучка, выручила дедка! Ну, погоди, лиса, узнаешь, как крапива пахнет.

— С боков подрезать, и ничего будет... Дай-ка я поправлю.

Галина Петровна подобрала с пола ножницы и подступала к свёкру то с одной, то с другой стороны, а он не слушал её, отодвигался в сторону и пялился в зеркало на своё исковерканное лицо. Ну, как в таком образе показаться Ольге Сергеевне? Пальцы его беспомощно тыкались в комель щетины, торчавшей обрубком конского хвоста.

— Да сядь же ты, папа! — прикрикнула Галина Петровна, приводя свёкра в чувство. Она подтолкнула его к табуретке, захлестнула горло простыней и принялась осторожно чикать ножницами, нашептывая при этом, как маленькому. — И страшного ничего нет... Углы округлим и тут убавим — маленькая борода. А чего метлой-то трясти? Помолодел сразу, правда, Тимоша?!

Тимофей Гаврилович сидел за столом и дымил сигаркой, насмешливо щурился глаза.

— Ну вот! — обрадовалась Галина Петровна, словно дождалась от мужа похвалы, и с большим усердием засуетилась перед Гаврилой Матвеевичем.

4. Галинка – Галина и Тимофей

Свёкра своего Галина Петровна любила дочерней уважительной любовью, может, с того дня, когда, избитую, выгнанную с позором из отчего дома, привел её Тимофей в эту избу и, стоя у порога, они ждали решение своей судьбы. В те годы девичий грех деревня не простила, и свекровь, царство ей небесное, поначалу испугалась их. Она попятилась в угол и, упав на колени, стала молиться, отвешивая поклоны до пола.

Гаврила Матвеевич, тогда ещё с кучерявым чубом и короткой смоляной бородой, сидел с младшим сыном Колей за починкой сбури под оконцами. Он молча оглядел приподнявшийся короткий сарафанчик Галинки, её бледные, покрытые пупырышками ноги, месившие грязь, содрогнулся и злобно выругался. Затем вскочил с пола, словно вырос неожиданно, громадный в этой избе, гневно сдернул с печки тулуп и стал закутывать в него Галинку, понуро принимавшую удары судьбы. Поднял свёрток с Галинкой и приладил на лавку к столу. Походя, сбил шапку с сына, топтавшегося возле порога в распахнутом армяке.

— Что ж, дурак, не одел жену? Ладно, сарафанишко дали, а то б голой вел по селу!

— Да я... — перепуганный, нареветвшийся заодно с невестой Тимофей запоздало стал сбрасывать с себя домотканый армяк.

— Чего теперь... В баню беги, натопи пожарче... Чтоб пар столбом, дым коромыслом!

— Ага... Шас я... — Тимофей обрадованно глянул на смятое мокрое личико Галинки, испуганно выглядывающее из высокого ворота тулупа, и бросился в двери, зазвенев в сенцах ведрами.

— Коленька, самовар раздуй, — продолжал командовать Гаврила Матвеевич. Он стоял посреди избы и, казалось, до любой стены доставал рукой, снимая с полок и ставя на стол тарелку с медом, стаканы, блюдца, бутылку самогона.

Младший сын Коленька до этого восторженно глядел на всё происходящее, а тут вмиг стащил с ноги сапог, подбежал к самовару и приладил голенище на трубу.

— Аль дымком хочешь попотчевать невестку? — с мягкой шутливостью заметил Гаврила Матвеевич.

Коленька смущённо улыбнулся Галинке — очень уж не хотелось ему уходить из горницы в такую минуту, — поднял самовар с повисшим сапогом на трубе и понёс его в сенцы раздувать угли.

И тулуп, в который закутал её Гаврила Матвеевич, и подзатыльник Тимофею, и ласковое обращение к младшему сыну были неожиданными для Галинки. Привыкнув в отчем доме к скаредности и вечному ворчанию отца, она всё ещё не верила происходящему, поджималась в комок, ожидая, когда этот красивый большой мужик, известный всей округе гармонист и драчун, вдруг схватит её, как отец, за косу и с трехаршинным матом бросит к порогу. И Марфа Пантелеевна все молится, не хочет, видно, принять её. И Тимоша ушел куда-то...

— Ма-ать, ты как там, известила Богородицу про счастье наше? — Гаврила Матвеевич подмигнул Галинке и, подойдя к жене, поднял её с пола, прекращая моления. — Будет тебе... Людское зло не замолишь, а за милость Божью потом поблагодаришь.

Обняв Марфу Пантелеевну со спины, и склонив голову так, что касался щекой её щеки, он шаг за шагом пододвигая жену к Галинке, воркующе приговаривая:

— Ты дочку хотела. Вот тебе дочка, может, с внучкой сразу. Радость-то, а?..

— Милости просим. Не в добрый час, да на долгий век, — сказала, наконец, Марфа Пантелеевна, смирившись с тем, что придётся брать в невестки беспутную: ведь греха не убоялась, против родительской воли пошла, как свекрови от такой послушания дожидаться? Вздохнув, она поклонилась Галинке, затем влезла лицом к ней в ворот тулупа и поцеловала три раза её холодные губы. — Дай Бог вам любовь да совет. Будь дочкой, невестушка.

Тяжёлый ком отчаяния и страха, студивший грудь Галинки, державший всё её тело в мёртвом оледенении, стал оттаивать; закапали и побежали по лицу горячие слёзы. Увидев на себе непонятливый взгляд Марфы Пантелеевны, она ослабленно зарыдала.

— Царица небесная, Пресвятая Богородица... — вновь закрестилась Марфа Пантелеевна.

В избу вбежал Коленька в одном сапоге и замер у порога, обегая удивлённым взглядом родителей и рыдавшую Галинку. Гаврила Матвеевич подсел к ней на лавку, положил ладонь на мокрый затылок и говорил всё тем же воркующим баском:

— Не тужи, девонька. Беды не издедав, счастья не видать. Повенчаем вас... А была под венцом, и дело с концом. Эх, и заживёте!..

Через неделю Тимофея с Галинкой повенчали. Деревенские кумушки злословили, а мужики подсмеивались, что Валдаям не удалось попользоваться богатым приданым, которое давали за Галинкой: мол, девку попортили, чтоб взять за себя, а Петька Сморчков и выдал им дочь в чём мать родила — женись теперь.

Гаврила Матвеевич знал про все эти разговоры, не раз ловил на себе насмешливые взгляды и, рассердясь, на свадьбу сына не пригласил никого из семейных — гуляли только холостые друзья и подружки молодых. Сам он расстарался так, что его шутки-прибаутки, свадебные забавы в восторженных пересказах его молодых гостей пошли по избам Петровска и ближних хуторов, вызывая у кого смех и почтительный интерес к Валдаевым, а у кого зависть и обиду за то, что не пригласили — пренебрегли, значит.

Необычная свадьба, а ещё больше счастливый для Галинки исход истории, не раз кончавшийся для девчат омутом, сделали её с Тимофеем известными в округе людьми. Парни и девчата, гулявшие у них на свадьбе, образовали Тимохин хоровод, названный так в насмешку, да получившийся всерьёз; многие из них вскоре поженились, гуляли друг у дружки на свадьбах и дальше держались гуртом. Галинка теперь ходила к обедне, не стыдясь своего живота, раздвигавшего полы новенького дубленого полушубка. Бабы исподтишка зыркали в её сторону, будто взглядами цеплялись на ходу за край цветного сарафана, новенькие ботинки с высокой шнуровкой, кашемировый платок с кистями, всё это оценивали, обсуждали с удивлением и завистью. Ведь как повезло девке! Одели-обули с ног до головы, как дома не ходила. Вот вам и Гаврила-скоморох, он сноху-то наряжает.

Галинка не прятала своих чувств к свёкру. Желания его — что принести, сделать или подать — выполняла с радостью. Казалось порой, он только подумает, закурить ли ему, а она уже выхватывает из печки уголек, несёт его, перебрасывая с ладошки на ладошку, и ждёт, когда Гаврила Матвеевич дос-

танет кисет, да развяжет его, да примется сварачивать сигарку, и тогда только возьмет у неё огонек. Марфа Пантелеевна сердилась на мужа: ишь, манеру какую завёл выкобениваться. Тимофей не достаивался такой чести; ему приходилось просить жену подать огоньку, а когда однажды, по отцову подобию, он стал медлить, закручивая сигарку, Галинка бросила ему уголёк за шиворот. Эх, было тут визга и смеха. Тимофей крутился по избе, тряс рубашкой. Марфа Пантелеевна охала и ахала, переживая за одежду. А Коленка, Гаврила Матвеевич и Галинка хохотали: хватил медку из-под пчёлки, а там жальце. Не завидуй!

* * *

Жизнь прожить — не поле перейти. Всякого хватало. Когда родилась Василиса, отец на радостях простил Галинку и кое-что из приданого дал. Не велик прибыток, но душа радовалась. А тут пшеничка поднялась в пояс, овёс серёжками зазвенел. Убрать бы в срок да забогатеть, зажить припеваючи. Только правду говорят, счастье с несчастьем на одних санях ездят. Где-то в Европе пристрелили немецкого принца, цари поругались между собой, а драться послали мужиков; забрали на фронт Тимофея, Гаврилу Матвеевича мобилизовали на военные работы. А в самую косовицу умерла Марфа Пантелеевна, и всё хозяйство легло на шупленькие плечи Галинки и Коленки.

Как вынесла всё — сама не знала. Только горько уж плакала, когда вернулся с позиций Тимофей. Не дав снять шинель, она обеими руками вцепилась ему в волосы и, не замечая того, что больно защемила ухо, притягивала голову Тимоши и целовала, целовала его лицо, обливая солдатскую щетину слезами.

Всю первую неделю она словно бы не видела никого, кроме мужа, и не поняла сразу, с чего вдруг он стал притаённо наблюдателен к тому, как она советуется со свёкром, обстирывает его и обряжает как. Ни с того ни с сего вздумал один пойти играть в карты к Анютке Дунайкиной, загулявшей, не стыдясь никого, после смерти искалеченного на войне Степана.

— К Дунайкиной? Не пущу! — Галинка встала в дверях. В голубом платье с розовой оборкой по низкому подолу, с монистом из бусинок и серебряных монеток, сверкавших на высокой груди, с белой шалью с кистями да с розами по полю, наброшенной на плечи, она стояла перед Тимофеем стройная, неожиданно красивая и забавная в своей детской обиде. Но сам-то разве не понимает, что не по-людски так? Неделю с женой не был — на игрища потянуло. Что свёкор скажет, соседи?

Тимофей посматривал на жену чужим холодным взглядом; застегнул гимнастерку, затянулся ремнем. За войну окреп он, раздался в плечах и занимел эту новую, противную Галинке привычку долго и глубоко смотреть в глаза: как будто проникал в душу и по хозяйски копошился там, разглядывая, что к чему. Не отводя от Галинки этого взгляда, он положил в карман карты и накинул на плечи шинель.

— Папа, чего он вздумал? — искала помощ Галинка у свёкра: может, скажет ему, как бывало. — Играть у нас можно. Кликну Полю с Павлушкой, да Николаевна придет..

— Глаз-алмаз, не замутится ни раз. Ишь, падла какая! — Тимофей снизу взмахнул кулаком, отменяя Галинку от двери, и она, запутавшись в оборвавшуюся занавеску боковухи, упала в угол к помойной бадейке. — Хватит вам, отыгрались! Теперь мой черед.

Гулко хлопнул дверью за собой.

«За что?.. Что он сказал?.. Это мы-то играли здесь с вилами да лопатой с

утра до ночи?.. — не понимала Галинка, валяясь на полу. — За что её так?.. Что произошло?..

Мельком глянув на невестку, пробежал мимо и вышел из избы Гаврила Матвеевич. Со двора донесся его резкий окрик:

— Поди сюда!

Галинка метнулась к окошку — свёкра не было видно, только слышалось похрустывание снега от его шагов. Тимофей, криво усмехаясь, закурил цигарку и пошел за отцом вглубь двора, скрылся из видимости. В конюшню, должно быть, догадалась Галинка. Коленька с Василиской поехали к кузнецу за плугом, и в конюшне сейчас пусто. Она подняла с плеч на голову платок, смахнула со щеки слезу и встала посреди избы: куда бежать-то? Зачем? За что ударил?.. Может, наговорил кто напраслину..

«Господи, как же раньше не подумала об этом? — закружилась перед глазами карусель. Замелькали разные выражения лица Тимофея: пытливые, подозрительно-злые, растерянно-ревнивые — которых она не замечала раньше в своём опьянении счастьём, и только сейчас, так неожиданно вспомнив, осмыслила: ревнует! Да к кому же? Может, думает, я как Анютка Дунайкина?.. Ой, глупый, совсем дурной...».

Галинка побежала в коровник через сенцы, внутренним ходом, сделанным Гаврилой Матвеевичем, чтоб в пургу не ходить ей к скоту двором. Пока поднимала Зорьку, лежавшую перед дверью в конюшню, услышала слова свёкра, от которых подогнулись ноженьки. Она обессиленно села на край кадушки с водой, прислонила голову к перегородке.

— ...это тебе за снохача будет!

Послышался тупой удар, шум упавшего на дрова тела, звон рассыпающейся поленицы. В щель двери, приоткрывшейся от сотрясения сарая, Галинка увидела Тимофея. Он навзничь лежал на куче рассыпавшихся поленьев, трогал рассеченную губу и улыбался растерянно и просительно. Перед ним стоял отец, расставив ноги для крепости.

— Подарки, говорят, возит ей... — выдавил из разбитых губ Тимофей и хищно глянул на отца: так или нет? Видимо, не увидел жданного подтверждения, и выражение лица его вновь стало раскаянным.

— Тогда ещё получай, Тимоха, за батюшку моего Матвея, — склонился над сыном Гаврила Матвеевич. Забрал в пятерню гимнастерку так, что скрежетнули медали, поднял его в рост и с размаха саданул в другой угол — затрещали, посыпались планки конской кормушки.

Взмычала Зорька и уставилась на хозяйку добродушно удивлёнными глазами. Галинка тискала в рот кулак, кусала пальцы, чтоб не взвыть от обиды, не заскулить по-собачьи от стыда, что мог подумать о ней такое... Как жить после этого? Как людям в глаза смотреть? Тупость и бессмыслица глухой стеной окружили со всех сторон, отняв сразу и волю, и силы, и желания. Не хотелось двигаться, дышать не хотелось.

За перегородкой продолжался разговор. Тимофей часто сплёвывал кровь; Гаврила Матвеевич тяжело дышал, как после трудной работы:

— За деда Селивана... прадеда твоего... врезать бы тебе. Да за прапрадеда Акима, суворовского солдата... За весь род наш крестьянский.

— Будет, батя. На весь поминальник морды не хватит.

— Обидел ты меня, сынок. Черной обидой обидел... Не было и ввек не будет у нас таких, как ты подумал на отца своего.

— Прости, батя. Озверели в окопах, а тут говорят: факт. Платок ей привёз цветной, монисто, чулки шелковые — одаривает, как полюбовницу.

Галинка поджала ноги в чулках, потянула с головы платок и дёрнула нитку монисто — шелковый шнурок больно врезался в шею. Подарки эти привёз свёкор месяца три назад, бросил скомканными на стол и сказал, что купил к случаю, а случай тот не вышел, и велел ей забрать их, чтоб было в чём мужа встречать. Подружкам только и показала. Так позавидовал кто-то.

— Анютка Дунайкина?.. — спросил Гаврила Матвеевич со смешком и, не дождавшись ответа Тимофея, стал рассказывать. — Она! Жениться хотел... Думал, баба молодая, а женихов после войны, сам понимаешь, не выбирать. Сговорились вроде, поладили. Под ночь приехал с подарками, торк в дверь — не пускает. Туда-сюда... За избой пролётка стоит приказчика с Драбагана и жеребчик гнедой, распряженный. Эх, и взъярился!.. Хвост отрезал у жеребца, пролётку в речку сбросил, чтоб не ездил купец к нашим бабам. Ну, а подарки Галинке впору пришлись. Обносились молодка-то, выросла из старого. Ситчика ей выменял на подсвинка, чтоб было в чем мужа встречать. А ты и порадовал её кулаком.

— Что теперь делать, батя? Не простит как, а?..

Галинка слушала, прикрыв глаза, замирая от сладостной расслабленности; слёзы сбегали к подбородку и падали на руку, державшую монисто. Приблизилась Зорька, лизнула лицо и ещё полезла шершавым языком слизывать слёзы со щёк — нашла солёненькое. Будет тебе, увернулась и обняла теплую и ласковую коровью морду.

— Да-а... — сожалеючи протянул с выдохом Гаврила Матвеевич. — Раскинул ей печаль по плечам, пустил сухоту по животу. Поладишь, конечно; муж с женой бранится, да под бок к ней ложится. А я тебе вот что скажу: не обижай жену. Знаю, бьют мужики баб. А ты не бей. Ты другом жене стань, товарищем первейшим. Да радость у неё исторгни, чтоб цвела она радугой в твоём доме, жар-птицей порхала бы по двору. Эх, Тимоха, не нужен и клад, когда с милой лад. А лад этот своими руками налаживать надобно.

— Люблю её, батя... Уж так люблю: в постели за руку держу, а спать не могу — потерять боюсь.

Светло улыбаясь сквозь слёзы, Галинка осторожно ушла из коровника.

Ополоснула лицо и опять заплакала от ликующего, толчками бьющего откуда-то изнутри ощущения радости. Подбежала к зеркалу — какая там она радуга да жар-птица? — смахнула слёзы, вглядывалась, вглядывалась и рассмеялась, прыснула по-девчоночьи, счастливая и смущённая.

Зажили они с Тимофеем как одной душой. Растили детей, дом построили, выдали замуж Василису и принимали в жизнь внуков. И всё время с ними — сперва Ангелом-хранителем, а потом, после тюрьмы, просто дедом Гаврилой — стоял рядом и оберегал их счастье свёкор. Как доброго домашнего Бога почитала его Галинка, а теперь уже — Галина Петровна. Ревновала его к детям, когда они, подрастая, от него оттесняли её. И когда выпадал случай оказать свёкру услугу, как сейчас вот — постричь бороду, — она делала это с великим старанием.

— Папа, хорошо ведь получилось. Гимнастерку наденешь да галифе — и всё как надо.

Окончив стрижку, Галина Петровна придирчиво осмотрела свою работу.

— Правда, получилось, Тимош?.. Как жених стал. Или тут ещё подрезать?..

Гаврила Матвеевич встревожился: неужто и она знает про Ольгу Сергеевну, что ночевала у него в шалаше? Глянул из-под лохматых бровей на невестку — крутит головой; и так и эдак, любуясь его бородой; лицо ясное, без

лисьей Василискиной хитрости в глазах. Не знает, видно, ничего, успокоился дед. Присматриваясь к невестке, заметил на лице её новые морщинки: две в переносье сложились и пошли вверх, и за ушами наметились. Но в остальном лицо ещё было сочным, кожа — гладкой, шелковистой. С девичьей поры остался у неё и ласковый свет в глазах: смотрит, будто хочет руку протянуть и погладить. Да и говорит всегда ласково, как с малым дитём.

— Пап, ты глянь в зеркало-то, глянь...

Гаврила Матвеевич поднялся с табуретки, сбросил простыню и подошел к зеркалу — на него уставился из рамки хмурый, с короткой бородкой молодой мужик. Удивился — и мужик в зеркале глуповато вскинул брови, отвалил челюсть с кучей бородой, а потом и расхохотался.

— Эх-ма, жизнь пошла: ни сохи, ни бороны, ни усов, ни бороды. Тимофей, гляди, как девки тваво батьку обкарнали. Яль это, аль не я?.. — топтался перед зеркалом Гаврила Матвеевич, трогая свою бородку. — И правда, молодец — хоть под венец. Подскажи там, в бригаде, вдовушке какой, может, глянуть...

Тимофей Гаврилович был сдержан в проявлениях чувств и только глаза его, вспыхнув весёлым огоньком, показали, что он разделяет приятное удивление отца. Галина Петровна, довольная тем, что её старания оценили, зарумянилась и смело подхватила шутку свёкра:

— Женишься на одной — других обездолишь. Как им без ласки?

— Неужто пропадут?

— Добрый пастух не о себе заботится, о стаде.

— Э-э, Галинка... Со всего свету не соберёшь цвету. Мне б хоть одну подобрать, чтоб век скоротать.

Признание мужских заслуг льстило. Он выше вздёргивал голову, строго хмурился, стараясь справиться с простодушно-глуповатой улыбкой, которая неудержимо выплывала на лицо, выдавая его самодовольную радость, что крепок ещё телом, не в обузу семье, да вот и утех ещё не лишен. Камешек о женитьбе тоже не случайно бросил: как отнесутся?.. Может, и не выйдет ничего из задумки, так ведь сума — нищему не помеха.

— Что-то долго ты подбираешь, — посмеивалась невестка. — С семнадцатого, кажется? А сейчас сорок первый. Отними-ка, Тимоша, сколько будет?

— Двадцать четыре.

— Ого-го!

— Жениться б не беда, да не идут за меня. Сороку взять — щекотлива, ворону взять — картавита, взял бы сову-госпожу — так сватов не сыскать.

— Вот дед, окаянный, форсит, как молодой, — ткнула его невестка в бок. — Агрофевна-то, наверное, глаза проглядела, глядячи на тебя. Как ни выйду на улицу, всё она сидит на лавочке да на окна твои посматривает. Старая любовь крепко помнится.

Галина Петровна выглянула в окошко, выходящее на улицу, чтоб доказать правоту своих слов; ещё раз посмотрела в окно с раздумьем во взгляде и сказала с непонятным пока беспокойством:

— Зацепин идёт... К нам, вроде...

Тимофей Гаврилович поднялся из-за стола и пошёл встречать свата.

— Один шагает... Не в праздничном... — сообщила Галина Петровна. Повернулась от окна — мужа не было в избе, а Гаврила Матвеевич с неожиданной озабоченностью доставал из сундука свой праздничный наряд — рубашку, брюки-галифе, хромовые сапоги — и швырял их за занавеску на кровать, чтоб переодеться там.

— Галина, ты споро сюда медовуху принеси и водку. А лучше так: графинчик водкой жени и пометь мне его.

— Чего затеял ещё? — Галина Петровна присмотрелась к свёкру и по его спешке, по глазам, хитро блеснувшим сквозь прищурившиеся веки, догадалась — не озорует. И смех Василисы был не просто так — чего бы над бородой смеяться, и закрутился дед сразу, как услышал про Зацепина.

— Пап, что случилось?.. Аль беда какая? — встревожилась она. — С Сашей, наверное? Да не томи душу.

— Какая беда? Чего сомлела? — рассердился Гаврила Матвеевич. Ведь какой народ эти бабы: одной скажешь — хохочет, другой — плачет. А Галинке, пожалуй, и надо сказать всё, решил он. В девках-то бедовая была! — Слушай, Галина. Зацепин зачем пришёл, сообразила?..

— Откуда ж мне знать? — Галина Петровна видела через оконца, что сват уже был во дворе и разговаривал с Тимофеем, хмуро закручивая сигарку. — В гости — рано... О свадьбе если говорить... Так сами виноваты, откладывали... Глядишь, внучонка бы нянчили. А мне хоть сейчас отгулять: напекли-нажарили — хоть отца с матерью жени.

— Вот и погуляем на свадьбе. Только женится не на Зацепиной, а на Иринке Морозовой, — сказал и, предупреждая возглас удивления, шепнул: — Не шуми.

— Да как же?

— А вот так же! Ольга Сергеевна тебе разве ничего не сказала?

— Не-ет. Да что-ж она? Дело-то такое... Как же, а?..

Галина Петровна почувствовала, что совсем запуталась и ничего не может понять. Иринка ведь с Костиком... А Сашка с Надей должен быть...

— А может, тоже не знает ничего?

— Как не знает? Мать-то?..

— Так ведь воспротивится. Вот и сговорились они уходом, — подмигнул хитро Гаврила Матвеевич и подтолкнул невестку к двери. — Потом потолкуем. Ты спроворь мне всё поскорей.

Галина Петровна послушно пошла из избы.

5. Много помнится, да не воротится...

Раздвинув занавеску, Гаврила Матвеевич прошёл к зеркалу, поскрипывая сапогами. В галифе и синей рубашке, чем-то напоминавшей его командирскую гимнастерку с тех времен, когда по левый бок висела у него казацкая шашка, а в правый приятно похлопывал маузер в лакированной кобуре, дед как бы вернулся в двадцатые годы. И шаг стал по-былому быстрый, и взгляд — цепким: глянул в зеркало и прожёт, просверлил мужика с короткой бородой и подрезанными усами.

Разглядывал придиричиво и беспощадно: ну-ка, каков стал? Ещё гладок лицом, так это от сумерка в избе, а на хорошем свету морщин, как на старой мазанке; кучерявый чуб повылез, оголил широкого поката лоб; брови тоже как две приклеенные кудельки, а под ними в задорном голубом сиянье дробинки зрачков: зыркают туда-сюда. Может, и наш петух не протух. Не дамися «рябому». Побалуем. Хоть день, но мой!

Подмигнул себе, отошёл от зеркала и посмотрел в окно: как там мужики? Они курили пока. Тимофей затыгивался не торопясь, с раздумьем. А Зацепин садил, как перед броском в атаку, и этот бросок надо было предупредить. Медовуха нужна!

— Скорей! — крикнул он, услышав шаги невестки. Метнулся к столу, скинул с него на кровать книжки и вытащил на середку избы.

Галина Петровна поставила на стол два запотевших графина медовухи, принялась искать стаканы, и взгляд её прилип к свёкру.

— Про Сашку-то мне... Чего маешь?.. Как быть-то, говори.

— Какой женила?..

— Энтот, — показала она графин, в который вылила бутылку водки.

— Лошадей приведи. И тарантас. Пусть у Федоры стоят до часу.. Водки не жалей.

— Да я...

— Знаю, не жадна.

— Не про то я.. Не по-людски получается.

— Ну, скажи им, скажи. Сто лет смеяться будут, как Валдаев от ворот повернули. Ольга Сергеевна ни в жизнь не согласится, факт. И Зацепины главная заковыка.

— Сами не отдали тогда...

— Закуски нам подбрось, легкой,— оглядел Гаврила Матвеевич собранный стол и направился в сенцы. Галина Петровна не отставала от него, шла по пятам.

— А в чём заковыка-то?

— Должники мы перед ним. Девятнадцатый помнишь? — задержал на ней вопрошающий взгляд Гаврила Матвеевич и кивнул: так-то, мол.

— В революцию всё так было: кто в друзьях, кто во врагах. Да и когда было-то?

— Давно не причина. Принял добро — помни,— отвернулся от неё Гаврила Матвеевич и в приоткрытую дверь следил за мужиками.

— Сколько же помнить?

— А пока живы будем.

— Чего ж хитришь тогда?

Допекла всё же невестка.

— А мне что же, долгами внучат повязать?.. Не судьба им, значит. Силком любить не заставишь.

Глядя во двор, Гаврила Матвеевич прикидывал, что надо первым сделать. То, что Данила Зацепин пришёл не гулять, он высмотрел ещё из окошка. А сейчас увидел, что широкая грудь его под линиялой рубашкой с расстегнутым воротом заколыхалась как во время метания стогов. Весь распал изнутри шел! Вон как садит! Тимофей ещё до половины самокрутки не дошел, а Данила уже обжигал губы, морщился. Сейчас швырнет бычок под ноги и заговорит.. А этого допустить было нельзя. И Гаврила Матвеевич пошёл к ним, скрипя сапогами.

Мужики вскинули взгляды и с удивлением смотрели, держа на лице плывущие улыбки, в которых было и невольное восхищение тем, что не сдаётся старик, — вон ещё какой орел! — и невольная грусть по давно минувшему, и понятная опаска, как бы не настучал кто в НКВД, что, мол, кулак поднялся. Очень уж вольно шагал к ним, как из прежней жизни: подтянутый, по-весёлому строгий.

— Здорово, мужики!

Подступил к подтянувшемуся Даниле, чтоб посмотреть глаза в глаза, забрал его руку поздороваться, сказал напористо:

— Вот тебя-то мне и надо! Пошли ко мне — медовуха есть. Там и поговорим, пока гости не собрались.

— Да я не в гости, по делу зашёл, — упёрся Данила, когда его потянул дед. Тимофей удивился: как это не в гости? Уставился на друга. Гаврила Матвеевич продолжал его тянуть, подшучивая:

— Мешай дело с бездельем, проживёшь век с весельем. — И видя, что не справится с упрямым, рассерженно гаркнул: — Смир-рна! Как стоишь перед ротным?! По-од-тянись!

И Данила, и Тимофей хоть и понимали шутку, но от неожиданности вытянулись, а Гаврила Матвеевич тут же подхватил их под руки и потащил за собой.

— За-а-певай!

*И запел, печатая шаг:
Из-за кочек, из-за пней
Враг валит ора-а-вой.
Гей, казаки, на коней
И айда за сла-а-вой.*

Вошли в избу. Тимофей заулыбался, увидев графины с медовухой, блаженно расправил усы, подмигнув Даниле: мол, гуляем! Данила продолжал хмуриться, прятал глаза.

— Разбирай табуретки,— командовал Гаврила Матвеевич, разливая по стаканам медовуху. Всем троим налил из помеченного графина. Пусть так будет, по первой без хитростей, решил он, потому что выпить предстояло за такое, когда нельзя лукавить. Поднял стакан и сам поднялся, нахмурясь.

— Выпьем за товарищей наших, потерянных на жизненном пути... Сколько их было, а нет уже... Так вспомняем их и себе зарок дадим — чтоб оставшимся крепче держаться друг дружки, не расслаблять дружбу пустяками.

Тимофей с почтением прослушал тост, на минутку задумался, поминая друзей, и выпил медовуху неторопливыми большими глотками; с недоумением почмокал губами, поглядывая в стакан.

Данила с тостом согласился и кивнув каким-то своим тяжёлым мыслям, словно бы отодвинул их на потом. Содержимое стакана махом слил в широко раскрытый рот.

Гаврила Матвеевич тоже выпил, хмыкнул, удивляясь, что не медовуха получилась — динамит, и тут же вновь наполнил стаканы Данилы и Тимофея.

— Матвейч, погодил бы, — заметил Данила.

— Пусть душа радуется, живот ликует, — отшутился дед. Пользуясь заминкой, себе налил из другого графина, чтоб не свалиться раньше поры. — Помнишь, как Телячкин пил из второго взвода?

— Не-ет...

— Да тот, которому беляки кишки распустили... Вспороли брюшину, вывалили ему в фуражку и отпустили. Мол, всё равно подохнет, а заодно краснопузых попугает. Так и принёс их в фуражке...

— Это я помню. Пил-то как?..

— Говорил, бывало: пить надо так, чтобы душа играла, а не дурь. Славный мужик был. Дай Бог ему вечное блаженство на том свете за принятые муки на этом.

Выпили за Телячкина... И принялись вспоминать других товарищей по гражданской; бередили душу разговорами о том горячем, трудном и суматошном времени, оказавшемся самым дорогим и памятным. Что ни вспомнишь — вот оно, встаёт перед глазами, как было, и тут же уплывает, уходит, оставляя щемящую грусть по невозвратному.

б. Суженый, ряженный, приди ко мне ужинать...

Сашка переоделся в офицерскую форму с двумя кубиками в малиновых петлицах, перетянулся широким ремнём с португеей и встал посреди комнаты, задумавшись, как ему выбраться отсюда, не попав на глаза Зацепину.

На кухне звонко гомонила Василиса, хохотала и, словно подыгрывая себе, бряцала посудой; ей вторила мать, а меж их несмолкаемых голосов умещался ещё тоненький голосок племянницы. Их шумная возня, да и вся эта весёлая суматоха, начавшаяся в доме с утра, празднично накрываемый стол, где уже обозначился порядок расставленных тарелок и стаканчиков, разложенных вилок — всё это вызывало у Сашки возбуждающее волнение, которое кружило голову, толкало куда-то мчаться, кого-то обнимать в безудержных порывах счастья. К Иринке, конечно же. Рассказать ей скорей про дедову задумку, уговорить, зацеловать. Но Иринка сейчас с матерью шебечут, к ним рано идти. И к деду не подступиться, у него Зацепин с отцом засели, — видел Сашка, как они молча курили друг против друга, а потом пошли к деду. И тут же в его наполненную радостью грудь вползла холодная тоска тревоги за это своё радостное наполнение. Зацепин пришёл не в праздничном, чтобы гулять, а в домашнем. О них будут толковать. А чего говорить, когда всё кончилось с Надей, всё!..

В комнату вошла мать, вплотную приблизилась, не сводя весёлых глаз.

— Ну... Рассказывай, как невесту воровать станешь. В мешок, что ли, сунешь? — И рассмеялась, довольная.

Сашка притянул мать к себе, стиснул в объятии так, что она аж задохнулась: вон как он девчат тискает, разве ж уйдет от такого.

— Раздавил мать-то... Ну, медведь.

— Мам, он сказал тебе. А ты как?.. Ты согласна?..

— Не мать же воровать будешь, а невесту. Она-то что говорит?

— Об чем шепчетесь? — встала в дверях Василиса, перебрасывая любопытствующий взгляд с матери на брата. Нутром чувствуя, что в доме что-то затевается, она никак не могла остаться безучастной и пошла напролом. — Ну-ка, говорите всё. Нашли от кого секреты прятать.

Сашка смутился от такого напора Василисы, но мать не поддалась, озабоченно нахмурилась:

— Ольгу Сергеевну хочет пригласить, а она говорит, устала с дороги.

— Отдохнёт. — Перевела взгляд на брата Василиса: — А ты что скажешь?

Ответила за него мать:

— Зацепин пришёл. Не хочет с ним встречаться.

Поняв щекотливое положение брата, Василиса рассмеялась и позвала его кивком:

— Пойдем, в окошко выпущу.

Сашка намеревался сразу же пройти к речке, чтобы вкруговую по бережку добраться до дома учителей, где квартировала Ольга Сергеевна с Ириной, но вспомнил обещанное Иринке...

Перебежал в сенцы избы деда и, слыша как за дверью гудят голоса, взметнулся по перекладкам на чердак, под пахнувший прелью и табаком соломенный покров.

Осторожно ступая по рассыпанной золе, отодвигая развешанные для просушки табачные стебли, он прошел за печную трубу. Там выступало вер-

хнее бревно поперечной вязки, делившей избу на две половины. В бревне был дедов тайник — дупло, заложенное такой же старой деревянной втулкой. Покрутив туда-сюда эту «пробку», вытащив её, Сашка принялся извлекать из схорона дедовы тайны — членский билет партии социалистов-революционеров, тщательно завернутый в потрескавшуюся клеёнку, перетянутую просмоленной дратвой. «Когда-нибудь помянут нас, захотят вещички поглядеть», — объяснял дед Сашке, застав его однажды у тайника, играющим с наганом. Наган потом исчез, а партбилет остался.

Был ещё в тайнике свёрток бумаг с непонятными записями и старинная газета «Русь», статья которой в своё время поразила мальчишеское Сашкино воображение. Он развернул сошедшие листы и, напрягая глаза, в полутьме с трудом прочитал: «Дорогие товарищи! Луженовский ехал последний раз по этой дороге. Из Борисоглебска он ехал в экстренном поезде. Надо было убить его именно тогда»... Та самая, удостоверился Сашка и, спрятав свёрнутую газету под гимнастерку, заложив вновь вещи в тайник, так же быстро спустился и выскользнул из сенцев.

Прошагав по тропке вдоль рядков картошки и растрёпанных ещё вилок капусты, мимо наполненных мокрой огуречной листвой лунок, он вышел на берег Сакмары к баньке. Дальше путь его был по-над берегом мимо таких же банек и мостков, выставившихся в светлые воды; выйти к крутояру, от которого резко убегала река, не в силах преодолеть белые плиты песчаника. Тут надо будет разбежаться, взлететь по каменистому взлобью наверх и в последний момент, когда потянет кувыркаться вниз, успеть ухватиться за ветку липы и, подтянувшись, нырнуть в густую тень сада. А там — Иринка. Подхватить её, закружить, зацеловать, запьянеть от её запахов...

Он хотел прибавить шаг, но подумал, что нехорошо среди бела дня торопиться — на огороде ведь у всех на виду, и тут же был вознагражден за осмотрительность.

Впереди увидел дымившуюся баньку, хорошо ему знакомую. И что-то словно отбросило его к воде, за куст ивняка — из-за угла бани вышла Надя Зацепина с вёдрами в руке.

Босая, с подоткнутой высоко юбкой, оголившей во всю высь белые ноги, она вошла в речку и встала на быстрине, разглядывая струи серебрящейся воды. Сквозь ветви Сашка различал на её лице гримасу боли.

— Обо мне думает, — прошептал со вздохом и озадаченно почесал затылок, надвигая на глаза фуражку.

Надя тряхнула головой, словно отбрасывая прилипчивые мысли, зачерпнула вёдра и, выхватив их из воды, пошла к баньке.

«А баба хорошая будет», — подумал Сашка, провожая её косым взглядом. Мелькнула озорная картинка как ещё недавно он бы не упустил момент, тут же нырнул бы за ней в угарную полутьму, а там бы она забилась в его руках, сердчая и обмякая под поцелуями на полке, не раз им служившей ложем. Только теперь тому не быть, решил он, и чтобы не разжигать себя попусту, достал газету дочитывать про дедову любовь.

«...Надо было убить его именно тогда. Я пробыла на одной станции сутки, на другой тоже и на третьей двое суток. Утром, при встрече поезда, по присутствию казаков, определила, что едет Луженовский. Взяла билет рядом с его вагоном. Одетая гимназисткой, розовая, весёлая и спокойная, я не вызывала никакого подозрения. Но на станции он не выходил.

По приходе поезда в Борисоглебск жандармы и казаки сгоняли с плат-

формы всё живое. Я вышла и с площадки вагона сделала выстрел в Луженовского, проходившего в густой цепи казаков.

Обалдевшая охрана в это время опомнилась; вся платформа наполнилась казаками, раздались крики: «Бей! Руби! Стреляй!». Обнажились шашки. Когда я увидела сверкающие шашки, поняла, что пришёл мой конец, и решила не даваться живой в руки. Поднесла револьвер к виску, но, оглушенная ударом, упала. Удар прикладом отозвался сильной болью во всём теле. Казачий офицер, высоко подняв меня за накрученную на руку косу, бросил на платформу. Я лишилась чувств».

Сашка перевёл дыхание, отыскивая взглядом, с кем бы поделить своё восхищение отвагой революционерки. Так вот какая у деда была любушка, вспомнил он слезинку, прокатившуюся из глаза деда. Когда-то давным-давно Сашка читал эту статью, но только сейчас мог примерить её поступок к себе, прочувствовал и понял силу её духа. Против режима! Одна!

Надя перестала таскать воду и застряла в баньке — должно быть, подправляла топку. Уйдет она или нет, нервничал Сашка. Перевёл взгляд на зелень сада поверху крутояра, и показалось, увидел Иринку. Ему бы туда поскорее, а приходилось отсиживаться, чтобы не попасть на глаза другой... И злость разбирала, и дурашливый смех. Опять уткнулся в газету.

«...В полицейском управлении была раздета, обыскана, отведена в камеру холодную, с каменным полом, мокрым и грязным. В камеру пришел помощник пристава Жданов и казачий офицер Аврамов. Они допрашивали и были виртуозны в своих пытках. Они велели раздеть меня донага и били нагайками. «Ну, барышня (ругань), скажи зажигательную речь!». Один глаз ничего не видел, правая часть лица была страшно разбита. Они нажимали на неё и спрашивали: «Больно, дорогая? Ну, скажи, кто твои товарищи!». Я назвала лишь себя, сказала, что я социалист-революционерка и показания дам следственным властям; то, что я тамбовка, могут засвидетельствовать прокурор Каменев и жандармы. Это вызвало бурю негодования. Они давили мои ноги своими сапожищами и приказывали: «Кричи! Ну что ж это за девчонка — ни разу не крикнула! Нет, ты закричишь, мы насладимся твоими мучениями, мы на ночь отдадим казакам. Впрочем, — сказал Аврамов, — сначала мы, а потом казаки...».

Надя все-таки ушла. Вошла ещё раз в речку и, зачерпнув с коромысла ведрами воду, пошла огородами к своему дому.

Свернув и спрятав газету, Сашка устремил взгляд на сад, густо разросшийся на крутояре, где ждала его тонкая, изящная девушка с длинной косой и, наверное, с таким же отчаянным характером. Вспомнилось как вчера, устав от поцелуев, она теребила его губ и шептала:

— И ты станешь моим мужем... Подумать только, мой!.. Муж!.. Странно как-то... А если бы тогда не подошёл, не сел рядом, то стал бы... чужим... мужем...

«И хватит! — прикрикнул на себя Сашка.

Вполне степенно он прошёл за бани. Разбежался... Взлетел на кромку обрыва, ухватился за ветку — дерево сердито прошумело листвою. А когда встал в рост, натолкнулся на испуганный и растерянный взгляд Ольги Сергеевны.

На том месте, где на скамеечке целовались они с Иринкой до утреннего светания, стоял стол, заваленный городскими сладостями, и Ольга Сергеевна с дочерью пили чай. Видимо, это было их любимое место, открывавшее вид на огороды, луга за Сакмарой и хлебные поля, протянувшиеся до пойменного бора.

— Саша?! — поразилась Ольга Сергеевна.

— Здравствуйте, Ольга Сергеевна! — откозырял он.

Иринка прыснула и тут же закашлялась, сделав вид, что поперхнулась чаем; черные глаза её метали лукавые взгляды на растерявшуюся мать и обескураженного жениха.

— Как же вы? Там обрыв... — Ольга Сергеевна отказывалась верить, что можно подняться в их сад по почти отвесной стене крутояра.

Уверенная в его недоступности, она позволяла Ирине... Боже мой, пронзила её пугающая мысль, напомнив, как однажды утром обнаружила пустую и даже непримятую постель дочери и поверила её смущенным объяснениям, что ей не спалось и она просидела всю ночь в саду. Уж не с ним ли, — вцепилась она взглядом в старшего внука Гаврилы Матвеевича... Неужели?.. Да как же?.. Она ведь дружит с Костиком!.. Нет, я с ума сойду, — обомлела Ольга Сергеевна, вдруг сразу поняв по спокойствию веселившейся дочери и лейтенанта, по их понимающим взглядам, что тут давно всё привычно и только она нарушила образовавшийся порядок. Это значит, выходит...

— Там ветка свисает... Вы извините, что я так... Дурная привычка детства, — объяснял Сашка. Он понял, что влип, раскрыл их с Ириной секрет и, не найдя лучшего решения, с напускным простодушием рассказывал, как они с братом, мальчишками, лазили в этот сад за яблоками, когда ещё здесь жил бывший директор школы. — Ольга Сергеевна, а я же по делу пришёл. Пригласить вас с Ириной на проводы. Очень прошу.

— Спасибо, Саша. Твоя мама уже пригласила меня, — ответила Ольга Сергеевна, выделив интонацией последнее слово и глядя на дочь: как отнесётся к такому уточнению? А она даже не услышала его. Смотрела на них и хихикала. И одернула себя: «Да что это я, в самом деле?.. Дочь свою не знаю?.. Ребёнок ещё... Льстит ей, конечно, как девчонке... Но завтра уедет он, и всё войдет в свою колею».

— Саша, я вам чашку принесу. Попьете с нами чаю, — поднялась Ольга Сергеевна из-за стола и пошла к дому, чтобы привести в порядок мысли.

Как только Ольга Сергеевна скрылась за кустами, Ирина выскочила из-за стола, вскинула руки, и он подхватил её, обнял и закурил, целуя.

— Почему ты не шёл так долго?

— Не мог, понимаешь...

— Нет, — мотала она головой, отворачиваясь от его ищущих губ. — разве тебя в цепи сковали, в колодец кинули, камнем придавили, чтоб ты не мог прийти за весь день?!

— Деду сказал про нас... Говорит, воровать тебя надо. Ольга Сергеевна добром не отдаст.

Иринка перестала мотать головой, уставилась на него с восторженным ужасом в глазах. Верила и не верила тому, что он сказал сейчас, а поверив испугалась, что такое случится: « как же тогда мама?!». И ещё больше пугалась того, что может не случиться то, о чём он говорил сейчас, к чему была она готова, хотя и не сказала слов согласия, не веря всерьез, что всё это может быть.

— Уходом... — это как дед твой поёт?

— Только на тарантасе.

— На тарантасе не хочу! На санях, и с коврами! И чтоб верные кони. Вороны!.. Вороных не догонят..

— Ты обязательно должна прийти на проводы.

— А то другую украдёшь?..

* * *

Ольга Сергеевна достала из навесного шкафчика фарфоровую чашку с нарисованными пухленькими детьми и остановилась посреди кухни, поражённая мыслью, что взяла для него самый дорогой в их доме предмет — один из немногих, оставшихся от прежней жизни.

Этот сервиз привёз муж из Германии, когда ездил принимать электромоторы для завода. Как сохранилась у них эта чашка, Ольга Сергеевна не помнила. Всё, что было у них, забрали после ареста мужа. Приказали освободить и казенную квартиру. А через неделю из справочного тюремного окошечка, к которому она приходила, как на ежедневную молитву, сообщили, что муж скончался, похоронен. Ей вернули его очки с погнутой дужкой и треснутым стеклом, как вещественное доказательство — покойникам очки не нужны. И они с Ириночкой тоже оказались никому не нужны в этом чужом и страшном городе, спешно уехали куда подальше. Скитались долго, пока не забрались в эту глухомань.

Смысл жизни Ольга Сергеевна видела в своей дочери. И вдруг.. Вдруг увидела, что дочь стала взрослой. И всё перевернулось, стало тревожно, неопределённо, беспокойно.

Ощущение это появилось с той минуты, когда она впервые увидела Сашу. Возле хлебного амбара, где собиралась летом молодёжь, он сидел в расстёгнутой гимнастёрке, играл на баяне и, сверкая глазами, выкрикивал озорные частушки пляшущим девушкам и парням. Одна из девчонок плясала в его фуражке, и резвей всех отзывалась частушками. Это была дочка Данилы Зацепина, с которым дружили Валдаевы и должны были породниться, поживив плясунью с баянистом.

Знала Ольга Сергеевна, у других парочек здесь тоже был свой частушечный разговор. И в этом выяснении отношений плясуны дошли до предела какого-то дикого азарта. Слова частушек заменялись подвизгиванием и лихим посвистом, все тряслись в вихрях взвивающихся косынок и платков, а ещё взбитой ногами пыли.

Разглядывая баяниста, Ольга Сергеевна подумала, что таким, должно быть в молодости был и Гаврила Матвеевич: азартный, дерзкий, озорной. Но то, что она принимала у деда, никак не могла допустить в его внуке, заявившем претензии на её Ирину. Нет и нет! — решила она быть твёрдой. Сменила чашку на стакан с подстаканником и вышла во двор.

Еще издали, сквозь ветви деревьев, она увидела, что Саша читает газету, а Ирина плачет. Подошла.

— Мамочка,— вскинулась Иринка,— здесь написано про невесту Гаврилы Матвеевича, как её мучили.

Ольга Сергеевна взяла газету, поданную Сашей на её молчаливую и встревоженную просьбу. Тревога появилась, как только она увидела дореволюционное происхождение газеты. Машинально скользя по тексту с твердыми «ъ», она была во власти представлений, одно страшней другого, и вдруг слышала слова дочери:

— Моего папу тоже арестовали... И убили в тюрьме.

— Что ты говоришь, Ирина? — подняла на дочь умоляющий взгляд Ольга Сергеевна. — Твой папа умер в тюрьме, он не враг народа, он бы доказал это, если бы...

— Деда тоже арестовали, — хмуро сказал Саша. — И били... А у него рана

на голове. Беляк рубанул... Дядю Колю — убили... Сначала их раскулачили, а когда он сбежал — подловили здесь и убили.

Покачивая головой — ведь какие дурачки оба! — Ольга Сергеевна заметила строго:

— Вам лучше не знать ничего этого...

— А как же не знать? — пожал плечами Саша. — Невозможно.

— Возможно, Сашенька. Может, в этом ваше спасенье.

— Мама, но она же — революционерка...

— Да... Но вы не знаете всего... Спрячьте эту газету подальше и никому не показывайте. Или нет, отдайте её мне. Я сама...

Растерянный вид Ирины и Саши требовали от неё какого-то объяснения, а это «объяснение» было таким же страшным, как статья, за хранение которой...

— Вы проходили Кронштадтский мятеж?

— Да, — сказала Ирина, переглянувшись с Сашей. И он кивнул.

— Так вот... Эта статья... — сворачивая газету, объясняла Ольга Сергеевна, — о Машеньке Спиридоновой... Потом она возглавляла партию социалистов-революционеров. Эсеров... Они подняли восстание в Кронштаде против большевиков.

Ирина побледнела. Ей не надо было долго объяснять, чем грозило приобщение к таким личностям. В глазах Саши тоже пропал блеск, они стали — выжидающе-медленными, насторожёнными. Вот и хорошо, если понимают, решила Ольга Сергеевна и кратко рассказала им всё, что положено говорить о предательстве эсеров, о троцкистско-бухаринском заговоре. Попугала ещё чем-то страшным, но, видимо, перестаралась, потому что Ирина принялась потчевать Сашу чаем, заставляя пробовать привезённые сладости, и всё поглядывала на мать с видом горделивой повелительницы послушного её воле человека.

— Попил чай. Теперь — иди.

— Ириночка! — укоряюще заметила Ольга Сергеевна.

— Мама, но нам же собраться надо.

Саша выскочил из-за стола зарумянившийся, поблагодарил с поклонами и хотел уже нырнуть в листву к обрыву, но был остановлен Ириной, повернут к дому и отведён ею к калитке.

Вернулась Иринка, осиянная счастьем.

— Мамочка, он тебе нравится?

— Нравится, но...

— Он меня любит.

— Разве?..

— Да!.. Да!.. Так удивительно...

— А ты?..

— И я!..

— Кого же? Не пойму...

— Его!.. — призналась Иринка торжествующе. — Так удивительно!

— Мне тоже... — пыталась спрятать свое раздражение Ольга Сергеевна.

— И когда же произошло это чудо? Три дня назад...

— Четыре... Так интересно!.. Он играл на баяне. Все плясали, а я сидела на бревнышке, смотрела. Потом он бросил играть, подошёл ко мне и дал горсть семечек. И мы вместе сидели.

— На бревне?!.

— У амбара... Там же нет скамеек.

— И грызли семечки?
— Да, мамочка. Они вкусные, ты напрасно не позволяешь их грызть.
— Погрызли семечки и поняли, что любите друг друга, — усмехнулась Ольга Сергеевна. — А ты знаешь, что он с Надей Зацепиной...
— Знаю, — прикрыла ей рот ладошкой Ирина. — Я всё знаю, мама...
— Тогда я должна помочь тебе. Мы не пойдём к ним.
— Я пойду, мама. Даже если ты закроешь меня на замок, прикуёшь цепью, во дворпустишь голодных собак — я всё равно убегу.
— От Гаврилы Матвеевича научилась этим присказкам?
— Ага. А он тебе тоже нравится? — вскинула на неё испытующий взгляд Ирина, и Ольге Сергеевне стало не по себе от вопроса.
— Речь не о нём сейчас... У нас с тобой никого не осталось. Только ты и я...
— Знаю, знаю, — остановила её Ирина, целуя. — На всём белом свете — ты и я. И ещё он, мой суженый.

В таком тоне Ольга Сергеевна не могла продолжать разговор. Поняла, что надо проявить мудрость, выждать время. Ведь завтра он уедет. Поскорее бы наступило это «завтра».

* * *

Данила скоро охмелел и обмяк. Пришёл он после работы, не поужинав дома, и медовуха разобрала его, расслабила. Сидел он вольно расставив локти, одной рукой подпирал щёку, горюя о прошедшем, другой держал стакан, который Гаврила Матвеевич не забывал наполнять.

Гаврила Матвеевич хоть и лукавил, но только ради того, чтобы не потерять Данилу, потому что любил его. И был бы рад породниться с ним, хотя и без того считал Зацепиных родными. С того света вызволил их с Тимофеем Данила. Всей жизни оставалось им как раз на то, чтобы расстрельщикам вскинуть винтовки...

Вспомнил Гаврила Матвеевич, как поднялись они против них, топорщась заточенными штыками: одна — напротив сына, вторая — на него направленная. Эта — с блестинкой на скосе штыка. Видать, аккуратным был беляк, не просто шаркнул напильником по острию, а мелким бруском прошёлся, чтобы горело на штыке маленькое солнышко... Ах, как помнилось оно, как забирало в себя весь простор неба... И вдруг упала винтовка, ткнувшись штыком в землю, а рядом рухнул солдат. Второй солдат, стоявший против Тимофея, оглянулся на выстрел, стал прицеливаться в сторону... Не дал ему стрельнуть Гаврила Матвеевич, обрушился на солдата. Руки были связаны — бил ногами, головой, давил телом, зубами рвал. Пришёл в себя и пособил Тимофей; выбил ногой винтовку. Подбежал Данила и довершил дело.

Занявших село беляков не встревожили истошные крики и выстрелы на огороде: на расстрелах всегда так. Данила срезал веревки с их рук, споро стянули с убитых сапоги, забрали винтовки, под сумки и — ищи ветер в поле.

Вот такой он был Данила Зацепин. Не мужик — орёл, и нос орлиный с малой горбинкой, и руки, как крылья на большой размах. По правде бы, нехорошо с ним лукавить, размышлял Гаврила Матвеевич. И в открытую говорить — не поймёт сразу: горяч. Взорвётся — пыль до потолка. А чего нам ссориться, когда дети не полюбили друг дружке. И Гаврила Матвеевич притянул к себе Данилу, поцеловал в губы и прижался головой к голове. Подумал, что совсем стар стал, на поцелуи потянуло. А хоть бы и так, согласился он, — никуда не деться от неминуемого.

Часть вторая. СОТВОРЕНИЕ СЧАСТЬЯ...

1. Пошла изба по горнице, сени по палатам...

Гаврила Матвеевич снял со стены гармонь, перекинул через плечо истёртый её ремень и побежал пальцами по белым планкам, бросив по избе перебор.

Музыка заполнила тесную избу, потребовала простора, и дед поднялся с табуретки, бросив мужикам:

— Айда на волю!..

Пошел во двор и за ним, покачиваясь, пошли в обнимку Данила и Тимофей.

В сенцах гармошка притихла на момент, а на дворе рванулась во всю мощь, и пошла, закрутилась, завертелась над селом разгульная и торжествующая мелодия, извещавшая, что у Валдаевых пошла гулянка. Всякий слышавший сейчас эту начальную игру невольно улыбался и завидовал, если не был зван на всегда весёлое гулянье, а званые торопились надеть праздничный наряд, чтобы идти на зов музыки, так как знали — заиграла гармошка, надо быть там.

Из окон нового дома выглянули Василиса с Настенькой. И Галина Петровна вопрошающе уставились на деда: мол, чего так рано начал, не готовы ещё как надо бы... Гаврила Матвеевич нарочито не замечал Василисин взгляд, а глянув на невестку, перевел взгляд на соседский двор, где должна стоять лошадь. Галина Петровна сдёрнула фартук и заодно кивнула, показывая, что всё будет, как ей сказано.

Играл Гаврила Матвеевич, стоя посреди двора, оглядывая через жерди изгороди деревенскую улицу. На ней показались первые гости — сваты. Сухой и маленький Петька Сморчков, по-нынешнему Петр Герасимович, и его дородная Клавдия Афанасьевна. Вышагивали посреди улицы, чтобы все видели, что идут самые главные гости. Хоть и много пакостил Сморчков, но Гаврила Матвеевич простил его, рассудив, что прожитого не вернёшь.

Подшли. Поздоровались. Клавдия Афанасьевна прошла в дом, а Петр Герасимович насутился и с таинственным видом заявил, озираясь:

— Всю Европу забрал немец. Куда теперь пойдет?

— На нас не сунется, — попытался подняться с заваленки Данила, да вновь осел, дивясь:

— Эж! Вот так медовуха. Не подняться никак...

— А я вот слышал намерении в Драбагане... — приглушил голос сват, опасливо глянув по сторонам. Но Гаврила Матвеевич не дал ему рассказать про услышанное.

— Врут!

— А ты почём знаешь, что врут, — обиделся Сморчков, вскинул голову. — Я ещё не сказал ничего.

— А потому... Арестовали вчера в Драбагане двоих, — грозно глянул на него Гаврила Матвеевич. — Теперь третьего ищут, который с ними Гитлера материл. Не тебя ли?..

— Ты что?! Я и не был там... С прошлого года... — трусливо залепетал Сморчков, и кадык его заходил вверх-вниз. — Я про буржуев, про англичан. На них, наверно, направится, не на нас.

— Договор у нас с немцами, — авторитетно рассудил Тимофей. — И фашисты — как социалисты наши. И знамя как у нас, красное.

— Во-от! — обрадовался Сморчков и недовольно покосился на свата.

Гаврила Матвеевич удивлённо крутанул головой: ещё сердится болтун. И вновь заиграл.

А потом повалил народ. Женщины степенно проходили в дом, вроде бы помогать хозяйкам, а мужчины оставались во дворе покурить да послушать игру Матвеича. Парни сбивались вокруг Сашки и тоже дымили папиросками, подтрунивали над ним:

— Саш, а наган-то у тебя есть? Дай пальнуть.

— Нет у него нагана, кобура пустая.

— А как же: границу охранять без нагана? Вдруг нападут самураи? Вооружить надо, — предложил Петька Сапожков, златоглавый и осыпанный веснушками. Он подмигнул ребятам, предлагая поддержать шутку, — Я недавно нашёл в кладовке самопал, из которого воробьев стреляли. Может, возьмёшь? Не убьёшь, так напугаешь.

— Бери, Сашок. В кобуре не видно, что деревянный.

— Он в кобуру Надькин кисет сунет, — сказал долгий Степан, прозванный так за высокий рост. Степан соперничал с Сашкой из-за Нади и, видимо, продолжал её любить. Смотрел с ревностью и с тайной надеждой услышать подтверждение пробежавшим по деревне слухам.

— А лучше ложку, какая побольше, — добавил Федя Сурков, увалистый, как бычок, парень.

Друзья посмеивались над Сашкой, а он, морщась от дыма папиросы, прятал за этой гримасой своё счастье и тревогу; не глядя на улицу, ждал, когда на ней появятся Иринка и Ольга Сергеевна. Знал, что спиной и затылком почувствует их приближение. Но вдруг уловил нечто тревожное. Оглянулся и натолкнулся на колкий взгляд Нади, входившей во двор с группой взявшихся под руки девчат и с Костиком посередке их связки. Брат отворачивал свой взгляд, не желая его видеть, и задиристо торжествовал: мол, ты не пригласил Надю, так я её привел, получай, и не лезь к другим девчонкам.

Парни тоже поняли щекотливость положения Сашки и, притихнув, поглядывали на него и на приближавшуюся Надю: она не сводила с него ледяных глаз.

Сашка суетливо зыркнул взглядом в одну сторону, в другую — а куда бежишь?.. На лбу выступил пот. Смахнув его ладонью и — была не была — радушно рванулся навстречу девчатам:

— Наконец-то! Дед уже час пилит. Танцуем, девчата. И чтоб каблуки не жалеть.

Говорил и говорил, улыбками рушил и осыпал осколки Надиных ледяных взглядов, расшвыривал стрелы обид и невысказанных претензий. И добился своего, увидев в глазах её проблески задумчивости. Заметил, что и пошатающийся дядя Данила, отец Нади, поглядывает на них с удовлетворенным благодушием. И друзья заулыбались с восхищением: ло-о-вок!

Девчата принялись показываться, привлекая внимание к себе словом, взглядом, выразительным жестом, который волнует парней сильнее всяких слов. Пошла обычная толчея и Сашка поторопился развить свой первый успех, увести Надю подальше от опасной грани.

— Костик, носи патефон. Правда, пластинок у нас маловато. Вера обещала захватить. Забыли, девчата?

— Что вы, Александр Тимофеевич. Мы ничего не забываем, — ответила за подругу Надя, подчёркивая каждое слово так, что все вновь насторожились: что-то будет сейчас.

Вздёрнув носик, подобрав губы и прищурившись, Надя взглянула на Сашку так, словно готовилась вlepить ему пощечину и искала для этого повод. А он-то знал, что с её вольным и своенравным характером она сделает задуманное в любой момент.

И вот колыхнулась её грудь под натянувшимся крепдешином, купленным к их свадьбе, и рука пошла вверх как для размаха. Мелькнула мысль повернуться к ребятам, призвав их танцевать, пока играет дед — со спины-то не будет бить. И не смог этого сделать, замороженный медленным подъёмом руки. Она поднималась всё выше, выше. Пока пальцы не коснулись укладки на голове — аккуратных завитушек, придававших её лицу выражение кошачьей покорности. И он увидел, что она прощала его... И отдавала себя в полное его распоряжение, надеясь на благородство. Но сама — знал он, в любой момент сбросит с себя наигранную покорность и взбесившейся кошкой вцепиться в лицо — чтоб не заглядывался на других.

— Надя, потанцуем, — подхватил он её и под музыку деда закружил по двору.

* * *

Новый дом хоть и большой был, но всех гостей вместил с трудом. Расселись за длинным столом, поставленным через две комнаты, шутили, что хоть и в тесноте, но — с таким угощением — не в обиде. А Валдаевы хозяйки и вправду не поскупились: напекли-наварили всего — душа радуется. А тут и удивиться было чему: в центре стола лежал в блюде сом с красными раками на его черной лоснящейся спине, а вокруг рыбины, в глубине холодца просматривались стайки пескарей. Восторгам и оханьям не было конца. Хвалили деда, поймавшего такого бугая, но больше всего досталось похвал Василисе, сотворившей этакую красоту.

— Ай да Василиса! Вы гляньте, пескари-то плывут!..

— Вареные-то?..

— Да как живые, глянь-ка!..

— Так осетров заливали, — сказала с грустинкой Ольга Сергеевна дочери. Ирина вопрошающе глянула на Гаврилу Матвеевича.

— Мужики — пескарей да сомов, дворяне — осетров, — подтвердил он, вспомнив кухмистерскую графа Потуремского, у которого приходилось видеть заливных осетров на серебряных блюдах.

Горделиво подумал дед, что вот и пришёл на мою улицу праздник. Вокруг родня и самые близкие. И радость новая — пошли внуки в большую жизнь, забродили, как молодое пиво. Сейчас может такая комедия закрутиться — до конца жизни смеха хватит. Вот только Ольга Сергеевна, — покосился на неё, — пришла сердитая, с ней нелегко будет. Она сразу попыталась подступить к нему с вопросами, но явно смутилась, увидев его парадный вид.

А он не упустил момент, тут же повёл всех, и её с Ириной, за стол. Пока пусть подивятся, а потом пить начнём, плясать... Уведём у тебя глазастую, распаялся Гаврила Матвеевич, и чувствовал себя сильным, ловким, бедовым. И что это говорят про старость? Вон они, молодые-то, ведь зелень зелению, ни в чем смака не знают. Не будь «рябого», какая бы жизнь пошла! Но про это — потом...

Он оглядел гостей, сверкнув глазами, и поднял стакан, готовясь огласить тост.

Шум понемногу стих. Все расселись, наполнили стопки, рюмки, стаканы.

- Говори, дед.
- Провозглашай.
- За здравие, что ль?

— И за здравие, и за память выпьем, — сказал Гаврила Матвеевич. — Медовуха своя, пей сколь хошь, чтоб душа играла — не дурь. А сказать я вот что хочу.. — помедлил он, собираясь с мыслями, глянул на одного внука, на другого — остановился на старшем. — Не хотел я, чтобы Александр в армии служил. Крестьяне мы, и должны на земле стоять крепко. Но, видать, надо... Так что служи, Александр Тимофеевич, праведно. Такой тебе будет наш наказ.

— Вот это... Точно, — попытался подняться отец для напутствия сына, но его уже развезло. — А чё... никак?..

— А Константину Тимофеевичу так скажу, — продолжал дед. — Оч-чень нам агроном нужен. Учись, Костенька. И где бы вы ни были, кем бы ни стали — помните: любовь не купишь и тоску не продашь. Не товар, видишь ли, чтоб ими торговать. А здесь у вас остаётся самая большая любовь. Покуда мы живы. А уйдём — печаль вам останется. За то, чтобы поняли это, и выпьем по первой!

— Ох, правильно, папа! — рванулась Галина Петровна с поднятой стопкой, чтобы чокнуться с ним, плеснула медовуху и, не глядя ни на кого, заговорила, торопясь, как недавно ездила в Ростов к сестре, хорошо гостевала, а её всё назад тянет, к ним вот ко всем, что всех-то она любит, готова расцеловать каждого.

- Кума, начинай с меня!
- А я, вот он — ближе!

Засмеялись, заговорили разом, а выпив, принялись дружно закусывать, приговаривая:

- Ох, хороша!
- Винегретику?..
- Это я уважаю.
- Нам тоже сомятинки.

— Вася, ну что ж ты одну зелень крушишь, — выговаривала Василиса мужу. Зыков смущённо улыбался, а она накладывала ему на тарелку куски мяса.

— Побольше клади, — посмеивался через стол Поляков Виктор, когда-то ухаживавший за Василисой. Подмигнул ей: — Когда мужик мясо ест, у него кровь играет.

- А я гадала, с чего Валентина твоя вчера плакала? Мяса, значит, не поел.
- Ха-ха-ха...
- Вот резанула, Васька. Вповал!

Шумело, бурлило застолье. А Гаврила Матвеевич уже требовал наливать по второй. Упрашивать не пришлось. Медовуха есть медовуха, бражка на меду. Пьёшь как сладкий лимонад, голова ясная, а перепил — ноги не поднимать. Тимофей, кажется, готов, — отметил Гаврила Матвеевич и поглядывал на Данилу: как этот? Крепок, чорт.

Пили за родителей. И за деда выпили. Потом за тех, кого уже на свете нет, пили, и за то, чтобы не было войны.

- А можно, я скажу? — поднялась со стаканчиком Ольга Сергеевна.

— Говори сколь хочешь. Слово не заказано.

— За счастье наших детей! — заговорила Ольга Сергеевна по-учительски твёрдо, так что сразу стих весёлый говор сначала в первой комнате, затем и

во второй. — За то, чтобы были они счастливее нас, родителей. И лучше нас. В этом же смысл жизни. Иначе зачем жить?

— Ну да... — кивнула Галина Петровна, на которой остановился взгляд Ольги Сергеевны. Только куда ж она клонит?..

— Учиться им надо. И Косте, и Саше, — разясняла Ольга Сергеевна, увидев в направленных на неё взорах немой вопрос. — Институтом и училищем учение не кончается. Надо дальше идти. Я говорю это потому, что знаю незаурядные способности Константина. Он может стать ученым — как Мичурин. И Саше надо поступать в Академию красных генералов, чтобы стать командующим.

— А что, и станет! Генералом! — пьяно бухнул по столу кулаком отец и грозно уставился на Сашку: станешь, нет? — Вон твой дед ротным стал. По-онял?! В действительной не служил, а нами командовал. Данила, я правильно говорю? Во-от... Прадед у нас был суворовский солдат. А ты чтоб — генералом!

— Жми, Сашка, до генерала!

— Выпьем!

— Учиться надо! — веско заметил ещё больше покрасневшийся от медовухи Зыков. Это были его первые за всё застолье слова. Прозвучали авторитетно и все прислушались, что ещё скажет директор МТС.

— А жениться когда? — бухнул в тишине Данила Зацепин и пьяными глазами уставился на Зыкова. — Всё учиться да учиться. Хватит, чать. Ребяню надо рожать.

— Никак, Данила жениться вздумал! — притворно изумилась Галина Петровна и принялась шуточно теревить Зацепина. — Ой, радость-то какая! На свадьбе гульнём! А я думаю-гадаю, почему один пришёл, без Дуси. Бросил старую. Правильно! Позолоти ручку — вот такую сосватаю...

— Чего ты... — растерялся Данила. — Я про молодых. Им надо...

— Молоденьку подберу.

— А где Дуся-то? — подключилась к розыгрышу Василиса. — Аль не привёл?

— Да зачем ему теперь Дуся? — не унималась Галина Петровна.

— Правильно, Данила. Пей вино — не брагу, люби девку — не бабу.

Обе женщины задёргали, закружили Данилу, увели от опасного разговора и стали уговаривать идти за женой, потому что нехорошо получилось, что её нет со всеми, ведь все гулянки вместе гуляли и сейчас думали, что она тут, а раз нету — надо вести скорей. С трудом стали поднимать из-за стола Данилу.

Гаврила Матвеевич помог им, а потом взял в руки гармонь и бросил по избе перепляс, как горох сыпанул по полу.

И тут же нашлись каблуки. Василиса первой простучала по доскам, значительно выкрикнув:

*Пой-ду плясать,
Только пол хрустит;
Наше дело молодое,
Пусть отец простит.*

Поддержал Василису Петька Сапожков. Он с пристуком прошелся вдоль стола, взмахивая рукавами и похлопывая ладонями по бокам, по голенищам сапог. И тут же вошла в танец Надя Зацепина. Вошла гордо, со статью

победительницы, привыкшей задавать тон на деревенских гулянках. Она прошла шажками, отчего мелко задрожала, словно от нетерпения, ещё не показывая, а только давая угадать силу и страсть своего красивого и сильного тела. Прожгла взглядом Ирину, скромно прижимавшуюся к матери, и, не принимая её всерьёз, с насмешкой отвела взгляд, поглядывала на Сашку. Он насторожился и поднялся. И, видимо, не хотел такого её торжества перед Ириной. А Надя, интуитивно понимая его состояние, ещё краше расцветала в танце, становилась уверенной, бесшабашно-весёлой.

Гаврила Матвеевич наяривал на гармонии, любясь девонькой. Ах, как была она хороша! Вот невестка, другой бы и не надо! Но что ты с ними поделаешь, раздумывал он и перевёл взгляд на Ирину. И тоже хороша. Ведь знает, что соперница, а любит танцем. Видать, другая начинка. Ну, так и будет пусть, как задумал. Им виднее.

Петька пошел в присядку, но Надя как бы не замечала его, ждала другого танцора. Взявшись за углы косынки, накинутой на плечи, она часто-часто застучала каблуками, глядя на Сашку: так выйдешь?!. Ну, что же ты?!

— Всем плясать! — скомандовал дед, прекращая это стрельбище. — Привстал с табуретки и объявил: — Кто всех перепляшет, получит премию. Во! — направил палец на патефон, стоящий на пузатом комодике... — Отдам! Все слышали?..

— Все...

— Что отдаст-то?..

— Патефон отдаст, говорит.

— Ого!.. Так я...

— Не обманешь, дед?!.

— Я-то?.. Забирайте! — широко махнул Гаврила Матвеевич, чтобы уносили патефон.

Только Гаврила Матвеевич мог выкинуть такое коленце. А как домашние? — понеслись взгляды с одного на другого. Тимофея Гавриловича развезло так, что он уже не соображал, о чём шёл разговор; Зыков улыбался блаженно — словно не их вещь отдавали; Галина Петровна хоть и ахнула в душе — отдать патефон! Да их на всю деревню всего-навсего два, но виду не подала и даже махнула рукой: не жалко... А вот Василиса позеленела от досады. Сняла с комода патефон, держала в руках и, видно было, боролась с собой: отдать или?.. Поймав насмешливый взгляд деда, пересилив досаду, объявила:

— Получит, кто перепляшет меня. Пошли на двор, чтоб всем места хватило.

Такая премия кого хочешь поднимет. Вывалились из дома и пошла пляска посреди двора под баян с приговорками да с припевками. Играл Сашка. Воспевали — кто горазд, кому было что огласить.

*Пропляшу я сапоги,
Самые носочки;
Поглядите-ка, отцы,
Как гуляют дочки.*

— И-и-и-и-и... — звенел восклицающий визг. Пели девушки и бабы, иногда откликался мужской голос — начался частушечный разговор с признаниями, намёками, обидами и укорами о том, чего не скажешь открыто, а тут — понимай, если не дурак.

*Что ты, вишенька, не зреешь,
Аль в засонии стоишь?
Что ты, милый, редко ходишь,
Али дома с кем сидишь?*

Частушку пропела Тоня Петрушина, и тут же Оля Чижнова подала голосок:

*Если любишь, так — признайся,
Дорогой, любовь — открой.
А не любишь — не касайся,
И меня не беспокой.*

Обе своим парням пропели, а Вера Скопцова — Петьке Сапожкову, чтоб не приставал к ней:

*Снежки белы, снежки белы —
Без дождя растаяли;
Всех хорошеньких — забрали,
Шантропу — оставили.*

Петька не в убытке, посмеялся и в ответ пропел:
*Что, кукушка, не кукуешь?
Тебе время куковать.
Что же нашим девкам делать?
Парней хаять, разбирать.*

А вот и Надя подала голос:
*Под окном берёза вянет,
На берёзу глядя — я;
Милый гостью завлекает,
Чем же хуже гости я?*

И опять она:
*Говорит, что я не бела.
Что же делать, дорогой.
Гости — красятся, белятся.
Я же — моюся водой.*

Пока молодежь плясала во дворе, соревнуясь за премию, в избе развлекалось старшее поколение. Пили и закусывали. Говорили кто про что... Гаврила Матвеевич заиграл на гармошке, припевая:

*Закатилось красно солнышко
За горы, за туман.
Меня девушки не любят,
Я отдамся, бабы, вам.*

Бабы хохотали, и тоже пустились в пляс, припевая свои частушки-озорнушки.

*Ах, дед, ты мой дед,
Ты не знаешь моих бед.*

*Захотелось морковки —
В огороде какой нет.*

Примечал дед, что Ольга Сергеевна не поддавалась разгулу, пила не жеманясь, а вот озорства словно не замечала, как будто и не было его. Когда запели песни — подтягивала с удовольствием. И дед старательно выводил для нее «Располным-полна моя коробушка», перешёл на «Златые горы» и, припав взглядом к Ольге Сергеевне, со сладостью тянул: «...всё б отдал я за ласки-взоры, чтоб ты владела мной одна». Песню не допел, помня её обидный для женщин конец, и запел новую, про отраду, живущую в высоком терему. И вновь словно душу выкладывал ей, да так, что невестка чуть ли не просверлила ему пальцем бок, чтобы не пялился на людях-то, старый греховодник.

— Зови Сашку с Иринкой, — шепнул ей Гаврила Матвеевич. — Ти-и-хо!

Прибежала со двора растревоженная и взволнованная Ирина, села возле матери. У Гаврилы Матвеевича душа замерла — так они хороши были обе! В белых платьях, ясноглазые, сидят, прижавшись, как голубка с голубенком, и воркуют друг дружке что-то ласковое.

Ирина впервые попала на такую гулянку и всё тут её удивляло, и восхищало, и трогало. Только что на дворе она прослушала несколько частушек, пропетых для неё, и поняла, что она — разлучница. Частушки и горделиво-холодные взгляды Нади удивили Ирину. Какая же разлучница, если он сам полюбил?.. И в то же время появилось в душе сладкое удовлетворение от осознания себя совсем взрослой, способной вызывать не только любовь — что было ещё непривычным, — но и ревность, зависть, обиды. И жалко ей было Надю. И жалко Костю, следившего за ней испуганными глазами. И маму жалела... И всех-всех... Она вдруг стала осознавать, что в её жизни наступает поворот, когда всё будет иначе. И было жалко прежней, уходящей жизни, и не могла она отказаться от новой, за поворотом... И даже за плетнём... Сама видела стоящую в соседнем дворе лошадь, хрупающую сено из тарантаса. Осталось запрячь — и... Но сейчас надо сделать что-то очень важное, как сказала Сашина мама, обняв её там, у плетня. И пользуясь оставшимся временем, Ирина ластилась к матери, страдая оттого, что не может ей сказать правды, и старалась повышенной лаской и нежностью искупить вынужденный обман.

— Я люблю тебя, мама.

— И я тебя люблю. А почему ты это сказала? — спросила и вздохнула: «Скорее бы он уезжал!».

На дворе перестали петь частушки и топотать, примолк баян и вновь заиграл медленное танго про «утомлённое солнце». Видимо, за баян сел Костик: танго и вальсы — его репертуар.

Ирина вскинула взгляд на дверь и увидела Сашу: он не входил, не вбегал — он являлся в дом и, приближаясь к ней, закрывал весь свет своими светящимися, только ей принадлежащими глазами.

Ирина отстранилась от матери и стала выбираться из-за стола, подошла к нему, и они заговорили о своём, взялись за руки. Ольга Сергеевна была поражена тем, как просто, без каких-либо оговорок, оставила её дочь, но сделала вид, что ничего не произошло. Неужели сама она не чувствует, что неприлично так, на виду у всех увлечённо шептаться с парнем, у которого, кстати, есть невеста, и об этом все знают... С ней непременно надо будет строго поговорить, решила она. Вскинула голову и натолкнулась на любующийся взгляд Гаврилы Матвеевича.

— Хороша у тебя девка! — сказал он.

— Девушка... — поправила его Ольга Сергеевна, совсем не обидевшись, а затем лишь, чтобы поговорить с ним. Он нравился ей всё больше, возбуждал интерес: старик, а моложе молодых. И на мужика не похож, хотя мужик, конечно же... Ну в самом деле, что за слова: «девка», «Сашка»...

— А ты не сердись на слова, мысли примечай, — сказал он, отложив гармонь. — Любуюсь я. Хороша. А внук-то у меня тоже пригож. Ну-ка присядь-те сюда, — посадил он Сашу с Ириной в торец, за которым возвышался сам. Так и эдак поворачивая головой, любовался ими, призывал и гостей любоваться, и Ольгу Сергеевну.

— Как тебе видятся?

— Саша — довольно-таки мужественный для своих лет, — ушла от подсказанного ответа Ольга Сергеевна. Понимала, так было не совсем вежливо говорить, и потому принизила дочь, наказывая за недавнюю обиду. Пристально глядя на Ирину, проговорила раздельно:

— А Ирина ещё зелёная девочка!

— Молодая — просмеётся, зелёная — дойдёт, — подмигнул Ирине Гаврила Матвеевич.

— Да красавцы они писаные! Прямо голубки, — подхватила Галина Петровна и заходила позади молодых, ласково поглаживая и соединяя. — Вы гляньте на них — как жених с невестой. Фату бы только. Сваха, сдёрни занавеску, прикинем... Эх, вот бы на свадьбе погулять! Уж я бы все подмётки отстучала. А что, а?..

— Да любят ли? — спросил Гаврила Матвеевич и повернулся к Ольге Сергеевне. — Наш Сашка жить без неё не может. Только и бегает ко мне, стонет: люблю! Так ли? Говори, — обратил к внуку твердый призывный взор.

— Люблю! Не могу без неё, — Саша забрал в ладонь пальцы Ирины, устался на растерявшуюся Ольгу Сергеевну.

— А ты, Иринушка? Говори, как самой себе.

— Что за шутки?! — возмутилась Ольга Сергеевна. Взгляд её не отрывался от дочери.

Ирина ощутила, что вот и наступило то самое, что повернёт всю её жизнь. Ещё можно отказать. Ведь можно, заметался её взгляд от матери к Саше.

— И я люблю... — сказала она.

— Тогда дай Бог в честь да в радость, в лад да в сладость, — проговорил дед и скомандовал гостям, в молчаливом изумлении взиравшим на творившееся: — Наливайте! Чего притихли?.. Эх, сучки-задоринки. Щас свадьбу будем играть.

— Какую свадьбу?! — сбросила очки Ольга Сергеевна и, шурясь, попыталась подняться из-за стола, чтобы вырвать, увести отсюда обезумевшую дочь, но её осадил подсевшая Галина Петровна и заговорила сладкоголосо:

— Да шутит он! Вечно придумает чего-нибудь. Сколько знаем, всегда такой. У, старый греховодник! Вон как перепугал женщину, бессовестный.

— Без греха веку не изживёшь, без стыда рожи не износишь, — простовато форсил дед, глянув на Ольгу Сергеевну: мол, что ж ты не понимаешь — шучу, и сама веселись. Хитрюга-дед торопился наполнить стаканы, призывал к вниманию охмелевших гостей: — Всем налили?.. Сват, следи за своим концом. Агрофевна, не отставай. За молодых будем пить!..

— Не будем за молодых, — со стуком отставил стакан Сморчков и, задиристо выставив бороденку, добавил капризно: — Не уважают потому что.

— Да кто же это?.. В нашем доме сват всегда свят, — попытался Гаврила Матвеевич свести всё к шутке. — Гостю — почёт, хозяевам — честь. Для вас варили пива крепкого, меда сладкого: пей до дна, чтоб душа на-распашку была!

— А я не желаю! — пьяно куражился Сморчков, почувствовав, что привлёк к себе общее внимание. — И в-всё!

Гаврила Матвеевич взъярённо засверкал глазами: такое дело провалит, дурак! Глянул на помощницу — невестка растерянно пожимала плечами: мол, что поделаешь. Но подхватила и, подмигнув, звонко зачастила:

— И правда, не пьётся. Это что за медовуха такая. Молодые у нас чисто голубки, а тут горькая. Ну-ка, целуйтесь! Горько!..

— Горь-ко!.. — обрадовался Гаврила Матвеевич и вскинул руки, чтобы гости поддержали его хором. К его басовитому голосу прилепился ликующий визг сватки.

Сморчков получил от жены толчок в бок и что-то сообразив, наконец, запрыгал по скамейке тощим задом, плеская медовуху из стакана и крича.

— Го-орько!.. Не могу пить!

Саша вскочил с табуретки, потянул за руку Ирину, чтоб целоваться, но она ещё медлила и прикованно смотрела на мать, безнадежно пытавшуюся протиснуть свой протестующий голосок в накатывающийся вал голосов, азартно тянувших на все лады: «Горь-ко! Горь-ко!». Чьи-то руки проворно покрыли голову Ирины кисейной фатой; она притронулась к ней, но не сбросила, только поправила край и, превратившись в невесту, поднялась, наконец, оглядела гостей, притихших на миг от такого неожиданного преобращения; улыбнулась изумлённой и онемевшей матери с прощальной грустью и отдалась торопливому поцелую жениха.

— Сашку женят! — прокричал Петька Сапожков, заглянув со двора в окно, и, опрокинув на пол горшок с цветком, полез через подоконник. — Без нас, что ли?.. Пошли, ребята!.. Дед, наливай! Горь-ко!

И тут же со двора повалили в избу с воодушевлённым гоготом и визгом парни и девчата, разбирали стаканы и рюмки. Только Надя Зацепина, заметил Гаврила Матвеевич, остановилась на пороге, недобро глянула на молодых и скрылась за дверью.

Ольга Сергеевна, вскипев от негодования, отбросила поданную кем-то рюмку — и дед, стороживший её взглядом, тут же шархнул об пол свой стакан и, не давая ей возможности привлечь к себе внимание, заорал:

— Бей на счастье! Жениху да невесте сто лет, да вместе.

Ещё кто-то бросил на пол стакан, а Галина Петровна грохнула тарелку. Гаврила Матвеевич подхватил гармонь и добавил шуму, так что Ольга Сергеевна уже не могла ничего крикнуть, и вообще она была подавлена Галиной Петровной, бросившейся целовать её по-родственному, приговаривая:

— Да ты ж наша красавица! И милая такая... Как сызмальства родня.

— Вальс для молодых! — объявила Василиса.

Она притащила в избу патефон и, поставив на комод, пустила пластинку. Дед оборвал свою игру, отодвинул табуретки, освобождая место молодым для танца. Ликующий, но всё ещё настороженный Саша повёл в танце Ирину, послушно-растерянную, изумлённую от всего происходящего с ними. Закружились....

И вдруг грянул выстрел. Сморчков запоздало взвизгнул, метнулся в сторону, и все увидели Костю и Зыкова, вцепившихся в ружьё.

— Уб-бью! — бился в истерике Костя, перехваченный сильными руками. Зыков держал его и конфузливо шептал:

— Костя, успокойся... Нельзя так...

Все разом загалдели, зашумели... Из-под стола выполз и поднялся Смorchков и, видя, что никто не заметил его позорного бегства, стал наскакивать на внука, стараясь ткнуть кулаком.

— Выпороть как следует! Щас снять штаны и выпороть!

— На брата родного!

— Костенька, да что ж ты... — повисла на нем мать.

— Связать его... Полотенце дайте...

— Перепил. Первый раз, поди...

— Вот и зови их, сопляков, на гулянки!

Забрав ружье, Петька Сапожков бухнул в окно из второго ствола, чем добавил шума, переполошив женщин. Пока умиряли Костю, толклись вокруг него, по знаку деда Саша увёл Ирину из дома. Не давая опомниться возбужденным гостям, Гаврила Матвеевич опять растянул гармонь:

— А кто плясать будет? Гу-ля-ем!..

*Пош-ли пля-сать,
Са-по-ги дерутся...*

Первой выскочила Василиса, замотав над головой платочком, а за ней — другие молодки, парни и девчата. Застучали каблуками так, что охнули доски пола, зазвенели стекла от заразной пляски.

3. Исмex, и грех...

Ольга Сергеевна пробралась через пляшущую толпу. Она искала Ирину. Заглянула в боковую комнату — там рыдал, давился слезами Костя, а перед ним горбился Зыков, косолапо топчась.

— ...а любовь не спрашивает, кто достойный её, — сказал Зыков и, увидев Ольгу Сергеевну, замолчал, стеснительно заморгав.

В другой комнате пьяно храпел и шевелил усом Тимофей Гаврилович, свесив с кровати ногу до полу. Брезгливо поморщась, Ольга Сергеевна вышла из дома, спустилась с крыльца и в растерянности остановилась под электрической лампочкой, не зная, куда бежать, где искать дочь. Перед ней освещалось маленькое пространство между двумя домами. На утрамбованной каблуками площадке одиноко стояла табуретка со стопкой патефонных пластинок, а вокруг чернела ночь. Ну где она?..

В доме разгульную гармонь деда сменили квакающие переливы саксофона. А вот и сам он показался на крыльце, по-солдатски подтянутый и — Ольга Сергеевна не могла этого не признать — командирски властный. Не смогла накричать на него, как хотела ещё совсем недавно; принялась выяснять, кто придумал дурацкую шутку со свадьбой.

— Так ведь любовь, Олюшка, — повинился он, склонив голову. — А где любовь, там и напасть.

— Какая любовь?! Какая напасть?! Где она?..

— Пляшут, наверное.

— Там их нет.

На соседнем дворе всхрапнула лошадь, послышался смачный шлепок

вожжей по крупу и стук быстро покотившихся колес тарантаса. Ольга Сергеевна повернулась на звуки, а Гаврила Матвеевич устался на окна дома, словно разглядел в мельтешащих фигурах тех, кого они ищут.

— Да вон, вроде... Хорошо глядела? Может, в комнате прощаются. Им теперь печаль до утра делить.

На свет вышла заплаканная Галина Петровна, хотела стороной пройти на крыльцо, но Ольга Сергеевна перехватила её.

— Где они? Куда ушли?

— Беда-то какая!

— Какая беда?

— В брата стрелял,— затряслась в плаче Галина Петровна и, прикладывая платок к глазам, ушла в дом.

Ольга Сергеевна подумала, что и ей надо бежать домой, посмотреть, не сидят ли они в саду под яблоней, но Гаврила Матвеевич опять перехватил её порыв:

— На речке, наверное. Там они все гуляют.

И Ольга Сергеевна побежала в противоположную от дома сторону, через огороды на берег Сакмары, где с утра до вечера купается детвора, а с вечера гуляют парочки. Прыгала через кусты картошки, путалась ногами в плетях огурцов, пока не привыкли глаза к темноте, а потом побежала по дорожке к серебряной лесенке, брошенной на воду луной под раскидистой ветлой. Пусто. Тихо.

В оконце одной из бань, стоящих вблизи, сверкнул огонёк. И Ольге Сергеевне вспомнились разговоры, как кто-то с кем-то в баньке... Она представила свою Ирину на полке и, с захолонувшемся сердцем бросилась к двери бани, рванула её, влетела в духмяную темноту, слабо прорезанную лунным лучиком из оконца — пусто... И с радостью от того, что не оправдалось страшное, обессилено уронила руки.

— Такое подумала... — укоряюще прогудел за спиной Гаврила Матвеевич. Она тронула его рукой, что можно было расценить как жест молчаливого извинения, а он подхватил её ладонь и — вот уж чего совсем не ожидала — поцеловал. И она рассмеялась впервые за вечер.

— Гаврила Матвеевич, вы ли это?..

— Да вот... Люблю ведь я тебя, Олюшка.

— Господи, нашёл время и место, — попыталась она обойти его, чтобы выбраться из бани. Он не пустил, обнял её, стал целовать,

Напор его был неожиданно требовательным и властным, так что на минуту она растерялась, потеряв трезвую холодность, с которой вмиг поставила бы его на место. Как-то по-бабьи затрепыхалась в его сильных руках, пискнула просительное «не надо...», почувствовав себя лежащей на деревянной полке, чем ещё больше распалила его. Он судорожно сдергивал и растёгивал её и свою одежду, прижимал губами её непослушный рот. И она уже не могла усмирить своевольных его рук.

— Да что же это...

— Не волк дерёт, мужик берёт, — добрался он до желанного!..

Восторжествовал, окунувшись в горячее блаженство... Но вдруг от её резкого и неожиданного толчка, с поворотом на узкой полке, он повалился с неё на пол. Ударился о какое-то ведро, покотившееся с дребезжащим грохотом. Охнул от боли, от стыда и досады, когда увидел на миг, как через него перемахнула Ольга Сергеевна, блеснув в луче лунного света белизной ног. Дверь захлопнулась.

Заругал себя, поняв, что опять упустил свою лебедь белую. Как ей в глаза смотреть? Ведь — дурак, дурак... Обрадовался: «Му-у-ужик берёт», — издевался над собой. И что теперь делать?..

Уходя от этих вопросов, пытался утешиться тем, что главное-то дело он ловко провернул: катит сейчас на тарантасе внучок со своей любушкой, догони их теперь! Но думы о случившемся здесь не отступали, возвращая к оскорбительной для его самолюбия очевидности: до потаённого добрался... И она после этого... Что же получается?.. Не нужен ей старый...

Вышел на волю и, стоя под луной, серебрившей всё окрест, задумался... Мысль потянулась в далеко-далекое, к цыганским кострам. А припомнив нужное, обрадовался появившейся уверенности, что всё равно добьётся своего.

«Заколдую бабёнку! Каждую ночь буду сниться, каждый день грезиться, пока сама не прибежит», — решил он. То и другое, помнилось, умел делать когда-то, хотя и не применял за ненадобностью, но нынче — пришёл срок воспользоваться цыганским секретом.

* * *

Так кончился последний счастливый денёчек Гаврилы Матвеевича, утёк в былое, наслаивая пласты больших и пустяшных бед, забот и проказ. Кончился, потому что в тот момент, когда внук его Сашка сажал в поезд невесту, чтобы увезти в свою часть, немецкие бомбардировщики уже пикировали на российские города, и взрывы их бомб понесли по стране страшный гул: ВОЙНА!

Часть третья. И ВСЁ БЫЛОЕ...

1. Озорник

Разбудила Гаврилу Матвеевича курица, закудахтав под ухо о новом приношении в мир. Чертыхнувшись, он пошарил рукой, отыскивая что-нибудь поухватистой, а нащупал сено...

Удивился: неужто в сараюшке свалился спьяну?

Но выспался хорошо. Медовуха не даёт похмельной головной боли. И сон был приятный, какой давно не видывал — радужный. Что-то далеко-далекое, детское. Бабушка Пелагея, дед, сестренки... Значит, дошкольной поры сон, определил Гаврила Матвеевич и ушёл в воспоминания...

Озорник-то был с малых лет. И озабоченная озорством внука бабушка Пелагея занялась его духовным воспитанием, стала водить с собой в церковь на молебны. Запутанный рассказами кто Бог-отец, а кто Бог-сын, запуганный их грозными могуществами, из которых больше всего поразила его молния, которой, оказывается, как кнутом, хлещет по небу Илья Пророк, маленький Гаврюша усердно молился, боязливо поглядывая на богов, глазасто следивших за ним со всех простенков и с потолка церкви. Ему казалось, что если он не будет стараться, то они надвинутся на него, зашипят и примутся щипаться, чтоб не крутил головой, а молился бы и пребывал в страхе божьем. И он истово крестился, а в поклонах со стуком бухался головёнкой об пол, чем привлёк внимание к себе попа Прокопия, погладившего его по головке за такое раннее прилежание.

За ужином, когда вся семья — пять девок-сестер, Гаврюша, отец с матерью да дед с бабкой — дружно и слаженно, ложка за ложкой, черпали из

общей чашки супец, бабушка рассказывала про старания внука, отмеченные благословением отца Прокопия.

— Молись, Гаврилка, — похвалил его дед, шамкая беззубым ртом. — Слушайся бабку, может, попом станешь. Попы бо-о-гато живут. Родись, женись, помирай — за всё денежки подавай.

Прыснули, зажимая рты, сестры, и черная, как корневище, рука отца подняла ложку: кому по лбу вдарить? Пожелание деда он не одобрил, пробурчав, что попы у попов рождаются, а мужики у мужиков.

С высоты прожитого, когда сам стал отцом и дедом, Гаврила Матвеевич понял, почему баловал его папанька, отчаявшийся дожидаться наследника в бесконечной череде рождавшихся девочек, как старался сделать из него крепкого хозяина. На души женского пола общинная земля не выделялась, и расходы на них считались бросовыми: дочь — чужое сокровище. Холь да корми её, учи да стереги, а вырастет — в люди отдай. Другое дело — сын: на старость печальник, на покой души поминщик.

Не зная всего этого, Гаврюша всё же понял, что поповское дело не главной мужицкого, а потому приведённый на другой день в церковь, он уже не молился, а всё больше разглядывал богов, соображая, как они, нарисованные, могут его наказать за грех. И проверил по-своему. Когда потянуло избавиться от дурного воздуха, хотел спустить его шепотком, а вышло трубным звуком под самым грозным Ильёй-Пророком. Замер, дожидаясь грома и молнии, но услышал только шипение старух и смех молодок. Бабушка Пелагея ущепнула его больно, показывая, что наказала внука, и принялась отмаливать его прегрешение. К Гаврюше подошёл мужик в полосатой рубахе и за руку вывел из церкви, наставляя:

— В святом храме не порть воздух. Послабься сходи, а потом придёшь. Иди, ступай...

Даже ухо не надрал, обрадовался Гаврюша. Но больше всего удивил его Илья-Пророк. Вот так бог! Ему фуняют под нос, а он даже ногой не топнул. Я бы так стеганул бы молнией, размышлял Гаврилка и, подобрав с земли прут, начал сечь им разросшие вдоль ограды лопухи:

— Вот так! И так!..

И вдруг увидел за забором, за башенками сложенного для просушки кизяка, двух девочек-поповен, играющих с куклами на расстеленном по траве одеяле. Старшая была одноклассница с Гаврюшей и должна была осенью пойти с ним в церковно-приходскую школу; он знал об этом от сестёр. Хотел заговорить с ней, но старшая поповна, не поворачиваясь, спросила младшую громко, чтобы услышал Гаврюша:

— Что там делает этот мужик?

— Пе-е-релазает к нам, — прошептала младшая и, выронив куклу, растянула рот, готовая громко заплакать.

— Не реви, — сказал Гаврюша. Он уже перелезал через заборчик, когда услышал презрительное «мужик» и, не привыкший отступать перед девчонками — сестер-то тряса как хотел — храбро забрался на самую большую башенку из кизяка.

И имел на то право. Кизяк попу делали обществом, и прибегая сюда, Гаврилка полдня ездил на коне по навозному месиву, уминая в нём солому. Потом парни и девушки это месиво кидали вилами в деревянные рамы на две-три ячейки, быстро втапывали босыми ногами и, подхватив их, уносили в сторонку, чтобы на свободном месте брякнуть на землю и вывалить навозные кирпичи. Через неделю прожаренные на солнце кирпичи пере-

ворачивали на другую сторону, и тут тоже помогал Гаврилка, пренебрегая окриками: «Не мешай, не крутись под ногами». А когда эта сторона кизяка подсыхала, из него складывали круглые, продуваемые башенки для окончатальной сушки топлива. На такую башенку и забрался Гаврюша, расселся на вершье, помахивая хворостиной.

— Это наш кизяк, — храбро подступила к башенке старшая поповна. — Уходи отсюда, мужик.

— Я не мужик.

— Гаврюша-хрюша, — подала голосок младшая, выглядывая из-за спины сестры.

— Я не хрюша.

— А кто ты? — вышла из-за спины младшая и уставилась удивленно.

Тут и представилось Гаврюше то, что он произнес вдруг, а произнеся, не убоился, а ещё и утвердился в сказанном:

— Я — бог! Вот как ударю сейчас молнией, сожгу кизяки все, и амбар, и дом. Всё сожгу! — взмахнул над головами обомлевших девчонок прутом и прут вжикнул, заставляя их присесть. — На колени становитесь! А то вон туча-то, как польхну оттуда... Молитесь, чтоб не серчал.

От испуга поповны брякнулись на колени перед кучей навозного кизяка и, со страхом поглядывая на грозного бога, размахивающего прутом, с заученной ловкостью крестились и клали поклоны до земли. Хмуро шмыгая носом, Гаврилка глядел сверху на молельников и наполнялся всё большей уверенностью, что он действительно бог. И как бог великодушно простил их, объявив:

— А теперь принесите мне сладких ватрушек да городских пряников.

Поповны послушно побежали домой, а Гаврилка остался сидеть на кизячной куче, раздумывая о том, как хорошо быть богом. Выходило, лучше чем попом. Все слушаются. Пряники сейчас принесут. Очень уж любил он сладкие городские пряники.

Только покушать сладенького не удалось — вместе с поповнами, таща их за руки, пришла попадьа и так раскричалась на Гаврилку, что тут же появилась церковный староста, тот самый мужик в полосатой рубахе. Прибежали нищие с паперти: загалдели, закудахтали. Из церкви выходил после службы народ и тоже подходил сюда разузнать что случилось, а узнав о навозном боге — веселился. Молодые — хохотали, старые — костерили, свивая голоса в общий негодующий и веселый гул:

— Такое удумал!.. Безбожник.

— Малец ещё...

— Охальник...

— А может и правда, Илья-Пророк. Гаврилка, снимай портки, да покрочи на старух, ха-ха-ха...

— Ишь, смешно им...

— Снять да всыпать...

— Не даётся, гляди-ко...

— Понравилось, видать, богом быть...

Гаврилку стащили с кучи, надрали уши, набили подзатыльников и передали в руки бабушке Пелагее для домашней взбучки. Она состоялась вечером, несмотря на протест отца, пытавшегося отбить любимца у деда.

Но и после большой порки Гаврилка не остыл к шалым проказам. Слава безбожника и озорника притягивала к нему мальчишек, собирая подчиненную ему ватажку. Вначале коноводил соседской ребятней, потом — улицей,

а когда подошла пора и стал заглядываться на девок, Гаврюха стал вожаком всех петровских парней и водил их под гармошку по соседним хуторам и сёлам на гулянки и драки, их завершавшие.

Озоровал так до той поры, когда однажды от отца Прокопия пришёл посылный и пригласил на беседу к поповне Антонине, приехавшей с подругой из самого Санкт-Петербурга. Гаврила не стал отказываться: интересно ведь посмотреть, как столичные барышни форсят. Смекнул, что посмеяться захотели, вспомнив старое... Но, поглядим...

Пришёл к попу в чём собирался на улицу для ночных проказ: в сапогах и красной рубахе, с гармошкой под рукой. Волосы не вмещала фуражка и они выбивались из-под козырька пышным букетом. Но самой главной приметой его деревенского форса был перетягивающий рубаху плетёный из тонких ремешков пояс, на концах которого вместо обычных кистей болталось по гирике.

— Э-это что у тебя?.. — возмутился отец Прокопий, уставясь на кистень поверх очков. — Я ж наказал тебе снять эту срамоту. Аль уряднику подсказать, чтоб подержал тебя в клоповнике?..

— Папа, это то, что надо! — восхитилась поповна и обернулась к другой барышне, стоявшей у книжной полки. — Машенька, познакомься... Тот самый бог, о котором рассказывала тебе. Прелесть, правда?!

Барышня кивнула, улыбнувшись. Подошла к Гавриле и представилась, подав руку:

— Меня звать Мария...

Высоко поданную её руку неловко было пожать, как принято у парней, и тогда Гаврила по-дворянски принял её и поцеловал, чем вызвал удивлённый хмык отца Прокопия и восторженные хлопки в ладошки Антонины. А барышня сказала:

— Для поездки по волости мне нужен сопровождающий.

— Кучер что ли?

— И кучер...

2. Похмелье...

Закудахтала курица. Не в прошлом, а тут в сараюшке, где оказался Гаврила Матвеевич, не помня как. Вот ведь, проклятущая, все мысли перепутала... А чего это я развспоминался?.. Право дело, не хмель беда, а похмелье.

Почесав бороду, он сел и, глядя на примятый стебель татарника, задумался: ведь колол, наверное, а не чувствовал. И как оказался в сараюшке? От баньки, помнил, к дому пошёл и глядел на пляску во дворе. На его гармошке наяривала белобрысая Танька, внучка соседки Федоры, кружком стояли парни и девчата, вывалясь из борьбы за патефон, а в середине топтались Василиса и Петька Сапожков, из последних сил утаптывали каблуками двор, дергались без частушек и припевок, изредка подбадривая себя хриплыми выкриками.

Увидев деда, Василиса словно скинула с лица маску злого упрямства, передернула плечами, колыхнула грудью и, прокричав частушку, пошла по кругу, топоча и размахивая платочком, да так весело, словно только что влетела в пляску.

Дед подмигнул ей — мол, знай наших, — бросил прибаутку, решив, что патефон Василиска ни в жизнь не отдаст. Поднялся в большой дом, откуда

нестройно и заунывно несло про неудачливого Хаз-Булата, у которого выпрашивали молодую жену, а он даром отдавал её, спящую с кинжалом в груди. Без Гаврилы Матвеевича тут верховодил сват Петр Герасимович Сморчков и, встряхивая бородёнкой, водил рукой над столом. Бабы тянули песню, не глядя на указчика, и Гаврила Матвеевич не стал встречать, выпил подвернувшуюся кружку медовухи, вроде бы пошёл к себе в избу, да оказался в курятнике. Чудеса!

— Да кши ты, проклятушая! — гаркнул на кудахтающую курицу так, что та шарахнулась и выскочила в квадратный подрез двери. К её испуганному кудахтанью прибавился воинственный клёкот петуха. Дверь отворилась, залепив Гаврилу Матвеевича светом, и в сарай вошла невестка, всплеснула руками:

— Вот он! А мы ищем, не знаем, что подумать. Аль кроватей нет, на сене улёгся.

— Брр... — потряс головой Гаврила Матвеевич и вспомнил всё же: ходил в избу-то. В сенцах застрял, как услышал голос Зыкова, густо урчащего, как трактор на малых оборотах. В избе зять учил Костика уму-разуму, и чтобы не мешать им, Гаврила Матвеевич зашёл в сарайчик переждать маленько, да уснул тут. Хохотнув, поднял на невестку весёлые глаза:

— Как там свашенька? Не бузит?

— Прибегала. Плачет... Иринка-то записку ей оставила, чтоб простила. А она адрес взяла Сашеньки, писать ей. А потом, говорит, командиру пожалуется.

— Не дура, не пожалуется. Зацепины как?..

— Звали на похмелку — не пришли. Да что мы, кланяться станем? — бросила резко Галина, словно отказывалась больше говорить о них, и, поджав губы, боязливо покосилась на дверь.

— Чего ещё?

— Паньчка пришла.

Видел Гаврила Матвеевич, что Галина шепнула ему, а показалось, как громом ахнула по ушам. Вмиг слетел сон и лень пьяная пропала — он вскочил, головой стукнулся о низкий потолок и, полусогнутый, впился в невестку тревожным взглядом:

— Как пришла?..

— Босая... Все ноженьки-то посбила, — захлюпала Галина Петровна.

— Сбегла, что ли? А дети?..

— Померли.

Невестка заплакала, а Гаврилу Матвеевича словно бы шибануло со свету да в темень, застило глаза бедой, не давая и продыху. Он зашатался, шаркнул головой по потолку, и пригнулся. Вот и пришла беда, отворяй ворота.

Что делать-то? Ума не теряй. Это самое и надо, собирал он себя, сжимая кулаки. От кулаков и разум вернулся, повелел дальше думать, а прежде поопасаться.

— Когда пришла?

— Ночью. В баньке отсидивалась.

Во-о-от почему показалось, что спичкой чиркали, вспомнил он тот огонёк, подсказавший мысль Ольге Сергеевне проверить баньку. А он-то возомнил... Ах ты, мать моя, богомолка! Весь позор его видели, понял он, и тут же отбросил свои догадки как пустяшные рядом с той бедой, какая пришла в его дом вместе со второй невесткой Леонтиной Барыцкой, переименованной ими в Леночку и прозванной паньчкой. Вспомнились её глаза светло-

синие, как цветки цикория в пшеничке. Увидел на миг, как она прижималась к Коленьке и, глядя на него снизу вверх, то вновь взглядывая на свекра, говорила, что любит мужа и пойдет с ним в отруб.

— Панычка-Леночка, мужицкая жизнь — каторга, — предупреждал Гаврила Матвеевич невестку и радовался в душе той её решимости, с какой она стояла за свою жизнь с его сыном, хотя и продолжал страшить. — А пойти на отделение в отруб — каторга вдвойне. Ты смекни: тут занемогла — Галинка подсобит, и я вам помощник. А в отрубе да в лесу человеческого голоса не услышишь, разве лишь волчий вой.

— Пойду на каторгу, — вновь взглянула она на его сына так осиянно, что у Гаврилы Матвеевича не осталось сомнений, что такая пойдет и всё выдюжит.

Вот и пошла в отруб, и на каторгу, сокрушенно кивал дед своим мыслям. Спыхватился:

— Кому сказала?

— Василиса её привела.

— А она?

— Не маленькая, чать.

— Пусть Настюху спроводит из дома — к сватям, что ли. Или с Костиком отправь их в Екатериновку, к Матрене. Да с ночёвкой пусть, — говорил Гаврила Матвеевич так решительно, что Галине оставалось только принимать приказы и согласно кивать.

— Где Леночка?

— В подполе укрыли. Спит.

— Ну пусть спит пока, а я подумаю.

Мимо Галины он вышел из курятника — помятый, взлохмаченный, с сеным сором в волосах и на одежде; прошёлся по двору, правя порядок, — поднял и отнес к завалинке опрокинутые табуретки, подобрал стакан и поставил на подоконник.

За приоткрытой створкой увидел Василису. Она оглянулась на спящую дочку и вопрошающе уставилась на деда, зашевелила губами, и показала пальцем вниз, в полуподвал, где спит панычка — Леночка. Дед кивнул — мол, знаю, ткнул пальцем себе в губы, напомнив, чтобы молчала, да ещё потряс им так, что Василиса обиженно надула губы. А нечего дуться, известная сорока. И шепнул ей:

— Дай-ка рушник, помыться схожу.

Искупаться направился за село, чтобы подольше побыть одному. А думать-то чего — все ясно. Куда ни кинь, всюду клин — либо сума, либо тюрьма.

3. Зов судьбы

Панычку-Лену сын выглядел, вернувшись со службы в Красной Армии. Приехал он из Туркестана жёлтый, худой да хромой — в бою с басмачами был подстрелен, а потому и комиссован после госпиталя. Неделю не выходил из дома, отлёживаясь то на печи, то на лавке, а тут узнал, что отец едет на мельницу, и засобирился: «С тобой поеду, батя». И как ни отговаривал его Гаврила Матвеевич, пугая мартовским сырым холодом, сын словно не слышал его. Надел подшитые валенки, натянул шинельку, нахлобучил богатырку с матерчатой звездой и, постукивая палочкой, вышел из дома. Едем!

«Видать, судьба звала», — подумал Гаврила Матвеевич, вспоминая тот день.

Приехали на мельницу в розвальнях, и на пустом дворе увидели её — сидит на санках девчонка, завернувшись от ветра в рогожу, да такая белая да синеглазая, как ромашки-васильки в кульке. Спрыгнув с саней, Гаврила Матвеевич прошёл было мимо, отметив, что знобит девку, а сын отогнул полу тулупа и позвал её:

— Иди сюда, нагреешься.

Сказал просто, как родне. И смотрел на неё без хитростей, с сочувствием и заботой в глазах. Девчонка опешила от такого предложения и домашнего тона, каким были сказаны слова, смотрела во все глаза на краснозвездного парня, не зная, как быть. И отказаться не могла, уж больно прозябла на ветру в своём тощеньком пальтишке под рогожным мешком, и пойти под тулуп, так вот враз, не смела: не принято, неудобно.

— Рогожа не одёжа. Погрейся, дочка, — приказал Гаврила Матвеевич, поторопив кивком.

Глянув на него, девчина сбросила с плеч рогожу, которой защищалась от ветра, и на короточках полезла на сани под распахнутый Николаем тулуп. Гаврила Матвеевич пошел дальше к мукомольной, дивясь на сынка: гляди, какой жалельщик стал.

А сейчас, шагая огородами к реке, думал: может, и не было б у них такой судьбы, не будь этого тулупа. И погрелись-то вдвоём чуток. Ну, сколько там времени прошло, пока уладил пустяшный спор и молот мешок пшеницы.

Перед воротами в мукомольную смешно топтались мельник Архип Цициров, толстомордый, в обсыпанной мукой меховой безрукавке, отчего казался ещё и пузатым, — он прикрывал вделанную в ворота дверь, — и пан Игнацкий, приблудшийся в их волость поляк. Девка-то, панова дочка, сообразил Гаврила Матвеевич, поднимаясь по бревенчатому въезду и с интересом глядя, как тощий очкастый полячек в обвисшей шляпе и потрепанном длиннополом пальто всё время кланялся Цицирову, а сам норовил протасить в дверь какой-то мешок, переставляя его с одной стороны на другую, стараясь обогнуть мельника. Архип покачивался, закрывая собой проход, и, в усмешке кривя рот, отказывал ему:

— Не! И не проси.

— Вам будет выгода. Большой процент, — шептал пан Игнацкий, размахивая перед лицом мельника рукой в рваной перчатке, из которой незащищенно торчал бледно-розовый скрюченный палец.

— Здорово, мужики! — легко подступил к ним Гаврила Матвеевич. — Об чём сыр-бор горит?

— Да ты послухай только, — кивнул Архип на смущённо притихшего полячка. — Опилки велит молоть. Слышал? Проценты сулит. Говорит, тыщи огребать будем.

— Это коммерческая тайна, — сдавленно напомнил пан Игнацкий, укоризненно поглядев на мельника, но тот не застыдился.

— А мне плевать на твою коммерцию. Ишь, нашёлся, дырявый коммерсант. Много таких ходит..

— Так не можно говорить, — протестующе заговорил пан Игнацкий, резко вскинул голову с загоревшимися глазами. Обвисшие поля его шляпы от рывка шлепнули по сморщенным, не раз обмерзавшим ушам, но и голодная нищета, видел Гаврила Матвеевич, не сломила его гордый дух. Сцепившись с мельником, не поддавался на грубость и всё старался довести его до по-

нимания выгоды. — Я сделал догадку. Польза всем — тебе, тебе... Мякину дают скоту — так?

— Запариваем и даём, — кивнул Гаврила Матвеевич.

— Мякина — клетчатка, то есть то же дерево, — запустил руку в горловину мешка пан Игнацкий и вынул горсть опилок и мякины — избитые молотилкой остатки хлебных колосьев, — протянул её Гавриле Матвеевичу. Тот принял на ладонь и задумчиво ворошил пальцем смесь, отделяя побитые зернышки.

— А ведь верно размыслил полячек-то, — кивнул Цицерову. — Весной коровы вон как веники едят, только дай. Ветки-то — и есть дерево.

— Вот, вот! — обрадовано задёргался пан Игнацкий, порываясь благодарно тронуть Гаврилу Матвеевича и стыдась этого жеста. — Я дал размолотые ветки, то есть муку из них. Скот ест, я молот на ручной мельнице. Теперь надо здесь.

— Жернова портить ради тебя...

— Как их попортишь, когда меж камней опилки да мякина пойдут, — заметил Гаврила Матвеевич.

— А не пойдут как... Чать, не зерно, чтоб само сыпалось.

— Палкой протолкнёшь. Сиди да шуруй. Забогатеешь с компаньоном, — говорил Гаврила Матвеевич, с удивлением следя, как по-мышинному забежали мельниковы глазки, будто ему невтерпёж было удрать от них с добычей. Подумал, ведь этот живоглот, как пить дать, обманет панка и дело загубит, а потому, глянув на пана Игнация, добавил вроде как с завистью. — А наш Фома не без ума. Повезло тебе, Архип. Береги его. Умная голова сто голов кормит. А как сделаете муку из опилок, вам будет благодарность от товарища Троцкого и послабление от налогов.

— Ишь, щедр на чужое... Заимей мельницу, да мели на ней хоть песок — может, тоже мука будет. Орден получишь. А я из-за голодранцев жернова крошить не буду.

— Ну, кому Бог ума не дал, тому кузнец не прикует.

Мельник озлился, покраснел и готов был разразиться матом, но убоился — драчуна Гаврилу сызмальства боялась вся округа. И только покривился.

— Ага, тебе его весь приковали.

— Тогда слушай, когда в твою пользу говорят, — улыбался Гаврила Матвеевич, не поддаваясь на злость Архипа.

— Панове, не надо спорить, — заговорил пан Игнаций. — Всё сделаем хорошо. Я продумал, тёр на камнях... Есть мой секрет... Если пан Архип согласится на процент, я всё сделаю. Совсем немного... Вы понимаете, надо кормить дочь, как-то жить... А я придумывал, это работа... Я буду хорошо помогать пану Архипу.

— Какой процент? — набычился Архип, уставясь на пана Игнация.

Гаврила Матвеевич понял, что дело сладил, дальше пусть сами торгуются, и побежал за мешком зерна, чтоб быстрее отмолотиться. Забирая его, потеснил молодежь, укрывшуюся тулупом с головой.

— Ну-тка...

— Батя, с кем воевал? — спросил Николай, выглянув из ворота тулупа, и рядом с его лицом блеснули васильки девичьего личика.

— А нам хошь с кем подраться, лишь бы погреться.

С мешком на плече, как с малой торбочкой, он побежал на мельницу, улыбаясь про себя: «А мой раненый не промах парень. Враз девку под бок усадил и улыбаться заставил. Такой долго в холостых не проходит, готовься, отец, к свадьбе».

Возвращались с мельницы, не торопясь. Гаврила Матвеевич лежал на сене полубоком, привалясь к головкам саней, а сын устроился на задке. Облокотясь на мешок с мукой и вытягивая из ворота тулупа тощую шею, он крутил головой, оглядываясь окрест, широкими ноздрями жадно тянул воздух, в котором уже слышались запахи скорой весны. Лицо его порозовело, видел Гаврила Матвеевич, и глаза после шептаний с девчонкой ожили и засветились. И ещё заметил отец, пробудилась в сыне улыбка. Вдруг отведёт взгляд в сторону, всмотрится в бель полей с редкими, тут и там чернеющими купа-ми ветел и осокорей, или прищурится на солнце и так это робко улыбнётся, словно научаясь этому сызнова. Вдруг стал спрашивать про пана Игнация — откуда появился здесь, что за личность такая.

— Личность!.. — рассмеялся Гаврила Матвеевич, вспоминая. — Я в какой-то год на Волге подрабатывал, купцам баржи грузил-разгружал. Случалось, по два мешка брал, а на спор и три громоздил. А приказчик обозвал меня принародно «личностью». Думал обидное что-то... Схватил его за штаны да за шиворот и с помоста в Волгу швырнул.

Тут уже оба посмеялись, а отец порадовался: не разучился сынок смеху.

— А полячек-то, приметная личность, да-а... По деревням его дразнят «пан — пустой карман». Но привечают... — хлыстнул коня, не глядя, Гаврила Матвеевич и, когда тот прибавил ходу, задумчиво прищурился, вспоминая про пана: — Сказывали, в городе работал на макаронной фабрике. Вдовец. С голоду в Ташкент ехал на большие хлеба, да вот у нас застрял. Живёт в Драбагане у нищенки, и сам чуть ли не побирается... Помогает всем советами. Головаст...

Серко бодро трусил, не дожидаясь кнута, сани легко скользили по наезженной дороге; на буграх заносились в сторону и, чиркнув по сугробу крылом, скользили дальше. На пути встречались им поезжане, и, прежде чем разъехаться саням, затевался приветственный разговор:

— Гавриле Матвеевичу с сынком доброго здравия.

— Привет, Аким.

— Здравствуй, Аким Савельевич, — вторил Николай, выворачивая из тулупа голову в краснозвездной богатырке, вызывая тем новый всплеск радости встреченного ездока.

— Гляди-ка, помнит!

— Так не раз бахчи твои обирал, наверное, — перехватывал разговор Гаврила Матвеевич.

— По молодости с кем не бывало. А вы с мельницы, что ли?

— С мельницы. Помолол пшенички, сынка подкормить.

— Ну, бывай...

И разъезжались взаимно довольные: один — тем, что выразил своё уважение Гавриле Матвеевичу, с которым связана была вся жизнь с малолетства, когда ходил в его ватаге на другие хутора и села, другой тем, что показал сынку уважение к себе односельчан — гляди да на ус мотай. Не богат да славен, как барин. Сын тоже был удовлетворён, потому что хотел дослушать рассказ про поляков.

— А ты ло-о-вок. Поцеловал куму, и уста в суму, — рассмеялся Гаврила Матвеевич, напоминая сыну недавнее. — Глядь, и девку под тулуп.

— Замерзала же, видел...

— Да правильно... Добро творить надо тёплыми руками.

Нахмуясь, Николай молчал, опустив глаза и подтянув губы. Покачал

головой в такт езды и вновь поднял глаза, только стали они не наружу глядеть, а куда-то в свою глубь. Гаврила Матвеевич замер, поняв, что вот сейчас и будет тот разговор, которого ждал, не торопя сына расспросами, давая вызреть угнездившейся в нем боли. И сын заговорил:

— Озверел я там, батя. Рубка, пальба, погони. То мы за басмачами, то сами от них... А тут ещё жара, пыль, пот, гады всякие... Раз прискакал старик. «Спасайте, — просит, — бай вернулся и дома жгёт». На коней! Отбили, разогнали. Заночевать остались. А они нам резню устроили, повалили со всех сторон. Взводный говорит: «Без подмоги не продержаться, скачи, Колька, в отряд». Лёха, дружок мой, коня своего дал. Последней гранатой дувал свалили — это забор такой глиняный, как стена. Выскочил в пролом, стреляю, в меня палят. В ногу вдарило. Вроде как камнем. Скачу. Конь у Лешки лучший в эскадроне, птицей несёт. За село вылетели, проскакал, может, полверсты, а он тише, тише, да брыкнулся подо мной.

Охнул Гаврила Матвеевич. Вперившись взглядом в сына, он словно бы слился с ним, переживая и этот удар пули в ногу, и падение коня, предвещающее верную гибель. На миг показалось, что не Колька, а сам он спрыгнул с повалившегося коня, да тут же подломился от хлестнувшей по ноге боли. Упав, огляделся. Конь храпел, беспомощно задирает голову, порываясь встать и одним глазом виновато и тоскующе глядел на него, будто прося пощады. Впереди увидел камни, залитые лунным светом, под ними — чернь теней, но туда не успеть — всадники скачут от села. Назад лучше — и в бурьян спрятаться.

— Спрыгнуть с коня успел; но и сам повалился от боли, — продолжал рассказ Николай. — Всё-таки пулей вдарило, не камнем. Огляделся... Луница как фонарём светит, весь на виду. А тут погоня скачет. Куда бы нырнуть?

— В траву, и назад! — приказно шепнул Гаврила Матвеевич, не спуская глаз с сына, и тот кивнул:

— Ага... Впереди камни какие-то. Подумал, там будут искать обязательно, а я за бурьян скатился и навстречу им пополз. За бурьяном оказался арык. Это как бы канава ручья, — объяснил Николай, и Гаврила Матвеевич сразу понял, что значило то узкое ложе, привидевшееся ему в переживаниях за сына.

— Вижу, поскакали к камням, а я скорей от дороги подальше. По бахам, по огородам ползу. В какие-то заросли забрался. Перевязал себя кое-как, а идти не могу. И сил не стало, и на ногах не стою. Палку бы, так и палки нет. Решил отлежаться, но пить захотелось так, что не вмоготу. По арбузам же полз, а не догадался прихватить. Прикатил бы как-нибудь — казню себя так, да разве тогда до арбузов было. А тут светать стало, по дорогам всадники скачут туда-сюда. Коня моего прирезали и увезли на арбе. В кишлаке перестрелка стихла — значит, и товарищей моих добила. И такая меня злость разобрала... Когда им надо было — прискакали: спасайте. А мы жизни кладем — никто не помог. Думаю, чиркну спичку сейчас — трава как порох сухая, огонь быстро побежит, спалит их посева. Пусть с голода подышают, раз не умеют по-людски. Ну а сам подпалюсь — так мёртвому будет всё равно. Три патрона в нагане осталось, а мне и одного хватит. Вот, только донесение не успел доставить. Вынул записку, какую взводный давал, а там писано: «Колька, живи! Расскажешь, как мы сгинули за светлое будущее, Помни нас, Леха вот наказывает ещё, чтоб на свадьбе за нас первую чарку выпили». Леха, мой товарищ наивернейший, — сказал Николай с мокрым блес-

ком в глазах. А Гаврила Матвеевич словно увидел его перед собой, белобрысого, в ржанных конопушках по лицу и с сигаркой в зубах.

Сглотнув подступивший к горлу ком, Николай продолжил рассказ:

— А у меня рана кровоточит и перевязать нечем. Кусты низкие: со стороны прикрывают, а сверху солнце шпарит. И вдарило. Очнулся только ночью. Пить, пить хочу... Пополз на огороды. Может, думаю, завалившейся арбузёнок найду. И ничего... А тут светать начинает. Пришлось опять лезть в кусты. К концу второго дня почувствовал, что умираю. Записочкой держался. Открою её и твержу: «Колька, живи! Расскажешь...». Пить! Хоть глоточек. А потом вдруг чувствую — пью, глотаю что-то... Мерещится, что ли? А, всё равно, думаю, пей. Да уж больно вкусное пью. Приходить в себя стал. Глаза приоткрываю — бусы, а я грудь сосу. Склонилась надо мной чернявая, улыбается и сцеживает мне в рот молоко. Когда увидела, что я глаза открыл, смутилась и грудь отняла, мешком накрылась. Волосяные мешки они носят на голове.

— Зачем? — не понял отец.

— Чтоб красоту их не видели. Обычай. Показала мне знаками, чтоб лежал: мол, ночью придёт. И пришла со стариком. Напоили меня, перевязали и увезли на ишачке, как куль. Ты вот говорил сейчас, — поднял Николай на отца взгляд, — быстро я девчонку под тулуп забрал. Гульнара тоже не медлила: пей. А я промедлил, отец. Промедлил и всю жизнь простить себе не могу. В общем, стал я отходить у них. Мог бы и уйти, да старик показывает: рано, мол, полежи. А тут её муж приезжает. Кричать начал. Я в сарайчике у них лежал, циновкой занавешенный. Сорвал он эту циновку, на меня глянул, как на падаль, — лежу-то пластом, не шевелясь, — и так это кладёт руку на голову Гульнаре, на лоб спускает и пальцами в ноздри ей. Это что же, думаю. Ну и ласки! А он запрокинул ей голову, как овце, и ножом по выгнутому горлу — вжик... Кровь фонтаном... Батя, я же мог его сразу прибить. Выхватил наган, прикончил. Да она-то в крови...

И опять Гаврила Матвеевич почувствовал чёрную, застилавшую глаза тоску сына, увидел окружённый желтыми стенами дворик с деревьями, развешанными на опорах, бегущего с ребёнком на руках старика и два трупа на дорожке.

Так, вспоминая былое, Гаврила Матвеевич шёл по берегу Сакмары подалее от людских глаз. Вышел к перекату на бродный переход в Драбаган. В том памятном двадцать седьмом годочке он располагался левее, а выезд на берег был широким, протоптанным до песка копытами лошадей, сбитым колесами. Теперь в соседнее село ездили редко, и колея чуть проглядывала среди разросшегося мелкого лопушья.

Солнце поднялось над лесом, и перекат взблескивал, словно серебрился тысячами рыбьих боков. Только Гавриле Матвеевичу было не до веселья и он, прошуршав белесой галькой, потопал дальше к крутояру. Там была глубина, вода шла тихо, просторно, незаметно подмывая берега с вековыми осокорями. Один, повалясь, уже покоился в реке. Там же, в залесённом устье впадающей в Сакмару их мелкой речки-веселухи Аселя, прибежавшей сюда после кружений вокруг сел да хуторов, в укромном месте под зонтиками дудочника бил родник. Расчищенный Гаврилой Матвеевичем, красиво обложенный галечником, этот родничок поил его в страду и давал водицы

для лесного смородинового чая в его рыбацких ночёвках у костра. И сейчас он пришел сюда как в своё думное место.

Но прежде — напиться, потушить похмельный пожар. Вынув из укромного места берестяной черпачок, он набирал им воду и сливал в себя без счета, постанывая и блаженно вздыхая. Потом разделся и повалился бревном в воду, как топяк пошёл на дно, в омут, в самую соминую берлогу, где зацепясь за корягу, покатался по холодному илу. Тело набиралось крепости, а голова без воздуха как будто закипала, переваривая похмельную немощь. Чтобы занять себя да пересилить стремление рвануть наверх, наладился там расчищать яму от коряг. И когда совсем стало немого, ноги толкнули его вверх, руки помогли, и вылетел из воды с пробочным подскоком; в два-три гребка подплыл к берегу и выбрался наверх.

От донной стылости по коже высыпали пупырышки, напомнив, как Сашка вот тут же, после купанья, пытался ущипнуть деда и долго удивлялся, что не мог собрать его кожу в щипок. Говорил, такое бывает только у здоровых людей, а у больных да слабых кожа болтается, как одежда на вешалке.

Вспомнив про первого внука, Гаврила Матвеевич с удовольствием подумал, что удачно всё сладил вчера: катит сейчас Сашка со своей любушкой и горя не знает. А теперь задача горькое дело развести. Одевшись, сел на берегу, как бы перед удочкой, и ушел в думы. Надо бы про настоящее, но нет, лезло опять бывшее...

* * *

После поездки на мельницу и признания, облегчившего душу, Николай понемногу начал оттаивать. Тут и весна помогла, звала из избы на волю, на люди. Сначала всё по селу ходил с палочкой из конца в конец — ногу расхаживал, как велел доктор, а вскоре на девичьи посиделки зачастил, на гулянках стал пропадать до утра, и уже без палочки обходился.

— Может, рано коня своего бросил, — заметил Гаврила Матвеевич. — Поберётся бы.

Они стояли в завозне, подлаживая телегу. В распахнутые ворота било солнце. В луже возле сарая стозвонно дробилась капель, наполняя двор и, казалось, всю округу поторапливающей музыкой. Порхавший по завозне ветерок, сырой, приправленный раскисшим на солнце конским навозом, бодрил и звал с собой на простор за изгороди села, в ещё пестрые, как сорочье крыло, поля. Туда и смотрел Николай, услышав слова отца. Как бы очнувшись от раздумья, ответил:

— Мужику руки нужны для работы, не для подпорок.

— Аль мужиковать останешься? — удивился отец.

— Не прогоните?

— Да ты что, сынок. Рады будем. Такая подмога! Просто подумал, после армии не захочешь в навозе возиться. Да и забыл, поди, всё.

— Не забыл, батя. Я всю службу во сне пахал да сеял, косил да молотил. Буду мужиковать, как ты говоришь. В общем, прирежь землю.

— Ладно. Только ведь мужик без бабы — что огород без городьбы.

Сын кивнул: правильно. А помолчав, спросил:

— Батя, а меня может хорошая девушка полюбить?

— А почему ж не полюбит?.. На то они и девушки, чтоб нас любить да детишек носить. А вот насчет хорошей... Они, видишь ли, все хорошие, да откуда потом плохие жены берутся — вот революционный вопрос, по мое-

му разумению, — сказал Гаврила Матвеевич, получив возможность помудрствовать, что очень даже полюбил в последние годы. Но, взглянув на сына, осёкся. Что это с ним?.. Красноармеец, прошел огни и воды, статный да ладный, стоит перед ним, зарумянившись как молоденький, и стыдливо прячет взгляд. — А ты почему засомневался?

— Годы... — вымученно улыбнулся сын.

— Годы хорошие — самый сок. Ещё что?

— Сам не знаешь, что ли, — полез за кисетом Николай и вздрагивающими руками принялся крутить и мусолить сигарку. — Уже по деревне кличут: «Вон, Колька хромой пошёл». Калека!..

— Нашел дуду на свою беду! Вот Павлушка Стожков без ног остался — ему не позавидуешь. Матвей Шемякин без правой руки, Андрей Прозоров без ноги, на деревяшке культепается, — эти калеки. А ты бегаешь — на коне не догнать. Васька Ларичев сказывал, в Драбагане лишь настиг тебя.

— Было дело.

— Было... — впился в него взглядом Гаврила Матвеевич, и вдруг вместо сынина лица, прикрывшегося дымком сигарки, явственно обозрел как бы промелькнувшее перед внутренним взором девичье личико. Узнал его — пана Игнация дочка — и пошел напролом: — Ты, Колька, зелен ещё отца в дураках водить.

— Ты чего, батя?

— А то, сынок. Хитри, да хвост береги. Ты же полюбил девку. И сдрейфил.

Николай поднял на отца выжидающий взгляд: что, мол, ещё скажешь? А то и скажу, решил Гаврила Матвеевич и объявил сыну с лукавой ухмылкой:

— А влюбился в пана Игнация дочку!

— С чего ты взял?

— А у меня догадка вперед ума бежит. Умный только свистнет, а догадливый смыслит.

Заважничав, Гаврила Матвеевич бросил в телегу топор и хитро поглядывал на Николая, на то, как он замедленно соображал, боясь попасть впросак.

— И как же ты... смыслил?

— Тайна тут великая, — отвечал отец, дурачась, а выходило вроде как всерьёз. — Тебе — доверю, а ты — никому! Запрёшь, а ключики в океан-море бросишь.

— Тогда, может, лучше не говорить? — удивлялся Николай непонятному поведению отца. На что намекает? Чего хочет?

— Может, и лучше, — согласился Гаврила Матвеевич, и тут же засмеялся, простодушно признаваясь. — Так ведь хочется похвалиться кому-нибудь. Чужому не скажешь — вмиг ославят по деревне. Только сыну и можно передать такое.

— Колдовство, что ли?

— Вот и ты смекнул.

— Смекнул, когда так намекаешь. Только я в эти сказки не верю.

— А я, думаешь, верю? Но вот вижу и всё тут. Вроде как мерещится мне. И полячку твою увидел, когда ты прикуривал.

— Мало ли совпадений.

— А Лёха, дружок твой, тоже совпадение?

— А чего — Лёха?

— Конопатый он. Как крошками обсыпанный. Так ли?

— Та-ак, — поразился Николай, вспомнив, что никогда не рассказывал отцу про внешность дружка, а отец добавлял новые приметы, словно бы видел его.

— Еще белобрысый и губошлепистый. Цигарку держит в зубах и губы выворачивает, как сопляк, начавший курить.

— То-очно! — совсем растерялся Николай, не зная, что и подумать. Ведь точно, не говорил ничего про Лёху. Может, в письмах писал? Ну, упоминал, наверное, так ведь не про веснушки на лице. — Батя, а как же это? Что ж это тогда?

Гаврила Матвеевич многозначительно помолчал: мол, понимай, как знаешь. Ему в те годы еще приятно было думать про себя как о личности особенной. И хотя знал, что никакой он не колдун, не ведун-знахарь и с черной силой никакой не знался, Гаврила Матвеевич все же был убежден, что есть в нем что-то такое, чего у других нет. Это «что-то» ярче всего проявлялось в его догадках при слушании людей. С годами странный дар, к удивлению, не ослабевал и крепил уверенность в своей исключительности, вызывал и недоумение: а на кой он нужен? Даже сказать о нем нельзя никому: народ темный, многие посчитают колдуном, убоятся и возненавидят. Не-ет, про такое молчать надо. Коленьке открылся, потому что увидел в нём самого себя, снаружи грозен да строг, а внутри нежней девушки. Как раскрылся он ему со своей болью на сердце, так и Гаврилу Матвеевича потянуло рассказать сыну своё заветное...

«Стоп! — остановил поток воспоминаний Гаврила Матвеевич, удивляясь себе: ведь куда угнал! Не до того сейчас... Надо понять главное, с того, что началось на другой день.

Гаврила Матвеевич с Тимофеем ладили борону, вбивали новые зубья взамен погнившим, а погрузневшая Галина у оконца шила будущему ребенку новину. Стукнула дверь в сенцах — подумали, Василиска озорует, а в избу ввалился Николай, весь взъерошенный и злой. С порога бросил:

— Мельник Цициров поехал свататься за паненку.

Тимофей и Галинка встретили известие как повод посудачить про толстого мельника, недавно похоронившего жену, и не понимали, почему Николай и отец, вперившись друг в друга взглядами, так напряжённо молчали.

Николай ждал слова отца, а Гаврила Матвеевич соображал, как же это произошло. Ведь мякинной муки мельник так и не намолот, не сладилось у него с поляком дело. И вдруг к девчонке сватается, которая ему в дочки годится. А может, сватается, потому что до голода дошёл.

— Тогда что же ты стоишь?.. — глянул он на сына, и тот дёрнулся, как испуганный конь: что делать?

— Запрягай Серко, — объявил Гаврила Матвеевич. Встал с табуретки, потянул с вешалки полушубок.

— Запряг, — отозвался Николай и, шагнув в угол, где под лавкой лежал его вещмешок, вынул из него наган и засунул в карман шинели.

— Не воевать, сватать поедем, — усмехнулся отец. И пропел: — Эх ты, Коля-Николай, сидел дома, не гулял. И просидел невесту. — Обернулся к Галине, с изумленным ожиданием в глазах следившей за ними. Подмигнув ей, приказал: — Собери, что с собой надо.

— Батя, а мост разобрали мужики, чтоб не снесло, — сказал Тимофей и тоже стал одеваться, натягивать сапоги.

— По льду проскочим.

— Давеча смотрел, вода верхом пошла.

— Ой, правда, папа, — испугалась Галина, заохала. — Ой, не надо, папня. Вдруг подломится.

— Потому и не мешкай, — приободрил её Гаврила Матвеевич, ласково

тронув за плечо. — Нам главное — на тот берег перемахнуть, а там мы пошустрим. Не может быть, чтоб гордая паночка такого сокола на мешок дерьма променяла. Хитрит Архип, а мы тоже не лыком шиты.

Мужчины быстро и дружно оделись, Галина собрала корзинку с продуктами, какие были под рукой, — соленые огурцы, вареная картошка, кусок сала, хлебцы, луковицы; там же уместила две четверти черемуховой настойки — рубинового цвета водицы, какую пили на масленицу вместо вина, огляделась: что ещё надо? Испытующим взглядом посмотрела на мужа, шагнула за занавеску, стукнула там крышкой сундука.

— Ну-ка, на дорожку присядем, — сказал Гаврила Матвеевич.

Сели. И тут из-за занавески вышла Галина с цветастым платком на плечах, подаренным свёкром. С таинственной улыбкой прошла мимо глядящих на неё мужчин, как ходила когда-то по деревне, гордо выпятив живот, потом стянула с плеч платок, сложила и аккуратно уложила в корзину. С легкой грустью — мол, ладно, обойдусь — взглянула на мужа, выжидающе хлопавшего ресницами. До него всё дольше доходило, чем до других, — перевела взгляд на свёкра, который понял всё без слов и вытянул шею до дрожи, поражённый таким её поступком, и обратилась к Николаю:

— Невесте подарок.

— Спасибо, — пробурчал тот смущённо, а Гаврила Матвеевич сорвался с лавки, обнял невестку и поцеловал её в лоб и щёки, приговаривая:

— Ах ты, Галинка, детинка моя... Не пожалела! Спасибо тебе. Не за платок, за душу твою добрую спасибо.

Затем оставил её, застыдившуюся, и шагнул из избы, чтоб не расчувствоваться до слёз. За ним пошли сыновья с корзиной, а невестка, вытирая выступившие слёзы, кинулась к окошку поглядеть, как мужчины поедут со двора.

Поехали на санях через огороды, где ещё лежал снег; напрямик добрались до реки. Сакмара покоилась подо льдом, но был тот лёд уже рыхл и кое-где сверкал синевой неба, отражавшегося в разливах луж. Ниже был перекат. Прodelав промоину, река здесь грозно рокотала по гальке и один раз вырвавшаяся из плена уже не желала добровольно уходить под ледовый настил, она выплёскивалась наверх льда и топила его под собой. Там реку не переехать, решили попытаться счастья выше переката, где на тиховодье лед намерзал толще.

Пока Николай развязывал гуж, отпуская клещевину хомута, да снимал чресседельник, чтобы в случае беды лошадь выскочила бы из упряжки и выбралась на перекате на берег, отец наказывал остававшемуся дома Тимофею, что и как готовить к севу. Уловив его улыбку, одёрнул себя:

— Да ты ж лучше меня всё знаешь.

И польщенный Тимофей распахнул улыбку на всё лицо. Он и в самом деле проявлял к хозяйству больше старания, чем вечно занятый общественным отцом.

— Сам думай, что делать, а делай, что решил. А как лёд сойдет — мы тута. Ну, бывай здоров.

Обнял сына, поцеловал и, оставив стоять на крутом берегу, побежал вниз, куда под уздцы повёл лошадь Николай.

— Успехов тебе, братуха! — крикнул ему Тимофей, и Николай махнул рукой.

Лошадь поняла, куда её ведут. Словно чувствуя беду, всхрапывала, упираясь и всё норовила оглянуться назад, на бежавшего к ней хозяина, но и хозя-

ин не спас её от железной руки человека в остроконечной шапке. Запрыгнув в сани, он больно ожёг кнутом, покрикивая:

— Давай, давай, Серко! Бегом. Семь бед — один ответ. Пошёл! Н-но!.. — И опять хлестал по самому больному месту, под пах.

Серко вышел на лед и потащил за собой легко скользящие сани. Кнут подгонял, заставлял мчаться к тому берегу. Николай на ходу прыгнул в сани, и тут же раздался гулкий, побежавший по реке треск.

— Выноси! — гаркнул Гаврила Матвеевич.

Конь понёсся, стараясь убежать от этого крика хозяина и грозного треска подламывающегося под санями льда, в несколько махов перенёсся через реку, выскочил и выволок сани на берег. Гаврила Матвеевич и Николай оглянулись и увидели, как по их санному следу, поперёк реки, протянулась чёрная полоса и расширялась по мере того, как вода сдвигала к перекату отломанные льдины. Тимофей с той стороны кричал им что-то, махая руками. Голос его заглушался треском начавшегося ледохода: оторвавшиеся льдины быстро перекололись на перекате и на выходе из него нагромодили торос, так что нетрудно было сообразить, что образовавшаяся плотина поднимет уровень воды, вспучит лёд и через час другой понесёт отсюда последние остатки зимы.

— Ну, сынок, первая удача у тебя есть, — сказал Гаврила Матвеевич сыну, прикованному взглядом к черноте воды в том месте, где они только что пронеслись. Сейчас только до него доходило, что, поскользшись Серко или помедли...

— И тебя тоже, батя...

— Да-а, — перекрестился Гаврила Матвеевич, тоже переживший страх. Он отломил от буханки кусок хлеба и понёс его Серко. Потчужа, просил прощенья за обиду, уговаривал: — Ну, не сердись. Надо так было. Ты ж, глупый, и купался б сейчас там. А теперь сухой, и хлебушко жуёшь. Вот так, милый... Вот так...

Подправив лошадиную амуницию и прощально помахав Тимофею, поехали по зимнику в Драбаган искать пана Игнация.

— А ты отчаянный мужик, батя, — говорил Николай, всё ещё не освободившись от пережитого.

— А всё ж не без ума, — радовался Гаврила Матвеевич такому признанию сына. — Не козырист, так находчив. Я ж всё прежде рассчитал. Лёд толстый, если и треснет, то не сразу разойдётся.

— А поскользшись Серко?

— Так я ж его подковал наперед.

— Ну, а вдруг?.. — допытывался Николай.

— Удалой долго не думает.

— А как насчёт «семь раз отмерь да раз отрежь»? — хитро прищурился сын.

— А сам чего ж не мерил?

— Так я ж в тебя, наверное, тоже удалой.

И оба рассмеялись, довольные.

— На женитьбу и на войну надо идти смело, — заговорил вновь Гаврила Матвеевич, помахивая кнутом. — Ага... Смелым Бог владеет. Сколь раз на себе испытал. Вот отметина-то... — снял он шапку и нагнул перед Николаем голову, где на самой макушке был у него сабельный шрам. Николай видел его не раз и слышал его историю не единожды, но раздвинул волосы и потрогал рубец, после чего отец опять нахлобучил на голову волчий малахай и продолжил рассказ: — Колчака били. Схлестнулись в конной рубке. Вижу —

есаул прёт, а у меня конь назад садится, ранило его в ляжку. И вот как словно шепнул мне кто-то: спрыгни! Скользнул с седла — и под коня. Только кончиком достал меня есаул, а то бы надвое развалил. Видишь как... И тут прислушался к себе — нет тревоги. Проскочим, значит. И проскочили. Теперь нам полячку твою с бою взять надобно. В сани её, и айда-пошёл... Любит тебя?

— Не знаю.

— Как это, не знаешь? — уставился на него отец. — Чего ж мы едем тогда, если не сговорился?

— Я говорил, а она... молчит, — признался Николай, хмурясь. — Да что она скажет. Голодают они. Сунул пану деньги — не берёт. А дочь кормит соломой, перетёртой на камнях.

— Слыхал...

Улицы Драбагана встретили их такой же весенней слякотью, какая была сейчас и в их Петровском. За санями с брёхом бросился чёрный кобель и взвизгнул, получив ловкий удар кнутом. Лай и визг собаки как бы пробудили сонную улицу, и к окнам домов сразу прилипло несколько лиц, разглядывая приезжих. Две молодки, стоящие у колодца с вёдрами на коромыслах, прошли за ними вслед, чтобы увидеть, к кому приехали, а увидев что сани подъехали к дому Рыбчихи, где уже стояли нарядные саночки мельника Цицирова, изумлённо переглянулись и, плеща водой из полных вёдер, разбежались по разным сторонам сообщать селу новость.

Дом Рыбчихи был большой и когда-то многолюдный, но в японскую войну убили её хозяина Епифана Рыбникова, а в революцию сгинули два брата-близнеца Мишка да Гришка. Обнищавшая Епифанова жена, прозванная Рыбчихой, жила тем, что выращивала на огороде да брала с молодых за устройство в её избе складчинных посиделок. Ещё сдавала под жильё полякам запечный угол, хотя — что там можно было взять с голи перекатной.

Подъехали к избе. Николай побелел лицом, увидев возле крыльца вороного жеребца, хрумкающего овёс из привязанной к морде торбочки. За ним стояли фасонистые саночки с красной спинкой под веревочной оплёткой да с изогнутыми железными полозьями. Видно было, Николая под дых ударило богатство соперника. А Гаврила Матвеевич только посмеивался в душе — надо же, Архипка Цициров, которого он не единожды проучал за жадность, на дворянских саночках приехал свататься. Наверное, с революции их держал где-нибудь в сарае за хламом, чтоб не видели до поры, и вот выехал под конец зимы. Фор-си-ист, заключил Гаврила Матвеевич и, разнуздав коня, привязал его так, чтобы умная скотина добралась до сена, наваленного в саночки мельника. Сделал это не ради пожитка, неизживного стремления в мужицкой душе, а скорее для показа своего пренебрежения к богачу и поучения сына: смотри, мол, и не дрейфь. Затем залез в его шинельный карман и забрал наган. Так будет вернее.

Вошли в избу.

— Добрый день. Здравствуйте, — поприветствовал Гаврила Матвеевич и, стащив с головы шапку, размашисто перекрестился.

Дальше по обычаю надо было заговорить про то, что у вас есть товар, а у нас купец, но язык не поворачивался выговаривать эти слова скорбному человеку в лохмотьях, крючком нависающему над кусанным огурцом, лежащим на краю стола возле стакана недопитого самогона. Да и «княгиня»

сидела на табуретке у печи с потухшими, как на собственных похоронах, глазами, не вызывала бойкости слов. По всему видно было, просватали девушку и пропивали сейчас.

Догадку подтверждал мельник. Он набылчился и горой возвышался над столом в распахнутом пиджаке, чтобы видно было новую рубаху и жилет с серебряной цепочкой карманных часов. По правую руку его стояла бутылка с самогоном, по левую, на развязанном платке, лежали шматок сала, хлеб, яйца и луковицы — угощение, значит. На незваных гостей смотрел с неудовольствием, но Гаврила Матвеевич и глазом не повёл — не хозяин! — стал стаскивать с себя полушубок.

Николай сразу пошёл к полячке. Она распрямилась и, не веря своим глазам, смотрела, как он шёл к ней, поднимая руки.

— Всё! Моя ты! — стиснул её ладошки Николай, тесно приблизившись. И глаза её засветились.

Архип покрутил головой, взглядывая то на невесту, отдавшую руки Николаю, то на её молчащего отца, и зарычал, вываляясь из-за стола:

— Так не пойдет! Моя невеста!

— Невеста не жена: разневестится, — заметил Гаврила Матвеевич.

— Не по правде, Гаврила, — перебросился на него мельник. — Пропита девка. Моя!

— Твоя, так бери!

— Да гони ты его, батя.

— Во-он как! — взревел Архип и, ощерясь, пригнулся, готовый к драке. — За моё же и меня...

— Ты обманщик! — резко оттолкнул стакан с самогоном пан Игнаций, и мутная жидкость из него выплеснулась на надкусанный огурец. — С тобой нет дела. Ты... ты...

— Заткнись, голытьба! — оборвал его мельник.

— А ты не больно-то воюй — не хозяин тут, — прикрикнул на него Гаврила Матвеевич и, сбавив тон, с примиряющим непониманием развел руками. — Обидно ему, видишь ли. А чего обижаться-то. Отказ не обух, шишек на лбу не будет.

— Лен-ка! — послышался старческий окрик, и с печной лежанки высунулась на тощей шее морщинистая и одутловатая, как печеная тыква, голова Рыбчихи. — Не слухай Валдаев. Валдаи всегда смутьяны и нищи. За мельника иди.

Архип притих, дожидаясь ответа невесты, но тут отворилась дверь и в избу вошли две девицы-молодицы с дровами на руках, прошли к печи и с шумом сбросили поленья, объявив:

— Бабань, дровец принесли.

Приношение давало право гостевать, и девчонки привычно уселись на лавку глядеть, что здесь происходит.

— Мельник не ворует, ему люди сами несут, — продолжала скрипеть Рыбчиха. — За им как сыр в масле станешь кататься. Да отца выручишь. Помрёт он с голодухи-то. Вон уж очки продал. На мои кусочки не надейся: счас я жива, а завтра, может, Господь приберёт.

Напоминание о проданных очках заставило пана Игнация ещё больше сгорбиться; он ткнулся лицом в ладони и, подавленный жалостью нищенки, истерзанной ударами судьбы, решившей в этот день добить его окончательно, не выдержал, затрясся, не в силах сдержать рвущиеся рыдания. Леонтина бросилась к нему:

— Папа, не надо... Я не брошу тебя, ты слышишь?! Только с тобой...

— Пять мешков кладу, — размашисто объявил мельник, с торжеством уставясь на Николая. Он решил устроить торг, задавить Валдаев.

— Семь! — объявил Николай, многозначительно опустив руку в карман. И добавил, не сводя ненавидящих глаз с мельника: — Семь пуль! И всё в твоё жирное пузо.

— О-о-й... — испуганно поджалась девчонка, готовые стреконуть из избы.

Гаврила Матвеевич им успокаивающе подмигнул. И порадовался, что забрал у сына наган: в такой ситуации мельник очень даже просто мог получить обещанное. Встал между ними, прикрикнув:

— Ну, хватит базар разводить! Невесте слово. Кого любишь — прикажись, а не любишь — откажись.

Леонтина оглянулась на Николая... Он с готовностью распахнул полу шинели и она встала к нему, как под крыло.

Своя воля, и доля своя — это-то понятно, размышлял о былом Гаврила Матвеевич, глядя на струившиеся под ногами воды Сакмары. Тяжелел его другой вопрос, ответ на который должен был прояснить создавшуюся путаницу. Ведь выбери Леонтина не красноармейца Николая Валдаева, дравшегося за советскую власть, а её врага Архипа Цицирова, то доля досталась бы та же — раскулачивание, ссылка в Сибирь, смерть мужа... А всё потому, что того и другого в один день раскулачили, в одном вагоне увезли и, беглых, в одном стогу прикончили возле родного села.

Но это потом было, позже. А сперва-то свадьба. Хоть и бедная, но все же весёлая и необычная для села, как и всё, что выходило из-под рук Гаврилы Матвеевича. Кое-как выпроводив мельника, долго собиравшего в тряпицу принесённую с собой снедь, Гаврила Матвеевич обратил взгляд на девчонку, следивших за всем с жадным интересом.

— А вы на посиделки пришли?

— А-а...

— Много соберётся?

— Полна изба будет, если Ванька придет с гармошкой.

— Тогда вот что, девоньки, — зашептал им Гаврила Матвеевич, отводя к двери, — приведите мне этого Ваньку с гармошкой, свадьбу устроим. Гульбище не обещаю, сами понимаете, не те года, да и время не то... Так ведь и без свадьбы нельзя молодым в жизнь идти.

— Без свадьбы никак нельзя, — согласилась с ним чернявая, а другая, светленькая, в распахнутой шубейке, зашептала ему:

— А можно, мы в складчину войдём? Соберём у кого что есть. В масленицу так гуляли, хорошо всё было.

Ох, и тяжелый вопрос этот был для Гаврилы Матвеевича. Старшего сына женил кое-как. Хоть и с громкой славой, а всё ж против обычая. И вот второго сына придётся женить не по-людски. В церковь идти Николай заранее отказался, да и Леонтина не пойдет, поскольку католичка. В то же время в их бедняцком положении было и не до обычаев, а с молодёжной складчиной получалось даже вроде как по-новому, вполне соответствующе положению бывшего командира партизанского отряда, партийца и председателя сельсовета. Рассудив так, согласился.

— Это можно. Вас как звать, девушки?

— Вера...

— Надя...

— Я вам, Вера-Надя, дам денег, а вы в лавке леденцов да пряников купите. Да два самовара принесите. У Рыбчихи-то ничего, вижу, нет. Свадьба у нас по-новому будет, коммуной будет, без водки и самогона — сладкий стол и веселый.

— Ой!.. — восторженно переглянулись девчонки.

Наладив так девчонок, Гаврила Матвеевич заглянул к Рыбчихе на печку и с шутками-прибаутками стащил её оттуда похозяйничать в доме. Назадал всяких задач и нахвалил так, что у той не осталось воли сопротивляться. Пристроил ей в помощники пана Игнация, всё еще потерянно топтавшегося в избе, а молодым сказал, чтоб собирались ехать в сельсовет регистрировать брак.

Услышав про регистрацию, пан Игнаций засуетился, и от волнения, что не может увидеть замужество дочери, всё тер глаза и таращился, стараясь разглядеть жениха и свата, но, видно было, ничего из этого не получалось, и на лице его проступала и разрасталась мука. Не в силах это видеть, Леонтина с горечью отвернулась, а Николай вопрошающе глянул на отца — что делать? И тот кивнул ему: сделаю! Вызвал в сенцы Рыбчиху и выспросил, кому пан продал очки.

— Шабрам... Да ты знаешь их, чать, — скрипела Рыбчиха. — Ваське Каретникову, которого Егор взял в примачи. Ты ещё нос ему скривил в драке.

— Ваське?

— Егору. Забыл, что ли?..

— Эх, чего помнишь, — упрекнул Гаврила Матвеевич.

Он вышел во двор и, слегка опираясь на кол, перепрыгнул через плетень к Рыбчихиным соседям.

— Ишь, козёл какой. И годы не берут его, — проворчала Рыбчиха, вспомнив то время, когда Гаврила в драке село на село поломал нос Егору, и она не пошла за него, кривоносого, замуж, а вышла за Тимошку Рыбакова и вот на старость лет стала Рыбчихой. Выходит, из-за него, чёрта безрогова. И удивляясь на себя — чего слушаюсь, окаянного, — и полезла в погреб доставать остатки кислой капусты для затеянной им чудной свадьбы без венчания и вина.

С очками дело уладилось сразу, как только Гаврила Матвеевич спросил о них у соседей — молодожёнов Василия и Екатерины. Оказалось, он играл у них на свадьбе осенью. Екатерина сходила в горницу и тут же вышла в очках, поглядывая поверх стёкол и смеясь.

— Для смеха что ль покупали?..

— Да не покупали, дядя Гаврила, — смущённо объяснил Василий. — Пан пришёл муки просить, а денег нет. И в долг взять не хочет — пан! Вот и навязал. Отдай их ему. Ты у них, вроде?.. Чего приехал?..

Гаврила Матвеевич удовлетворил любопытство молодой парочки, обстоятельно рассказал, как перебрались через Сакмару, да как отбили невесту у Цицерову, задумавшего жениться на молоденькой после недавней смерти жены. Вскользь заметил, что здесь не при деньгах и, отрезанный ледоходом, не может забрать невесту в Петровск, а потому справят свадьбу-скорodelку в Драбагане, в доме Рыбчихи, и будет эта свадьба коммуной.

— Как это — коммуной?

— А складчинной... Кто с чем придет, тот и за стол пойдёт. Чаю — вволю, веселья — через край. Так что и вас, молодых, приглашаем на складчинную свадьбу.

— Ой, а у меня шанежки в печи, — спохватилась Катерина. Метнулась к

шестку, громыхнула заслонкой и, нырнув в чрево печи, стала выхватывать листы с печевом. Избу наполнил дразнящий запах.

Назад ушёл Гаврила Матвеевич с очками и пирогом на обжигающем руки противне. Накормил горяченьким свою новую родню и повёз регистрировать брак.

Председатель сельсовета — тоже знакомый мужик — записал Николая и Леонтину в амбарной книге и прихлопнул написанное печатью, приделанной на торце чурки. И всё, ребята! До конца веку — муж и жена. Жаль только, век тот был коротким у них. Но тогда об этом ещё никто не ведал.

В ту весну двадцать пятого года разговоры о коммунии возникали частенько, а потому эта коммуная свадьба в Драбагане вызвала всеобщий интерес. Приглашались опять, как и на свадьбе Тимофея, только молодые, и это тоже здесь прибавляло к ней интерес.

— Ишь ты, всё ещё чудит Гаврила, — посмеивались мужики, показывая, что им-то давно знакомы причуды петровского ватажки, и в доказательство своей посвящённости, а то и причастности, рассказывали, как он тут партизанил, а ещё раньше озоровал, водя по селам ватаги парней.

— Да-а... С Гаврилой не соскучишься. И ведь придумал, стервец, такое: за счет гостей свадьбу сотворить. Меня папанька женил, сколько денег ухлопал, а этот бесплатно уладится.

Но, поворчав так, в каждом доме всё-таки снаряжали молодёжь на свадьбу с подарками и стряпней, чтоб быть не хуже других. Парни ещё складывались на вино, отменяя мысли, что такая свадьба может быть без хмельного. У девчонок и молодых пошли свои суматошные заботы. Забегали по дворам, зашущукались, прыская от восторга. Разговоры-то самые главные — о свадьбе, о счастье. А оно вот, перед глазами. Бесприданница и нищенка выходит замуж почти как за сказочного принца, уедет из села и обязательно станет счастливой.

К приезду молодых из сельсовета дом Рыбчихи был осажден толпой ребяташек и стариков, собравшихся поглазеть на коммуную свадьбу. В избе тоже не протолкнуться. Здесь уже стояли сдвинутые столы, заставленные так, что глаза разбегались. Самовар окружали лавочные пряники, теснились пироги и блины, шанежки и кулебяки; из мисок с капустой торчали, просясь в руки, огурцы; тут и там чернели чугуны с горячей картошкой, а может и ещё с чем-то — уж больно аппетитно пахло! Между тарелок и чашек белели яйца, головки луковиц, лежали разномастные ломти хлеба собственной выпечки, наверное, со всех домов Драбагана.

— Ай, да ну и ну! — восхитился Гаврила Матвеевич, обратясь к шагавшему за ним народу, — вот где, оказывается, столы-самобранные. Вот где невест надо выбирать да пировать. Значит, мы с тобой, сынок, не ошиблись, прискакав в Драбаган через ледоход.

Гости расправляли плечи, расцветали горделивыми улыбками, мол, знай наших, у нас — так! Девушки принялись целовать невесту и одаривать памятными приношениями: дарили платочки, чашки, ложки — кто что мог, И говорили, сыпали пожеланиями счастья, богатства, любви и детей — всего, что и себе желали. И это отметил Гаврила Матвеевич, похвалив девушек за их добрые сердца.

— А теперь, — возвестил он, — милости просим — не всех поименно, а всех заедино — за стол самобранный чаю попить и хлеб-соль покушать, да сладеньким закусить.

Гости дружно рассаживались на лавки за столы, шутили и смеялись, и намекали про сухую ложку, которая рот дерёт. Двое парней принесли в избу мешок и, лукаво улыбаясь, побрякивали его содержимым, вызывая общий нетерпеливый, протестующий и восторженный гомон.

— Ладно, — согласился Гаврила Матвеевич, — как община решит, так тому и быть. Кто за проклятую для веселья, по глоточку поднимай вот так руку, — и поднял свою ладонь.

Такое решение вопроса понравилось, и все сидевшие за столом, и те, кому не достались места и пока теснились вокруг стола, дружно подняли руки; некоторые со стаканчиками. Из мешка достали поллитровки казённой водки, с шиком повыбивали из горлышек залитые сургучом пробочки, и в установившейся на миг тишине раздалась булькающая трель.

— Как соловей поёт!.. — воскликнул кто-то, вызвав смех парней и протест девчонок, настроившихся на сладкий стол и питье чая из самоваров.

— По глоточку только, — успокоил их Гаврила Матвеевич, — чтобы нам «горько» прокричать за сладкую жизнь жениха и невесты. Согласны? Аль опять голосовать?..

— Согласны, — ответили хором. — Горько!..

— Ти-и-ха!.. Еще не горько...

— Прежде напутствие надо сказать, — проскрипела недовольная Рыбчиха, притиснутая к блаженно улыбающемуся пану Игнацию так, что хоть на колени к нему лезь.

Николай встал и мотнул головой, показывая отцу, открывшему было рот для речи: нет! Поднялась и встала с ним рядом Леонтина. Статная и высокая, с нарядной цветной шалью накинутой поверх белой кофточки, она поражала сейчас всех никому не виданной красотой. Ведь все видели её в тряпье, в смиренности и стеснении. А тут распрямилась. Смотрит на всех так светло и ясно, что кажется, поглядит на тебя и наполнит доверху счастьем.

— Прошу простить меня, что не по обычаю поступаю, — заговорил Николай заметно волнуясь, — но... В общем, стою я здесь с невестой... Счастливей... А за моё счастье целый взвод жизни отдали... Погибали мы... А меня, как самого молодого, не женатого, послали донесение отвезти. Только в том донесении было написано: «Колька, живи! Расскажешь, как мы сгинули за светлое будущее. Помни нас. Лёха еще наказывает, чтобы на свадьбе за нас первую чарку выпили»...

Николай сглотнул подступивший к горлу ком и поднял стаканчик:

— За второй взвод... За друзей моих!..

Уважили все. Поднялись... А когда под женские сердобольные всхлипывания выпили и вновь расселись за столы, тут уж Гаврила Матвеевич забрал свадьбу в свои руки и повёл её по своему нашупанному пути коллективного гуляния с голосованием, когда пить и закусывать, а когда петь и плясать. И всё-то он примечал, для каждого находил доброе словцо или взгляд. И смешил всех шутками-прибаутками.

Молодежь холостая плясала под Ванюшкину гармошку, а женатые блаженствовали за столом, удивляясь тому, как можно по-общинному погулять таким народищем. Для семьи — разорение, по нынешним временам, а вкладчину — вот как получается. Недаром говорится, с миру по нитке — голому на рубашку. Тут и повод появился поговорить о скором посеве яровых хлебов, о товариществе по обработке земли.

Пример со складчинной свадьбой очень даже убедительно подсказывал мысль стоять за ТОЗы. Подогревал её Гаврила Матвеевич, поскольку мно-

гих сагитировал в Петровске организовать такое товарищество обработки земли. И с интересом наблюдал, как в Драбагане отнесутся к ТОЗам молодые мужики. Вроде бы склонялись попробовать объединиться, но столкнулись с неожиданной критикой пана Игнация. Как-то незаметно прошла его замкнутая одеревенелость, он ожил и вступил в спор, размахивая руками:

— ТОЗы вам не помощь!.. ТОЗы нужны власти! А вы разоритесь!.. Это предрешено!.. Надо понимать! Своя выгода. Где она?.. Где, где?.. Покажи мне...

— Сейчас-то что можно показать, — отбивался сосед Василий Каретников. — Цыплят по осени считают...

— Вот!.. — уличающе восторжествовал пан Игнаций. — Будешь считать убыток... Большой убыток! И нет выхода тебе... Не уйдёшь.

— Это почему?..

— Потому что нет ума... Молодой.

И Василий, и другие молодые мужики с плохо скрываемой ухмылкой смотрели на пана, только что не говоря, что ты вот и старый, и умный, а сидишь в заплатках.

— Сват, — обратился к нему Гаврила Матвеевич по-родственному ласково. — Подскажи тогда, как поумнеть. Я хоть не молодой, но тоже не откажусь поумнеть маленько.

— Знаю... Ты тоже хочешь ТОЗ... Ты — маленькая власть... Ты запретишь держать батраков. А Карл Маркс сказал — нет батраков, нет богатства! Ты... ты... ты. Все-все — разоритесь!

— Найдем!.. — усмехнулся Василий. — Всем работа нужна.

— Есть батрак — ты кулак! Враг советов.

— Так нэпа уже... Проспал пан Игнаций, — засмеялся Василий и, потеряв интерес к разговору, пошёл к холостым поплясать.

Гаврила Матвеевич увидел в дверях председателя сельсовета и пошёл к нему. После регистрации брака его приглашали на свадьбу, но он тогда отказался. И вот не проходит, стоит у двери, глядя тревожным взглядом. А такой взгляд, когда надо вызвать без паники, знал Гаврила Матвеевич и с улыбкой на лице прошёл через плясунов, подступил к председателю.

— Запоздал, Степан Николаевич.

— Оденься-ка, выйди!..

— Ага... Счас...

Одев полушубок, шапку Гаврила Матвеевич вышел из душной, наполненной топотом и гомоном избы на чистый, приправленный морозцем воздух, глубоко вздохнул. Ах, хорошо как! На небе россыпь серебра. Серп луны мал, но белил избы, чернил тени. Во дворе возле саней, попыхивая цигарками, стояла группа людей, туда и шагнул Гаврила Матвеевич. Приближаясь, понял — большие парни пришли, из тех, кто не пошёл на свадьбу нищих, как окрестили её, а сейчас пьяными явились полюбопытствовать да покуражиться. Их задержал председатель сельсовета, и сейчас они выясняли с ним отношения, грозя и сквернословя.

— Ты, Степан Николаевич, шёл домой и иди себе. Где хотим, там и гуляем. Где декрет, что гулять нельзя?..

— Свобода нынче, понимай!..

— А ты нам поперек, да?!.

— Здорово, молодцы! — подошёл Гаврила Матвеевич. — Что за шум, а драки нет.

— А вот и сам!.. Гаврила...

— Для кого и Гаврила, а для тебя, сынок, Гаврила Матвеевич. Аль не заметил стемна? Ну, эт ладно, бывает... Дайте-ка закурить, ребятушки.

В группе на плечах двух парней висел и мотал головой третий парень. Услышав Гаврилу Матвеевича, он поднял голову, открыл лунному свету красивое, с чернющими бровями лицо, передёрнутое гримасой отчаянной боли, усмехнулся.

— Потом покурим. А то опоздаем на её... свадьбу.

— Уже опоздали, ребятушки. Сейчас допляшут и расходиться начнут.

— А нам на почин... невесты... — впился скабрёзным взглядом в Гаврилу Матвеевича чернявый и подмигнул: понял?.. Нет?..

— Павка, не страмись! — одёрнул его Степан Николаевич. Двинулся встать поближе к Гавриле Матвеевичу, но на него надели, подогнули колени и повалили на сани.

— Сиди тут, председатель, пока башку не проломили!

— Ах ты, шеня! Пусти!.. — завозился тот в борьбе с парнями. — Под суд захотели?! Я... вам...

— Какой суд, дядя Степан. Свадьба — коммунная. А в коммунаях все бабы общие, невесты тоже... Вот попробуем невесту и в коммуну запишемся, ха-ха-ха...

Щеря зубы в усмешках, дыша сивушным перегаром парни пошли гурьбой, тесня Гаврилу Матвеевича. Он видел, что это были не те зеленые паренки, плясавшие сейчас в избе, в глазах этих ярилась кобелиная решимость переступить через всё святое.

— А ну сдай назад! — гаркнул Гаврила Матвеевич и, толкнув первого на остальных, сунул руку в карман.

— Гляди-ка, пугать хочет...

— Не жадничай, Гаврила. Попробуем невесту и оставим твоему хромоногую на размножение.

— Отцов наших бил, думаешь, нас запугаешь?.. Кончилось твоё время.

— Пока я жив, моё время не кончится! — сказал он, вынимая Колькин наган. Взвёл курок. — Ну, кто первый в очереди на невесту?.. Ты?.. Ты?..

Парни оторопело встали и попятились вроде, а может и обходили со сторон.

— Да бей его, — пошёл вперёд Павка, сверкнув ножом.

С этим-то, пьяным вдрызг, справиться было нетрудно; ударом ноги в живот опрокинул его в сани Степана Николаевича, и тот выбил нож. Выстрелил поверх голов вправо, влево... Испуганная лошадь рванулась, увозя пьяного атамана, и ватажка его, матерясь, пошла со двора.

Из избы на выстрелы выбежал Николай и парни.

— Ты стрелял?..

— Собак пугнул, — ответил невозмутимо Гаврила Матвеевич.

Но парни-то увидели уходящих по улице Павкиных дружков, зашептались.

Свадьба вскоре кончилась, гости разошлись. И сам Гаврила Матвеевич с паном Игнацием пошли спать к соседям. О налёте парней молчал: кому тут жаловаться?.. Сам проучил. Но слухи, конечно же, пошли по деревне: на каждый роток не накинешь платок.

Рано утром Гаврила Матвеевич и пан Игнаций вернулись в избу Рыбчихи. Поздравили молодых с законным браком. Пан Игнаций проговорил положенные слова торжественно и чинно, а Гаврила Матвеевич — с весельем в глазах. Поинтересовался ещё, не жестка ли была постель, не комковата ли подушка. Николай натянуто улыбался, а вспыхнувшая до пунцового цвета

Леонтина спряталась за самовар, предлагая завтрак. Оказалось, поднялись они с Николаем ни свет ни заря, прибрали избу, вскипятили самовар и ждали их к чаю.

Позавтракали тем, что осталось от вчерашнего застолья, и Гаврила Матвеевич объявил отъезд. Николай удивился: ведь ледоход, разлив... Куда ехать в такую распутицу?

— Надо. Гость дважды хорош: когда приезжает и уезжает. Так ли, Клавдия Филимоновна?

— А мне што... Живите сколь надобно.

Леонтина обмерла; глаза её испуганно заметались с мужа на отца. Вчера она, вспомнил Гаврила Матвеевич, объявила, что ни за что не оставит отца. Видел он, что и пан Игнаций это хорошо помнил, но боится помешать счастием дочери. Пригнув плечи и потряхивая головой, он заговорил по-польски что-то бодрое и утешительное, на что дочь бросала в ответ понятное «нет!». Поняв, в чём дело, Гаврила Матвеевич не дал им договорить и, дружески положив руку на худое плечо пана Игнация, поторопил.

— Собирайся, сват. Как тебе тут бобылем, да без дочери?.. С нами будешь жить. Что есть — вместе, а чего нет — пополам. Проживём!

И тут Леонтина вихрем подскочила к Гавриле Матвеевичу и, охватив за шею, жарко поцеловала раз, и другой, и третий... А оторвавшись от него, кинулась с такими же поцелуями к отцу. Потом — к Николаю: прижалась к нему без поцелуев.

— Да, конечно же, с нами, — пожал он плечами. — Само собой разумеется... Я же говорил.

— Вот теперь и я знаю, как целует моя невестка, — свёл всё к шутке Гаврила Матвеевич. — Горя-ча!

Собрались скоро. Добра хоть и немного, а сани завалили узлами. Последней поклажей была ручная мельница — два тяжелых каменных круга с ручкой для вращения. С трудом притащил их к саням пан Игнаций, умоляюще смотрел на Гаврилу Матвеевича. Предвосхищая отказ, торопился объяснить.

— Она станет кормить...

— Клади.

Попрощались с Рыбчихой. И в путь...

Впереди шёл Николай, ведя под уздцы лошадь; на санях сидела счастливая Леонтина и крутила головой, оглядывая ещё сумрачные и сонные избы с редкими огоньками в окнах, а за санями вышагивали сваты. Пан Игнаций всё ещё говорил про мельницу, оправдывая её место на возу, а Гаврила Матвеевич, согласно кивая, раздумывал, куда им податься.

Их быстрый отъезд, похожий на бегство, по правде и был побегом из Драбагана после вчерашних выстрелов. Сам с детства лихой, он понимал, что такие обиды не прощаются, и поторопился вовремя убраться отсюда подобру-поздорову.

К обеду добрались до соседнего села Чукари, где жила сестрица Васёна с мужем Игнатом. Погостив у них два дня, перебрались в Лебяжье к сестрице Матрёне, потом к дружку в Сасово. Объехали ещё несколько деревень и только через полторы недели, когда с реки сошёл лед и наладили паром через Сакмару, вернулись в Петровск.

Сперва была баня. А потом застолье с вином. Тут уже Галина расстаралась так, что хоть в пляс пускайся. И поплясали маленько под звонкую гар-

мошку Гаврилы Матвеевича. А после пляски и случился тот разговор, перечеркнувший их жизнь. И всё из-за него, из-за пана Игнация, думал в те годы Гаврила Матвеевич.

Говорили о дискуссии в партии, и вдруг он обратился к нему:

— Гаврила Матвеевич, ты видел новых вождей... А какие они?.. Как люди...

— Да вот, как мы с тобой: люди... Обыкновенные.

— Не-е-т... У каждого есть своя мысль... Никто не скажет ее. Только это... — обратился пан к дочери за помощью, и она подсказала ему слово. — Догадка... Да, да... Надо догадаться, что прячут за словами... Ты хитрый, ты знаешь, о чем говорю. Кого ты видел?

— В восемнадцатом году мы Колчаку Пермь сдали... Не отстояли, значит. И к нам в третью армию приехала комиссия ЦК: Дзержинский ваш и грузин Сталин. Устроили смотр. Стою я с ротой — отряд-то мой ротой стал, — а они проходят. Дзержинский с Берзиным — это командир наш — дальше прошли, а Сталин попридержался трубку раскурить. Стоит против меня в шинеле солдатской. Мелковатый. И лицом рябоватый такой, как после оспы бывает. А может, так показалось мне. Зима была, снег сечёт. Он трубочку раскуривает и меня разглядывает, как предмет... Когда верх смотрел, тут ещё в порядке всё — вид у меня молодецкий был, а как донизу дошёл, до рваного сапога, там и застрял: чиркает спички, а они тухнут на ветру. Задумался, значит... Я к нему шаг вперед да говорю: давай-ка по-партизански прикуришь. Посмотрел на меня, и вроде как удивился. Спрашивает, а как это по-партизански? Просто, говорю. Чтоб наверняка поджечь взрывчатый шнур, мы три спички складываем. Сложил так три-четыре спички и поднёс ему огонёк в пригоршне. Ну, а раскурив трубку, он поблагодарил меня за партизанский урок да пошёл дальше.

— Может, когда напомним ему, как прикуривать учил. Вспомнит, — сказал Николай, и все рассмеялись от такого невероятного предположения.

— Может, и придётся. Всякое дело до случая, — рассудил Гаврила Матвеевич. — Я ж тогда и не знал, что он — Сталин. Какой-то из ЦК большевиков, и всё. В те годы Ленин гремел широко. Да ещё Троцкий. Предреввоенсовета, нарком по военным и морским делам. Этот, против Сталина, матёрый мужичище.

— Ну а... какой он? — поторапливал пан Игнаций, становясь от любопытства, казалось, ещё тоньше. — Где видел его?

— В Москве... Иду по улице, а возле какого-то дома народ толпится, вроде бы ждут кого-то. Полюбопытствовал. Молодёжный клуб оказался, а народ Троцкого ждёт, вот-вот приедет, говорят. Как такой случай упустить. Вошёл. Полушубок свой распахнул этак вот, — показал Гаврила Матвеевич, — чтоб орден увидели, ну и в первый ряд попал. А тут и Троцкий входит. Сразу за трибуну встал, заговорил... Я сперва особо не слушал, всё больше смотрел, чтобы душой понять, что за человек. Норовистый. Глаза серые, как бесята за стеклышками пенсне. Борода уголком. Лоб широкий, как бы двухэтажный. А ещё плечо правое выставляет, словно подпирает им то, что говорит. А говорит круто. И слова подбирает такие, что и не хочешь, а веришь им. Еще ручищами размахивает. А то упрется ими в трибуну да лбище свой в зал наставит — так молодёжь визжит от восторга, хлопками засыпает.

— А ты, батя? Хлопал?.. — загорелись глазки у Николая, обнимавшего Леонтину. Она также не спускала восторженного взгляда с тестя.

— А я, Николаша, воробей стреляный. Ем варёное, слушаю говорёное, да на ус мотаю.

— О чем он говорил? — спросил пан Игнаций.

— Это самое главное — о чём, — усмехнулся Гаврила Матвеевич, обращаясь к пану Игнацию, словно говорил только для него. — Слушал его этак, наверное, часа три. Хлопал со всеми. До машины провожал. А потом дня три думал, что он говорил нам. В общем, предлагал ввести милитаризацию всего хозяйства.

— Он военный, — обескуражено потряс головой пан Игнаций. — Что другого предложит солдат?

— А что такое... это самое? — не понял Тимофей.

— Военизация, — объяснил Николай. — Вся жизнь по военному образцу.

— Как у казаков, что ли?

— Как в трудармии! — добавил Гаврила Матвеевич. — Чтоб жили все с жёнами и детьми в казармах, а работали — поурочно. Сделал порученное — получишь паёк, а не сделал... Тут как придумают.

— Да он что, батя?.. Или ты шутикуешь, поди, — с недоверием воззрился на него Тимофей и, взяв карты, стал тусовать. — Давайте в карты играть. В дурака.

— Не шуткую, сынок, Говорил, это жизненно необходимо для советской власти. Потому что народу веры нет. Тёмные мы с тобой, видишь ли. А таких надо принуждать к труду, и крепко в узде держать.

— Это почему?

— А потому что в дурака много играем. Говорил, что всяк крестьянин есть мелкий собственник. И мечтает стать кулаком, эксплуататором, врагом социализма. Чтоб этого не стало, говорил, над крестьянами надо поставить пролетариев. А над пролетариями — военных. Всякое проявление лени и безделья считать дезертизмом и карать суровыми мерами! Вот так, мужики... Что ещё там говорилось?.. О профсоюзах, помню... Говорил, чтоб за рабочих они больше не заступались, а стали бы государственным аппаратом и контролировали бы каждый их чих.

— И рабочих, выходит?..

— Соображай, если не хочешь в дураках оставаться.

Озабоченно и хмуро мужчины и молодые женщины смотрели на Гаврилу Матвеевича, не зная, как относиться к услышанному.

— Так его же, того... — вспомнил Тимофей. — Писали, дискуссию прекратить, а Троцкого — пинком из Политбюро и из наркомов. Раздавать что ли?..

Но карты опять не пошли. Мужчины сидели хмурыми.

— Наиграисси ещё, — одернула его Галина. Она обижалась на то, что муж не обнимает её, как Николай Леонтину, и, повиснув у него на плече, уговаривала: — А ты поспорь ещё. Интересно...

— Об чём тут спорить-то? Сказали же, дискуссию прекратить. А Троцкий пусть катит, знаешь, куда?

— Не торопись, Тимофей! Немудрено голову срубить, мудрено приставить, — заметил Гаврила Матвеевич.

— Так сам же сказывал, чего он удумал.

— Не всё то варится, о чём говорится.

— Так ты за кого, батя? За Троцкого или за Сталина?

— Я против разлада, Тимоша. Знаешь ведь, коль в доме разлад, так и дому не рад. А тут — страна, все дома наши и вся жизнь. И гляди: Троцкого нет, а беды всё те же...

— Этот разлад имеет свои причины, — сказал пан Игнаций, искоса поглядывая на Гаврилу Матвеевича. И только убедившись, что его пригото-

лись слушать, продолжил: — Спорят, где взять деньги. Троцкий предлагает взять у крестьян.

— Да откуда они у нас? — возмутился Тимофей.

— Сталин ничего не предлагает, — продолжал пан Игнаций, не сводя глаз с Гаврилы Матвеевича. — Он возьмёт их с вас, с крестьян!

— А как возьмёт, если я жене сапоги не могу купить, — усмехнулся Тимофей.

— Папка, ты обещал ботиночки мне сперва, — подала голосок Василиска. Она стояла возле Леонтины, и та вплетала ей в косу ленточку.

— На ботиночки найдём, — пообещал Василиске дед. — А как забогатеем, так купим знаешь что... — озирали свою избу Гаврилы Матвеевич, не зная, что ему надо для счастья.

— Чего купим? — теребила его подбежавшая Василиска.

— Граммофон! — пообещал внучке Гаврилы Матвеевич и задиристо обвёл взглядом сыновей. — А что?! Купим! Теперь нас четыре мужика. Соединим наделы, возьмёмся вместе, да мы... горы свернём!

— С одной лошадей? — въедливо заметил и словно бы укусил пан Игнаций.

— Купим другую! А потом граммофон, — сказал дед капризно надувшейся Василиске. И с щедрой улыбкой обернулся к Николаю: — А вам с Леонтиной дом поставим.

— Угу, — ухмыльнулся Николай. — Заведём коровку, овечек пяток, курешек с десяток. И будем нищету плодить.

— Да все так живут, — певуче проговорила Галина.

— Живу-ут! — усмехнулся с горечью Николай. Он видел, как отец, брат и его жена Галина снисходительно переглянулись, мол, молод ещё, ветерок в голове, и, оскорбясь таким их пониманием его слов, бухнул: — В общем, мы в отруб пойдём...

В избе стало тихо. Даже Василиска замерла, поняв по напряжённым лицам, что произошло что-то опасное, и в страхе бросилась к матери.

— Ты случаем не с печи ли свалился, когда придумал такое? — спросил Гаврилы Матвеевич и перевёл взгляд на пана Игнация. — Али кто пособил? В отруб... В отруб идут с деньгами, а не с кулаками. Знаешь ведь, деньга деньгу куёт. Есть в кармане, будет и в амбаре. А у нас в кармане блоха на аркане. В одном смеркается, в другом заря занимается.

Николай, нахмурился, молчал. Заговорил пан Игнаций, сразу показав, откуда ветер дует:

— Пан Гаврилы, тут надо всё рассудить. Если купим вторую лошадь, то будет половина лошади на мужика. А с половиной лошади граммофон не купишь: надо платить налоги. Надо по-другому...

— Ну, вразуми...

— Можно разбогатеть, если заведём ферму.

— Погоди, сват... Попроще давай. Начни-ка сызнова, — попросил Гаврилы Матвеевич, и пан Игнаций смущённо заёрзал, не зная, как можно говорить ещё проще. Помогла Леонтина, заметив как бы между прочим:

— Сейчас у нас натуральное хозяйствование — когда в каждом дворе и сеют хлеб, и держат корову, и овечек, и кур — всего понемногу, но чтоб было всё-всё своё.

— А как же иначе, — удивилась Галина. — Ты тоже захочешь, чтоб и коровенка была — детишек поила, и кабанчик к зиме... Всё не купленное, своё.

— Захочу, — кивнула Леонтина.

— Так хотят все! — обрадовался пан Игнаций. И быстро заговорил по-польски. Леонтина переводила:

— Хотят иметь всего понемногу, чтобы самим всё съесть. И тогда нет товарной продукции для продажи. А если не продавать, то нельзя разбогатеть. И не будет денег на покупку граммофона, швейной машинки, трактора, ситца.

— Всё не съедим... А лишнее продадим и купим что надобно, — сказал Тимофей.

— А лишнего не будет, — возразил ему Николай, — когда держишь тридцать кур. Надо держать три тысячи. И яйца телегами возить в город.

— Эх-ха! — воскликнул Гаврила Матвеевич. Заулыбался от восторга понятой мысли. И ждал, что дальше скажет сын.

Приободренный Николай, а с ним и пан Игнаций продолжали говорить, торопясь от возбуждения, перебивая друг друга.

— Надо ферму...

— Ага! Чтобы коров держать не одну, а десять, двадцать.

— Сепаратор... сбивать масло.

— Или откармливать бычков. Да тысячи выгодных дел.

— Это да-а, — вздохнул Тимофей и поскрёб за ухом. — Денег нет на обустройство, а так-то бы можно, конечно.

— Взять кредит.

— А корма? Если скот держать, кормов прорва потребуется.

— Кооперация! — весело заявил пан Игнаций, давая понять, что в этом слове ответ на его вопрос. — Он держит ферму, ты — корма.

Гаврила Матвеевич с удовольствием слушал свата, прикидывая про себя, что человек он не простой, а редкостный просвещатель, и это его радовало, как случайная дорогая находка. Ведь как ни хорохорься, а в душе его мужичкой всё-таки мышью поскребывала догадливая мыслишка, что пособил взвалить сыну на плечи нищету, а тут вдруг, оказывалось, что может быть наоборот — ему повезёт с таким тестем. Заслушаешься, как говорит-то! Словно по-писаному частит. Такой не задержится в назёме, далеко пойдёт, если помочь подняться.

Разговор был долгий. Десятка три лучин пожгли, обговаривая Колькину и пана Игнация затею. Отделяясь от отца и брата, Николай решил уехать из Петровского и обосноваться в пойменном лесу, в какой-нибудь из брошенных изб. Поставить там скотные постройки, да заняться откормом бычков. Выпасов в лесу вволю, полученная земля под кормовые пойдёт, батя с братом помогут зерном да соломой. Гаврила Матвеевич, как член кредитного товарищества, пообещал пособить в получении денег от Сельхозбанка на обустройство хозяйства демобилизованному красноармейцу.

Жалел позже, как и сейчас, сидя над рекой, что не воспротивился дурной затее. Разжигал даже азарт сына, как умел это делать подброшенным словцом. Мол, всех хитростей не предугадать, тут талант нужен. А есть ли он в нём? Николай взвивался в душе от нетерпения поскорей взяться за дела, да показать себя в работе. Горел парень, и всё на свою любушку поглядывал, торопясь к счастливой жизни.

Много думается, да мало сбывается. Хотя поначалу всё удачно пошло. Получили кредит и приглядели в лесу избу пасечника Трубникова, разорённого в революцию. Купили её, можно сказать, задаром — как на дрова. Подновили, подправили...

4. Вольготные денёчки

Послышались тугой щёлк кнута и мычание коров. На мгновение Гаврила Матвеевич увидел Колькину ферму и его самого в выгоревшей гимнастерке без пояса, с кнутом в руке выгоняющего на пастьбу телят. Потом только до него дошло, что эти щелчки кнута и коровье мычание не из прошлого, а самое что ни на есть настоящее — на водопой шло колхозное стадо, подгоняемое Дырёхой.

Всплеском молнии пронеслось в памяти видение, как, размахивая руками и злобно щерясь, одержимый отымать и экспроприировать, Дырёха пёр на Кольку, тесня его от крыльца, и с пакостной скверной выкрикивал о кулаках-мироодах, которые жить им не дают. Не желая встречаться с горлопаном в трудный для себя час, Гаврила Матвеевич спрыгнул с высокого берега к кромке воды и прошёл низом до кустов, а там, выбравшись наверх, направился в обход приближающегося стада к Петровскому. Да и пора была возвращаться. Там Галина, поди, извелась, дожидаясь.

И всё же не мог он пройти мимо Колькиной фермы. Пригибаясь под ветвями черёмухи, поднялся на взлобок и попал в заросли крапивы и лопухья, сплошняком покрывших пепелище от дома и надворных построек. Подняв руки, словно показывая свою покорность травяному царству, Гаврила Матвеевич прошёл на середку двора, где земля была плотней утоптана, крапива не росла и широкое пространство занимал низкорослый татарник с пунцовыми цветами, отороченными колючкой — не тронь, уколо. Здесь же валялась разошедшаяся и треснувшая вдоль колода для водопоя скота. Широкий её конец служил ему сиденьем в такие вот грустные поминки по сыну. И сейчас он, пробравшись сюда, каблуком сапога подмял татарник, чтоб не торчал перед носом, и, присев, мысленно ушёл в былое...

Эх, и вольготные же были денёчки, весёлые да азартные, как большая гульба! Собрались здесь все Валдаевы, родственники и друзья. Стучали топоры, звенели пилы, а между этими звуками дружной работы рассыпался колокольчиками смех детворы — Василиски и Сашеньки, других ребятешек, носившихся по стройке. Детворе тоже хватало дел: одно принеси, другое подай — не великий труд, а к делам приобщенье. И у взрослых душа радуется: для них ведь, голопузых, старания. Дружно — не грузно, как по волшебству подняли и подновили порушенный дом, а потом взялись ставить амбары и телятники. Строили из того, что оказалось под рукой — из ивняка ладили плетни, вдвое ставили их, образуя каркас стен телятника, а для тепла обмазывали глиной, которую копали тут же, за забором. Дёшево и надёжно.

Рядом с телятником поставили фуражный амбар и придуманную паном Игнацием кормовую кухню. Тут он командовал, как хотел: показывал, где ставить закрома, какую класть печку, куда вмазать купленный на базаре котел. На особом месте в углу пан Игнаций поставил свою ручную мельницу и, накрывая её тряпицей, объявил, что будет делать самодельное молоко для выпойки телят.

— Болтушку, что ли? — спросила удивлённая Галина.

— Нет, — гордо тряхнул головой пан Игнаций. — То будет мой секрет.

Этот его секрет так раззадорил Галинку, что извелась она от желания вызвать его. Уж так она ластилась к пану Игнацию, подлизывалась! Глаз не сво-

дила с него, слушая рассуждения, и лучшие кусочки подкладывала в тарелку, а он — длинный чурбан — ничего не видел, и ел самое малое, как котёнок. А поев, тут же вставал из-за стола и шёл на кормокухню, где колдовал со своей мельницей и котлом, делая пойло для телят, которые уже появились во дворе. И окончательно добил Галинку пан Игнаций, когда стал варить телятам крапиву. Это как же так, вздыхала она в изумлении, ведь сама едала крапивных щец, а не догадалась варить их корове. Крапивы-то тьма всюду, возами вози. Пан Игнаций и возил её возами, потом варил и подправлял варевом сухую солому. Простодушные по малости возраста телятки скоро становились норовистыми и угрюмыми бычками, а выйдя на пастбища, да при домашней подкормке, они как на дрожжах росли да тяжелели.

Николай вначале было спорил с тестем, уговаривая его приберечь корма для зимы, и отца призвал рассудить их, но пан Игнаций отстоял своё, накричав на них, потрясая длинным пальцем.

— Вы — мелкий мужик. А надо быть — фермер. Делай мясо, только мясо!.. Другой делай сено. Продашь мясо — купишь сено, овес. Это понял?..

Тут уж и дурак поймет. Колька краснел, смолкая. Гаврила Матвеевич тоже не лез с приготовленными советами, мол, одно другому не помешает, запас карман не трет, а денежку берет, и прочие мудрости, выскакивающие из него по всякому случаю, как патроны из винтовочного магазина. Понял, что тоже не поборол в себе мелкого собственника, раз о копейках печалится, не видя рубля.

Тот год многому научил Гаврилу Матвеевича. И не только его. Колькина ферма стала знаменитой на всю округу, когда к зиме бычки были проданы заготовителям с таким барышом, который никто ещё здесь не получал. О Валдаях опять заговорили с восхищением и интересом к хозяйской сметливости, а кто и с ненавистью: ишь, кулачье поднялось! Вон им зачем ферма понадобилась, чтобы кровушку нашу пить.

Такие слова разбрасывал принародно Митька Бобков, прозванный Дырёхой. Лентяй и выпивоха, у которого вечно что-то пропадало, гнило, рушилось, портилось, он продал Николаю запоносившего телёнка и радовался, что с выгодой избавился от мертвяка, приговоренного им на зарезание. А теперь, прослышав про великие барыши Николая, спохватился Дырёха и стал подсчитывать, сколько мог бы заработать, если бы у него тогда не выманили — так даже стал говорить! — теленка, а он вырос бы в быка и был продан Заготживскоту. Народ, конечно же, смеялся над Дырёхой, вздумавшим считать, что было б, если бы да кабы, а Гаврила Матвеевич, будучи партийцем и председателем сельсовета, очень огорчился, узнав про такие разговоры. В тот же вечер он повёз на ферму отруби и решил остаться там ночевать, чтобы поговорить с Николаем.

В поле выюжило, подталкивало в спину, как бы подгоняя убраться отсюда поскорей, чтобы дать разыграться степному бурану. И Гаврила Матвеевич подгонял Серко, радуясь тому, что вовремя подвезет сыну фуражное подкрепление. Начинаясь буран его не страшил: путь недалек. А как въехал в лес, то и совсем забыл про свои опаски. Заваленный снегом, обложенный им по ветвям, лес словно бы замер и стоял не шевелясь, принимая щедро сыпавшееся добро.

Серко упирался, пробивая путь по снежной целине, и Гаврила Матвеевич помогал коняге, выталкивая воз из сугробов так, что вскоре запрел от усилий. Он шёлкал кнутом, покрикивал и вскоре на свой шум услышал ответный лай. Из леса выскочили прибежавшие напрямиком две Колькины ов-

чарки, радостно покрутились перед Гаврилой Матвеевичем и побежали впереди лошади, как почётный эскорт.

Дорога повернула раз, другой и вывела к ферме, окруженной под самый лес плетнём. Николай уже распахнул воротца и быстро расшвыривал снег, готовя проезд, а на крыльце дома, светившегося огнями, стояли Леонтина в новом полушубке, полы которого раздвигал выпирающий, на последнем месяце, живот, рядом с ней топтался пан Игнаций без пальто и шапки.

— Здорово, батя. А я уж тебя не ждал. Там пурга, поди, — прокричал Николай и, перехватив лошадь под узцы, отвёл её под навес, чтоб оставить там воз. Принялся распрягать. — Ишь ты, взмылил как.

— В конюшне-то оботри...

— Ага. Ты иди в дом, мешки я сам перекидаю.

Удовлетворенно кивнув, Гаврила Матвеевич вернулся к воротцам и, закрывая проезд, перенёс решётчатые створы, накинул поверх соединившихся кольев веревочную петлю, подобрал и воткнул брошенную сыном лопату, чтоб не занесло снегом, и потом только пошёл к крыльцу дома, заранее распахнув для объятий руки.

— Здравствуйте, мои дорогие, родные. Как живы-здоровы? Скоро ль внучком порадуете дедка?

— Здравствуйте. Наконец-то дождались. Ну что вы так долго не приезжали, — выговаривала Леонтина, осторожно спускаясь со ступенек, чтобы шагнуть к тестю в объятия.

— Стой, не ходи под снег, — замахал он рукой, удерживая её под навесом крыльца, а сам радовался, что невестка встречает его так; обнял её, поцеловал в сочные губы и повернул к крыльцу, поторапливая идти в дом.

Новая родня всегда вот так радостно встречала Гаврилу Матвеевича, по-праздничному угощала и доверительно советовалась с ним по большому и пустяшному. И на этот раз долго сидели за самоваром под светом керосиновой лампы — тоже для него зажгли, а сами-то лучинами обходились. Говорили про то, что скоро Леонтине рожать и надо её отвезти в Петровск, где есть бабка Федора, принимавшая на свет божий всю деревенскую ребятню; советовались, покупать ли соломорезку или погодить — уж больно цены кусачие, к товарам хоть не подходи; заспорили об индустриализации и этих ценах на промышленные товары. Тут и ввернул Гаврила Матвеевич, чтобы сын не дразнил людей своим богатством.

— Да какое же богатство, батя, — изумился Николай. — Полушубки пошили, так драповые нам не по карману. Лошадь — для работы, не для скачек. Сбрую справил, так тоже для дела. А долгов сколько и тебе, и Тимофею! А ссуда! А налоги... Не успеваю платить.

— Мне долг не считай. Это отцовская забота, поставить тебя на ноги. Я о другом говорю, Николаша. Мужик богатый, что бык рогатый, — он видом пугает и злит, значит. У меня сызмальства рогатый вид — в обиду себя никому не дам. Но меня не боятся, знают, что свой мужик. А у тебя — ферма, и ты хоть с пустым карманом, а всё равно богатей и мироед! Вот что народ пугает.

— Богатство даёт ферма, — радовался пан Игнаций. — Мужикам надо стать фермер и большой богач, как мы.

— Папа! — укоризненно улыбнулась Леонтина.

— Потенциальным, — упорствовал пан Игнаций и размахивал тощими руками, выходящими из широких рукавов новой украинской рубашки. — И пусть знают. Все! Станут фермер, разбогатеют, дадут деньги строить заводы. Америка так стала Америкой.

— Так-то оно так. Да есть ещё одна заковыка. Верха побаиваются кулаков. Громят тех, кто за крестьянский уклон стоит.

— Глупо, — удивлённо пожимал узкие плечи пан Игнаций, отчего становился ещё тощее. Из поднятого кулака он чётко выстреливал пальцами, ведя счёт. — Фермер — социалист. Он весь — кооператор. Один продаёт телят, другой — корма, третий забивает скот, четвертый продаёт мясо, банк даёт кредит, и все хорошо зарабатывают. Всюду личный интерес. Я правильно рассуждал, пан Гаврила?

— А если не нужны им фермеры?.. Ну-ка, скажи тогда, что им нужно?.. Куда нас гнуть будут?..

— В нищету гнуть нельзя. Им нет выгоды...

— А в чём их выгода?..

Этот спор затянулся допоздна, а кончился самым неожиданным образом. Сходив проверить скот, Николай вдруг вернулся и с порога сообщил:

— Зорька телится.

И все сразу пришли в тревожное и радостное возбуждение, поднялись из-за стола, задвигались, вопрошающе поглядывая друг на друга: как быть, что делать? Вопросы бесполезные, но всё равно всплывали. У Леонтины отел Зорьки вызвал свои мысли, она обомлела и, не желая показывать мужчинам своих чувств, потихоньку вышла за круг света от лампы с абажуром, придерживая грузный живот, осторожно прилегла на лавку. К ней кинулся пан Игнаций, запоздав с помощью, остался возле дочери, показывая тем самым, что в делах с коровой он не может быть помощником. А Гаврила Матвеевич с Николаем и не ждали его советов, радовались ожидаемому прибытку. Теперь бы только благополучно прошло всё положенное природой.

Корова была молоденькой первотёлкой, купленной на раздой. Её молодость и тревожила Николая, потому что по настоянию тестя, корову случили с породистым бугаём.

— Выдюжит, — успокаивал сына Гаврила Матвеевич. Но когда увидел её, лежащую на полу хлева, уверенность пропала.

Зорька ещё какое-то время тужилась, только потуги эти становились слабее, и это обстоятельство пугало.

— Нужен ветеринар. Я поеду!.. — объявил пан Игнаций. Его тут же остудил Гаврила Матвеевич:

— Куда?.. Буран валит. До Петровска не доедешь, не то что ...

— Она погибнет... Из-за меня, да?.. Я хотел породу...

— Правильно хотел.

— Ты согласен... — трясся пан Игнаций, понимая, что его намерения привели к беде. Ещё он понимал, что беда будет ещё большей, если корова умрёт. Надо успеть прирезать её, чтобы сохранить мясо. И он превозмог себя, сказал. — Теперь... надо... резать.

— Нет! — звонко вскрикнула Леонтина и, зажав себе рот концом платка, глядела на мужа, умоляя не делать сказанного.

Обескураженный Гаврила Матвеевич чесал затылок. Согласный со сватом, он в душе поругивал его, что ляпнул такое при дочери... В её-то положении. Как теперь спровадить её отсюда. Да и спровадив, разве же скроешь?.. Эх ты, пан-панове!..

Николай же повёл себя неожиданным образом. Не замечая взглядов и всхлипов жены, как бы не видя и не слыша всего этого, он долго смотрел на корову, что-то соображая и шевеля губами. А потом произошло совсем не-

понятное: стащил с себя гимнастерку, исподнюю рубаху и, оставаясь наполовину голый, стал мочить руку в ведре воды и намыливать её по плечо. Всё так же, не глядя ни на кого, он лёг на пол и ввёл руку в корову.

Леонтина перестала трястись и с расширенными от изумления глазами смотрела на мужа, лежащего позади коровы. Казалось, она не верила в происходящее и нуждалась в подтверждении, что это не сон. Повернулась к отцу, а он тоже с удивлённым испугом следил за непонятными действиями зятя, не зная, что сказать и что подумать. Гаврила Матвеевич хоть не ждал от сына такого, но посчитал для себя полезным быть к нему поближе и присел возле Николая.

— Как?..

— Выталкивает... — прошептал Николай. Он не открывал глаз, сосредоточившись на ощущениях руки, и на лице его, покрывшемся капельками пота, пошевеливались мышцы. — Голова... Ах ты, глупенький...

— Перевернулся?

— Ага... Не туда нацелился, дурашка. Так тебе сто лет... не выбраться... на свет божий, — приговаривал Николай, помогая телёнку приобрести правильное положение. На мгновение замер. — Руку сжало... Сюда мордашку давай...

— Ноги как?..

— Сейчас и ноги... поправим... Теперь пойдёт...

Николай поднялся с пола, стал мыться. Гаврила Матвеевич сливал ему воду, а Леонтина выглядывала из-за отца и с прежним изумлением смотрела на мужа.

Зорька отдохнула маленько и постаралась: потуги пошли волнами одна за другой, и вскоре показались ножки с крупными копытцами, а за ними и влажный подёргивающийся нос. Николай сел на пол, взялся за копытца и, упершись, при следующей волне потуг потащил телёнка — показался широкий лоб и недоумевающие глаза. Ещё несколько усилий — и мокрый телёнок соскользнул ему на колени.

— Ну, здравствуй, — чмокнул его в мокрый нос Николай.

Телёнок фыркнул, словно показывая характер, и Леонтина облегчённо рассмеялась. Она подошла к мужу, присела и погладила мокрую шёрстку.

— Боже мой, как чудесно... Я впервые это вижу.

Требовательно замычав, корова изгибала шею. И Гаврила Матвеевич забрал телёнка, перенёс его к материнской морде. Зорька заворуженно рассматривала своё маленькое создание, а когда он ткнулся в неё мокренькой мордочкой, словно спохватившись, принялась вылизывать его с головы до хвоста. Для удобства она поднялась, и телёнок встал на ножки, оглядывался, сопел и пофыркивал.

— Где же ты научился? — спросил сына Гаврила Матвеевич.

— В полку ветеринару помогал. А так первый раз, — признался Николай.

— Тогда талант, — заключил Гаврила Матвеевич и, сняв с крючка лампу, сказал всем. — Пошли... Пусть милуются.

И тихо улыбаясь, всё пошли за ним в дом кружным путем через телятник и кормокухню, чтобы не попасть под разгулявшийся снегопад.

Открывшийся талант Николая Гавриловича — только так теперь величали его в селе — помог вести дела на ферме с успехом таким, что к двадцать восьмому году на ней откармливалось сорок семь бычков. Имелось две лошади со всем летним и зимним прикладом возить, пахать и сеять; были ещё

сенокосилка, конные грабли и прочее добро, необходимое для хозяйствования. В хлеву стояли две коровы, а по двору разгуливали куры и утки — вечный повод для ворчания пана Игнация, считавшего, что на ферме не должно быть ничего лишнего. Леонтина, став завзятой хозяйкой, только улыбалась, подливая ему в кружку парное молоко или подавая омлеты из свежих яиц, которые тот с удовольствием поедал. Внешне он мало изменился, оставаясь всё таким же тощим, длинным и машущим руками при каждом разговоре. На работе ходил в чём попало и походил на огородное чучело, но в доме по вечерам всегда был в новой тройке с серебряной цепочкой часов, стягивающей полы жилета.

Николай под влиянием Леонтины переделался так, что не узнать. Как бы ни устал, а к столу выходил помывшись, переодетый в чистое. Как аристократ стал, подсмеивался над сыном Гаврила Матвеевич, а в душе радовался: за то и проливали кровь да пот, чтоб в достатке жить. А жизнь потекла хорошая. Правда, забот во дворе прибавилось не в пример прежнему, зато в доме вон, как в ларце чудес. Тут и швейная машинка, и велосипед, считай, первый в Петровском, а книг на самодельных полках, наверное, штук сто; у Леонтины с Николаем железная кровать с медными, начищенными до золотого блеска шишечками, а над кроватью — ковер и ружьё на нём. В зале стояли два настоящей кожи кресла. Сдвинутые одно к другому, они составляли мягкий загончик, в котором ползали по очереди, подрастая, Василек и Марийка — их самая большая и всеобщая радость. В этих же креслах частенько сиживал Гаврила Матвеевич с внучатами на руках, а когда их уводили спать, то сваты разговаривали всласть про политику, пока не догорит в лампе керосин.

Вот так всё было-то, так!.. А обернулось...

Часть четвёртая. ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ

1. Сталинский привет

Второй раз Гаврила Матвеевич увидел Сталина зимой двадцать седьмого года. Но прежде-то встретил Осипа Матусевича, с которым они пропадали под Елгавой, прикрывая отступивший отряд. Осип приметил его в станционной сутолоке, налетел сбоку и повис на плече, пытаясь остановить, а Гаврила протащил его на себе шагов пять, прежде чем разглядел в лице прицепившегося человечка знакомые черты, увидел слёзы в прищуренных глазах, услышал его.

— Гаврила!.. Вал-да-аев...

— Осип! Да никак ты?!

— Н-ну!..

— Ах ты, мать моя, богомолка. Живой!

Устремлённая к подходящему поезду толпа вынесла их на перрон и отшвырнула в сторону. Гаврила Матвеевич прощально глянул на вагон, в котором должен был добыть себе место, и всё! Выкинул из головы заботы об отъезде, потому что встретил побратима, кровью сроднённого, можно сказать, с того света вернувшегося. Сжал худенькие его плечи в кожаной куртке, вначале отставил от себя, чтоб разглядеть птичье личико с острым носом, заглянул в его изумлённые и смущённые глаза, а потом привлёк и поцеловал троекратно.

— Ну, здравствуй, светлая твоя душа! Да как же рад-то я! Ведь думал, красные прибили тебя тогда.

— Вот... — разводил руками Осип, показывая всем своим переполненным ликованием видом, что всё было не так, он выжил.

— Да как же? За вербой ты сидел, у воды прямо. И бил всё то с одной стороны дерева, то с другой. Я ещё думал: вот молодец-то, пусть считают, что нас много. А потом перестал...

— Патроны...

— Ну да, кончились. Они и бросились к тебе. Я Егора толкаю в бок, чтоб пособил, а бок-то в крови. Убили Егора, да... А сам-то я какой пулемётчик. Пока провозился, они уж в низинке у тебя. Построчил маленько. Не попаду, думаю, так хоть попугаю, чтоб ты утёк, а тут слышу, наганы затюкали. Добили, значит, — решил.

— Нет. Я в воду, в камыши... А ты как?

— Я-то?.. — моргнул Гаврила Матвеевич и с грустным добродушием уставился на Осипа. И не слышал уже крики штурмующих вагоны людей, не чувствовал пощипывающего морозом носа, мысленно глядя в тот далёкий летний день, когда им предстояло погибнуть.

В мае восемнадцатого VIII Совет партии социалистов-революционеров постановил поднять восстание против установившегося диктаторского режима большевиков за целостность и независимость России, за Учредительное собрание, чтобы выборным путем установить законную власть в стране. В июле был образован в Самаре комитет членов Всероссийского учредительного собрания, а через неделю поднят мятеж чехословацкого корпуса, захватившего город. Гаврила Валдаев как старый член партии эсеров был призван в Народную Армию и направлен в отряд полковника Ланского, очищавшего от красных Сызранский уезд.

Летом легко гарцевали, помогая повстанцам. Истощённое войной крестьянство взбунтовалось против бесконечных реквизиций и контрибуций. Народную армию встречали как спасительницу от произвола местных соведпов, продкомов, чрезвычайек, реквизиционных и карательных отрядов. В каждом новом селе Гаврила Матвеевич собирал мужиков и, похрустывая ремнями и кожей, обвешанный всем офицерским прикладом — шашка, бинокль, маузер в лакированной кобуре, — склонялся над толпой, с поповского или купецкого крыльца произнося речи про то, что их партия социалистов-революционеров самая боевая, потому что ещё во-он когда кидали они бомбы в царей да стреляли в губернаторов, что эсеры — социалисты-революционеры — правильная партия, потому что за мужиков стоит, и что мужикам надо поддерживать свою мужицкую партию и крепить народную власть. Не приученные к одобряющим хлопкам мужики выражали своё уважение к бородачу в ремнях согласными кивками и благодарственным рокотом: мол, знаем вас, подмогнём. Однако к середине лета, заметил Гаврила Матвеевич, попримолкли мужики и вопросы стали подбрасывать непонятные.

— Какое народовластие будет — с землей али без земли?

— Не верите?.. Это правильно. Всяк человек — ложь, и я тож. Слушай не тех, кто говорит, а тех, кто творит. А эсеры полста лет борются за землю и волю. Ещё когда партий никаких не было, товарищи наши в народ пошли, за что их народниками прозвали. Вон когда бунтовали мужиков. Так как же мы после этого землю отыдем?

Стоящая поодаль от мужиков баба с хвостотиной в руке, босая и одетая кое-как, по-молодому звонко бросила:

— А в городе сказывают, что сибирское правительство, с которым вы замирились, отняло у мужиков землю. Так ли, нет? И владельцам вернули.

Мужики насторожились, и пока Гаврила Матвеевич приходил в себя от такого известия, заругались меж собой тихо, но с нарастающим злом.

— Это хорошо бы!

— Тебе-то хорошо. Полсела на тебя горбатилось.

— А на Советы легче горбатиться?

— Ти-ха! Пусть скажет. Так отымут али нет?

— Не... — тряхнул головой Гаврила Матвеевич, словно уворачиваясь от прилипчивой мысли. Увидел, как, усмехнувшись, баба вильнула юбкой и пошла прочь, подгоняя прутком телёнка.

Мужики притихли, и он заверил их, для твердости духа сжав кулак:

— Быть того не может. Землю — крестьянам, а волю — народу! А раз волю дали, то и землю отнимать не будем.

— Зачем так категорично? — вышел из горницы на крыльцо полковник Ланский, полноватый мужчина с сединой в волосах и с мешками под глазами. Вытерев рушником руки, промокнув губы, он небрежно подал его за спину, уверенный, что будет подхвачен там следовавшим за ним хозяином дома, и, потеснив Гаврилу Матвеевича, оперся на барьер крыльца.

— Граждане России! Мужики! «Землю — крестьянам, а власть — Советам» — это наши лозунги, украденные большевиками. Вот уже полстолетия, как говорил вам Гаврила Валдаев, наша партия социалистов-революционеров борется за то, чтобы дать вам землю.

— Что ж не дали-то?..

— Не дали потому, что большевики не дождались Учредительного собрания, захватили власть, а чтобы вы не роптали, дали вам землю. Сговорились так: вам — землю, а себе — право грабить вас продналогами и контрибуциями. Вы соглашались на такой грабеж?..

— Не-ет... — понеслись выкрики.

— Да ты чего...

— Кто спрашивал...

— Ти-и-хо!.. Об этом и речь, — продолжал полковник. — Вас не спрашивали, навязав свою волю. И потому возмущённое крестьянство поднялось против красного произвола. Восстали Златоуст, Шадринск, Вольск, поднялись уезды Николаевский, Новоузенский, Хвалынский, Красноуфимский, Новотроицкий, Сызранский. С нами Ижевский и Боткинский заводы со всем Прикамьем, Южный Урал, Воронеж... Да куда ни глянь, всюду крестьяне создают отряды обороны и вилами, косами гонят со своей земли красных кровопийц. Учítывая этот момент, восьмой Совет партии социалистов-революционеров, на котором я самолично присутствовал, постановил поднять знамя восстания за целость и независимость России, за Учредительное собрание, за вас, мужики. Сейчас нам помогают чехословаки, но этого мало. Нам нужна своя народная армия, и потому вам надо пополнить отряды, выделить фронтовиков, а также лошадей, фураж по списку. Надо, мужики, надо!..

— Всё выделим, ваше благородие, — попытался высунуться из-за спины полковника хозяин дома.

— Сам дашь али облагать опять? — выкрикнули снизу.

— А про землю-то как?

— И про землю скажу, — протянул полковник руку за спину и, получив в неё рушник, промокнул вспотевшее лицо. Бросив рушник на перила себе под руку, продолжил речь так же напористо, но теперь уже и рассудительно: — Чтобы поделить землю по справедливости, надо прежде вернуть её законным владельцам. Иметь надо то, что хотите делить... И отдать разграбленное надо. Иначе грабеж не остановить. Вчера вы грабили, а завтра придут вас грабить...

— Гуу-уу... — недовольно загудела, зашевелилась, заворочалась стоявшая перед полковником масса и грозно колыхнулась к крыльцу, сдавив тех, кто стоял впереди в жилетках поверх ситцевых рубах, в высоких картузах. Ланский вскинул руку, останавливая движение.

— Тихо, тихо! Объясню. В обиде не останетесь. Мы, эсеры, создаем первое в истории человечества крестьянское государство. Комитет членов Учредительного собрания уже отменил хлебную монополию. Теперь у вас никто и никогда не будет реквизировать хлеб, сами будете выращивать его и продавать кому захотите. Но для этого надо восстановить частную собственность, а значит, освободиться от большевистских заблуждений и вернуться на старый и верный путь.

Задняя часть людской массы притихла, и потому выше поднялся одобрительный гул передних. Полковник повернулся к Гавриле Матвеевичу и, торжествуя ухмыльнувшись, распорядился:

— Так и продолжай.

— Э, нет, вашблагородие. Тут мы с тобой не сойдёмся. Народ за землю пупки надрывает, а вы, значит...

— Отставить! — одёрнул его Ланский тихо, но резко.

— Эй, Гаврила, — крикнул кто-то насмешливо, — прыгай сюда, поплюём на тебя.

Этот злой выкрик как бы стеганул Гаврилу, он передёрнулся, заскрипел перетягивающими его ремнями, засверкал глазами на полковника, кивнувшего ему:

— Закрывай митинг, а завтра поговорим.

— А чего «завтра» ждать? — обернулся Гаврила Матвеевич к народу и повысил голос, чтобы слышно было всем. — У «завтра» нет конца. Ныне не сделаешь, завтра не возьмешь. Обидим народ, ваше благородие. Сколько лет боролись за землю, а теперь — отдай. Потому что большевики раньше нас её раздали.

Нарастающим гулом и выкриками народ поддержал Гаврилу, и полковнику пришлось опять разъяснять, что им надо восстановить частную собственность, чтобы не грабила их никакая власть. Уже не веря в понимание мужичья, говорил раздражённым сухим лаем; митинг быстро свернул, народ распустил и даже не стал спорить со своим партийным комиссаром, но выводы сделал о нём, потому как на другой день послал его в заслон против наступавшего отряда красных.

О том, что послан был на смерть, Гаврила Матвеевич догадался позже, когда не дождался обещанной поддержки. Бился, как мог, терял людей и был подорван ручной бомбой, опрокинут в окоп и засыпан.

Очнувшись от удара пули в грудь, угодившей в медный крест под гимнастеркой. Тот крест был ему дан другом неразлучным Иустином. Раненный в ногу Иустин не мог с ним пойти в бой и, целуясь прощально, надел на шею это тяжелое литое распятие, хранившееся в семье, может, со времен осво-

бождения от монгольского ига. Крест был заговорённый и имел насечку от удара саблей, не допустив смерти кому-то из прапрадедов Иустина, а теперь принял на себя и пулю, стрелянную в Гаврилу Валдаева.

Застонав, он открыл глаза и увидел сперва свою ногу в сапоге, торчащую над головой, а за ней — повыше на осыпавшемся бруствере, ещё две ноги в драных башмаках, в ремённых обмотках; ещё повыше увидел потертые штаны, край гимнастерки и руку с наганом, направленным ему в грудь. Смотреть выше не давала стенка окопа, так что пришлось сдвинуть голову в сторону, приложиться щекой к кровавому месиву того, что недавно было Егором. Видно, труп Егора спас его от взрыва бомбы, а крест Иустина уберег от пули, да напрасно: увидел, как ствол нагана чёрным зрачком уставился ему в живот, и уже нечему защитить его от смерти.

— По-огоди... — прохрипел он, сплёвывая землю. С трудом сдвинул голову вбок и увидел того, кто сейчас распоряжался его жизнью.

Над ним стоял мужчина его лет, бритый, в очках, в фуражке с красной звёздочкой; командирская португепя перехлёстывала его тощую грудь с плеча на пояс. Низ солдатский, а верх барский, отметил Гаврила Матвеевич. И взгляд озадаченный.

— Добить хотел, чтоб не мучился, — оправдался очкастый. — У тебя броня там, под гимнастеркой, что ли? Пуля отскочила.

— Крест.

— Так и думал. Сам помрёшь или...

— Сам.

— Тогда быстрее — сапоги понадобятся.

Очкастый спрятал наган и поглядел в сторону, откуда слышались голоса солдат — должно быть, подбирали раненых и хоронили убитых. На чей-то зов ответил: «Иду, иду».

— Пулемёт заberi, — крикнули ему.

— Перекорёжен... На разборку если...

Очкастый прыгнул с бруствера и, невидимый из окопа, лягнул железом. Звуки шли неторопливые, словно возился он не с оружием после боя, а ладил плуг для пахоты.

А по небу проплывали облака, как стая белых лебедей. И было так тихо и привычно, что Гаврилу Матвеевича как молния пронзила мысль, что его-то скоро не станет в этой тишине, где облака будут плыть себе над землёй, над теми стёжками и дорожками, по которым не ходить ему больше никогда. И всё-то в нём запротестовало, вздыбилось. Захотелось выскочить из этой могилы, убежать, уплыть...

Он рванулся, столкнув с себя труп Егора, замер: так ведь убит! Помереть должен. Живот в кровище и кишки наружу. Раненый в живот долго не живёт. А боли нет почему-то, отметил он... И прежде чем подумал, что из этого выходило, рука его потянулась к кровавому месиву на животе. Это что же, цела гимнастерка-то, и тут не порвана осколками, и штаны за ремнём без дырок. Выходило, не его, а Егоровы кишки вывалились. Уцелел! Ну, спасибо тебе, Егорушка, что и мёртвый помогал.

Заметив, что Егор убит и мешает строчить, Гаврила Матвеевич вытащил труп из окопа, оставил рядом за бруствером. А он и защитил его от бомбы, принял взорвавшуюся сталь на себя, завалил истерзанной плотью. Вот только почему сам перевёрнутым оказался — не мог понять. Пошевелил задранной ногой — слушается, и другая сохранилась. Левая рука саднит в плече.

Но это — ничего, на живом всё заживёт. Пальцы вон как проворно сгребают с живота липкое месиво. И вторая рука целой выбралась из-под трупа Егора и принялась помогать как бы сама собой, так что Гавриле оставалось только удивляться, как это они без его воли делают. А вот голова побаливала, и тошнить позывала. Но нельзя шевелиться. Пусть думает, что усоп. Снимет сапоги, уйдет, я и выберусь. Понизу высотки кусты, а там река, мост и наши. Не могли они мост отдать. А что ж тогда тихо? Стрельбы нет. И эти вон как похаживают, прислушался он к перекликающимся голосам солдат внизу пригорка, где были ячейки взвода. Сам-то он с Егором оборудовал гнездо на вершине, в стороне от всех, чтоб ударить в бок. И ударили, положили карателей, да Ланский не подсобил, как обещал. А теперь взвод перебит, и его закопают тут живым. Маузер где-то был, нащупал он ремешок, и пальцы побежали по нему за спину.

— А ты неторопливый, — встал над окопом очкастый и, разглядев в нём перемены, стал дёргать наган из кобуры, забыв про застёжку.

— Руки! — тихо, но властно, со всей взбурлившей силой жаждущего жизни организма приказал Гаврила, выставив маузер. Не спуская глаз с оцепеневшего очкастого, он дёрнул его за ногу, стащил в окоп, придавил к брустверу, забирая наган.

Всё произошло так неожиданно и быстро, что очкастый не успел крикнуть о помощи, а потом и не мог, получив крепкий удар под дых. Сунув ему в рот скомканную фуражку, связав руки ремешком от маузера, Гаврила Матвеевич выволок его из окопа в кусты и погнал дальше, подталкивая. Ушли, кажется, незамеченными, услышав напоследок зычный глас:

— Пет-ру-ха, заступ давай. Тут ещё один прижмуренный.

У реки Гаврила Матвеевич понял, что был поставлен Ланским не в заслон, чтобы подготовить удар с фланга, а просто брошен на смерть — мост, через который должна была прийти подмога, сгорел, и оставшиеся торчать из воды чёрные сваи курились дымком. На въезде — виделось издали — похаживали красноармейцы, должно быть, соображая, как навести переправу; слышались удары топоров. Туда путь заказан, и Гаврила Матвеевич повернул своего очкарика в другую сторону, повёл прибрежной посадкой к темнеющему дальше лесу. И там, под его верховым гулом, сделали привал.

— Посиди-ка тут, — устроил очкастого под деревом Гаврила Матвеевич и, чтобы не сбежал, привязал его к стволу снятой с ноги обмоткой. — А я постираюсь пока. В крови, как варнак...

— Уу-у... — тряс очкастый головой, косясь на торчащий изо рта лакированный козырек фуражки, мол, вынь, задыхаюсь.

— Это можно, — согласился он.

Вырвал фуражку и, когда очкастый вольно задышал, впервые разглядел его. Шупловат, а гордый: отворачивается. Из дворян, наверное. Ну-ну, посерчай на себя... Воевать — не рот разевать.

Замыв кровь, пока она не высохла и легко отошла, Гаврила Матвеевич развесил бельё на кустах, сам помылся в тёплой речной воде и лёг на солнышке, положив маузер и наган под руку. Вздремнул. Ушёл в сон, как в чёрную пропасть.

Разбудил его сорочий стрёкот. Не открывая глаз, прислушался, соображая, куда провожает хозяйка нарушителя покоя. Вроде стороной прошли. Открыл глаза и столкнулся со взглядом очкастого, молившего, должно быть, чтобы направились сюда.

— Зверь, должно быть, — пояснил ему Гаврила Матвеевич, поднимаясь с травы. — Слышишь, смолкло. Человека она далеко ведёт.

Остатки надежды в глазах очкастого сменились отчаянием, он закрутил головой и бился затылком о ствол, выговаривая:

— Не добил тебя, гуманист кисельный. Простить себе не могу... Пожалел! Кого?

Гаврила Матвеевич натянул на себя ещё влажные штаны — ничего, на теле подсохнут, — обулся и, оставаясь без рубашки, только с двумя крестами на могучей груди, сел перед очкастым послушать его ругань. Дождался, когда тот смолк, заметил:

— Чего казнишься? Человек жалю живёт. Не мог ты меня добить, когда Бог вмешался. А он вот, — показал Гаврила Матвеевич большой крест, отыскивая в нем место, куда угодила пуля, — оборонил меня. Так на роду, значит, написано, что пожить мне ещё надобно. И тебе нельзя было стрелять. Знаешь, поди, повешенных дважды не вешают, и стреляных, значит, не стреляют. Грех. Али ты не верующий?

— Нет, — обронил пораженный такой речью очкастый.

— Я тоже не больно-то верил, — признался Гаврила Матвеевич. — Крещусь, конечно, как все. А тут как вышло... Друг этот крест надел. Заговоренный. Его прапрадеда от татарской сабли спас, вот заруб, видишь, — показывал он. — А вот твоя пуля тюкнула, под грудь Христу. Так что мы с тобой... как бы... это... не знаю, прям, и как...

— Пристрелишь?

— Да Боже упаси. Поживёшь ещё.

— К своим отведёшь?

— К своим не отведу. Повесят сразу. Большевик поди?

— Эсер.

Гаврила Матвеевич с удивлением воззрился на пленника так, что тот, увидев необычность его взгляда, заметно побледнел и спросил:

— А что?

— Чудно. Эсеры за народ встали, против большевиков, А ты эсер и с большевиками, против народа. Какой же ты эсер?

— Левый.

— Запутанный, — понял Гаврила Матвеевич, кивнув, — Ленин у них боль-шущий хитрец, умеет путать. Ведь сколько партий против царя старалось, сколько народищу сгнуло по каторгам да ссылкам, а как скинули Николая Александровича, собрались законную власть учреждать, он, Ленин-то, и опрокинул всех: мол, сами будем править, без вас. Учредительное собрание, парламент наш, о котором сто лет мечтали, разогнал. Вон каков, а ты с ними — левым обозвался. Так-то вот, товарищ хороший.

— А зачем парламент, когда пришли к советам? За них дрались.

— Э, не-ет... Не за советы дрались, а за хорошую жизнь. А советы нужны только для того, чтобы устроить эту жизнь по справедливости — не только для пролетариев, а для всех. Поэтому и совет должен быть парламентским, для разных людей.

— Ваше справедливое парламентское Учредительное собрание отказалось утвердить декреты о мире, о земле... Ты хотел бы иметь правительство, которое не считается с интересами народа?

— Таковую-то не хочу власть. Да ведь и эта не власть. Ишь, придумали чего — диктатуру пролетариата! А почему не крестьян, раз больше нас? — сдвинул мохнатые брови и грозно уставил из-под них выпрашивающие глаза

Гаврила Матвеевич, так что его привязанный к дереву собеседник беспокойно заёрзал и отвернул голову, с тоской глядя на кусты. Молчал. А кто же правду скажет со связанными руками, догадался Гаврила Матвеевич и, ругая себя за оплошность, пододвинулся к испуганно встрепенувшемуся пленнику, стал развязывать руки.

— Не боись... Чугунок не сварил сразу. Как звать-то тебя?

— Андреем.

— А по батюшке?

— Миронычем. Свиридов Андрей Миронович.

— Из дворян, что ли?

— Учитель.

— А меня — Гаврила Матвеевич Валдаев. Познакомились...

Освободив его руки, Гаврила Матвеевич накрутил ремешок на футляр маузера и бросил к валявшемуся на траве оружие. Сел, привалясь к дереву, и прикрыл глаза, блаженно шурясь на солнце.

Андрей Миронович поднял свою фуражку, расправил её, надел и, перешагнув через брошенное оружие, прошёл к реке. Долго пил, набирая воду в горсть, затем, не торопясь, умылся и вернулся к дубку, под которым устроился его такой странный пленитель. Подобрал маузер и оттянул затвор, заглядывая в магазин, — пусто. Действительно взяли его голыми руками, понял Свиридов и восхищённо крутанул головой: молодец мужик.

— А у меня тут три патрона, — показал взглядом на наган.

Видя, что Гаврила Матвеевич не меняется в лице, выдерживая его испытующий взгляд, поднял наган и, взвесив в руке, спрятал в кобуру, застегнув. Получив свободу и оружие, он заметно преобразился, став по-учительски строгим.

— Так, продолжим наши дебаты по душам. О чём будем говорить?

— Правду найти надо.

Изумлённо взглянув на Гаврилу Матвеевича и видя, что тот не шутит, а напротив — очень даже серьёзно настроен на такие поиски, Свиридов кивнул, соглашаясь. Сел на траву.

— Что же, давай поищем.

— Я прежде узнать хочу, кто за крестьян заступится? Кто за меня встанет? Какие ни мелкие, а у меня тоже интересы есть. Кто их будет отстаивать? Ведь неладно получилось. Страна крестьянская, а партию, заступницу крестьян, из-за стола вон.

— Тебя спросить можно?

— Чего ж нельзя, спрашивай.

— А была ли у нас партия?

Вот уж никак не ждал такого вопроса Гаврила Матвеевич и с каким-то обиженным недоумением вынул завернутый в кусок клеёнки партийный билет, покрутил его и уставился на Свиридова:

— Вот...

— Вижу. Билет. И это всё? Этого достаточно для партии?

— Сказывай тогда.

— Скажу. По-моему, у вас не партия, а... — запнулся Свиридов, подыскивая сравнение, и от нетерпения прищёлкнул пальцами. — Посмотри, как у Ленина. Четкая программа. Крепкая организация. Дисциплина. А у нас всё размыто. Не партия, а какое-то собрание враждебных друг другу политических группировок, целый парламент во главе с полудержавным властелином Авксентьевым.

— Ну, и что? Все равно боролись. До большевиков ещё губернаторов щёлкали. А усадьбы как жгли!..

— А что потом? В России революция, а Авксентьев шлёт из-за границы призывы продолжать войну. Ты пойми, это же подрыв общего движения, потеря инициативы. Керенский разложил петербургскую организацию, Зензинов с компанией, со своей болтливой «Народной газетой», развалил московскую организацию. В феврале счастье свалилось нам в руки — вот она, власть, управляйте страной. А у нас нет крепкого ядра, способного взять эту власть. Керенский единолично решил управлять Россией, под дифирамбы дамочек. И в итоге — крах. Он был закономерен, пойми. Нельзя расходовать, не накапливая; нельзя развивать центробежные силы, не парализуя их соответственным развитием сил центростремительных.

Гаврила Матвеевич насупился, не понимая слов, и Свиридов спохватился:

— Извини, сейчас поясню.

— Ага... Ты попроще мне.

— Все до обидного просто, Гаврила Матвеевич. Революционный процесс имеет две силы: разрушительную и строительную. Разрушительная — это отнять землю у помещиков, а строительная — отдать эту землю крестьянам, заводы — рабочим. А наша крестьянская партия не дала крестьянам ничего... Так была ли у нас партия?

— Крепко!.. А может, не успели?

— Не удержавшись за гриву, эсеры пытаются ухватиться за хвост, создают в центре страны, в Самаре, крестьянское государство!.. Это же было бы смешно, не будь так горько.

— А может, получится?

— Гаврила Матвеевич, ты же умный мужик. Как же ты не видишь!

— Ты погоди мой разум гнуть. Знаешь, сколь в Уфе собралось на Всероссийское совещание? А я скажу тебе, считай. Представители Сибирского временного правительства, правительств Башкирии, Урала, Алаш-Орды, Туркестана, национального управления тюрко-татар внутренней России и Сибири, Эстонского правительства.

— Понятно.

— Слушай, не всё ещё... Правительства казачьих войск Оренбургского, Уральского, Сибирского, Иркутского, Семиреченского, Енисейского, Астраханского... Представители съезда городов и земств Сибири, Урала, Поволжья, политических партий социалистов-революционеров, российской социал-демократии, рабочей партии трудовой народно-социалистической партии, партии народной свободы, всероссийской социал-демократической организации «Единство» «Союза Возрождения России», «Всероссийский Национальный Союз».

— Всех перебрал?

— Каких упомянул. А ты не сердчай, смекни: вся Россия против большевиков поднялась. Не хотят их. А они со штыками да с пулемётами пришли: терпи народ! Одного тирана сбросили, так целая диктатура на шею уместилась и погоняет народ: мол, нужна я тебе, без меня ты не знаешь, куда идти, мне с твоих плеч виднее. А может, я без подсказчиков хочу жить. В этом воля моя, жить, как хочу. А не как прикажут.

— С волей понятно, а с совещанием как? До чего договорились? Отнять землю у крестьян?

— Временно... Не грешно, что дано, а что силой взято, не свято. Раздадим потом снова.

- И ты веришь, что помещики вернут землю по вашему желанию?
- Да кто ж отдаст сам!
- Опять обман.
- Выходит, так.

В прогале ивовых кустов, в полукилометре от них, двое красноармейцев, помахивая вёслами, пронеслись в лодочке по реке и скрылись в прибрежных камышах — мелькнули и исчезли. Должно быть, в разведку. Их появление напомнило Свиридову о предстоящих заботах, о том, что скоро стемнеет, а ему возвращаться через лес, где-то искать свою роту. Но прежде, конечно, надо закончить разговор, как-то по-хорошему разойтись с этим правдоискателем-мужиком. После всего случившегося с ними, после этого разговора не мог Свиридов поторопить его и молча ждал, когда сам объявит свою волю. Мелькнула мысль увести его с собой. Такому-то богатырю цены не будет в роте. Да разве ж его уведёшь, если сам не захочет.

— Велик свет, а деваться некуда, — задвигался Гаврила Матвеевич туда-сюда, как в клетке. Поднял на Свиридова тоскующие глаза. — Ты думаешь, не вижу, что наши творят... — и передернулся, как споткнулся на слове.

— «Наши», мать их ети. Генерал Гурмов наперёд всего повёл нас именно спасать. Обыск учинил. Мужики сами отдавали всё: плуги, бороны, хомуты. А кто запомнил какую малость — того под плеть. Да ещё петь велел «Боже, царя храни». Одного мужичонку в лоскуты исхлестали, пока догадались, что он немой. Вот какие они «наши»! И полковник мой такой же помещик, спешит землю вернуть. Я воспротивился — так тут же плохим стал, не «нашим». В бой-то меня его благородие послал. Велел попридержать вас, чтобы с фланга ударить, а сам — мост пожог.

— Гаврила Матвеевич, так, может, со мной?

— Не, — мотнул головой Гаврила Матвеевич. — К большевикам не пойду. Насмотрелся. У них там всем евреи заправляют...

— Так ведь евреев царизм больше всех гноил. Они всей партией своей БУНД и слились с большевиками.

— И командуют вами. Во-он... — повернул взгляд за реку, где за потемневшим прибрежным лесом поблескивала последним лучом маковка церковная. — В этом селе четыре раза реквизировали хлеб. В последний раз, под утро, обложили со всех сторон, бомбу рванули, и пошли по домам вытряхивать из сусеков всё подряд. У деревенской дурочки последние полмешка семечек забрали. Видел её, покойницу. Сказывали, ноги им целовала, всё просила, чтоб отдали торбочку, иначе помрёт. Народ-то вконец обнищал, не кормит нищих. А они — бугаи красные — на смех её подняли, запугали: мол, за такие контрреволюционные слова сейчас повяжем тебя и в тюрьму свезём. Она, дурочка-то, и бросилась головой в колодец. А сынов моих в крепостную кабалу взяли. Слыхал про такое?

— Слышал, — кивнул Свиридов. — Троцкий трудармию создаёт.

— Армию даже. Ну да, в деревне-то попроще: собрали всех горластых и говорят: кто ругаете Советскую власть — контра! Их приговаривают к общественным работам. А работы те — дома строить, сараи да амбары ставить, огороды да погреба копать советской верхушке. За отказ — меры, вплоть до расстрела. В общем, получили и землю и волю.

— Кто они — советская верхушка?

— Горлодёры... Вот как есть самый худший народец — всё-то у них валится из рук, никогда ничего не родится — и они теперь власть! Потому что бедняки — пролетарии. Я спрашиваю Дырёху: Митька, да какой же ты про-

летарий? Ты лодырем как был, так и остался. Да ещё паразитом стал. Кулаки за деньги эксплуатируют, а ты без оплаты в кабалу забрал полсела. Он хватать за винтовку, кричит: к стенке становись, прибью, эсеровская гадина. Пришлось в ухо дать. Потом в Самару подался. А теперь и не знаю, куда идти. Широк мир, а места нету.

Махнув рукой, как отрубив говорённое, он поднялся, чтоб расходиться, пока не стемнело совсем; сдернул с куста высохшую гимнастерку. Свиридов тоже подобрал обмотку, которой привязывался к дереву, намотал её на ногу. Встал.

— Будем прощаться.

— Пора. Чудно получилось: смерть свела нас, а жизнь развела. Свидимся ль?

— Давай на память поменяемся, — предложил Свиридов, вынимая из кобуры наган, и не без иронии добавил: — Здесь ещё три патрона... Между прочим, ты тоже слюни распустил, оружие бросил. А если бы я вдруг... — наставил он наган на Гаврилу Матвеевича, снимавшего маузер. — И что б ты делал?

— А раз не вдруг, значит, друг. Этим и проверил тебя. Так что бери и помни!

Смысл его слов Свиридов понял, когда, поменявшись оружием, Гаврила Матвеевич вынул из кармана брюк горсть патронов, отбросил стреляные гильзы и заложил в пустой барабан нагана оставшиеся три патрона, проделав это с весёлой хитринкой в глазах.

— Ну, мужик хитрющий! Ну, зверь! — восхитился Свиридов, обнял его, стукнул кулаком по спине. — И как же мне не хочется расставаться с тобой! Останься, Гаврила Матвеевич.

— Не могу, Андрей Миронович. Сам вижу, с тобой бы мне надо идти, да сейчас никак нельзя. Дружков надо выручать.

2. Встреча со Сталиным

Рассказ этот Гаврила Матвеевич поведал Осипу в станционном буфете, куда они перебрались с перрона, засели с графинчиком водки за борщи и котлеты.

Обстоятельно рассказал ещё, как разоружил полковника Ланского и привёл отряд к Свиридову. Как воевал в дивизии Гая и получил орден, как раненый вернулся в Петровск и там ещё устанавливал Советскую власть. Осип ковырялся в тарелке, не спуская с него глаз, сочувственно кивал, а в конце их застольной беседы чуть было не обидел Гаврилу Матвеевича, заявив, что сейчас многие становятся большевиками.

— Так ты что, думаешь, я примазался?

— Нет, нет... Я говорю, так всё идёт. Я был в Юзовке. Там в сапожной мастерской работал — Лазарь Моисеевич Кашарович, меньшевик. А теперь он Каганович, член ЦК большевиков, у Сталина работает.

Разговор перешёл на Сталина, потрянувшего Троцкого, который захотел прибрать к себе наследие Ленина, а вскоре они и увидели генсека воочию, прямо перед собой, отделенного только стеклом вагонного окна.

Приметив, что на станцию вкатывается какой-то необычный поезд — без народа, Гаврила Матвеевич решил, что в таком спецпоезде он может прокатиться в свою сторону, пользуясь правом орденоносца. Быстро оделись, подхватили свои вещи и с Осипом через буфетную дверь вышли на

перрон вслед за группой милиционеров, кинувшихся вправо и влево прогонять народ.

Поезд притормозил и встал, точно подведя к ним портрет вождя за вагонной рамой окна. Только был это не портрет, а явь. Усатый и рябоватый, с незажженной трубкой, которую он держал в руке, словно раздумывая, закуривать или нет, Сталин напряжённо вскинулся, увидев их.

— Эх ты! Сталин, — удивился Гаврила Матвеевич и совсем по-дурацки, как потом признался себе, показал на него пальцем.

Осип опасно потащил его в сторону, но Гаврила Матвеевич отмахнулся и стал кивать Сталину: мол, здравствуй, рад тебя видеть. Незажжённая трубка в руке Сталина напомнила ему первую встречу. Решив, что вождю будет приятно вспомнить его: он распахнул полушубок и полез в карман за спичками. В холодных глазах Сталина мелькнула тревога, и он качнулся в сторону от окна.

— Да нет... Ты чего?.. Вспомни-ка, — приговаривал Гаврила Матвеевич, поджигая по-партизански спички.

Его ударили по рукам, сбили с ног, и придавили, сунув ствол нагана в щеку. Два других милиционера то же самое проделали с Осипом.

— Вы чего, ребята? — беспомощно трепыхался Гаврила Матвеевич, со стыдом косясь на уплывающее вагонное окно.

В станционное отделение ГПУ их притащили, особо не церемонясь. Вновь обыскали более тщательно, и когда не нашли оружия и убедились, что найденный в вещмешке бородача кусок серой массы не динамит, а модельное мыло, к тому же он оказался орденосцем и членом партии, ретивость милиционеров поубавилась. Сменилась обиженной раздражённостью. Думали, что предотвратили покушение на вождя революции, а тут вместо бомбы — мыло. С таким вещдоком просмеют, догадывался Гаврила Матвеевич об их трудностях. Не понимал лишь настойчивости, с какой вновь проверял их вещи узколицый мужик в черном колушке, как у Осипа. В первые минуты он только наблюдал за обыском, прижимаясь к печке, а теперь сам перебрал и ошупал всё своими руками и даже разрезал кусок мыла на две половинки. Так показав, что он главный, узколицый стал допрашивать.

— Хорошо. Увидел Сталина. Обрадовался. А спички зачем понадобились тебе?

— Так я ж говорю: напомнить хотел про встречу.

— С кем?

— Со Сталиным, с кем же ещё. Потому и обрадовался.

Узколицый прошёлся подозрительным взглядом по лицам притихших милиционеров: мол, слышали? Уставился на Гаврилу Матвеевича воспалёнными, засверкавшими возбужденным интересом глазами.

— Так, так, так... А от кого узнал, что вы здесь встретитесь?

— Да ты чего?.. Разве я про эту встречу говорю? Я про ту говорю, когда встречался с ним, виделся вот так, как с тобой. И говорил... Он на фронт к нам приезжал, смотр устраивал перед тем, как на Колчака послать. А я мужик-то браваый, он и подошёл ко мне покурить вместе, порасспросить про солдатский дух: мол, сможем мы Колчака свалить али нет, — присочинил Гаврила Матвеевич. — А на плацу-то ветрено: он закурить хочет, ан никак, спички тухнут. Я научил его по-партизански...

Гаврила Матвеевич подошел к столу, где были разложены их с Осипом

вещи, взял коробок и, утопив в нем внутреннюю коробочку, стал опускать зажженные спички в освободившееся пространство коробка.

— На ветру не тухнет так, закуривай или взрывчатку поджигай, или костерок разводи с одной спички.

— Да что он, без тебя не знал, что ли, — усомнился какой-то бывалый милиционер. — Все так делают.

— Может, и знал, — согласился Гаврила Матвеевич. И как бы давая понять, что с этим делом пора кончать, после показа положил спички себе в карман; заговорил с милиционерами в своём доверительном, располагающем к душевности тоне: — А все-таки поучился, уважение мне оказал. Тут же рота стоит, полки... Все потом расспрашивали, как вы сейчас — что да как? А вот такой он. Нашенский мужик, хоть и вождь.

— Орден тебе Сталин вручал?

— Не... Фрунзе!

— А где Фрунзе видел?

— Стоп, стоп, — приостановил расспросы узколиций, все ещё не смиряясь с поражением. — Встречались в девятнадцатом. А сейчас чего лез на глаза?

— Не лез, а вышло так... Да что ж он не человек, что ли? Может, приятно, думаю, будет. Мы вот с дружкой встретились, — обнял он шупленького Осипа, притянул к своей могучей груди, — и наговориться не можем. А как же, помином душа радуется.

— В общем, на чашку чая к вождю захотел, — сказал бывалый милиционер, хохотнув.

И все рассмеялись, заговорили. Кто-то ушёл, хлопнув дверью. Арестованным вернули вещи, документы и отпустили, пообещав посадить в первый же проходящий поезд.

Вот так свиделся Гаврила Матвеевич с вождём. А ночью, сидя в вагоне среди посапывающих и храпящих пассажиров, перед тем моментом, когда должен был уйти в сон, перед ним вновь проплыла эта встреча со Сталиным. И увиденное поворачивалось неожиданными открытиями: Осипа-то не допрашивали, так как его... И куртка у него, как у узколищего... Это что же получается?.. Да то, что свой он среди них... Нда-а... И в давнем провёл его хитро, и тут про себя ничего не сказал. А генсек-то испугался... Мужиков боится!.. Цари — не боялись, в каретах разъезжали без охраны. А этот вон как охраняется. С чего бы это так-то, если ты вождь народный?! Ну и ну...

3. Пришла беда — открывай ворота

Вернулся домой Гаврила Матвеевич в тот час, когда после выгона коров в стадо молодки ещё ныряют в постель под горячий бок мужей, отвыкших на колхозной жизни от ранней побудки. К тому же утро было воскресное: спи и нежись сколько хочешь. В воскресенье и в праздники, а ещё в день рождения товарища Сталина можно было не дожидаться стука кнутовищем в переплёт окна и побудного крика бригадира, гарцующего на коне от дома к дому: «Вставайте. На работу пора!». Гавриле Матвеевичу, правда, так не стучали — свой бригадир в доме, и зять большущий начальник, лошадью возят его в тарантасе в МТС — кто тут осмелится потревожить окриком. Но обидную подневольность он знал, как и сладость вот этих часов, дарованных раз в неделю.

Село спало. Кое-где, конечно, замечалось движение. Да вот и в своем дворе Гаврила Матвеевич увидел невестку, прибирающую табуретки. Ожидал, что упрекнёт: мол, где застрял надолго, но нет — докладывать стала:

— Костик из дома убёг, не ночевал даже.

— Вернется. У дружков где-нибудь, — сказал Гаврила Матвеевич и пошел в избу, оставив невестку стоять посреди двора.

Он стащил сапоги, снял свою праздничную рубаху, галифе и, аккуратно сложив их, отправил в сундук на самое дно, привалил бельём. Не торопясь надел старенькие штаны, линялую рубаху, подпоясался витой веревочкой на старинный манер и, сменив так обличие, словно ушел из праздника, вернулся к будням. И то ладно, что выпал такой денёк. Немного их стало у него при советской жизни. А теперь поворачиваться успевай, заговорил он сам с собой. Беда в одиночку не ходит. Не доглядишь оком, заплатишься боком. Что тут надо сделать наперёд?

Глянув в оконце избы, позвал невестку, оставшуюся стоять посреди двора:

— Галина, поди сюда.

Не услышала. Вперилась в дверь подклети. Да что ж она так? Совсем обезумела бабонька.

— Галина Петровна, оглянись-ка на меня, — позвал покруче.

— А-а...

— Так он дома! — раздался чужой раздражённый голос. — Оч-чень хорошо.

Во двор вошла Ольга Сергеевна. Решительно вскинув голову, пересекла пространство от ворот до его избы. Вот уж некстати, спохватился Гаврила Матвеевич! И сам в будничном, да босиком, и в избе беспорядок — на столе стаканы, объедки. Кинулся прибирать — не успел. Распахнулась дверь — и вот она, как птица белогрудая, влетела и на него пошла.

— Где моя дочь? Он увёз ее! Это ваши проделки.

— Здравствуй, свашенька, — придал он голосу как можно больше тепла, но она отсекла его помысел резким взмахом:

— Прекратите!

— Чего? — не понял он и поднял на неё глаза, полные серьёзного удивления.

— Вот это всё, — покрутила она фигурно пальцами, — свашенька и всё прочее. Вы не сватали, вы украли у меня дочь. Вы... Вы... Это подло, низко... это...

— Не хочешь родней быть?

Она словно споткнулась об это слово — «родней». В оставленной дочерью записке было накарябано карандашом: «Мамочка, дорогая. Прости меня, но я люблю его, люблю, люблю!». И ничего больше.

Перебрав вещи, Ольга Сергеевна увидела, что Ирина забрала то, что они подготовили взять с собой для поездки в Ленинград, и у неё теплилась мысль, что у дочери хватит благоразумия отстать от привязавшегося жениха в пути.

— А мы всей душой, — распахнул руки Гаврила Матвеевич.

— Юродивый! Аморальный, похотливый мужик! — кричала она. И хотя краешком сознания понимала, что делает совсем не нужное в этой обстановке и даже вредное, но не могла остановить рвущийся из неё поток слов. — Рядишься под просточка, а сам... Да ты подлец! И все слова твои — ложь и лицемерие.

Выкрикивала что-то ещё, а он только покорно кивал головой да разводил руками:

— Чужую жизнь не наладишь в свои берега. Ты хочешь туда, а она в другую сторону бьёт.

— В твою! И внука, такого же похотливого пакостника.

— А про любовь не думала? — поднял на неё полные тоски и упрека глаза.

— Когда любят, то не ломают, а создают. А вы... Что вы знаете про это чувство? Затащить в баню да задрать юбку — вот вся любовь. Мне мерзко! Противно и мерзко! И родниться с вами?.. Да я вас видеть не хочу больше!

Красный от стыда, стоял перед ней Гаврила Матвеевич в беспомощной растерянности, не зная, как оправдываться, что сказать. Понимал: надо найти слова, оставить зацепочку на будущее, когда отмякнет сердцем, и не находил их. Опять немо развел руками: мол, вот такой я есть. Набравшись решимости, поднял на неё глаза и уловил момент: она окинула его злостью, отчаянием и брезгливостью. И пошла к двери, скользнув мимо вошедшей в избу и оторопело вставшей Галины Петровны, громко хлопнула дверью.

— Чего она? Про баню какую-то...

— Наплела всякого, — пробурчал Гаврила Матвеевич. — Да не до них сейчас. Собери деньги, какие есть.

— Потратила все на Сашеньку.

— У Зыкова займи.

— Спит он.

— Не век ему спать, — буди. Поговорить с ним придётся.

— Не надо бы, пап. Пусть не знает ничего. Он вон какой, смиренный.

— Напуганный на всю жизнь, — ворчал Гаврила Матвеевич, радуясь разговору, который давал ему минуточку продыха меж двух бед.

То, что он потерял свою лебедь белую навсегда, стало ему ясно после ее слов про задранную юбку — знал, таких поражений женщины не прощают. Утешало то, что невестка не слышала про его позор. Хотя, как тут не услышишь при таком крике? Он поднял на Галинку испытующий взгляд, и по тому, как она быстро отвела глаза в сторону, — а чего ей в углу разглядывать? — понял, усекла невестка, всё поняла, а теперь забалтывает «баньку», уводит разговор подальше от Ольги Сергеевны. Ну, и на том спасибо.

— У папеньки денег попрошу, — сказала Галина Петровна и, увидев в глазах свёкра испуганную настроенность, спохватилась, стала оправдываться, что займет денюжат якобы на дорогу Костику. И опять смущённо зарделась, когда в глазах Гаврилы Матвеевича сверкнула насмешка, хорошо ей понятная. Её папенька, Петр Герасимович Сморгчов, не то чтобы кому-либо денег не давал, а даже не показывал ни разу.

— К тетке Шуре сходи. Да у меня остались подорожные...

Галина Петровна пригнула голову от осознания, что у них нет другого выхода, как взять деньги, приготовленные на самый крайний случай.

Она вышла, а Гаврила Матвеевич открыл сундук и достал деньги. Задумался, вспоминая, как сам ходил по мукам, не имея ни рубля, ни куска, ни пристанища. Надо куда-то направить невестку, укрыть до поры, а вот куда? К кому? Родня в округе живет, все на виду, у них беглянку быстро определяют назад. Дружки по партии — в тюрьмах. И как же всё скоро перевернулось. Кажется, в тот год, когда он увиделся со Сталиным, и началось всё...

* * *

Как-то в начале зимы двадцать восьмого года прошёл слухок, что кто-то из ЦК ездил в Сибирь проверять заготовку хлеба, а его там просмеяли мужики. Будто бы в какой-то деревне зашёл во двор, расспрашивает хозяина про то да сё, а сам всё норовит в амбар попасть. Заглянул, увидел зерно, да говорит: что ж это у тебя даром пропадает хлеб, почему не продашь государству? А мужик не сробел да ответил: я тоже видел, в Москве у вас даром пропадает

мануфактура, чего ж вы не продаете её крестьянам по дешевой цене?

Посмеялись. Оно ведь приятно, когда так вот, не робея, можно говорить с властью. Свобода! И за себя гордость берёт: понимаем свою выгоду.

Вскоре забыли бы про этот случай. Но следом пришла другая весть: что ездил по Сибири какой-то чрезвычайный уполномоченный — Салин, не то Сталин, кто их там разберет, — и очень осерчал на мужиков за то, что не поддерживают Советскую власть, не дают хлебушка, и что теперь опять будут отнимать зерно как в революцию, — подчистую всё заберут.

Горластые покричали:

— По какому праву? Каждый месяц то налоги, то заёмы, то самообложение. Если так дальше, то пропади он пропадом, этот хлеб. Не сеять, и всё!

— А как не сеять? — рассудили, кто мудрей. — Чем кормиться? Не посеешь — землю отнимут, с голоду подышать станем, как в двадцать третьем.

— А это жизнь?!

Пороптали, спустили пары. И позабыли бы до времени, да вскоре приехали в Петровск первые «отымальщики».

Помнил Гаврила Матвеевич, что в тот день гулял у первейшего своего друга Иустина Губачева, крестившего очередного внучонка, говорил в его честь слова, как на митинге, а потом веселил честную компанию своими шутками-прибаутками и задористой игрой на гармошке. И вдруг прибежала бабка Клюка, истопница сельсовета, служившая на посылках. Заснеженная, стуча клюкой, прорезала толкучку плясунов и встала перед ним, испуганно пяля глаза.

— Матвеич, беда. Каки-то люди приехали. С ружьями. На пяти санях. Тебя кличут и ругаются. Где, говорят, председатель сельсовета? Я-то знаю, да говорю — не знаю. Вдруг поворот властей, так предупреду хоть.

Вот этот её «поворот» и посмешил всех. Загыкали, загалдели:

— Баушка Клюка, дуй на колокольню набат бить.

— А у белых какие красные звезды?

— Тиха-а, молодежь! — остановил смешки Гаврила Матвеевич и, отложив гармошку, снял со старушки платок, знаком велел раздеваться. — Не то важно, что ошиблась, а то, что порыв души проявила. Она ведь спасать прибегла. А за то ей поклон от нас и место в переднем углу. Садись, баушка, погуляй с нами.

— Ой, да что ты, Матвеич, отгулялась.

— Садись, садись. Налейте-ка ей сладенького.

— Штрафную.

— Тимофей, играй, — сказал сыну, гулявшему здесь с Галиной, — а я сбегаю, расселю поезжан.

Сопровождал его Иустин, такой же кряжистый — подстать Гавриле Матвеевичу — мужик с рыжей бородой и голубыми весёлыми глазами. Нарочно увязался, чтоб вернуть дружка на гулянку, зная его шатуший характер. В распахнутых полушубках для остужения разгорячённого тела, хмельные и драчливые, они подошли к сельсовету, возле которого стояли сани с заиндевевшими лошадьми и топтались ездовые в тулупах.

— Здорово, мужики. К нам али проездом?

— К вам.

— А кто приехал?

— Узнаешь сейчас...

— Чего не ласковый?

— Председатель, что ли?

— Ага...

— Так иди, не гакай.

— Видал?! — оглянулся Гаврила Матвеевич на Иустина и, подтолкнутый им, поднялся по крыльцу в сельсовет. Задумался: такие гости к ним ещё не приезжали.

Сельсовет размещался в двухэтажном доме купца Епифанова, сбежавшего из села с отступавшими колчаковцами. В зале на сдвинутых лавках, так что получился полукруг для спанья, лежали расстеленные тулупы и шинели, у стены по-казарменному в ряд стояли винтовки, а на оставшемся пространстве между топившейся печкой и президиумным столом топтались военные и трое гражданских.

— Здравствуйте, товарищи начальники! — громко объявил о своём приходе Гаврила Матвеевич.

На приветствие оглянулись. Одним из гражданских оказался их первый секретарь райкома, дружок его незабвенный, проверенный огнём гражданской войны, Андрей Миронович Свиридов — располневший, в костюме при галстуке. Он строго и как бы предупреждающе глянул на Гаврилу Матвеевича, но тот, возбужденный гулянкой, ничего не понял сразу и, радостный — ведь какой гость приехал! — пошёл к нему, радушно распахнув руки.

— Андрей Миронович, приехал всё же! Сколь раз обещал. Вот это да! Вот это хорошо!

— Здравствуй, Гаврила Матвеевич, — сунул ему руку Свиридов и, не отпуская, держал на расстоянии, не позволяя обняться. Обернувшись к другим штатским, представил: — Председатель сельсовета Валдаев.

— Пьянствуешь, председатель, — с раздражённой бесцеремонностью бросил мужчина в зелёном френче с раздутыми накладными карманами. Смерив холодным взглядом мужиков, он не торопясь поднял ладонь, но не протянул для пожатия, а повёл её выше и погладил крутой лоб с блестящей лысиной, расплывшейся до затылка.

— Инспектор из обкома товарищ Мазуревич, — сказал Свиридов, как бы объясняя его право на такую бесцеремонность. Представил и другого штатского, зябко подёргивающего плечами в сереньком пиджачишке и черной сатиновой рубашке под ним. — Марысев... Он из ваших, знакомы, наверное.

— Есть что вспомнить, — протянул руку Марысев Гавриле Матвеевичу, а потом — обиженно сопевшему за ним Иустину.

— Так, что за гулянка? Свадьба, что ли? — спросил Свиридов с примиряющим интересом в голосе.

— Крестины, — пробасил Иустин.

— В церкви крестили? — Мазуревич уставил колкие глаза на Иустина, и тот кивнул:

— А как же.

— Партиец?

— Само собой.

— А как же ты — само собой справляешь религиозные обряды? Может, ты верующий?

— Верущий, — тряхнул бородой Иустин и с достоинством поглядел на военных.

— Верующий в Бога — член ВКП(б)?! — с нарочитой изумлённостью воскликнул Мазуревич и многозначительно посмотрел на Свиридова, как бы фиксируя факт.

— Когда на белых посылали, нас не спрашивали, верующий ты или нет, — сказал Гаврила Матвеевич, поняв, наконец, что тут дело не шутейное.

— Тоже верующий? — обернулся к нему Мазуревич.

— В Ленина, — ответил Гаврила Матвеевич, хитро прищурясь: мол, тоже не лыком шиты, можем и так поговорить.

— А почему тогда на крестины пошел? Председатель сельсовета, ты какой пример подаёшь?! С кем заигрываешь?! Да ты знаешь, что за одно только это тебя вычистим из партии. Читал решения пленума?

— Ты погляди, — обернулся Гаврила Матвеевич к военным, словно приглашая их в свидетели. — И так ему не хорошо, и напротив не ладно. На крестины зачем пошёл?.. Я живу здесь. А он мне друг первейший. С сопливых мальцов вместе. И партизанили, и воевали потом в полку вон у Андрея Мироныча. А по-партийному будет, если я отколюсь от масс?

— А хлеб изводить на самогонку — это по-партийному? — уличал Мазуревич. Добавил, глянув на Свиридова. — А говоришь, нет излишков зерна. На самогонку они находят..

— Нам портвейнов не продают, — мрачно заметил Иустин.

Здоровяк, как и Гаврила, в отличие от своего друга, Иустин отличался в подпитии свирепой драчливостью. Зная это и поняв, что их тут специально провоцируют, Гаврила Матвеевич показал ему знаком: «Опасно. Уходим», — двумя пальцами погладил усы, как было условлено у них в давнюю пору, когда колобродили в его озорной ватаге.

Обернулся к Свиридову, к военным и стал объяснять, где поставить на ночь коней, как лучше протопить печи, чтоб хватило до утра тепла, где взять воды для чая, и прочие житейские мелочи.

Обустроил служивых, которым полагалось быть в куче, а приехавшее начальство повёл расселять по домам. Мазуревич объявил, что остановится на ночь у Дмитрия Васильевича Бобкова, чем вызвал некоторое замешательство у Гаврилы Матвеевича: кто такой? Откуда взялся?

— Дырёха, наверное, — подсказал Иустин, шурясь от сыпавшейся в лицо снежной крупы, когда гурьбой вышли из сельсовета и решали кому куда идти. — Он Митька ведь. И отец был Васька.

— К Бобкову нельзя, не-ет.

— Почему?

— У него ни поесть в сыте, ни поспать в тепле. Дырёха, словом.

— Бедняк, то есть. Вот к нему и ведите, — заявил Мазуревич и, не оглядываясь, зашагал с крыльца к поблескивающей санными полосами дороге.

— Отведи. В твой конец, — строго глянул на Иустина Гаврила Матвеевич и вновь предупредительно подёргал усы.

Свиридова повёл к себе. Шли молча.

— Обиделся? — спросил Свиридов.

— Подумаю прежде.

— Подумай.

И опять молча топтали по улице. Избы словно приподнимались из сугробов и поглядывали на них, светясь окнами из-под заваленных снегом крыш.

Скрипнула дверь, и послышался ломкий детский голосок:

— Папка, иди исть... Мамка зовет.

У другой избы топталась, посверкивая сигарками, группа парней, а за окнами металась тени танцующих девчат — тут посиделки. Вскладчину откупили на вечер избу бабушки Клюки и, забыв про пряжу и вышивания, уже

куролесили под гармошку. Такие посиделки зимой собирались на каждой улице, а парни ходили на них из Оторвановки в Баштанный, из Заречья в Мостовой конец села. Особый шик пересыпающихся из конца в конец ва-таг — собственный гармонист. С ним шли под забористые переборы — знай наших! — и горланили частушки.

Проходя по улице, по одним только огням Гаврила Матвеевич без ошибки мог сказать, где что делается. Вот в том доме, где чуть теплится краснота в окне, хозяин Иван Жом убрался уже на печку, а богомольная жена его бьёт поклоны перед домашним иконостасом, освещенным масляной лампадкой.

У соседей их, у Андрюхи Пузырька, — керосиновую лампу жгут, чтоб видней было собравшимся пряхам да вязальщицам платков. Ох, кому только не перемоют они кости! Мужья их сидят сейчас на стряпной половине дома, в хозяйском куте, поглядывая, как ловко руки Андрюхи выделывают из лозы корзинки и всякие плетёночки, а если он бросил плетенье, то режутся в дурачка, с подначками, переругиваясь и хохоча.

Прозоровы — три дома подряд — лучины жгут на кухне, с ужином запоздали. Эти в извоз ходили по нарядам сельсовета, намерзлись, намаялись и сейчас спать завалятся. Вон и погас один огонёк...

А вот темень в окнах Хряща непонятна. Неужели утихомирился, подумал Гаврила Матвеевич. Пригляделся — нет. По краю окна свет блеснул — занавесились, значит, да неаккуратно, щёлка осталась. У Хряща собираются картежники. Начав с копеек, случается, до сотни доводят банк. Жена Хряща, прозванная за мелковатость роста и вредность характера Блошкой, таскает игрокам бутылки «рыковки» и солёные огурцы, продавая по ночной цене. Сколько уже баб приходили жаловаться на этот картёжный притон! Месяц назад Танечка Дятлова с детьми пришла в сельсовет зареванной. Муж её, Федька, проиграл Степке Паскуднику облигации займа на тридцать рублей, ещё восемнадцать рублей, собранных на уплату налога, всех кур, корову, одежду свою, так что вернулся домой в кальсонах и лаптях, а вдобавок сообщил, что и ее, жену свою, проиграл и ей надо ходить к Паскуднику на неделю... борщи варить. Мужикам — смех! Да бабы вскипятились, собрали свой сход и повелели Паскудника на круг привести. Паскудник смекнул, что в таком базаре разъярённых баб может и сам без штанов остаться, а то и более что потеряет, и сбежал из дома. Всю злость свою бабы сорвали на Хряще. Пропарили его так, что, как из парной, вылетел из сельсовета. Недели две был закрыт его картёжный притон! Но, видно, Блошка докусала его, узнав, что картежники перешли играть к бабке Игумнихе, и вот снова он заманил их к себе, А что поделаешь с ними? Вольному воля. Кто как хочет, так и ворочит.

А тот вон зелёный огонёк в избе за березками о-очень тревожил Гаврилу Матвеевича. Зелёный он от памятного ему абажура, который подарил своей несостоявшейся супружнице Анютке Дунайкиной.

Может, по причине худой славы, мажущей черней дегтя, дочка Анюты, черноглазая красавица Оксана, тоже не вышла замуж и, оправдывая своё крапивное племя, пошла мстить подружкам, привечая их мужей. Сколько тут слёз было и жалоб в сельсовет, и разборов, и уговоров Оксаны, пока она не обрезала председателя, заметив при народе:

— А ты не отец ли мне будешь, товарищ председатель советской власти? Тогда приданое дай, чтоб замуж вышла.

От неожиданности он рот открыл, растерялся, не зная, что сказать, а

Оксанка — вот ведь какой стервочкой стала! — запрыгнула к нему на председательский стол, придавив бумаги пышным задом, обхватила его рукой за шею, а другой взъерошила волосы, промурлыкав:

— Можно, я тебя папанькой стану звать?

Потом-то он шлёпнул её по мягкому задку, столкнув со стола, но народ — жалобщики и комиссия — уже хохотали до колик в животе.

Так вот, здесь каждый дом — своя история. Для приезжего, конечно, всё это — скукота, покосился Гаврила Матвеевич на Свиридова, потиравшего замерзающий нос, а для него — вся его главная жизнь.

Он знал и любил этот маленький мир — малюсенькую частичку России, а потому и тревожился за него, чувствуя надвинувшуюся угрозу. Попытался подбодрить себя: мол, подумаешь, приехал гусь лапчатый. Видали и не таких... Но всё же признался, что «таких» ещё — пред которыми его командир и секретарь райкома помалкивает, таких он не видел. Не вынес маяты и спросил:

— Что за птица-то?

— Если бы птица...

— ...Похож.

— Проверять приехал.

— А чего нас проверять?

— Меня, не вас.

Дома их встречала Василиска. Прибавив света в лампе, она неторопливо вышла из-за стола, на котором разложены были учебники, подошла к Андрею Мироновичу и поздоровалась за руку, как большая. А получив кулёк гостинцев, обрадовалась:

— Ой, это ж «Раковые шейки», мои любимые. Дедусь, я разбужу Сашку, а то я сама съем. Я, правда-правда, не утерплю до утра, а он потом обижаться станет.

— Утерпи. Ишь к чему подбивает? И Костику оставь.

Отправили Василиску спать, чтоб не мешала мужскому разговору, и сели вечерять тем, что в печи нашлось. Свиридов ел, а Гаврила Матвеевич подкладывал ему, подливал и не смолкая докладывал, что все задания им выполнены в наилучшем виде: недоимки за год сданы, подписка на заём проведена с перевыполнением, выявлены скрытые статьи доходов у мельника Цицирова и колбасника Маслова и некоторых других, повышено налоговое обложение. Не утерпел и похвалился, что все дворы в селе состоят в каком-нибудь товариществе или кредитке, а это значит — стопроцентное кооперирование крестьянства, как Ленин наказывал.

— Как я понимаю, подбодрить меня хочешь, — сказал Свиридов, отодвигая глиняную кружку, из которой пил чай. — Спасибо.

— Чего мне тебя подпирать. Ты и сам себе оборонный.

— Оборонный... — усмехнулся Свиридов, задумчиво растирая по столу крошку хлеба. По его рыхлому лицу побежала серая тень, сгоняя выступившую после горячих шей красноту, а в глазах проглядывала тревога. Не давая ей разрастись, Свиридов отшвырнул ногтем растертую крошку и спросил:

— Как с хлебом?

— Контрактацию выполнили. На сто процентов по всем видам.

— А сверху?

— Цены низкие, Андрей Мироныч. Придерживают мужики зерно: ждут, пока подорожает.

— С государством как на базаре торгуется. А не боитесь, что доторгуется до продрозверстки, как в восемнадцатом?

Бранил Свиридов заученно и скучно, как бы по обязанности, которую неприятно выполнять. Чувствуя его настроение, Гаврила Матвеевич остановил:

— Погодь, Мироныч. Завтра поругаешь. Вот ведь коммунисты какие пошли! В гостях сидит, а хозяина крушит.

Рассмеялись.

— Задумка одна есть. Обсудить надобно, — приглушил голос Гаврила Матвеевич, подавшись к Свиридову. — Собрали мы первый колхоз, как приказывал. Дело новое, всем в диковинку. Глядим... А что там может быть хорошего, когда собралось девять дворов нищеты о семи лошадях. Бедуют. А я уж и кредиты им в первую очередь, и плужки-бороны, а прибýtка все равно нет. Что ж такое, думаю. А сват надоумил. Всё дело, говорит, в специализации. Нет её в колхозе. Как хозяйствовало порознь, так и вместе, в девять дворов, то же самое делают. Вот тогда я и придумал другой колхоз собрать, ко-о-пе-ра-тивный.

— Так-так-так! Интересно, — оживился Свиридов, и в глазах его появились другие, весёлые огоньки.

— Ага... Почему у Кольки моего дела круто пошли? А потому, что ферма! — только бычками занимаются. Вот я и задумал весь народ фермерством занять. Одних на пшеничку определить, других — на корма и овощи. Землю прирежем, чтоб размах был.

— Где возьмешь?

— А у тех, кто скотом-птицей займётся. Им поменьше дадим, у них на дворе будет забот невпроворот. Есть у нас в Заречье бабы-гусятницы, по сотне гусей держали до революции, а мы им по тыще повелим держать. Не откажутся, не бойся. Сейчас уж каждый смекнул, что больше, как на ферме, прибýtка нигде не возьмёшь. Молочницы есть, по ведру от коровы надаивают. Таким кредит дадим, чтоб по десятку-полтора коров держали. Сепараторный пункт оборудуем, и сливки — на масло. Три артели уже есть. Бондарную дружок мой Иустин с сынами организовал. Они бочки, бадейки делают. Ещё есть шерстобитная, кирпичная; ещё заведем всякого-разного. В деревне ведь в каждом доме что-нибудь шьют-рубят-мастерят. Мы их тоже кооперируем — и под своё крыло. Думаю, магазин в городе откроем. Чтоб всё своё там: мука, мясо, масло, мед, бочки, валенки, хомуты... Вот тогда мы забогатеем. И налоги дадим вам такие, каких не видывали ещё.

— Интересно, — поднялся и прошёлся по кухне Свиридов от стола к двери и обратно. — Почему же кооперативный колхоз? Так ты назвал его?

— А в этом самое главное, Мироныч. Ведь каждому мужику важно быть хозяином. Чтоб волю свою имел, что ему делать и как! А в коммунах и в колхозах всё наоборот получается.

— Как это, наоборот?..

— А вот так... Пошли наши девятидворики сено косить. Лучший клин им отвели: старайтесь. Мы, единоличники, косами машем давно, а они только из шалашей вылезают; мы взопрели, а они — за кулеш сели. Варнаков, бывало, на личной загонке так махал косой — на тройке не догонишь, а на колхозной за стариками плетётся. Говорит, чтоб не уставали они, и смеётся. Понял, в чем заковыка?!

— Не совсем, извини...

— Да как же?.. Подумай, в кооперации мужик хозяином остаётся. Как

потопал, так и полопал. Тут всё получишь по своим способностям и по труду. А в колхозе, как велите вы делать, он вроде подёнщика на заводе. И, сообразно мужицкой своей натуре, не хочет лишнего делать против другого, чтоб не быть дураком. Я вот сознательней других, а ведь тоже не пойду за соседа горбатиться, али там за пролетариат какой-то. Хоть он и диктатор, а всё равно состоит из таких же мужиков и баб. Пусть сами зарабатывают своё и торгуют с нами. Они нам — плуги да ситец, и мы им — хлеб да масло. Не так разве?

— Только давай договоримся, — встал против него Свиридов, сверху посмотрел в глаза, пронзая до табуретки. — Больше про диктатуру пролетариата ни слова!

— Да я ж тебе только...

— И я — тебе! — дружески тронул его за плечо Свиридов. — Когда организуешь кооперативный колхоз?

— Народ надо подготовить. Подогреть так, чтоб невтерпёж было. Чтоб вот вынь и положь им такой колхоз. Колька мой уже задыхается без кооперации: корма ему нужны. Чтоб не сам пахал-сеял, а получал от других. Вот таких Колек-Ванек-Манек подберу ещё человек полста и к лету соберёмся в кооперативный колхоз.

— Не успеем, — сказал Свиридов вроде как со вздохом.

— Куда? Аль на поезд торопитесь? В таком деле спешить — себя просмешить, и хорошее дело погубить можно.

Свиридов не придал значения его иронии, бросил вскользь:

— Хороший ты мужик, Гаврила Матвеевич.

— Хорош Ванюшка, хвалит мать да баушка, — смутился от похвал Гаврила Матвеевич. — Но в целом линию партии понимаем: сказано, обогащайтесь — богатеем. Подгонять не надо. Каждый знает, без денег — бездельник, а за свой грош — везде хорош. Деньги не говорят, да много творят, так что в этом деле мы тебя не подведём, Мироныч, будь спокоен.

— Хороший, — продолжал говорить Свиридов, словно не слышал его слов. Его маленькие глазки под белесыми бровями рассматривали Валдаева с испытующим вниманием, словно он терпеливо ждал понимания и подводил его к этому, заявив вдруг: — Жалко будет потерять тебя.

Таких слов никак не ждал Гаврила Матвеевич от своего гостя.

— Ты про что говоришь, Мироныч?

— Не понимаешь?

Гаврила Матвеевич в ответ мотнул головой: нет.

— Зажирел партизан, потерял чутье. А помнишь бой под Зубовкой? Ты меня раненого из воронки вытащил, а туда — снаряд. За три секунды от смерти ушли. Говорил ещё: чей-то голос услышал. Помнишь? Вроде бы сидеть нам надо было в укрытии, а ты потащил меня под обстрел.

— Как не помнить, — замутились глаза Гаврилы Матвеевича, обратясь в прошлое. — Вдруг страх почувствовал, что сейчас здесь помрём. Аж душа заныла от этого страха, завопила: беги! А как бежать одному? Поташил тебя. Ты скажи, Мироныч, какая беда пришла?

— Газеты читаешь?

— Не так чтобы всегда... Почитываем. Да не поймёшь там ничего. То левых били, теперь за правых взялись. Ну, с левыми понятно — троцкисты. А правый уклон?.. Кто там уклоняется?

— А с троцкистами тебе всё понятно? Извини, Гаврила Матвеевич, но для разговора полезно знать, что ты думаешь про Троцкого и левый уклон.

— Он Ленина хотел заменить, прибрать страну, значит, — говорил Гаврила Матвеевич, неуверенно поглядывая на Свиридова, и понемногу смелел, видя его одобрительные кивки. — Рябой спихнул его, мол, я получше буду. За власть борется.

— В общем, правильно.

— А правые чего хотят?

— Хотят обогатить крестьян и продолжать нэп.

— Так какие же они уклонисты?

— Они не уклонисты.

— А пишут — чуть не враги.

— Правый уклон — личная выдумка Сталина, чтобы расправиться с неудобными ему членами Политбюро. За левый уклон убрал Троцкого, Каменева и Зиновьева. За правый уклон атакует Бухарина, Рыкова, Томского.

— Ах ты, мать моя в саже. А мы-то пируем, не знаем ничего. Фамилии-то не пишут. Правые да левые, а кто такие — неизвестно. А он, значит, их сталкивает! Чтoб самому подняться. Ловко!.. А что ж вы — верховные — не вдарите, чтобы осадить.

— Вдарили, — усмехнулся Свиридов. — На московском пленуме в октябре ему прямо сказали, что придумал правый уклон, чтобы плести интриги против неудобных.

— А он?

— Вывернулся.

— Поприжать покрепче. Да кто он такой?.. Кто его знает?.. Ты спроси мужиков, кто такой Сталин, да из десятка одного не найдёшь, какой правильно его назовёт. И в революции мы не слышали про него, вспомни-ка...

Свиридов кивал: правильно. Однако не воспыал бодряческим настроением, а ещё больше нахмурился и помрачнел.

— Прижимали... Еще при жизни Ленина сорок шесть членов ЦК написали заявление в Политбюро против Сталина: о том, что создал аппарат, который думает и решает за всех, не считаясь с партией и с ЦК. Ленин болел, не мог вмешаться, а Троцкого он обвёл, опираясь на Каменева и Зиновьева, с которыми в блоке был. Сейчас против Сталина уже не выступишь с заявлением: тут же объявят фракционером — и в Сибирь...

— Вот что делается! Ай-ай-ай, — удивлялся Гаврила Матвеевич. — Вот так рябой! Откуда же такую силу набрал?

— Должности распределяет.

Далекий от городских хитростей Гаврила Матвеевич не мог сразу понять, как это можно набрать силу, распределяя должности; он задумался, нахмурив брови. Свиридов пояснил:

— У нас теперь не выбирают сами секретарей и председателей, как было. Теперь кандидатуры нам подбирают в аппарате и присылают, чтобы проголосовали за них. Естественно, подбирают из тех, кто громче кричит за Сталина, против разных уклонистов. Понял, зачем нужны ему левые-правые?

— Хитер!.. — с насмешкой и с одобрительным пониманием покивал Гаврила Матвеевич и, задумавшись, добавил: — Тогда не остановить его, нет... По себе знаю. Было у нас в ребячестве две ватаги. На Баштанном краю я верховодил, а в Оторвановке — Иустин. Потом-то мы стали с ним не разлей вода, а вначале дрались в Петровском. До ножей дело дошло, да-а.

— И как же победил его? — заинтересовался Свиридов.

— Обхитрил... Сговорились, что летом я команду — он не перечит, а

зимой он командует — я молчу. А за лето я так прибрал всю ватагу к рукам, что его уж и не слушались без меня. Иустин тоже привык в пристяжке ходить, подружился с ним, воевали вместе. Вот как бывает. Может, и у ваших верховных сейчас главный определяется? Так и пусть. Нам-то не всё ли равно — будет Сталин или Бухарин.

Свиридов впился в него пристальным и досадующим взглядом и, обиженно передернув губами, обронил:

— Действительно, каждый народ достоин своего правителя.

«Рассердился, — понял Гаврила Матвеевич и, запустив пальцы в бороду, поскребывая там, соображал, что же он сказал неладного? То, что мужики не хотят в политику играть? Так у нас другие игрушки. Вон и хлебушко вам надо отсыпать. Не случайно ведь приехал сюда с солдатами. Завтра такая игра начнётся со слезами да обидами — до нового урожая не исчерпать».

— Им всё равно... Н-да-а...

— Так ведь сам посуди, Андрей Мироныч. Они во-он где, — показал он на воображаемую высоту где-то за потолком с подвешенной и нещадно коптившей лампой, — а мы тут, в земле. Им управлять, а нам землю пахать. Чего ж лезть не в своё дело?.. Каждый сверчок знай свой шесток. Аль не так? Объясни тогда.

— Зачем тогда царя сбрасывал? Чтоб на шестке сидеть?

— Так царь — капиталист, а этот будет коммунист.

— Как Троцкий, к примеру, — подсказал Свиридов, не сводя насмешливых глаз с Гаврилы Матвеевича, и тот вновь неуютно заёрзал на табуретке. Просительно глянул раз-другой и, не дождавшись ответа на свои вопрошающие взгляды, заявил:

— Не-е, Троцкий нам не подходит.

— Так вам же всё равно, под кем сидеть «тута».

— Может не будет, как Троцкий?

— А каким будет? — выспрашивал Свиридов. Ему сейчас требовалось, по старой учительской привычке, походить по комнате, но кухня не позволяла этого сделать, разве лишь потоптаться вновь между столом и печкой, и он сел за стол, уставясь на Гаврилу Матвеевича. Смотрел и ждал, что скажет на его вопрос.

— Оно, конечно, в чужую душу не влезешь.

И Свиридов всё-таки вскочил, прошёлся к печке, а от неё повернул к двери, вышел в сенцы. Послышался скрип к другой двери, ведущей на волю. Должно быть, по малой нужде пошёл, подумал Гаврила Матвеевич, а сам понимал, что появилась у гостя другая потребность — охладиться, чтоб не вспылить на его двурушные разговоры. От этой догадки стыдно стало. Ему, можно сказать, душу распахнули, а он тут завилял, как пёсий хвост. Тьфу ты, мужицкая натура! Всё хочется с камней лыко драть, с грязи пенки снимать.

Свиридов вернулся, подрагивая, потирая ладони. Прежнюю заботу будто скинул в сенях, улыбался во весь рот:

— Холодище! А что, засиделись мы с тобой, Матвеевич. — И, глянув на печь, спросил: — Сверчки у вас есть?

— А как же, поёт...

— Тогда я на печке лягу. Со сверчками, у которых свой шесток. Интересно же, куда мужики от политики прячутся. Может, понравится — да лягу на остаток лет, и хоть трава не расти.

— Ты прости меня, Мироныч. Завилял я. Бес попутал. Подумалось: а чего надо? Жизнь наладилась. Богатеем. Наше ли дело в политику лезть?..

Свиридов молчал. Прислонясь спиной к печке, он вбирал тепло и с интересом разглядывал непривычно смущённого Гаврилу Матвеевича, пока взгляд его не прошёл дальше, куда-то за стену постанывающей от мороза избы. Лицо его потеряло весёлые черточки, скомкалось в озабоченную и растревоженную массу. Сказал как бы в ответ своим мыслям:

— Самое обидное, что вы не понимаете, что давно стали самой главной фигурой большой политики. И хлеб ваш — главный аргумент этой политики! Слышал, что Сталин ездил в Сибирь?

— Был слушок. Просмеяли его там вроде.

— Боюсь, эти смехачи уже горько плачут. Головы пачками летят.

— За что?

— За всё. За притупление революционной бдительности. За сращивание с чуждыми элементами, за саботаж хлебозаготовок. Меня тоже убирают от вас.

— Да ты что, Мироныч! Не отдадим.

— В область переводят.

— Куда?

— По линии Наркомзема.

— А чего ты, учитель, соображаешь в земле?

— Вот и жена так говорит, — кивнул Свиридов.

Он отогрелся у печки, сел за стол и совсем по-домашнему задумался, подпёр голову рукой, утопив кулак в белой, как тесто, щеке. Посидел так с минутку и стал говорить, уже не глядя на собеседника, а вроде как сам с собой.

— Секретаря Белецкого райкома забрали с повышением, а через месяц исключили из партии как бывшего троцкиста и... В Переволоцком райкоме из старых никого не осталось, а там первым Карпухо был, командир полка Чапаевской дивизии.

— Знаю Карпуху.

— Вычистили Карпуху. За то, что женат на поповской дочке. А Рубцова сослали. В Оренбурге судили, и в Сибирь. Ромашова, комиссар был в третьем полку, забрали за связь с Углановым, секретарем Московского комитета. Протестовал он против линии Сталина.

Свиридов ещё долго перечислял, кого и за что вычистили из партии, сняли с работы, сослали. Среди называемых было много знакомых Валдаева, и их имена вспышками воспоминаний освещали те далекие боевые годочки, словно затем, чтобы ещё больше поразить нелепостью свалившихся на этих людей ударов судьбы.

А потом наступил момент, когда он потерял способность поражаться и выражать недоумение тому, что происходит в стране. Конечно, он и раньше о многом знал или догадывался; с чем-то соглашался, а что-то считал правильным, памятуя, что революция продолжается, а коли рубят лес, то и щепки летят. Но сейчас, когда все эти разрозненные случаи построились Свиридовым в шеренгу, стало видно, что порождены они силой одного лесоруба, крушившего лес ради щепок. И Гаврила Матвеевич растерялся. При каждой новой фразе Свиридова он беспомощно вскидывал глаза и тут же поворачивал их взгляд в себя, созерцая накапливающуюся в душе кучу этой колкой щепы из разбитых судеб.

Спать легли далеко за полночь, когда вернулись с гулянки Тимофей и Галина. Подвыпивший Тимофей порывался рассказывать, как там лихо отплясывал городской, приведённый Иустином, какой он свойский мужик,

хотя и фабричный, но отец с гостем не выказывали интереса к его бессвязным рассказам, и Галина утянула мужа в горницу.

— Кто он? — спросил Гаврила Матвеевич.

— Посланец партии, — остановил на нём взгляд Свиридов. — Будет осуществлять диктатуру пролетариата. Изберите его завтра вместо «кавалериста», — и гася протестующий огонёк в глазах Гаврилы Матвеевича, добавил коротко и командно: — Надо!

— А так ли надо, Мироныч? Начнёшь поддакивать, и разучишься протестовать.

— Ты не разучишься. А дров можешь наломать. Поэтому не дай им подловить себя. Ты нужен нам, понимаешь?! — положил руку на его плечо Свиридов и приблизился так, чтобы смотреть глаза в глаза. — Понимаешь зачем?

— Неужто дойдет до этого, Мироныч? — вглядывался Гаврила Матвеевич в черноту глаз Свиридова, за огонёк лампы, отражённый на зрачке.

— Похоже, ничем другим его не остановить.

4. Звон набата

Другой день прошёл, как в запарке сражения, когда одно помешалось с другим, наслоилось на третье, перевязалось, перепуталось, и все бегом, скоком, летом.

Чётким в памяти осталось утро, когда они со Свиридовым чинно вышагивали по хрусткому снегу, колюче взблескивающему на солнце. Вчерашний ветер подровнял снежный покров, подправил сугробы и, убравшись за село, вольготно разлегся там на белом просторе, изредка напоминая о себе подёргиванием торчащих на межах будылей подсолнушков да дрожью примороженных ветвей осокорей и вётел, тут и там стоящих окрест. Печные дымы поднимались над избами причудливыми столбами и доходили, должно быть, до самого неба, покрывавшего зубцы уральских камней и кромку лесов вдоль Сакмары — с одной стороны, а по другую сторону — бесконечно белую, до рези в глазах, даль степей.

— Кто этот Бобков, к которому Мазуревич пошел спать? — спросил Свиридов, потирая варежкой нос.

— Дырёха-то?

— Почему — Дырёха?

— Шельмец потому что, — усмехнулся Гаврила Матвеевич. — Отец ему двух лошадей нажил, весь инвентарь железный: плуг, бороны... А как помер, Митька всё это спустил, с зерном в город подался, чтоб домовладельцем стать, денежки с жильцов собирать. В двадцать третьем, сам знаешь, как народ голодал. Выменял он дом, потом — другой, на жену оформил, третий — на дочку... Так разохотился, что не заметил, как пшеничка-то кончилась и сами заголодали. Меньшого мальчонку похоронили да еле живыми вернулись домой. Родовались ещё, что избу их никто не купил, а то и возвращаться-то было бы некуда. Потому и Дыреха: хватъ в карман, а там дыра в горсти.

— Яс-нень-ко, — задумчиво кивнул Свиридов.

Что ему стало ясненько — Гаврила Матвеевич сообразил не сразу, потому что почувствовал на себе чей-то взгляд; покосясь, отогнул угол поднятого воротника и увидел Данилу Зацепина. Из избы он выскочил в полушубке, надетом на одно плечо, с шапкой в другой руке, и бежал к ним напрямик по снегу...

— Постой-ка,— придержал Свиридова Гаврила Матвеевич и пошёл к Даниле:

— Чего ты?..

— Зерно будут реквизируют!.. — сказал Данила доодеваясь.

— Эка, вспомнил чего! Да кто сейчас реквизирует! Двадцатый год тебе, что ли?

Данила не изменился в лице, смотрел, не моргнув, с суровой озабоченностью, а выслушав ответ, не придавал ему внимания и добавил:

— Список составлен, у кого сколько брать.

— Дыреха?! — выдохнул Гаврила Матвеевич и сейчас только понял, что было «яс-нень-ко» его гостю. Так вот почему солдат привезли!

Данила молчал. Для него, многодетного, каждая горсть зерна дороже денег. Отнять у него мешок-другой — значит, точно оставить кого-то разутым либо раздетым.

— Ну, это мы ещё поглядим. Такие дела сход решает.

— Они собрали сход.

— Без председателя?

— Комбед. С темна бегали по селу, собирали тех, кто грабить пойдёт. Меня звали.

Данила выдержал испытующий взгляд Гаврилы Матвеевича и сам упёрся высматривать: мол, я не пошёл с теми, а куда ты повернёшь? Заступишься или струсишь и бросишь нас? Под таким взглядом не медлят с ответом: сразу можно потерять к себе уважение и веру, как в жоака. Этак и сам Гаврила Матвеевич проверял людей, а потому, покосясь на притопывающего на дороге секретаря райкома, сказал приказно:

— Собирай сход!

Свиридов не спрашивал ничего — сам Гаврила Матвеевич рассказал ему, что узнал от Данилы, и подождал, давая время обдумать известие. О своём приказе утаил, рассудив, что секретаря райкома лучше не привязывать к себе, чтоб не обвинили в сговоре. Сам заварил кашу, сам и расхлебаю.

— Хлеб надо дать, — сказал, наконец, Свиридов.

— Побойся Бога, Мироныч. Мы же выполнили все поставки.

— Опять!?. Тебя мне еще уговаривать?! — обиженным взглядом кольнул его Свиридов. И, помолчав, добавил тихо и смирно: — Надо, Матвеич. Не дашь хлеб — контра ты, в ГПУ заберут, а ты нам здесь нужен.

Вот и повертись меж двух жерновов, — вздохнул Гаврила Матвеевич. С утра подумывал, может, лишним устрасил его с ночи Андрей Миронович. А когда умял за завтраком десяток горяченьких блинов со сметаной, так и совсем расхрабрился: мол, хоть и стар, да удал, за двоих стал. Прорвусь! А выходило, прорываться-то некуда: в одну сторону вильнёшь — без головы останешься, в другую подашься — голову снесут. И отсидеться никак нельзя, хоть и приказывают, — покосился он на своего хмурого гостя, вышагивающего рядом.

У сельсовета собрался народ. Не так чтоб много, как должно быть по событию — морозец попридержал, наверное, а вернее, что не все знали про собрание, собиравшееся стемна, но самые любопытные уже толклись здесь и шушукались, передавая друг другу:

— Гаврила идет, Гаврила...

— А кто с ним?

— Свиридов, секретарь райкома, не видишь, что ли.

— Доброго здравия, Гаврила Матвеевич. И гостю нашему, — поклонился дед Шипка, прозванный так за бесконечные свои подвиги на войне с турками в Болгарии, которые с каждым годом смешней веселили народ по мере усыхания дедка. Но Гаврила Матвеевич помнил его полным силы, крепким и стройным, и верил, что такой не только турка, но и лошадь мог подхватить на штык и перебросить через себя. А потому уважительно поприветствовался возле дедка, сдернул с руки рукавицу и пожал его стылую ладошку:

— Здравствуй, Афанасий Галактионович. Чего рано поднялся?

— Да вить это... — заморгали маленькие, по-детски наивные глазки дедка.

— Здравствуйте, здравствуйте, — кивал народу Гаврила Матвеевич направо и налево, шагая к крыльцу за Свиридовым.

И ещё раз поприветствовал шаг, почувствовал, а потом и увидел, как мельник Цициров вцепился в него взглядом. Он стоял в отдалении с колбасником Масловым, с другими мужиками из тех, кто побогаче. Тоже за хлеб боится, пришёл поближе к беде.

В коридоре сельсовета похаживали собранные для выхода на улицу военные, в краснозвездных богатыряках, с винтовками в руках так, что оставалось застегнуть шинель и шагать по заданию.

А задания уже распределялись в зале, прислушивался Гаврила Матвеевич к хриплому голосу Дырёхи, читавшего список. Пока Андрей Миронович аккуратно и явно не торопясь обметал от снега валенки, Гаврила Матвеевич, не выказывая себя, оглядел в приоткрытую дверь собравшихся.

Всего-то сидело человек тридцать мужиков и с десятков баб — колхозники, одиночники из бедноты, батраки, вдовы во главе с Анюткой Дунайкиной, и там же, с бабами, возле Оксаны Дунайкиной прилепился Паскудник, вернувшийся из бегов. А на первой лавке разместились Хрящ с Блошкой и бабушка Клюка. В президиуме за столом выделялся крутолобый Мазуревич в непривычном для деревенского глаза френче, непонятный и грозный. Рядом с ним сидел-возвышался со списком в руках Дырёха. Он командовал:

— К Усольцеву пойдет Чирок, извиняюсь, Чирков Анкудин, к Лабцову — Хрящёв.

— Погодь, Дмитрий Васильевич, — подскочил с лавки Хрящ. — Пусть начальник скажет, правильно я понял али нет. Вот если четыре мешка лишку будет, то три пойдут государству, а четвёртый — мне. Этак я понял?..

— Правильно понял, — подтвердил Мазуревич. — Двадцать пять процентов конфискованных хлебных излишков будет распределено среди бедноты. Двадцать пять — это четвёртая часть от ста процентов, четвёртый мешок — ваш.

— А если двести мешков найду, то пятьдесят тоже мне?

— Ишь, чего захотел! — раздался возмущённый голос.

— Да ты столь никогда не держал.

— Тише. Пусть скажет.

— Ваши пятьдесят! — провёл ладонью по столу Мазуревич, словно пододвигая ему эти пятьдесят мешков.

Заметив в дверях председателя сельсовета и секретаря райкома, Мазуревич помахал им рукой, чтобы поторапливались. А когда они подошли к столу, едко заметил:

— Долго спишь, товарищ секретарь. Мы тут уже перевыборы провели.

— Которые на девять намечали, — сказал Свиридов, открыл крышку карманных часов и показал циферблат.

Мазуревичу ухмыльнулся.

— Какова повестка?

— Всё та же — хлеб! — сказал Мазуревич и гордо обвёл взглядом споривших мужиков.

— Тогда, это... Погодь, Дырёха, — подскакивал, словно жарился на сковороде, Хрящ. — Ты зачем мне Лабцова пишешь? У него за бугром ничего не уродилось, семян не собрал. Я на Шестова показывал, его и пиши. У него пудов четыреста с гаком будет. И сто — мои, как начальник сказал.

— Четыреста пудов в одном дворе! — торжествующе подчеркнул Мазуревич, многозначительно глянув на Свиридова. — А говорят, хлеба нет.

— Так мои будут, начальник? — торопился Хрящ.

— Ваши, ваши. Не твои, а ваши, — уточнил Мазуревич, поднимаясь с лавки. — Вашего комитета бедноты.

— На всех делить что ли?

— А ты себе только хотел? — неслись мстительные выкрики.

— Хитёр!..

— Порядок знать надобно, — отбивался Хрящ. — Чтоб каждый старался.

— Постараемся. Читай, Дырёха.

— Дальше вали.

— Эх, мужики вы, дураки, — поднялась бабушка Клюка и, громко постукав палкой по полу, чтоб притихли голоса, сказала, осудительно качая головой: — Не мыслите, чего творите. Мир правдой силён, а вы растащить всё хотите. Чтоб сосед на соседа пошёл, кум на кума, сват на свата. Да что же тут будет у нас, подумайте забубенными головушками. Как детей растить, как старость тешить?.. Хоть бы ты их унял, Матвейч. А мово голоса тут не будет.

Стыдящие слова баушки Клюки поубавили азарта в глазах расшумевшихся в дележе мужиков; переглянулись, переждали, пока она пробралась к двери, и вновь уставились на Мазуревича.

— Хорошо, если бы кулаки вас также пожалели, — кивнул он на дверь, за которой скрылась бабушка Клюка. — Но они нас не жалеют! И мы не позволим срывать индустриализацию страны, не допустим голода рабочего класса. Тут надо понять каждому, что зерно не только ваше, крестьянское! Оно — всенародное богатство. Как воздух, вода, лес, вся природа... Сейчас вы зерно выращиваете для всех, а завтра другие будут делать тоже самое. Для всех! Как и рабочие в городах делают для вас всё-всё. Хлебные излишки в руках кулака — это не просто товар, это, товарищи, политика. А можем ли мы допустить политического усиления кулачества? — обвел Мазуревич взглядом слушающий зал и объединил всех сгребаящим взмахом рук. — Собрание сказало — нет! А потому наша задача взять у кулака хлеб, вырвать у него жало политического давления и обеспечить снабжение хлебом Красной Армии, пролетариата города и беднейшего крестьянства села.

— НЭП отменяется, опять к продрозвёрстке повернулись, — сказал с наивным простодушием Гаврила Матвеевич. — А я не слышал про съезд с такой программой. Может, бумага у тебя имеется, так показал бы?..

Реплика не понравилась Мазуревичу. В его намерения не входило затевать спор с человеком, определенным для первоочередного вычищения из сельсовета и партии. Он глянул на Свиридова, требуя поддержки, но тот уклонился, пробурчал:

— Правильный вопрос. Отвечай.

Дырёха подскочил, бросив упрёк Валдаю:

— Опаздываешь, а потом объясняй тебе вновь.

— А чего ж не позвал меня на собрание? Без сельсовета решил управиться?

— Тише, тише! — прервал его Мазуревич. — Нэп никто не отменяет. И всякие разговоры об отмене нэпа — контрреволюционная болтовня, направленная на срыв хлебозаготовки. И мы не потерпим таких... — презрительно глянул на Валдаева. — Сейчас по всей стране проходят собрания бедноты, формируются комиссии содействия. Вам дано право утверждать и распределять план хлебозаготовки, а при надобности — вплоть до полной конфискации всех запасов.

— А если откажутся? Не дадут? — спросила Блошка, до этого что-то зудевшая Хрящу на ухо.

— Откажутся? Нам?! — грозно переспросил Мазуревич и неожиданно рассмеялся, показывая залу полный рот мелких, часто сидящих зубов. Кивнул на коридор: — А там видели — тридцать три богатыря? Так что не откажутся. А порядок такой: батраки и безлошадные бедняки полностью освобождаются от сдачи хлеба. Средняки сдают четверть наличного зерна. Зажиточные и кулаки — по твёрдым заданиям, вплоть до полной конфискации всех запасов на тот случай, когда вздумают отказаться.

— Да у нас кулаков-то, которые батраков держат, четверо только, — заметил Гаврила Матвеевич, но Мазуревич не слушал его, продолжая говорить:

— Тут товарищ интересовался четвёртым мешком. Повторяю: двадцать пять процентов, то есть четвертая часть взысканного хлеба поступит в фонд бедноты. Не лично кому-то одному, а всем. Потом поделите.

— Вот так-то правильно...

— По правде будет...

— Меня тогда к Лабцову запиши. К Лабцову мне ближе идти.

— И по морде не даст, — съехидничал Паскудник, вызвав смех Оксаны Дунайкиной, залиvistый и неуместный, как на похоронах.

В лежащих на столе перед Бобковым списках Гаврила Матвеевич увидел, что к зажиточным приписаны люди, которые в досталь хлеба не едят. Держат форс, чтобы слыть крепким мужиком, как Данила Зацепин. Подтянул список, вчитываясь в караули.

— Кто список составлял?

— Не понравилось, что сынка твоего в кулаки записали, — попытался вырвать список Бобков и косился на него с ещё непривычной боязливой смелостью.

— Помолчал бы, Митрий. Добра не смыслишь, так худо не твори, — поднялся Гаврила Матвеевич и повернулся к Мазуревичу, упреждая его отпор. Ткнул пальцем в список. — Неправда тут. И наговоры. Про сына моего говорит, что кулак, а норма — малая. Всё надо забрать, подчистую.

— Партийный подход. Правильно! — поддержал его Свиридов.

— Однако ревизовать решение собрания его никто не уполномочивал, — стрельнул взглядом Мазуревич. — Товарищ, может, попросит слово у собрания, а мы подумаем, дать или... не дать!..

— А за стол чего уселся?... Не у себя...

— Это понятно, зачем кричишь... Послушай, что тут писано: Лабцов — зажиточный.

— Три лошади у них! — выкрикнул Хрящ.

— Ага... Прошлым годом кобыла двойню принесла. Подфартило мужику, может, раз в жизни, а вы его в кулаки на разорение, чтоб Хрящу с Блошкой четвёртый мешок в закрома прибавить.

— Ну вот что, товарищ, — поднялся Мазуревич, — как там тебя, не знаю...

— Председатель сельсовета, — подсказал Гаврила Матвеевич.

— У нас идёт собрание комбеда, на которое тебя не звали.

— Советскую власть отменили? — с хитрым прищуром глянул на Мазуревича Гаврила Матвеевич.

— Долго спал, Валдай.

— Печатка теперь — тю-тю...

— Чего бузит, чего ему опять... — испуганно зашептала Блошка, оглядываясь по сторонам.

Народ веселился, глядя на президиум, где разыгралось нечто смешное с виду, но одновременно жуткое по своим последствиям, поскольку было связано с появлением чужих, которые так небрежно обращаются с самым главным человеком на селе. Панический вопрос Блошки «что будет?» вскоре стал доходить до осознания других. И становилось понятным, что будет то, что прикажут эти городские начальники с солдатами за спиной. Раз с силой приехали — то и вправду начался переворот, скинут Матвеевич. А с землёй что будет?.. А с ними?..

Мазуревич взбешённым взглядом смерил Валдаева, но не прошиб. В спокойной уверенности за себя тот разбирал фамилии в списке и недоуменно морщился. Передёрнув плечом, отбросил Бобкова, попытавшегося забрать список, и тот теперь беспомощно шерился, как собачонка на быка. Но больше всего бесил Мазуревича секретарь райкома. Обижаться вздумал, стервец. А может, контра? Сговориться успел? Он же ночевал у него! Ну что же, он ещё получит заслуженное, мстительно решил Мазуревич и встряхнулся. Пора приободрить нищету. Им только дай в руки чужое — догола оберут. И были ещё красноармейцы — румяные парни, готовые с винтовками в руках встать на защиту революции. И они уже вставали. Привлечённые острым спором, просачивались в зал и выстраивались вдоль стены, чем явно смущали мужиков и придавали уверенности Мазуревичу.

— Это про какое свержение советской власти ты говоришь? — ледяным тоном заговорил он. — Провокация!

— Прекрати! — предостерегающе прошептал Свиридов.

— Что-о?! — вскинулся Мазуревич.

— Вот эти бумажки, — встрял между ними Гаврила Матвеевич, — сельсовет должен написать, а сход проголосует. Тогда и будет по-советски. А как же! Чтоб обиды не наделать. А так ведь что получается?

Ни Мазуревич, ни тем более Свиридов не могли позволить себе принародного выяснения отношений.

— Собрание срываешь! — прошипел Мазуревич, гневно взблескивая глазками.

— Это разве собрание — полторы бабы на скамейку?.. Мы соберём тебе столько, что на стенках висеть будут, — с гордостью обещал Гаврила Матвеевич и смотрел на взбешённого контролёра с таким обезоруживающим простодушием, что тот не мог позволить так и рвущегося с уст крепкого мата. К тому же произошло непредвиденное: звякнул колокол на церкви раз, другой, а потом набрал силу и загудел ритмичным, тревожным набатом.

— Что такое? — вскинулся Мазуревич.

— Сход так собираем, — ответил Гаврила Матвеевич.

— Кто разрешил?

— Я.

— ?!

— Чего? — прикидывался простачком Гаврила Матвеевич.

— Зачем сход?

— А списки утвердить. Тут не по совести. Гляди-ка... Хрящ с Блошкой на чужие мешки зарятся, а свой хлеб не сеют.

— Немошный я, — выкрикнул Хрящ с подскоком, словно укушенный, и в зале раздались смешки.

— У шабров скупает зерно и изводит на самогон, — продолжал Гаврила Матвеевич. — Он и есть у нас мироед, его надо потрясти.

— Пра-а-вильна...

— Чего правильно? Кто докажет? — подскочила и завизжала Блошка. — Ты, что ли? Или ты? А сам чего делал? Ага! Не знаем, думаешь?

Блошка крутилась во все стороны и каждому успевала высыпать по вороху обидных угроз в промежутках между ударов колокола: бум... бум...

В зал повалил народ, и набилось его столько, что президиум оказался в такой людской гуще, что нельзя уже было шушукаться. Митька Бобков под недоумёнными взглядами односельчан и насмешливыми окриками — «А Дыреха чего там?» — тихо-тихо сполз со скамьи и примостился под стенкой с выражением побитого пса: мол, знаю своё место.

Его собачья покорность поразила Мазуревича, и он заметно притих, загнанно притаился, ушёл в мир своих комбинаций так, что не услышал, когда ему предоставили слово, и Свиридову пришлось окликнуть его:

— Лев Борисович, прошу.

Разговоров в тот день было много. И криков. И слёз. И рубаху порвал на себе Цициров, чтоб уж сразу прибили его тут, чем так вот, каждодневно, корить мельницей и драть по три шкуры. Гаврила Матвеевич не торопился, дал прокричать каждому свой протест, а потом все-таки свернул общий настрой на то, чтобы дать хлеб.

Хорошо помог Свиридов. Он рассказал о положении в стране, ненароком вспомнил, как стоящим здесь красноармейцам пришлось вчера в Екатериновке арестовать мужиков, отказавшихся помочь хлебом, назвал фамилии и приметы дворов. Люди эти и приметы были известны многим — село-то соседнее, — и все поняли, что их ждёт... Присмирели, послушались своего председателя, дали хлеб.

Когда к вечеру проводили в Драбаган Свиридова и Мазуревича с военными, Гаврила Матвеевич пошёл к дружку своему Иустину догуливать крестины и, слив в себя стопку самогона, расслабляясь от растекавшегося по жилам тепла, завёл речь о том, чтобы скорей организовать их кооперативный колхоз.

— Надо, мужики! Вместе мы — сила, а врозь — хоть брось. Забогатеем, так нам эти налоги — тьфу. Да мы в пять раз более дадим, чтоб нам скорей плужки-бороны делали. А если трактора будут, как обещают, так мы ещё больше отвалим.

* * *

Колхоз они собрали к весне, а через месяц пришло распоряжение считать его кулацким, и потому недействительным. Гаврила Матвеевич с присланной бумагой тотчас поехал в райком, но там вместо дружка незабвенного Андрея Мироновича Свиридова сидел уже первым Мазуревич. Встретил его враждебно, обозвал правым оппортунистом и пригрозил арестом, если он будет продолжать линию саботажа распоряжений райкома.

Пришлось ехать в область, но и там не нашёл поддержки. Как сговорясь, твердили ему все о правом уклоне, о необходимости наступления на кулака, о коллективизации беднейшей части населения — сельского пролетариата, а потому его доводы встречались в штыки. И если не сразу отменялись, как несоответствующие текущему моменту, то отвергались с уклончивыми намёками на обстоятельства, которые выше прав этих людей.

После разговора со Свиридовым Гаврила Матвеевич понимал, какие это обстоятельства, спорил и доказывал, что их колхоз тоже даст «обстоятельства» и покажет всем маловерам, как надо хозяйствовать, чтоб мужик богател и держава крепла, но никак не мог уразуметь, почему после прекрасных рассказов на самом верху ему поставили вопрос:

— Так вы все будете кулаки?

— Вот блин на закуску — опять кулаки! — возмутился он. — Не кулаки станем, а богачи. Вам ведь нужны мужички богатые, чтоб налоги брать. С голого зипуна не стащишь.

— Вот и ответ вам, товарищ орденосец. Еще Владимир Ильич Ленин говорил, что единоличник как мелкотоварный производитель выделяет из своей среды капиталистов постоянно и непрерывно.

— Так он про единоличников говорил, а у нас-то кооперативный колхоз. Одни хлеб да корма станут выращивать, другие бычков откармливать, третьи — птицей займутся... Каждый сам по себе хозяин, а вместе — колхоз. А хозяйство и кооператив — две силы в руке.

— В чьей руке?

— В нашей.

— А если в чужие руки попадут такие силы?

— В какие?

— Кулаков.

— Да как же... За что головы клали?

— Вот именно. Читайте Ленина, товарищ. Он точно определил: бедняки тянутся к социализму. А богачи как продавцы хлеба, мяса, — к буржуазии, к свободной торговле, то есть к привычному капитализму. Поэтому ваш кооперативный колхоз — не что иное, как кулацкое преобразование. Опасность справа, и мы не можем её разрешить.

Дальше продолжать разговор было бессмысленно, и он ушёл...

Ехать в Москву поостерёгся. Знал, там не посмотрят, что орденосец.

6. Раскулачка

Возвращался в Петровск с тяжёлым камнем на душе. Помнится, добирался с оказией через Драбаган. Перешёл вброд Сакмару. Помылся на перекате, растёрся портянкой до красноты и, подтянутый, как мотор, быстро пробежал черемушную низину, поднялся на взлобье к Колькиной ферме.

Уже первый взгляд на двор, где разгуливали бычки, которым самое время пастись по лесу, показал что-то неладное... Вошёл в дом и подхватил Василька, звонко кричавшего:

— Дедушка приехал! Дедушка... А у нас ферму отнимают!

— Ну, что ты придумываешь, — укоризненно покачала головой Леонтина и поднесла к Гавриле Матвеевичу радостно запрыгавшую у неё на руках Марийку, чтоб и та потеряла деда. И сама придвинулась поцеловаться.

Гаврила Матвеевич и её подгрёб с дитём, поцеловал обоих, а Марийку забрал на другую руку.

— Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, самые родные, — приговаривал, а сам всё выглядывал: неужто правда про ферму?.. Леонтина молчала, а Николай, поднявшись с лавки с каким-то шитьём, поздоровался и ждал, когда кончится кутерьма с детьми.

Пан Игнаций... Где он?.. А вот и ещё невидаль — кресла, в которых они спорили со сватом до воспевания петухов, стояли ободранные, открыв для обозрения свою мешочную исподню. И словно в насмешку над ожиданиями Гаврилы Матвеевича вновь опуститься в них для приятных разговоров в креслах лежали новенькие хомуты числом пять или шесть.

— Это правда?.. Насчёт фермы?..

— Описали.

— Описали — не отняли. Для подсчётов описывают, чтобы знать, сколько чего в государстве есть.

Николай помолчал. И глаз не поднял, свертывая сигарку. А свернув её, так и не закурил, вновь сел на табурет и, взяв в руки войлок, заправленную дратву в две большущие цыганские иглы, принялся обшивать хомут срезанной с кресел кожей.

В те годы в каждой избе что-нибудь сотворялось, сообразно умениям хозяина и деревенского разделения труда. Сам Гаврила Матвеевич подрабатывал валянием валенок. Хомуты в его доме никогда не делали. Он взял с кресла один и восхитился: до чего же легкий да ладный, хоть на себя надевай, и обернулся к сыну:

— Николай Гаврилович, да когда ты научился хомуты ладить?

— Нужда научит, — горько усмехнулся Николай. — В двадцать пятом восемнадцать рублей брали, в двадцать шестом — сорок. А потом пошло-поехало, каждый год в три, в пять раз больше. Если б я знал, что так будет, не затевал бы эту ферму.

— Погоди. Разберись вначале. В двадцать пятом тебе послабление было на бедность. Теперь ты окреп, лошадей купил, хозяйством обзавёлся, а потому побольше можешь отдавать государству. Ты подумай, с кого же нам, советской власти, брать деньги, если не с мужика? Налог — не кнут, а людей подгоняет.

— А если всё время гнать, то и загнать недолго, — сверкнул глазами встревоженный разговором Николай. — Опять навалили столько, что придётся телят продавать. Так, может, и вовсе не заниматься ими, а? И хомуты не шить. Спущу всё, к чёртовой матери, и буду бедовать, как Дырёха. Его не подгоняют налогами — бедняк.

— Как ты «пустишь», когда всё описали, — заметила Леонтина, выставив на стол тарелки с тушённой в молоке картошкой. — Они нарочно разоряют нас налогами, чтобы всё забрать. И землю отнимут.

— Это лишку тыхватила, Леночка. Землю!.. — возмутился на словах Гаврилы Матвеевич, а про себя-то охнул от появившейся вдруг ясности в голове. Вот она, правда! В словах невестки. Только не хотелось верить. И он принялся переубеждать молодых, говорил не столько для них, обиженно поджавших губы, сколько для себя: — Ты сама рассуди, за что воевал народ? За что в революцию встрял? За землю! Как подписали декрет о земле, так уже никакая интервенция помещикам не помогла. Головы клали за родимую. А если отнимут сейчас землю, то что же это будет? Обман. Искажение линии партии.

— Нэп тоже было искажением линии, но... исказили ведь, — сказала Леонтина, как заправский спорщик, не сводя глаз с тестя.

— Тактическое отступление. А с землей отступать некуда. Помещикам её не вернёшь, и в сундук не запрёшь.

— Ещё что-нибудь придумают... Кооперативный колхоз разрешили? — спросила она и усмехнулась, давая понять, что ответ знает и не ждёт его.

— Разрешат. В Москву поеду и добыюсь. К самому Сталину пробьюсь. Хотел сразу махнуть, да поистратился.

Леонтина вспомнила про обязанности хозяйки и принялась потчевать тестя, пододвигая тарелки.

— Да вы ешьте, наговоритесь ещё.

Однако поесть не пришлось — вziaляли собаки. Гаврила Матвеевич и Леонтина, сидевшие за столом, повернулись к окну и увидели взбегавшего во двор пана Игнация, сопровождаемого овчарками. Один рукав его расстёгнутого пиджака был порван, так что из прорехи вылезла жёлтая рубаха; непокрытая голова его лохматилась седеньким волосом, и весь он был возбуждён, растрепан, не похож на себя.

— Он поехал на велосипеде, — проговорила Леонтина и встревожено глянула на Гаврилу Матвеевича, на мужа; с предчувствием беды уставилась на дверь, в которой должен был появиться отец.

И он ввалился, еле держась на ногах; поддержанный метнувшейся к нему дочерью, плюхнулся на стул и потянул к себе кружку с молоком. Сделав глоток, другой, пробурчал, махнув рукой:

— Собирайтесь... Они раскулачат нас... Надо бежать...

Опять припал к кружке и, видя, что никто не торопится и как-то обалдело все смотрят на него, стукнул ею, недопитой, — глиняная кружка развалилась, и оставшееся в ней молоко побежало по столешнице на пол. Сдавленно прохрипел:

— Что вы стоите? Быстрее!

Не видя расторопности, он поднялся и показал разодранный карман на жилетке, в которой носил часы на цепочке:

— Вот... И велосипед... Сейчас сюда придут за остальным.

Из горницы прибежали привлеченные шумом дети — пан Игнаций подхватил Марийку и сунул ее Леонтине, приказав;

— Одевай в зимнее.

— Сват, не пори горячку. Аль не видишь меня? Здравствуй.

— Здравствуй... Я еле вырвался... Собаки спасли...

— Если б всерьёз, не вырвался бы. И никакие собаки тебя не спасли бы от мужиков. Давай-ка в разрядку, да по порядку. Что стряслось?

— Там всех... раскулачивают... Запрягай, Николай. А мы соберём вещи, — забегал по избе пан Игнаций и бросил на расстеленное одеяло, на котором играли дети, портки, рубахи, полушубки. Оглядываясь на Гаврилу Матвеевича, презрительно выговорил: — Как организовать хозяйство — не знают, а разорять созданное — все готовы. Бегом в социализм! Железной рукой к счастью!

— Да ты чего, сват...

— Чего ты стоишь? — прикрикнул на растерянно топтавшегося Николая. — В Сибирь захотел? Они в Сибирь ссылают!

Николай словно пробудился, осмысленно посмотрел на отца — мол, что скажешь? А он одёрнул его взглядом: не паникуй! Взяв свата за тощие плечи, оторвал его от узла, повернул к себе и, с пристальным спокойствием глядя в глаза, сказал с командирской твердостью:

— Ну, вот что! На всякую беду страха не напасёшься. Промеж сохи и бороны не схоронишься. Так что бежать вам никуда не надо. Понял меня?

— Боже мой, Леонтина, он наивный романтик, — вытаращил изумлённые глаза пан Игнаций.

Не поняв слов, а только почувствовав в них что-то для себя обидное, Гаврила Матвеевич нахмурился и решительно рубанул:

— Велосипед и часы — вернут!

— Не надо.

— И ферму не отымут, не боись.

— Не надо, — твердил пан Игнаций и вдруг повалился к ногам Гаврилы Матвеевича и взмолился: — Миленький, пожалей внучат своих, отпусти нас, не мешай. Не спасёшь ты нас, помешаешь. Ехать нам надо скорей. На стройку куда-нибудь... Затеряемся. А ферма им пусть....

— Что ты, сват... Разве я худа хочу, — отшатнулся Гаврила Матвеевич. — Я ведь помочь...

— Тогда запрягай лошадей, — поднялся пан Игнаций и накинудся на зятя, продолжавшего стоять столбом. — Чего ты, чего стоишь? Собирай инструмент... Деньги... Где деньги?

— А я же... это... Кредит погашал, и налог..

Гаврила Матвеевич не дослушал, что у них там с деньгами. Ошарашенный вышел из избы, туго соображая, что произошло, почему он поддался этому паникеру? Ведь знал, что сват путает всё, трусит, а он ему потакает. И вот что удивительное заметил в себе — осуждая на словах свата, он тем не менее торопился запрячь лошадей. Неужто согласен с ним?

Запряг в фургон пару лошадей и подал повозку к крыльцу. Тут же из дверей выкатился узел, а за ним вышли пан Игнаций с вещами, Леонтина с детьми и Николай с ружьем на шее, нагруженный свертками и сундучками.

Николай и пан Игнаций ещё раз сбегали в избу и принесли постель, одежду; Гаврила Матвеевич оттащил воротца и увидел — поздно: по лесной дороге, запирая её, к ферме резво ехали, стоя на телегах, мужики и парни. Увидев груженный фургон, они засвистели, поддали лошадям кнута и влетели во двор со свистом и гиканьем, посыпались с телег, окружая беглецов.

— В самый раз зацапали! — крутил головой торжествующий Митька Бобков. Спрыгнув с телеги, он попёр на Николая, стараясь сорвать с шеи ружье. — Отдай ружье! Отдай, живоглот, кулацкая морда!

— Не трожь! — отталкивал его Николай.

Пастушеские овчарки, до этого момента ворчливо похаживающие среди людей, увидев, что хозяин в беде, с грозным рычанием бросились к нему на помощь. Кто-то завизжал. Ревом зашлись дети. И вдруг — выстрел, второй. И третий, прервавший предсмертный скулёж.

— Кто стрелял? — рванулся в толпу Гаврила Матвеевич. Увидев перед трупами собак молоденького милиционера с наганом, слету смазал его по морде, а другой рукой вырвал наган, забрав:

— Ты что делаешь, сопляк! Ты с кем воюешь!

— А ты кто такой?! Отдай наган!

— Председатель сельсовета наш, — шепнули милиционеру.

— А мне хоть кто. Он ударил меня. Отдай оружие!

— Сопроотивление властям, — кричал Бобков. — Кулака защищаешь!

— Чать отец он, — выкрикнул женский голос.

— Тоже наживается с фермы, — слышалось с другой стороны. — Пьют нашу кровушку.

— Это чью кровь я пью? Твою? Или твою? — поворачивался Гаврила Матвеевич, заглядывая в глаза. Только попусту. Перед ним была молодёжь из той поросли, которая не знала, как он махал шашкой, отвоёвывая им свободу, зато понимала сейчас, что он мешает забрать имущество, а потому, умерив азарт, парни и молодые мужики выжидающе молчали, поглядывая исподлобья.

— Отдай наган, хуже будет!

Милиционера он не слышал, стараясь докричаться до людей:

— Я кровь свою проливал за вас. Вот она, отметина, — наклонил он голову, чтобы увидели шрам. — И расстреливали меня дважды за народную власть. И сына искалечили басмачи. Вы же прозвали его хрым. Забыли — из-за чего он колдыбается? Да вы, что же делаете, люди? Разве же не видели, как они из дерьма эту ферму подняли. Своими руками...

— Отдай наган!

— Своими руками не наработаешь столько добра, — выкрикнул Бобков. — А за сопротивление Советской власти поплатишься, Гаврила.

— А я кто вам?

— Подкулачник.

— Да чего с ним говорить?

— Наган у него.

— Ой, батюшки, что будет..

— Ти-ха! — оборвал выкрики Гаврила Матвеевич.

В образовавшейся тишине послышался дрожащий от волнения голос комсомольского вожака Петьки Теркунькова:

— Гаврила Матвеевич, нас Марысев послал. Решение зачитал, кому кого раскулачивать. Ещё из района начальник, который с ним приехал, — кивнул он на милиционера, — инструктаж проводил, чтоб не жалели классовых врагов.

— Мы опять враги, — вздохнул пан Игнатий. Сидя на последней ступеньке крыльца, погрузив во всклокоченные волосы свои длинные пальцы, он смотрел себе под ноги и тихо покачивался туда-сюда.

Николай топтался у стены дома и затравленно озирался, придерживая ружье. Этот ещё может бед натворить, подумал Гаврила Матвеевич и, подойдя к нему, забрал оружие.

— Ждите меня здесь, я сейчас вернусь, — пообещал он и кивнул милиционеру: — Поедем в сельсовет.

Обернулся к Леонтине — она с детьми сидела в фургоне на узлах. Василек трясся в её подоле, а заплаканная Марийка прикоснулась головкой к лицу матери, и обе смотрели на окружавших людей широко открытыми изумленными глазами со скорбью и терпением во взорах.

— Они не тронут вас, — сказал Гаврила Матвеевич невестке и, отыскав взглядом Петьку Теркунькова, распорядился: — А ты здесь — за старшего. И чтоб до моего возвращения волос не упал. Нашли кого раскулачивать!

Он завернул чью-то лошадь, запрыгнул на телегу и погнал в Петровск. В ту же телегу, догнав, запрыгнул милиционер.

— От-д-дай наг-ган, — кляцкал зубами от тряски милиционер.

Гаврила Матвеевич оглядел его, трясущегося на днище телеги, и кинул ему наган и ружье, чтоб не мешали править лошастью; гнал ее, шлепая вожжами по крупу и устрашая голосом:

— Но-но! Н-но, скотина!

— От-тве-тишь, за соп-про-тив-вле-ние влас-тям, — грозил милиционер. — Не цар-ские в-вре-мена, чт-тоб б-бить нар-род.

Тут промашка вышла, соглашался Гаврила Матвеевич. И как зацепил его? Марысев не упустит такой случай. Ох, этот Марысев... Мазуревич в тот зимний приезд привёз его для пролетарского надзора.

Двадцатипятидесятилетник вначале помалкивал больше, привыкал. О себе говорил, что рабочим был на маслобойне, а народ помнил — и приказчиком. Гаврила Матвеевич не поднимал этот вопрос: мало ли кто кем был. Важно — кем стал. Глаза его смущали: стоялые какие-то. Смотрит и не моргнет, даже бровью не поведёт. Избрали его секретарем партячейки, но когда на собрании попросили рассказать про жизнь — обиделся; скинул пиджачишко, сбросил рубашку и выставил напоказ шрамы:

— Вот моя биография! Тут пуля немецкая, здесь осколок из-под Царицына.

— А дырка на спине? Бегал, что ль, от кого? — поинтересовался Яков Торец, которого сменял Марысев, и ухмыльнулся беспечно. Дорого он заплатил потом за этот вопрос.

— А на спине — потому что кулачье в спину стреляло, когда брали хлеб для голодающего Питера.

Биография понравилась. То, что в приказчиках был, тоже устраивало всех: порядок наведёт в бумагах. А то смещённый ими Яков Торец, кавалерист и лихой рубака, всё больше митинговал, призывая разгромить мировой капитал, и запустил переписку. Марысев же с утра до ночи горбился за столом, скрипя пером; что-то пересчитывал, бойко гоня туда-сюда костяшки деревянных счетов. Но вот дружбы у них с Марысевым не получилось. Сталкивались по разным случаям, а когда пришло время создавать колхоз — тут уже в открытую завраждовали. И только сейчас, погоняя лошадь, Гаврила Матвеевич понял, что его поездка в область оказалась на руку Марысеву. Ну, ничего, сейчас поговорим, подбадривал он себя, торопясь в село.

* * *

Выкатились на главную улицу. Ещё издали Гаврила Матвеевич увидел и нутром понял, что опоздал. Всё пространство перед церковью, между базарными рядами, с одной стороны, и сельсоветом, располагавшимся в двухэтажном кирпичном доме — с другой, было заполнено людьми. Сначала его удивила только людская толкотня. Казалось, все петровские, как на пасху, высыпали из домов на улицу и собрались с лошадьми и телегами перед сельсоветом. Но, подъезжая ближе, он услышал необычный гул, похожий на похоронный плач, и всё увидел по-другому..

На площади стояла готовая к отъезду колонна повозок с раскулаченными. Охранники — молоденькие красноармейцы с винтовками и несколько милиционеров — держали толпу, не давая ей приблизиться, и их выкрики тут и там прорезали гул прощавшихся людей грозными приказами:

— Не подходь! Не положено!

— А ну, сдай назад!

Народ не понимал, как это не положено прощаться. Он вообще не понимал, что происходит, почему они должны прощаться, по чьей воле, по какому указу обязаны бросать родной дом родные им люди, куда-то ехать под конвоем, как преступники. За какую вину? За чей проступок? И народ роптал... Плакал... Матюкался... Молился...

— ...Вот они, коммунисты, и показали себя...

— ...а Настехе два фунта шерсти отвесь, я брала у ней.

— О чём ты, сестрёнка...

— А большевики тебе лучше были?! Говорил, не лезь к ним...

— Большевики землю дали. Нэпу объявили. А эти всё наизнанку пови-
вернули, суки.

— Но-но, не сучи, кулачья морда.

— Видал! Каких кобелей вырастили. Не то ещё будет.

— ...А Моте Савиной прялку. Ейную забрали у нас сейчас.

— Может, отпустят. Куда вас с пискунами?..

— Эх, бабы... отпустят, жди. У них сказано: уничтожить как класс. Всех
под корень срежут.

— Танюшку дай. Вырастим племяшку.

— Отдай дочку, Мариша. Куда ты с ней?

— Ой, да как же...

— Не положено! Сдай назад.

— Чего не положено? Родня они. Сестры. Всегда сироты родне переходят.

— Не положено!

— Тиранисты! Разве пожалеют дите! Друг друга скоро жрать начнут, по-
мяните мои слова, ибо сказано: что посеешь, то и пожнёшь. Сеют зло — и
пожнут зло

Говорил старик Копытов — лучший пшеничник на всю округу. В самый
плохой год у него полны закрома. С двумя зятьями вышел на хутор, имел
трех коров, двух лошадей с жеребенком, пару быков, а ещё сорок ульев. Он
ставил их на рыдван и по ночам перевозил с места на место к мёдосбору. С
этого мёда и пшенички особых сортов Копытовы заимели конную моло-
тилку, которой пользовались соседи за плату зерном, и она-то — эта моло-
тилка — послужила Марысеvu поводом записать его в кулаки, несмотря на
все старания Гаврилы Матвеевича отстоять старика. Крепко ругался, дока-
зывая, что если не эксплуатирует батраков, то не кулак. Марысев же тыкал
ему какие-то книжки и говорил, что молотилка — овеществлённый труд,
может, сотен пролетариев, на котором Копытов наживается каждую осень.

На другой подводе сидели Мордюковы, задумавшие по примеру Ни-
колая держать свиней; дальше — Лузгины, державшие самый большой
пай в артельной маслобойке; за Лузгиными — Тарасовы, Бойщиковы,
Маслаковы... Вытягивая шею, Гаврила Матвеевич старался разглядеть
— кто там дальше.

Сквозь гул голосов, плач и стоны до него доносились призывные, тре-
бующие особого участия, слова — «сват», «крестный», «братуха»... Они
могли быть обращены и к нему — на каждой повозке, считай, сидели те, с
которыми прожита жизнь. И те, кого он принимал в эту жизнь, крестил,
женил, играя на свадьбах и напутствуя на счастье, с кем работал плечом к
плечу на косьбе, на общественных делах, и потому он, стоя на телеге, пе-
ремогая этот обрушившийся на него гул, крутил головой, не зная, к кому
первому кинуться на зов. Спрыгнул с телеги и через расступившуюся тол-
пу пошел к колонне.

— Кум! Гаврила Матвеевич! — окликнул его Егор Пасюта, слезая с повозки.

— Сидеть! — приказал милиционер, и растерявшийся Егор полез на те-
легу, с которой слез, и просительно глядел на Гаврилу Матвеевича, словно
боясь, что он пройдет мимо.

Гаврила Матвеевич охнул, поразившись: а этого-то за что? Одна лошадь,
сбруя веревочная. Неужто за Дарью? Взятая из города, его жена Дарья про-
славилась в Петровском выпечкой лепешек и разной слобой к чаю, не усту-
павшей трактирной. Деревенские бабы часто просили её напечь чайное к
сладким столам и так надоели Егору своей толкотней, что он прорубил в

стенке стряпной дыру, как в лавке, чтоб все расчеты производились не заходя в избу. С этой лавочной дырой Дарья стала печь сдобу не только по заказу, но и так просто, для всех, кому вздумается к вечерку полакомиться вкусеньким. И вот допеклась... Ах ты, Боже мой! Что делать-то, вразуми. Встал, и слов нет. Язык отнялся.

— Матвейч, как же это, а? Из-за плюшек, будь они прокляты. Она все! — размахнулся и кулаком смазал ревеющую рядом жену, отчего та ещё пуще зашлась. — Говорил, не пеки.

— Про-о-сят ча-ать...

— Матвейч, тулуп хоть отдайте. Ребятишек накрыть, пока землянку там вырою.

— Могилу там выроешь, — бурчал с другой повозки Корнев.

— Не пугай, дед. Сибирь бо-ольшая, а хозяин — медведь, — лихо крутил головой его внук Серёжка, сочинитель частушек и гармонист. Подмигнул стоявшим перед их телегой девчонкам: — Кто со мной, декабристочки? Садись, пока место есть. Проезд бесплатный, харчи казенные. Поедем — поглядим, не понравится — сбежим.

— Пуля догонит, — смеялся охранявший их телегу красноармеец, стараясь понравиться хлюпавшим девчонкам — что тоже заметил Гаврила Матвеевич, поразившись, как все соединяется в одном человеке. Ведь, кажись, должен понимать, к какому делу приставлен, что творит, а он даже думать не хочет, скалит зубы.

Кивнув Пасюте раз и другой, что значило — мол, понял и сделаю всё, что в силах, он двинулся через толпу, раздвигая народ, как подсолнухи, к тому месту, где высился над головами черный и незрячий лик Екатерины Филипповны, матери его закадычного с мальчишеских лет дружка Иустина Губачева, увидел и его самого.

Иустин был связан по рукам, завёрнутым за спину, сидел на телеге, свесив голову к поднятым на бортах коленям, и по пьяному бормотал проклятья и матерщину. Рубаха его была разодрана так, что через образовавшуюся прореху виднелась могучая волосатая грудь, на ней вздымался и опал медный крест с изображением распятого Христа и с памятной Гавриле Матвеевичу вмятиной от пули. По бокам Иустина сидели его сыновья — бородачи Лёшка и Матвей, тоже в разодранных рубахах, со ссадинами на лице и на связанных руках. По другую сторону телеги располагались их жёны с грудниками на руках, а между спин родителей и бабкой с иконой на коленях теснилась ребятня постарше, выглядывая на окружавших их людей испуганными глазенками. Не зная, что произошло, они всё же, увидел Гаврила Матвеевич, поняли, что случилось с ними что-то похожее на смерть. И это их понимание видели все стоящие в толпе, а потому плакали, прощаясь, как с живыми упокойниками, расставаясь навсегда.

— Иустин!

— Не подходить! Стой там и говори, — оттолкнул Гаврилу Матвеевича усатый милиционер и тут только увидел орден на его комсоставской гимнастерке. Смутившись, добавил: — Не положено, товарищ орденосец.

Гаврила Матвеевич опешил: как это — не подходить? К Иустину-то! Оглянулся, ища поддержки у людей, а они все стояли такие же растерянные, обескураженные. Мужики прятали глаза от стыда за свое бессилие, бабы, наоборот, смотрели во все глаза, вбирая в себя дорогие черты, и плакали кто в голос и с причитаниями, а кто уже беззвучно, только роняя слезы или подбирая их мокрыми концами платков.

— Проводить пришел, — расхохотался Иустин, подняв голову, и в глазах его сверкнула насмешливая ненависть. — А сынка своего спрятал от раскулачки. Нами прикрывся.

— Ты что, Иустин? — дёрнулся Гаврила Матвеевич, как от удара, а сам понял: поделом. Он лично, обрадованный успехами Николая, подбил Иустина организовать с сыновьями бондарную артель. Бочки, шайки в каждом доме нужны, сбыт обеспечен. Делали еще сани, салазки, гнули дуги. Забогатели. А вот теперь расплата за богатство. Только как же это можно? Ведь хвалили их, кредиты давали. Вспомнил он Леонтину. Как у них там? Спасать надо, спасти их всех...

— Иустин! — гаркнул на него Гаврила Матвеевич так, что шум притих, и дальние поворачивали к ним головы, передавая из уст в уста: «Гаврила приехал. Гаврила...».

— Чего — Иустин?! Был Иустин, да весь вышел. Извели нас большевики. Под корень вдарили. Но попомните наши слёзы, отольются они вам. Не может быть того, чтоб не отлилось. Бог всё видит. Думаешь, церковь закрыли — так нет его?

— Прекратить кулацкую пропаганду, — оборвал его усатый милиционер, хватаясь за кобуру.

— Стрелять будешь?! — уставился на него Иустин, поводя плечами. — На, стреляй!.. Сюда палили беяки. С ним стояли на яру насмерть, — кивнул на онемевшего Гаврилу Матвеевича. — Ему за тот яр орден дали, а мне — осколок в рёбра. Теперь пулю давай за то, что жизни за вас, сволочей, не жалел.

— Не сволочи. Не один ты воевал. И неизвестно, за что.

— Это точно — не знали, — в бессильной ярости крутил головой Иустин, и было в глазах его столько обиды и тоски, что Гаврила Матвеевич, ничего больше не соображая, как пьяный подался к нему, обнял, стиснул и затрясся от рванувшихся из нутра рыданий.

Они плакали. Собравшийся вокруг них народ роптал, усиливая гул недовольства; от других повозок хлынули люди посмотреть, как плачут вожаки.

— Отхлынь! — крикнул усатый и, видя, что солдатики, не в силах сдерживать напор толпы, пятятся к телегам, выхватил наган и выстрелил. — Стрелять буду, только шагни!

— Ой, батюшки!

— Всех не перестреляешь.

— Мне крикунов хватит!

Из окна сельсовета выглянули командиры и один из них показал жестом усатому милиционеру, чтобы взял того, который обнимает раскулаченного, и привёл наверх. Понимающе кивнув, милиционер постучал стволом нагана по спине Гаврилы Матвеевича:

— Ну-ка, пойдём, дядя. Зовут наверх.

— Прости, Иустин. Не углядел я вперёд... Плохим командиром для вас был...

— Прости, Гаврила.

Сидевшая за спиной Иустина мать, слепая и чёрная лицом, протянув руку, нащупала их головы, потеревила волосы, как в детстве, одному и другому, а потом перекрестила их. Гаврила Матвеевич оторвался от Иустина, поцеловал Лёшку и Матвея и зашагал к сельсовету. Сопровождавший его милиционер ещё не знал, как обращаться с орденосцем в комсоставской гимнастерке и галифе, но на всякий случай не прятал в кобуру наган.

Проходили мимо повозки, на которой сидел мельник Цицеров с молоденькой беременной женой. Увидев Валдаева, сопровождаемого милиционером с наганом в руке, Цицеров торжествующе осклабился и крикнул ему вслед:

— Завоевал советскую власть! Всех пересажаят, дурачьё. Начали с мельницы, а дойдут до курицы, чтобы убить в вас микробу частного капитала...

И расхохотался, довольный.

— Папа, — догнала и вцепилась в его руку Галинка. Глаза мятущиеся, заплаканные. Хлюпая, еле выговорила. — Это как же?..

— Тимофей где?

— В колхозе. Записались мы. На общем дворе добро принимает, — сказала стыдливый шепотом и скосила глаза на подводы с раскулаченными.

Он глянул на неё с укоризной: какое это «добро».

— Шагай, шагай, — поторопил милиционер.

Только сейчас Гаврила Матвеевич увидел, что идёт под конвоем. Это он-то... Кровь ударила в голову.

— А ну пошёл отсюда к... — заматерился он так, что Галинку унесло в толпу, а милиционер распушил усы, ощерясь:

— Не больно-то пугай, начальник. Ещё не знай, куда сам пойдёшь.

Развернувшись, Гаврила Матвеевич зашагал к крыльцу, наполняясь решимостью показать им там... советскую власть!.. Вздумали хребты ломать. Не позволю! Что надо?.. Прогнать из села милицию и войска, а раскулачивание провести самим, решив на сходе, кто того заслуживает. Оно и это не по-людски, — поморщился он, представив, как будет говорить тому же Цицерову, что он не может оставаться в Петровском. Отними мельницу — да и всё. Пусть живет как может, не пропадет. В общем, надо отстоять мужиков! Отбить! А там докажем своё. Сам поеду к Калинин. До ЦК дойду!

Утвердившись в таком своём решении, он взошёл на крыльцо сельсовета, напоминавшего сейчас полковой штаб многолюдьем и суетой: подъезжали и уезжали конники, кто-то кричал по телефону, отыскивая Дворкина — должно быть, начальника станции, туда-сюда шныряли люди. Свои и чужие, ликом разные, а всё равно как на одно лицо. Эту похожесть придавала их возбуждённая деловитость, а ещё азарт, как при игре на большой выигрыш. Такие лица он уже видел у парней, тащивших Колькино добро. Здесь народ был постарше, но тоже встретил его с выжидающей настороженностью, стараясь определить, с ними он или против пойдёт из-за сына.

— Мужики, чего творите? Головы есть? Или тыквы под шапкой?

Осклабившись в ухмылке, молчали. Ну-ну, мол, дуй дальше, поглядим, какой герой.

— А ты другой приказ привёз? — спросил Иван Якимов и шагнул к нему, громыхнув деревяшкой вместо ноги.

— Как-кой приказ? Нет приказа раскулачивать простых крестьян. Кулак тот, у кого работники, батраки. А вы забрали кого?

— По списку, — смутился Иван и оглянулся, ища поддержки.

Бег по коридору прекратился, и вокруг них стал собираться народ. Кто-то вытащил кисет и зашуршал бумажкой, сворачивая козью ножку. В глазах ещё держалась ухмылка: мол, знаем, чего шумишь.

— А читать не умеешь, кто там — в списке? — прицепился к Якимову Гаврила Матвеевич. — Кто составлял список?

— Марысев.

— А ты где был?

— А я — что?..

— А то, — развёл руками в беспомощном отчаянии Гаврила Матвеевич и шлёпнул ими по бокам. — Иван, тебя ж как умного для со-ве-та выбирали в сельсовет. Что ж ты не советовал по-умному?

— А думаешь, спрашивали?

— А ты чего ждал?.. Не спросил его, кто там и за что? Может, самого записали.

— За что?

— За деревянную ногу, — подсказал кто-то, смеясь. — Каждый год по сапогу бережешь.

— Другой раз запишут, — поддержали шутку.

— Кто «за» голосовал? — допытывался Гаврила Матвеевич.

— Так это... Не голосовали вовсе, — разволновался Иван. — Утром задание дали и солдат в подмогу. Ну и пошли по дворам

— Тогда незаконно. Без голосования — произвол! Отменяется раскулачка. Освобождай шабров!

Мужики тяжело заворочались, озадаченно переглядываясь, озираясь на дверь. И она, ведущая в комнату председателя сельсовета, где собрались сейчас возглавлявшие раскулачивание начальники, словно от их взглядов стала открываться со скрипом в установившейся тишине.

— Это что за митинг? — послышался резкий, угрожающий голос. — Кто разрешил? Провокация?! Взять!

— Это кого ты будешь брать?! — повысил голос Гаврила Матвеевич и вытянул шею, стараясь увидеть за спинами мужиков говорившего. Мужики раздвинулись, и он увидел обидчика — Мазуревич.

— Кто такой?..

— Председатель сельсовета.

— Который с кулаками целуется...

— Целуется с красными партизанами, — громко, заполняя весь дом голосом, ответил Гаврила Матвеевич. Вошёл в кабинет и загрёб рукой, призывая: — Заходи, мужики. Разберёмся.

— Не так громко, партизан. Чего раскипятился? Опоздал, да ещё шумишь...

Так встретил его с улыбкой председатель районного исполкома Вершной, рыхлый молодой мужчина. Он крутил в руках Колькино ружье. Рядом с ним стоял милиционер, которого Гаврила Матвеевич так неожиданно ударил по лицу.

На деревянном диванчике у окна сидел районный военком Лозовой. За председательским столом разместился Марысев, положив руку на счёты. Подбивают итоги раскулачки, понял Гаврила Матвеевич по бумажкам на столе и в руках обступавших его активистов. Выражение азарта на их лицах сменилось на досаду от возникшей помехи.

— Ну и ну... — заговорил с лёгким укором Вершной. — Это что же получается... Партизан, председатель сельсовета...

— Бывший! — прервал Вершного Мазуревич и, уловив удивление на лицах заполняющих комнату мужчин, жёстко пояснил: — Уверен, наш народ не захочет иметь председателем держиморду. А он только что милиционера по лицу — кулаком! Разоружил его. Подкулачник...

— Сына защищает, — подсказал Марысев, как плеснул керосина в огонь. — Он у него кулак: три лошади и сорок голов скота.

— Кого пожалели?! — стыдил Мазуревич. — А они вас жалеют, когда задарма скупают телят? Они тыщи наживают! Покупают себе велосипеды да граммофоны, чтоб поплясать, пока вы пухнете с голоду.

Гаврила Матвеевич открыл рот, не зная, кому ответить. И возразить надо, и...

— Вот почему митинг устроил! Малосознательных подстегнуть...

— Чего собрались?! Дел нет? — Марысев сорвался с места и пошёл на мужиков, тесня из комнаты. — А скот согнали?.. А зерно?.. Пасюта, тебе что сказано? Баврико, Хомяков, вы-то чего тут? Все по местам. Пошли, пошли, пошли! Без вас разберёмся.

— Стой, мужики! — воспротивился Гаврила Матвеевич. — Он уже разобрался без вас: полсела в кулаки записал. Ишь как заговорил!.. — И обернулся к Мазуревичу: — А ты разберись, секретарь. По морде съездил — так он собак пострелял. А наган отнял, чтоб не натворил беды. Сам-то знаешь, кого тебе в список для раскулачки вписали? С народом поговорил? Да он тут такое...

— Список составлен, как губком велел! — кричал Марысев. — И рассмотрен на ячейке.

— Не видел. И не знал, — отбивался от недовольно загудевших мужиков Иван Якимов.

— Тихо, тихо, — пытался навести порядок Вершной. Он потрясал ружьём, но тут никто никого не слушал, все старались перекричать друг друга.

— Махотин, отправляй! — приказал военком усатому милиционеру, кивнув на окно.

— Не все ещё...

— От-прав-ляй! — процедил военком сквозь стиснутые зубы, грозно сверкнув глазами.

И Махотин, боязливо обойдя Гаврилу Матвеевича и бушевавших с ним мужиков, скользнул за дверь.

Мазуревич, выдержав обрушившийся шквал криков, поднял руку, требуя тишины, и обратился к молоденькому милиционеру:

— Собаками травили?

— Ну да, — закивал тот. — А потом он наган вырвал, а у сына его — ружьё.

— Незаряженное, — заметил Вершной, переломив ружьё и заглядывая в пустые стволы.

— А так ты видишь это?.. — выхватил у него ружьё Мазуревич, сомкнул и наставил стволы на Вершного, потом на оттесненных к двери мужиков. — А ты? Ты?

Мужики смущённо топтались, не зная, кому тут верить. Ведь и правда, сомлеешь под ружьём.

— Сбежать хотел с награбленным, — торжествующе хохотнул Марысев и накинулся на Ивана Якимова. — А ты уши развесил, пожалел бедненьких.

— Да-к я ить... это...

— Тогда пошли, пошли. Нечего тут митинговать.

— Стой, мужики. Разберёмся, — удерживал их Гаврила Матвеевич.

— Разобрались уже. Эсер он, — мстительно заметил Марысев.

— Как... эсер? — наигранно удивился Мазуревич. — Говорили, партиец.

Он протянул руку — жест, который можно было понять как требование показать партбилет. Под его пристальным немигающим взглядом Гаврила Матвеевич расстегнул карман гимнастерки, достал аккуратно завернутую в клеёнку книжечку, подал Мазуревичу. Тот сбросил на пол клеёнку, как ненужную шелуху, и когда Гаврила Матвеевич подхватил её на лету — усмехнулся. По этой усмешке понял Гаврила Матвеевич, что не надо было отдавать партбилет.

— С какого года в партии?

— С девятьсот третьего.

— Тут написано — с двадцатого...

— В большевиках, а в партии революционеров с девятьсот третьего.

— Теперь понятно всё, — многозначительно посмотрел Мазуревич на Вершного.

— Что тебе «по-нят-но»? — передразнил Гаврила Матвеевич, поняв, что всё же сорвался, понесло его и удержать он себя не сможет. Пришло шальное — и пусть! Теперь уж пан или пропал. Ведь без Кольки и Иустина ему больше не жить, а тут ещё оставалась надежда нахрапом взять, и он сверкнул на Мазуревича яростным взглядом: — Ну, эсер!.. Других тут у нас не было. Народники да эсеры. Кадеты потом. И все боролись с царем за свободу, за светлое будущее. А ты нам вон какую свободу приготовил, — ткнул он пальцем в окно, за которым усилился гул. — Только не выйдет у тебя ничего. Слышишь! Только сдвинь телеги — сейчас же в Москву поеду!

— Это каких «других» у вас не было?!

— До Сталина дойду. Он вспо-ом-нит меня.

— Намекает, что не было большевиков. Что эсеры революцию затевали. Все слышали? Да он — троцкист!

— Поплатишься, дуболом. Тебя не за тем сюда присылали, чтоб советскую власть уничтожать.

— И вы держите его в партии?

— Раскрылся, подкулачник. Исключим! — заверил Марысев. — Он давно тут воду мутит.

С улицы донесся усиленный гул толпы, послышались резкие, как удары кнута, команды и крики конвоиров. И все обратили взоры на окна: что там, на улице?

Щетинясь штыками, колонна с «раскулаченными» тронулась, а вместе с ней двинулась и людская масса провожавших. Она забурилась, взвыла похоронным плачем, забилась в судорогах безраздельного отчаяния, ударились в истошный крик прощального зова и мольбы. Тысячи глоток разом исторгали свою боль, и она рванулась наружу, свилась в единый стон.

Стон все прибывал, усиливался и, как поток, захватывая каждого на своём пути, проник в комнату сельсовета, заставил захрипеть Ивана Якимова, прикандывавшего к окну.

— А-а... что ж это, а? А? — озирался он.

Якимову не ответили. Держа в руках партбилет, Мазуревич отошел в угол, настороженно прислушивался к гулу за окнами. Вершной — поблекший и поникший — топтался между Мазуревичем и Валдаевым, припавшим к окну. Марысев отошел к столу и проверил наган — хорошо ли выдергивается из кармана штанов. Его взгляд упирался в спину Валдаева, смотревшего в окно.

Гаврила Матвеевич тоже застонал, а потом и ослеп на миг, когда увидел в конце колонны новую пару знакомых лошадей — Колькиных.

Когда же ударившая по глазам слепота прошла и он, тряхнув головой, вновь уставился в окно, то увидел на продвинувшемся фургоне своего сына с закрученными назад руками, Леонтину с детьми, пана Игнация. Повернулся к Мазуревичу, протянув угрожающе:

— Во ты как?!

Мазуревич молча прятал в карман его партбилет, показывая всем видом, что к хозяину он не вернется никогда.

— И орден надо забрать, — подсказал Марысев и пошёл на него. — А ну сними!

— Орден!? Ах ты контра...

Ярость и кровь ударили в голову. Гул на улице, и слова про орден, и эта охватывающая его ярость отбросили Гаврилу Матвеевича в ту памятную атаку, когда, в грохоте выстрелов, предсмертном храпе и вое, в звоне стали о сталь столкнулся с ним — конь о конь — есаул. Достал его клинком, а он потом, вынырнув из-под коня, окровавленный, тянул его вниз, добираясь до глотки. И сейчас взметнулись вверх руки... Наган в лицо... Успеть! Враги... Бей! Уу-у...

Вытаращив глаза и бессмысленно вытягивая руки к потолку, он закружился под дулом наставленного Марысевым нагана, схватился за голову и от дикой боли в том месте, где белела незащищенная костью впадинка, вдруг подогнулся и грохнулся на пол, как мёртвый.

— Он раненый, — сказал Марысев Мазуревичу. — При волнениях всегда так...

Мазуревич промолчал. Держа в руке плоский пистолетик, он поиграл им, как бы взвешивая, и отправил в карман френча.

— Отойдет сейчас. — Марысев тоже спрятал наган и, склонившись над Валдаевым, стал расстёгивать гимнастерку.

— Не трожь командира, сука!

Марысев оглянулся — Иван Якимов с табуреткой в откинутой для удара руке шёл на него, матерясь:

— Не ты давал орден и не тебе сымать.

— Я... ворот расстегнуть. Чтоб свободней дышать.

— Надышались вашей свободой.

Вытянув ногу с деревяшкой, Иван сел на пол и положил голову Гаврилы Матвеевича себе на другую; уставился на его бескровное лицо, ждал возврата сознания и ныл, роня слёзы в щетину бороды.

Марысев пришёл в себя от неожиданного отпора Якимова, и зрачки его глаз превратились в колкие точки. Мазуревич не одобрил его злости, гримасой осудил — не цепляться же к мужику! — и кивнул: пошли.

С внутренним облегчением, что трудное дело сделано и все неприятности позади, он перешагнул через ноги Гаврилы Матвеевича, толкнул дверь, а за ним поспешил Вершной с ружьем и пружинисто шагал Марысев.

Зарёванный, с грязными потёками на лице мальчишка-ездовой подал к крыльцу рессорную коляску — из тех, на какие ставили пулеметы, превращая их в тачанки. Застоявшиеся кони били копытами и, озираясь, встряхивали гривами, готовые сорваться и лететь под треск и свист.

Вершной колыхнул коляску, усаживаясь. Он не поднимал глаз и, поставив между ног ружьё, невидяще глядел в черноту сдвоенных стволов.

Мазуревич повеселел. Прощаясь с Марысевым, он приказал ему жёстче проводить пролетарскую линию. Затем легко поднялся в коляску, сел на заднее сиденье, и бросил вознице:

— П-шёл!

Тройка понеслась по улице в противоположную от уходящей колонны сторону, в Драбаган, где в этот день так же, как и в других селах, проходило раскулачивание и где новому секретарю райкома надо самолично быть.

Проводив начальство, Марысев поднялся на крыльцо под красным флагом и с высоты оглядывал оставленное ему во владение пространство. Оно расширялось по мере удаления пылившей тройки и уходящей из села колонны. После недавнего истощного воя здесь становилось тише, тише, словно с колонной навсегда уходила вся прежняя досоветская жизнь.

6. С того света

По собственному двору Гаврила Матвеевич прошёл с предосторожностью, взгромоздив на плечо корзину — чтоб если и видел какой согляда-тай, так понял бы, что занят хозяйством. Направился в подвальную кладовку, где хранили картошку, держали бочку с квашеной капустой и разную рухлядь.

В подклети была ещё одна клетушка, где хранился всякий хлам, который и в доме лишний, и выбросить жалко, а потому долёживал свой век. Туда и пробрался Гаврила Матвеевич. Поправив фитиль чадившего фонаря и усилив свет, увидел спящую Леонтину. А разглядев её — застонал, осел на чурбак. Ведь помнил её гордой красавицей, а увидел седую старуху с провалившимся беззубым ртом. Смотрел на неё и не верил, не хотел верить, что их коснется общая судьба. А она коснулась безжалостно, не позволяя протестовать и даже просто плакать — чтобы не услышали соседи.

Она лежала, укрытая сшитым из лоскутков одеялом, и как-то очень неудобно для сна держала вытянутой рукой дужку изголовья. И опять Гаврила Матвеевич не удержал слезу — вот ведь какой стал мокрый, — вспомнив, что эта кровать ей памятна потому, что на ней с Николаем они спали в пристройке до той поры, пока не ушли на хутор. И медовый месяц провела и Василька родила на ней. Вот и вцепилась рукой за приметочку.

Ему та кровать тоже была памятной: на ней лежал, когда после раскулачивания возвращался с того света. На другой день приехавшие за ним энкэвдэвцы, как рассказывала Галина, долго дёргали его, щипали, кололи иголкой и, не приведя в чувство, оставили подыхать.

Спасла травница. Лила в рот какой-то водицы, а когда очнулся, опять усыпила и подпавала так, чтобы спал и спал. Он и сам знал, что его спасенье в сне, а потому с охотой дурманился, чтобы подальше уйти от того жуткого дня, порушившего всю жизнь. Вспоминать его было опасно — всякий раз он словно бы получал кулаком по голове и вновь проваливался в чёрную яму, откуда можно было выбраться только с забвением случившегося. И старался забыть всё.

В подклеть полез кто-то неосторожный и загремел ведром — Леонтина тут же проснулась и повела встревоженным взглядом, выжидающе уставилась на свёкра.

— Зыков, наверное. Муж Василисы грохочет, — успокоил Гаврила Матвеевич и, когда она поднялась с кровати, обнял её тельце, тощее и лёгкое, как пустая корзина.

Пришли Василиса, Зыков и Галина с Тимофеем. Женщины заплакали сдавленным мычанием, Тимофей закурил и стал затягиваться раз за разом, Зыков жмурился и водил туда-сюда испуганные глазки. Гаврила Матвеевич шепнул ему, чтоб успокоился, что они его не подведут: понимают его высокое положение.

Галина принесла с собой узелок с едой, попыталась рассказать о Саше, но Гаврила Матвеевич отодвинул её к мужу и, требовательно глянув на Леонтину, приказал:

— Говори.

В больших глазах её открылась безысходность и тоска.

— Как можешь, говори.

Она кивнула и зашепелявила. Коротко рассказала, как их ограбили сначала на хуторе, а потом на вокзале перед отправкой, забрав все зимние вещи; как ехали, стоя в вагоне, чтобы выкроить место для сна детям и старикам; как голыми руками — вооружившись палками — копали и сооружали себе землянки, чтобы не умереть от холода, а потом помирали в них от голода и цинги.

В тот первый год у них померла Марийка. За протесты Николая арестовали и он был вынужден сбежать с мельником Цицировым. Она тоже сбежала, чтобы спасти сына, да вот похоронила в дороге...

— В лесу помер?

Кивнула Леонтина. Галина заскулила, потянулась к ней, но мать перехватила Василиса, зажала рот.

— Никого не жалеют, — сокрушённо покачивал головой Гаврила Матвеевич. — Ни отцов и ни детей. Колю тоже убили... Здесь...

Леонтина в смерти мужа не сомневалась. Но было сказано — и ждала добавления.

— Может, не Колю, — заметил из темноты Тимофей, и все колыхнулись, поворачиваясь к нему, чтобы услышать обнадеживающие доводы.

— Цицирова-то сразу определили, а второй... Не знаем, кто там второй...

— Чего ж не знаем, — вздохнул Гаврила Матвеевич. — Наган-то из схорона только он мог взять да ты. Больше никто не знал. Коленька вооружился, от него и смерть принял.

Леонтина слушала, не сводя со свекра напряженного непонимающего взгляда, и он стал объяснять:

— Коленькин наган у нас в тайничке хранился. А тут как-то приезжаю с извоза, а по селу энкэвэдэвцы рыщут, стог соломы за селом обложили и палят. А меня как по сердцу ударило — Колька там. Вот вижу его и всё! Вижу — спички чиркает, чтоб огонёк разжечь, а солома не загорается, только дымит. А потом, гляжу, повалил дым над стогом. Один выскочил, да тут же смерть принял — Цициров оказался, опознали. Второй сгорел, а прежде пулю себе пустил из нагана. Нас спасал Коленька...

Он не стал рассказывать, как энкэвэдэвцы допытывались у них порознь и у всех вместе, не приходили ли в дом беглые. Они и в самом деле ничего не видели, не слышали и не знали. Испуганную искренность своих слов подтверждали тем, что Коленька не мог быть с Цицировым, потому что отбил у него невесту — довод наивный, но всё же выслушанный следователем с презрительной насмешкой.

Потом, когда узнали, что исчез из тайника наган — а взять его мог только Коленька, — начался скулеж с зажатыми ртами. Гаврила Матвеевич ругал себя, что сказал о своём открытии, — слезы в доме тут же вернут энкэвэдэвцев, а дальше арест, лагеря — всё то, чего он уже хлебнул вдосталь и под страхом смерти не мог допустить до семьи. Спас их счастливый случай. Не помнит, какая нужда заставила Тимофея заглянуть за угол дома, но увидел он в сумерках, как задами к их избе крадётся, пробиваясь через сугроб, Блошка. От растерянности отпрянул за угол, метнулся в дом и взъерошенный встал перед ревевшими домочадцами:

— Блошка... к дому ползёт, — выпалил он отцу.

Гавриле Матвеевичу не надо было объяснять, чем грозит появление под окнами Блошки. Он цыкнул на плачущих баб, и они позажимали рты. Но покойничная тишина в доме тоже не устраивала его. И тогда он взял в руки гармонь, заиграл свой перебор:

— Прости меня, сынок Коленька, что на помин души твоей игрой занялся... Прости, что не могу обрядить тебя в последний путь. И признать не могу. Ничего не могу, Коленька. Вот какую жизнь завоевал вам и себе, нет мне прощения, сынок. И не прощай, как сам себя не прошаяю.

Так он бормотал, заливаясь слезами, и играл свои переборы, кадрили... А под его игру, заглушавшую всхлипы, плакали Галина с Василиской и угрюмо пили водку Тимофей и Зыков.

Леонтина молчала. Она догадывалась о смерти мужа, и потому предприняла этот побег с сыном, чтобы спасти хотя бы его. Но теперь не было у неё ни детей, ни мужа. Где-то оставался отец; он предпринял всё для их побега и, старый больной человек, вряд ли вынес то, что обрушилось на него потом. Оставалась родня Коленьки. Она ждала, что скажут они, как решат её судьбу.

— Вот что сделаем, Леночка, — объявил Гаврила Матвеевич. — До ночи ты здесь отдохнёшь, а потом я тебя в Магнитогорск отвезу к дружку. Там народищу много... Затеряешься. Справку тебе дадим...

— Ей можно без справки, — заметила Василиса.

— Без паспорта да без бумажки ты — букашка. Нужна хоть какая-нибудь...

— Чтoб нас под статью подвести? — оборвала его Василиса жестко и непримиримо.

— Ты что, Василиса... — оторопел Гаврила Матвеевич. — С ума свихнулась?

— Ты свихнулся! Она уже потеряла детей, теперь моих хочешь похоронить? Не дам!.. Не дам!!

Она зашлась в крике и забилась в истерике так, что Зыкову пришлось выдвинуться из темноты и, обняв жену, зажать ей рот... В тот же момент со двора послышался крик Костика:

— Война! Война! Мама, война... Где вы?..

В подвале всё задвигались и, ещё не отойдя от происходящего здесь, недоуменно озирались, не зная, как отнестись к услышанному.

Костик вбежал в дом, и над головами у них послышался топот его ног. Он бегал по комнатам и кричал:

— Да где вы все?.. Война!..

Первыми направились к выходу мужчины. Гаврила Матвеевич подтолкнул и женщин, чтобы оставили его с Леонтиной. Когда закрылась за Василисой, уходившей последней, дверь, пересел к Леонтине на кровать, обнял её за тощие плечи, притянул к себе.

— Ты не сердись на неё, Леночка.

Леонтина кивнула: не сержусь. С горькой усмешкой прошепелявила:

— Хосела уйси в Полсу... Папа велел.

— Как бы ты ушла, милая. Там колючая проволока и солдаты с собаками. А в Польше — немцы.

— С ими войа?

— С Польшей война кончилась. Забрали их немцы. Теперь на нас пошли.

— Хоосо пы...

Он замер, пораженный её словами, и ничего не ответил, понимая, что она имеет право на такое пожелание. Успокоил как мог, пообещал, что справку всё равно достанет, увезет её, как говорил, устроит у надежных людей. Весть о войне звала его наверх, к тем, кто сейчас топал у него над головой и уже голосил. Пообещав Леонтине скоро вернуться, он ушел.

* * *

Война пришла в их дом с ликующим голосом Костика. Провозгласив её, он убежал из дома. Да и все как-то сразу заторопились и пошли к правлению колхоза слушать радиоприемник, выставленный на подоконнике. Там вскоре начался митинг, и Петька Теркуньков, став Петром Степановичем после передвижения Марысева в секретари райкома, пламенно клеймил вероломных фашистов, нарушивших заключённый с ними мирный договор о ненападении.

Долго ждали выступления Сталина, полагая, что он обязательно скажет народу, что тут делать, как быть. Но по радио твердили о вероломстве врага, как бы оправдываясь за вчерашнюю с ним дружбу. Задумался Гаврила Матвеевич, но своих суждений по этому поводу никому не высказал: знал рябого по-своему хорошо. Тут лучше помолчать.

Он первым вернулся домой и пошел к Леонтине в подвал, чтобы рассказать про узнанное. И не нашел её там.

Обшарил все — нет нигде. Позвал Галину, спросил — не знает ничего; сама бросилась всё перепроверять и вышла к нему обескураженная.

— Ушла, что ли? Куда же она без справки?

— Куда? — пробурчал он, озираясь. Поглядел на улицу в одну сторону, потом в другую и пошел со двора на огороды, чтобы спрямить путь до Колькиной фермы.

* * *

Леонтину нашёл он сразу по промятому в крапиве следу. Она сидела прилягая к стене, оставшейся от их дома, а рядом валялся осколок окровавленного стекла. Им она вскрыла вены...

Часть пятая. СВЯЩЕННАЯ

1. Прости, прощай...

Похоронив Леонтину, он долго прятал могилу: засыпал отбиваемой от стены штукатуркой, забрасывал мусором. Тянул время, чтобы остаться одному.

— Я пойду... — напомнила о себе Галина.

— Ступай...

И когда стих шелест ветвей, отгибаемых ею на пути через разросшийся кустарник, он устало сел на землю в изножье могилы, содрогнулся от провавшихся слёз... Потекли обильно. И не надо их было прятать. Как и слов...

— Дорогие мои... Я виноват, я... Не понял главного... И жили бы... А я... Леонтиночка... Внучатки мои... Вас-то за что я... Вас... По какой глупости... Нет мне прощения, дураку...

После слёз и очищающего раскаяния ещё долго сидел, перебирая в памяти всё, что было... было...

Возвращаться в настоящее не хотелось. Но заглянул лисёнок и с удивленным страхом отпрыгнул в крапиву, исчез. Тут и комары напомнили о себе... Шлёпнул по лбу — ладонь в крови. И перед лицом взметнулась их тучка.

Пошёл к реке. Искупался. И зашагал домой, где поджидали внуки и внучатки. Их бы не потерять по недомыслию. Василиса мается, не знает, как в

глаза ему смотреть после всего... Отдалится со стыда. А как простить такое?! И что будет в роду?.. Брат на брата ружье поднял... Да ведь и тут виноват: не объяснил парню. Обделил вниманием, когда старшой приехал... Загордился, зафорсил... В любовь окунулся безоглядно, как молодой... Господи, прости, помилуй, вразуми и наставь...

* * *

Вошёл в избу. И тут же прибежала перепуганная Василиса, уткнулась деду в грудь, зашла в сдавленном плаче...

— Я же... Я... — пыталась оправдаться, а слова не давались, противились душе её. Видел это Гаврила Матвеевич. Ох, как всё примечал. И пожалел... Прижал к себе, погладил.

— Будет... Не казись... Кабы знать, где упасть... А тут...

— Дети...

— Во-от... — сказал, глядя перед собой на икону Божьей Матери. Скорбный лик её сейчас словно бы приблизился и вдруг преобразился в лицо Леонтины. Она смотрела ему в душу с таким жалостливым укором, что не смог больше врать. И прорвалось потаённое признание: — Я во всем виноват, Василиса!.. Только я!.. Не туда направил их жизнь... К богатству скорому, а не к счастью души... Не понял замысел Божий, а значит, главного не понял... Вот откуда беды пошли... И мои, и ваши... Понимаешь ты, нет?..

Она вытерла слезы, отдалившись от него, и смотрела с удивлением. Не понимает...

Пригляделся к ней, обдумывая, что сказать дальше, и уловил облегчение в её глазах от оправдания поступка. И слёзы со щёк смахнула, и губы поджались, сдерживая какое-то удовольствие. Грех с неё снят, понял дед печалась.

— Понимаю... Тебя бы забрали опять... И нас всех...

— Да я ж не про то...

— А я про то!.. Чего пришла она, зная, как тут у нас?..

— Сына вела, чтоб спасти.

— Так не довела!.. Чего же тогда шла?!

— А ты бы не пришла?.. К отцу-матери, ко мне?..

— Я бы довела!

— А мы бы отказались принять...

— Как это?.. — вырвалось у неё прежде прояснившегося понимания и стыда.

— А как ты!..

— Ты чего, дед?! У меня живые дети!.. А вы справку у мужа просите... Сам отсидел там... И понял ведь: из-за тебя тут все беды пошли. Хватит героизмствовать. Не позволю!

Он молчал, не зная, что и как сказать. Да и что было говорить, когда сам просвещал... И получал по заслугам, признал он правоту её слов.

— Я люблю тебя, дедуленька!.. — смягчилась Василиса, видя его смущённую подавленность. — И все мы тебя любим. Только и ты нас люби. Не возникай против власти. Сам знаешь, какая она сейчас... А я за детей — на всё пойду!..

— Это и любо в тебе, внучка.

Василиса подошла к нему, приподнялась на цыпочки и поцеловала в губы. Прижалась... И он её поцеловал, придержав в объятии.

В этой позе и застали их вошедшие в избу Тимофей и Галина. Сын уди-

вился, а невестка сразу поняла всё, всплакнула и прижалась к ним, охваченная рукой Гаврилы Матвеевича. Поплакали так втроем...

— Мёртвым покой вечный, а живым — живое... — отпустил их Гаврила Матвеевич. Глянул на Тимофея: что нового скажешь? А у него всё то же...

— Как же она... Ушла-то вдруг?..

— Беду от нас уводила.

— Да разве ж не помогли бы?!

Василиса опять вспыхнула от стыда, отдалилась. Галина молчала, поджав губы. Ждала, чтоб другие вразумили мужа. Он явно ещё не отошёл от вчерашней пьянки:

— Добыл бы я эту справку.

— Ага!.. Подстрелил бы, как папироску у дружка.

— Попросил бы у Петьки Теркунькова... Да он для меня...

— В тюрьму пойдет?!

— Так как же...

— А вот так... Как сделала Леонтинушка...

— Папа, я собрала там... Помянем Леонтиночку, — предложила Галина. И Гаврила Матвеевич кивнул.

Перешли в большой дом. Сели за стол, накрытый тем, что осталось после гулянки. Василиса принесла графинчик медовухи.

— Унеси! — приказал Гаврила Матвеевич. — Упившись бедой — слезой не похмелишься.

И поминали скупно на слова. Да и что было говорить, когда стон в душе. И эту муку прервал Гаврила Матвеевич, обратившись к сыну:

— Что там?..

— Война.

— Понятно, что не игра. Сталин выступал?

— Нет ещё...

— Не проснулся, — усмехнулся Гаврила Матвеевич.

— Да как же это?.. — удивилась Галина Петровна. — Сколько времени прошло...

— А он по ночам работает.

— Когда же он ложится-то?

— После дойки коров. Когда подсчитают ваши удои, отвезут в город молоко, доложат ему — тогда и он отдыхать приляжет. После проверки всех вас... А если найдет в чём несправу — тут же пошлет НКВД расследовать, не унесла ли под фартуком Галина Валдаева бутылек молока внучатам. Корова-то она свою сдала в колхоз, а теперь обманывает государство. Тайком молоко детям таскает. Вот и не спится вождю.

Женщины промолчали. А Тимофей поторопился поменять тему разговора.

— Теркуньков правление проводил. Война!.. То да сё... Решили...

— Не воевать, что ли? — поторапливал сына.

— Мужиков-то заберут...

— Разве?! — ёрничал, не в силах успокоиться. Может, и надо было выпить, да сам приказал убрать. Вот ведь как накручивается одно к одному. А нельзя так. Хватит! — строго сказал себе. И внутренне подобрался, настраиваясь на дела. — Так что решили-то, говори.

— Вот и говорю, а ты...

— Мужиков заберут, останутся бабы да старики. На нас всё взвалится. Так что ли?..

— Ну!..

— И что решили за меня?

— Тебя решили на конюшню послать. Приглядишься... А как Степку призовут, ты и заменишь его.

Кивнул Гаврила Матвеевич: понял.

— Что ещё?..

— Зыков заезжал...

— А где он? — насторожилась Василиса. — Домой не заходил...

— Не знаю... Сказал, что все хорошие машины из МТС уже мобилизованы. Отправлены в военкомат.

— А впереди уборка хлебов, — продолжил Гаврила Матвеевич. — Брички надо готовить для вывозки зерна. Ремонтировать. Так ли?..

— Известно!.. Как же ещё?! Тебе назначено.

— Кого в помощники дадут?

— Ребятю только... Табунятся! На войну хотят... Константин там баламутит. Ружьё твоё унес, и палят в овраге по чучелу.

— О-ой, сыночек мой! — не сдержала Галина Петровна испуга. — Да что же он, глупенький.

— Играются, ворошиловские стрелки... Как придёт домой, пошли ко мне, — поднялся из-за стола Гаврила Матвеевич.

Какое-то время он постоял, глядя на поминальный стол. Перевел взгляд на передний угол, где когда-то висели иконы, стал креститься и шептать поминальную молитву по усопшим. Говорил нескладно. Но тут же встала с ним рядом Галина Петровна, возвысила голос и повела всё по церковному уставу, заученному с детских лет. Так вместе они крестились, перечисляя с поклонами убиенного Николая, замученных в неволе и представившихся пана Игнация, Марийку, Василька, Леонтину.

Тимофей хмуро молчал. Партиец и бригадир, он должен был показать пример всем, потому и вынес иконы из дома — их повесили в старой избе. Василиса хитрым взглядом следила за происходящим, стараясь понять, с чего это дед молится так. Редко видела его крестившимся, и вдруг...

— Иконы верни на место, — сказал дед. — Им теперь не до икон будет.

Мать закивала послушно. А этого не могла допустить Василиса, представив мгновенно всю цепь последствий, связанных с мужем, его репутацией, их судьбой.

— Дедуля, а ты вправду веришь в Бога?

Гаврила Матвеевич шёл к двери, когда услышал этот вопрос. Встал, дожидаясь продолжения вопроса. Но его не последовало. Ответ ждали от него. И ответил:

— Нет!

Мать обомлела, отец хмуро насутился под Василискиным взглядом, и она поняла, что может наступать.

— А что же ты, опять... Лезешь на рожон?..

— Я, внучка, — повернулся он, — не верую в Бога, а верю Богу! Он сызмальства во мне. И спасает. И помогает.

— На каторгу посылает... — продолжила в его тоне Василиса.

— На каторгу люди посылают. Не верящие Богу. А Бог помог мне уйти оттуда живым. Но сейчас мно-о-гие поверят Богу. На войне ты с ним как у последней черты. Тут — ты есть, а миг — и к нему на ответ. Чем жил?.. Чего хотел?.. Много ли скопил?.. А кому в небесах потребуется твоё барахло?..

Не-ет, Василиса... С Богом похитрее закручено, чем учительки говорят. Да говорят-то по писанному им... А пишут им — по приказанному... Так что доживать буду, как Бог наставлял, а не люди.

И ушёл.

2. Тайна Сталина

В избе своей на полу разложил плотницкий инструмент и принялся его подтачивать и править. И думы тут же перенеслись в прошлое, в столярную мастерскую где «мужиковал», обеспечивая лагерное хозяйство плотницкими работами. Где впервые узнал про своего злейшего врага такое, за что будет ему воздаяние!.. За все людские муки отольются их слезы...

Оказалось, узнал он тайну Сталина не случайно. Но это потом разгадал... А вначале-то и не думал про него, своих забот хватало, чтобы выжить в этом человеческом аду. После вечерней баланды единственная радость была — оставленный кусочек хлеба. Всякий раз разжёвывал его, переминал так и эдак — до сладости во рту, а потом, уже лёжа на нарах, тихонько процеживал эту сладость, засыпая.

Забрался на нары и услышал, понял по дыханию, что вместо Матрёхина по левую руку лежит кто-то другой. Тяжело сопит, подкашливает.

— Эй!.. А ты как оказался тут?..

— На ночь... только. Хэ-х... Пайку дал... Сказать тебе... Хэ-х... Надо...

Задумался, укладываясь... Отдать пайку, чтобы что-то сказать... Хотя и подсадным мог оказаться... Или выслужиться захотел, чтобы послабление получить и не помереть. Вон как хрипом частит... На каторге желающих угодить начальству или тому, кто сильнее, всегда в избытке. За окурочек отправят на тот свет, а за кусочек хлеба сами проткнут заточками. Вспомнил и этого, кхыкающего рядом. Часто попадался на глаза последнюю неделю. Выходит, случая искал поговорить. И вот пайку отдал!..

— Про пайку врешь.

— Нет, хэ-х... Сказать... надо, хэ-х-хэ...

— Не поп, чтоб исповедовать.

— Ты — наш... х-эх... Сталин расстрелял... хэ-хх... Бух-х-харина, хэ-х, хэ-х...

Задумался... Наш, говорит... Это с какого боку, припёку?.. Бухарина читал, уважал даже... До статьи в «Правде» о дружочке славном Серёге Есенине. Ведь так распнул его за кулацкие стихи, оплевал всё заветное, насрал в душу и до петли довёл такого поэта!.. Нет, с Бухариным — не ваш.

— Жандарм он, хэ-х...

— Бухарин?

— Ста-алин, хэ-х... Офицер жан-дар-ский, хэ-х х-х-х...

— Ну вот... Ещё придумали... Ворё своим считает, мол, банки грабил, а ты в жандармы определил. А по мне он...

— Молчи, хе-х... Грабил, а не ловился... С каторги уходил... Ты... сбежишь... отсюда?.. Кх-х-х.. А он... из Курейки... до Тифлиса за три недели... Кх-х, кх-х... Зимой...

Сказано было убедительное. И всё же не верилось... Да мало ли что говорят здесь со зла и по глупости.

— Ты... хэ-х... Слушай... хэ-э. Разоблачите... потом... хэ-х-х-х... Надо!.. Х-х... Я до утра... не доживу, хэ-х-х-х... Боль прошла... Душит только... Хэ-х... По зачистке меня... взяли, кх-х... Всех убирают... Кто знал его... А я расследовал, кх-э-хх...

- А Краснова как разбил под Царицыном?!
- Генерал он... х-хээ... Обучен...
- Семинарист, сказывали... Недоученный...
- Да-а... Потом — юнкер... Академия генштаба... хэ-х... Разведка... Всех, кто знает про него х-ххэ... убирают. Фрунзе за-резали ххэ-х на операции... Тухачевского рас-с-треял хх-э... И всех... берут...
- Врёшь ты всё...
- Помогут тебе... Хе-ххе-хе-е-е-е...

Говорить «дошлый» перестал. Да всё ведь сказано. И такое!.. Невольно призадумался о многом... Разоблачений боится и люзует... Заодно бедолаг гребет, чтоб чертоломили здесь... А «наши»?.. Эт какие тут «наши» объявились?.. Кто такие?.. Как определить «нашего» от ненашего?.. Живёшь сам по себе, как думаешь, а оказалось, под кем-то ходишь... На каторге даже... Кто-то тебя знает и задания даёт.

И тут только сообразил, что не слышит хрипов «дошлого». Ткнул рукой — не шевелится. Умер... Не врал, выходит. Товарищем оказался! Правду сказал, чтоб вынести отсюда, народу передать...

Вспомнив ту далёкую ночь, Гаврила Матвеевич вновь окунулся в запретные думы. И ведь настроил себя жить, как живётся, а тут опять пришлось отступать к прежнему, вникать в недодуманное, догадываться о недосказанном...

Освободили его действительно вскоре. Только не «наши», о которых намекнул «дошлый», как назвал его мысленно с первой встречи, да не успел узнать имени и фамилии. Неделю спустя дали наряд в посёлок и с плотничьим инструментом под конвоем повели к какому-то начальнику.

После барака дом его показался дворцом. Тут и мягкая дорожка под ногами, и зеркало во весь рост, в которое глянул на себя, да не узнал. А больше всего поразил запах борща. Он был таким неожиданным и вкусным, что голова закружилась, глаза закрылись и уши не слышали указания, в какую дверь идти. Очнулся после пинка под зад.

— Оглох, что ли?! Пшёл!.. — добавил охранник тычок в спину. — Туда шагай.

Охранник остался в коридоре, а он вошёл в кабинет с портретом Сталина на стене, с широким столом. За ним в кресле сидел чернявый толстячок в зелёном халате, с белой повязкой на горле, в очках. И улыбался ему как-то по-домашнему, чего никак не ожидал Гаврила Матвеевич.

Чернявый молчал и усмехался загадочно и хитро. Словно давал время вспомнить что-то... Эта хитрость взгляда заставила отрешиться от головкружительного запаха борща и перебирать череду лиц с такой же хитрой загадкой. И вспомнил! И чуть не воскликнул...

— Тсс-с!.. — предупредительно поднёс палец к губам Ёська. Поднялся с кресла и, шагая к двери, громко приказал: — Все отремонтировать. Чтоб ничего не скрипело, не шаталось и открывалось! Работай... — открыл дверь и крикнул конвоиру: — А ты на кухню. Поможешь там девочкам.

— Слушаюсь!..

Прикрывая дверь, проследил уход конвоира. И тогда только доверительно подал ему руку для пожатия.

Обошлись и без тех объятий, которые в прошлую встречу были, когда Сталина видели. Помнил, и целовались тогда... Хотя целовал-то сам, а не его. И обнимал по-медвежьи, чего не принято у евреев. Но без объятий тоже было видно, что рад встрече. А в халат оделся, видать, чтоб не пугать своим званием.

После того знака с «Тс-с!..» Гаврила Матвеевич не знал как вести себя. Выжидал, что ещё скажет. И правильно сделал, потому что Иосиф Яковлевич, заметно округлившийся, прошёл к столу и показал ему на стул: садись!

— Чаю, кофе?..

А ему так и хотелось крикнуть: «Борща дай!».

— А борща котелок?.. — предложил Иосиф Яковлевич, и маленькие глазки его в кругляшках очков весело дергались, наблюдая за муками Гаврилы.

— Специально держу тут для тебя, весь дом провонял...

Поставил на стол что-то укутанное в полотенце, неторопливо снимал, обнажая краюху настоящего домашнего хлеба, очищенную добела луковицу, две котлеты на тарелке, прикрывавшей котелок. Положил ложку.

— Ешь!.. Как говорил мне про брюхо?..

— Помнишь?.. — медлил Гаврила Матвеевич, специально сдерживая себя, чтоб не накинуться на еду.

— Ты начал откармливать, — похлопал себя по выпирающему животу, — приговаривал: «брюхо лопнет — наплевать, под рубахой не видать». Теперь «клопом» прозвали. Кровь вашу пью!..

— Так ты — Танхельсон? — поднял Гаврила Матвеевич ложку с вожденной едой и замер... Никак не вязалось, что начальник лагеря тот самый Еська, которого он подобрал после тифа и откармливал.

— Не знал разве?..

— Не-ет...

— А если бы знал?..

Не отвечая, начал хлебать борщ, решив, что сейчас это самое лучшее при таком повороте разговора. Да и что ему ответить?.. Начальство все ненавидят. Сам разве не понимает.

— Служба... у тебя... такая... — хлебал он и кусал. — Любой... так бы... служил... Чего говорить... А ты чего не ешь-то?.. У меня своя ложка всегда... при мне... Черпай, как бывалочи...

— Н-да... «Бывалочи» уже не будет никогда...

— Эт, верно... Что было, то... сплыло...

— А ты счастливчик, Гаврила...

— Ага... Счастьем примеченный, дубьем изувеченный.

— Подписывал список оставленных на второй срок... Зацепился взглядом на фамилии Валдаев Г.М. Приказал дело принести, ты ли?.. А ты не помнишь мою?..

— К счастью, значит... Зачем тебе знакомцы?

— Ты же понял тогда?.. Когда обыскивали нас после встречи Сталина... Понял, кто я?..

— Я тоже у белых был. По глупости. А ты — разведка... ЧК!.. У моста ты разгром наш учинил?..

В ответ Танхельсон только улыбнулся с грустью, вспоминая ту далекую и хорошо проведенную операцию.

— А я... сейчас только... догадался, — хлебал и жевал Гаврила Матвеевич.

— Ланского хитро объегорил. А меня-то как...

— Вы, русские, сначала делаете, а потом думаете. А мы, евреи, в начале думаем! Мно-о-го думаем, спорим, говорим... Чтобы потом не ошибаться. Вместе мы — сила!

— Аа... Ну, да!.. Куда без вас...

— Царя сбросили?!.

— Скинули...

— И мировой капитализм сбросим!
 — Угу..
 — Под руководством товарища Сталина.
 — Так он же... грузин..
 — Осетин, — уточнил Танхельсон, многозначительно глядя на своего спасителя военных лет, как бы требуя особого понимания.
 — Скинем!..
 — Да ты сиди, ешь... Завтра отпустят тебя. Уедешь... Счастливчик ты, Гаврила. Обычно не читаю списки, а тут... Валдаев!..
 И на лице его появилось жалостливое выражение зависти и тоски. Выходило, что не радовала его жизнь здесь, вдали от столиц.

Шаркая брусом по лезвию топора, Гаврила Матвеевич сопоставлял помянутое со своей судьбой. Несуразное получалось... всю жизнь считал, что живёт сам по себе, а тут выходило... Что же получилось-то?.. Чего хотел?.. В-о-л-и!.. Это значит, жизни хотел, как душа просит, а не как обстоятельства велют или приказывают люди... Сызмальства противился всяким приказам. В начале от просто так... А позже — осознанно, когда смысл нашёл в бунте против Николашки-царя, романовско-немецкого трехсотлетнего ига. И пошёл гулять с ватагой вокруг столиц, поджигая усадьбы и дачи сановников и прочей самодержавной сволоты. Волна поджогов разливалась по России, подогревая народ к революции, парализуя власть, устрашая скорым валом всеобщего и беспощадного мужицкого бунта. В среде эсеров Гаврила был мотором этого бунта. Радовался! До момента, не сразу понятого, зато отрезвившего сразу и на всю жизнь.

В тот вечер гуляли они в кабаке. Пили и пели! Серега рязанский читал стихи:

*Выткнулся над озером алый цвет зари.
 В бору с перезвонами стонут глухари.
 Знаю, выйдешь вечером за кольцо дорог.
 Сядем с тобой рядышком под душистый стог.
 Зацелую допьяна, изомну как цвет.
 Для меня, для пьяного, пересуда нет.*

Любил Гаврила стихи, млея, как от вина. И вихрастого парнишечку — сочинителя — оберегал от кабацкого смрада. Только в тот момент слушал его с другого стола, где с Гершуней торговались с помещиком, выжимали деньги для переезда ватаги Гаврилы в Питер. Там потребовалось разметать «красных петухов». В торг особо не вступал, только видом утрашал. Но одна фраза вошла в сознание, перевернув там покой:

— Я в тебя не буду стрелять. Даже на баррикадах!..

— Не будешь!.. Гаврилу наймёшь... — поднялся помещик, убирая в карман отощавший кошелек. Кивнул, уходя.

— Эт как?! — вскинулся Гаврила. Хмельная маята отступала и приходило понимание сказанного. Оскорбительного, как пощёчина...

Помещик не удостоил его и взгляда, ушёл. А запоздало рванувшегося за ним Гаврилу остановил Гершуня, пряча нерусские глаза под завесой ухмылки.

— Это он подсластил себе. За то, что деньги с него взяли... Плати... Если не хочешь гореть.

С этого момента и начались раздумья о жизни, о себе... Считал, что народную волю проявлял своим окаянством, а оказалось... И руки дрогнули.

— Ты чего?.. Бери!.. — совал ему в руки деньги Гершуня и список имений, намеченных им для сожжения. — Революций без денег не бывает. Понимаю студентов: чистенькими хотят быть. А ты — мужик. Кистень!.. Тебе ли сопля распускать...

— Да я!.. Для революции... Бражка без хмеля не варится...

— Только сам-то не усердствуй там, — кивнул Гершуня на гулявшую ватагу. — Твоя голова трезвой нужна. Иди!

И еще одна пробуждающая мысль взорвалась. Выходило, что он нужен был не просто сам собой, как Гаврила, а только как Гаврила-Кистень. Чтоб черепа крошить, да пожары палить...

Вспомнив тот давний случай, Гаврила Матвеевич с грустью признал, что и поныне не добрался до понятных ответов на свои старые занозы. Всегда казалось, что всё народом решается, как бы само собой, стихийным валом... Но как получилось тогда, что их самая большая партия социал-революционеров, за которой всё крестьянство шло, оказалась без власти? Вся власть над народом вдруг перешла к большевикам — крохотной партии, которую и не знал-то никто...

Неожиданно и сам оказался в её рядах. Даже орден получал за заслуги... А потом — и каторгу! И не только сам, дуралей несмысливый. Вон сколько там народищу пребывает. Не ворьё, не лодыри. Свойские мужики, пожелавшие себе лучшей жизни по-своему, а не по чужой воле...

— Не умно, не по-доброму всё устроено, — шептал сам себе. И вроде как услышал извне другой голос, ответивший мыслям:

«А как устроено?.. Если не так?».

— Не по-людски. А как у скотов в стаде. Гонят — идут, встали — жуют...

«А гонят — кто?..».

— Пастухи.

«И ты пастухом был. Ватагу водил, ротой командовал»

— И таким же бараном оставался. Ведь не понял ничегошеньки из того, что творил. Столько бед принёс семье и друзьям своим недомыслием... Выходит, не пастухом был, а... пастушьим бараном заодно. Во как!..

«Вот и понял тогда...».

— Это что же я понял?.. — растерялся на момент, домосливая вопрос. — То, что пастухи тоже стадом бывают?! Хм, так и есть... Стадами народ живёт. Одни — пасутся, другие — пасут их. И тем же стадом остаются. Над пастухами — хозяева стоят... Хозяев тоже стадо... Со своими пастухами: царями, императорами...

«И что тут непонятного?».

— А то, что скинули царя! И стада хозяев разогнали... А новый самодержец тут же объявился! И новых хозяев привёл себе в подмогу — партию...

«Сталин?».

— Кто же ещё! А у немцев — Гитлер...

«Почему?..».

— Этого и не пойму... И почему они подрались ни с того, ни с сего? Может, и цари пастухами числятся у кого-то повыше?..

«А кто повыше?».

— А выше только Бог.

«Не гневи Бога... Думай».

— Вот и думаю... Если Сталин с Гитлером пастухи, то, выходит, ими тоже владеет кто-то... И управляет, как ему надобно...

«Так кто?.. Соображай...».

— Если не Бог, то кто-то из людей... А нет такого. Не видать... Может, не видимый?.. Так увидели бы... Шила в мешке не утаишь, прямком вылезет. Да и зачем умному хозяину — если есть такой, скрытный — сталкивать пастуха с пастухом для драки? А они-то — Сталин с Гитлером — во-он как сцепились!.. Полмира покрушат, прежде чем объединят стада или пастбища под одного.

«Вот и понял, наконец...».

— Это что же выходит, есть такой супостат?! Ну, де-ла... Хочешь — верь, не веришь — проверь... А как проверить-то?.. У кого дознаться?.. Без прав из села выехать, при страхе говорить с людьми... Вот как придумано и поставлено, чтоб никто ничего не знал, не думал, не говорил, не понимал. А надо, край как надобно понять всё под старость лет..

3. Константин

В сенцах послышались быстрые шаги, и в избу вошёл Костик. Увидев деда, попятился.

— Погодь-ка! Спрос есть.

Поднялся дед с пола и навис против внука, массивный и грозный. То ли спросил, то ли утвердил:

— На войну собираешься...

Костик молчал.

— Али струсил?

— Ты чего, деда-а?! Мы всем классом... А нас не берут пока...

— Классом, это хорошо. Скопом и батьку легче бить... Но тут не шутейное дело. Фашисты. И тоже — классом на класс. Потому и помогу тебе на фронт пойти. Есть у меня знакомец в военкомате. Напишу ему записку — возьмут.

— Деда-а, ты вправду?! — засветились глаза внука.

— Да как же ещё, коль говорю. Только к этому знакомцу идти надо с подготовкой.

Гаврила Матвеевич подошёл к книжной полочке над школьным столом Константина, взял в руки учебник немецкого языка. Полистал.

— Поговори-ка по-немецки.

— Я читать только... Со словарем могу.

— У-у-у... — разочаровался дед до снисходительной жалости в глазах: а я-то думал!..

— Я выучу! Каждый день буду по десять, нет, по тридцать слов учить.

— Так и война кончится, пока научишься. Берись по-стахановски. Тогда и на возраст не посмотрят, на эраплане улетишь.

— По сто буду учить! А словарь у Ольги Сергеевны выпрошу. У неё вот такой толстый... Если даст...

Сказал так Костик и нахмурился. Не вовремя вспомнилось, понял дед. Да и сам помрачнел. Как там она?.. А Иринка с Сашкой как?.. Куда он повезёт её?.. Вернётся, наверное. Сейчас ей не до замужества...

— Даст, куда денется... Иринка вернётся скоро, и попросишь.

— Почему... вернётся?

— А посуди сам... Сашке на фронт надо скорей, а ей куда? Вернётся! Отложат женитьбу свою до победы. А вот с тобой-то как быть? В человека ведь надо возвращаться.

— ... — молчал Костик, испытующе и мрачно глядя на деда: ещё что скажешь? А мне всё равно!

— А как же? На брата ружьё поднял.

— Я люблю её!

— Это хорошо! А теперь скажи, глядя в глаза: целовался с ней?!

— Нет... Но я видел...

— Погоди, про что видел... А с ним она целовалась. И не в потёмках, а на людях, чтоб все видели. И сбежала от матери родной! Понял, каково?! А то, что ты видел... Когда любишь, то любовью-то переполняешься, и на всех она лётся. И на брата его, и на деда даже. Меня ведь поцеловала, когда сажал на тарантас.

— Ты им устроил всё?!

— Я! А почему, спроси. Потому, что не жених ты ей. Она ведь старше тебя.

— На семь месяцев.

— Во-от! А жена должна быть младше мужа на три-пять лет. Потому и не целовалась она с тобой. Я-то всё видел, когда она прибежала к тебе сюда. Прикидываю, Сашку с того года она любит. Только он в тот приезд не замечал её, с Надеждой куролесил... А тут увидел, и всё в нём перевернулось. Ты не суди их. Попроси прощения у Бога и пожелай брату удач и победы.

— Я... комсомолец!

— А ты... по-братски пожелай. Если брат он тебе, и дорог как родной...

Константин потупился, разбираясь в себе. Вскинул взгляд на деда: серьёзно он это предложил или шутит, как часто бывает. Дед хмурился. И чем больше длилось молчание, тем больше он мрачнел, дожидаясь решения внука.

— Я... попрошу... — выдавил он, наконец, из себя. И ободрился, услышав свой голос. — Прости меня, Господи. И Сашка, прости меня... Я... напилсь... для смелости... Поэтому... Люблю я тебя, Сашка.

— Вот и славно, — обнял его дед, успокаиваясь.

* * *

Первая неделя войны прошла в нарастающем тревожном состоянии. Радио приносило вести непонятные, путаные. Там отпор дали, в другом месте — отбили, подбили, уничтожили — а потом, оказывалось, отступили то в одном, то в другом месте.

Не зная истинного положения дел Гаврила Матвеевич больше переживал за свои Петровские дела. Уходили мужики молодые. А ребятня, приписанная в помощники, то и дело сбежала от него в овраг и расстреливала его ружейные патроны по чучелу. Вот и опять отпросились скупнуться, а донеслись выстрелы дуплетом. Им эта война всего лишь игра. Пока не почувствуют её безжалостную силу.

Когда по радио выступал Сталин, слушал его Гаврила Матвеевич, отвернувшись от рупора и от народа, потому что закрыл глаза, чтобы слова душой понять. Вслушался в картавый голос его так, словно сам говорил и пережитое чувствовал. «Товарищи! Граждане!» — тут обычно всё и понятно. А вот дальше... — «Братья и сестры!.. К вам обращаюсь я, друзья мои!»... — эти слова вызвали ощущения мокрой грязи, будто свалился в навозную яму или нужник. Братом ему стал! После всего сотворенного над народом. Испуган так, что до лести дошёл, заискивать начал... А может, одумается?.. Беда ведь не только дураков калечит, но и умных лечит. А он не дурак, если на такой престол пробрался. И слова все правильные говорит. Отпор надо дать. Да покрепче, чтоб не лезли опять... Никак им неймётся.

Но больше всего Гаврилу Матвеевича поразила песня. Говорили ему про неё. А тут впервые сам воспринял её и наполнился за страну тревогой и яростью:

*Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идёт война народная,
Священная война.*

И что там были все эти Сталины, Бухарины, Троцкии... Сколько их уже было! Уйдут, как прежние, и не вспомнит никто. А тут страна запылала! Набат по сердцу ударил. Спасать зовёт. А на такой зов только сволочь не пойдёт.

Сам он вошёл в колхозные дела как в собственные. Неисправу какую — починит, брошенное — подберет и к месту приладит, кому что надо — подсобит, поможет. И как-то сразу стал всем нужный и главный, как бригадир.

В этот день доделывали последнюю бричку. Семь штук их стояли в ряд, белея набитыми досками. А ещё подладили четыре рыдвана для перевозки сена-соломы. Грудой лежали крепко насаженные и наточенные мотыги, грабли, лопаты, косы. И серпы наточенные лежали там под стеной амбара. Собирал он их по всем дворам, вызывая смешки да ухмылки у молодых. Но сам он знал войну не понаслышке и потому собирал всё, что пригодится на чёрный день. Даже ручную мельницу принес, починил и спрятал, зная, что нужна будет.

С реки донеслись выстрелы. Удивился: вроде все патроны его расстреляли, а тут — опять палят..

Вскоре пришли помощники, мокроголовые, возбуждённые. Принялись смазывать колеса. Внук, заметил дед, с сухой головой. И лицо с улыбкой. Встал перед дедом, а в мыслях — плывет где-то в небесах счастья.

— Деда-а, Ольга Сергеевна письмо получила от Ирины.

— Та-а-ак! — ждал дед пояснений. — К ней бегал.

— Словарь попросить. А она радостная. Искала и не нашла.

— В письме-то что?

— А там коротко, — не понимал его внук. — Как узнали про войну, Сашка велел Ире сойти с поезда, чтоб домой ехала. А она ни в какую... В Москве только расстались. Сашку направили куда-то, а она... Живет в общежитии. Приедет, когда заработает на дорогу.

— Хоть мало хорошего, всё равно хорошо.

— Словарь не нашли... Искали, искали... Говорит, может, Ирина взяла. А зачем он ей? И так немецкий знала... На иняз готовилась.

— Это что такое — «иняз»?

— Иностранные языки.

— Толмачом, стало быть?

— Учительницей хочет. Как мама.

Новость обрадовала Гаврилу Матвеевича. В голове тут же понеслись мысли, как вернёт себе «лебедь белую», выстраивая шажочки к ней... Что уж там сердчать ей, когда близость сладилась... Грубо?! Так это у кого как... Мал почин, да дорог. Тут срастётся все по уму. А вот внук насторожил деда: совсем расслаб от счастья. А своего ли?

— Ну-ка, собери ребят, — приказал ему.

Внук смотрел, не понимая.

— Все ко мне! — зычно крикнул дед. — В шеренгу — ста-ано-вись!

Не ожидали парни такой команды, но, видя бойцовский выход Гаврилы Матвеевича и командный взгляд, которому нельзя было не подчиниться, тут же подбежали и выстроились перед ним в шеренгу, как на уроке физкультуры.

— По порядку рас-счи-тайсь!

— Первый... Второй... Третий... — пошло по ряду.

— А ты? — обернулся к внуку. И Константин встал в шеренгу, не понимая деда.

Гаврила Матвеевич поднял заранее нарубленные палки размером с нож и первую бросил внуку.

— Держи!

Палка ударилась ему в живот и упала к ногам. Парни — кто понял, — поймали палки.

— Это ножи вам, — пояснил Гаврила Матвеевич и, видя, что внук не торопится поднять свое «оружие», быстро нагнулся, схватил «нож», а поднимаясь, ткнул им в живот внуку, да так, что тот перегнулся от боли.

— Ты что, деда-а?!

— А ты чего?! — взъярился дед и кивнул парням. — Вот он, считайте, убит! На войну собираетесь?! Думаете, под смешки там будете пукать из винтовки. А немцы встанут перед вами, как чучела... В общем, так. Задание колхоза сделали. Спасибо за труд!

— Служим советскому колхозу! — выкрикнул Колька Сухорук. И все рассмеялись.

— А теперь буду войне вас учить. Какой сам научался в гражданскую. И наперво — ближнему бою. Эта палка у вас — нож! И у меня — нож.

— А у меня пистолет, — смеялся Сухорук, направляя палку на Гаврилу Матвеевича. Но он вдруг тут же колыхнулся в сторону, взбрыкнул ногой — и «пистолет» Сухорука отлетел в сторону, а «нож» деда саданул Кольку так, что согнулся он от боли, выпучил растерянные глаза, готовые плакать и скривив губы — жаловаться...

— Ты... Чего, дед?!

— Трупы не разговаривают. Вон, под телегу ложись и помирай... Пока будем учиться выживать...

Улыбки сбежали с лиц ребят. Так-то лучше будет! — оценил Гаврила Матвеевич.

— Знаю, от меткой пули не убежишь. И от бомбы на небо не вскочишь, в землю не закопаешься. А сошлись грудь о грудь, тут у каждого своя удача. Вот и настроим её загодя... Ну-ка, внучок, столкнёмся с тобой насмерть, как учил. Бей без жалости, или сам получишь вот так же, — кивнул на Кольку, оставшегося в строю.

Настырный, выходит. Молодец. А Константин, хоть и учился с Сашкой дедову бою, но не очень-то старался. Его больше книжки интересовали. Книгочей! А тут на войну засобирался. Посмотрим, на что годится.

Костик пригнулся, задёргался перед дедом туда-сюда, налетел... Но рука с ножом оказалась зажата ладонью деда, повернута так, что палка-«нож» выпала.

— Ещё один труп! Так вы на войну собрались трупами валяться?! Или родину защищать?! Ну-ка, разберись парами... И гляди, в чем сноровка... Начнем медленно... Показывай, Константин.

Костя медленно повёл руку с «ножом» для удара, а Гаврила Матвеевич так же медленно перехватил её за запястье, дёрнул руку на себя, а вытянутые пальцы другой руки, как лезвие лопаты, послал противнику в горло. Не ударил, а коснулся только. Но и того хватило Костику, чтобы закашляться и отпрянуть, выпучив глаза.

— Все поняли?! Мне и нож врага не страшен, если до горла доберусь.

— Бандитский прием? — заметил кто-то.

— А какой другой прием остановит бандита?!

— По морде...

— А он тебя — ножом!

— Ты чего, Витёк? В самом деле... Давай...

Учеба шла до темноты. А потом парни показывали свои приёмы драк, и Гаврила Матвеевич радовался, угадывая их учителей — Никиту Сухорука из своей ватаги, расстрелянного при раскулачке. Он обучил когда-то сына, а учеба его до внука дошла, не пропала... Валька Косых подножки показал, и тоже были они знакомы от его деда. Такого же вихрастого и коренастого тогда, как этот живчик. Выходило, не напрасно они дрались стенка на стенку, улица с улицей, деревня с деревней... Теперь пригодится для драки страны со страной.

— Гаврила Матвеевич, а вы знали моего деда? — робко спросил Колька Сухорук. И все насторожились, зная, что Сухоруки из раскулаченных и что дед Кольки был застрелен при сопротивлении властям. Что скажет?

— Еще бы не знать?! — понимал их робость Гаврила Матвеевич. — Правильный мужик был. Топором тёсан, дубиной подпоясан. Знаете таких?

Ребята облегчённо заулыбались: можно о запрещённом говорить.

— А как это — дубиной подпоясан?

— Смекни!

— Фольклор?!

— Чего?

— Иносказание, — пояснил Константин. — Иное сказание. Поэтическое...

Тут понял Гаврила Матвеевич. Кивнул.

— Только дубины были настоящие. Думаешь, просто так крепостничество отменили? Дубинушки помогали. А в революцию от таких — дубиной подпоясанных — вся дворянская да купеческая Россия пылала. А вы не «проходили» этого?

— Не-е-ет...

— А как она пылала?

— А по всей земле! — остро вглядывался в лица ребят Гаврила Матвеевич: понимают, нет? И видел, понимают. — Выжарили паразитов отсюда, а в городах рабочие их прижали. Но вот беда какая: своих господ убрали, так лезут на нас иностранные. Так что, ребяташки, пришёл черед и вам дубинами подпоясаться. Жизнь-то хорошую защищать надо!

— Как Александр Невский!

— Нет, — удивил ребят Гаврила Матвеевич.

Александра Невского «проходили» в школе, и фильм смотрели по несколько раз, и потому не понимали его хитрого прищура глаз. А дед дождался общего внимания и пояснил под конец разговора:

— Александр Невский дружиной против псов-рыцарей стоял, а народ — против народа. А если бы струсили наши мужики?! А?.. И дружина не по-

могла бы. А вы пойдёте сейчас народом против их народа. Вот и поглядим, чья возьмёт! Завтра ещё разучите кое-что похлеще. А сейчас всем на речку, искупаться, чтоб к девчатам прийти молодец-молодцом. Ступайте...

* * *

Вечером, за ужином в большом доме, каждый высказывал свои новости по непisanому порядку. Настенькины прослушали с умилением: чем бы дитё не тешилось... Константин в последнее время не пользовался своим правом, и больше молчал. Василиса высказывалась и за себя, и за брата, и за мужа. Главная новость — письмо от Ирины, догадки, что да как, предположения и сомнения, еще хитрые взгляды на деда: как он слушает? Что на лице? А он оставался невозмутимым. Про себя только ёрничал: с этой не доглядишь оком, заплатишь боком. Скажешь слово, прискажет десять.

— Выходит, не поженились они? — сказала Галина Петровна и высматривала, кто что скажет. — Раз не доехали до части?

— Само собой! — подтвердил муж.

Константин, зардевшись, вперился взглядом в деда: а он что скажет?

И дед понял взгляд — вот ведь о чём думает в такой час! Кивнул невестке, а на деле-то для него. И в душе на миг почувствовал те муки расставания Сашки со своей любушкой. Ведь вот она — твоя, а не твоя уже, отрезанная судьбой, войной, чьей-то чужой волей... Ох, как же больно это...

Вновь задумался о своём: об Ольге Сергеевне... Подумал, что сейчас, когда она получила добрую весточку от дочери, может и на него распространится её доброта. Как же случай-то найти? Как подойти к ней?..

Тимофей заговорил о каких-то неотложных делах, всплывающих после отправки призывников в армию, и Гаврила Матвеевич кивал, понимая их неотложность. Сам ничего не стал предлагать, зная, что самому и придётся делать. Так лучше обойтись без слов.

О Леонтине больше не вспоминали. И было это горько мятежной его душе. Словно и не было её! Внучат и сына... И о нём так же забудут, поглощённые личными заботами, страхами...

После ужина Константин пришёл к деду. Вроде бы взять книгу, да зацепился словцом за слово и застрял.

— А почему ты молчал, деда?

— Думал.

— О Сашке?

— И о Сашке, и о тебе... О всех думал...

— И что надумал?

— А то, что расстаться можем в любой час. И, может, навсегда... А до этого часа надо бы главное сказать тебе.

Константин сел на табуретку, показывая: я — здесь, и слушаю тебя с таким вот усердным вниманием.

— В твои годы я в Петровском был первым драчуном. Потом — в округе! Нравилось... Пока не просмеял меня один барин. Ты, сказал, стань богатым. И всегда наберёшь таких драчунов, сколько надобно. Убедил. И решил я стать богатым. Месяц сидельцем в лавке проторчал.

— Сиделец — это продавец?

— По-нынешнему. Жениться мог на дочке купца, наследство прибрать. Сам он болел, а дочка — перестарок. И влюбилась в меня. Всё сложилось!.. Но как подумал, что всю жизнь надо торчать в этих лавках. Душа-

то простора требует. Во-о-от! Сбежал от сытой жизни. В революцию окунулся. Именья жёг.

— Поджигал?

— Ещё как! Вся Россия пылала от мужицких петухов. Царь на нас жандармов натравил, казаков, а мы им пожары устраивали то в одном конце, то в другом, а то рядом...

— Зачем?

— Для понимания смысла. Земля-то Богом для всех дана, так почему кто-то хозяином стал?

— А почему против красных воевал?

— А потому и воевал... Землю, завоеванную нашими руками, дали, да тут же и отняли, контрибуциями разорили. Да я не про это хочу тебе сказать, внучок мой дорогой. Это все — сегодня есть, а завтра нет, и весь ответ. А есть в нашей жизни великая тайна, которую каждому надо знать. Да вот беда какая: не даётся она людям. Кто знает — не говорит. А узнавши — прячет от других. Ещё больше таких, которые и знать её не хотят. Живут как живётся, не помысля ни о чём.

— И какая она? Тайна...

— С виду, простая... Смысл жизни, называется. Вот зачем я родился? Зачем ты?! Он?! Она?! Все мы?! А?!

— Ты родился, чтобы мы родились.

— Тут столько случаев, что могли ни мы, ни вы не родиться. А если родились — тогда и смысл должен быть, как у каждой вещи.

— А ты знаешь его?

— Догадываюсь... Потому тебя пытаю, чтоб провериться. Я полагаю, смысл жизни — человеком стать!

— Ну, деда, удивил! А кто же мы, по-твоему?

— Скоты!

— Как это?

— А сам подумай: рождаемся-то зверятами. Только волчонок вырастает волком, поросёнок — свиньёй. А людёнок — человеком должен стать. Ему Бог душу даёт и совесть, таланты разные и волю проявлять их в делах на Земле. На небе-то или где-то там... мы ангелами живём. Без тела. Без рук вот таких сноровистых. А потому и должны налаживать свою жизнь своими руками и головами. Вот он смысл-то!

— Так просто... А почему в школе этого не преподают?

— А потому и не преподают, что просто! Каждый дурак поймёт и по божьему станет жить. А им надо, чтоб по ихнему жили.

— Кому — «им»?

— Тем, кто приказывает кому как жить. Хи-и-тро делают. Дворян учат дворянскому, купцов — купеческому, крестьян — крестьянскому... Да учат-то по написанному, а пишут — по приказанному, чтобы каждый знал свой шесток как сверчок. Думает каждый, что истину знает, а на деле-то помнит лишь то, что надо тем учителям, которые ваших учителей научили, кого чему учить... Понял заковыку? Здесь где-то корень зарыт! Выходит, есть какая-то сила, которая управляет людьми, дворянами и крестьянами, мужиками и бабами, социалистами и фашистами.

— Бог?!

— Бог учит «не убий»!

— Дьявол?! — улыбался Константин.

— Какой дьявол пойдёт против Всемогущего? Тут дело земное будет.

— И кто же тогда?

— Не знаю... Но примечая, есть сила, которая смысл жизни людей подменяет. Найти её надо бы! А ты у нас — розмысл! Вот и размышляй, как до истины добраться.

Внук посмотрел на деда внимательно, ожидая продолжения. Но дед молчанием своим показывал, что главное сказано. Кивнул Константин. И ушёл, усмехаясь.

4. Он и она

Проводив внука размышлять, сам Гаврила Матвеевич окунулся в другие раздумья, как добраться до своей любушки. Вот ведь напасть: седина в борю, а бес в ребро, тормозит и пониже опускается, поднимая неуёмное мужское естество. Догадка так и плескалась в голове, что после письма дочери Ольга Сергеевна простит все его проделки, а так как было то, что было, то и противиться не станет. Если немного разве... чтобы не сразу сдать.

И всё же боялся, нахрапом-то... Тут всё как праздник светлый должно быть, а не этак вот: не медведь дерёт, мужик берёт... Э-эх, деревенщина, за то и получил пинка... По заслугам. Как на глаза ей показаться?! Прости, мол, дурака старого... А зачем ей дурак, да еще старый?.. Вот как вляпался! Как быть-то, а?.. У Бога милости не попросишь, стыдно. И своего ума не хватает... И жизнь без неё не в жизнь! Вот ведь, война полыхает, а тут в маяте, как юнец...

И вспомнилось ему давнее, озорное да бедовое... После проводов Маши он отдал цыгану лошадь с повозкой и застрял в таборе у Лидолии. Молодая цыганка потеряла мужа, убитого где-то за конокрадство. Узнав его беду, она взялась за червонец золотой, — два их он выкрал из дедова тайника, — вернуть её Гавриле влюбленной, как мартовская кошка.

— Сама придёт! И молить тебя будет. Всё-всё отдаст тебе. Женишься, богатым станешь. Не жалея червонец. Тыщи их будут у тебя. В каретах станешь ездить. Присушу её... Только о тебе будет думать, с ума сходить... Сама приедет к тебе, умолять станет: «Женись!».

— А как?

— Как скажу, так и будет.

Они сидели на свежескошенном сене, копну которого он своротил для удобства. Яркая луна освещала восторженное лицо цыганки, черную нитку бус, кофточку с расстёгнутой первой пуговичкой.

— Закрой глаза.

А он не мог их закрыть, пляясь за отворот кофточки. Цыганка рассмеялась, колыхнув грудями. Пальцами закрыла его веки и притянула к себе, ложась на сено.

— Её увидишь закрытыми глазами. Не открывай их и жди...

— А что будет?

— Что скажу, то и будет, то и сбудется. По деревьям с ней ездил?

— Ездил.

— В поле ночевали?

— Нет.

— Видишь её сейчас?

— Вижу..

— Она с тобой здесь, не я, — шептала Лидолия в ухо, касаясь руками в

разных местах. — Телега у вас сломалась... В ночи остались, вдвоём... Холодно... Всё тепло ей от тебя... Рядом лежит... Слышишь запах одеколона?

— Да-а...

— Боишься тронуть её?

— Ага... — кивал он.

— А ей холодно... Обними, чтоб теплее стало... Не тискай, барышня ведь... Только её сейчас видишь, чувствуешь, трогаешь. Меня нет... Всё она говорит... Ты любишь меня? — пискнула другим голосом.

— Да...

— Целуй...

Обомлел: а можно? Ощутил губы на своём лице и сам стал целовать, неуклюже тыкаясь. Её руки остановили эти тычки, а губы охватили его губы в горячем и сладостном поцелуе. И отошли руки, оставляя право продолжать. Опустились ниже, расстегивая пуговицы на вороте рубахи; еще ниже — развязав пояс с гирьками на концах, еще ниже...

— Ласкай...

— Машенька... Любимая... — шептал он и делал всё, что помогала ему делать она, что и сам знал, не имея опыта...

Ощутил и боль, потому что впервые познал женщину. И несказанное блаженство испытал, к которому вел инстинкт. И долго не открывал глаз, боясь потерять любимую. Да и хотелось ещё и ещё...

— А она... приедет?

— Приедет! Теперь приедет! Всех бросит, чтобы к тебе приехать.

— А почему она приедет? Не Мария была, а ты...

— Потому что колдовство. Её тут не было, а чувства твои были?! Ее любил, целовал?

— Её!

— Тогда приедет! Обязательно.

— Может, ещё надо. Усилить...

— Червонец есть?

— Завтра принесу.

— Без золота силы не будет. А в табор больше не приходи. Здесь жди.

И ушла сразу, завернув за копну.

Приходил сюда Гаврила трижды, пока дед не хватился пропажи денег в своей кладке, копившейся с турецкой войны. Пришлось сбежать из дома в Питер, к своей присушенной возлюбленной. Долго искал. А нашел только статью в газете про её мучения...

Вспоминая так бывшее, Гаврила Матвеевич видел перед собой не цыганку и не Марию, образ которой давно расплылся, а представлял Ольгу Сергеевну. И ей посылал свои мысли и чувства любви и нежности, её ласкал. Ох, как же хотелось это сделать не мысленно, а в яви...

* * *

Ольга Сергеевна заканчивала писать дочери письмо, в котором рассказала о Валдаевых, о том, как приходили к ней Галина Петровна и Василиса расспросить о Саше. О Гавриле Матвеевиче ничего не писала, сердясь. Но сейчас почему-то он всплыл в её голове каким-то другим — ласковым и добрым... И подумала, что напрасно сердилась. Ведь любит её, давно это видит. И боится своей старости, как догадалась. А си-и-лен, медведь! Берёт он, видите ли!.. Обрадовался, дурачок... — вспомнила она с усмешкой свершив-

шея у них... нечто. Задумалась и почувствовала непонятное волнение. Его нет, а словно присутствует... И лицо запылало, как от его поцелуев, и ласковые касания пошли по всему телу тут и там... «Так хочу его? — удивлялась себе. — Хочу, чтобы сгреб, как тогда... Опрокинул... О, нет! Не будет этого», — убеждала себя. Но почему-то встала, подхватила чёрный полушалок и, не гася свет, вышла из дома. Зачем? «О Саше расспросить... Узнать адрес его... А может, он тоже прислал письмо. Или пришлет...» — говорила себе, выйдя на улицу с редкими огнями в окнах, и зашагала быстро в другой конец села.

Гаврила Матвеевич распалил себя так, что не мог оставаться в бездействии. Вот уж не думал, что загорится так — не потушишь. Не пил бы, не ел, всё на милую глядел. «Взгляну только и уйду» — решил он. Перекрестился — и за порог, в сумерки. Через огород к речке. К милой и семь верст — не околица, а напрямиком — миг.

Прошагал порядок бань, вышел к крутояру. Пригляделся, где тут Сашка тропинку протоптал. Изловчился и оказался в саду.

В доме горел свет. Из тени яблони заглянул в окно — пусто в комнате. Подождал. Долго ждал — нет движения там...

Постучал веточкой... Та же тишина.

Пальцем постучал — и опять нет никого.

Поднялся на крыльцо — дверь открыта. Покашлял. Вошёл в дом — нет никого. Смущённо вышел и сел на ступеньки, решив, что к соседям ушла хозяйка. Стал ждать. А что ещё делать?

Ольга Сергеевна пошла улицей. Дошла до Валдаевых и встала в недоумении: зачем пришла? В окнах избы — чернота. В большом доме горел свет на кухне и погас. Спать улеглись...

Пристыженная своей глупостью, она повернулась и быстро-быстро пошла домой. Почти побежала, боясь встретить какую-либо парочку своих учеников. Почему-то казалось, что они узнают, зачем она ходила сюда. Сама!.. Без зова... «Нет, нет, с этим надо покончить раз и навсегда», — решила она.

Издали увидела свет в окнах дома и рассердилась на себя: надо же — свет забыла выключить ради него. А он... дрыхнет. И зачем он нужен? — выговаривала мерцающему в голове образу Гаврилы Матвеевича, вспоминая, как он там адил на гулянке, зачаровывая и парализуя её волю. Отнял дочь! И там, в баньке... Не было такого с ней никогда... Так всё мощно, стихийно и полно, что и сейчас ещё при каждом воспоминании возвращало её к оборванным чувствам, заставляя сожалеть... и смеяться. Чудит... На реке... песни пел. Здесь — мог бы прийти. Без колдовства... Когда-то читала она про такие пассы в досоветских книжках, не верила им, до этого вечера. А может быть, и не колдует, а в самой все это... пробудилось... Ой-ой, не знаю... В такое-то время! Вдруг!

От калитки до крыльца шла тихо, не поднимая глаз. А вскинула их — и увидела его, сидящего на крыльце.

Он был в той же своей праздничной гимнастерке, статный и властный. Быстро поднялся и как хозяин подал ей руку опереться, повёл по ступенькам вверх.

Вошли в комнату. Она отошла от него и занавесила окна. Повернулась к нему.

— Ужинать будешь?

Он отрицательно помотал головой: нет! И смотрел ей в глаза, вопрошая и не торопя.

Она подошла к постели. Сняла покрывало, разобрала... Прошла к выключателю и погасила свет. И тогда только подступила к нему близко... Он обнял её за плечи и стонуше шепнул:

— Прости меня...

Он приходил к ней ночью, когда в окне, выходящем на реку, гас свет. А до этого бултыхался в воде, остужая разгоравшееся пламя.

Поднимался в сад... Войдя в открытые двери, закрывал их за собой; шагая к спальне, ронял на пол одежду и...

В свою любовь они окунулись, как в омут. Она принимала его в свой океан чувств. И он в нём тонул, отдавая всё без остатка, без осознания времени, без сохранения личности. «Я» превратилось в «мы». А это «мы» спешило понять себя, докапываясь в каждом «я» до самого малого, и всё это малое было им так же дорого, любимо, интересно, нескончаемо...

Он узнал весь её путь с младенчества в семье мелкого чиновника. Как училась в гимназии и на курсах, как влюбилась и вышла замуж, была благополучна и счастлива... И как всё рухнуло после ареста мужа, оказавшегося «врагом народа»... Ей отдали его разбитые очки — единственное свидетельство его смерти; из квартиры выгнали... Скитались с дочерью где придётся, пока не получила место учителя в Петровском...

Всё услышанное от неё прошло через его душу как своё, самое близкое, тут же и пережитое до всплеска чувств, в чём-то увидено догадкой, и даже подсказанное ей: так ли было? Это его свойство больше всего удивляло и восхищало Ольгу Сергеевну, помогало раскрыться самой и понять его мужичью необычность. А понять ей было трудно, потому что приходилось преодолевать эту его необычность. Оказалось, стыдится, про самое главное — любовное сказать. Про женитьбу свою рассказал без утайки своих измен, а про любовь к революционерке пришлось окольно выпытывать. С трудом пришлось и до его колдовства добираться. И не потому, что очень ей было надобно убедиться в его способностях или иллюзиях. Хотелось о нём знать всё. И недосказанное им разжигало интерес до стихийного пожара.

— А знаешь, где я была, когда ты ждал меня на крыльце?

— У меня.

— С чего ты взял? — удивилась она и даже растерялась от столь неожиданного ответа. — Колдовал... Или, как тут у вас называется, — присушил?! Признавайтесь, Гаврила Матвеевич.

— Неужто веришь? Учительница! Директор школы... И веришь в чертовщину.

— В школе я должна быть атеисткой, материалисткой. Говорю, что Бога нет, есть только Карл Маркс и его учение на ближайшую вечность. Но ты не сворачивай разговор, хитрец. Я действительно была возле вашего двора. Пришла ни с того, ни с сего... Удивилась. А если ты знаешь, что я была там, то получается, как-то воздействовал. Колдовал?!

— Люблю тебя, вот и все колдовство, — ласкал её, целуя.

— Да мало ли кто меня любит. Я же не бегу к ним ночью...

— А кто любит?! — грозно рыкнул. — В деревне все про всех знают. Не сказывали про других.

— Про тебя знают?

— Что ты... Старик... — прокряхтел ей. — Ты мне и в дочки мала. А к внучке кто припишет? Не тревожься.

— А почему решил, что я к тебе пошла? Вдруг! Встала и пошла...

— Я позвал. Потому и пошла.

— А сам в то время на крыльце сидел, поджидал меня. Нелогично получается, — приподнялась она, чтобы глядеть ему в глаза.

Луна проникала в спальню через два окна. Одним брусом света освещала лицо деда, позволяя ей увидеть его лукавство и упоительное довольство собой, а ему — её нависающие над ним груди, дозволенные для ласк, и смущение на лице от копаний в их счастливых переживаниях.

— Учительница моя сладкая, непонятливая. Ты пошла ко мне потому, что слышишь мой зов. А слышишь потому, что полюбила меня. Это надо было узнать после того...

— Узнал?

— И всё поверить не могу.

— А если бы я уселась у вас на скамейке поджидать тебя? До утра... Или с горя бы утопилась!

— Тут промашка получилась. Про это горе-то не подумал.

— Тогда вставай, — встала она с постели и, прежде чем включить свет, занавесила окна. Оделась и его поторопила подняться.

А он тянул время, любовался лебедушкой своей. До чего же была красивой — и вся, как есть, доступной ему. Своя!

Через кухню они прошли в кладовку, где она отодвинула старое кресло, увидев которое Гаврила Матвеевич обомлел — Колькино! С его хутора... То самое, в котором сам он когда-то сиживал с внучатами на коленях, в компании с паном Игнацием. Вмиг все это всплыло, кинув его в горестное прошлое, хранившееся в нем с болью.

Потрогал кресло... Оно! С остатками срезанной кожи. После раскулачки досталось, видимо, старому директору школы, да без кожи не пригодилось. И простояло здесь многие годы, чтобы напомнить ему о былом, вернуть в ад воспоминаний.

Она еще что-то отодвинула, переставила... Добралась до большого сундука и открыла его — наполненного книгами. Вынула несколько и протянула ему с уличающей насмешкой в глазах, мол, тоже знаем ваши хитрости. Книги те были про хиромантию, магию.

— Что скажешь?..

Он подержал их, взвешивая. И вернул.

— Чертовщину не читаю...

— А как же колдуешь?

— Любовью.

Такой простой ответ поставил её в тупик. О колдовстве и магии любовью в этих книгах действительно не писано. Удивилась опять своему возлюбленному.

— А в каких книгах про любовное колдовство читал?

— Да я... — смутился он. — И не читаю их...

— Книг не читаешь?

— Угу... Мужиковать — поле пахать, навоз убирать... Когда ж тут читать?

— Понимаю... Но ты... Не обычный мужик. Просвещённый... Вожак! А таким надо читать.

— Зачем?

— Чтобы знать людей... А потом, как же не знать Пушкина, Достоев-

ского, Толстого? У нас прекрасная мировая классика... Это несметное богатство...

Он покорно приблизился к ней, обнял и закрыл поцелуем рот.

Потом на кухне пили чай. Затронутая тема не давала покоя Ольге Сергеевне, и она опять вернулась к ней, стараясь понять его нежелание читать книги, а значит, и разделять с ней радость познания человеческих судеб, идей, мыслей... Он понимающе кивал и гнул свою линию.

— Зачем про мёртвых людей читать, когда живые вокруг? Мне про них интереснее знать.

— Про них ты узнаешь только сплетни. Кто что сказал, кто что сделал... А в книгах даётся анализ, обобщение, оценка...

— Сам разве не оценю? Что ж тут не так?

— Не понимаешь?

— Понимаю, что каждый сверчок думает про свой шесток. И писатели надурить хотят. Одни от нужды придумки всякие пишут, чтобы целковый заработать. А другие — в свою веру заманить, в свои полки поставить... У каждого своя корысть. И какой резон разбираться в них? Скажи-ка, если знаешь.

Она не знала, что ответить. Но ведь и не ответить не могла. Вскинулась... А что говорить, когда он прав. Сама-то сбежала от жизни, чтобы не знать ничего, закрыться от всех, уйти в мир книг этого случайно доставшегося сундука. А вот она — реальная. Сидит перед ней. Старый, а моложе молодых. И битый, а непокорный. Неотесанный — чай пьет со звуками, — а мудрый. Так что не подступишься к нему со всей педагогикой. И всё же? Неужели он прав?

— Я не могу сказать. А ты заранее знаешь ответы на все вопросы?

— Догадываюсь... Мне бы тебя послушать, чтоб разобраться во всём, — сказал это и спохватился, а надо ли свой груз переключать на её плечи? Война сейчас столько бед всем нагрузит. И повернул разговор: — Радио слушала? Что там?

— Отступают. Киев сдали. До Волги дошли.

— Дошли — не перешли... И дошли-то в одном месте, чтоб посмотреть, какая она.

— А она — как море, — вздохнула Ольга Сергеевна. — Плыли мы с мужем до Саратова. Теперь всё как во сне...

— За что его взяли?

— За промпартию.

— А он был там?

— Состоял... Боролся. А с кем? За что? Глупость какая-то... Ты тоже? Хотел чего-то?

— Хо-отел...

— И чего?

— Глупость какую-то... — усмехнулся он.

— Не обижайся.

— Ни в жизнь. Я понял, что мужикам предназначено Богом налаживать лучшую жизнь. Сначала — семьи, потом села, страны... А чего улыбаешься? Договориться-то не трудно, когда все одного хотят. Да вот не получается никак ни в старине, ни сейчас. Нутром чувствую, кто-то невидимый управляет нами и шарахает из одной беды в другую. А мы — не разумеем. Кто он? Где отсиживается? Откуда правит? Где силы берет, чтоб сталкивать семью с семьей, народ с народом?..

— И ты думаешь о таких вопросах? — вырвалось у изумленной Ольги Сергеевны. — Боже мой...

— Да как же не думать, Олюшка?! Всякое дело с головы начинается, умом развивается, делами завершается. Все добра хотят, а получается зло. Выходит, не видят Кашея Бессмертного, не могут найти его смерть. Вначале думал: Бог так делает зачем-то. А рассудил: зачем ему, Всемиловитовому, глупости нам делать? Нет, не Бог!

— Дьявол?!

— В это не верю. Нет его у Всемогущего. В одной книжке вычитал как-то, что если нет Бога, то надо его выдумать.

«Все же читает», — удовлетворенно улыбнулась Ольга Сергеевна.

— А я думаю, что не Бога выдумали, а дьявола. И все козни на него спихивают, чтобы свои не показать, прятаться за ним.

— Сталин?!

— Нет, — тряхнул головой убежденно. — В революцию не знал его никто. Троцкий гремел! Ленин потом... Еще Свердлов. А в прошлом не было их, да такие же дела творились. Крутится в голове догадка, а не высказывается. Вроде как не человек, а люди... Не зверь, а жестокий... И большой, да невидимый... Вот загадка какая сложилась.

Он задумался. И она раздумывала... Не про его загадку. Впервые, наверное, поняла, как же высокомерна была с ним. Казнила себя за то, что снизошла до мужика. Посмеивалась над его словечками, манерами и деревенским форсом. Хотела поразить своей начитанностью, да оказалась отброшенной вместе с Шопенгауэром, Конфуцием, Гельвецием и прочими умниками из сундука. Вся ученость её спала, оставив духовно голой, как в постели перед ним. Бери, какая есть.

— Утро вечера мудренее, — поднялась из-за стола. — Будильник я завела. Пойдем спать. И знаешь что, — приблизилась к нему, давая себя обнять, и шепнула, — не приходи так часто. У тебя работа, надо выспаться.

— Да я...

— Тссс... — поцеловала, не давая договорить. — Мне тоже надо быть в форме.

Так кончился их медовый месяц, и начались будни войны.

5. Две правды

Война — не мать родна... Пока воин воюет — жена, дети горюют. И горя этого прибавлялось с каждым месяцем, а потом чаще, до дней дошло... Это когда зашагала беда по дворам, разнося «похоронки»... Квадратики бумаги с родным именем и зловещими словами...

Взамен убитых и покалеченных требовались живые. Забрали и ребят дедовой команды. Под плач матерей и сестёр бойко забрались они на полуторку, кричали, улыбались. Сопровождающий командир встал на подножку, пересчитал их, тыча пальцем, и не меняя озабоченности на лице, нырнул в кабину тронувшейся машины.

Константин не попал в эту группу и был обижен на деда. И записку его возил куда-то, и немецкий выучил так, что говорить стал лучше Ольги Сергеевны, как признала она сама. И вот ребят забрали, а он оказался не нужным. Притих. Смотрел подозрительно. И Гаврила Матвеевич понял, что разговор будет скорый.

Обучая парней своим хитростям, Гаврила Матвеевич заметил, что Константин не хороводил ими. Главным у них был Колька Сухорук; на него все поглядывали, сверяя, что всем делать. Сухорук был всех ловчее, живее. Всё приметит, оценит, отзовется... А слушался Константина, что тот ему скажет. Да и вся ребятня сразу стихала и прислушивалась, когда внук говорил: тихо, глядя в глаза и без лишних слов. Не самый главный, а все делали то, что он сказал, а потом Сухорук командовал. Интересно было это видеть деду и поучительно. Не водит ватажку, а всё по его делается. Вот ведь как растёт.

И вот остался один. Хмур. Задумчив. Время выжидает для нужного разговора, понял Гаврила Матвеевич, шагая с ним с проводов. И сразу повёл его к себе в избу. Сел за стол, кивнув ему:

— Говори.

— Что?

— Какую обиду против меня держишь.

— С чего взял, деда-а? — пожал плечами, но сел за стол для обстоятельного разговора.

— Вижу. Говори, как на духу.

— Это как?

— Как самому себе. Или как Богу. Без утайки. Он — всё знает, врать не даст.

— И ты скажешь, как на духу?

— И я! А как же иначе?!

— За что ты не любишь Сталина?

«Вот что его гложет», — понял Гаврила Матвеевич, выдерживая пристальный взгляд внука. Думал-то, начнет пытаться насчет записочки в военкомат, а он вон про что... А можно ли говорить ему про их вождя? Мал ещё... Воевать не мал, а знать?.. Так как же тогда?..

— А за что мне любить его, Константин Тимофеевич?

Внук ждал ответа на свой вопрос.

— Ты мешал организации колхоза.

— Я создавал его!

— Не советский.

— А какой?

— Кулацкий! Нам рассказывала про вас Ольга Сергеевна.

Услышанное оглушило Гаврилу Матвеевича. Это любушка-то его?! Замелькало перед глазами её лицо, переполненное счастьем, лаской, любовью. И потом только вернулось осознание: говорила-то классу... На уроке... Раньше... Как житейский пример. Понял, наконец, облегченно передохнул и стал слушать внука про свои кулацкие заблуждения.

— ...Сталин тоже знает смысл жизни, и нашёл исторически правильное решение. Провели коллективизацию и решили проблему с обеспечением продовольствия. Ты и сейчас не согласен с ним?

— Как же не согласиться! Жизнь стала лучше прежней. Факт! Так ведь и должно быть так. И после отмены крепостничества улучшалась. И с семнадцатого по двадцатый годы, знаешь, какая жизнь началась! Знаешь, как поднимались мы из ничего!.. Да мы бы горы сдвинули!..

— Стихийно... А сейчас организовано. По планам сталинских пятилеток.

— По пятилеткам — тоже хорошо, — одобрил Гаврила Матвеевич, поняв, что признаваться Константину нельзя.

— Сталинским! — повторил тот с нажимом, словно требуя признания.

— Да что говорить, — кивнул дед, подумав: «Вот и свой комиссар подрос». — Сталин умнее всех оказался. Го-ло-ва!

— Гений!

— А это что такое? Такого слова не слышал. Кликуха, что ли?

— Всенародное признание! Как самый умный, талантливый, честный...

Покачал головой дед: не то! И пояснил:

— Честный — честью прикрыт. Титулом. Званием. Хорошо с честью, достойно. Да ведь не велика честь, когда нечего есть.

— А мама говорит, ты справедливый...

Поглядел дед на внука. Как быть-то? Деликатно, а вклеил крепкую оплеуху. И глаз не спускает, дожидаясь, что ответит ему.

— Всяк человек ложь — и я тож. А «справедливый» — значит «с правдой», «ведущий». Только вот беда какая: правд у людей великое множество. Посчитать если, у каждого — своя.

— Правда всегда одна! Иначе это не правда.

— Да как же одна, подумай. Есть дворяне и крестьяне.

— Были. Ну, и что?

— А то, что для дворян заставлять крестьян на себя работать — хорошо, а для крестьян горбатиться на барщине — ох, как плохо! Вот тебе две правды. И сейчас они те же — две.

— Какие?

— Народ хочет жить по-своему, а партия велит — по-своему!

— Партия — тоже народ. Только самый умный. Ты не понял, и за это сидел там...

— На каторге не сидят. Тамдохнут от труда, голода, холода, вшей, болезни... По воле партийных вождей. И опять две правды, приметь. Их правда в том, что народ держать надо в узде, армию — на цепи, служивых — в страхе. А у народа своя правда, Богом данная. Человеком становиться. Самым главным быть!

— Как это, главным быть?.. У нас главный в стране — Сталин.

— А должен быть ты. В стране каждый человек должен быть главным для всех.

— А если он, к примеру, дурак?.. Или вор?.. Или...

— Такие не в счёт. Праведников бери.

— А много их, праведников, в нашем селе?.. В стране?..

— Начинай с себя счёт, с семьи... Ну-ка, перебирай...

Костик задумался, и по лицу его поплыла улыбка радостного удивления. Восхищённо уставился на деда.

— Вот не думал никогда... Деда-а, а почему же тогда. И воры есть, и враги народа?

— Может, потому, что рабами не хотят оставаться. И ловчат, кто как может. Одни — воруют, другие — воют.

— А при чём здесь рабы?.. Рабство отменили давно.

— Да как же давно, Костенька?.. В округе ещё полно старух и стариков, родившихся крепостными. И сейчас мы все РАБотники. Получаем зарплату за РАБоту. Так что опять стали РАБами. Или не так?..

— Я понимаю, что здесь исказили смысл жизни. Но где тогда хозяева, капиталисты?.. Не по-твоему получается.

— Верно! Вот ведь заковыка какая... Капиталистов нет, а рабство осталось. И две правды. Тех, кто работает. И тех, кто заставляет работать.

— Да в чём же?.. Где?.. Ты совсем запутался. У нас содружество... Все равны. И все трудиться должны. А кто не хочет по-нашему, тот...

— Враг народа, — продолжил Гаврила Матвеевич, увидев заминку внука. Деликатный парнишка-то.

— Я не говорю про тебя. Ты заблуждался... Простили. Но трудиться ведь все должны. Чтобы жить и защищаться.

— Ох как надо, внучок дорогой!..

— А что ж ты тогда... против Сталина?

— А потому, что моя правда не принимает его правду.

— Какая она?..

— У него-то?.. Народ под страхом держать. Не живи, как хочешь, а стань, как ему надобно.

— За это его ненавидишь...

— За это! — сказал, следя за выражением глаз внука. Оно было изумлённым и растерянным, смущённым и насторожённым. Знал Гаврила Матвеевич, что после таких выражений лица бывает...

— Ты чего сомлел?! За деда или за себя вспугнулся? Я, Константин Тимофеевич, за своё отсидел. Поделом частью... Там только и понял, что не туда гнул, куда надобно. А тебе сразу надо понять главное, чтобы не ошибиться.

— В чём это... главное?

— Про смысл жизни забыл! Жить бы каждому по талантам своим да Божье дело на земле сотворять. Так нет же. Нашлись такие, кто захотел эти таланты под себя прибрать. Создали рабство. Отбились от рабства, как твой Спартак, так народ в крепостничество загребли. А сейчас нам социализм придумали. Чтоб отнять всё личное... А без личного как талант проявлять? Кто первым взбунтовался, их в тюрьму бросили, в лагеря. Врагами народа заклеямили, чтоб другой мысли не появилось у людей.

— Я не считаю тебя врагом...

— Дураком считаешь? Выжившим из ума?

Костик молчал, поджав губы.

— А если заранее так считать, не решив вопроса, то и сам в дураках останешься.

— Но ты сам уклонился.

— А может, нарочно? Чтоб поглубже тебя окунуть в вопрос. Ведь фашизм-то такой же, как социализм. Потому и дружил Сталин с Гитлером. Лес-то мы для него рубили... И руда, зерно — эшелонами шли в Германию. А оттуда — станки, моторы...

— Почему же тогда — война?

— А война потому, что два паука в одной банке не уживутся. Кто-то из них должен слопать другого. И ресурс набрать. Тесно в Европе Гитлеру. Ему просторы нужны российские, и руда, и нефть... Ещё, чтобы рабами нас сделать. Так и объявил своим: как завоюете русских рабов, каждый станет хозяином, получит по колхозу. Вот и вся политика.

— Гитлера! А Сталина?

— А он загодя сделал нас рабами. Вернул в крепостничество. И сейчас удержать хочет, что имеет...

— Сталин для народа старается.

— Ну-да!.. Заботится, как пастух о своём стаде. И любить себя заставляет. Расстрелами и тюрьмами.

— Способ управления... Всегда так было.

— Но ты же не заставляешь, а руководишь.

— Я?! А при чём здесь я?

— Вот и подумай... Как получается, всей ребятней вашей командует

Колька Сухорук. А Колькой командуешь — ты. Видел я: пошепчешься с ним, он тут же всем говорит от себя. Вроде бы он руководит, а всё делается как ты сказал.

— А я не... замечал. Не думал... — растерянно признался Константин, польщённый открытием своего неожиданного таланта.

— Ты не знал... А те, кто знают, управляют так людьми.

— Со стороны?

— В школах учат, по радио говорят, в газетах и книгах пишут, в кино показывают всё что надо. Всяк думает, что сам всё узнаёт. А на деле помнит лишь то, чему учили, наставляли, приказывали. Вот так и Сталин внука моего от родного деда отделил.

Гаврила Матвеевич поднялся из-за стола, завершая разговор. И Константин вскочил с табуретки, припал к нему:

— Деда-а, ты чего? Обиделся... Я люблю тебя... Мне понять надо. А ты сейчас такое сказал, что всю жизнь буду помнить. Ты сказал такое!.. Знаешь какое?! Это открытие... Прорыв!

Не понимал Гаврила Матвеевич, какое там открытие сделал внуку, но видел, что вернул его себе. И был счастлив.

* * *

Счастлив-то счастлив, а догадка не приходила, отчего так обрадовался Константин. Чего он наговорил такого, что каким-то открытием назвал... Отмахнулся поначалу. Мало ли чего дитя лепечет, умиляя родню. Но тут не дитя. Вон какие книжки читает, — оглядел дед с почтением книжную полку внука. Это ведь всё надо было заучить да пятёрки получить. А Константин против Сашки только пятёрки приносил, ещё и книжки из школьной библиотеки. В семнадцать лет такие молодцы — сам видел — полками командовали. Он же, старик, сообразить не мог, что угораздило наговорить, отчего внук родной возвеличил до генерала. Пришлось до ночи терпеть, чтобы рассказать любушке своей.

— Боялся, что обидится за резкость. Он же меня хвалить стал за открытие какое-то... А что такого открыл ему, разъясни.

Ольга Сергеевна налила чай, задумчиво соскребла из сахарницы остатки сахара — всё стало заметно исчезать — и аккуратно ссыпала поскребушки ему в чашку, пододвинула: пей.

— Правильно он сказал... Это из сферы знаний об управлении людьми. Не думала, что у нас рос мальчик, интересующийся такими проблемами. Хотя, где им ещё расти чистыми, как не в селе...

— Ну, а...

— При таких дедах!

— Хм... — не понял, хвалит или подсмеивается.

— Говорящих философскими сентенциями.

«Подсмеивается», — решил он. Слов таких не слышал, смысла не знал.

— Книг не читают...

Пригорюнился: и это верно. Гордился даже. Вот ведь деревенщина!

— А как скажут — во всём суть бытия: «Что посеешь, то и пожнёшь!», «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь». И так на все случаи жизни. Ёмко и просто до гениальности. Потому и гениального в себе не замечают.

«Вроде хвалит теперь».

— Ты мне попроще скажи.

— У меня нет ваших способностей, Гаврила Матвеевич. Городские кни-

гами говорят, а деревенские — смыслом этих книг. Не читанных и, может, не написанных. И ваш внук сказал вам об этом.

— Чего ж тогда я не понял?

— Переучились. Городским становитесь. Он ведь пословицами не говорит, как вы.

— Что ж ты меня величать так стала?

— Честь оказываю, Гаврила Матвеевич. За талант, за внуков.

— Не велика честь, когда нечего пить-есть.

— А ещё?

— Чего?

— Про честь...

— Да сколь хочешь.

— Только не говори «сколь», надо — «сколькo».

— А зачем тебе лишние буквы?

— Они не лишние. Так ведь благозвучнее.

— А «сколь» — правильное.

— Почему правильное? Кто так установил?

— Не знаю...

— Поняла! Здесь корень слова — «скол»... скол от камня — оСКОЛок, то есть часть целого камня. И «сколь хочешь» — от пословиц: четыре тома из словаря Даля.

«Опять непонятное говорит».

— Ну, чего ты хмуришься. Ваши пословицы и поговорки все изучены, записаны, изданы в виде книг.

— У тебя есть?

— У меня ничего нет. Видел, с чем приехала. Была дочь... Так ты украл.

Он заворочался неуклюже: вспомнила всё-таки.

— Как там она? — вздохнула Ольга Сергеевна. — Пишет — одета, обута.

Ни в чём не нуждается.

— Свет не без добрых людей.

— А кто добрым будет в такое время?

— И то правда.

— И где учиться?.. Летом?.. Просила написать. И вот получила ответ, — показала письмо, где несколько строк были густо замазаны чёрной краской. — Они читают наши письма. И замазывают, что им не нравится. Что не позволяют знать!.. Что нам не надо знать, исходя из их интересов... И твой внук это понял. Ты подсказал ему, что управлять людьми можно по-новому. Не по-привычному, когда офицер командует солдатами, хозяин — работниками... А со стороны, как твой Константин. Другьям принёс ружьё — они стреляют, привёл деда — учатся драться... Сталин так руководит.

Он посмотрел на неё взыскующе. И она ответила таким же взглядом. Оба поняли, что можно говорить и о таком.

— Враг он! Жандарм... — сказал, как прорвал переполненную плотину. И не мог остановиться, решив, что кому же, как не ей, рассказать про это. В случае его ареста она будет хранить тайну до лучшей поры.

Рассказал всё, что слышал от умершего следователя, что сам знал от других. Ольга Сергеевна молча слушала, обратив взгляд в свою поломанную жизнь... И долго молчала, когда он окончил рассказ и опустошённо сидел перед ней, глядя на остывшую чашку чая. Ждал, запоздало поняв, что вовлек её в свои беды. Добавил горя. А надо ли?.. Надо!

— Ты не тревожься... Не выдам под любой пыткой... А потом, когда можно будет — сама решишь, сказать кому или нет.

— Угу... — кивнула она, поняв, что кончился не только их медовый месяц, но и что-то ещё. И жалко было... И не хотелось изменений... И этого сидящего напротив любимого мужчину не хотелось видеть таким озабоченным, отчуждённым. Она протянула к нему руки, потянула к себе, слыша треск раздавленной посуды. Он понял её порыв, обогнул стол и обнял горячо, как было в первый раз...

* * *

Константина забрали вскоре. И как-то походя... Приехала чёрная легковая машина, вышел из неё офицер и приказал выглянувшему из окна председателю колхоза Теркунькову срочно найти Константина Валдаева.

Нашли его быстро. Посадили в машину и повезли.

Гавриле Матвеевичу пришлось встать на её пути, распахнув руки. Через стекло кабины видно было, как чертыхнулся шофер, пытаясь объехать старика, но офицер приказал остановиться.

Из кабины выпорхнул радостный Константин, обнял деда.

— Меня берут, деда-а! Как говорил... Маме, папе скажи... Всем! Прощай!

Поцеловал деда, прижавшись на момент. И убежал к объезжавшей их машине. Дверь захлопнулась за ним. И машина удалилась, уменьшаясь за поднятой пылью... А Гаврила Матвеевич стоял, потерянно глядя на эту пыль и переживая тот момент, когда ощущал объятия внука, его короткий поцелуй... И не хотел покидать это состояние родной близости. А оно таяло, уходило навсегда... И слова неслись запоздалые: «Родной ты мой мальчишечка! Не целованный... Как тебя опалит война? Свидимся ли?..».

Вечером у него в избе плакала Галинка.

— Как же они так? Проститься не дали... Уехал без всего... Я же какурочки напекла, сальце берегла...

Вскоре опять был общий плач. Уезжали всей семьёй Зыковы. Самого-то его назначили начальником цеха военного завода в Магнитогорске. Приехал он на грузовике из райцентра, чтобы забрать семью и успеть к поезду. Собирались торопясь, как попало тиская в узлы постель, одежду и обувь, перетягивали веревками. А Василисе ещё хотелось захватить патефон с пластинками, и никак не могла успокоиться, пока не пристроила его. Глянула на деда победно.

— А что? Будет ещё на нашей улице праздник!

— Будет, Васька, — одобрил её дед, смеясь. — Только велосипед-то не полезет теперь сюда. Оставить придётся.

— Кому тут ездить? А тебе к зазнобушке своей легче без велосипеда прыгать на обрыв.

Ляпнула так, что дед онемел, и чуть не задохнулся. Она же оглядела его и, пожалев, — прижалась к нему, целуя в щеку и шепча:

— Молчу, молчу... Никто больше не знает. Пока... Ну, дед! Семь бед! Несигрузи... Детей возьму, — и ушла в спальню.

«Ну, что с ней поделаешь», — крутил головой Гаврила Матвеевич, обижаясь и восхищаясь внучкой. Вот такая во всём! Всё — сплеча да наотмашь...

Галине успел наказать, чтоб сдержалась, не начинала плач: а то дети испугаются. Их наспех поцеловали, устроили в кабине среди узлов. Расцеловались со всеми и проводили со двора.

И оставшись втроем, дали волю чувствам. Галина плакала навзрыд. Тимофей смахивал слёзы, а дед стонал, озирая в душе расширяющееся пространство пустоты...

Часть шестая. ВОЙНА НАРОДНАЯ

1. Текущее

Немцы наступали, стремительно захватывая территорию страны. Подступили к Москве... В селах прошла дополнительная мобилизация и пошли на войну старшие по возрасту — Тимофей Гаврилович с ровесниками.

В прощальном объятии с сыном Гаврила Матвеевич только и мог сказать:

— Сколь раз прощались... Дай Бог, не в последний.

— Помоги колхозу, батя, — буркнул сын.

Увезли солдатухек... Разошлись и провожавшие их, разнося по селу плач.

Гаврила Матвеевич шагал к своей бригаде, размышляя над словами сына, сказанными в такой момент... По ним выходило, главная надежда для него здесь — колхоз. Бесправный и приказанный чужой волей, стал им чем-то дорогим. А чем — не мог понять.

Помогать-то помогал колхозу изо всех сил. Но что могли они решить взамен сотен других сил, отобранных войною. Зерновые закончили убирать в снегу. Картошка оказалась невыбранной. И сеном неполной нормой запаслись. И вообще всё не ладилось, разваливалось, страдало...

Зашёл в правление к Теркунькову, и тот с порога, не отрываясь от бумаг, объявил:

— Гаврила Матвеевич, бригадиром будешь. Вместо Тимофея.

— Зачем тебе хлопоты с судимым?...

— Вернулся — нет вины. Дело знаешь. Руководишь, как вижу.. В общем, сейчас соберутся члены правления — утвердим тебя. Посиди тут пока...

«А чего сидеть без дела?» — осмотрелся он и увидел на стене большую карту страны. Подошёл к ней, прижал пальцем Минск, захваченный немцами, другим пальцем скользнул ниже, отыскивая другие сданные города...

— Возьми карандаш, — протянул Теркуньков. — Отметь. Всё помнишь?

— Как не помнить... По живому идут!

Комната заполнялась бригадиром и звеньевыми. Увидев Гаврилу Матвеевича, хмуро рисуящего черную линию отступающей Красной армии, они понуро рассаживались на скамейки вдоль стены, перешептывались.

Пришёл Дыреха. Когда-то давно, после Марысева, он руководил колхозом и сидел за этим столом... Пока не спился. На правление приходил по старой привычке, а ещё по праву партийного контроля, объявленного всем и всеми безоговорочно принятому. Только на этот раз Дыреха был не в рабочей одежде, как все, а принаряженно. Как бы подсказывая председателю, что готов к выполнению более важного дела, чем сторожить колхозный двор. Увидев Валдаева у карты, он понял, что освободившейся должности ему не получить. И сорвался...

— А ты чего карту пачкаешь?

— Отмечаю, что немец взял.

— Без отметок знаем... Панику тут наводишь?! Чтобы видели всё, как валит на нас?!

Гаврила Матвеевич смерил его озадаченным взглядом: всерьёз ли говорит?

— Кишка у них тонка, чтобы нас валить!

Дыреха не ждал такого уверенного ответа. Женщины оживились, стали просить рассказать им понятнее, что делается там...

— Ну, пожалуйста, Гаврила Матвеевич...

— Лектора нашли... — одёрнул их Дыреха.

— Да как же... Воевал он!

— Орден получил!

— Который ты спёр... — сказал кто-то шёпотом, как бы для себя. Но момент был общей тишины, и слова услышали все.

— А ты!.. — оглядывал Дыреха женщин, стараясь увидеть сказавшую, но они все онемели. — Кто сказал?.. Ты?.. Ты?..

— Что ты, окстись... А кто украл-то?..

— Чекисты взяли.

Гаврила Матвеевич опустил карандаш и мрачно разглядывал Дырёху. Тот не терял самообладания и, озирая женщин, заявил с прищуром глаз:

— А за такие слова на партийца и загреметь можно куда следует!.. Ишь, волю взяли...

— Чего раскипятился-то? — удивилась пчеловод Васёна. — Слух-то был. Помнит народ... А раз воевал Гаврила, вот и просим рассказать. Почему отступаем-то. Скажи, Матвеевич...

— Расскажи, — поддержал её Терекуньков. И другие заговорили враз.

— Поясни... Уважь народ...

— Ладно... — согласился Гаврила Матвеевич, и вернулся к карте. — Отступаем, потому что по-русски воюем.

— Отступая... — хихикнул Дыреха.

— Нет, Дмитрий Васильевич. Маневр такой есть у нас... В Европе-то — тесно. Там отступить — это всё терять. У нас территория большая, и тут отступать — врага легче бить. А потому легче, что наступающие в пять раз солдат больше теряют, против обороняющихся.

— Как же это?..

— Почему?..

— Глядите... Вот, к наглядности, Петр Степанович не за столом, а в окопе сидит с винтовкой. Одна голова выглядывает из-за бруствера. Он — спрятанный А я вроде как немец на него бегу с автоматом. Я открыт для его пули весь, как есть.

— Зачем тогда отступать?..

— Затем, чтобы в другом месте врагов встретить. И побить их побольше. Опять же патронами запастись надо, снарядами для пушек. Потому и говорят по радио: отступают на заранее подготовленные позиции.

— Сколько же отступать будут?..

— Во время войны с французами до Москвы отступали. И сдали её, чтоб Наполеона там голодом поморить. Пожар им устроили...

— И сейчас немцы под Москвой...

— Сейчас не сдадут.

— Откуда ты знаешь...

— Чего тут знать-то?.. Раньше столицей Санкт-Петербург был, а теперь — Москва. А столицы не сдают за просто так...

— Гляди, какой умник стал, — подал голос Дырёха.

— Не тревожься, Митрий Васильевич. На каждого умника дурак найдется.

— Тише, тише... — прервал их Теркуньков. — Гаврилу Матвеевича я назначил бригадиром вместо сына. Это вам говорю, чтобы знали все. Теперь о делах текущих...

Возвращаясь домой с собрания, Гаврила Матвеевич заговорил с невесткой про орден свой, о котором вспомнили в перепалке.

— Кто сказал, что он... спёр?

— Я, — призналась Галина Петровна.

— Ты?..

— Вырвалось... Как себе сказала, а получилось — вслух, — жалостливо посмотрела на свёкра, не зная чем ещё оправдаться.

— Откуда знаешь?.. Тебя не было, когда я упал. Тогда...

— Привезли тебя с орденом. Сама видела... Дырёха парнями командовал. Положили на кровать, ушли... Мы с Тимофеем раздевать тебя стали, а орден уже нет... Потом из района приезжали забрать орден. Грозили нам... Я сказала всё, как было, — к Дырёхе ушли.

— Ладно... Что горевать. Прожитого да пролитого не вернёшь. А вернёшь — так отнимут. Не отнимут, так с жизнью заберут ...

Невестку уговорил не вспоминать былое, не берeditь душу зря, а само... не справился. Поплыли перед глазами картины виденного и пережитого в те дни, о чём не хотелось вспоминать. Даже о добром, чтобы не трогалось связанное с ним злое и беспощадное...

Приехали за ним на другой день, как только он стал вставать и первый раз вышел из дома глянуть на улицу.

Постоял всего-то чуток, потому что глядеть было не на что... Пустая была улица. И притихшая, без обычных тут и там хозяйских окриков на скотину и детских голосов. Вроде бы те же дома, ворота, палисадники... И не те, недельной давности... Какими знал всегда.

«Ну, да!.. — понял, наконец: скотину-то отвели со дворов, сдали в общее колхозное стадо, вот и опустели дворы, лишились былой жизни. И что же будет, если так навсегда задумано?..»

Представленное вызвало гневный протест, от которого появилась тошнота, и он поспешил закрыть калитку, пошёл в избу... Лечь... Забыться и уснуть...

Минуту, может, и стоял-то, глядя на улицу. Но кто-то увидел, доложил. И за ним приехали...

И увезли...

А потом был допрос долгий и суд скорый... Решала его судьбу «тройка»: два комиссара в гимнастёрках и баба в кожаной куртке. В тюрьме все знали, что она не только судит, но и расстреливает мужиков. Первую пулю посылает в низ ширинки штанов. И когда попадает в нужное ей, а мужик сгибается от боли, — тогда только с мстительной усмешкой добивает выстрелом в затылок. Вот что предстояло пережить, понял Гаврила Матвеевич, увидев её в комнате трибунала. И взмолился:

«Господи, помоги! Помилуй, окаянного... Не жизни прошу, Господи... Смерть дай непостыдную... Ну, хоть сил поболее... чтобы превозмочь, не дать этой сучке развратной восторжествовать надо мной напоследок жизни...».

Не слушал он, что там бубнил председатель тройки, читая бумажку. И не понимал, зачем ему что-то читают заранее решённое и неопровержимое для него. Знающие люди в камере давно подсчитали стоимость его «прогрешений» перед новой властью, где одной зуботычины милиционеру хватило бы на пять лет. А тут борьба против линии партии!.. Да ещё создание подпольной «Трудовой крестьянской партии» агента империализма в правом уклоне ВКП(б) Чаянова. О такой партии Валдаев, конечно же, слышал, и вступил бы в неё, а потому не отказывался от приписанного ему участия в ней. Опровержения им не нужны. Осталось только Бога упросить...

— Не слышишь что ли?! — одёрнул его строгим окриком председатель

тройки. Он теребил листы бумаги и смотрел на него с недоумевающим интересом. — На Колчака ходил... За что орден дали?..

— Мост брал на Белой...

— Так это ты был?! — вскинулся председатель тройки и, распрямясь, с удивлением рассматривал его. Явно хотелось ему порасспросить, повспоминать о прошлом, но справа и слева поторапливали его толчками локтей, шелестом бумаг, которые надо огласить, чтобы работал конвейер перемалывания такого вот строптивного мужичья. Им этот бывший орденосец явно не нравился, злил, мешал.

— А ты тоже с нами был тогда?.. — спросил Гаврила Матвеевич тихо и неожиданно простецки и задушевно, чем поставил председателя тройки в неловкое положение. Воспоминания о других временах пробудили в нём что-то ненужное сейчас и неуместное в этой комнате, а потому изменился в лице, не зная, что ответить... Как ответить... И что последует, если правильно не ответит?

Выручила его баба в кожанке:

— Был!.. И остался с нами!.. А такие вот, как ты. Не будут больше мешаться!.. Всё!.. Моё решение — расстрел! Ты? — наклонилась она, чтобы видеть сидящего за председателем третьего, требуя поддержки.

— погоди... — отодвинул её председатель. — Сам его знаю... Ты же у Гая был?..

— Ага, у Гайка. Убили его...

— Знаю Гайка Гая...

— Не дожил... — услышал Гаврила Матвеевич свои слова, звучавшие против его воли. Против — потому что не мог их сказать. Чувствовал опасную ненужность таких слов в этой комнате, а они говорились им сами собой. И получалось, что командир их дивизии, герой гражданской войны тоже оказался бы сейчас в этой комнате перед тройкой. Но не дожил...

— Вывести!.. — приказал охране председатель.

Гаврилу Матвеевича вывели в коридор, поставили лицом к стенке ждать решения.

Вспомнив всё это, Гаврила Матвеевич как-то явственно понял, что Бог ему помог тогда... Вытащил из беды... Может, и говорил за него нужное, чего сам не мог сказать, перетрусив в последний момент. А потом от радости позабыл Божью помощь. Благодарность не выразил. Выпил горе до дна — и опять гульба. Э-эх... Стыдно стало так, что хоть останавливайся и молись посреди улицы.

И остановился. Повернулся в сторону храма... Персты собрал для крещения... Но увидел порушенные купола, и рука обессилена повисла. Храм их православный, построенный всем селом вскладчину, гудевший когда-то набатом и звеневший малиновым перезвоном, встречавший на жизнь и провозжавший на упокой, этот дом Божий превратился в зерновой склад...

2. Председатель

Пришла ещё одна беда — забрали у них председателя Петра Степановича Теркунькова, поставили руководить колхозами района. Для выборов нового председателя собрали колхозников в школьном зале, назвали кандидатуру: Валдаева Гаврилу Матвеевича.

Сам он сидел в последнем ряду, фамилию не расслышал, а спрашивать у соседей — молоденьких девчат — не стал. Но тут на него стали оглядываться. Кто удивлённо смотрел на него, а кто и с непонятной радостью.

— Гаврила Матвеевич, просим сюда, — объявил Теркуньков, встав из-за стола на сцене. — Председателем будем избирать тебя.

— Моложе нет разве? — поднялся Гаврила Матвеевич, поняв, что произошло.

Пошёл к сцене, где за красным столом сидел рядом с Теркуньковым председатель райисполкома Валовой и с интересом разглядывал его. Этот испытующий его взгляд заставил вспомнить те далёкие времена, когда отбивался от него, спасал свой кооперативный колхоз, встрял против «раскулачки». А вспомнив всё это, промелькнувшее в момент, — распрямился, вздёрнул голову.

— Что скажешь о себе? — предложил Валовой, поведя рукой по залу. — Пусть подумает народ и решит.

— А что тут говорить?! Не на гулянку зовут — на работу. И на ответ за неё... Там кто-то недоделает, — он показал рукой на зал, — а в ответе председатель будет. Так ведь?!

В зале после некоторого оживления вернулась на лица обычная хмурость и усталость; в глазах — недоумение: «О чем это он?».

— Как всегда! — согласился Валовой. — Но тебе власть будет дана, чтоб доделывать всё! По законам войны. Так говори, берёшься или нет?

— Так он же в тюрьме сидел, — выкрикнули из зала. — Зачем нам такой-то?

— Сидел, так отсидел положенное, — вступился Теркуньков. — Чего упрекать-то? А давай, тебя выберем! Ты у нас не сидел ни в тюрьме, ни в президиуме. Ну-ка, кто за Клеща руку поднимет? Смелее, товарищи... Нет таких?

Гаврила Матвеевич обвёл взглядом зал и тоже не увидел поднятых рук. А на него смотрели сумрачно, словно ждали чего-то и не верили, что получат ожидаемое. Поднялся на сцену.

— Не стану ничего обещать... Работать — буду!

— Так-то лучше, — торопился Теркуньков. — Кто за Валдаева, прошу поднять руки.

Руки поднимались... Ещё, ещё... Совсем много их стало. Кивнул Теркуньков и приказал секретарю комсомола:

— Считай, Дуся.

Так неожиданно и нежданно Гаврила Матвеевич стал новым председателем колхоза. Смотрел на лица избравших его людей, и молчал... Все были они близкие ему или знакомые. Кое-кто сочувственно улыбался, кто-то одобряюще кивал, встретившись взглядами: мол, мы с тобой... Подростая без него молодёжь тоже была понаслышана о нём — в деревне про всех всё знают — и радостно тянулись их руки, чтоб не пропустили счётчики.

Увидел он и Ольгу Сергеевну, стоящую в дверях зала. Лицо сияло удивлённым восторгом ярче лампочки под потолком. И Гаврила Матвеевич воспринял происходящее с какой-то иной стороны. Такой взгляд её снял внутреннее напряжение, заставил улыбнуться, оценить происходящее и озабоченность людей: им работать с ним... Что сказать, когда изберут сейчас... Ведь и вправду изберут, видел он поднятые руки.

— Ну вот, Гаврила Матвеевич, — улыбнулся Теркуньков. — Поздравляю... Скажи народу как председатель.

Кивнул он и подошёл к краю сцены. Мелькнула мысль сказать о последних словах Тимофея... И отбросил её, убоявшись чего-то.

— Что говорить в такое время?.. Не праздник у нас... Война!.. Поменьше говорить будем да побольше делать. А о делах говорить с каждым начнём с завтрашнего утра.

На этом и остановились. Разошлись.

* * *

После этого собрания, проведённого в зале их школы, Ольга Сергеевна особенно желанно ждала его. А он не пришёл...

И следующую ночь ждала. Электричества не было, отключили село. Жгла керосиновую лампу, поставив её ближе к окну, чтобы видел огонёк. Остаток керосина сгорел. И тоже не пришёл...

* * *

Это неожиданное избрание председателем колхоза особо не удивило Гаврилу Матвеевича. Объяснил себе просто: на безрыбье и рак рыба. А тут ещё и война...

Она грянула как гроза, которую давно ждали. Неминуемость её понимал народ. И если кто-то путался в смыслах пактов, заключенных Молотовым с Германией, не понимал схватку с финнами, захват территорий Прибалтики и Польши: «Зачем нам? Своей земли, что ли, мало?», то Гаврила Матвеевич прозорливо уловил, почувствовал нутром, что война давно идет... Незримая и напряженная. Подминающая миллионы судеб. И его личные беды шли от этой войны. Потому что мешал ей на дорогом ему маленьком плацдарме села Петровское, которое хотел отстоять. Противился созданию нужного войне колхоза и протаскивал колхоз своей мужицкой мечты, в котором у каждого хранилось бы своё добро в своих закромах, где вроде бы все вместе, но каждый и сам по себе хозяин. А сейчас, когда стал председателем колхоза и взялся разбираться в его делах, неожиданно для себя увидел, какое ловкое хозяйство построил Сталин, против их-то желанного. Тут тебе не корова во дворе у каждого, а ферма со всем, что надобно на триста голов. Как бы колхозная, а — не твоя!..

И сепараторная есть, и сыроварня. Корма запариваются, навоз бережётся, на поля вывозится компостом. Слово это впервые услышал и узнал про удобрения. Поля пашет, засеивает и убирает МТС, а значит, не расхочуйся на собственную закупку дорожной техники — факт, что выгодно. Ещё тут, в активах колхоза, кузница, мельница, переделанная по-новому, пасека на семьдесят ульев. А самое-то главное, увидел он, что такими же хозяйствами стали соседние села и хутора. И не просто стали, а ещё оказались перевязанными единой силой, которая всё видит, контролирует и забирает произведённое в колхозе обязательными поставками и указаниями сверху, а более всего — ВКП(б). Всё колхозное, а не твоё!.. Вот и барина нет, а строгость во всём не меньше тюремной...

Тут только и понял, почему Сталин отодвинул таких смутьянов, как он. Всё предугадал, организовал по-новому воедино. Не хочешь, а куда денешься?.. Кому пожалуешься?.. Потому и заводы построил, армию вооружил. Войне нужны колхозы, не людям... Всех закабалит вновь, вернул в крепостничество.

Вникая в документы, обратил внимание, что многие из них появлялись волей работников райкома партии. То и дело попадались предписания, резолюции, требования лиц, на это не уполномоченных. Спросил бухгалтера, но только напугал женщину — онемела, отведя глаза в угол. И он понял

первую грань ему дозволенного: всё, что идёт от партии, не обсуждается, а исполняется. Выходит, и делалась она такой?.. Чтоб вместо бар за народом приглядывать, пасти как скот.

И вскоре столкнулся с этим. Раздался телефонный звонок. И услышал он:

— «Рассвет»? Валдаев?

— Да... Он самый...

— Утром быть в райкоме! — крикнули в ухо, как плюнули... И звякнул телефон, умолкнув. Кто звонил?.. Зачем зовут?.. Да не зовут, выходило... Выдёргивают!..

* * *

В райком партии добрался ко времени, а в кабинет не пустили.

— Паспорт, — протянула руку за документом секретарша.

— А у меня нет... Колхозник я... Не дают нам паспортов...

— Тогда справку, что колхозник...

— И справки нет...

— Как же приехал в райцентр?.. У вас что там, порядок не знают?.. Кто председатель? — раздражённо нахмурилась секретарша.

— Теркуньков был. Теперь меня избрали...

— Ах, да... Валдаев... Садись... — кивнула на стул и принялась с безразличием заполнять какие-то бумаги, задавая вопросы.

Окончив опрос, кивнула на стулья возле двери с табличкой «Первый секретарь райкома партии тов. Марысев Степан Егорович».

— Вызовут... Подожди там...

Пересел поближе к двери «посланца партии». Вон как поднялся-то!.. Представил, какой будет этот вызов и разговор с ним. Последний-то был давненько, и не ласковый...

Ждал долго. В приёмную приходили люди, присаживались рядом с ним, их вскоре вызывали, а он всё ждал... Пришёл первым, а оставался в последних. Поднялся, пошёл к выходу.

— Куда, Валдаев? — остановила секретарша.

— Лошадь поглядеть.

— Из окна посмотри. Привязана. Ждёт.

— По нужде надо...

— Гм...

Когда вернулся, ещё долго ждал, сидя подальше от двери тов. Марысева. И даже в сон ушёл на мгновение. Проснулся от окрика секретарши:

— Что позволяешь себе?!

— Что? А?..

— Храпишь...

— Уснул, что ли? Так ведь, старость — не радость. Когда почёта нет.

— Вы про что говорите? — заледенел голос секретарши.

— Про песню. Как поётся-то: «Молодым везде у нас дорога, старикам — всегда у нас почёт»...

— Вы беспартийный... Ваш вопрос будет в «разном», в конце заседания. Уже скоро.

«Что ж тогда вызывали к утру», — подумал так, и не стал говорить, откинув голову к стене.

Наконец, вызвали. Вошел...

За длинным столом сидели члены райкома. В торце — Марысев. Оторвался от бумаг для быстрого взгляда и спросил у Теркунькова, сидевшего за столом в ряду с другими:

— В курс дела ввели?
 — Да он... Сам всё знает.
 — Валдаев Гаврила Матвеевич, — читал Марысев для членов бюро. — Освобождён по истечении срока наказания... Прибыл... Работал конюхом... Избран председателем колхоза «Рассвет». Прошу любить и жаловать.
 — Что же, в «Рассвете» других кандидатур не нашлось? — спросил кто-то.
 — Избрали Валдаева.
 — Не работали с массами.
 — Какие массы? Одни бабы остались и старики.
 — А он силён ещё! — заметил военком, вспомнив: — Как он нас тогда, а?!
 — Вот ещё... — разглядывал бумаги Марысев. — Бригадиром был... Как работать будешь, Гаврила Матвеевич?
 — По совести...
 — У нас тут обычно говорят — по-советски. По-коммунистически ещё... Но совесть тоже сгодится.
 — Тогда ему дополнительное задание. Десять лошадей сдать, — подсказал военком.— Задыхаемся без тягла.
 — Не сдам!
 — Для фронта... Ты что говоришь?!
 — Не сдам!!
 — А говорили — отсидел, исправился...
 — Сеять скоро. Трактора забрали из МТС. Вся надежда на лошадей. Сдать лошадей — сорвать хлебозаготовки. А солдат без хлеба не солдат. Не дам лошадей!
 — Теперь вижу, не деградировал. Не подведет, — сказал удовлетворённо Марысев, обводя взглядом членов бюро. — Предлагаю утвердить кандидатуру Валдаева. Кто «за», «против»? Поздравляю, Гаврила Матвеевич. Желаем успехов. Время военное. Действуй! И лошадей береги. Вся надежда на лошадей... До свидания.

Вышел из кабинета... Из райкома... Взнуздal лошадь. Запрыгнул на тарантас, пустив Воронка в бег домой. И подумал о том, что говорилось там, до его вызова, и говорится сейчас, после ухода. Были цветики, теперь пойдут ягодки. До поры... Пока не возьмут в топоры... Старого дурака не перемолотишь, пока в могилу не уложишь. А мы ещё поживём! Хлеб, соль пожуём... попьём водички, как птички.

— Нн-о-о! Пошёл, Воронок! Застоялся...

3. Предрешённое

Из школы домой Ольга Сергеевна не торопилась. Дочери нет... И он не придёт рано, если придёт...

А здесь — вся жизнь, с её маленькими радостями. Вот и сегодня в тетрадке по русскому языку прочла под тройкой, поставленной за диктант, признание: «А я всё равно Вас люблю». Прочла и душа колыхнулась к добру и нежности...

В прошлом году девочка хорошо училась, а сейчас помогает матери на ферме и на огороде, и по дому.. В тринадцать лет! Хворост носит по снегу вязанками на шупленьких плечах, вспомнила она увиденную недавно группу школьниц, возвращавшихся из леса. И тихая радость сменилась заботой:

как им помочь? Да и самой нужны дрова: кончаются запасы. До войны ей привозил дрова колхоз, и мужчины быстро превращали корявые деревья в аккуратные поленья, удобно сложенные в дровяном сарае. Господи, так ведь и в школе нет, спохватилась она, вспоминая довоенные остатки. Что же делать?.. Он поможет, конечно же, разглядывала вставший перед глазами образ Гаврилы Матвеевича. Сама видела, как его избрали председателем колхоза и как это проходило. Хотелось рассказать ему о своей гордости, а он не пришёл и на третью ночь...

Обижалась на огонь, дожигавший керосин лампы. Погаснет, а он подумает, что не ждёт его...

На ветер сердилась за то, что шуршал листьями во дворе. Всё казалось ей, вот и пришёл! Вставала поспешно, торопилась к двери, распахивала... А там только темень и шуршащие насмешки ветра.

Он пришёл днем.

Вначале увидела его из окна. Приехал на председательском тарантасе с запряжённым Воронком, предметом восхищения всех мальчишек. Привязал коня к деревцу и, не торопясь, пошёл к дверям школы.

«Да что же он так?.. Открыто... — испугалась она, вскочив из-за стола. Метнулась к зеркалу.. Тут всё в порядке. И мысль пришла успокоительная: а как же иначе приходиться в школу председателю колхоза?.. Как встретить его?.. За столом?.. Нет... Из книжного шкафа взяла наугад книжку, открыла. Стих...

*О, когда б я назвал свою
Хоть тень твою!
Но и тени твоей я не смею
Сказать: «Люблю».*

*Ты прошла недоступно небесной
Среди зеркал,
И твой образ над призрачной бездной
На миг дрожал.*

*Он ушёл, как в пустую безбрежность,
Во глубь стекла...
И опять для меня безнадежность,
И смерть, и мгла!*

За дверью в коридоре слышался его разговор с уборщицей, мывшей полы. Всех-то он знает, помнит... Интересно, как войдет?.. Что скажет?.. Нет, как скажет?.. Ну, скорее же!

Наконец, разговор их кончился, и к двери приблизились его шаги. Ну?! Топтание... И деликатный стук.

— Входите, Гаврила Матвеевич.

Он вошёл, закрыв за собой дверь. Увидев, что она одна, облегчённо выдохнул и загреб её в объятия, да с такой силой впился в губы, что задохнулась она, раскрыв изумлённые глаза.

— То-о-оварищ... председатель колхоза! — пыталась образумить его. — Вдруг войдут.

— Там сыро ещё... Она не пустит.

— Сама любопытная.

Это остановило его. Он сел к столу, расстегнув полушубок. Ольга Сергеевна продолжала стоять, разглядывая его: «Вот как он... Без стихов и маяты безнадежности. Всё сразу и сполна!».

— Могла ведь вскрикнуть от боли...

— Неужто?!

— Сбежались бы учителя, ученики...

— Ах ты, мать моя богомолка! Не рассчитал. Шесть дней ведь не приходил, как повелела. Силы-то набрались, — смеялся он.

— И вообще, теперь вы здесь самое главное лицо.

— Не то слово, Олюшка.

— Что-то случилось?.. Думаешь, не утвердят?..

— И про это не думаю. Утвердили! Куда им деваться, когда на всю деревню осталось десяток мальцов да семь стариков... Я ведь знал, что меня изберут. Видение мне было загодя.

— Какое видение?

— Во сне привиделось.

— Как тебя изберут председателем колхоза?...

— Подумываю, посерьёзнее тут..

Он задумался, склонив голову, и в наступившей тишине уловил шорох за дверью. Заговорил веско и громко:

— В общем, так: чем можем, тем поможем. Дети тут наши учатся, как им без помощи?

Поговорили о других заботах, пока не увидели в окно уходившую из школы уборщицу.

— Ну! — поставила она книгу в шкаф. Какие «зеркала», когда тут живое всё, такое необычное. Села напротив него на другой стул, нетерпеливо торопя. — Рассказывай.

— Только тебе и рассказать можно такое... Н-да... Вот ведь как налаживает Бог.. Дивлюсь...

Она улыбалась, не зная, как его поторопить. И любовалась. Каждое слово его сопровождалось новым выражением глаз, губ, движением морщинок. Походило, что его такие раздумья порождались не головой, а всем существом. И это интересно было видеть ей и сопереживать.

— Добрый сон... За всю жизнь не видел такого! А привиделось, что едем с друзьями на телеге без лошади по холмам и долинам. Лето! Вокруг зелень. Цветы буйствуют и благоухают. И мы все молодые, чистые и влюбленные... И телега везет нас куда-то вверх... В горы красивые.

Она кивнула, оценив представленное.

— Подъехали к озеру. А оно не простое, а медовое. И пахнет так, что сейчас ещё запах чувствую... Берега озера — утёсами стоят. И все медовыми сотами покрыты. Из этих сот мёд стекает ручейками и речками, наполняет озеро.

— Красиво!

— Телега наша самоходная переехала мост через медовую речку и покатила дальше, а я спрыгнул и пошёл к пчеловодам. Их там несколько было. Молодые, как мы. И рыжие.

— Рыжие?

— Солнечные... А на лицах вместо веснушек соты проступают. Проявятся и уходят... Медовые ребята! Дали мне миску с кусками сот отнести друзьям. А я медлил. Очень уж хотел остаться с ними...

— Остался?

— Обиделся... Пока мешкал, мёд-то у меня утёк из миски, остались пустые соты. Вот и обиделся.

Она качала головой, переживая за него и досадуя.

— А один пчеловод, говоривший со мной, сказал, что медовое озеро могут видеть только хорошие и добрые люди. Плохих и злых пчёлы не пускают. Зажалят! А меня даже не тронули крылом.

Ольга Сергеевна облегчённо передохнула.

— Ещё сказали, что медовое озеро — это неисполненное счастье людское... Все добрые помыслы стекают сюда, превращаясь в мед. И если придёшь сюда некусанный, поешь этого мёда, то всё задуманное исполнится, как мечтал.

— А меня жалят пчёлы, — вздохнула она с грустью. И спохватилась: — А дальше что?

— Наполнили миску кусками сот, и я побежал с ней за поехавшей в гору телегой...

— Мёд попробовал?

— Вместе ведь надо... Со всеми!

— Дорогой ты мой, невенчаный... Что сказать тебе могу? Вещий сон. А куда направлен — не знаю. Одно вижу — за пределы села. А может, и жизни нашей... Сам-то что думаешь?

— И сам так думаю. Война! А в Кремле жандарм сидит. И немцы наступают. Поморщилась она: не про то говорит.

— А ты догнал уехавших, чтоб медку вкусить?

— Не знаю... Может, и не догнал.

— А выборы? Догнал, выходит.

— Знал я, что меня изберут. Надёжней-то в селе никого не осталось. Война... А она долгой будет.

— Почему так думаешь?.. Остановятся и пойдут в наступление.

— Скоро не остановятся и не пойдут...

— Ты ему не веришь?..

— Ко всякой войне готовятся. До-олго...

— И мы готовились.

— Угу!.. — кивнул он, задумавшись. — В военной науке немцев есть стратегия, как быстрее и побольше людей поубивать. Готовясь к войне, они прежде создают запасы. Чтобы хватило их для победы. А начав войну, мобилизуют все силы и ресурсы, чтобы скорей победить. Тот, кто обороняется, наоборот, старается всячески растянуть время войны. И когда выдохнется противник — тут и сокрушает его. Так что долгой война должна быть, Олюшка. Долгой...

Она с удивлением смотрела на него, поразившись познаниям. Откуда?.. Хотя... ведь командовал... Изучал... И так ненавидит *его*...

— Тогда не торопись с выводами. Я тоже обижена Сталиным. Но работаю в школе, построенной в советское время. Вот она, — развела руки, — просторная, светлая. А на задах — ваша, земская. Избушка на курьих ножках, бревном подпёртая, чтоб не упала. Ваши дети в институт поступают, офицерами становятся, инженерами... Это как?

— Так ведь жандарм?!

— Ты тоже белым был?

— Был!

— А его лишаешь этого права? Почему?

— Потому что быстро драпает от немцев. А может, сдаёт Россию?.. Минск

— за пять дней взяли! К Москве подкатили, Ленинград окружён... Не-ет, не верю ему! С давних пор не верю, когда увидел его испуганным.

Прослушала рассказ его про то, как виделся со Сталиным второй раз, и сказала, прекращая разговор:

— Победит большая правда. Давай подождём её.

— А это какая же, большая?.. Народная, выходит... Так я и есть тот большой народ.

— Спорщик ты большой, — прятала за улыбкой своё удивление Ольга Сергеевна, признаваясь себе, что побеждена его доводами.

А он согласился вдруг:

— Угу... Не ищи правды в других, коль в себе ещё нет. Каждому по делам воздастся.

* * *

Пошли «похоронки»...

Первых погибших на войне оплакивали всем селом. А дальше — слез перестало хватать. Но Гаврила Матвеевич ходил в каждый дом выразить сочувствие от колхоза и поддержать словом.

Была и первая фронтовая радость. Вернулся в село Колька Сухорук без ноги... Но ведь живой!

С этой вестью прибежали в правление колхоза две Колькиных сестры и стали просить Гаврилу Матвеевича поскорей прийти к ним в дом, потому что брат не ест ничего и не закусывает, пока не придет спаситель.

— Это кто же?

— Вы, Гаврила Матвеевич...

— Вот те на?! Придётся идти, девочки?

— Надо, Гаврила Матвеевич... Мама плачет, а он только пьёт...

— Водку?

— Да-а-а...

— Тогда, пошли быстрее, — заторопился Гаврила Матвеевич, надевая полшубок.

Пришли в дом, заполненный народом. Бабы расступились. А Колька привстал, направил на Гаврилу Матвеевича палец:

— Вот он, мама! Сперва его целуй. Без него и меня бы здесь не было сейчас...

Встал пнём Гаврила Матвеевич, принимая поцелуй Дуняши, Колькиной матери.

— Да я... Всю жизнь буду молиться на него, — чмокала она, счастливо глядя на сына. — Ещё, что ли?

— Ещё! — пьяно требовал Колька.

— Спасибо тебе, Матвейч, за сына моего...

— Погоди-ка, — остановил он её. — Целуешь-то хорошо, а за что — не пойму.

Собравшийся народ уже всё знал, шумел, смеялся, дожидаясь развязки.

— Глянь-ка, растерялся...

— А это за то...

— Сам скажу! — стукнул стаканом по столу Колька. И в образовавшейся тишине заговорил взволнованно, с придыханием. — Помнишь, дед, какую науку нам устроил? Приёмы показывал... Ну, вот... Привезли нас... И сразу в бой, в деревеньке какой-то. Забежал во двор... Полез в подсумок за обоймой, а нет их... Патроны кончились. Передёрнул затвор — и в магазине пусто. А тут немец выходит... Видел всё... Шмайссер свой сдвинул на плечо и

весело так достаёт кинжал... Прирезать меня, сопляка... А я... перехватил его... Кинул, как ты учил. И вот... — повел рукой, предлагая сесть за стол. — Садись, Гаврила Матвеевич. Теперь ты мой дед родной. Принимай, как внука своего.

— Спасибо, Колюшка. Спасибо за память, за честь. Твой дед, царство ему небесное, был моим товарищем. Во многом выручал меня. А я тебя, выходит, выучил и выручил. И буду дедом твоим по клятве друзей. Все ли знают её? — обвёл он взглядом народ. Но в избе были женщины да детвора. Пришлось объяснять. — Это, бабоньки, так называется — сам погибай, а товарища выручай! А вырученные — на весь век родня.

— Он, гад, кинжал вынул... Чтобы прирезать меня, как барашка. А потом сам таранился, как баран...

— А ты?

— Автомат его взял, да пошёл... Кивнул ему: помирай!

— Страх-то какой! — охнула женщина.

— Не жалко?

— Ты что, Марфа... А он бы остался там?.. — обняла сына Дуся, целуя.

Позже Гаврила Матвеевич узнал, что такую встречу Колька придумал после ампутации ноги. И поклялся в госпитале сделать всё, как задумал.

Пришёл он к деду на костылях ранним утром и с порога потребовал:

— Дед, выпить найдётся?!

— А как же, Колюшка. Для тебя — навсегда. Садись за стол. Я скоро приду.

Принес глиняную крынку. Подал... Колька жадно притянул её к губам, глотнул.

— Что это?

— Рассол капустный.

— Я выпить просил... Похмелиться.

— Дал, что надо тебе. Пей да разумея. Ты зачем спасся? Чтобы в рюмке утонуть?!

— Ты чё, дед?! Да я...

— Молчать! — гаркнул на него, свирепо сверкнув глазами. — Сейчас по заднице ремнем отхлещу, чтоб вся деревня знала, какой ты герой за рюмкой. Позорить меня будешь?! Для того ли я учил вас, чтоб спивались здесь... когда народ голодает. Картошку из-под снега выкапывает, чтобы детей накормить... А ты?! Ты...

— А что я... Кому нужен такой?..

— Это какой, Коленька?

— Калеченный...

— Ты первый пока, такой... Придут другие... Без ног и без рук. И на тебя станут глядеть, равняться, как им дальше жить... Спиваться, как ты?! Ну-ка, давай думать, как нам по-мужски стоять?.. Нет ноги, так голова не ранена и две руки есть. Мастеровые, помнится... Такими-то руками сам и сделаешь себе ногу. Деревянную. Тогда и других научишь выживать, что бы ни случилось. А это, внучок мой дорогой, и будет твоя победа над фашистами. Понял?! Говори.

— По-онял. Хитрый ты, дед. Да я, правда, понял. Сделаю ногу. Видел уже такую... А работать где?..

— И работу найдём, Коленька. Тут столько дел всяких неупорот.

Дал ему инструмент, деревяшки разные. Стругай, пили, режь... Подсказал, как бы сам ладил. А вечером принимал работу.

Колька сделал всё, как надо. Только был пасмурно скуп на слова и зол.
— А чего хмур, как туча? Боишься девчатам так показаться?
— Она не пришла. Даже на встречу.
— Настенька?.. Так она плачет, что ты не пришел к ней. И спился до дури. Матери целовать не давался, пока деда не приведут. Это как разуметь ей?..
— Я... Я Богу поклялся тогда... — жалостливо глядел на деда Колька, удивляясь, что его не понимают.
— Если завет такой дал, — согласился Гаврила Матвеевич. — И сдержал... Всё тогда выдержишь, внучок. Бог не покинет тебя. И люди поймут.

* * *

О смерти сына своего Тимофея узнал Гаврила Матвеевич во время утреннего наряда. Собравшимся бригадиршам и звеньевым давал задания, что кому делать, да вдруг запнулся, остановив взгляд, выронил на стол карандаш, так что он скатился, и сам качнулся, готовый упасть.

Сидевшая ближе всех Галина бросилась к нему:

— Папа, ты что? Плохо тебе?

— Ти-мо-фей!.. Тимоша, — простонал он, не глядя.

Галина помогла ему сесть на стул. Задвигались, повскакивали с мест обеспокоенные женщины.

— Воды надо...

— Где вода?

— Что с ним?

Галина держала свекра, не сводя с него глаз, и к ней медленно и явственно приходило осознание, почему он простонал так. И теперь она закачалась и зарыдала в голос.

— Тимофея... Уби-ли... и... и...

— Ты чего, Галинка?

— Он видит... Папа, — охватила его невестка и, не в силах держаться, свалилась ему головой на колени. А он, закрыв глаза и сглатывая внутренние слезы, гладил её...

— Да как это можно? — шептали женщины.

— Видящий он...

— Ага... Сызмальства такой, бабушка рассказывала. Думали, в попы пойдёт, а он — в бунтари...

— А дар остался...

— Может, про моих что скажет?

— Воды хлебни, — поднесли к губам Гаврилы Матвеевича кружку. — Попей, попей...

Он сделал глоток, другой... Приоткрыл глаза и увидел столпившихся женщин. Сознание прояснялось, но что делать, не знал — на коленях рыдала невестка. Погладил её по плечам, давая время выплакаться. И это ярче слов подтверждало всем правоту предвиденного.

Вскоре пришла похоронка...

* * *

Весной новая беда распахнула ворота...

После призыва мужиков на войну Галину Петровну поставили заведовать колхозным складом. Дали складские тетради, ключи от замков и — разбирайся, храни колхозное добро. А весной вдруг нагрянула из района ко-

миссия с милиционерами, зерно семенное перевесили и выявили недостачу — сто восемьдесят семь килограммов. Искать причины никто не стал, даже обрадовались проверяющие, как рассказывали о них девчата, вешавшие зерно, и забрали Галину Петровну с собой в район для выяснения.

Гаврила Матвеевич в тот день находился в райцентре на бюро райкома, посвящённого подготовки к посевной. Вернулся поздно, и был удивлён, увидев в правлении свет. Зашёл и застал хмурую бухгалтершу, стучавшую костяшками счёт. Пригляделся, чувствуя тревогу.

— Что случилось, Анна Васильевна? Чего тут допоздна?

— Галину Петровну арестовали, — сказала жалостливо.

— Как это... — растерянно сел перед ней.

— Увезли...

— Куда?

— В район. На дознание.

— Аа... подробнее, — собирал волю Гаврила Матвеевич.

— В большой склад зашли, увидели бурты — не стали взвешивать. А в малом, где элитные семена — велели...

— И что?..

— Составили акт о недостаче...

— Сколько?

— Сто восемьдесят семь килограммов...

— Дай ключи...

Анна Васильевна молча поднялась, сняла с вешалки пальто и оделась. Передала Гавриле Матвеевичу приготовленную переносную керосиновую лампу и пошли из кабинета.

На колхозном общем дворе к ним подошёл сторож Дырёха. После избрания Валдаева председателем он рассчитывал и на своё повышение, но пока оставался в сторожах при своих собаках, бегавших сейчас по двору.

— Председателю партийный привет, — кивнул он с усмешкой, напоминая так о значимости своей фигуры: хоть и сторож, а партиец! — Что там на бюро было? Когда доложишь?

— Как соберётесь — доложу. Убери собак, к складу пройду.

— А... Ночью не положено...

— Убери, говорю!

— Если приказываешь... Ты свидетель будешь, — ткнул пальцем в бухгалтершу, закигавшую фитиль лампы.

Склад старый, амбарный. На высоком каменном фундаменте. Внутри с одной стороны бурт зерна, с другой — весы, ведра, грабли и прочий скарб.

Скинув полушубок, Гаврила Матвеевич пододвинул к бурту весы. Раскрыл мешок на площадке весов.

— Помоги... насыпать буду.

— Я была здесь... Считала... — приняла Анна Васильевна мешок.

Он черпал ведром зерно и молча наполнял мешок. Взвешивал и уносил его в другую сторону сыпать, пока бухгалтер записывала вес.

Вскоре скинул с себя и пиджак. Однообразная работа не только упарила, но и прояснила мозги. Вроде случайно вспомнилось, что по дороге домой встретил грузовик с людьми в кузове. На нём, должно быть, и увозили Галину.

— На машине увезли?

— Ага... — кивнула Анна Васильевна. — Платок ей отдала, чтоб не продуло...

Ещё мешок на горб и обратно пустой для заполнения. Туда — сюда — обратно...

Дверь открылась и зашёл Дырёха. Зыркнул по сторонам.

— А вы чего тут?...

— Тебе чего?

— Да помочь, может...

— Сторожить иди.

— Собаки гавкнут, коли что...

— Иди, иди... Чтoб не гавкали собаки, — выставил его Гаврила Матвеевич, выдерживая его мстительный и торжествующий взгляд. Закрыл дверь.

И вновь слившееся и торопливое мелькание: ведро — зерно — мешок...

В этом взвинченном торопливостью однообразии в каком-то ином свете предстало перед ним происходившее днем бюро райкома партии. Обсуждали проблемы весеннего сева. Стране нужен хлеб, а семян недостаёт, горючего нет, и запчастей для ремонта тракторов нет... Чего ни коснись — всё как после голодных лет...

Вспомнив про голод, пришла Гавриле Матвеевичу мысль про то, как сеяли они до революции по дедову «секрету». Этот способ хотели использовать в их «кулацком» колхозе, за который пострадали все... Но что вспоминать былое, когда сейчас выручать надо народ. И сон ещё «медовый» грел душу, подсказывая — делай добро! А когда же, если не сейчас?.. Или жалеешь секрет передать?.. Для себя хочешь оставить?.. Он дорого стоит...

Когда Марысев спросил, кто ещё хочет выступить, поднял руку и заявил громко с заднего ряда райкомовского зала:

— Я бы хотел... Кое-что... — и пошёл к трибуне под удивленные взгляды собравшихся.

— По делу если... Кое-что нам не надо, — предупредил Марысев, недовольный неожиданным его партизанским выходом. — Сколько посеешь, скажи.

— Если горючее будет, то всё засею, — сказал, встав за трибуну, и оглядел притихший зал.

— Семян где возьмёшь? У вас тоже не хватает...

— Нет лишнего. А если по старому считать, когда после голода собирались сеять, бывало... То останутся ещё. Для дополнительного посева.

В зале зашептался народ, задвигался. Марысев тоже удивлённо вскинулся, не зная, как отнестись к его словам. Кивнул: продолжай.

— Оказывается, из-за подсчёта у нас семян недостаёт, — раздался язвительный женский голос из рядов.

— Тише, тише... Послушаем...

— Вы как считаете сейчас?.. — спросил Гаврила Матвеевич язвительную ему женщину.

— По-советски... — ответила она.

— По двести с лишком килограммов на гектар, — продолжал Гаврила Матвеевич невозмутимо. — Это будет по два центнера, по тринадцать пудов на десятину, если по старому. А мы после голода высевали по три-четыре пуда на десятину, считай, по пятьдесят килограммов на гектар. А это в четыре раза меньше.

— И какой урожай получали?.. С такой арифметикой... — усмехнулся Марысев.

— У вас стопудовый урожай. Два центнера семян посадили, шестнадцать получили. Сам-восемь, получается. Мы сажали пятьдесят килограммов, и собирали тридцать центнеров. Сам-шестьдесят.

Зал забурился, пришёл в движение. Полетели смешки, выкрики, требующие разъяснений или прекращения галиматъи. Марысев занервничал, взглянул на Теркунькова, сидящего с ним за столом президиума, но увидел в глазах его испуг — не подскажет дельного. Повернулся к Валдаеву.

— И где же такая урожайность была, если в царской России по восемь центнеров собирали? А ты нам называешь тридцать центнеров!

— У нас, у Валдаевых, была и поболее... И подати платили исполу... С половины урожая, значит... Половину сразу брали себе, а с другой половины платили налоги... А таких много было по Руси.

— Почему же — «много», а не все?

— Так ведь — секрет!.. Знай его, и сыну передай, а для других — молчи!.. А сейчас что же молчать?! Война идет! Помогать надо... Если нормы высева понизим, посеём пореже — вот и хватит семян всем при нынешней нехватке. Лишь бы горячего хватило.

— Что же, товарищи... Вот пример нового отношения крестьянства к государственным интересам. Есть над чем подумать каждому... А что скажет об этом наш главный агроном? Софья Степановна, проясните.

Из рядов поднялась язвившая женщина — сухая, чернявая и остроглазая. Презрительно глянув на деда, уходящего на своё место в конце зала, бросила насмешливо:

— Мы знаем эти кулацкие штучки.

Зал мгновенно затих. И Гаврила Матвеевич встал в проходе, поворачиваясь к трибуне и глядя на агрономшу. Она скользнула по нему уничтожающим взглядом и заговорила уличающе и насмешливо:

— Был такой дворянчик Болотов... Помогал усердным хлебопашцам. Учил сеять меньше и мельче. Тогда злаковые культуры кустятся и дают неожиданный эффект: сеешь меньше, а урожай получаешь больше. Но барину можно было так сеять, его хлеб убирали крепостные. Жали — серпами. И жнецам удобно было брать за один захват куст пшеницы или ржи, овса... Потому и выметали с поля всё до зернышка. Кулаки этот способ приспособили для себя, как подтвердил предыдущий оратор. Решив осчастливить нас!.. А не получится... У нас нет крепостных жнецов и кулацких батраков. На наших многотысячных гектарах полей работают комбайны. Для них нужен ровный хлебостой. И посевы ровные... С нашей техникой и просторами выгоднее получать меньше с гектара, но больше — с площадей.

— А я про что говорил? — сдвинулся к трибуне Гаврила Матвеевич, не сводя взгляда с агрономши. — Где твой совет, как кулацкий «секрет» приладить к индустриализации, к МТС? Нам с кулаками бороться или с фашистами? Ну-ка, скажи партии. Слушай, Марысев, что она скажет тебе. И мы все послушаем.

— Спокойней, Валдаев... Знаем характер твой. Неуёмный... — ободряюще улыбнулся залу Марысев. — Так что скажет агрономия?

— Ну, я не знаю...

— Не знает! — развёл руками Валдаев и повернулся к залу, недоумевая. — А говорит...

Раздались первые смешки, снявшие тревожное напряжение.

— Не знаю, как скрестить трактор с лошадью.

Тут уже и смех раздался.

— Интерес-то есть?

— Времени нет! Давайте после победы займемся экспериментами. А сейчас я как главный агроном района не имею ни сил, ни средств, ни возмож-

ности заниматься наукой. А потому считаю предложение Валдаева несвоевременным и вредным прожектёрством. Уводящим от главной задачи — дать больше хлеба стране. Дать, вопреки всему, что имеем.

Она сошла с трибуны под хлопки зала. И Гаврила Матвеевич ушёл на свое место, сопровождаемый взглядами со всех сторон. С агрономшей спорить не имело смысла, и не время. Перешли к другому вопросу, позабыв о нём.

«А может, и нет, — думал сейчас, волоча последний мешок. Нести его уже доставало сил.

Анна Васильевна сделала подсчёт и удивленно уставилась на него.

— Что?

— Не сходится...

— Сколько?

— Двести десять...

— Не может быть. Дай, — вырвал тетрадку и начал подсчитывать сам. Сбился... И повторил подсчёт. Недоставало двести десять килограммов, четырёх мешков пшеницы. Обоим стало ясно, что ошиблись первые проверяющие... Недостача теперь стала больше того, что они выявили...

* * *

Рано утром Гаврила Матвеевич уже сидел в кабинете Теркунькова и терзал его.

— Как же так, Петрович? Ей же не сдавали склад с перевесом зерна... Может, тогда ещё доставало, а сейчас на ней грех... Да какой грех?... Тюрьма! А за что? Бабу поставили за честность, да наказали так...

— Не знаю, Матвейч, — в отчаянии крутил головой Теркуньков. — Элитные семена до пригоршни на учёте. А тут — сто восемьдесят килограммов недостаёт.

— Ты же знаешь. Не брала она... Своё довоенное лежит в ларе... Кину — и нет беды...

— Это не смей! Факт подтвердишь.

— Ножом пырнуть — плохо, и обухом по голове — не лучше. А бабе в тюрьму идти? У вас ведь за...

— Мол-чи! — ледяным шёпотом взмолился Тереньков, глянув на дверь, на телефон.

— Так что же мне теперь, а? Как невестку выручать? Советуй...

— Не знаю, Гаврила Матвеевич. Ну, не знаю...

— В область поеду.

— К кому?

— Подскажут... В Доме Советов.

— Не дойдёшь. Паспорт получил?

— Нет ещё. Судимый, говорят. И некогда им проверять что-то... — говорил Гаврила Матвеевич, скрывая, что не хлопотал даже, боясь этой проверки.

— Сиди тогда... И не выступай больше.

— Так ведь... Сам он просил помочь родине. Думал, для дела.

— А ты вон как повернул. Дураками всех выставил. Ты один хочешь помочь, а мы все...

— Да Бог с ними. С Галиной-то как? Что делать мне?

— Давай я буду делать. Что-то... — хмуро сказал Теркуньков, а подумал о том, что ничего уже не сделаешь, проверки были по распоряжению сверху для укрепления дисциплины в низах. Зерно стало дороже пороха. Вот и накажут расхитителей, чтобы другим неповадно было.

Гаврила Матвеевич хмурился, стонал в душе. И как же трудно было согласиться даже кивком. Догадывался, что сам-то ничего не сможет сделать. И Теркуньков характером не боец... Да и не будет вопрос поднимать, чтоб на себя не навлечь беду. Зерно-то не сдал по акту. А что там ещё может вскрыться... И все же попросил:

— Встретиться с ней помоги.

Теркуньков вскинулся, как тронутый врасплох. Глаза испуганно забегали.

— А их... Уже... У-увезли...

— Кого еще?

— Пойманных...

Теперь всё ясно стало. Поднялся Гаврила Матвеевич уходить, усмехнулся с горечью:

— Пока председатели заседали, у них по сусекам шуровали.

— Ты не очень-то...

— Само собой, понятно. Прощай, Петрович. На нет и суда нет. Когда его нет...

Тереньков его не останавливал.

* * *

Без Галины, невестушки любезной, дом совсем опустел. После призыва Тимофея на войну она перешла жить в их старую избу, поставив кровать там, где в молодости спала с мужем. Так-то веселей было Гавриле Матвеевичу и теплее. Печь всегда натоплена, ужин готов, и собеседник ласковый. Всё-то у неё мило да с добром, с пониманьем и любовью. Всё узнает, расскажет ему так, что хоть последнюю рубаху снимай и носи в благодарность тому, о ком говорит.

И вот нет её...

В избе холод, сумерки...

Свет в домах давно отключили. Зажечь керосиновую лампу — спичек нет. Заглянул за шесток печи, где обычно тлела горка угольков для разжигания дров и не нашёл горящего. Разглядел чугунок... Галинкой ещё вареный. Эх, Галинка-детинка моя...

Посидел в тоске... На шестке нашёл чурочки просушенные, чтоб быстрее печку растопить. И береста тут для разжигания. Всё ею приготовленное... Но идти за угольком к соседям, выслушивать сочувствия, что-то говорить там — не было сил. И места не находил от маяты...

В большом доме напротив хлопнула дверь. После переселения к нему Галины, в большом доме они поселили эвакуированную из Москвы семью. Мать с дочерью и с двумя малышами. Мать старая, еле ходит, с детьми целый день. Дочь Катерина дояркой пошла в колхоз. В этот час обычно спят. А тут стук непонятный, шаги по двору.

Скрипнула дверь в сенцах. И открылась в избу. В кухню вошла Катерина в калошах на босу ногу, в пальто, накинутом на плечи — придерживает полы рукой. Видно было, с постели встала, да так и пришла.

— Гаврила Матвеевич, я знаю про беду. Все говорят в селе. Не верит никто... Галина Петровна не такой человек, чтобы воровать народное...

— Спасибо, Катеринушка, на добром слове.

— А я пришла. И раньше приходила, чтобы печку истопить. А мама говорит, не делай без спроса. Чтобы не подумали чего...

— Правильно говорит...

— Что же вы, мёрзнуть будете... Столько сделали для нас... Дом дали,

вещи. А я... Я чистая... — опустила руки, так что распахнулись полы пальто и стало видно её, стоящую перед ним в ночной рубашке.

«Вот она как... — забились разные мысли, одна против другой. — И что же сказать ей, за подарок такой?».

Он подошёл к ней совсем близко, тесно встал. Сдвинул полы пальто, отделив от себя, и поцеловал в лоб.

Она вскинула голову. В глазах удивление, непонимание... Ждала и боялась другого, понял он. И сказал тихо и ласково:

— Спасибо тебе, Катеринушка. За порыв чистый... А такое — любовью платится.

Она задрожала всем телом, так что он почувствовал эту дрожь от напряжения. Обнял её, склонив голову.

— Зачем тебе старик? Жди своего. Вернётся! Как поётся у вас...

— Не вернётся! Никогда, — рванулась она и выбежала из кухни, оставив распахнутыми двери...

«Ну, вот, и тут беда...».

После этого оставаться в доме не мог. Вышел, и побрел на другой конец села.

* * *

Дверь открылась раньше, чем скрипнула первая ступенька. И голос из темноты, досадливо-обиженный и радостный:

— Что ж ты не шёл так долго.

— Да я и... Огня-то нет. Думал, не велишь.

— Керосин кончился. Как она?

Вошли в комнату. Пока он раздевался, Ольга Сергеевна сняла с плиты и поставила на стол чайник. Для света открыла дверцу печки, подбросив в неё полено.

— Плохо всё, Олюшка... Так плохо, что и сказать нечего. Увезли уже.

— Куда?

— На расправу... Акцию будут делать из наших баб. Устрашать, чтоб ни горстки зерна не пропало в закромах. Стратегическая задача, видишь ли...

Ольга Сергеевна молчала, вглядываясь в его лицо и глаза, освещённые сполохами огня из печки. И казалось ей, что он плачет. Не верилось. А где ещё заплакать, как не с родным человеком. И она припала к нему, содрогаясь от побежавших слёз.

— Не то обидно, что пресекают так... Хлеб — он и вправду сейчас дороже пороха. Только так-то зачем?! Без разбора... Для острастки кого ни попада... И вот Галинку туда...

— С кем говорил?

— С Теркуньковым. Ей сдали склад без перевеса. А что там и сколько — поди узнай.

— Так и тебя привлекут.

— А кто остановит? Тут ловко придумано. Я — власть в селе. И все подомной ходят. Любого могу к ногтю прижать и раздавить, как букашку. А сам я — такая же букашка для Марысева, секретаря райкома. А Марысев — для секретаря обкома. И только наверху самом-самом Сталин сидит. Чем не император?! Вот она, Олюшка, беда-то в чем! Пожалуйся на меня здесь кто-нибудь, ну, хоть ты, что дров школе не привёз, свет отключил...

— Привезли дрова...

— К наглядности говорю. Пожалуются, а я волю Марысева исполнял. Его служивый. Как же он даст меня в обиду? А вот если против него пойду — также растопчет. И никто не защитит ни меня, ни родню мою, ни тебя...

- А ты... пошёл против него? — спросила она дрогнувшим голосом.
- Пошёл, Олюшка... Каюсь...
- Как? Когда?
- Хлеб-то выгребли. Семенной только остался. И его требуют — дай. Соседей надо прикрыть, не убрались они осенью... Я противился... Рассердил его. А сегодня на бюро сказал всем, что есть «секрет» кулацкий. Если норму высева уменьшить, то и семян хватит, и урожай повысится.
- А они?.. Что сказали...
- Всякое...
- Боже мой, что же ты наделал...
- Не знаю, Олюшка. Не знаю... По-старому не прав и по-новому не хорош...

* * *

Уходил он к утру. Торопился до света дойти до правления и там на скамейке поспать до прихода истопницы. Ольга Сергеевна задержала.

- Подожди минутку.
- Чего, Олюшка.
- Иринка письмо прислала... Замазано опять много строчек. Одну я разглядела в увеличительное стекло. Написано, что писем долго не будет. Не беспокойся... А как же не беспокоиться, если писем не будет? Куда уедет она, откуда не будет писем? А может, не уедет, а улетит? Она же немецкий хорошо знает. Ты понимаешь: немецкий. Во время войны с немцами...
- Понимаю, Олюшка.
- Ты видящий, рассказывали женщины. Тимофея видел убитого. Посмотри её. Жива ли? Сердце болит...
- Тимофей сам привиделся.
- А ты её «привидь», как меня тогда. Может, отзовётся как-то. Ну, не знаю я... Что-то же будет, если дар у тебя. Попробуй. Я фотокарточку её дам... — сунула фото ему в руку.
- Попробую, — убрал карточку в карман.
- Сейчас...
- В покое надо, — поднялся он.
- И не спорь, пожалуйста, с Марысевым. Прошу тебя. Поцеловались. И он ушёл.

* * *

В кабинете своем на скамейке положил под голову шапку, вытянулся и тут же уснул.

А под утро увидел сон, похожий на явь. Стоит он перед амбарным складом, где зерно перевешивал, а из-под приподнятой платформы, сделанной для удобства погрузки-разгрузки телег, из дыры каменной кладки вылезают собаки и бросаются на него.

Проснулся от их ощеренного злобой лая, а может, от грохота под печку брошенных истопницей дров. Лежал и думал про этот сон, почувствовав в нём что-то необычное. Собаки на общем дворе — Дырёхины. Он их кормит... А почему из-под склада вылезли? Разве там их место?..

- Матвейч, а ты чего здесь? — увидела его истопница.
- Ой, Нюра... Не сказывай никому. Тошно идти в одиночество.
- Да мы уж говорили все про тебя... Придёт домой, и никого из близких не осталось. Галиночку-то как жалко. Да никто не верит, чтоб она хоть горстку взяла. А тут пять мешков...

— Ты мне кипяточку согрей.

— Согрею, Матвеич. И смородинных листочков положу.

Он надел на голову шапку, накинул на плечи полушубок и пошёл на улицу.

Вошёл во двор и громко покашлял. Не сразу, но вскоре из-под амбара выбежали Дырёхины собаки. Гавкнули, словно приветствуя, и, подняв хвосты, подошли его обнюхивать.

«Собашник под амбаром... — пошли торопливые мысли. — Ну-ка, поглядим. А лаз большой... Да тут и человеку пролезть можно. А потом, как у Цицерова служка воровал... Ах ты, мать моя богомолка...».

Оглянулся и встретил напряжённый взгляд Дырёхи.

— С утра замки оглядывал, председатель. Не доверяешь собакам?

— По нужде, — дернул ширинку Гаврила Матвеевич и пошёл к стене.

Этот ядовитый взгляд Дырёхи больше всего утвердил Гаврилу Матвеевича в догадке, напомним давнишний случай в Петровском, когда охранявший мельницу мужичок подкопался под склад, просверлил буравчиком пол под отсеком зерна и сжегивал помаленьку пшеничку. В те голодные года не меньше она стоила: жизнь спасала... А он её потерял неведомо как, после того, как пойман был Цицеровым. Судили-рядили кулака кто как мог, а тот подсмеивался только: «Докажи!». А тут поймать ещё надо, чтобы доказать.

Стоит за спиной, чувствовал его взгляд. Повернулся, простежки застегивая ширинку. Кивнул головой на амбар.

— Собакам не холодно под амбаром? Чего будку не поставишь?

— Не холодно, видать, — ослабло напряжение у Дырёхи. — А летом прохладно.

Что-то ещё говорил, шагая за ним. Но Гаврила Матвеевич не слушал. У крыльца зачерпнул пригоршню снега из остатка сугроба, протёр лицо и пошёл в правление, в свой кабинет. И — к телефону.

* * *

Милиционер приехал к обеду. Старый и дряблый, как пустой мешок, усатый и носатый. Носом водил, выискивая по подсказке, усами говорил. В присутствии членов правления нашёл в полу дырку, через которую стекало зерно под пол. Потом приказал Дырёхе отогнать собак и с фонариком полез в дыру фундаментную, где и нашёл горку зерна. Гаврила Матвеевич тоже лазил вслед за ним и горстями собирал зерно в поданные ведра. Набралось их два с половиной ведра — та самая добавленная недостача, образовавшаяся после первой проверки. Галинкина недостача была раньше выгашена вором из-под амбара, понял Гаврила Матвеевич.

Бабы галдели, охали, ахали... Милиционер кивал носом, составляя документ. Потом его подписывали все, радуясь, что Галину Петровну спасли, что теперь-то её обязательно отпустят, что надо найти вора. А кто мог ползть под амбар, не боясь собак? Догадливые глянули на Дырёху раз, другой. Зашептались. И тот вдруг грохнул, чтоб всем сразу слышно стало:

— Да это же он всё подстроил, — показал рукой на Гаврилу Матвеевича. — Чтоб невестку спасти от тюрьмы. Пришёл ночью, просверлил дырку и зерна подсыпал. А я видел его. И истопница застала. Спал на лавке. Упарился под полом, бедный. Сил не хватило сбежать. Чего бы ему на лавке спать, когда два дома имеет, а? Чего молчите? Вот кого избрали председателем. Я вам плохой был. Хорошего избрали...

Онемевшие от услышанного женщины и милиционер стали переводить взгляды на Гаврилу Матвеевича. А он наливался яростью. Глаза уже стали

бешенными. Рука нащупывала под собой табуретку, ухватить ловчее. Губы скривились гневом. Миг, и...

— Вот как правда его бесит, — крикнул Дыреха и нырнул за дверь.

И вовремя. Об неё грохнулась табуретка и рассыпалась.

— И это припомнится тебе, — заглянул в дверь Дыреха. — Кулацкая морда!

— Иди отсюда, — крикнули на него.

Гаврила Матвеевич стоял, ухватив руками голову, раскачиваясь. Его подхватили, пытались удержать, но он повалился в беспамятстве на пол.

— Что с ним?..

— Раненный в голову, — сказал кто-то. — Покой ему нужен.

В сознание пришёл, услышав детские голоса... А потом и увидел девочку и мальчика. Обрадовался мысли, что Марийка и Петенька, внучатки его, вернулись. Да как же вернуться им, коли уехали навсегда?..

— Тише, а то домой пойдёшь, — угрожала девочка.

— А он проснулся уже. Смотрит... Дедушка, ты больше не спишь? — подошёл мальчик.

И понял Гаврила Матвеевич, в избе дети эвакуированных. Грустно улыбнулся им.

— Я бабушку позову, — сказала ему девочка. — Только вы не вставайте

И он послушно закрыл глаза.

Девочка ушла, а малыш подошёл к кровати, наверное, поднялся на цыпочки и зашептал на ухо.

— Дедушка, ты мне дашь кусочек хлеба, когда проснешься?

Хлеба... Зерно... Дыреха... — поплыли видения. Он разглядывал их, вспоминая. Не тревожился. Просто видел, как в кино. Ещё ощущал дыхание мальчонки прямо в ухо, стал различать его интонации и смысл слов.

— Мне ма-аленький кусочек... Я же маленький ещё... Дашь?..

— Да.

— Только бабушке не говори.

— Почему?

— Она говорит, что у тебя тоже мало. А там во-от такой... кусочек.

— Возьми его. И съешь.

— Нет, надо поделить... А потом загадывать, кому какой кусочек достанется. Я отвернусь, а мама будет спрашивать. «Кому?». А я буду отгадывать и говорить: маме или бабушке, или мне, или Лене... И тебе будет кусочек.

— Потерпишь?

Терпеть мальчонке явно не хотелось, и он молча сопел ему в ухо. Но пришла бабушка с сестренкой, и он уступил место.

— Как самочувствие?

— Слабость... Сколько я так?..

— С утра. Я тут кое-что с вами сделала.

— Доктор?

— Медсестрой была. Когда-то. Хорошо, что о вас здесь всё знают. Рассказали... Сделала, что смогла. И вы уснули. И сейчас для вас главное — сон, сон и спокойствие.

— Я знаю.

— Тогда вот это пейте, — поднесла она стаканчик с жидкостью, и он выпил её.

Проведать первым пришел Колька Сухорук. Простучал по полу своей деревянной ногой, шаркнул табуреткой, усаживаясь возле кровати.

— Дед, ты как? Пришел в себя? А я ему сказал, что надо!

— Испугал?

— Не-к... На меня попёр! А я всё равно сказал ему, что прибью гада. Ты, говорю, воровал. Кто ещё к собакам полезет в их нору?

— Плохо сделал.

— Почему?

— Козырь ему дал. Теперь про сговор станет писать. Мол, внук мой преследует его. Грозит расправой. Бумажку к делу приложат.

— Ну и что бумажка? Когда факт есть.

— Верят написанному да подписанному, а не сказанному.

— А я тоже написал.

— Кому?

— Сталину!

— Свихнулся, что ли? — испуганно уставился на безмятежно торжествующее лицо Кольки.

— А чего? Пришлёт кого надо, быстро разберутся! Придавят гниду.

— Сами разве не справимся? — сказал, что можно говорить такому дурачку, и подосадовал на свою оплошность с ним. Да и как иначе могло быть, когда Сталин у них самый дорогой и любимый, родной и близкий. Это у нас было: чем дальше от царей, голова будет целей. Что же, пусть так будет. Всё равно не знаешь, где найдешь и потеряешь. — Ты скажи-ка мне, внук любезный, как у тебя с Настенькой?

— Жениться буду... — заулыбался Колька, переполняясь радостью.

— Это хорошо.

— И я говорю. А она говорит, не время. Война... И нет ничего, чтоб гостей собирать. Да и кого?.. Девчата будут, а ребят-то нет... А ты что посоветуешь?

— Посоветую тебе, Коленька, свадьбу сыграть! Гитлеру назло. Он думает, там русские дрожат от страха. А мы свадьбы закатим. Чтоб с весельем детишки пошли, взамен погибших. И девчонкам праздник устроим, чтоб не забывали, как это делается. Ждали бы женихов своих. Вот так я думаю, Коленька. А то, что поесть-попить нечего, как бывало-то... Так по-новому сладим свадьбу, складчинную. По сусекам поскребем и кой-чего наберем. Гармошка у меня есть. А веселья молодым не занимать. Гульнем, Коленька!..

— Дед, так я скажу ей!.. А когда? — стал подниматься Колька. — Когда ты поправишься?

— К свадьбе поспею, пожалуй

— Да я хоть завтра... Хоть сейчас!

Улыбался Гаврила Матвеевич. Все-то знакомо было. Понятно и приятно.

— Торопись... Это хорошо! Только любовь свою, торопясь, не расплескайте.

— А как её расплескаешь? Ты чё, дед?..

— Не понимаешь?.. — задумался Гаврила Матвеевич, останавливая свой порыв: «Что ж это я так?..».

— Не-ет..

— Тогда подождать надо. Молод ещё. Главного не понимаешь. Правильно говорит она: не время тебе жениться. Если главного не понял, хоть и повоевал...

— А что... главное?.. — присмирел Колька, растерянно глядя на деда.

— Любовь главное, Коленька. А она ох как велика! Только один ухватит

малую часть и торопится с ней нырнуть в постель. Удивится вскоре: вроде была любовь, да сплыла... А другому и жизни не хватает насладиться ею. Ты-то какую себе любовь хочешь? Ту, что «хоть завтра... Хоть сейчас...»?

Колька растерянно молчал, удивлённо глядя на деда. Осмысление и протест приходили замедленно, чем и воспользовался Гаврила Матвеевич:

— Вот об этом и надобно перво-наперво подумать. Ведь вы с Настенькой сейчас будете сотворять самое главное дело своей жизни. А то и дальше: детей, внуков... А это всё равно, как создавать царство в государстве. Дом — ваша крепость. Обустроить её надобно. Печка-то дымит, жаловалась мать... Прокоптишь молодую жену и нарожает тебе негрятят.

— Да я...

— Помогу, чем смогу. Я тебе о другом сейчас говорю. Про жизнь в любви. Не понимают мужики этого. Для них, считают, главное принести в дом больше добра. А требуется — любви побольше... И прежде всего — к жене. Она твой друг любезный до гробовой доски. Детей тебе рождает, нянчит и поднимает; все твои горести и радости разделяет. Это всё понимать нам надобно. Как и понимать им наше мужское предназначение. Сам-то знаешь о нём?..

— Нн-ет... А какое оно?

— Что у тебя за порогом дома?

— Двор.

— Дворовые дела понятны. А за двором — что?..

— Колхоз...

— Работа, значит. В колхозе, в стране...

— Ну!..

— А много ты в одиночку наработаешь?..

— Без ноги-то...

— Хоть и с ногой. Не про то говорим. Понять тебе надо, что и в работе любовь нужна. И к делу порученному, а более всего — к народу, с кем трудишься. Не имей сто рублей, а имей сто друзей! И не останешься в беде. Потому расширяй пространство вокруг себя. Цари и вожди его силой завоевывают, а мы — любовью. Так и создавай свое пространство любви, где будете жить в счастье со своей любушкой и детьми при всех режимах. Подумай об этом... А сейчас иди к Анне Васильевне и скажи, чтобы к вечеру собрались у меня члены правления. Хочу назначить тебя заведующим складом. Возьмёшься?!

— Да ты что?! Вернётся Галина Петровна. Отобьём! Вот увидишь...

— Вернувшись, сама не пойдет завкладом. По нужде её поставил Теркуньков... А сейчас ты есть. Писать-читать умеешь. Справишься!.. Ступай.

— Деда-а, а я люблю её, как ты сказал, — взмолились Колькины глаза.

В них долго всматривался Гаврила Матвеевич. По-валдаевски назвал-то его: «деда-а»... Признал! И Колька выдержал его взыскивающий взгляд, дождался ответа.

— Вот и хорошо, внучок! Наладим вам свадьбу. Колхозную...

Колька ушел. Гаврила Матвеевич закрыл глаза, чтобы уснуть. Но разговор о Галине не пускал в сон, требовал осмысления. Увидел образ её и не мог остановить себя — затаился, как умел это делать, стал ждать чего-то, воспринимая ожидаемое всеми чувствами, без мыслей и слов. Замер в ожидании ответа. И он пришёл: плавно проступили очертания того, что Галина видела в своём далёком от него окружении — вагон, в которых возят осужденных, и много женщин. Ещё ощутил её щемящую тоску, страх и обречен-

ность. Понял, что она уже не плакала, а просто терзалась, не понимая происшедшего с ней...

Приласкал её мысленно. Огладил лицо... Поцеловал... Пошептал теплые слова, в надежде, что увидит его мысленный образ и поймёт, что он думает о ней; почувствует облегчение от воспоминаний о доме...

А что ещё мог сделать для неё? Всё предрешированное свершилось. В областной газете и по радио сообщили, что органами НКВД были вскрыты и пресечены факты хищения посевного материала, преступники понесли заслуженное наказание. После такой статьи никто и никогда не станет пересматривать дела расхитителей социалистической собственности, чтобы не бросить тень на справедливость карающего органа советской власти.

Боясь развития этих дум, поторопился уйти в мыслях к лебёдушке своей. Как там она, узнав про него?. Вспомнил и про своё обещание прознать про Ирину: жива ли? И сразу почувствовал тревогу в душе. От мысли первой... А если и вправду...

«Не может быть! Чего это я до поры, — успокаивал себя. — А как не волноваться, когда война с немцами? А она язык их знает. И учится там, где письма прочитывают и вычеркивают, чего нельзя писать... А научив так, куда отправят как не на фронт или подальше... Вот и риск её жизни. Как же не волноваться матери? Выходило, и тут любимому человеку принес беду своим сумасбродством. Уехал бы Сашка сам по себе, и не было бы никаких тревог сейчас. И дёрнуло же придумать ему невесту украсть, увести с собой. Эх, дурная головушка, бесшабашная! Неймется никак без озорства и удалства... И другая мысль поднялась: чего это раньше времени хоронить девчонку? Беду накликают.

«И то правда. Грех! Ах ты, Ириночка-рябиночка», — воссоздал он в мыслях её образ: увидел прижавшейся к матери за столом на проводах, потом в фате и поднимавшейся с Сашкой целоваться под крики «Го-орько!». Видел так, что воссоздал каждую черточку её лица, а виденное не ощущал теплом в себе, как бывает при таком воссоздании живых людей. Всё оставалось безответным...

Не веря себе, вновь повторил настрой... И ещё раз... И ещё, ещё повторял, пока не застал от тошноты, появившейся в голове от бесплодных истощающих усилий. Тут лишь одно спасение — спать. И поскорее!

Проснулся от давления на груди. Темень. Рука окунулась в её волосы. Пришла всё же...

— Ложись ко мне, — шепнул ей.

— Глупости... Как чувствуешь себя?

— Отхожу помаленьку.

— Что доктор сказала? Говорили, приезжала из района.

— Была... Да я не видел. Подселёнка меня обхаживала. Она, оказалось, у какого-то профессора служила подсобницей. Знахарка. Ей и сказала врачиха, что ничего страшного. Рецидив. Лекарства оставила. А завтра следователь приедет.

— Она сказала?

— Догадался. Раз ничего страшного...

— И... что будет?

— Да всё, что захотят.

— Боже мой! Ведь война...

— Кому — война, а кому — мать родна! Я теперь у них, как рыба на крючке

— в полной власти. Могут и поплавать дать на поводке. А могут и выдернуть для уха или жарева.

— Зачем им это?

— Тоже не понимал. Пока бумаг не увидел. Разбирался, а там записочки подшитые Теркуньковым. На масло, на мёд, муку, овощи... Для нужд райкома-исполкома. На кормление их за счёт колхоза. Теперь моя очередь оброк платить. Соглашусь — дадут подышать.

— Ты согласишься...

— Протестует душа, Олюшка. А как подумаю, что вместо меня Дырёху приведут...

— Дырёхе нельзя уступать.

— То-то и оно-то... А ты как? Что у тебя?

— Письмо от Ириночки пришло, такое ласковое. Вспоминает проводы. Всем-всем приветы просит передать. И тебе в первую очередь. Я так рада.

Он молчал, не зная, как ответить на её радость. Нутром понял, что такое письмо может быть только прощальным. Если кончилась её учеба и предстояло что-то новое в судьбе. Потому и приветы всем, и воспоминания. Олюшка радуется, не зная.

— Чего ты молчишь? — тронула его.

— Вспоминаю.

— Да... Красиво всё было. Я, правда, злилась на тебя. А прочла её письмо, её восторги. И подумала, такой праздник устроил им. Всю жизнь будут помнить!

И опять удар по нему. Застонал бы, да нельзя. Хорошо, что темно и не видно ей исказившегося от горя лица, покотившихся к вискам слёз.

Утром приехал следователь прокуратуры — молодая и красивая женщина, холодная и жёсткая в обращении. Сопровождал её тот самый милиционер, выгребавший зерно из-под склада. Он ходил за ней тенью, а она бесцеремонно командовала, во всё встревала. И даже сама полезла под амбар, обмотав коленки тряпками. Там нашла не замеченные милиционером деревянную палочку с рогулькой, служившую вору пробкой для просверленного отверстия, и кусок толстой проволоки, чтобы шуровать ею, если отверстие забивалось. Деревяшка была серая и старая, а провод — ржавый.

Вещественные доказательства видел Колька Сухорук. Подписывая протокол, как понятой, он геройски заявил, что Дырёха здесь воровал.

Следователь оглядела его сверху вниз, задержала взгляд на деревяшке под коленом и сказала строго:

— Не говори так никогда, не поймав вора.

— А кто тогда, кто?..

— Ты.

Колька онемел, шевеля губами без слов.

— Понял теперь, почему? — усмехнулась она и, забрав бумагу, ушла.

— А ещё фронтвик! — пристыдил Кольку милиционер и зашагал за следователем.

Опрашивали они бухгалтершу, и Дырёху, и истопницу. Что-то записывали и заставляли подписывать.

И подселенцев в большом доме Валдаевых опрашивали. И после них только пришли к Гавриле Матвеевичу.

Предполагая худшее, он заранее поднялся с постели и оделся в тёплое на случай ареста. Подумывал, что, может, ареста и не будет, коли нашли новые доказательства длительного воровства. Но ведь любой факт можно

по-разному повернуть. А потому приготовил и вещевой мешочек на веревочных лямках, собрал в него куски хлеба, соль, ложку, портянки, ещё что-то из самого нужного и разрешённого.

Зная, что полушубок его сразу отнимут конвоиры или воры, он достал давно подготовленную на такой случай телогрейку, стеганную полосами вниз — как у всех. В ней у него «секрет» был: подшитый под подкладкой брезент. От дождя не спасёт, но от ветра помогает. Положил всё это на стол, чтобы взять и следовать по команде.

Они пришли, наконец. Милиционер остался в кухне. Следователь вошла в горницу. Сняла накинутое на плечи пальто, аккуратно положила на спинку стула и тогда только обратилась к Гавриле Матвеевичу.

— Здравствуйте. Я — следователь прокуратуры Долгова Мария Васильевна. Провожу проверку по письму из вашего села. Полагаю, догадываетесь о сути дела.

Она села на табуретку перед столом и, освобождая место для бумаг, отодвинула его вещмешок и телогрейку.

— Чего тут догадываться.

— Тем более. Тогда сразу вопрос: где вы были после ухода бухгалтера и до утра, до прихода истопницы?

— В правлении спал.

— А почему не дома? Здесь.

— Тошно было домой идти. Невестку арестовали, изба не топлена... А там поспал на лавке.

— Может быть, еще у кого-то были, кто может подтвердить. Вспомните...

— А у меня, что же, доказательств нет без подтверждения? Сам что ли обворовал невестку, в тюрьму посадил, чтобы и самого посадили?

— Получится примерно так... — с холодным интересом разглядывала его Долгова. — Вот и вещмешок приготовил.

— Опыт есть. Галину-то мою ты брала?

— По установленному факту. Не зная про всё это...

— Теперь отпустишь её?..

Долгова выдержала его взгляд. В нём была надежда и неверие, и понимание её бессилия, и в завершение — горькая усмешка. И ему ответила взглядом сочувствующим и признающим своё бессилие.

Больше не разговаривали. Она написала свою бумагу, дала ему прочитать и расписаться. Одеваясь, задумчиво и пристально разглядывала его.

— Прощайте, Гаврила Матвеевич.

— Будь счастлива, дочка, — повернулся он к ней, уставясь синью своих глаз. — Да не стыдись добро делать! Прощай...

Таких слов Долгова не ожидала. Вздрыгнула. И глаза распахнула, показывая в себе что-то забытое, запрещённое. Улыбнулась не ему, а скорее своему минутному преображению. И тут же согнала с лица неуместное умиление, ушла.

Он ещё раз увидел её в окно, уходящую со двора в сопровождении милиционера. С облегчением повалился на кровать, чтоб поскорее уснуть. Спать и спать...

Для Ольги Сергеевны приход следователя в школу был пугающе неожиданным, чем и воспользовалась та мгновенно. Села за её директорский стол, приказала сесть напротив и, пронзив взыскивающим взглядом, ошарашила, цинично заявив.

— С Валдаевым давно живёшь? Не отказывайся, знаю...

— Тогда... — стала приходить в себя Ольга Сергеевна, готовясь к обороне.

— ...выручать его надо! — договорила за неё Долгова. И чуть-чуть улыбнулась. — Хороший мужик-то!..

— А... что?..

— Паскудник тут у вас. Грамотно пишет. Мне без алиби не отбить твоего... Если он твой!?

И опять уставилась на Ольгу Сергеевну парализующим взглядом, из-под которого ни убежать, ни спрятаться. Да и вопрос был поставлен так, что ответ определял её сущность. Ольга Сергеевна торопливо перебирала комбинации, понимая, что её поймают сейчас, получив подтверждение. И что будет потом с ней, с ним?..

— Мой! — выдохнула раньше, чем просчитала, что там с ней будет.

— Тогда напишешь сейчас, что он у тебя был ночью. Был?!.

— Был! Напишу..

— Здесь никто не узнает, если не захочешь. А там... И не такое известно про каждого. Пиши. А то я устала писать за всех.

Ольга Сергеевна принялась искать подходящую бумагу. А Долгова разглядывала её, оценивая.

— А ты... хороша! В нём-то что нашла?.. И все бабы ваши взалех его славят. Что в нём особенного?

— Особенного? — задумалась Ольга Сергеевна. Напряжение с неё спало. А женское такое понятное любопытство следователя сразу разрядило обстановку, вызвало ответную расположенность. И ответила ей. — Настоящий он. Каким должен быть мужик!

— Тогда повезло тебе, — с задумчивой грустью поднялась из-за стола Долгова, освобождая место, и встала к печке, прижимаясь погреться.

Проводив Долгову, Ольга Сергеевна с облегчающим душу удовольствием вернулась к отложенным делам. Сказала завучу о созыве педсовета и пошла к себе в кабинет, встала к печке согреться, как грелась здесь недавно грозный следователь, оказавшаяся... хорошим человеком, о котором было приятно вспомнить и вновь прочувствовать пережитое. Ведь так неожиданно она выявила признание её! И, к своей чести, понимала она, потому, что не испугалась, не отказалась от него — чего не ждала от себя, — а оказалась способной и на такое.

Печка наполняла приятным теплом, расслабляющим и усыпляющим. Отдалился образ Долговой. Расплылись очертания комнаты, заполняясь бело-розовым сиянием яблоневых и вишневых цветов их сада над столом, где они с Ириночкой пили чай. И стол она увидела, осыпанный опавшими лепестками, и дочь свою — в белом платье цвета лепестков. Она улыбалась ей и говорила что-то быстрое, что не осталось в памяти от столь неожиданного видения. А потом...

— Мамочка, я хочу родиться у тебя вновь. Так можно. И ты сможешь... Ты обещаешь, мамочка?!. Я о-очень хочу..

В кабинет входили учителя на педсовет, а Ольга Сергеевна не понимала, почему они так удивлённо смотрят на неё, и зачем пришли. Попыталась вновь вернуться в сон, чтобы спросить дочь, что значат её слова. А смысл сам стал проясняться голой правдой, ломающей всю её жизнь. Зашемило сердце. Сил хватило только на то, чтобы дойти до стола.

— Ой, не могу..

— Привиделось что-то? Как бы спала...

— Ириночка...

— Письмо будет! Мне приснился Васенька, и письмо пришло. Жив!

Женщины заговорили о самом главном сейчас для каждой. Ольга Сергеевна не прерывала их, и даже рада была получить дорогие минутки, чтобы собраться с силами и заглянуть в свой мир, кипевший варевом отчаяния и обиды, любви и ненависти, стона и гнева. И не верилось... Но у него-то всё так и было с сыном! Проклинала: из-за него всё!.. Не знать его! Вон!! А она просит родиться. Да что же это? Как же там? Нет смерти?! Боже, помоги. Сил нет. Нет. Нет...

— Ой, а что случилось с ней?

Голова её лежала между рук, вытянутых поперёк стола.

Часть седьмая. ПОСЕВЫ ДОБРА

1. Восхождение души

С этого дня Ольга Сергеевна стала меняться, вроде и незаметно для других, но ощутимо для Гаврилы Матвеевича. Улыбаться перестала. И с лица её ушла изучающая неторопливая задумчивость и привет осиянный.

Рассказы о его делах выслушивала без прежнего интереса. И о своём не торопилась поведать. Не понимал он, что случилось. Хотя и догадывался по тому, что не допытывалась она о своей дочери. Видимо, материнским чутьём ощущала, что нет её в живых, и потому жила так потерянно и равнодушно. А он не мог её утешить и без вопроса не мог заговорить о том, что знал или предполагал.

Разрядку принесло письмо. Оно пришло ей не в обычном виде треугольной свертки, а в настоящем конверте и даже с сургучными печатями. И за письмом этим она ездила в райцентр, где получила на почте под роспись. В письме том было написано печатными буквами, что Ирина Аркадьевна Морозова погибла в бою с врагами социалистической Родины, а ещё — на обратной чистой стороне листа — добавлено, что ответственное задание она выполнила, не пожалев себя. И ещё много хороших слов от души писавшего.

Ольга Сергеевна пристально смотрела на него, пока читал. И спросила:

— А ты знал?

— Каюсь, Оленька. Знал.

— Догадывалась.

— Да как говорить такое...

— А я — скажу!..

Он поднял на неё удивлённый взгляд: что ещё можно тут говорить?

— Ты больше не приходи ко мне.

— По-че-му, О-лень-ка?..

— Беременна я, Гаврила Матвеевич.

Он вскинулся, ждал, что ещё скажет... А она от него ждала слов. Это он понял запоздало. Улыбнулся смущённо и радостно.

— Так это же хорошо, Оленька. У нас будет сын. Поженимся. Да я!.. Да мы...

— Дочь будет! Ирина, — сказала она с нажимом на имени.

— Пусть дочь! А...

— Попросила она! Чтобы родиться вновь...

Он ещё ничего не понимал, ждал пояснений. И она рассказала всё...

— Вот оно как там! Да-а... Закручено-то как... Слышал про такие случаи, да всё не верилось... А почему не приходит мне? К своей жене, дочери?

— Не простят тебе...

— Ну, беды бояться — счастья не видать. А мне сейчас, после сказанного тобой, хоть семь бед на один ответ. А ты дала его. Спасибо, Олюшка! Хоть на последних годках узнал главное, что надо знать.

Она не понимала его, смотрела выжидающе.

— Да как же, Олюшка... Не поняла разве? Нас смертью страшат... А ее нет, оказалось! Захотел, и вновь можно родиться, как Иринке твоей. Вот что ты сказала! А сама не поняла. Прятаться вздумала. И меня защищать, кабы чего не вышло... Меня-то?!.

Замедленно до неё стала доходить правота его слов. Улыбнулась несмело и впервые после многих дней стала смотреть на него с пробуждающимся интересом. Он не мог успокоиться, ликовал, видя её улыбавшейся.

— И еще будут мальчики, чтоб Тимофея с Коленькой вернуть, Петеньку-внучка, и девочки будут — Марийка, Леонтиночка...

— И это все мне...

— И мне! Справимся. Ты понимаешь теперь, зачем от Бога отодвинули? Чтоб правду скрыть. Он бессмертие дал, а нам говорят — живёшь только раз. Слушайся и подчиняйся, иначе — расстрел как врага народа. И настраивают бояться их, дрожать. В страхе всех держат. И врут нам с малых лет, до смерти. А я теперь, знаешь, как воспрял!.. Знаешь, как жить стану! Да на всю ширь души своей!..

— Ты и живёшь так.

— Не-ет... Оглядываюсь. По другим равняюсь или боюсь, да виляю, как пёсий хвост... А Бог вечность дал, чтоб ничего не боялся! И не верил бы никому! И не просил бы ни у кого, не ждал милости! Видишь, как открывается жизнь: будь с Богом в душе и ничего не бойся! Он не оставит в беде, вразумит и поможет через тебя же самого. Второе, не верь никому!

— Почему? И мне тогда не верить тебе? И тебе — мне?

— Ну-ка, помолчу... — задумался он. И ответил обрадовано: — Да потому, что каждый себя знает больше других! Я же не знаю твоих учительских дел, а ты моих — мужицких. Или Сталинских я не знаю, а ругаю его. А он моих не знает и не считается с ними. Вот и выходит — не верь! Всё сам делай, не боясь! И не проси!..

— Это третьим будет?

— Ага! Чего милости ждать, когда ты сын Божий. Тебя в жизнь пустили Богу помогать в делах праведных. Мы же здесь его глаза и руки, и мозги. Вот и делай сам, что хочется тебе! А не вымаливай у других милости.

— Канон получился. Никого не бойся! Никому не верь! И никого не проси! Ин-те-ресно... Сейчас придумал?

— Понял сейчас, Олюшка. Знал от деда давно, а все не понимал нутром. Чего-то главного не хватало. А теперь-то понял, зачем отодвигают от Бога, в материалисты вербуют с малых лет. Так ведь приказано вам?

Кивнула она, усмехнувшись грустно. Он подступил к ней. И она потянулась к нему, прижалась, закрыв глаза. И как утонула в нем, слившись воедино.

* * *

Колькино письмо Сталину первой прочла сельская почтальонша. Перебирала письма, вынутые из почтового ящика для отвоза в райцентр, увидев

ла его и обомлела, прочитав: Москва. Кремль. Товарищу Сталину И.В. А снизу обратный адрес Петровского, своя улица и соседний дом Сухоруков. Это что же? Да как же? Самому! Колька! А мать, что же? Куда смотрит? А как ей усмотреть за таким? Ой-ой-ой!

Развернула треугольник письма, прочла и задумалась, не зная, как быть. То, что написано было Колькой, — сама бы подписала. Но посылать Сталину?! Будто дружку в соседнее село...

Появилась мысль порвать письмо — и в печку. Не было его, и всё! Кто докажет? Но он ведь характерный, вон как мать изводит... Опять напишет или в район нажалуется, без заработка оставит... И пришла вторая мысль: отвезти в район да заведующей сказать, как положено по инструкции. Так и сделала.

У заведующей районной почты была своя инструкция, и она отнесла письмо в особый отдел райкома партии. Оттуда треугольничек перелетел в приёмную первого секретаря райкома партии и лёг на стол Марысева.

Озадачило письмо Степана Егоровича. Нелепо получилось с невесткой Валдаева... Бабу-то сам знал. Верующая. Такая своё отдаст, не то чтобы красть общественное... Но, что поделаешь, когда разнарядка пришла. Нужен народ на шахтах, в рудниках. Добром-то никто не поедет. И попробуй не выполнить — самого повезут. И что делать с Валдаевым? Такое дело с ним задумал провернуть. Пробудил! Подвинул!.. Как он теперь сеять будет? А с другой стороны, куда денется-то?.. Поскрипит, поворчит и подчинится. Не велика птица, хотя и заносится высоко. Старик. Опытный, однако, — принялся Марысев разглядывать письмо. — Молодых формирует. Фронтовик, видишь ли, объявился... И что будет? Новые письма пойдут наверх, сигнальчики разные... Не-ет, остановить его, пока не поздно... Отсеется — и вон с председателей!..

Макнул ручку в чернильницу и подписал на углу письма: «Приложить к делу». Поставил подпись, число.

* * *

Посевная Гаврилы Матвеевича превратилась в первый и последний бой, как было предreshено.

Вначале-то уполномоченный райкома партии не догадывался, что его здесь дурачат. Встретили радушно. Да и знали его — это был тот самый усатый-носатый и мешковатый милиционер, приезжавший расследовать воровство зерна, а потом он сопровождал следователя. Его отвезли на полевой стан, где Гаврила Матвеевич всё ему рассказал, показал: вот зерно подвезли семенное, вон сеялки, настроенные для посева...

— Сейчас трактор из МТС подойдет, подцепит их и начнём сеять. А пока отдохнуть можно с дороги али рыбку половить.

— В поле?

— Да вон река-то... Рядом.

И сам отвёл его на берег реки, где между кустов были расставлены жерлицы. Издали увидел ту, на которой поймалась рыбина, и подвёл к ней усатого-носатого, попросил проверить. А тот как почувствовал дрожь удилища, да силу, вырывающую её из рук, да рыбину увидел, сгибавшуюся кольцом, — вошёл в азарт, выуживая её из воды. И выбросил на берег.

— С почином, Кузьмич! Наловишь поболее — уха будет бригаде. Разберёшься, вижу...

— Разберусь, — обрадовался Кузьмич выпавшей возможности отдохнуть. Когда ещё удастся такое? И махнул: иди!

«С этим справился, — порадовался Гаврила Матвеевич. — Теперь трактористку встретить... Обещали прислать Нашу-Пашу, именуемую так в честь какой-то знаменитой стахановки. Оно бы хорошо, что стахановка. Да лучше бы кого попроще. Чтoб не лезли в дела, каких не знают».

И вот ведь судьба какая, чего боялся — на то и нарвался. Пришел на стан, а там уже расхаживала девица в комбинезоне и брезентовой куртке, с папироской в губах. Увидела его и подступила, хмурясь. Заговорила так, чтобы слышали все.

— Пред-се-датель, ты что тут творишь? Что в сеялку сыпешь? Воду в мешки льешь?

— Погодь, девонька. Смени гнев на милость. Я ж говорил твоему директору МТС, особый у нас сев.

— Какой там особый? Сев есть сев... Семена в землю, и пусть растут. А вы песок к семенам подсыпаете. Воду в семена льёте.

— Так слушать будешь?

— Я сеять не буду!

— Постановлению партии не подчинишься?!. — теперь уже Гаврила Матвеевич заговорил её тоном. — Ревизию устроила?.. Не доложили тебе, что бюро райкома партии решило.

Наша-Паша замерла. И глаза остановились, потеряв воинственный блеск, и папироска в губах повисла, забытая и ненужная. И Гаврила Матвеевич пожалел её:

— Видишь ли, девонька. Хлеба надо поболее дать. А у нас семян не хватает.

— Так ты песком их заменить решил?

— Песком семена не заменишь, а норму высева уменьшим. Сбережём семена, если пореже станем сеять. И тогда на сбережённых семенах ещё посеём.

— Меньше посеешь, и урожай будет меньше. Норма подсчитана учёными...

— А дедами проверено, Пашенька. Когда, бывало, разбросом из лукошка зерно сеяли, то заметили: чем реже растёт пшеничка, тем больше урожай. Да ты сама, поди, видела, когда пшеничка редко растёт, то снопы образует по десять-двадцать стеблей с колосками. Из одного-то зернышка!

— Видела, — призналась Наша-Паша и, выплюнув папироску, улынулась обрадованно. — На обочинах, на разворотах... Удивлялась всегда, почему тут снопами растёт. А в рядках — стебельками. И тянутся, лежат потом.

— Во-от! — радовался её пониманию Гаврила Матвеевич. Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Боялся её, а вон какая смысловая оказалась. — А как нам с лукошком раскидать зерно на тысячи гектаров?

— Без техники — никак...

— Вот и придумали песок добавлять.

— И я понижу норму высева.

— Понижай, Пашенька. Чем больше семян сэкономим, тем больше посеём. Больше хлебушка стране дадим.

— А воду зачем в семена льёте? — кивнула Наша-Паша.

Сбоку от неё, на просохшей прикатанной дороге, Надя Зацепина и Тонечка Петрушина с другими девчатами разгружали подкатываемые телеги, поливали зерно из лейки, перелопачивали для лучшего смачивания. Работали и снисходительно усмехались, переговариваясь между собой. Они-то всё это изучили на дедовых занятиях, и сейчас, видать, посмеивались над знаменитой стахановкой.

— А это, Пашенька, особая вода. На золе настоящая, словом оговоренная...

— Знаю. Щелочная, если на золе.

— И это знаешь. Тогда подправь норму-то, на малость сделай. И в поле, помолясь...

— Без моленья обойдусь! — повернулась Наша-Паша с прежней гордостью и царственно прошагала мимо девчат, ворошащих зерно деревянными лопатами.

Хозяйский глаз Гаврилы Матвеевича заметил среди подъезжавших повозок мужскую фигуру. Узнал Дырёху и встревожено пошёл к нему.

— Митрий Васильевич, а тебя кто послал сюда?

— Партийный глаз, Гаврила Матвеевич. Забыл?

— Как без партии... Разве углядишь за всем? Контролируй.

— Уполномоченного куда дел, не вижу... Передать ему надо кой-чего.

— По надобности пошёл к реке.

— Мне тоже надобно, — кивнул Дырёха и зашагал мимо притихших девчат.

«Вот это совсем некстати, — занервничал Гаврила Матвеевич. — А что делать?.. Быстрее бы она выезжала в поле, — глядел на Пашу-Нашу. Но дивчина не торопилась, делая всё основательно, с перепроверкой. И дернул чёрт подсказать ей перенастройку. Вышла бы в поле, и там, вдали от всех, переналадила бы. Э-эх!

— Девчатки! Надя, Тонечка... Все-все сюда... Сворачивайтесь, и в поле передвинемся. Там будем трактор встречать и сеялки догружать.

— А у нас все приготовлено, как говорил. А что еще делать? Ты говори, деда-а, — протянула Надя по-валдаевски, имевшая право так обращаться к председателю с довоенной поры, когда командовала Сашкой и считалась его невестой.

И дед её привечал всегда по особому, а теперь и с тайной надеждой, зная их новый расклад судьбы. Заулыбался, заговорил похваливая:

— Всё скажу, покажу, чтоб каждая свой маневр знала. Как в бою. Вы ж у меня наипервейшие помощницы. Без вас, как без рук и без глаз. Без мужиков-то вся надежда на Надежду, Татьяну, Веру, Машу, Катю... А ты, Тонечка, чего прячешься? И на тебя, и на Светочку..

Девчата думали, шутит с ними, смеялись

Затарактел, зарычал трактор. Мальчишки-сеяльщики запрыгнули на мотки сеялок, и сцепка пошла в поле. Следом пошли провожать её Гаврила Матвеевич и девчата. Возликовали все.

— По-шёл!..

— Стой! — послышалось от реки. Наперерез трактору бежали, размахивая руками, милиционер и Дырёха.

Трактор остановился. С сиденья слезла Наша-Паша и хмуро поглядывала на бегущих к ней начальников, на подходившую группу с председателем.

— Чего не так?

— Глуши! — приказал милиционер, задыхаясь от бега.

— Слушайся, — авторитетно добавил Дырёха. — Чего торчишь-то?

— Перебьёшься! Сам потом будешь заводить мне?

— Уполномоченный райкома партии говорит тебе, дура.

— Чего встала? — подошел Гаврила Матвеевич.

— Велят..

— Ты чего-ж, председатель, дурить меня вздумал? — пошёл на него милиционер. — Рыбкой занял, чтоб делишки свои стряпать...

— Ты об чём, Кузьмич?

— О песке, который в сеялках вместо зерна. На тыщи гектаров, это сколько мешков притыришь? А воды сколько в зерно вылил? Для веса...

Кузьмич ждал, что скажет припёртый председатель. И терялся, не видя ожидаемой вёрткости, каких-то уловок и оправданий. Стоял председатель вольно и смотрел, как на дитя несмышлёное. Растерянно оглянулся уполномоченный на Дырёху, дожидаясь поддержки.

Для Гаврилы Матвеевича расклад прояснился. Дела-то не знает уполномоченный, и Дыреху не дослушал, видать, не понял ничего. Главный враг здесь Дыреха. Вон как прицеливается, чтоб наверняка укусить.

— Чего молчишь?! — дергался милиционер. — Я сразу понял, зачем на речку увёл... Рыбки половить для бригады. А сам тут её, в грязной воде ловишь...

— Он не ворует. Наворовал уже, — подал голос Дыреха. — Колхоз разорить хочет.

— Милиционер он, — кивнул Гаврила Матвеевич на Кузьмича, — не знает наших дел. А ты-то чего плетёшь?

— А зачем же ты, знающий, яровое зерно с озимым сеешь весной?

«Вон что вызнал», — встревожился Гаврила Матвеевич, и сдерживал себя, боясь поглядеть на девчат. Увидел лишь Нашу-Пашу: она передвинулась от него на полшага к милиционеру, стала хмурой и колкой.

— А затем я делал это, Митрий Васильевич, чтобы два урожая за один посев снять. Как в старину делали.

— Кулаки!.. А мы советские...

— Не только кулаки. И мужики сеяли так, чтоб из голода выйти. Ты-то не знал этого, захребетничал до советской власти. А я знал!.. Деду своему помогал вот таким же, — кивнул на подступивших к ним ребят, прыгнувших с сеялок.

— А где бумага тогда? Давай! — потребовал милиционер.

— Какую тебе бумагу?

— А такую, что позволяют тебе сеять так...

— Аа... — растерялся на миг Гаврила Матвеевич и, уловив торжествующую ухмылку Дырёхи, прищурился и пошёл на милиционера, — А ты разве не читал её?

— Где?

— В райкоме. У Марысева в приемной.

— Не-ет...

— А как же приехал сюда, не читая секретный документ? Слухам разным веришь. И мандат свой не показал.

— Ты на дуру меня не возьмишь! Не позволю сеять! И тебе, — глянул на трактористку, — приказываю до особого распоряжения стоять здесь и ничего не трогать из сеялок.

— Езжай, Паша! А ты — уйди с дороги. Прав не имеешь! Где мандат на контроль?

— Вот он, — достал наган милиционер и направил на живот. — Руки вверх! Пристрелю гада! За сопротивление милиции... Все видели?

Девчата и мальчишки стали отступать от них, не понимая, что происходит. И Гаврила Матвеевич взъярился:

— Все!.. Все смотрите, как мешают хлеб растить народу. Не в кино... А тут вот... Стреляй! Я ж ведь не уступлю тебе, пока живой. Стреляй, ну!..

Видел, жидковат был для стрельбы носатый-усатый. Глазки забегали, рука задрожала. Выбить наган не представляло труда, да нельзя было это делать принародно. Тут помочь надо дураку.

— Вот что скажу, Кузьмич. Возраст у нас с тобой не для дурусти. Меня народ избрал, а партия утвердила. И спросит с меня покрепче твоего. Так

что помогай, если уполномочен помогать. Не слушай этого, — кивнул на Дыреху. И совсем тихо, доверительно добавил: — Трактор нам нужен ещё один или два. Чтоб управиться в сроки. Пошустри, Кузьмич!

И отвернулся от него, оглядывая всех орлиным взглядом.

— Мальчишки, кончай перемену. По местам!.. Девчата, готовьсь... И ты, Пашенька, с Богом!.. — обнял её за плечи и повёл к трактору.

— Ну, дед — сорок бед! — косилась на него Наша-Паша, покачивая головой, не находя слов.

— Беда — не вина, Пашенька, в поученье дана. Как переждем — и поумнеть сможем.

— Что ж ты... не поумнел?

Таких слов не ждал Гаврила Матвеевич. Онемел под её пристальным взглядом колких глаз. Давая себе передышку, огляделся. Увидел уходящих милиционера с Дырёхой; они остановили отъезжавшую телегу, уселись и покатили к селу. Докладывать сейчас станут, кому надобно. Девчата отошли, да сбились в кружок, обсуждая увиденное-услышанное. Мальчишки тоже не послушались, не влезли на сеялки и шепчутся, поглядывая на них. Уходя от их взглядов, отступил Гаврила Матвеевич за трактор и тогда только обернулся к Паше-Нашей.

— Не поумнел, говоришь... А знаешь, Пашенька.... Если век дрожать, так и света не видать. Ложись сразу, и помирай.

— А я жить хочу. И не буду сеять. Нечисто здесь все...

— Что же нечисто, Пашенька?.. Не видишь разве, один — дурак, а другой — подлец.

— А ты какой?

— Сама прикинь...

— Никогда так не сеяла.

— Молодая потому что.

— А вдруг не получится по-твоему?

— Под расстрел пойду. Как враг народа.

— А я — как пособница?! Не проявила партийной бдительности?..

— Да разве ж я хочу быть расстрелянным, подумай сама... Мне колхоз надо поднять!.. Стране хлеба дать поболее, чтоб и колхозникам осталось на еду за трудодни. Знаешь ведь, сколько получали в прошлом году. Крохи!.. На мякине живут... А чтоб побольше стране хлеба дать, надо тебя прежде научить дедовым секретам.

— Меня-то зачем?

— Чтоб на железных конях пахать-сеять. Так только справимся. Девчат наших обучим, соседей... Весь район, а может, и далее...

— Без агронома не буду.

— Приедет агроном, не бойсь. Сейчас уполномоченный доложит, и прыскачет она завтра.

— Тогда до завтра подождём.

— Нельзя, Пашенька. Весной каждый час дорог. Это сколько же гектаров потеряем незасеянных? Сводки о севе каждый день, как военные передают. О нас что скажут? И что доложат товарищу Сталину?

Она вскинула испуганный взгляд, задрожала. И стала обычной молодой, растерянной и слабой. Губы задёргались, вот-вот зарыдает.

— Не... Не могу я. Сын у меня ма-маленький...

— Да я ж не беду прошу, Пашенька. Клянусь тебе детьми своими, внуками, правнуками — нет злого тут ничего. Богом клянусь, — упал перед ней на коле-

ни Гаврила Матвеевич, стал креститься, наклоняясь до земли. И его замазанный землёй лоб убедил Нашу-Пашу больше слов — полезла на трактор.

Гаврила Матвеевич поднялся с земли и отошёл в сторону, давая дорогу. И ещё долго стоял, глядел на трактор, уходящий в даль поля. А может, в свою будущую жизнь...

2. Тени славы

Расправу ждал с утра, а её не последовало и на следующий день. Подумал — пронесло... Делал-то всё, как бюро докладывал. Уполномоченный не знал про бюро, вот и встрял по наущению Дырёхи.

Сеяли день и ночь, с короткими перерывами на сон. И опять, опять... Женщины и девчата под бригадирством Нади Зацепиной готовили семена, мальчишки развозили их к сеялкам. Их прибавилось по личному распоряжению Марысева; дал с тракторами и горючим. Все сделал, как обещал. И это совсем успокоило Гаврилу Матвеевича. Успеть бы побольше посеять!

Агрономша всё же приезжала. На третий день появилась. Встречи у них не было. А Надя рассказывала, что расспрашивала она всех, как на экзаменах, всё записывала и расписаться велела на записанном.

— Зачем?

— Сказала, чтобы знать, правильно ли записала.

— Ну и?..

— Расписалась ей. Число поставила, как велела. А что, не надо было? — встревожилась Надя. — А что нам будет?

Видел Гаврила Матвеевич, и Тонечка Петрушина сомлела, и другие девчатки насторожились. Вот ведь как знают беду. Подбодрить надо. И заулыбался им, веселясь.

— А что будет за большой урожай? Давайте вместе считать. Трудодни от колхоза положено вам и хлебушка за отработанные денёчки эти — раз! Премия от райкома может быть — два! Но может и не быть, по военным годам. А грамоту всё равно дадут — три! А главное-то, девчонки, благодарность вам будет от воинов наших. Они там сейчас день и ночь в бою, под смертью ходят. А вернуться, и скажут вам спасибо за хлебушек ваш. Это сколько будет?

— Четыре.

— А пятёркой — похвала вам будет за учёбу. Все придут поучиться у вас большой урожай растить. Со всей округи поедут сюда. Тут уж боюсь, чтоб не сманили к себе, не увезли бы невест нашенских ребят.

Заулыбались девчата

— А будет ли урожай, как обещал?

— Да куда ж он денется?.. Сыра-земля приняла зерно. Даст корешок и пойдёт колосок. А мы ж зерно не только посадили, но и водичкой напоили, чтоб сразу в рост пошёл, не дожидался бы дождя. И простор зерну дали, чтоб не в одиночку стебелёк рос, а с братьями — венником враз. А веник какую силу имеет? Кто сказки помнит?

— Отдельно веточку поломаешь, а вместе — нет.

— Вот! И не поляжет у нас пшеничка и рожь ни в дождь, ни в ливень. Опять достаток.

— Яровые с озимыми посеяли, — напомнила Надя.

— Немного, правда. Семян не хватило. Но народ узнает, как можно дешевле растить хлеб, за один посев два урожая снимать. Как же не придут к

вам поучиться?! Со всей страны станут ездить, на наши поля глядеть. Тогда и Сталин, товарищ Иосиф Виссарионович, поинтересуется да вызовет в Кремль поглядеть на вас. Стахановками станете.

— Ну, деда-а, наговорил! — зарумянилась Надя. И девчонки заулыбались, шепчась.

Кивнул им Гаврила Матвеевич и пошёл по другим делам. Радовался, что так вот ободрил девчат. И как же потом раскаивался за эту глупую беседу, как плакал в отчаянии, что нельзя её было изменить. Одно-то слово бы убирать, и оставались бы они счастливыми, как сейчас...

Все кончается в жизни... Кончалась и посевная маята. С утреннего темна Гаврила Матвеевич трясся на тарантасе, добираясь до дальнего поля. Обеспокоился, не видя огней трактора. Неужто встала?.. Что там ещё случилось?.. Погнал Воронка.

Трактор с сеялками стоял в углу поля, повёрнутый для выезда на дорогу. Брошенный... Поднялся на сеялку, заглянул в ящик — пусто. Огляделся сверху и увидел что-то лежащее за трактором. Спрыгнул, подбежал... На каком-то брошенном тряпье спала Наша-Паша. Вздёрнув носик, приоткрыв рот. Рядом на земле папироска лежит дотлевшая, сохранив столбик пепла. Видно стало, что слезла Пашенька с трактора посидеть на земле, да сон повалил. И вот спит на сырой земле. Не грозная, как всегда — по-домашнему простая и беззащитная...

— Вставай, Пашенька, — стал теревить её, расталкивать. — Нельзя на земле-то... Открой глазки. Утро скоро.

— Ты что ли, дед?

— Я, Пашенька... Поднимайся. Пойдем-ка. На тарантасе ляжешь.

— Горючее кончилось.

— Понял. Отсеялись, Пашенька. Слава Богу, помог нам... — сказал так и сам почувствовал нарастающее в теле облегчение, переходящее в сонную слабость, да такую, что хоть самому вались с ней рядом на тарантасе и засыпай. Перемог себя и погнал Воронка к полевому стану прямком по полю.

Где-то посредине поля догнал сеяльчиков, работавших с Нашей-Пашей. В длинных, не по росту мальчишек фуфайках, в старых шапках и башмаках, они уныло шагали, держась друг за дружку; остановились, глядя на спящую на тарантасе трактористку. Гаврила Матвеевич слез с тарантаса, кивнув:

— Садитесь.

Ребята расселись на тарантасе, привалясь плечом к плечу, позакрывали глаза.

Повёз их, шагая рядом. Поглядывал на утомлённые, пропылённые лица. Знал, каждый из них торопится подрасти, чтоб на войну попасть. И не догадывались мальчишечки, что уже победили в своём первом бою.

Через неделю после окончания сева пошли по селу слухи, что погубил посеvy Валдай, опять упекут куда подальше, а с ним — и кое-кого из пособников... А кого — и гадать не надобно: тех, кто больше всех помогал.

И они прибежали к председателю гурьбой, наперебой пересказывали, кто что слышал. В глазах испуг и близкие слёзы.

— И что делать будем? — спросил девчат насмешливо.

— Не знаем, — ответила Надя. — Скажи.

— Верней всего, думаю, песни надо петь.

Шутку не приняли девчата. Тут страхи такие, а он...

— Тогда вот что, девицы-красавицы. Не будем судить-рядить, а поедем в поле, да посмотрим всё своими глазами. Понадежнее будет так-то...

Поехали на тарантасе, и на двух телегах, чтобы всех желающих забрать.

Добрались до дальнего поля, граничащего по дороге с соседним колхозом. Здесь остановил Гаврила Матвеевич Воронка. Встал на тарантасе, оглядывая с высоты простор полей...

По его примеру и девчата поднялись на тарантасе и на телегах. Оглядывали поначалу с радостью новизны впечатлений. Но вскоре на лицах появилось удивление... Оно поменялось на опаску и недоумение. Поле соседнего колхоза — сплошной зелёный ковёр из слившихся всходов, а своё — чернота голой земли с редкими зелёными рядками.

— Почему у них так... А у нас...

— Мы же раньше посеяли...

— А что у нас? — громко спросил Гаврила Матвеевич, чтоб и на телегах все слышали. — Кто скажет?

— Пусто! У них сплошная зелень, а у нас — чернота с зеленью.

— Правильно, Тонечка! Это и есть наш первый успех. Мы что для этого делали?

— Норму высева уменьшали, — сказала Надя, и колко глянув на подруг, добавила. — Чего вы плакали-то?

— А ещё что видите? — допытывался Гаврила Матвеевич. — Какая зелень по цвету у них и у нас?..

— Светлая у них...

— А у нас — темно-зелёная.

— Ой, и правда, девчонки. А почему?

— Хлорофилла больше, — объяснила Надя. — Забыли, что ли?...

— А это что такое? — удивился Гаврила Матвеевич непонятному слову.

— Ну... Это кровь растений, если проще говорить.

— Вона что... А по-мужицки — сила это играет. Приметили, когда темней всходы — крепче пшеничка становится.

Девчонки заулыбались, зашебетали, а он раздумывал, поглядывая на них: вон ведь как научены, а колхозные поля по-московски засевают. Будто Сталин у них там главный агроном. Тьфу!

— Так чем ещё вас стращали? Смотрели в поле, а видели горе. А вы в слёзы, когда радоваться надо и песни петь.

— Едет кто-то, — шепнула Надя, глядевшая ему за голову.

Гаврила Матвеевич повернулся и увидел показавшуюся в конце дороги чёрную легковую машину. Таких было всего-то две на район: одна у секретаря райкома Марысева, вторая — у военкома. Спрыгнул с тарантаса: ссыпались и девчата.

— А кто это к нам?

— Может, и не к нам.

— Узнаем сейчас.

Приехала главный агроном района. Вышла из машины, хлопнув за собой дверцей. Гаврила Матвеевич пошёл к ней, гостеприимно улыбаясь.

— Здравствуй, Софья Степановна. К нам али проездом?

— Здравствуй, председатель. К вам. А у вас что за собрание?

— Всходы глядим да радуемся...

— Даже?! И я приехала их зафиксировать. Кто у вас тут грамотный, — кивнула девчатам. — Подойдите сюда.

Первой подошла Надя Зацепина с гордо вскинутой головой. Ей агрономша сунула складной метр, карандаш и бумагу.

— Посчитаете всходы на квадратном метре. Объяснять?

— Как в школе учили?

— Тогда каждой по метру. Вон на том поле... — показала за дорогой.

— А это не наше.

— Вот и подсчитайте мне, сколько будет ростков у соседней... А мы с председателем посчитаем, сколько у вас... Понятно?

Перешептываясь и тревожно оглядываясь, девчата разбрелись по соседскому полю. Агрономша пошла на поле «Рассвета», выбрала нужные места, принялась считать ростки. Пришлось и председателю идти к ней, присесть и отсчитывать пробившиеся из черни земли дрожащие на ветру росточки. И непривычно было, и мутрно. Слово бы его тычет носом, как котёнка, отучая не гадить в избе.

Разговоров не было. Отмеряли метры тут и там, складывали, делили, перемножали. Скоро освободившиеся девчата хотели уехать, и Гаврила Матвеевич не задерживал их за ненадобностью, но агрономша строго остановила:

— Задержитесь. Подпишите сейчас, что насчитали, — и принялась писать акт, разложив бумаги на капоте автомашины.

Председателю осталось только руками развести и улыбнуться девчатам: что поделаешь, начальство велит.

Нерадостно было на душе, и на бабу эту противную глаза бы не глядели, да приходилось терпеть, поддерживая девчонок улыбками. А то ведь совсем потухли, присмирели, зашептались, боязливо поглядывая на агрономшу, склонившуюся над капотом автомобиля, где разложила свои бумаги.

Гаврила Матвеевич тоже разглядывал её с тыла. Плечи узкие; чёрная юбка висит, как на вешалке, и зад тощий. Глядел и думал, что же это у партийцев такие бабы поджарые. Секретарша у Марысева, как вяленая вобла; прокурорша, как пустой чулок; и эта — кулёк бумажный да две моталыжки. Жопы-то нормальной нет. Ба!.. Так они ж для женского дела не приспособлены. Как им, с узким крупом, ребенка выносить да родить. Выходит, порода у них такая... В конторах сидеть да на поля в машинах ездить, ревизии учинять. Таким, что скажут, — то и напишут. А что тогда Марысеву надо? Если прислал её на личном автомобиле для быстроты? Что хочет, если сам подначивал на «кулацкий» сев?.. Бережётся, чтоб в случае неудачи во врага народа определить? Если всё хорошо будет — на коне он, плохо — под копыта старика.

— Сюда все, — позвала агрономша девчат. — Распишитесь вот здесь...

— А что нам подписывать? — насторожилась Надя, бросая взгляды с агрономши на Гаврилу Матвеевича. Он тоже подошёл, отмечая: молодчина дивчина, бережётся.

— Акт подсчитанных ростков. Вы хорошо считали? Вот и подтвердите, что не ошиблась я, переписывая ваши итоги. И мы с председателем подпишемся.

Надя первой прочитала вслух бумагу и, усмехнувшись, взяла карандаш.

— Погоди, девонька!.. — остановил ее Гаврила Матвеевич и обратился к агрономше: — Софья Степановна, скажи-ка, а зачем всё это?

— Расскажу, подписывайтесь...

Надя поняла строгий взгляд Гаврилы Матвеевича, сложила руки на груди и всем видом показывала, что приготовилась слушать объяснения.

— Не понятно, что ли? Есть правительственные указания, гости, технологии... Документы, в общем, которые нельзя нарушать. В стране все долж-

ны сеять пшеницу так, чтобы на гектаре выросло по три миллиона стеблей с колосом, триста штук на квадратном метре. А у вас взошло по восемьдесят стебельков. Это во сколько раз меньше?..

— В три с половиной... — произнесла Тонечка. И заметались встревоженные взгляды.

— Так у нас колосков будет больше, мы и перекроем недобор, — пояснил Гаврила Матвеевич.

— Откуда они возьмутся? — сказала агрономша, мобилизуя терпение.

— А гляди, зелень какая у нас...

— Какая?

— С силою! Хларавила больше...

— Хлорофилла, — подсказала Надя.

— Ага!.. А с такой силой будет у нас стеблей из каждого зёрнышка не один-два, а по дюжине, а то и за два десятка... Это во сколько больше, подчитай, Танюша.

— Если по двенадцати, то... девятьсот шестьдесят. В три раза больше.

— Во!.. Про это тоже надо написать.

— Про мечтания ваши?..

— Про тёмную зелень... Так и допиши: цвет всходов — темно-зелёный. Это каждый пшеничник знает, поймет... Дописывай, Софья Степановна. И не беспокойся за нас. Начальству доложи — всё путем здесь будет.

— А если не будет?

— Да куда ж оно денется, если взошло? Через неделю куститься начнёт, новые стебли пойдут, чтоб распахнуться во всю ширь. Земли не углядишь потом — снопами пшеница встанет. Вот тогда узнаешь мужицкий спас! Ни в какой книжке такого не прочтёшь, а у нас — вот оно!.. Гляди да помни.

— Вот что, товарищ председатель колхоза. Не вам учить меня, как растёт пшеница. И не место... Не трибуна выкаблучиваться. Вы нарушили агротехнику! И за это придётся ответить!.. По законам военного времени!..

Взгляд её уничтожающий выдержал, не сморгнув. И сам закипел холодным бурлением. Знал, такой нельзя поддаться и уступить.

— А про бюро райкома забыла? Я докладывал обо всём. Тебя не поддерживали, помнится.

— Помнится, и тебя не поддержали. Где решение бюро райкома? Дай мне его... — протянула руку и пошевелила пальцами.

— Дам! Только не бумажку, а урожай. Как товарищу Сталину обещал, — сказал и увидел открывшийся без слов её тонкогубый рот. У других тоже видел часто такое же онемение при упоминании Сталина. И взял грех на душу, пошёл ва-банк! — Ага!.. Послал ему обязательство в Кремль. Чтобы знал, поможем Красной Армии. А ты нам подмогни, по-учёному. Подскажи, что надо, коли не так что... Смычка будет. Вместе и сотворим.

Агрономша загнанно молчала, и только дробинки её глаз бешено металась, не в силах вылететь для смертельных ударов. Села в машину, громко хлопнув дверцей. Проснувшийся шофер завел мотор, и машина уехала.

— А подписывать? — спохватилась Таня.

— Вернется, если надо.

— Деда-а, не боишься так-то? — спросила Надя. И посмотрела долгим всё понимающим взглядом.

— Надюша, кто боится, на тех бес садится. А мы подрожим да сами убежим. Поехали, девчата. И с песней завсегда. Такое задание вам даю от колхоза. Чтоб дух поднимать, не горе. За-а-пе-вай!..

— Синенький скромный платочек, — запела Тонечка, и её дружно поддерживали на других телегах:

*Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забыла
Синий платочек сберечь.*

Так с песнями и вернулись в село. А еще проехали по одной улице, да по второй. А такие песни по тем годам звучали громче салюта.

* * *

Ночью, как всегда, застольные разговоры о делах минувшего дня.

— А ты написал Сталину? — встревожилась Ольга Сергеевна.

— Разве не сказал бы тебе.

— Зачем тогда сказал агрономше?

— Не ей сказано... Марысеву передал, чтобы не трогали. Чую, плетут что-то... Если получится всё хорошо, то им надо будет меня оттолкнуть, чтобы себя возвысить. А если, не дай Бог, сорвётся что-то... Тут им надо будет все грехи на меня свалить, чтоб не замарал их.

— А ты хочешь возвыситься?

— Знаешь, как у нас говорят: Анисим-Анисим, мы тебя возвысим: посадим в терем, а потом обсерем. Пусть сами так возвышаются.

— Нелогично... Чем Сталин тебе поможет, если не написал ему?

— Страхом! Боятся его, знаешь как! У царя таких страхов не было, как у него. Вот так рябой! Ловко придумал, подлец. Самого тут нет, а все знает, следит за всем их глазами. Вспомни, как у царя голодали. А у этого и голодные хлеб растят, и отдают весь до зернышка. Вот это настоящий царь. Жандармов.

— Говоришь так, словно доволен?

— А куда денешься?.. Люби не люби, а признавай.

— А если у тебя не получится? И что с нами будет?.. Думал об этом?

— Получится, Олюшка! Я же выращивал так пшеницу. Сеяли на отшибе, подальше от глаз. Да сторожили, чтоб никто не зашёл на поле, не выглядел секрета. Для себя берегли. А теперь открою всем... Должно получиться.

— И посадят в «терем»... В каком был уже...

— За помощь-то? Не должны... Помнишь мой сон с медовым озером?.. Не могу после него жадничать. И знаешь, что думаю... Может, Бог через меня народу помогает. Рассуди, кто другой это сделает сейчас, кроме меня? Кулаков пересадили и расстреляли... Тимофей мой убит.. Зацепин — на фронте... А тут можно понизить расходы на посевы в четыре раза, и в два-три раза повысить урожай! Ты подумай, какая помощь державе!..

— И при царе была война. Почему тогда не открывал людям секрет?

— Тогда жили — каждый за себя. Да и не понимал, как по-новому жить.

— По-советски?

— По-Божески.

— А они — материалисты, атеисты. Безбожники.

— Это — до срока. Как жареный петух клюнет, сразу про Бога вспомнят.

— Почему же тогда Сталину боишься написать? А ведь только он и может помочь твоему делу. Как помогал стахановцам.

Заволновался Гаврила Матвеевич. Встал и заходил по комнате, тербя себя по бокам. Знала Ольга Сергеевна эту высшую степень его возбуждения, улыбнулась и спросила задушевно.

- А подумай по-доброму.
 - Не верю ему, Олюшка. Не верю!..
 - Может быть, много логики у тебя? Давай проверим твои душевные способности. Ты любишь стихи. А значит, не только разумом, но и чувствами можешь воспринимать людей. Я прочту тебе стихотворение одного человека, а ты скажешь — хороший он или нет. Читать?!
 - Серёгины? С ним дружился, хороший мужик. Свой!
 - Не Есенина. Не важно, чьи...
- С игривой улыбкой Ольга Сергеевна подвинула его к стулу, осадила и вышла на середину комнаты, устремив задумчивый взгляд в бесконечность. Нахмурилась, погружаясь в скорбь, и принялась читать тихо и сокровенно:

*Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.
В напеве его и песне,
Как солнечный луч чиста,
Звучала великая правда —
Возвышенная мечта.
Сердца, превращённые в камень,
Заставить биться умел.
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Полную чашу отравы
Преподнесли ему.
Сказали они: «Будь проклят!
Пей, осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!».*

Закончив чтение, она вернулась на своё место и молча поглядывала на него. — Нерусский стих... Но совесть пробуждает. Плохой человек не напишет такое. И не каждый хороший про такое думает. Праведник... — признал автора и, поймав высматривающий взгляд жены, догадался: — Сталин, наверное?..

- Молодой Джугашвили...
- Он и есть — Сталин. Вон как ты... Ловко...
- Не обижайся. Просто я знаю, что такие дети не теряют чистоты. Как другие...
- Думаешь, написать надо? К этому подвела...
- Надо!
- Тогда помогай... Не скорый я на письма-то. Больше росписи ставил да печатью бухал...

Неделю писали письмо. Гаврила Матвеевич рассказывал всё по порядку, а Ольга Сергеевна записывала и переписывала вновь. Написанное аккуратно сложили, запечатали и написали на конверте: г. Москва, Кремль. Товарищу Сталину И.В.

Отправить письмо решили из районного центра, чтобы здесь никто не узнал. Ольга Сергеевна помнила про вычеркивания в письмах дочери, но решили, что в районе не может быть такой службы, и письмо направлено самому главному человеку страны, и вряд ли кто посмеет читать его письма. Сама отвезла в райцентр, опустила в почтовый ящик...

...Вскоре оно оказался в особом отделе райкома партии. И появилось на столе Марысева.

Степан Егорович читал его долго и внимательно. Перепроверял расчёты. Колхозные цифры помножал на районные, удивлялся итогам и тут же отрицал их. Не может быть такого, чтобы не знали в Политбюро! Но вот пишет-то он Сталину! Знает, что головой рискует! А почему самому не рискнуть? Да и риска не будет. Из Кремля сюда и вернётся письмо для исполнения, а тут всё подготовлено... А как без обкома пойти на такое дело? Нельзя! Пустить на самотек?.. Пусть прорывается... Своё всегда возьмем, но контроль — жёсткий... Такого кобеля держать надо на коротком поводке. Сталину пишет, дерьмо...

Приказал секретарше дозвониться до орготдела обкома партии, и вскоре услышал голос Матусевича:

— Марысев, ты?..

— Здравствуй, Лев Борисович!

— Что у тебя? Быстрее...

— Насчет Валдаева... Почин у него...

— Слышал уже. И читал. Чего нянчишься с ним?

— Мобилизую на повышенную хлебосдачу.

— Ты используешь его или он тебя? Помню эту сучару.. Как додумался утвердить его?

— Теркунькова забрали в район, а там — голо... Предлагает по-кулацки посеять хлеб. Кустами будет расти. В полтора-два раза урожай больше...

— И ты губы раскатал... Тут же запишем тебе двойную хлебосдачу, а где возьмёшь технику, горючее?..

— Так...

— Давай без «так», Марысев!.. Авантюру эту прекрати, если не хочешь приключений на свою задницу. В советском союзе агротехника должна быть советской, а не кулацкой. Понял меня?

— Понял, Лев Борисович!

— Прощай! И Любе привет...

— До свидания, — сказал уже на фоне гудков разъединённой связи. Положил трубку и вызвал секретаршу.

Она вошла, преданно глядя в глаза, готовая слушать и исполнять.

— Привет тебе от Льва Борисовича.

— Спасибо, Степан Егорович.

— Спрашивал, как дочка растёт.

— Хорошо. В пятый класс пошла.

— Моя тоже, — говорил механически, завязывая папку Г.М. Валдаева, ставшую ненавистной.

— Они вместе учатся.

— Позвони Теркунькову, чтоб агрономшу прислал. И сам пусть придёт.

Люба ушла. Марысев вновь развязал папку и стал перечитывать письмо Валдаева Сталину. После разговора с Матусевичем он с ужасом увидел другую сторону изложенных в нём доводов. Прежде всего — кадровых. Где взять

таких дедов для каждого села? И где такие звенья подготовить, как он обучил? А техника, горячее... Одному помочь можно, а остальным?.. Сотни проблем свалятся на голову района, области... За такое не простят, нет... Как и сам не простил бы. А потому... предусмотрим меры партийной безопасности, решил он.

* * *

Пшеничка ответила на заботу о себе быстрым ростом. Дружно пошла в трубку — это когда начали формироваться стебельки для будущих колосков. Поднимались не в одиночку, как у всех всегда, а пучками — вначале по пять-семь, а дальше — больше: по двенадцать, шестнадцать стеблей из корневой шейки росло. Девчонки-опытницы, как стали называть Надино звено, находили и поболее...

Весть быстро разнеслась по селу, будоража всех чудом таким, а ещё надеждами получить с большого урожая побольше хлеба на трудодни. В прошлом году им давали по пятнадцать граммов муки да по тридцать пять отрубями. А тут сказал кто-то: по килограмму отвалит с такого-то богатства. И если в семье наработали триста-четырееста трудодней, то получат по три-четыре центнера муки, которых хватит на хлеб и оладушки, и затируху, да ещё останется на продажу полмешка для покупок спичек-соли...

Дыреха высмеивал мечтателей:

— Дурачье! Не будет зерна столько.

— Почему, Дмитрий Васильевич?.. Я сама с дочкой ездила и считала. Помногу стеблей растёт.

— И что с того?.. Они добавляют непосеянные. И многие вдогон идут, с малым колоском будут. Ты считаешь такой за колос, а там маленькая фиговинка вырастет вместо колоса. Радуйся, если старое возьмём с вашим Мичу-риным!..

А пшеница росла, раскидала листву по сторонам, заполнив пространство, земли больше не видно было, но рост... У соседей выше пояса, а тут — ниже... И опять пошли по селу пугающие разговоры.

— А я что говорил!? — торжествовал Дыреха.

От Дырёхи народ шел к Гавриле Матвеевичу. Терзали его голодными ждущими глазами:

— Ты что скажешь?

— Тебя спрошу. Что важнее получить: зерна больше или соломы?

— Матвейч, то и другое надо. Зерно-то у нас увезут, а соломой скот кормим, и в хозяйстве без соломы не обойтись...

— А колос без соломы бывает?

— Шутишь, что ли?

— Пошутишь с вами, когда ходите чумными от страхов!

— А почему хлеба у них выше наших?

— Потому, что зерна будет меньше. Вся сила в солому ушла, из-за тесноты. Тянутся стебельки, чтоб друг дружку обогнать, к солнышку приблизиться для согрева, вот и дают соломы больше, чем зерна. Простор пшеничке нужен, а не теснота.

— А что ж не делают все, как ты говоришь?

— Будут делать! Когда урожай наш увидят.

— А нам сколько дашь на трудодень?

Вот это был самый трудный вопрос... И главный для них. А что ответишь, когда сам себе не хозяин...

Такой всеобщий интерес имел и другую сторону — энтузиазм вернул. Древние старухи и немощные старики повывлезали из забвения и вышли налюдь, чтобы помочь на уборочной, чем можно, да заработать для семьи хоть половинку трудодня, четвертинку.. Народ кипел в работе. Получив задание, вскоре прибегали — сделано! Что еще делать?..

К уборочной подготовились первыми. И первыми, без команды сверху, вышли в поле косить пшеницу на свал.

О том, кто доложил в район о самоуправстве, можно было только догадываться. На следующий день рано утром приехала верхом на коне агрономша и без «здравствуй» или других приветствий, без поздравления с началом страды, пошла накатом.

— Кто разрешил косить?

— Я.

— А кто ты такой — «Я»?..

— Председатель вроде бы...

— Именно — «вроде»! Не дожидаясь команды... Ещё в области её нет, а он... Вылез...

— Погоди пылить-то. Зачем мне ваша команда, когда своя голова есть.

— Дурная... Есть сроки! Оптимальные для сева и уборки. Зерно должно вызреть. А у вас оно — вот... — сунула ему сорванный колос. — Пожуй...

— Знаю. Мягкая... На стерне полежит — дозреет быстреей.

— Подсохнет, а не нальётся дополнительно! Урожай губишь!.. Немедленно останови всех! Не-мед-ленно!

— Не кипятись так-то... Поясни путем, может, и пойму.

— Это приказ! А приказы не понимают, а выполняют! И обсуждать их с тобой не намерена. Я тоже головой отвечаю за это все...

— Ну, давай бумажку тогда...

— Что-о?! — изумилась агрономша..

— Нету, что ли? Забыла привезти?

— Не прикидывайся дурачком, Валдаев. Ты всех уже вывел из себя. Слушай и исполняй, что сказано... Здесь — индустрия! И комбайнам не мякоть нужна, а вызревшее сухое зерно. Это понятно вам, товарищ председатель советского колхоза? Или ещё повторить, с учётом возраста?..

— Вот теперь понятно, зачем шумишь... Выжившим из ума считаешь. Тогда и ты послушай, учёная. Пригодится узнать. Тысячи лет мужики сеют пшеничку и рожь. Без комбайнов обходились. А народ кормили.

— Себя не могли прокормить. И голод за голодом шли...

— А это кто как управляет — так и получает. У нас, у Валдаевых, завсегда было сам-сто. А в районе сейчас, под твоей наукой — по двадцать центнеров урожай. Двести двадцать килограммов на семена — и будет сам-девять. Вот как наурожайничала! И чему ты, приказщица, учить меня прискакала?..

Она не знала, что сказать. Конь её замотал головой, как бы в насмешку. Дёрнув за узду, вывела его вперёд, оградившись им от насмешливых глаз председателя колхоза, вскочила в седло и ускакала.

«Опять беды жди... К чему на этот раз придерутся? Что не понравится?.. — задавал вопросы, а ответы не приходили на ум. — Боже, помог бы им... Что ж у них всё не так, наперекосяк».

Ждал беды, а на другой день привезли в колхоз два комбайна. На притащившем их тракторе — Наша-Паша. Подошла вольной походкой, улыбка

на все лицо, в глазах азарт. Руку подала, как дружку, и тиснула по-мужски.

— Здорово! Опять чудишь, Валдаев. Все МТС только о тебе судачат, как ты гримзу отбрил.

— Вроде и не было никого рядом...

— Галопом, говорят, от тебя полетела...

— Нет, Пашенька. Поняла да поскакала докладывать. Вот и комбайны пригнали первому...

— Срочно велели, — подтвердила догадку.

— Во-от...

— Закуривай, — протянула ему пачку папирос.

— Не курю.

— Че-го? — изумилась Наша-Паша. И чуть не выронила дымящуюся папироску из губ.

— Дедушка не велел. Говорил, хочешь здоровым быть — не кури. А если умным ещё — не пей!

— Слушаешься?..

— Грешил... Пока не поумнел.

— Вот, дед, настырный... — смяла и швырнула под ноги папироску. Уловив его взгляд, придавила её носком сапога: смотри, мол, погашена. — Ну, что ещё придумал для нас?

Подошли две женщины и хромоногий мужчина — комбайнерки и тракторист. Поздоровались.

— Хлеба видели?

— Разглядели. Застрянем тут, дед...

— Правильно угадала. Ты чья будешь-то?..

— Парфёнова Наталья. Мужу помогала. А забрали его, так меня поставили комбаньорить. Он тут главный у нас, — кивнула на мужчину.

— Не потянем! — подтвердил «главный». — Урожай большой. Не под силу ему...

Тракторист поднял взгляд на комбайн, и все стали смотреть на него — невозмутимо стоящего перед ними с гордым именем «Сталинец». Молчали. Потому, что все вдруг почувствовали тонкий оттенок кощунственной несовместимости слов «не потянет» и «Сталинец».

— Наталья, а ты по девичьи-то чья будешь? — с веселым интересом спросил Гаврила Матвеевич.

— Зуйкова. Из Васильевки я...

— Не Петра ли дочка?..

— Ага...

— Так я ж на свадьбе у Петра с Настей гулял. «Горько» горланил... И ты, значит, родилась...

— Первая...

— Малой-то не знал тебя. Такой хоть обниму, — подошёл к обрадованно-смущённой комбайнерше, обнял её, прижавшись щека к щеке. — Вот и свиделись...

Поговорили о разном, повспоминали. Определились, что все тут свои!.. И вновь к делам.

— Комбайн хороший, с любым урожаем справится. Одно слово — «Сталинец»! И наше дело по-умному его применить, — сказал Гаврила Матвеевич уважительно.

— Вот и я говорю, — обрадовано подтвердил «главный».

— Правильно говоришь... Пустить их сразу на косьбу и обмолот нельзя.

Зерно мягкое... Я решил вначале скосить пшеницу на свал, а как созреет — подберем комбайном и перемолотим.

— Правильно решил, — одобрила Наша-Паша.

— Ага!.. — кивнула Наталья.

— На свал пойдем, — согласился «главный» и первым пошёл к комбайну.

Ближе к вечеру приехали секретарь райкома Марысев и Теркуньков. Маневр Валдаева одобрили, но... Оглядев сделанное за день, не порадовались: мало...

— С такими темпами до снега не управишься.

— Комбайнов бы ещё три-четыре, — сказал Гаврила Матвеевич, и получил в ответ ухмылку Марысева.

— Помечтай, — предложил Теркуньков. — Где их взять-то?

— У соседей... Хотя на неделю... Пока хлеб созревает. Они-то ждут срок для прямого обмолота, а я бы за неделю накосил... А потом этими подберу и обмолочу.

— Ещё и соседей под удар подставить!.. — язвил Марысев. — Пар-ти-зан!

— И весь район, — подхватил Теркуньков. — Ты уяснил, что не было распоряжений начинать уборку? А ты начал! Да за одно это... полетишь туда, откуда вернулся. Спасибо скажи Степану Егорычу... Он прикрывает тебя!

— Спасибо, Степан Егорович, — пригнул голову Гаврила Матвеевич, неожиданно и сразу признав, что именно он-то и защищает его, что по нынешним временам жизнью платится. Понял, а слов сказать не находил, и только поднял на него благодарный взгляд и развёл руки. — Да я же понимаю вас обоих. Добра хочу.. Не себе ведь всё это...

— Да ладно, — махнул рукой Марысев. — Ты нас, Гаврила Матвеевич, многому научил в те времена. А сейчас они — другие. Да ещё и военные! Сводки идут, как с фронта, кто сколько убрал... Сейчас — с юга, завтра — от нас пойдут... И что будет, если провалим твой почин?..

— Нельзя... Урожай-то, вот он...

— А его не объявят. И тебе запрещаю что-либо называть. Продукт — стратегический. Понял?!

Видя растерянную задумчивость Валдаева, Теркуньков стал объяснять ему.

— Чего тут непонятного? Все равняются на убранные поля. Это сейчас главное для страны. А твой урожай — капля в море. Но в масштабах района — величина крупная. Бросить тебе технику с других хозяйств — не можем: их подорвём. В сводках мы хуже всех будем, приедут комиссии и всех нас... по головке не погладят. Тебя оставить без помощи — тоже не по-партийному. И что делать? Сам ты как понимаешь? Об этом спрашивает Степан Егорович.

— А я понимаю так... Урожай для страны идёт, для всех, значит. Вот и давайте сообща его убирать. Кто пришлёт свой комбайн али лобогрейку, жатку — тот и получит долю. Нам — сводка по уборке, не отстанем от всех, а им — урожай дополнительный. Я бы так поступил.

— Вот это по-партийному! — заулыбался Марысев и пожал руку Валдаеву, потряс её для значительности. — Молодец!

— Я говорил, он всё понимает, — радовался такой развязке Теркуньков. — Тогда, Матвейч, принимай завтра ещё три комбайна. На неделю пока... А мы поехали.

* * *

Ночью рассказывал всё это любушке своей. Волновался даже, вновь переживая тот разговор. А она напряжённо молчала, вникая в каждое слово, и

требовала повторить в деталях что-то непонятное ей, чем удивляла Гаврилу Матвеевича.

— Ты, вроде, как не веришь им?

— А ты?

— А я впервые подумал, трудно им между молотом и наковальней. Прикинь, расклад какой: нам помочь — район подведут, власти лишатся, а то и более... А не помочь нам — что Сталину доложат, когда он спросит по письму? А у Сталина крутой разговор будет — война идёт. Каждый кусок хлеба на учёте. В Ленинграде, наверное, всех кошек и мышей съели.

— Ответа нет всё ещё... Сколько времени прошло, считал?

— Будет ответ, Олюшка!.. При его власти наше письмо — бо-ольшой подарок. На наших-то просторах, да колхозами — весь мир можно зерном кормить. А не голодать, как сейчас...

— Ты уверен, что оно дойдет?

— Уверен! Как прочтут — бегом побегут к нему докладывать.

Ольга Сергеевна разглядывала его с непониманием. Вот ведь такую жизнь прожил, и мудр, и умён, а по-детски наивным остался. Покачала головой, вздохнув.

— А ты что думаешь?

— В больницу ездила. А меня оттуда в прокуратуру попросили зайти.

— Зачем?..

— По поводу беременности моей, — погладила она отяжелевший живот, горько усмехнувшись. — Заботу проявили...

Гаврила Матвеевич смотрел на неё окаменело, дожидаясь продолжения.

— Долго расспрашивали. Выясняли, кто отец ребенка. Чтобы наказать насильника... Мы, говорят, знаем его. Но требуется подтверждающее заявление. А если не будет его, то... меня освободят от должности директора школы. Потому что советским директорам школ, да ещё в моём возрасте, аморально заводить внебрачных детей от таких одиозных личностей.

— Да как же... — только и выдохнул пересохшим ртом.

— Ещё читали выдержки из разных бумажек, какой ты развратник, бабник, подлец и прочее в великом количестве. Дали бумагу. Что оставалось делать? Написала...

— Я понимаю, — склонил голову, боясь глянуть на неё. Опять удар. Да за что же, за что?..

— Написала... что отец ребенка — председатель колхоза Валдаев Гаврила Матвеевич, что я люблю его, и брак наш будет оформлен после окончания уборочной, поскольку он занят с утра до ночи. Подписала. Чем о-очень огорчила радетелей советской нравственности.

Он застонал от пережитой муки и от охватившего его восторга. Потянулся к ней, обнял так, что она вскрикнула.

— Тише, тише... Про Ириночку забыл, папка. Не ходит к нам, а потом буянит...

Отпрянул, убрав руки. И спохватился.

— Да ты же дней пять назад ездила в райцентр?

— Да.

— Вот оно что... — задумался Гаврила Матвеевич, уставясь в пол.

— А что это меняет?..

— Меняет многое, Олюшка. Ну да... Ясно стало теперь. Она что...

— Что тебе ясно? Говори...

— Ясно, лебёдушка моя светлая, что ты не сдала меня. Как хотели враги...

— Дальше...

— А сдала бы, то дней пять уже везли бы меня туда, откуда приехал... Ты им карты перемешала.

— И что ты думаешь?

— Разгадать надо, что хотеть они могли? За строптивость наказали меня: Галину забрали, чтоб знал под кем ходишь. Сейчас за что? Урожай... Да плевать им на него, одни заботы... Осталось одно только. Не дошло письмо мое, Олюшка! Не получил его Сталин. У Марысева застряло...

— Зачем оно ему?

— «Партизан я», сказал. «Не понимаю» ничего по-партийному... Думал я про эти слова да связи не понимал. А если у него письмо, то все понятным становится... Эх, да и я — дурная голова — не подумал про это загодя. Надо же было Марысеву написать, не Сталину. Чтоб от района шёл почин... Вот почему заставляли тебя подписать поклёп. А ты — любишь меня...

— А знаешь, я не стану больше завешивать окно. И оставайся теперь всегда, как муж в семье. Пусть все знают и видят наше счастье.

— Олюшка, они давно всё знают и видят... Плохие — докладывают верхам, ты сама читала. А хорошие радуются за нас и берегут...

Он шагнул к окну и снял его завешивающее одеяло. Ольга Сергеевна плавно подступила к нему, обняла осторожно и так, чтобы ощущалось, что они уже втроём. Приклонила голову.

* * *

Уборочная прошла как на взлёте. На готовенькое всегда много гостей. Приехали с жатками, с комбайнами — отделяй скорей поле, председатель. Кое-кому отпор пришлось дать — так опять жалобы: «сам не ам — и людям не дам!». А что дашь лишнего чужим, когда его не осталось, и свои стали смотреть по-волчьи. Тут и Дырёха поднял свой «партийный контроль», получил на то поручение от райкома во всё вникать и проводить линию партии. Оделся во всё чистое. Лошадь под себя потребовал, чтоб повсюду поспевать за председателем, и манеру заимел говорить с ним при людях запанибратски:

— Матвейч, нам-то останется что-нибудь от нашего? — спросил так нарочно на току при женщинах.

А они рады услышать про заработки. Побросали лопаты и совки, оставили веялки и, обступив начальство, загалдели, зашумели...

— Скажи, Гаврила Матвеевич...

— За что пупки рвём?.. Поскольку будет на трудовень?..

— Отвечу, что знать дано. А чего не знаю — его пытайте, — показал пальцем на Дырёху. — Дмитрий Васильевич — партийный, весь контроль теперь возглавляет. А партия у нас — самая главная руководящая сила. Что нам скажет товарищ Сталин Иосиф Вассарионович, то и будет. А говорит он нам сейчас: «Всё для фронта, всё для победы!». Чтоб мужья ваши и отцы поскорей вернулись, кому посчастливится... Не я распоряжаюсь хлебушком нашим. И не к соседям уходит он, а отсюда — прямком на государственный элеватор. Соседи помогли нам скосить, подобрать валки, обмолотить... Хорошо помогли. Спасибо им. За труды эти — урожай им зачтётся. Для сводки... Чего ж искать дыру в чужом кармане?.. Всё зерно государству уйдет, как снаряды, которые в городах делают, пушки и винтовки. Разве не видите сами, что делаете?

— Видим, Матвейч... Мы про то, что нам останется на трудовень?

— А что останется, то и достанется. Делить буду не я один, а члены правления. Да вот и Дмитрий Васильевич. Так что, бабоньки-девоньки, поспешайте, пока дождь не ливанул. Осень пришла.

— Керосину бы побольше, Гаврила Матвеевич, — попросила Надя Зацепина. — Ночью здесь совсем темно...

— Поеду сейчас за керосином, девоньки. Ночные не отменяются. Как и в бою. Парни ваши сейчас так же... И вам достаётся.

— Да нам что... Привычно! — усмехнулась Надежда и первой пошла к веялке.

Разошлись и другие женщины. Дырёха стоял и, не сводя глаз, ждал, что ему скажет председатель. А тому и смотреть-то на него было тошно. Пошёл от него...

— Погоди, председатель. Про партию хорошо говоришь, а не слушаешься.

— Как это... не слушаюсь, если выполняю постановление бюро райкома?.

— Меня утвердили колхозным представителем партийного контроля, а ты бегаешь от меня, не согласуешь действия. Не говоришь, что дальше делать будем? Как руководить...

— Дмитрий Васильевич, так ведь руководить — не говорить, да руками водить. Дело надо делать. Вон бабы — зерно сушат, отгружают. Другие с мальчишками на эlevator отвозят. А ты что придумал руководящего, чтобы дело быстрее пошло?.. Говори, обсудим.

— Ты придумщик у нас... А я — контроль! На случай, чтоб не было чего...

— Чего же это?

— Да мало ли куда тебя занесет!

— А ты поправишь всё, переделаешь за меня... Так что ли?..

— Подскажу.

— Райкому?

— И райкому, если понадобится.

— А переделывать не станешь? Докладывать только. Тогда зачем мне раньше времени говорить? Смекни-ка... Я тебе расскажу всё заранее, а ты скажешь — не делай! Отговоришь меня, я ничего не сделаю, и докладывать обо мне будет тебе нечего... Не годится так, Митрий. Прямо и не знаю, как быть.

— А ты не больно-то задавайся, Гаврила. Большой начальник стал. На молоденькой женился. Так смирись! Пока по-хорошему с тобой говорят. Чего заносишься-то?.. Сейчас — князь, а завтра — грязь...

— Да нет, Митрий. Я и в грязи грязью не был. И крысой под полом не шустрил. Уйди с дороги! — пошёл на него Гаврила Матвеевич, и Дырёха отшагнул.

3. Плата за добро

По показателям хлебоуборки район вышел на первое место, и счастливый Марысев отличил Валдаева особым вниманием: прощаясь с председателями колхозов, руку Гаврилы Матвеевича задержал в своей, и отвел его к своему столу для отдельного разговора.

— Задержись, дело есть, — сел он за стол и задумался, разглядывая старика. Во время заседания к нему пришла мысль, что за такой почин Валдаева можно бы и в партию принять. Решил проверить.

— Доволен? И район поднял, и сам поднялся. Пригодился кулацкий секрет?!

— Да какой он кулацкий? Народ применял, когда из беды выходил. У нас-то как было... После голодного года осталось два мешка семян перемешанных — озимых с яровыми. Как их разделить? Вот и посеяли весной. А как стали урожаем собирать, режем серпами — и чудо какое-то... Наверху колосья готовые, а с низу — зелены идут... Тут и вспомнил своего деда; он мне рассказывал про этот секрет, да я забыл его. Народный секрет, не кулацкий.

— Ладно, будет советский. Главное, что сейчас пригодился. Удачно использовали.

— Ты хорошо повернул-то их всех... Без твоей помощи, что б я сделал... Один в поле не воин.

— Получай!.. — передал газету с заметкой об успехах района. — На память тебе! А упирался-то как, а? Упирался. Не верил. А теперь — передовик района! Вот так, когда по-партийному-то. Читай, читай...

Марысев занялся вроде бы бумагами, а сам перебирал варианты дальнейшего использования старика. Бодрый ещё. И умён. Выбил для себя всё, что требовал. У-ме-ет... Если в партию принять его, то... Судимость? Это и повернуть можно в нашу пользу. Осознал! Доказал! Норовистый был всегда, и сейчас упертый.

— Прочитал про себя?.. Там и твоя фамилия...

— Разглядел.

— Разглядел он, — усмехнулся Марысев, забрал газету и прочитал с выражением чувств: — «Большой вклад в обеспечение урожая внёс председатель колхоза «Рассвет» Г.М.Валдаев». Вот как! В областной газете... И в накладе не остался... Озимые-то, посеянные с яровыми — растут...

— Хорошо растут. Выше стерни яровых вдвое. Подкашивали.

— Зачем?

— Больше закустятся. И в снегу им крепче будет стоять. А срезанные верхушки — на корм скоту пойдут.

— Да ты у нас, дед, прямо клад.

— Может, не клад, да удачлив, — форсисто поддержал дед веселость секретаря. — А удача не сплеча, приходит от ума.

— Умный!?. Ну да... Сейчас все пашут, сеют, а ты у секретаря райкома газетку читаешь! А в сводки идет, сколько вспахал да посеял, которое уже растёт. Молодец! Поддержим!

Поговорили ещё про то да сё и, как бы между прочим, спросил Марысев:

— Пасека-то у вас сохранилась?

— Был урон... Но Васёна восстановила. Ты же знаешь её...

— Медосбор был хороший, говорят, — с хитрой задушевностью продолжал Марысев, ожидая понимания. Ну же... Что предложить надо?..

— Поддержал нас крепко. Раздал на трудодни. Хоть понемногу досталось всем, зато радости было, скажу тебе...

— Как это... раздал?! — напрягся, покраснел и вскочил Марысев. — Ещё не было разрешения... Кто позволил?! Продовольствие — стратегический продукт. Всё на учёте! А ты...

— Так... Такой урожай собрали!.. А коль зерном нельзя дать, решил медком поблагодарить за труд... Ничего ведь не платим людям. На работу за так ходят.

— А солдаты? Там... За что в атаки ходят? Это посчитал своей дурной головой?!.

Разнос был недолгий, но яростный. Марысев клеймил его, и словно себя

казнил за допущенную слабость к этому дураку старому. Разочарованно и презрительно морщась, махнул ладошкой.

— Уходи.

* * *

Вспоминая этот разговор, Гаврила Матвеевич пошевеливал вожжами, особо не торопя Воронка, и представлял другой поворот разговора, если бы ответил, что будет медок. Наскребем побаловать хороших людей... Ты же колхоз зачинал. Положено, и не спорь! А свой своего не съест всего. Разве лишь на крючок подвесит... И Дырёха всегда тут: проконтролирует... Хлебнув разок грязи грязью и станешь! Вот чего надо ему, а не медку. А коли не сдался — стал враг народа! Уничтожит, не церемонясь. Жди беды, Гаврила.

— Н-но!.. Быстреей, Воронок. Застоялся под райкомовской привязью, забыл, что домой пора. Пошёл, пошёл... — подстегнул его и покатился, трясясь на тарантасе по подмерзающей дороге.

* * *

И беды вскоре пошли, одна подгоняемая другой.

Начались они с Ольги Сергеевны. Вдруг прислали в школу молодого раненого фронтовика исполнять обязанности директора школы. И потребовали от Ольги Сергеевны освободить дом для него.

Тут и обиды могло не быть. Жившие в доме Валдаевых беженцы вернулись в Москву, и Гаврила Матвеевич со дня на день обещал перевезти жену к себе. Но тон, с каким говорили по телефону с Ольгой Сергеевной после принуждения подписать донос, явно был не случайным.

Вещи перевозил Гаврила Матвеевич, и — некстати — забрал Колькины ободранные кресла. И ведь как не хотела их брать Ольга Сергеевна, отговаривала. А он...

— Олюшка, да они для меня, как частица жизни той... Как увидел их у тебя — обомлел. Ему-то зачем нужны они — драные? Сказал, берите.

И вот по поводу «хищения председателем колхоза Валдаевым Г.М. принадлежащих сельской школе дворянских кресел в количестве двух штук» приехала комиссия партийного контроля: две женщины из райцентра, а с ними пришёл Дыреха.

Вошли в дом. Представились. И потребовали у Ольги Сергеевны показать увезённые «дворянские кресла».

Смущённо краснея, она повела их в избу. Показала кресла, ободранные и скособоченные от поломанных ножек. Женщины жалостливо переглянулись, не зная, что им делать с этой рухлядью, перевели взгляды на Дырёху.

— Эти, что ли? Дворянские?..

— Так они были... Ого! Видел я у них...

— У кого видел?

— У сына его.

— Если эти кресла его сына, то зачем тогда мы приехали сюда?

— Были сыновы... А мы его раскулачили. И в школу кресла отдали.

— Они числятся на балансе школы? — спросили у Ольги Сергеевны.

— Такая рухлядь?

— А зачем взяли?

— Ножки отремонтировать... Одну дочь моя доломала. Случилось так...

— У вас есть дочь?

— Была...

— А почему... была? Что с ней?

— Погибла на фронте... Выполняя ответственное задание, — сказала Ольга Сергеевна, не сводя глаз с Дырёхи. Он задергался, заторопился.

— Ладно... Писать, писать надо... Что тут говорить-то...

— Извините нас... — подошла к Ольге Сергеевне старшая женщина и тронула за руку. — В вашем положении и такие дрязги... Простите нас... Нам всё понятно. До свидания.

— До свидания, — попрощалась вторая женщина.

Ушли. И за ними поплёлся Дырёха, горбясь под взглядом Ольги Сергеевны.

Вечером, обсуждая случившееся, пришли к выводу, что эти пустяшные дела показывают, что кто-то серьёзно взялся за Гаврилу Матвеевича. Пока что нервы мотают, чтоб испугать. А вскоре ударят по-настоящему. Так что держись, дед, знай край да оглядывайся, коли по лезвию пошёл.

— А как не идти, Олюшка? Это же мне Дырёхой надо стать, чтоб угодить им. Или Теркуньковым — чтоб мёд-масло возить по звонкам и записочкам. То одному, то другому. Много их оказалось. А отвезённое надо списать под расходы или сдачу для победы над врагом. Для этого Теркуньковым папка заведена секретная. Забыл он её забрать, торопясь во власть въехать. На днях опомнился, приезжал искать и не нашёл... И спросить боится...

— Тебе она зачем?

— А я подумал прежде: зачем ему она нужна? Ведь себя подставит под удар, если попадет она в НКВД... А он хранил её. Улики против себя и своих начальников.

— Додумался?

— На крайний случай хранил. Если прижмут его, так что хоть помирай, — вот он и козырнет ею. Не троньте меня, хуже всем будет! А теперь эта папочка нам послужит охранной грамотой...

— Га-ври-ла Матвеевич, — восхитилась Ольга Сергеевна, — да где же такому-то научился?

— Э-эх, Оленька! Тюрьма не только мучит, но и учит.

— Не тронут нас?

— Теркуньков не тронет меня, это точно... А другим-то плевать и на меня, и на Теркунькова. Да и на Марысева тоже... Тут каждый за себя старается. Но может и пригодится козырнуть. Чем чёрт не шутит, когда Бог спит.

Знал и чувствовал, что подбирается беда. Думал, его клюнет, как змея. А укус был неожиданным...

Арестовали всех девчат Надиного звена, работавших на подработке зерна в ночное время. Оказалось, не просто работали допоздна, но и потихоньку ели зерно вместо хлеба... А может, и в карманах уносили домой, как объяснял всем уполномоченный партийного контроля. Он с милиционером усатым-носатым выследил их, поймал за ужином сваренной кашей из зерна, приготовленного для отправки на элеватор. Составили протокол. Пристыдив, отпустили домой. А утром вновь собрали, чтобы свозить в район для выяснения обстоятельств... Каких — знал Гаврилу Матвеевич, и чем закончится это выяснение, догадывался, и потому с ними забрался в кузов грузовика, чтобы быстрее добраться до начальства. Наперво — к Теркунькову.

— Петр Степанович. Выручай... Беда.

— А у тебя без неё не бывает и дня.

— А ты не знал ещё бед? — строго пресёк его барский тон. — Испытать хочешь?! Устроить?!..

— Ты чего, Матвейч?.. — сразу всё понял и струсил Теркуньков, — Говори, что случилось...

— Девчат наших забрали... До ночи работают, и каши сварили из зерна... Дырёха их подловил, подлец...

— Из зерна... Да что ж они...

— Хлеб не даём, вот что!.. Веди к Марысеву, без тебя он не примет меня.

— Пойдём. Побежали... — надел шапку и на ходу набросил пальто Теркуньков.

До райкома шагали молча. У парадного входа спросил Тереньков:

— Папочку синюю искал я... У тебя она?

— У меня.

— С собой?

— Еще чего?..

— Ты это... Не говори ему. Я всё сделаю, я...

— Делай! Девчат не отдам...

Вошли в приёмную. Секретарша мило улыбнулась Теркунькову и проворковала:

— Степан Егорович беседует с уполномоченным из обкома партии. Он не раздевался, уйдёт скоро... Как он выйдет — я доложу о вас.

— Спасибо, Светлана Васильевна... Мы подождём.

Время... Время идёт... — нервничал Гаврила Матвеевич, но знал, что здесь он не в силах что-либо изменить. И сидеть не мог так вот, как послушно пристроился на стуле у двери Теркуньков. Смирный и испуганный, смотрит так, что без слов понятно — на всё готов, лишь бы не открылись его «шалости». А что он может-то, лакей... И что делать тогда? Марысева не возьмёшь голыми руками. Как же убедить его?!

Наконец дверь открылась и вышел уполномоченный — сухопарый и мрачный мужчина в шинели без погон, и за ним следом Марысев — сопровождая до двери. Здесь пожали руки.

— Надеюсь на тебя! — сказал уполномоченный.

— Меня знаешь! — ответил Марысев.

С этой твёрдостью во взгляде — «меня знаешь!» — Марысев вернулся в кабинет, бросив, не глядя:

— Зайди, Петр Степанович, нужен...

С Теркуньковым зашёл и Гаврила Матвеевич, громко прикрыв за собой дверь. Марысев вскинул недовольный взгляд:

— А тебя не просил заходить.

— Зашёл, так не выгонишь...

— Дурака-то не играй. До обкома дошла ваша каша... Скажешь, не знал ничего? Не видел? А кухню на току оборудовал для кого?

— Для чая, чтоб погреться. Затируху варили.

— Начали с затирухи и дошли до каши из государственного зерна.

— Ты что говоришь?! Девчонки такой урожай подняли!.. С утра до ночи зерно ворошат, чтоб увезти сухим, а ты... За котелок каши!..

— И сколько котелков этих...

— Хоть тысяча. Это ж дети наши. Внучки нам. Ты же на свадьбе у Егорыча был. Детишек им кучу пожелал. Вернётся, что скажешь ему? За котелок каши продал.

— Ты что говоришь?!

— Ты творишь что!?

— Я?! Я... творю?

— Да они...

— Снопами воровали. Всей бригадой твоей...

— Какие снопы? Комбайнами убирали! Под запись каждый бункер...

— А снопы по домам к ним сами уходили?!

Гаврила Матвеевич словно шарахнулся головой об землю. Онемел и застонал от появившейся тошноты. Готовил себя не сорваться... Но кто же это мог, снопами? Надежда бойче всех... Неужто она?!

— Чего замолчал, заступник?! С поличным их взяли. В домах нашли...

— Нет! Нет!! Нет!!! — схватился за голову, зашатался...

Теркуньков подхватил его, не дал упасть.

— Голова у него...

— Знаю. Чего держать такого... — презрительно покривился Марысев.

Теркуньков безвольно отпустил руки, и тело Гаврилы Матвеевича свалилось им под ноги.

4. Прости, прощай...

Очнулся он в больнице. Долго приходил в себя, не поддаваясь лечению из-за мыслей, терзавших душу. За это время состоялся суд скорый, и его девять девчонок получили по десять лет тюрьмы. Как тут лечиться? Закроет глаза и видит их танцующими на Сашкиных проводах или смотрящими на него ясными и всё понимающими глазами, когда объяснял им, как надо сеять и растить большой урожай. А отчаивался потому, что знал их судьбу на каторге. Насиловать и подстилать под себя начнут охранники сразу после суда. Искалечат тело и душу испоганят. И ему достанутся их проклятья за то, что не сберег девчаток для материнского предназначения, как должен был сделать по возрасту и должности...

За это время Ольга Сергеевна успешно родила Ириночку. Тут уже не скрывал слез радости: я — отец вновь! Отец!! Папа...

Тихую радость эту затмило известие о том, что он перестал быть председателем колхоза: вместо него теперь стала Наша-Паша. Она приезжала после утверждения в райкоме партии, привезла пищевое подкрепление, чтобы быстрее выздоравливал и выходил на работу бригадиром. Так проверяла его, понял он, и сразу отказался.

— Не-ет, Пашенька. И бригадиром не смогу.. Псих стал. Врачи насовсем запрещают с людьми работать. Говорят, мне только скот можно доверить. И то не бодливый...

Увидел, что ответ понравился Нашей-Паше. Она не настаивала, не убеждала, а потому понятно стало, что его дальнейшая судьба тоже определена была без него. Для приличия Паша посоветовалась, что и как ей делать. И ушла с облегчением.

Утром следующего дня ему сказали, что выписывают из больницы и может он ехать домой. Задерживаться не стал. Оделся в своё. Привезённое Пашей продовольственное подкрепление оставил в палате для всех. И вышел на улицу.

Зимы ещё не было, но холод и ветер пронизывали основательно. А может, ослаб на койке-то, подумал, застёгивая своё драповое пальто, купленное для поездок в райцентр. Так сделать повелел ему Теркуньков, заботясь о

представительном виде своего подчинённого. Мелькнула мыслишка зайти к нему, да сразу отнёс... Сам доберусь, без их помощи.

Попутный транспорт нашёл на элеваторе — драбаганские возвращались после сдачи зерна. На телегу к себе взяла его тощая баба в тулупе. Распахнула его и сказала, смеясь.

— Я тебя знаю, Гаврила Матвеевич. На свадьбе была складчинной... А ты нас называл Таня-Вера.

— Ах ты, мать моя богомолка!.. И кто ж ты будешь?

— Вера.

— Здравствуй, Вера!.. Свиделись через столько лет... — обрадовался поначалу, вернувшись на миг в те годы, когда был ещё бодр и силён, как осокорь в соку. Глядел на Веру, вспоминая девчоночье лицо, да куда там... Леонтину увидел, счастливую в смятении своём... Кольку ошарашенного... Увидел, как целовались они первый раз под «го-орь-ко!..» и смущались поутру, поздравляемые им. А нет их уже никого... И детей, и внучат... Появилась тошнота в голове, и поспешил убежать от неё в распросы.

— Да ты садись ко мне, — трясла Вера распахнутым тулупом. — Промёрзнешь в пальтишке своём.

Он пересел к ней на облучок под тулуп. И опять вспомнился Колька, так же вот посадивший к себе под тулуп Леонтину. Откинул голову, чтоб Вера не заметила побежавших слёз. Вот ведь какой слезливый стал!

Голодные и усталые лошади их каравана еле плелись. И Вера успела пересказать всю и свою жизнь, и детей, и внучат. Расспрашивала про петровские дела. Знала всё про «кулацкий посев» и про девчат, посаженных за кашу.. Рассказала, как у них посадили двух женщин за собранные колоски после уборки комбайном.

— Ты вот председателем колхоза был. Объясни мне, бабе простой, за что наказывают так за собранные колоски в убранном поле? Ведь всё равно их муравьи растащат или вороны склюют. Получается, им можно, а нам нельзя?! А нельзя, может, чтоб вороны не голодали? О них заботятся власти?

— Думаешь, я понимаю? Сам расспрашивал партийных, чтоб народу объяснять. Говорят, чтоб работали без потерь. На своих-то полях раньше не роняли колоски...

— Тогда хлеб был наш... А сейчас всё отдай, и крохи не бери. Тебя вот сажали в тюрьму за противление власти. А девчонки по десять лет получили за кашу из зерна. Колхозного... Какое оно колхозное тогда, скажи мне?

— Эх, Вера верящая... Какое? А никакого! Крепостное право вернули нам. Не помнишь его? И я не захватил, потому и забыли про это. А кто-то помнил... И вернул нас в рабство. Вначале-то рабами врагов сделали. Перемолотили их — за мужиков взялись. Кулаками обозвали бойких и строптивых, и на каторгу отправили на бесплатный труд. Оставили робких да пугливых. И вот до баб и девчонок добрались. Не колоски и каша здесь главное... Повод им нужен, чтоб придраться и забрать для каторжных работ. Сами-то не поедут лес рубить, руду добывать. Вот и ловят за каждую малость, а сроки дают — по-крупному. Чтоб подольше поработали бесплатно. А где им сейчас бесплатный народ взять? В селе только... Сельских-то больше городских. Хотя и в городах за каждый пустяк ловят. Опоздал на три минуты за станок встать — пять или десять лет. Знаешь, сколько таких повидал там... Ого!..

— Мой тоже побывал там.

— За что?

— Железка сломалась на косилке. Сказали — сам сломал. Саботировал сенокос.

— Значит, разрядка была тогда мужиков брать. Сейчас их на войну забрали, и разрядки идут на вас... Еду сейчас и думаю, что мне матерям девчоночек наших сказать, как в глаза им смотреть? Чем повиниться?..

— Ты чем виноват?

— Все равно станут думать, что из-за меня всё... Ты тоже остерегись, никому не рассказывай про наш разговор.

Доехали до Петровского. Попрощались с поцелуем... Обоз пошёл дальше на мост, а Гаврила Матвеевич сразу направился к Зацепиным.

С порога бухнулся на колени перед женой Данилы.

— Казни, Полина, за что виноват. Или прости, сними грех с души.

— Что ты, Гаврила Матвеевич... Разве же ты? — подняла его с пола и уткнулась в грудь, заплакав. — Пришли и давай искать... Забрали Надины образа... Над кроватью у ней висели...

— Какие образа?

— Называла их так... Пшеница ваша, с корнями и колосьями...

— Образцы... — вспомнил это словцо, звучавшее у девчат в разговорах.

— Говорила, ни у кого в округе таких нет... А у нас — вот они... Чтоб смотрели все, повесила. Милиционеры пришли, обрадовались. Сноп, говорят... Пятьдесят колосков насчитали. И забрали Наденьку... Это что же, десять лет им сидеть за пятьдесят колосков?!

«Не сидеть»... — сокрушался Гаврила Матвеевич, не зная слов утешения.

Обошёл всех пострадавших, принял стенания, и упрёки были, и слёзы, слёзы, плач...

К ночи только добрался до дома. Поднялся на крыльцо — дверь тут же распахнулась, и Ольга Сергеевна втянула его в сенцы. Прижалась, обдав неожиданным и давно забытым ароматом материнского молока и детскими такими милыми запахами. Ввела на кухню, и опять здесь неожиданное — тепло размягчающее, хоть с ног вались. Пелёнки висят...

— А где она? — искал взглядом Ириночку. Жена расстегивала пальто, снимала... И рассказывала, не смолкая:

— А я знала, что ты приедешь... Бегала в школу звонить в больницу. Сказали, с утра ушёл. И где же ты пропал-гулял? Забросил нас с дочкой, папка гуляющий-пропавший.

— Покажи...

— Сюда сначала, — подвела к стоящему на полу корыту и стала рубашку расстегивать, пояс... — Дезинфекция... Веника нет постегать папку, щёткой оттирать будем.

И раздела донага, поставила в корыто и помыла тело до скрипа. Вытерла насухо, помогла одеться в чистое, и тогда только разрешила на цыпочках с ней пройти в спальню дочери.

Гаврила Матвеевич плыл в блаженстве, переживая каждое мгновение. Хотелось только одного — чтобы не прерывались они, мгновенья эти. И они слушались его, перетекая из одного счастья в другое...

Увидел спящей дочку — удивление... Заплакала — страх с восторгом... Зачмокала, припав к материнской груди — умиление... А когда принял дочь на руки и держал, боясь шевельнуться, пока меняли ей простынку, — тут уже был венец ликования его души. И ничего-то больше не надо!

- За поздним и затянувшимся ужином пришлось вернуться к текущим делам.
- Где же ты был, если приехал в обед?
 - По-беду ходил, Оленька. По-беду..
 - По-беду?.. Что это значит?.. Не слышала таких слов.
 - А это — знай, с кем беда случилась... И приди пережить её. Помоги, чем можешь... или словом утешь... Дай знать людям, что не останутся с бедой в одиночку. Я то вот счастлив с тобой и дочкой... а их дочери... сейчас...
 - Тише, тише, тише... Поняла я...
 - Им парни письма шлют с фронта... Жди меня, и я вернусь... — затряс головой он, не в силах сдержать слёз. — К кому вернуться?
 - Прошу тебя... Я понимаю...
 - Да ты знаешь, что с ними — новенькими — делает сукота всякая, холёная... А потом... Десять лет за полведра каши?! Где она, советская власть?.. Жизнь бы отдал, чтоб запалить её и взорвать! А нет её... Говорят-пишут про то, чего нет.
 - У Зацепиных был? — пыталась поменять тему Ольга Сергеевна.
 - Всех обошёл. Поклонился и повинился. Опять виноват, Олюшка. Что ни делаешь хорошего — всё бедой оборачивается. Как будто добро стало злом. А может, так и есть?.. И я по старинке живу? Не вижу...
 - Все ты правильно видишь.
 - Пусть власть осудила их. Строгая такая... А донос-то люди написали! Односельчане! Может, подружки даже...
 - Проговориться могли, а слух дошёл до Дырёхи.
 - Так и я про то говорю... Донесли Дырёхе, зная, что он доделает за них зло. А доделает потому, что простор таким дан. Декреты такие написаны. Используй их, и наказывай кого хочешь. Вот как придумано им...
 - Про себя-то знаешь?
 - Известили... Вчера Наша-Паша приезжала, и меня из больницы выписали. Номенклатурным не стал.
 - Что делать будем?
 - Жить! Ириночку поднимать, век доживать. Землю отняли — так огород есть. Ружьишко имею — дичь подстрелю. Промахнусь, так рыбки поймаю. С милой рай в шалаше, а у нас два дома на троих. Тут и коммунизм свой построим.
 - Работать тебя всё равно заставят.
 - Без трудодней — прав не имей. Придётся и за палочки поработать. А для жизни валенки стану катать...
 - А ты умеешь? Валенки!..
 - Учил дед... Раньше-то в каждом доме что-нибудь делали, мастерили... Отец с дедом валенки валяли зимой. Сын мой хомуты шил. Кожу-то с кресел он для них срезал... Н-да... Было такое, было ведь! А я вернулся «оттуда» — и село не узнал... Никто ничего не хочет делать. Одни боятся, другие разучились.
 - А как же ты хочешь?..
 - Тайком! Как ещё, иначе-то? Не пропадать с голоду. А мастеровому, что козлу, — везде огород.
 - «Вот и заговорил по-своему», — порадовалась Ольга Сергеевна. Слушала планы на их дальнейшую жизнь, и впервые в жизни почувствовала спокойствие на душе, потому что всё-то у него задумано надёжно и складно. Мужик!

5. Возвращение

Начальство быстро забыло Валдаева, словно и не было его никогда.

И в деревне вспоминали его разве лишь в связи с посаженными в тюрьму девчатами. Сам он не показывался на люди, не проявлялся никак, довольствуясь тем, что имел. Долгое время ждал ареста, боясь признаться в этом жене, пока не понял, — по возрасту не подходит. По бумажкам-то стар и немощен. Будь помоложе — замели бы давно.

К тому же и время менялось. Войска пошли в наступление, в село стали возвращаться раненые и покалеченные фронтовики, они выходили на передний план. Гаврила Матвеевич, отдаляясь от общих дел, уходил в свои заботы обеспечения семьи и воспитания дочери. И вообще старался жить тихо и незаметно. Старался, а не получалось...

Война приближалась к концу. Берлин брали, когда Гаврила Матвеевич ни с того ни с сего вошёл в острую тревогу. Метался с ней в душе неделю и другую, не находя покоя.

— Что с тобой? — допытывалась Ольга Сергеевна.

— Не знаю, Олюшка.

— Убили кого-то?

— Живы и Костик, и Саша... Теплом их чувствую...

— Писем так и не было...

— Константин-то в разведке может быть. Или у партизан... Немецкий учил для этого. И Саша у партизан мог застрять... А теперь, когда Берлин штурмуют, все партизаны и пленные освобождены. Должны бы написать о себе.

Поговорили о них, повспоминали дотемна. Легли спать. А ночью вставшая к дочери Ольга Сергеевна разбудила его, испуганно шепча:

— Проснись же!

— А... Чего?..

— В избе твоей спичкой чиркали... Посветили и погасло...

Поднялся быстро. Стал одеваться. Ольга Сергеевна зашуршала коробком спичек, готовясь подсветить ему, но он забрал их, положил в карман.

— Не надо света.

— А что ты будешь...

— Погляжу гостей, каких они мастей.

— Ой... А я боюсь... Не надо, может... Там и брать-то нечего...

— Олюшка... Завсегда меня боялись, а ты за меня боишься. Посиди спокойно, скоро приду.

Расцепил и отвёл по сторонам её руки и ушёл.

Тихо перешёл двор. Вошёл в сенцы избы. Прислушался...

За время войны народ озверел. Воровство из городов перекинулось на село. Вскрывали погреба и выгребали запасы, воровали птицу, а то и коров уводили со двора, пока хозяева спали. К Валдаевым не заглядывали, зная буйный нрав Гаврилы Матвеевича. Да и что могли взять в пустой избе, превращенной им в мастерскую и сарай одновременно.

Прислушался... Различил шаги и стук чего-то упавшего. Рванул дверь и рывкнул:

— И кто тут гостить пришёл не спросясь?

— Деда-а... — донесся с пола слабый голос.

- Са-ашенька! — бросился к силуэту на полу. — Сейчас свечу зажгу..
— Не надо... Беглый я..
Ударили слова так, что закачался Гаврила Матвеевич, застонал.
— С тобой-то что?.. Упал..
— Ранен... Из плена в Сибирь нас, как предателей...А я воевал, деда-а...
Сбежал из товарняка... Пуля тут... Умру сегодня..
Еще удар, страшнее прежнего. Тут уже волю стал собирать. Не отдам!..
— Что ты, Сашенька... Теперь — не умрешь... Где она?.. Давно ранен?..
— Восемь дней..
— ?! — онемел Гаврила Матвеевич, и стоном ответил, невольно рванувшимся.
— Ты понял... Ирина где?.. Я пришёл к ним...Там офицер..
— Новый директор школы.
— Они где?..
— Здесь, — сказал и спохватился, как объяснить всё. — В селе. В другом доме.
— Позови... Умру сейчас..
— Подниму тебя, Сашенька, — поднял его, отнёс на кровать. И не знал, что дальше делать, что сказать... Пуля в теле восемь дней — это же..
— Маму позови, отца..
— Убили отца..
— Костик?..
— Не писал, как и ты..
— Тоже, наверное... Сдали нас, деда-а... Освободили... И как предателей повезли, под конвоем... Доски вскрыл, — говорил Сашка, а дед словно бы видел образованное в полу товарняка отверстие и мелькавшие шпалы под грохот вагонных колес.
— Здесь похороните меня... Маму позови. Ма-а-а..
Вздохов больше не было.
Упал ему на грудь, зарыдал.
— Внучок мой дорогой... Да как же? Что же?.. — вырвалось со стоном под дрожание плеч. Мысли метались: «Почему?.. За что он их?.. Победитель... Стервятник!.. И тут свидетелей убирает своих провалов...».
— Что с ним? — с порога спросила Ольга Сергеевна.
— К Ирине шёл... К нам... И не свиделись на свету... Умер Сашенька... Восемь дней пулю носил... Остывает..
Она подошла, положила руку на его вздрагивающее плечо. И тоже заплакала, воссоздавая всё происшедшее с ними. Жестокое, липкое и нескончаемое... Молчали, думая каждый о своём.
- Я принесу лампу.
— И что-нибудь занавесить окна.
— Зачем?
— Он в плену был... Освободили их — и на каторгу как предателей. Сбежал, чтобы сказать, как воевал, не предал... Искать его придут, Олюшка. Похоронить надо до утра.
— Где?
— Где, где?.. Здесь где-то, во дворе... В курятнике могилу вырою, а потом разбросаю. Сирень посадим... Вот и будет Сашенька с нами... Навсегда!..
Ольга Сергеевна заплакала.
— Поплачь сейчас... А днем нельзя будет на людях показывать слезы. Может, давно уже следят за нами.

Занавесив окна, зажгли лампу и увидели Сашу. Тошего, обросшего и чёрного от грязи, с открытыми глазами, ещё недавно старавшимися увидеть их. Рассмотрели рану: пуля пробила лопатку и за ней застряла, вызвав гангрену. Последние силы отдал Сашенька, чтобы дойти до дома и умереть. И дошёл!..

Сбросили с него немецкое рванье, обмыли, одели в мальчишеское, что оставалось с довоенных лет. Завернули в одеяло и понёс его дед не на кровать, как бывало...

Когда-то...

После купания...

А в последний путь...

Работал в темноте торопливо. Выкопал могилу, из досок — какие нашёл — выгородил вроде бы гроб. Туда и поместил внука своего первого, желанного, озорного, отчаянного, любимого... Закопал, и словно часть самого себя оставил в могиле.

Днём, после короткого сна, Гаврила Матвеевич развалил, разбросал курятник и на месте могилы посадил рядышком дубок и молоденькую рябинку. Ольга Сергеевна поняла его, стала сажать цветы.

Слыша и видя их хлопоты, через убранный курятник пришла соседка. Удивилась.

— Тю!.. Чего это творите с утра?..

— Красоту!

— Такой курятник сломал.

— Без кур-то зачем он? А доски — довоенные, нужны для ремонта.

— А это... — кивнула на саженцы, — к чему?

— В честь победы над фашистами. Дубок скоро поднимется. И рябинка его обнимет. Вот и будет, как в песне. Заглянешь к нам во двор — и запоешь.

— Яблоньку бы посадил для девчонки, — сказала и пошла разочарованная.

Ольга Сергеевна занималась на корточках с цветами.

— И сад посадим, — кивнул он ей. — Здесь скамейка будет для нас... А тут — песочница для детей. Любят они в песочке возиться...

«Для детей?..» — поднялась она, удивлённо глядя на него.

6. Победная

Один за другим возвращались фронтовики, и деревня наполнялась зеленью гимнастеров и кителей, блеском орденов и звоном медалей, радостными возгласами тут и там, застольем, песнями, а где и плачем, и опять ликованием — Победили!.. Вернулись!.. Живем!..

Был праздник и у Валдаевых — нежданно приехал Константин. Поздно вечером. На чёрной военкомовской легковой машине, на какой забирали его на фронт. Машина освещала фарами дом, а он не торопясь, вынул из кабины два чемодана, попрощался с шофёром и пошёл во двор навстречу выбежавшему деду.

— Здравствуй, деда-а!.. — бросил он чемоданы и обнял деда, то ли сам попал в его медвежьи объятия, утонул в них.

— Косточка, моя дорогая... Внучок мой... — тискал его дед, стараясь раз-

глядеть. Но освещавшая их машина уехала, а в сумерках разглядел только погоны золотые да усы — натыкался на них, целуя. — Вернулся!.. Знал, что живой... А писем не было...

— Оттуда не пришлешь, где я был... А Сашка?.. Отец?..

— Убили отца, Костенька... И мать не встретит тебя...

— Что с мамой?.. — метался взгляд его с деда на осветившиеся окна дома. — У-умерла?..

— Нет... Нет её дома...

— Где?..

— В тюрьме она, — выдохнул с трудом. А в голове мелькало, как ещё про Сашу сказать, про Ирину, да и про себя с Олюшкой. Вот какие глыбы валяются на внука...

— Как это — в тюрьме? Ты что говоришь, деда-а?..

— Пойдем-ка в избу прежде, — поднял его чемоданы Гаврила Матвеевич и мимо крыльца в дом повёл к своей избе.

Зажег керосиновую лампу. Сам предстал на свету в сумрачном виде, и внука увидел наконец. На плечах — погоны подполковника, а с такими в село не возвращался ещё никто; и ордена на кителе вперемешку с какими-то иноземными. Лицо непривычное: усы мешали увидеть прежнего паренька, да ещё глаза строгие, настороженные и выжидающие.

Посадил его в Колькино кресло и сам сел напротив на табуретку. Рассказал всё про мать и отца... Про Сашу, умершего вот здесь две недели назад, про Ирину и про Ириночку, родившуюся у них с Олюшкой. И про девчат добавил, посаженных за ведёрко сваренной из пшеницы каши...

Константин всё время молчал. Смотрел вроде бы в сторону, но моментами — а их ловил Гаврила Матвеевич — его глаза взлескивали из-под бровей, наблюдая за дедом. И были они холодными, беспощадными...

— Вот так всё сложилось, Костенька... Ехал ты к радости, а получилось — к беде...

— Без бутылки не уснуть... — потянулся Константин к чемодану. Открыл и достал бутылку с иностранной этикеткой. — Закусить-то найдётся чем?..

— В дом пойдём, — забрал у него бутылку дед, поднял один чемодан и пошёл к двери. — Бери другой, здесь мастерская у меня. И лампу задууй.

Константин поднял горбатый чемодан и задул лампу.

Перешли в дом. Ольга Сергеевна ждала их на кухне, сидела за собранным для ужина столом. Поднялась, глядя на Константина строгим учительским взглядом, словно спрашивая, подрос ли до понимания жизни? Он подошёл к ней без слов, обнял и поцеловал раз, и ещё раз, ещё... Прижал к себе, как мать бы прижимал, покачиваясь от вздымаемых чувств. И она поняла его, поглаживала, как гладила бы дочь...

За столом долго молчали, привыкая друг к другу в новом качестве отношений, осмысливая свершившееся в их судьбе. Все слова — при поднятом стаканчике: «За сына моего Тимофея, отца твоего... Пусть земля ему будет пухом», «За Ириночку, невестушку нашу ненаглядную...», «За мужа её, Сашеньку нашего. С пулей в спине пришёл к ней слово сказать...».

— Мама писала что-нибудь?

— Оттуда, Костенька, писем не пишут... Почтовых ящиков там не держат... И бумаги не дают... И прав не получают... А сам-то почему не писал?

— Вначале нельзя было, а потом — невозможно... В Югославии воевал...

— Партизанил?

— Всякое было... Маму верну! — сказал твердо, как клятву. Поднялся из-за стола. — Где мне спать?

— В твоей комнате постелила, — поднялась и Ольга Сергеевна.

А Гаврила Матвеевич ещё долго сидел на кухне один, сокрушённо покачивая головой...

* * *

Утром Константин с дедом пришли в правление колхоза звонить в райцентр. Кому и о чем — внук не говорил, а в кабинете у председателя колхоза попросил Нашу-Пашу и деда выйти из комнаты.

Наша-Паша с уважительным пониманием подчинилась — как же, подполковник просит, а Гаврила Матвеевич — с восторгом: вот так внучок!.. Каким стал!.. В чужих кабинетах командует.

Стояли на крыльце, когда к ним подошла жена Дырёхи Анна, в чёрном платье и покрытая тёмным платком. Глаза красные, и всё платочек к ним прикладывает. Взглянула смущённо и попросила.

— Может, придёте на поминки?.. К четырём часам похороним, соберёмся... От колхоза надо бы сказать...

— Приду, Анна Васильевна... И на похороны приду, — пообещала Наша-Паша. Перевела взгляд на Гаврилу Матвеевича, а он словам не верил.

— Какие похороны?.. Кто умер?..

— Дмитрий Васильевич, — скорбно выговорила Анна, потупясь. — Не знал разве?..

— Не-ет...

— Придёшь, может? Он про тебя часто вспоминал перед смертью.

— Что не успел добить друга злейшего?!

— Каялся... Вот это просил тебе отдать, — подала коробочку, густо перетянутую дратвой. — Сказал, ты знаешь, что там... Я в ваши дела не встревала.

Взял коробочку Гаврила Матвеевич, взвесил её, покачав в ладони и, увидев выходящего из кабинета Константина, сунул в карман.

Возвращаясь домой, Константин сказал как о пустяке:

— Сейчас машина за мной придёт. Съезжу в райцентр.

«Позвонил — и придет за ним машина! — поразился дед. — В двадцать три года — подполковник. А ещё ордена разные... За какие дела, узнать бы...» Но спросил про обыденное:

— В райцентр зачем?

— В военкомат надо.

— Отметиться, что не помер в родном доме?

Константин посмотрел на деда внимательно и понял причину его обиженного тона. Объяснил.

— Шифровку брошу своим. Чтобы маму вернуть.

— Так ты... В разведке был?..

— А ты куда меня направлял?

— Куда мог направить? Послал военкому письмо, что внук немецкий язык выучил на пятёрки. Вот и всё направление.

— Понятно... А военком — зная тебя — направил меня в разведшколу. Благословил... И тебя здесь берег, как мог.. С мамой как получилось, разберусь... Без мамы не вернусь в Москву.

— Может, и девчат вернёшь? — спросил с надеждой. — Зацепин без ног

остался. И дочери нет! Катается на тележке по селу и костерит меня... Понимаю, что не меня винит, а того, о ком сказать нельзя...

Опять внимательно посмотрел на него внук, проверяя, понимает ли, о чём говорит. Ответил тихо, но твёрдо:

— Помню!.. Дела эти не по нашему ведомству. Сделаю всё, что смогу.. И вот ещё, что знать тебе надо. В разведшколе Ирину встречал.

От такого известия Гаврила Матвеевич остановился и придержал внука за руку.

— Погоди-ка. Это как же? Рассказывай...

— Недолго поговорили с ней. Там никто и ничего не должен знать друг о друге. И больше не видел её. Узнал позже, что погибла. Как Зоя Космодемьянская, если слышал про такую...

— Невестой... — застонал Гаврила Матвеевич, зная, как глумились фашисты над Космодемьянской перед казнью её.

— Да!.. — хмурился Константин, с трудом выговаривая слова. — Не было у них... медового месяца. И ночи не было... Простились в Московском военкомате. Он — на фронт уехал, она — в разведшколу. Была заброшена в тыл к немцам. Группу не выдала... Надо ли знать об этом Ольге Сергеевне?..

— Она сама сказала матери...

Константин смотрел на деда, не понимая его слов, а тот — спохватился и не знал, как теперь объяснить. У них — молодых-то, нет веры в такое. Материалисты...

— Приснилась она ей... И попросилась родиться вновь... А теперь подрастает, и каждый вечер спрашивает мать, какой была до рождения. Лучше сказок слушает, пока не уснёт.

— Деда-а, ты это серьёзно всё?..

— Проверь, коли разведчик.

— Ко-о-стя!.. — донёсся до них крик.

— Колька! — оживился Константин, увидев школьного друга, хромавшего к ним на деревянной ноге.

— Внук мой третий... Роднись теперь.

Константин опять взглянул на деда удивлённо: чем ещё ошарашишь?..

— Узнаешь сейчас... Долго-то не задерживайся с ними, пусть вечером приходят. Отметим...

— Может, не надо?..

— Надо, Константин!.. Это первый праздник на моей улице!.. — ответил твёрдо и даже мстительно, глянув куда-то в северную сторону. И ушёл, оставив внука обниматься с приближавшимся спешно дружкой.

Самовар кипел, завтрак приготовлен, и семья терпеливо ждала гостя. Он пришёл и сразу подошёл к Ириночке, почтительно наклоняясь:

— Здравствуй, Ирина. Меня звать Костя.

— Ты ночью приехал?

— Ночью. Когда ты спала.

— А что ты привёз мне от зайчика? Папа мне привозит хлебушек его.

— А я привёз от Деда Мороза, — вспомнил про свои чемоданы Константин, раскрыл и начал одаривать Ириночку игрушками. Вёз их Наденьке и Пете, а теперь достались все ей. Выстраивались и наваливались кучей, потеснив картошку в мундире, соль, капусту. Девчужка изумлённо смотрела на них, боясь тронуть — такие блестящие и не виданные за её жизнь. Но куклу, поставленную перед ней, взяла сразу и прижала к себе, вызвав улыбку понимания матери и восхищения отца.

Затем пошли подарки Ольге Сергеевне. Вёз их любимой учительнице, да прибавились и предназначенные сестре Василисе. Ольга Сергеевна смущалась и радовалась тканям невиданным, кофтам, туфлям на высоком каблучке — так неожиданно напомнив о забытом навсегда далеко-далёком...

Гавриле Матвеевичу достался второй горбатый чемодан.

— Это тебе, деда-а!..

— Что в нем?

— Открывай.

Гаврила Матвеевич открыл замки, поднял крышку и увидел сверкающую красоту аккордеона. Ухмыльнулся.

— На пианинах не играю.

— Научишься! Ты у нас самый-самый!..

А что возразишь? Дарёному коню в зубы не глядят. Пришлось принять подарок. А про себя решил Кольке его отдать, чтоб вернуть свою гармошку.

На машине туда и обратно дорога недолгая. Приехал Константин из райцентра с кошёлкой продуктов и сразу прошёл в дедову избу, где готовилась гулянка. Не разгульная, а только на Костиных дружков рассчитанная, какие вернулись с войны. Мальчишник, в общем.

Избу дед прибрал, расставил столы и скамейки, и подносил то, что готовила Ольга Сергеевна на кухне, размещал на столе. Привезённое пополнение одобрил. Тут и водка была в добавление купленной им самогонки, и «второй фронт» — консервированная американская тушёнка, и яичный порошок. Выложив всё это, Константин повернулся к деду.

— Докладываю. Шифровку отправил, и кое с кем переговорил по телефону. Есть у наших взаимные интересы с НКВД. Это поможет вернуть маму. С девчатами — сложнее... Могут сказать, не лезьте не в своё дело! Тоже понятно... А мне непонятно, чего ты вылез здесь с кулацким урожаем?

— Чего тут не понимать? Где родился, там и пригодился. Вот и вылез!.. Хлеб-то нужен стране.

— Деда-а, в тридцать втором году вышел «Декрет о вредительстве в сельском хозяйстве». И после этого ты...

— Так там — вредительство, а у меня — помощь государству. Почин!.. Я и Сталину написал об этом. Думал, оценит. Подмогнёт, как стахановцам. А он... а они... девчат загребли...

— Девчат, потому что тебя не удалось загрести. Выскользнул ты своим урожаем. Не будь его...

— А он был!.. Доказал всем!.. И мне стало понятно всё...

— Что всё?..

— То, Константин Тимофеевич, что вождь ваш — царский жандарм!..

— И это знаешь!? — нахмурился Константин и, пройдясь по избе, опустился в Колькино кресло. — Рассказывай.

— А не боишься, что придётся дедка арестовать?

— Я, деда-а, боюсь глупостей людских... Поэтому знать мне надо, что ты знаешь о том, что говоришь.

Жёстко сказал. Да встревожено так, что убедил деда говорить чётко и без прикрас. И он рассказал ему всё про Сталина.

Константин сидел не шевелясь. Слушал внимательно вначале, а потом — терпеливо, дожидаясь конца, чем очень даже рассердил деда.

— А ты знал, что ли?

— Могу дополнить. На тех же условиях: никому не говорить. Знаем я и ты.

— Само собой...

— Тогда знай, не простым жандармом был, а ещё и царским генералом! И неплохим генералом: немцев победил.

— На русских научился... Что ж ему немцев не победить, не жалея своих.

— Ты о чём говоришь?..

— О том, что народ не глядел, как он побеждал? Как с Гитлером бился кулаками один на один... Отец твой, Ирина и ещё миллионы за что жизнь отдали, скажи-ка?..

— В Первую мировую тоже отдавали жизни... Брусилов сделал свой знаменитый прорыв. И захлебнулся: снарядов нет... А мы фашистов «катюшами» били, танками давили, авиацией бомбили и штурмовали. И это всё надо было придумать, выпускать, обучать, управлять...

Кивал дед, усмехаясь:

— С финнами не мог справиться... И от немцев драпал, армии терял... А потом виновных искал, предателей... Да я вовек не поверю, что Сашка наш сдался по трусости. А таких Сашек эшелонами... В Сибирь!.. Чтоб подошли там и про подлость его не рассказали... Жандарм он и есть жандарм!..

— Ну, тут не так всё просто... — сбавил тон Константин. — А что касается жандарма, так и я жандарм, если по-старому говорить... Жандармы разведкой занимались внешней и внутренней, политической. И жизни свои отдавали! А ещё царями управляли. Создавали им... особые обстоятельства... И менялись цари не без их помощи... А после революции жандармы разделились, как и все. Одни ушли к белым, другие — к красным. И ты ведь...

— Не про то говоришь...

— Скажи про «то».

— Царь Александр Второй крепостничество отменил, а Сталин вернул нас в крепостничество! Это как будет, по-твоему?..

— Вынужденно...

— Это кто же вынуждал его? Может, Троцкий?! Он создавал трудармию, концлагеря и крепостничество. А жандарм Сталин скovyрнул Троцкого, да всё и сделал, как Троцкий хотел.

Кивнул Константин и добавил:

— Ещё этим «крепостным» трактора и комбайны дал. И не продажей, как предлагали ему, чтобы закабалить долгами. Он для них государственные МТС создал. Чтобы пользовались без покупки техники... А детям и внукам этих «крепостных» — строил школы. Обучал их в институтах и училищах.

— И выучил вас безбожниками и сталинистами.

— Сталинистами! — подтвердил Константин с мелькнувшей азартной искоркой в глазах.

Следивший за выражением его лица, Гаврила Матвеевич заметил, что оно стало другим после приезда из района. Спало напряжение, вернулась уверенность офицерская, угаданная дедом, а ещё появилась как бы тайная радость. С чего бы это? Разговор нешуточный идёт, а он словно играет.

— Да!.. И это, пожалуй, самое главное для вождей такого масштаба — иметь социальную опору власти. Заметь, Гитлер то же самое делал. И получил гитлеристов. Но не они, а мы их разбили. Почему, скажи?

— Почему же?

— Нет, ты скажи. Твой ответ сейчас важный для тебя...

— Победили, потому что сильнее оказались... Всегда мы их били...

Кивнул Константин: можно и так сказать. Но стал искать свой ответ, и

дед видел, как он с трудом формулировался внуком, наверное, впервые задумавшимся над таким вопросом.

— Гитлер превратил народ в нацистов. Германия — для немцев! И весь мир! Хочешь жить лучше — получай автомат и шагай на восток. Грабитель!.. Сталин делает всех коллективистами, равными во всём. Дружба народов — оплот. И мы победили!

Сказал и заулыбался, счастливый. Оправдал своего кумира...

— Победили... Да какой ценой? И что мне до побед его, если по жизни моей, как фашист прошел. Да что тут — по моей... По народу всему! Поколение моё — всех, кто царизм свергал, — под корень срубил. Мешаем мы ему, видишь ли... Знаем, как власть брал... Как подличал... И спихнул нас — в сторону! Чтоб не мешали ему командовать, как захочет. А может, без него бы мы лучше справились с Гитлером, как справлялись с Наполеоном, Мамаем?..

— Это уже по-детски... — разочарованно усмехнулся Константин.

— А с ними народ по-детски воевал? В песочнице? Или жизнями платил за победу?

— Извини, деда-а... — смутился Константин: «Вон как он яростно!..».

— Не прощаю, коли разведчиком стал!... Не собутыльный разговор ведёшь. И может, в первый и последний раз...

— Годится!.. — повинно склонил голову. — Ну, прости меня, деда-а...

— Служишь ему — служи... Но душу не продавай! И разведай, узнай его маневр. Сейчас он поцарствует, как все цари... А потом, что будет с вами, со страной?..

— Восстановим хозяйство, заживём...

— Не заживём.

— Тогда давай факты, доводы...

— Неправильно сделанное — вернётся результатом.

— И что же неправильно сделано. Ликвидация безграмотности? Индустриализация? Коллективизация? Ты о чём говоришь, деда-а?..

— О том, что... «измы» у вас в голове. Не получится варева.

— Какие «измы»?

— Сам, поди, знаешь лучше моего. Капитализм, феодализм, марксизм... Что там еще?

— Это учения!

— Про то и говорю. Научили народ, и с его подмогой капиталисты победили феодализм. Зажили лучше дворян. Народ им больше не нужен стал — кроме как горбатиться на них. Социалистам не нужен стал царский народ — отсталые мы, видишь ли. Мякина в голове... Обозвали народ врагами народа и на каторгу спровадили. Теперь вы — сталинисты — встанете на очередь. Что с вами будет, когда Сталин помрёт или скинут его, как других? Или война новая случится? Бомбу атомную не напрасно взорвали над японцами, ему в предупреждение. Так ведь?

— Да...

— И объявится новый «изм». Исторический... — усмехнулся Гаврила Матвеевич, видя заметную растерянность у внука от такого разговора. Спала с него вежливость поучающая. И глаза остановились, затуманились, как ненужные, когда голова от вопросов кипит.

— Не Сталин беда, а сталинизм. И гитлеризм! А в общем-то — тиранизм. Думаю, тут наиглавнейшая беда. Ведь и Сталин, и Гитлер стали над народом повыше любого царя. Сама власть теперь у них другая: властодержав-

ная! У одного, а сразу над всеми и всем... Потому и воевать стали они друг с дружкой — чтобы сделать её всемирной. Чтоб над всем земным шаром командовать, управлять народами. Так или нет?! Скажи-ка мне...

Константин молчал, поражённый словами деда. Не предполагал такого осмысливания, а главное — не мог противопоставить ему ничего, кроме демагогии, до которой не мог больше опускаться. А сказать свое?

— Похоже, ты прав...

— Согласен, что ли?.. — присматривался дед недоверчиво.

— Добавлю!.. Хочешь?..

— Для того и разговор.

— Ваша революция в семнадцатом не просто царизм свергла. Она... Новое господство родила: партийную диктатуру.. И теперь сталинизм и гитлеризм по всей Европе поползёт, на весь мир распространится. Процесс уже не остановить. В конце концов, над миром утвердится один правитель, воплощающий общие идеалы. И речь о них пойдёт: плохого Сталина или хорошего Гитлера. Ты кого выберешь?

Такого поворота разговора Гаврила Матвеевич не ожидал. Оценил сразу свое недодуманное: «А он-то, он... Вон как понял все!.. Ах, ты, мальчик мой дорогой!.. Углядел всё, размыслил...».

— Что ж ты прикидывался, что не понимаешь, — запоздало рассердился дед. — Пытал меня всяко...

— Деда-а, — поднялся и обнял его Константин. — Я же всю войну с тобой разговаривал так... Проверял себя. И знаешь, как помогал ты мне? — ткнул пальцем в погон. — Вторая звёздочка — твоя заслуга!

— Вот и ладно, внучок... — прижал его к себе дед. Долго не отпускал от себя, чтоб не увидел выступивших слёз. И впервые подумал, что самому больше не придётся заботиться о сталинских делах. Внуки дозрели до понимания... Им теперь и решать, как дальше жить...

На дворе стукнула калитка, пискнула гармошка и послышался голос Кольки Сухорука:

— Эй, вы где тут? Понастроили домов, как буржуи, не знаешь, куда к ним идти...

Гаврила Матвеевич стукнул ему в окно и кончил разговор с внуком.

— Потом договорим... А что ж это, вы порешили мальчишник собрать? А девочкам когда порадоваться? Сколько тут одноклассниц ваших осталось! Неужто не интересно встретиться, поговорить, побаловать?

— Да я не знаю... — смутился внук, а глаза заблестели лукаво и как бы выпрашивая: а можно? — Тут столько бед набралось...

— Беда — что с гор вода. Не видя горя, не узнаешь и радости. А пришла радость — познай в сладость!

Вошёл Колька и, увидев приготовленный стол, расплылся в радостном ликовании.

— О-о-о! По-генеральски... Гульнём!

— Гульнёшь, если жену приведёшь!..

— Так... своих только решили... — оглядывался Колька на Константина, загадочно молчавшего.

— А она чужая у тебя? Из другого класса? В общем, такой наказ вам: один в одну сторону, другой — в другую. Собирайте своих и чужих, чтоб всю ночь гулять, не просыхать.

* * *

Направил их и к своей любушке пошёл поправки вносить. Надо же закуски добавлять, а где чего взять?.. Решил так: на первый-второй тост всем хватит, а потом столы — из избы, и пусть пляшут.

Это и рассказал Ольге Сергеевне и доченьке своей, помогавшей мамочке винегрет делать: что-то ковыряла тупым ножом. Жена обрадовалась такому повороту вечеринки и загрустила, вспомнив:

— Тонечка Полякова любила Костика... А он... — глянула на Ириночку, вздохнув.

— Не судьба...

— А ты чего не одет ещё? Не приглажен, не причёсан...

— К свату ещё надо сходить. Хотя на поминки они пойдут, — рассудил Гаврила Матвеевич, вспомнив про Дырёху. Вынул из кармана его передачу и разглядывал, соображая, как развязать дратву на коробочке. Резануть ножом было бы просто, да хорошие нитки жалко коротить.

— Кто умер?

— Дырёха избавил нас от себя. И подарок мне прислал перед смертью. Дай-ка ножик...

Аккуратно срезал узелок, размотал дратву, открыл коробочку и остолбенел, пораженный... Взглянул на Ольгу Сергеевну — и опять в коробок, не веря тому, что видит там...

— Что там, покажи?..

— Нет, Олюшка. Не покажу.. Потом увидишь, — закрыл коробок, повернулся и ушёл в спальню переодеваться.

В коробке лежали клеёчатая обложка от его партийного билета и орден Красного знамени. Не показал их жене не без умысла. Вспомнилось всё такое, чего не хотелось дробить словами. Образы поплыли, как в кино... Вручение ордена командармом Михайло Васильевичем Фрунзе, и почёт от своих дружков и товарищей, и борьба за колхоз «кулацкий», не принятый «историческим процессом», каторга... А сколько ещё до этого, и позже... И всё шрамами по душе отмечено, вешками определено, где Красное знамя ордена его было самым главным итогом праведной, боевой и кипучей жизни. Как тут рассказать кратко, хоть о том же Дырёхе: гадил всю жизнь ему, и вот признал правоту или ещё что-то... Это сколько же мук он перенёс, если орден вернул?

* * *

Молодёжь быстро заполнила двор. Пришёл Константин с докладом:

— Ольга Сергеевна, все в сборе! А где деда-а?

— Одевается... Сейчас мы придём, рассаживайтесь там...

— Ага, — помедлил Константин, любясь своей учительницей с Ириночкой на руках. Обе одеты во всё новое, Ольга Сергеевна приподнялась на высоких каблуках, расправилась и помолодела. Ириночка — как принцесса из сказки, только сердитая: куклу забрали, уложили спать. Погладил её, улыбувшись, и ушёл.

Двор опустел. И тогда только пошли они — Ольга Сергеевна и за ней Гаврила Матвеевич с Ириночкой на руках.

Вошли в избу, когда все уже сидели за столами, готовясь к торжеству. Увидев их, изумились неожиданной красотой своей учительницы и нарядом её, ещё не виданным в селе. Прекратилась застольная суэта первых минут, и все восторженно воспринимали это чудо, как начало их новой жизни, свя-

занной с Победой. Знали, вот так будет и у них — красота, которую видели только в кино, и ребенок, и благородная мудрость материнства, и гордость отцовства.

Гаврила Матвеевич передал дочку Ольге Сергеевне, распрямылся — и новый всплеск общего восторга колыхнул всех — на его груди сиял красным пятном орденом. Тут уже парни обалдели на миг, сравнивая свои награды с его первым орденом страны. А он смотрел на них стоя, вспоминая мальчишескую команду, которую вооружал деревяшками-ножами, и радовался их медалям и орденам. Отмечал с грустью, кого здесь нет среди них ... Оглядывал и девчонок — другой команды, своей, помогавшей выращивать большой урожай для победы над врагом. И тут потери... Заговорил, волнуясь, а потому жёстко...

— Весь класс ваш... Оставшихся в живых... Немногие прибавятся ещё... Другие — только в памяти нашей... А вам так скажу, мужики — дубьем подпоясанные!.. Не посрамили отечество. Вон как медалями да орденами украшены! Спасибо вам, ребятушки... — низко поклонился им Гаврила Матвеевич и, распрямясь, обратился к девчатам: — И девчата потрудились на славу. Орденов не получали, но урожай невиданный здесь — вырастили. И все пять лет колхоз сдавал стране хлеб с перевыполнением заданий. В этом их заслуга немалая. Так вот... Первую рюмку предлагаю выпить за победу. Она у всех — разная... У вождей — всеобщая, у генералов — войсковая, а у нас — народная. А как бы они — верховые — победили без нас?! Выпьем за народную победу живых и мертвых!

Ему налили чарку. Он не садился за стол, держал её в руках. Поднялся Константин со стаканчиком. Колька Сухорук... И все встали. За погибших пьётся не чокаясь...

Потом пили и танцевали, вспоминали и плакали, ухаживали и целовались... Гаврила Матвеевич играл на гармошке, что подходило молодым из своего репертуара. Но в этом деле уважаемым был Колька Сухорук — пошли фокстроты, танго. Девчонки разгорячились: такие женихи вокруг!.. Каждая показать себя хочет — и так, и так-так могу...— застучали их каблукки, взвивая частушки:

*Мой милёнок на войне
Управлялся ротою.
А я тоже не сидела,
На быке работала.
Та-та... Та-та... Та-та-та...*

*У подружки два Ванюшки,
У меня — ни одного.
Упаду подружке в ножки,
Дай Ванюшку одного.
— У-у-у... И-и-и-и...*

*Полюбила тракториста,
Но придется забывать:
Не хватает воды в речке
Тракториста умыть.
Та-та... Та-та... Та-та-та...*

Константин пользовался особым вниманием, но танцевал неохотно, всё больше друзей слушал, окружавших его.

Ириночке не понравился общий гам, стала плакать, и Ольга Сергеевна ушла с ней домой. За ними незаметно ушёл и Гаврила Матвеевич.

Они праздновали свою победу за кухонным столом, обсуждая так неожиданно вернувшийся орден.

* * *

На другой день утром из правления колхоза прибежала девчушка — посыльная с запиской от Нашей-Паши, где было написано, что через час за Константином придёт машина, чтоб успел к поезду. Пошёл будить его Гаврила Матвеевич, а в спальне пусто... И чемодан собран, и всё другое приготовлено к отъезду.

Оказалось, на речку бегал. Пришёл свежий, бодрый и без следа ночного празднования.

— А ты не пил, что ли? — удивился Гаврила Матвеевич.

— Наставник запретил, — улыбнулся внук. — Говорил, хочешь быть сильным — не кури, хочешь быть умным — не пей. Слушаюсь! — вскинул ладонь к виску, отдавая честь.

— А в самоволку ходишь, не докладываясь. Вон что тебе пишут...

На записку глянул, не придав значения, словно так и должно всё быть. Пошли чай пить... Здесь ещё можно было полюбоваться на него деду, отмечая последние секунды до расставания.

— Константин, сказал бы по секрету, за какие дела тебя подполковником сделали?

— Ниже должности у них не было. Я капитаном был... И поганам этим седьмые сутки...

— Но, а...

— Не знаю ещё... Но могу сказать, что тебе обязан своим продвижением... Ты вывел меня на концептуальный... — и спохватился: — Извини, не поймёшь таких слов... Скажем так: обобщённый метод мышления. Когда всё сопоставляешь с самым главным в жизни.

На кухню вышла Ольга Сергеевна, привлечённая их разговором. Гаврила Матвеевич притянул её, посадил рядом.

— Это как же я вывел, если слов таких не знаю?

— В этом секрет исторического процесса. Люди не понимают его, а делают то, что надо Природе или Богу. Вожди, если улавливают правильное направление, — побеждают. Ошибутся — поражение. Как у тебя было, до ордена...

— Погоди... А что было-то? Там столько всего творилось...

— О главном речь... Ты ведь тоже — вождь мужицкий! Мог быть таким, как Степан Разин, Емельян Пугачев... Пока шагал в ногу с веком — орден получил. За правильное!.. А потерял чувство меры — наказание... Сам об этом вчера говорил. И Гитлеру досталось за непонимание исторического процесса!

— Вон куда вывел! — порадовался Гаврила Матвеевич, видя, что не пропал их вчерашний разговор. Обернулся к жене: — Ты что скажешь?

— Логично, по-моему...

Из спальни послышался плач Ириночки. Открылась дверь, и она вышла к ним обиженная-преобиженная. Увернулась от матери и пошла на руки к дяде Костику. Он прижал её, и ушёл с ней на двор, на солнышко.

Сели на скамейке у Сашиной могилы. В окно видно было, как Константин что-то рассказывал их дочери, а она заморожено слушала, водя рукой по его лицу.

— Логично — это складно, что ли?

— Вроде того... А ему так и не понравилась ни одна?

— Нет, — вздохнул Гаврила Матвеевич с сожалением. — Не приглянулась... Уедет сейчас... Машину ждёт.

— Говорил о неделе...

— Видать, раньше всё сделали... В Москву к себе увезёт Галину, сказал... Большим человеком стал.

— Гордишься?

— Всё равно жалко... чего-то...

Пришла машина. Быстро попрощались, поцеловались... И уехал Константин. Был, и нет его...

Ириночка запоздало ударилась в плач. Успокаивали её, вернувшись на скамейку. Здесь она никогда не плакала. И Гаврила Матвеевич всегда молчал. Такое вот место молчаливое стало.

— Прошёл твой праздник... — сказала Ольга Сергеевна, сочувствуя.

Он смотрел на могильный цветник, словно разглядывая что-то. Ответил не сразу.

— Не прошёл, Олюшка, нет!.. В душу переместился. Как ломал да гнул меня рябой!.. А я всё по воле своей сделал, не подломился под ним. И знаешь: роди мне сына... Саше-то не исполнилось сорок дней. Здесь душа его витает, смотрит на нас... Самое время вернуть его нам. Хороший парень был. Пусть поживут они с Ириночкой, как братик с сестрой.

Она смотрела на него и улыбалась тихо и благостно. Знала, что так и будет всё, что он захочет.



Александр ЛЕОНИДОВ

ИНФЕРНО

Повесть

*Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю,
что все было именно так, как было...
Но правда выше жалости...*

Максим Горький

1.

— ...Зовётся он Константин Феликсович Ранаев... — в полумраке необъятной роскоши внутренних покоев тихого офиса, в обстановке, пахнувшей бренди и сигарами, с лёгкой струйкой ароматизаторов инструктировали Андрея Бангора перед поездкой на Урал. — Будь с ним поосторожнее, не задирай его... Он мужик крепкий, из местных, так сказать, «старожил»... Сын и внук каких-то там «великих» местных деятелей, которые для Края что-то в советское время сделали... Вот тебе смешно, Андрей, а у них там в провинции это не пустой звук... Открыл в 1987 году один из первых в стране кооперативов... Охрана у него очень интересно устроена...

— А что такое? — заинтересовался Бангор, рассматривая себя в большом венецианском зеркале корпоративного начальства, над которым с намёком висела коллекция украшенного драгоценными камнями холодного оружия.

— Ещё в 80-е годы этот Костя Ранаев стал думать, как бы сделать так, чтобы его не завалили...

Филиппов Александр Леонидович (псевдоним: Александр Леонидов) родился в г. Уфе в 1974 году. Закончил исторический факультет Башкирского государственного университета.

Автор нескольких повестей и романов, большая часть которых уже опубликована на сайте «Дня литературы».

Живет в Уфе.

– Ну, естественно, кто же об этом не думает? – снисходительно улыбнулся Бангор.

– И вот этот хитрый кооператор создал три фонда... Один фонд, вместе с Русской Православной церковью, под названием «К новой жизни», стал помогать в тюрьмах блатным, которые к священникам тюремным ходят, интерес к религии проявляют... Видишь, какой точный расчёт: с одной стороны, они воры в законе, а с другой – умеренные, раз о Боге задумались... Ну, вот через попигов пересыльных со всем «маячком» тамошних уголовничков Костя скорешился... Ну, пригласили его на сходняк, все авторитеты присели – и этот пацан посередке стоит... Ты, говорят, кто? Он говорит – «никто». Ну а как ты нами, говорят «синие», рулить собираешься? Он отвечает «умом». А как это? А у меня, грит, права голоса нет... Я, грит, вам мысль скажу, а вы решайте по уму... Если плохо придумал – значит, ничему не быть, а если хорошо – зачем отказываться?

– А он вообще не сидел ни дня? – лениво поинтересовался переговорщик Бангор.

– Нет. Но братва его уважает. Новые времена – новые правила, так сходняк приговорил... Ну, и один охранник у Ранаева – всегда блатной, по смене...

– А два других?

– Тут тоже своя история. Костя Ранаев в 1989 году создал фонд «Спортивные резервы» совместно с краевой федерацией тренеров. Ну, сам знаешь, спортсмены рано уходят, девать себя некуда... Ну, и для отставных спортсменов тоже вакансии открылись... Так что второй охранник у него из бывших спортсменов, через федерацию тренеров. А третий – обязательно офицер-отставник. В 1991 году наш Ранаев создал фонд поддержки ветеранов выводимых воинских частей, и набрал себе полон кузовок бывших разведчиков, спецназовцев, десантников, морских пехотинцев...

– А зачем так сложно?

– Хе, тут мысль глубокая: чтобы сговориться не смогли. У блатных свои расклады, у отставных офицеров свои, а у спортсменов свои. Но сходятся они все на Ранаеве. Как любит говорить наш дорогой Борис Николаевич – «безальтернативная фигура». Такой, знаешь, бизнес и политический тяжеловес... Непростой он человек, Андрей, постарайся с ним аккуратнее... У него кооператив назывался «Минотавр», представляешь... Ну, потом, естественно ЧИФ «Минотавр», банк «Минотавр», холдинг «Минотавр»...

– Я знал одного дурака с Поволжья, – белозубо оскалился Бангор. – Он свою фирму назвал «Фобос»... Он по неграмотности смысла не понимал, а слово ему понравилось...

– Нет, Андрей, не обольщайся, мы проверяли: Ранаев прекрасно понимает смысл слов... И Минотавр этот – не потому, что ему блажь в извилины въехала... Продуманная такая фига в кармане... Его «папа» спрашивал, когда он тут в столице в Совете Федерации сенатором от Края заседал... Чё, грит, за фантазия такая – Минотавр?

– А он?

– Выкрутился. У него там в числе прочего консолидированная мясная компания, крупный рогатый скот, как и он сам... Типа, с неё начинал бизнес, отсюда и рога, и копыта...

– Ну, что я могу сказать? – улыбнулся Бангор, разглядывая холёные ногти на правой руке. – Весьма неглуп тот сенатор, который из всех имиджей предпочёл имидж мясника... Но я-то еду, надеюсь, не колхозное стадо скупать на корню? Не представляю себя в роли прасола...

– Ты поедешь выкупать каскад ГЭС на реках Края. Это не глиняные плотинки, Андрей, совокупная выработка «МТ-гидро» – 16 миллиардов киловатт/часов...

– Ого! – удивился Бангор. – Это же как у крупнейших гидростанций в мире...

– Не самых крупных... Но около того... Каскад строился под руководством дедушки нашего героя, заслуженного энергетика чего-то там вроде РСФСР, строился под нужды промышленных предприятий, а теперь, когда промышленность накрылась, – мотает воду вхолостую... И есть шанс сделать очень-очень много азотных удобрений... Чем мы и займёмся, Андрей... Если ты не подведёшь...

Аммиачная мафия – самая тихая в России. Что такое аммиак? Он делается из мусора под ногами: один атом азота и три атома водорода. Мало кто знает, что экспортные доходы от аммиачных поставок – сопоставимы с доходами от нефти и газа...

Кто что ворует – аммиачная мафия ворует электричество. Им ничего не нужно – только электричества побольше. Где электричество дешевле – там и выгодно варганить продукт, пользующийся во всём мире постоянно растущим спросом...

Константину Ранаеву потребовалась аммиачная мафия, восходящая к Всемирному еврейскому конгрессу, чтобы зачистить наркомафию, восходящую к английскому королевскому дому. Аммиачная мафия не любит шума там, где работает. А Ранаев терпеть не мог цыган – толкачей дури, которые заполонили Край. Но мог ли он сам с этими ублюдками разобраться? Конечно же нет: он был сенатором Российской Федерации, и ему там популярно объяснили, что наркомафия – не столько финансовый источник, сколько политический институт режима. В перспективе она должна уничтожить всех, кто не сможет выехать в Лондон или на франко-испанскую ривьеру, где у Ранаева три особняка... «Так что не нужно цыган трогать, Костя, не твоим зубкам пожива...».

Костя уехал к себе в город Куву, подумал там хорошенько, посоветовался с людьми и нелюдьми – и сделал неожиданный финт: предложил аммиачной тихой мафии 16 миллиардов кубометров дарового гидравлического электричества, в котором больше не нуждались обанкроченные кувинские заводы и фабрики...

По деньгам Ранаев торговаться не собирался: пусть берут хоть даром всю систему кувинского каскада, вода турбины крутит, а выхода с них всё равно никуда уже нет... Но – для своего же спокойствия в Кувинском крае – пусть покровительствуют Косте в изгнании наркочилеров.

Чтобы у краевого «Смотрящего» была, как на плакатах пишут, «территория, чистая от наркотиков». Не в том смысле, что все «торчки» вымерли – вот и чистая стала... А в том, чтобы этой нечисти нельзя было в пределах Края орудовать... Костя так посчитал, что Всемирный еврейский конгресс – нормальный противовес для английского королевского дома и курируемой лично президентом РФ свердловской наркомафии...

– Ну, сколько у них тут по Куве оборотов? – эмоционально спрашивал Ранаев у жены в постели. – Ну, всяко же аммиачный экспорт всё покроет...

– Ты давай не заводись! – советовала Олеся Ранаева, властная и жёсткая императрица раскидистой империи «Минотавров». – Тебе, Кост, какое дело?

– У нас двое детей, Лесенка... – нервно закуривал Константин Феликсович.

И болезненно кольнуло под сердцем: своих детей он почти не знает, он уходит из дома, когда они ещё спят, а приходит, когда они уже спят... Он почти не проводит с ними выходных и праздников. Что если дети вырастут чужими людьми?

– У нас двое детей...

– Ну и что? Они уедут в Лондон, в британский колледж... – холодно улыбалась Олеся.

– И не вернуться?! – с прищуром смотрел на жену «олигарх».

– А ты сам как думаешь?! – так же пристально резала его тёмными зрачками эта валькирия...

Ранаев знал ответ. Все дети – давно и всегда там. Началось со Сталина. Потом – сын Хрущёва... Потом уже без счёта... Эту землю выжрут и бросят, когда она станет совсем бесплодной и мёртвой... Как бросили орды скотоводов Сахару – когда Сахара стала только песком...

Но в этой холодной уральской земле лежали предки Константина Ранаева, и он никогда не забывал о них. Мёртвые держали живого. Фирс Ранаев – человек в армейской зелёной рубашке без погон, с вечной «беломориной»... Некогда предложил Берии новый принцип извлечения силы рек: не энергию падающей воды, а выталкивающую силу поплавок...

Фирс Ранаев, в пыли от сваливавших гравий самосвалов великой стройки... Фирс Ранаев, который – когда приехала ревизия из Москвы – оставил проверяющим ключи от сейфов и укатил на охоту..

– У тебя же проверка, Фирс... – недоумевали близкие.

– А мне какое дело?! – удивлялся Фирс. – Я стакана газировки ни разу не выпил, чтобы копейку в автомат не бросить... Пусть копают... Что накопают – всё ихнее...

А другой дед – бессменный председатель краевого Союза художников, Ефимиам Янтарёв. И отец – директор завода гибких валов. Слава Богу, ещё живой... И мать – химик-технолог... Корни Константина Феликсовича уходили глубоко в эту неласковую, ссыльно-поселенческую землю на краю земли...

Когда эту землю стали выжигать напалмом массовой наркомании – Ранаев стал отстреливать толкачей... Его вызывали на толковище – он остался при своём. Тогда его вызвали в Москву, и на очень высоком уровне всё объяснили. Добавив, что сама возможность его выйти из Кремля в сложившихся обстоятельствах – большой подарок от вышестоящего руководства... Подарок, который делают один раз...

Ранаев не был наивным мальчиком, и он понял, что заигрался. Рассказывают, что железная Леся, прозванная «императрицей» даже в очень высоких кругах, – на коленях умоляла его пожалеть хотя бы семью – раз себя не жалеет...

И Константин Феликсович пожалел семью. Ночью сидел без сна в зимнем саду своего раскидистого поместья, на скамеечке между кофейным деревом и благородным лавром... Листал бумаги, изучал федеральную статистику... Утром вышел с планом. Это был план приглашения на гидрокаскад аммиачной мафии, покровительствуемой мировым еврейским движением...

Делегация новых деловых партнёров, гостей Ранаева, «крутых» инвесторов, присланных «стрелковаться» тихой аммиачной мафией, укрывалась от солнцепёка под белыми тентовыми зонтами. Других пятен тени на верхней

палубе теплохода не было — и деревянные части буквально звенели от накала под плавающимся золотом летних лучей...

— Красивый у вас уголок... — лениво ворочал языком разомлевший с жары и закусок младший переговорщик, Соломон Фельдман. Река, скалы, сосны... Никто всякой дрянью промышленной загадить берега не успел... Я на Аляске бывал, в южной части... У вас на Аляску похоже... Как река-то называется?

— Сараидель! — подсказал улыбчивый Ранаев. — Это по местному. А по-русски — Жёлтая... Она по весне при паводке желтеет, когда известняковые породы вымывает в русле...

— Н-да... — меланхолично закивал козлиной бородкой Фельдман. — У вас бы тут санаторий построить, туризм экологический развивать... А мы всё с этой химией вонючей по свету мотаемся... Отошёл человек от корней, Константин Феликсович, далеко отошёл... Кстати, где обещанная вами ГЭС, она что, бесплотинного типа?

— Именно так... — загадочно скалился Константин.

— Как же она тогда может давать 16 миллиардов киловатт?!

— Видите ли, Соломон Эмилевич, очень интересный принцип, с которым неразрывно связана история моей семьи... — улыбался Ранаев. — Течение реки используется для поворотного момента в шлюзах. Когда шлюз закрыт — вода с него уходит по течению, и поплавок, величиной с баржу, опускается... Затем шлюз открывается, вода снова наполняет ёмкость, и поплавок поднимается... На маховики генерации подаётся не энергия падающей воды, а энергия выталкивания, архимедова сила...

— А в чём смысл? — вяло поинтересовался презрительный Соломон Фельдман.

— Ну как... — даже растерялся Ранаев. — Реки у нас равнинные, перепад воды малый... А сила выталкивания — она всегда одинакова... Обратите внимание, по ходу нашего следования мы видим прекрасные живописные берега, никаких плотин, водогноилиц и прочей «прелести»... А между тем понтоны ходят вверх-вниз, и сила их выталкивания вращает маховики, стабильно, постоянно — хоть город подключай всеми электросетями... Это было построено по проекту моего дела, Фирса Ранаева...

— Да... — заскучал Соломон, как будто ему предложили посмотреть фотоальбом незнакомой семьи. — Интересная... популярная механика... В принципе, аммиачную линию запустить недолго, раз энергия на кабель кинута... Пару десятков ангаров из этих... — он с омерзением выговорил казённое слово — быстровозводимых конструкций...

— Мы приехали поговорить о том, о чём не принято говорить по телефону... — подключился к разговору старший переговорщик, Андрей Бангор. — Ваша цена, ваши условия, Константин Феликсович...

Гости искося, через лакированные перила посматривали на палубу ниже, где в купальниках-бикини на пластиковых шезлонгах загорали девушки эскорта, лучшие из лучших, отборные, сортовые, со всеми данными манекенщиц...

Мизансцена была срежиссирована заранее — Ранаеву хотелось, чтобы у гостей был стимул поскорее закончить деловые переговоры на верхней палубе и сойти, во всех смыслах, пониже... И судя по маслянисто игривым, постреливающим взглядам выпуклых глаз командировочных — Ранаеву замысел вполне удался.

– Итак, каковы ваши условия? – закурил пожилой Фельдман.

– Прежде я хотел бы выслушать ваши условия...

Бангор переглянулся со своим заместителем-дублёром, притянул к себе жаккардовую белоснежную салфетку. Массивным восьмигранным «Ватерманом» с золотым пером начертал на ткани, напоминающей бумагу, предполагаемую сумму сделки. Лёгким скользящим жестом перевёл салфетку Ранаеву. И приготовился торговаться. Как опытный переговорщик, Андрей Бангор начинал с малого...

Стараясь, чтобы рука в тараканье-рыжем волосе не дрожала, Соломон Фельдман прихлёбывал из хрустального стакана похожий на кровь тягучий сок...

Ранаев, поджав губы, повернул цифру на ткани поудобнее перед собой. Покивал сизым от гладкого бритья острым подбородком. Погладил этот подбородок левой ладонью, а правой достал из внутреннего кармана золотопёрый, с родиевым напылением «Кордье»...

«Сейчас напишет свою цену!» – напряжённо думал Бангор, облизывая пересохшие мясистые губы и мечтая о напитках покрепче свежесжатых соков. «Интересно, сколько эта деревенщина заломит...».

Деревенщина – потому что галстуком затянулся, как удавкой... Никто из московских финансовых кругов так шею давить не будет, примета плохая... Так делают только провинциалы, чтобы казаться безупречно одетыми...

Светлый костюм в тончайшую, «ниточкой», синюю редкую полоску был у Ранаева безупречен и напоминал о богатейших гольф-клубах Малибу. Жена Олеся утром элегантно жестом расслабила ему узел галстука под кадыком, предупредив:

– Будь раскованнее, ты не экзамен сдавать пошёл... А скорее, принимать...

Но Ранаев, когда волновался – по-деревенски утягивался...

– Давайте так! – решился «раскрыть карты» прилизанный до блеска волос провинциальный орлиноносый брюнет.

И своим пером, на котором мерцали родиевые и бриллиантовые крапины, вычеркнул один из нолей в предложении Бангора.

Оторопелый Андрей промолчал. Фельдман – хоть и старше – оказался менее сдержанным:

– Константин Феликсович, это что? Шутка? Вы нас разыгрываете?

2.

*Люди, основавшие современное господство буржуазии,
были кем угодно, но только не людьми
буржуазно ограниченными...*

Ф. Энгельс

Много лет спустя, уже полуседой Константин Феликсович, глядя со своей зияющей, страшно-бездонной, глубокой высоты, на которую закинула его судьба, – пытался вспомнить начала этой «жизни замечательных людей», некие истоки, вознесшие его на Олимп к божкам в банных простынях...

Его истоки уходили куда-то в заводь шестидесятых годов – в один из тех лет, что были заторможенными и глуховатыми обжорами истории, и плавно, под рассуждения седоков о космосе, инопланетянах и гуманизме, скользили саночками по желтизне измен и топлёного масла к своему завершению...

*«В наше время всё иначе» — думали они там.
В наше время всё иначе, нам смешны кнуты и пряники,
Не заманит нас романтик, не обманет мракобес...
Люди, леди, джентльмены... век науки и механики
Невозможны заблуждения, а возможен лишь прогресс...*

И вот уже видением встаёт белокаменный новый «косыгинский» дом-корабль с шикарными по советским меркам квартирами... Это не воспоминание, пока только реконструкция. Инженер-конструктор Феликс Ранаев в узком кресле жёстких, угловатых, в стиле «модерн» контуров разглядывает в глянцево-журнале фотографию правителя державы, Брежнева, с легендарным Фиделем Кастро.

Наверное, он уже тогда пытался понять: что не так? И понял: жанры разные! Фидель был словно актер приключенческого кино с каскадерами и бешено рокошущим сюжетом, он выглядел героем и романтиком. А Леонид Ильич Брежнев — чьё здоровье именно в этом туговатом на ухо году стало серьёзно сдавать — представлял курортником из мира, в котором ничто, никогда и нигде не случается...

И было что-то базедовое — нет, не в облике великого монарха, ещё смотревшегося молодцом, а в этом сведении — вопреки постановочным законам жанра — пляжного курортника и кугуара экваториальной герилии...

Спокоен товарищ главный конструктор завода гибких валов, в их КБ работы завершены с пунктуальной точностью, по которой жена его время сверяет, точно зная, во сколько ставить тарелку на стол ещё до звонка мужа в дверь. Ровно в 5 выключаются там, на заводе, льющие солнечное молоко ровного белого сияния «лампы дневного света» и выходит Феликс Ранаев после смены к семье...

Чего ему вечерами беспокоиться?

Мать его, Костина бабушка, Домна Дмитриевна, любит кулинарию, и в доме всегда пахнет свежей выпечкой. Откуда-то совсем из колыбельных отрывистых воспоминаний доносится голос помогающей бабушке родственницы:

— Домна Дмитриевна, мы ведь с вами сегодня пожарили девяносто шесть беляшей! — и всплескивает руками тётка, Римма Николаевна...

Почему-то именно это цифра — 96, и именно беляшей, с которыми нужно аккуратно: жирны, бестии, могут обжечь брызнувшим соком...

Мать Кости Ранаева, который пока только гулит и пукает в зарешёченной кровати, очень любила посуду. Она постоянно покупала посуду, отчего-то вздумав напасти её на поколения вперёд, передать Костику, когда повзрослеет... Очень нужна ему тогда будет материнская посуда!

И мать с работы идёт через «Универсам», думая «только посмотреть» на плошки и кастрюльки... Но не может удержаться — и хватает какую-нибудь пузатую тару пельменно-макаронного типа...

— Зачем сейчас покупать? — бранит жену Ранаев. — Мы пережили страшную войну, понастроили великую промышленность... Сейчас завалим всё ширпотребом... Всё будет только дешевле и лучше, чем сейчас продают...

И дом зачем-то забит кастрюлками. И куда, и зачем? При этом супруги ссорятся: мать никак не может сказать отцу точно: сколько уходит в месяц на домашние расходы... Не получается у неё подсчитать...

А у свежерожденного пополнения семьи Ранаевых — вся жизнь впереди, жизнь в космическом веке прогресса, в необозримой ватным погло-

щением всех звуков глухоте этого пахнувшего пригорелыми мясными пирогами времени...

Только его уакающий вскрик показывает, что часики-то тикают, что-то меняется, уходит или является. Потому что кажется послевоенному намутившемуся поколению, что остановилось прекрасное мгновение...

Постепенно он рос. Он вышел из-за решётки детского манежа и стал ходить своими ногами. Больше ничего не изменилось. Те времена вспомнились Ранаеву каким-то невысказанным, раблезианским обжорством и в то же время — степенной крестьянской размеренностью в труде.

И что-то назревало. Отрывками врывается в воспоминания спор двух дедов — гидравлика и народного художника, Фирса Ранаева и Ефимиама Янтарёва в какой-то из хлопающий шампанским, пахнущим мандаринами «Новый Год» той успокоенной заводи отношений...

— ...Та уморительно-детская серьёзность в обеспечении своего уровня жизни... — рассказывал объехавший всю Европу Янтарёв невыезжаемому Фирсу. К чему это он? Костя тогда, конечно, не понял, достраивал уже сейчас, пытаясь переосмыслить опыт жизни: дед говорил о карликовых душах жителей карликовых государств.

— Они рождаются, чтобы быть самим себе лакеями! Боже, как инфантильно это стремление думающего существа закутать себя пороскошнее, и... не думать!

Дед создал какую-то свою, художническую, далёкую от ортодоксальности глухого времени теорию. Мол, с уровнем жизни у русских обычно плохо, и они от этого страдают — словно запущенные холостяки без женской заботы об уюте гнёздышка и тепле домашнего очага.

— Но не всегда у русских с уровнем жизни плохо, — смеялся дед, поднимая коническую рюмку и закусывая ветчиной. — Иногда случается очень даже хорошо. Вот как сейчас, например... Уют обеспеченности быстро надоедает русским, они начинают им тяготиться...

— Русский человек не может всерьёз заниматься малыми делами: возделывать маленький садик, лакировать и шлифовать маленький домик... Поиграть в это может, и порой довольно резко выражает своё желание играть... И что же? Год, два, от силы десятилетие — надоедает бытовое благополучие хуже горькой редьки... И снова начинаются скитания, бродяжничество, кладоискательство, новых-земель-открытие... Зачем тебе, чудак-человек, новые земли, если у тебя перед домом, на старой земле, — бурьян и осока?! А вот надо... Русский человек в тюрьме и во фронтовом блиндаже себя будет чувствовать лучше, чем в финском домике «среднего класса»...

— Это бред, просто бред! — ругался на художника конструктор «гидроэнергетики выталкивающей силы» Фирс Ранаев. — Это всё попытки никудышных начальников объяснить, почему у них не получается построить нормальную жизнь людям... Приплетают всякую метафизику — потому что не учили инженерии! На самом деле плохому танцору всегда эти... сапоги... жмут...

— Нет, Фирс, ты знаешь, как я тебя уважаю, но послушай: может ли взрослый в цивилизационном смысле человек всерьёз и долго играть в бирюльки?! А все эти шопинги и супермаркеты Европы — это ведь игра в бирюльки, которой дети отдаются тем более страстно, чем они меньше...

И Янтарёв показывал суровому Фирсу, чьё обветренное на стройках лицо казалось каменным и было пугающе-тёмным, журнал... Да, да, точно, именно с того «Нового Года» маленький Костя и запомнил эту фотографию!

Санаторный Брежнев и партизанский Фидель...

— Вот ты русский человек, развитый и образованный! Придумал новый тип ГЭС! Посмотри на эту фотографию с курортником Леонидом Ильичом и Фиделем в амуниции... Представь, вот сейчас они встанут и разойдутся в разные стороны, ты за кем пойдёшь?

— За Фиделем, конечно...

— А почему? У Фиделя ботинки грязные, он в сельву уйдёт, репы на бороду собирать... Там неуютно, неудобно и вообще убить могут... А наш Леонид Ильич с начищенными до блеска туфлями — уйдёт в мир мягких подушек, полезных и выверенных диетологами завтраков, в мир золотых песков солнечного пляжа, в мир курортов, санаториев, благоустроенных белокаменных квартир, под окнами которых личные «Жигули», в мир пиროгов и шанежек...

— Не говори ерунды! Я уйду за Фиделем не репы собирать, а потому что я мужчина, офицер, пусть и отставной, инженерных войск, и потому что я Фиделю буду нужнее в великой борьбе за будущее...

— Это так романтики говорят, Фирс, — «борьба за будущее»... А на деле это собирать в сельве колючки и клопов... А есть ведь другой мир, Фирс... В этом мире шкворчат шашлыки на дачных шампурах и поют о любви мини-атюрные транзисторы на шее турья...

— Послушай, Ефимиам, я не понимаю, чего ты хочешь доказать?

— Только лишь, что не выдержит русский человек порядка и благополучия долго... Слишком он для этого взрослый и умственно развитый! Чтобы шашлычкам на дачке радоваться — слабоумие нужно, такое, знаешь, финское, железобетонное, или хотя бы британское...

Эх, деда, деда, физики и лирики, — знали бы вы о судьбе внука в мире, в котором ни физики, ни лирики не останутся поровну. Ноль на ноль!

«Где переход? — мучил себя Константин Ранаев. — Где был переход? Может быть, вот в этой точке, в праздности этой беседы о главном за новогодним ломящимся столом?».

Ранаев известен на всю Россию — кто же не слышал о «кувинском мяснике». Значит, великого человека должны были создать великие обстоятельства, сопровождаемые великими знаменами.

Константин пытался их вспомнить — но вспоминался ему всё больше какой-то вздор: как с двоюродной сестрёнкой и братиком плавил сахарных петушков в массивной с виду, но лёгкой, похожей на слиток драгоценного металла, алюминиевой форме... И как они отливались, рубиново-полупрозрачные, самодельные, на зачищенных спичках и удивительно невкусные, приторные, но ничего ценнее их не всплывало в памяти...

Ила как бабка посылала его, Ранаева, за готовым тестом в «Кулинарию» на углу. Ключевые слова тут — «его, Ранаева!». После приватизации 90-х не только Ранаев не пошёл бы за тестом в «Кулинарию», но даже и его помощник лично бы не соизволил, а послал бы своего помощника, и хрен знает, куда тянулась бы эта цепочка, если бы его сиятельство Ранаев вздумал бы купить готового теста в давно закрывшейся «Кулинарии»...

Родителей-заводчан, после повышения чаще бывавших в заводской слободке с загадочным именем «Иморс», чем дома, в центре города, Костя почти не видел. У них было слишком много своих дел, помимо сына, — и они слишком доверяли старшему поколению: рос Ранаев на руках у деда с бабкой.

Рос в мире артистическом и художественном, и сперва думали, что если

он не станет художником (с таким-то влиятельным дедом!) — то станет хотя бы писателем...

Он ещё застал тот мир, в котором писали перьевыми ручками, а на партах в школе стояли ещё чернильницы — «непроливашки»... Его бабка Арина, урождённая Миломёдова, — была из купеческих дочерей, и она называла магазин бытовой химии «москательной лавкой», валенки — «валяными сапогами», а кинотеатры — «электротеатрами»...

Бабка знала какие-то неслыханные дореволюционные рецепты тортов, заварных пирожных, салатов и приправ. Она делала свои, домашние пельмени, насыщенные до упора, встававшие туками колом в животе — и не слышала призывов внука покормить его пельменями в картонных продолговатых коробках, фабричными. Ах, эти пельмешки «Русские», сделанные чудо-автоматом и потому одинаковые, как буквы в кармашке типографской «касы»! Они были куда легче бабкиных, называвших их посему «пустыми»...

А ещё он помнил, что посылался бабкой за котлетами в «Гастроном», колонный, мраморный, якобы бывший миломёдовский, оставшийся от прадеда... Этот «Гастроном» с башенкой над фасадом на самом видном месте улицы Коммунистической — несмотря ни на какие революции себе не изменял: всегда оставался магазином еды, что при царях, что при генсеках...

Ассортимент, конечно, менялся. Не было уже миломёдовских «стеклянных шаров с малиновой водой», которые всплывали в смутных бабушкиных преданиях, — зато появились фабричные котлеты по 10 копеек штука, огромные, как лапти. Их привозили на алюминиевых, со специальными желобками, противнях. И эти желобки почему-то неуместно напоминали Косте про желобки на лезвии кинжала... Купались эти лишь слегка, пунктирно отсечённые друг от друга котлеты-лапти в обильной щедрости панировочных сухарей...

А бабка вредничала. Когда одна, а когда вдвоём с матерью, она мыла и валяла из обмытых лаптей колобки. Она злостно нарушала диетологический баланс животного и растительного в питании. И котлеты у неё, как и пельмени, получались в итоге слишком концентрированными, приторно-мясными, как бывают приторно-сладкие пирожные... Сколько умолял Костя сделать ему магазинную котлету в натуральном, так сказать, виде, не выдумывая этих обмывок! Но по части кулинарной и мать, и бабка были непреклонны...

А что ещё? Дед Фирс любил охотиться. Дед крови не боялся — предвосхищая будущее внука?

...И было что-то скифское, первобытное в этой набитой дикими утками доверху ванне, что-то криком кричавшее о благословенном богатстве необъятной советской шири, в которой ничему нет ни счета, ни учета, ни измерения. Дикарское богатство, бесхозное: утиные стаи летят в Казахстан с Урала, и всё небо набивают своим пухом и пером, словно сельскую жаркую подушку, и Солнца не видно за ними...

Дед, Фирс Игнатьевич, человек суровый, про которого злая на язык бабка с отцовской стороны Домна Федоровна болтала, что в войну он «растрельной командой» ведал, — привозил полный кузов уток с каждой осенней охоты.

Тут уж дело известное — кому рядом повезло оказаться, из дворовых, тот бросается помогать, разгружать старомодный дедовский «ГАЗик» — и утку за

помощь на руки получит. Дед на птицу не скупился, чего ему? Птицы, если в степи и болота в сторону Казахстана выехать, — полны небеса. Только предупредит помощника:

— Ты, Костя, зубы побереги! Глодать будешь — дробинка попасться может...

А в семье Ранаевых о дробинке никого предупреждать не нужно: там все давно об этом знают, и к концу трапезы у каждого на краю тарелки — парочка свинцовых маленьких катышков...

— На сайгаков бы собраться... — мечтает дед, облокотившись на высокую резную спинку венского стула. — А то это всё... баловство...

Баловство — как и первые чувства... Вступающий в жизнь мальчик Костя Ранаев, у которого ещё всё впереди, «мажористый» внук «народного художника» Янтарёва, — взволнованно принимает к холодным ароматам ванильного мороженого, и ловит сладкую струю девичьего парфюма напротив...

80-е... Те, в которых появится ягодное имя «Инга», пугающим счастьем, волнительной неопределённостью и мистериальным таинством...

В котором Костя — лишь маленький мальчик, ощущающий лишь смутные, расплывчатые треволения мужской породы, отрывистые и пунктирно скупые, как строчки телеграммы без предлогов...

80-е снова и снова будут: в памяти. И от них терпко режет запахом мороза и хохота, лыжными смазками и шерстью свитеров с «олешками», ударит по глазам слепящей белизной уральского, глазированного холодами, как куличная головка, наста... Они побегут, молодые и задорные, по «лыжне румяных»... Побегут за город, под железнодорожные, звенящие от наледи виадуки... По которым уходит дальше в глубины Азии доставившая тебя на старт «электричка»...

Инга. Четыре буквы, короткие, как тире, которое камнерезы ставят на памятниках между датами рождения и...

Инга. Что значит — «Северная». Снежная королева его 80-х, которые ещё не настали и даже не на подходе... Девушка, при первой встрече поразившая его тем что — неизвестно с какого каприза — покрасила ресницы в насыщенный и ядовитый зелёный цвет... И как просто, по-пионерски лагерно прозвучат дежурные представления, чуждые церемониалов:

— Инга, это Костя Ранаев! Костя, это Инга... Как тебя по фамилии-то? Ах, Кублицкая... Ну, на «-ский» фамилии только у евреев, дворян и поляков... Еврейкой такая беляна быть не может, так что сознавайся: полька или классово-чуждый элемент?!

Чёрт его знает, почему тогда так глубоко леденцовыми, сладко тающими внутри, иглами — засели в Ранаеве эти зелёные до искры длинные реснички и это «евреи-дворяне-поляки»...

Так уж устроена жизнь, что самое светлое, лучшее и памятное в ней — всегда начинается как нелепая случайность и глупость!

На момент этой встречи совершенно незнакомых людей, Инги и Кости, — школьная братва заготовила экспедицию в «междомовую щель»... В старом заросшем сиренью и бузиной дворике, между двумя ещё более старыми домами-«сталинками», почти сомкнувшимися боками — имелась почему-то узкая и чёрная щель, каменный рот, шириной не более, чем в два кирпича... Была ли это причуда архитектора, неловкость прораба, ставившего «дом к дому», или даже воровство строителей, уперших в доисторические време-

на штабель стройматериалу – никто уже не скажет. Просто так получилось: дома стояли слитно. Почти. Стена к стене. С зазором в два кирпича.

Эта чёрная пустота уходила куда-то очень глубоко в каменную плоть, и никто не знал, чем и где она заканчивается... Ясно было детворе только одно: щель не выходит наружу, на улицу – там дома сошлись тисками, так, что и лезвие ножа между ними не войдёт...

Ходили слухи, что таинственная щель между домами соединяется напрямую с подвалами и катакомбами, что смельчаки, спускавшиеся туда, – не возвращались, и сгнули в лабиринтах подземного города... Ходили слухи, что щель расширяется и превращается в пещеру тайного общества, за раскрытие которого убьют «люди в капюшонах». Были и такие слухи, что некто пьяный (и, конечно, взрослый) – полез в щель с неизвестной целью и ничего там не нашёл, вылез обратно весь в побелке и голубином дерьме, но... Тут начиналось самое важное: поскольку Некто был пьян и сильно, он вырос там, в щели, фотоаппарат! И, вполне возможно – рассуждала ребятня, – что фотоаппарат лежит там до сих пор!

С детским смешным прагматизмом, стараясь казаться друг другу «хозяйственными», – юные романтики уверяли друг друга, что даже будучи сломанным, фотоаппарат всё равно огромная ценность, «да и починить ведь можно»!

И всё-таки, несмотря на такие лакомые куши, как тайное общество, катакомбы и фотоаппарат, никто из детворы лезть в щель не торопился...

Стыдно сознаться, но всех мучила одна и та же мысль, один и тот же страх: застрять там внутри. Продвигаться по щели можно было только боком, распластавшись между сдавливающих домовых стен. Вдруг туда втиснешься, а обратно не вылезешь?! У детей фантазия богаче, чем у взрослых, и дети очень живо рисовали в своём воображении муки голодной смерти в челюстях каменного равнодушного к крикам монолита...

Костя и в тот день тоже бы не полез. Он подготовился к вояжу, в свою сумочку на ремне, на манер военной планшетки, – положил (домашняя заготовка!) старый сломанный фотоаппарат. У деда, по советским меркам – просто богача, в нижнем ящике огромного комода-«слонопотама» лежали несколько пыльных, забытых, сломанных фотоаппаратов. Дед с бабушкой про них давно забыли, разлюбив фотографироваться по мере «старения организмов».

И Костя придумал коварный план «абсолютной популярности» – залезть с планшеткой своей в щель, подбросить там фотоаппарат, а потом вытащить его оттуда под триумфальные аплодисменты под сень лавровых венков мальчишеского кумира!

Но, подойдя через жасминовые пьянящий заросли к самой щели – Ранев начал уводить разговор в сторону, завёл никому не нужные речи о вреде пьянства, особенно в подростковой среде в стиле «а вот с одним мальчиком знаете, что было?».

Не жаль было Косте старого и всё одно сломанного фотоаппарата. А жаль было Косте себя. Щель эта, высоченная и узкая, казалась чем-то живым и недобрый... Ей на сантиметр, незаметно, сдвинуться – и человек уже никуда не выйдет... Зачем ей демонстративно смыкаться и давить в кровавую кашу смельчака-спелеолога? Нет, чуть-чуть притиснуть, и хоть пуговицы о камень рви – не выползешь...

Но вот когда Костя завёл шарманку о вреде всё равно никому в его среде незнакомого алкоголизма (перепевы взрослых сетований на кухнях, расска-

зы бабок многочисленной родни про мужей, у Кости, как Пиноккио в Бура-тино, превращавшихся в «мальчиков») – появилась Инга.

Девушка с зелёными ресницами. Со светлыми прямыми волосами. Длинными-предлинными (остряки дразнили их «спагетти»). С таким умным, добрым и внимательным взглядом... И такая хрупкая, что кажется – схвати её в невинной детской игре покрепче – переломится, как фарфоровая пастушка из немецких пасторальных статуэток...

И тогда Костя передумал бояться, и решил всё-таки залезть в тёмный зев, и выпачкаться там строительным мусором для немеркнувшей дворовой славы...

...Масляная струя света от карманного фонарика, такая же узкая, как сама щель, уходила вперёд и вниз, и не находила пределов кирпичного мешка... Под ногами «сталкера» кувыркались обломки щебня и цементные сгустки... Конечно, ничего в щели не было, да и быть не могло, но щель действительно вела в никуда, и к тому же полоска пола под ногами, елозившая мусором под каблуком, словно по вёртким валикам идёшь...

– Ну как ты там? – крикнул уже не сбоку, а сверху (щель сводила в неведомый низ пандусом) великовозрастный обалдуй Рена по кличке «Лосьон» (не потому, что от него хорошо пахло, скорее наоборот, – а за то, что был он воистину лось среди сверстников).

Голос обалдую Лосьона заплясал осколками ломаного эхо и Костю охватила паника. Ему стало казаться, что стены сузились, так никуда его и не приведя, и ему отсюда никуда не выбраться...

Сдавлив в горле узлом панику, Ранаев по возможности бодро (получилось петушино) кукарекнул:

– Стены сужаются... Застрять боюсь...

Вот тут и прозвучал истерический девичий визг, ради которого стоило жить и который всю жизнь потом будешь помнить:

– Костенька! Не надо, выходи оттуда! Выходи! Не стоит фотоаппарат того!

Она звала его. И она ждала его. Она запомнила с первого раза его имя. И она волновалась за него, как за друга, если не больше... Слова об этом не скажут, тут нужно интонации визга слышать, его переливы, отражённые стенами этих «Дарданелл» без Босфора...

Страх пропал, распёрло изнутри гордостью за себя. От этой распорки чуть и правда не застрял – однако же выдохнул поосновательнее, и срывая с мясом пуговки с ветровки, «потанцевал» (казалось, что со стеной, вдоль которой распластался, вальс танцует) наверх. Туда, где вертикальным столбом света дня зиял выход...

Ранаев вышел к детворе, как ларец с сокровищами вынес в руках испорченный фотоаппарат! Свершилось, легенда о пьяном, потерявшем тут «бытовую технику», нашла экспериментальное подтверждение!

Не глядя, Костя передал свою «находку» восхищённому Лосьону – а сам смотрел только на Ингу. И она – только на него...

«Ох, и трудно мне будет с ней! – почему-то подумал Ранаев, навеки фотографируя в памяти упрямую волевою ямочку на точёном девичьем подбородке. – Такая, если что однажды для себя решит...»

Но другой она и не могла быть, Инга Кублицкая, роковая женщина его судьбы, предначертанная – если верить дедушке (но об этом потом) – ещё до его рождения...

Как мала порой кажется посторонним и невнимательным людям пропасть, отделяющая нас от счастья... Ведь и в провожатые к ней тем сирене-

вым вечером Ранаев набился, и смешил её всю дорогу анекдотами, подслушанными у бабушки с бабушкой, интересными не столько сюжетом, сколько своей таинственной непонятностью для юного и, чего греха таить, избалованного интеллектуала:

«...А она в ответ говорит: мой муж брагу любил, от браги и погиб...

– Что, спился? – спрашивает другая бабулька.

– Нет, бочка с брагой взорвалась...».

Что такое брага, ни Инга, ни Константин до конца не знали – слышали что-то школярское про продукты брожения и подозревали в браге некий домашний спиртосодержащий продукт, чисто теоретически, не более... И как может взорваться бочка с брагой (целая бочка!) – ни Ранаев, ни Кублицкая до конца не понимали, оттого и особенно гулко отзывались такие байки в полупустом пока детском воображении...

Ранаев узнал, где она живёт – эта девушка с зелёными ресницами и изумрудными глазами-омутами, декартова мыслящая тростинка, которую сломаёт грядущий ураган... И если бы там, прямо у подъезда, девушке, которую он знает первый день, он брякнул бы, как дурак: «Я люблю тебя!» – три коротких, револьверных слова в упор, – кто знает, как бы дело повернуло?

Ну, конечно глупо, и невежливо, и нелепо – только познакомились... И легкомысленно, и бестолково, сумбурно... И простительно разве что для их 17 лет, которые раз в жизни бывают... Да и то с натягом простительно... Вполне естественный ответ на такой выстрел: «Ты что, дурак, что ли?».

А он, Костя Ранаев, не дурак был, конечно. В том и несчастье его жизни, что был он совсем не дурак. И глупых поступков совершать не умел. А кто посмеет измерить тончайшую грань между глупостью и счастьем штангенциркулем?

Он был византийцем, истинным сыном вечного Рима – первого, второго и третьего, и ничего у него, византийца, не было в простоте душевной, а всё только намёками, знаками, сигналами, хитросплетениями интриг Галаты и Золотого Рога, таинствами «греческого огня»...

И он тогда, в единственный момент, не сказал ничего Инге – когда это было ещё возможно. Уходящий поезд счастья задержался на секунду у фанерных дверей подъезда, ожидая зазевавшегося пассажира... Но строги железнодорожные расписания, и даже самый добродушный машинист не может держать курьерский судьбы, если убежавший в буфет за бутербродами ездок застрял там по какой-то нелепости...

Поезд ушёл. Растерянный 17-летний Костя-византиец, рассчитывавший долго-долго плести паутины на его тендере, с некоторым изумлением и растерянностью наблюдал его отбытие.

Когда можно было – упустил. А потом уже стало поздно...

Жарким летом ещё не наступившего, грядущего 1982 года на турбазе «Золотые пески», что белыми и жёлтыми коробками игрушечных (на вид с противоположного берега) корпусов раскинулся на излучине реки С-ли, озорная и юная Инга Кублицкая чуть не утонула...

Она доплыла до красного бакена, отмечающего мель, и стала на него забираться по крошечной сварной лесенке... Бакен из-за этого накренился, девушка сорвалась с лесенки и ударилась головой, потеряла сознание...

Спас её ничем не примечательный гражданин Сергей Редичев, инструктор по собаководству кинологического клуба К-вы, вовремя нырнувший и

вытащившей Ингу на пляж... Красивая история с красивой девушкой и красивым поступком...

«Собачник» – то со скрытой, то уже и с явной ненавистью в голосе многие годы будет звать Серёжу Редичева Константин Ранаев... Этот «собачник» вынырнул в их с Ингой жизни, как притопленный бакен на реке, как поплавок – с тем, чтобы уже никогда не исчезать из виду...

Внезапным рывком, как щука, всосанная в дудочку, как неведомая «Украина», воткнутая германским обухом между Польшей и Россией, – ворвался на заветное место между Ингой и Костей этот «собачник» Серёжа...

Костя его проморгал. Пока Костя валял дурака с какими-то своими византийскими царедворскими полунамёками и околосигналами – «собачник» Редичев воспользовался выгодной для него ситуацией «спасителя» и захватил беспомощную от благородства девушку в свои сети.

Серёжа не умел играть смыслами. Он всё сказал сразу и прямым текстом. И по этой жуткой, нелепой, немыслимой случайности – то место, которое Ранаев уверенно числил за собой, – оказалось вдруг заполнено запахами служебной псины и ворсом с травленных овчарок...

А Ранаев – спросите вы? Ну, что Ранаев... Он был друг, он и остался другом... Его никто не гнал – просто между его неторопливым брассом и заветным берегом была теперь сетка «лягушатника», в которой пловец безнадежно запутался...

Как и всякая муха, попавшая в паутину, вместо того, чтобы совершить осмысленный и направленный рывок, Костя начал наматывать на себя сеть, с самоуверенностью молодости полагая, что «это всё ерунда» и дело вполне преодолимое...

Такова сила рока: что бы ни сделал Костя – всё выходило против него. Будь он бедным и слабым – сами понимаете, какой он тогда кавалер? Но Костя был богатым и сильным, а для благородной девичьей природы с изрядной позолотой сусальной романтики это ещё хуже...

Ведь выбрать самого сильного, смелого, красивого – может только зоологическая самка. Чем благороднее девушка – тем сильнее в ней скрытые, ей самой непонятные порывы материнской жалости, тем подлее кажется ей променять удачливого на неудачника, простачка на лощёного красавца, простолюдина на аристократа...

Для девушки благородной – даже если сердце её лежит целиком на стороне гранда – такой выбор в пользу объективно-лучшего из двух любящих её сердец в воспалении совестливости кажется чуть ли не проституцией, чуть ли не продажей себя за сладкие коврижки...

Уйти к тому, у кого и так всё есть выше крыши? И бросить с разбитым сердцем вот этого, обычного и серенького, но так искренне и бесхитростно тебя любящего?

Молодой и глупый Ранаев рассуждал, как самец. Он не понимал, что стерпеть затрещину от «собачника» в его деле выгоднее, чем вытереть об «собачника» ноги, демонстрируя свою крутизну и... жестокость...

На высшей точке обзора, откуда виден весь город, на двенадцатом этаже – был у Кублицких, как и положено городской квартире, балкон. А над балконом нависал козырёк в виде бетонной плиты, тождественной той, что была в основании... Было ли так положено по технологии, или это был каприз архитектора – кто знает? Много воды утекло... И уже успел стать фронтоном с

маленькими чердачными окошечками-бойницами из вызывающе-красного облезло-рыжим... Он выгорел на солнце и отмок дождями, был посечён ветрами здесь, на высоте, где только ласточки летают...

Предприимчивый отец Инги пробил в верхней плите люк и вывел лестницу на неожиданно обретённый таким способом «второй балкон». Как положено – наварил решёток, примотал к ним проволокой брусья перил... И не отличишь «второй балкон» от первого, да и от обычного не отличишь.

Так в типовой трёхкомнатной квартире, наполненной приметями того времени – чеканками на стенах, африканскими масками, очень модными у «той» интеллигенции, подписными многотомниками и с гитарой на стене – появился двухэтажный балкон...

Наверх, вровень с чердачными помещениями, из которых иногда запыленно выпархивали помойные голуби, – Кублицкий-папа обычно выходил покурить – в шлёпанцах и оттянутых на коленках «трениках». Здесь было всё, как на обычном советском балконе: облупившиеся старые лыжи на стене, какие-то нерастраченные до конца банки с краской, от времени полузасохшей, но возрождаемой при нужде ацетоном... Вровень с решёткой, человеку до рёбер – сколоченный из обрезной грубоватой доски стеллаж для маринованных огурчиков-помидорчиков, для варений с наивными белыми нашлёпками из медицинского пластыря... Типа «Вишня – 1981 г.» или «Грузди – 1982 г.» – и смех и грех, некоторые банки были явно просрочены, но их не торопились выбросить...

После московской Олимпиады тут появился керамический барельеф с олимпийским мишкой, залитым бурой глазурью, со спортивными кольцами на поясе и оголтелой улыбкой всеохватной, общечеловеческой любви...

В стандартизированном мире начала 80-х, таком устойчивом и неподвижном, таком глухом обжоре, – хитрость со «вторым балконом» казалась верхом смекалки и остроумия.

Восхищённые и видами, открывавшимися с этой верхотуры, и самой задумкой – так увеличить пусть и неотапливаемую, но всё же часть заветной «жилплощади» – друзья Инги рвались сюда, как будто тут им было мёдом помазано...

Именно здесь, где дули ветры седьмого неба и чиркали по нему стрижи, – решил испытать свою судьбу на пробу счастья юный Константин Ранаев, самоуверенный и в силу молодости, и в силу общественного положения своей семьи...

И с некоторым, вначале улыбочиво-недоверчивым, а потом с нарастающим изумлением обнаружил баловень судьбы, что коса нашла на камень... Это же классика:

*Но я другому отдана
И буду век ему верна...*

С какой стати? Что за бред? Где свидетельство о браке – при том, что и браки в наше время легко расторгимы?! Это же абсурд, Инга...

Да, бред и абсурд. Всякая жизнь, если описывать её честно и последовательно, покажется читателю бредом и абсурдом. Есть такие специальные хитрости у романистов, которые позволяют слить воду долгих нелепых пауз, пустоту ничёмных ожиданий, а события нанизать, как бусины, на рыбацкую леску смысла... Но будем честны: это всё ухищрения пишущей публики, в отработанной породе жизни находящих затем тот или иной смысл задним числом.

Никто и никогда не поверит, что «собачник» — скромный и ничем не выдающийся кинолог, по выходным в ватном костюме помогающий травить псов в городском парке, — перешиб и переломил жизнь звезде учёбы и общественной жизни, такому яркому и многообещающему Косте Ранаеву..

Всплывёт безумным образом мягкий свет вечернего торшера под дурацким жёлтым тряпичным колпаком, и она на диване, и ты перед ней... И как ты вдруг падаешь — нет, не на колени, а просто присев на палас убогой расцветки, а она испуганно поджимает ножки в изумительно-белых, словно бы никогда и не ступавших по полу носочках... Маленькие такие ножки, подтягиваемые к животику, будто бы она боялась, что ты схватишь её, рванёшь на себя... И кого она тогда боялась — тебя или себя? За твою дерзость или за свою решимость?

Наверное, нужно было её ломать об колено, хватать в охапку, ни о чём не спрашивая, потому что на самом деле, в глубине души, любила Инга всё-таки Костю.

Но он поймёт это гораздо позже, осознав, что всякая любовь бывает между мужчиной и женщиной только взаимной, и что если ей на тебя станет наплевать — в тебе тоже умрёт влечение к ней...

Дед бы, наверное, посмеялся — но дед был всего лишь потомком лакея Янтарька. Сладострастным, похотливым и пошлым отродьем лакейским... А в Ранаева влилась другая кровь...

— ...Они не всегда были Ранаевыми, — рассказывал он Инге взхлёб. — Это сперва были католики Ренестье, из католического клира, фанатики, сбежавшие в Россию от французской революции, и после обрусевшие... И эта их кровь теперь во мне, вместе с кровью Янтарька... Через поколение Ренестье стали Ранаевыми и истово-православными русскими националистами. Через два поколения они столь же фанатически, со старообрядческой одержимостью, ушли в революцию... Знаки и возглавия в голове человека меняются, но в основе всегда кровь, долгими веками готовящая чувство... И католический падре Ренестье, готовый сложить голову на гильотине за верность римскому папе, на самом деле не так уж далёк от народовольца Ранаева, готового сгинуть за свои идеалы на царской каторге... И вот эта кровь соединилась с кровью Янтарёвых, известных похабников и бабников... Что могло родиться из гена фанатизма, скрещенного с геном куртуазности? Только бесконечная и пламенная любовь к женщине, одной, и на всю жизнь... Той, которая для Ренестье — религия и революция, а для Янтарёва — страсть и одержимость... И это ты, Инга... Для меня это только и навсегда ты...

Она бы сломалась, если бы он стал ломать. Позже он это понял. Но он слишком много дал ей воли, потому что задыхался от одного только взгляда на неё, размазанный по полу её великолепием, ослеплённый только ему одному видимым сиянием... Он предоставил решать ей — а она решила так, как всегда решают благородные люди, за свой счёт в чужую пользу...

И ничего нельзя было изменить в будущем, потому что оно ещё не наступило, как ничего нельзя изменить и в прошлом — потому что оно уже прошло. Феномен времени так страшен... Сколько желаний нам непосильны, пока потребны, и непотребны, когда станут вдруг посильны...

Предчувствие грядущего стучалось в Ранаева смутными вспышками. Как Она — такая нестандартно-великолепная стоит возле такого стандартного советского серванта со стандартным набором посуды (фаянс, хрусталь, много фарфора) — и тонкими пальчиками сжимает себе пылающие виски:

— Так не может продолжаться, Кост! Я мучаюсь, потому что мучаешься

ты, я мучаюсь, потому что мучается он, а ещё я и за саму себя мучаюсь... Прекрати! Просто — ничего не говори, ладно?! Мне очень трудно без тебя, Кост, но с тобой мне ещё труднее...

Только позже, уже в экономистах, он узнает, что cost — это «издержки всех видов», затраты предприятия... Она, конечно, не специально его так называла, просто совпало... В том числе, и с его профессией... И с её судьбой... Кост был её «издержками всех видов»...

— Я уйду! — истерически шептал севшим голосом Ранаев. — Но только объясни: почему всё-таки он, а не я?!

— Ты сильный, Кост. А он слабее. И ты выживешь. А он — нет.

— Да наплевать мне, выживет он или нет! — злился Ранаев. — Ты ему мать или родственница? Я вообще не хочу про него ничего больше слышать! Скажи мне, как ты сама, что ты сама думаешь...

— Уйди, Костя, уйди... — умоляла она, не раскрывая его запроса — словно бы боялась спросить у себя «а сама-то я как?»...

Что во всём этом вздоре, типовом, совершенно одинаковом на миллионы сверстников, — могло сформировать «великого и ужасного» Ранаева? Где тут, в пустыках давно пересохшей и занесённой песками времени жизни, материал для детства Манаса или Урал-батыра? В творческой мастерской у титулованного дедушки, рисовавшего всякую херню?

Дед рисовать любил, да не умел. И до конца жизни, сколько бы ни величали его народным художником, — не научился толком рисовать. Ему и не нужно было: он больше рисование в краевом масштабе с линией партии сверял, администрировал, квартиры и премии малярам своим выдавал... Путёвки всякие... Кому заслуженно, а кому — с точки зрения юного максималиста Кости — за подхалимаж...

— Дед, а что хорошего сделал этот Иевлев? — требовательно спрашивал юный Ранаев.

— Хотел войти в вечность... — пожимал плечами дед в живописной бархатной курточке с кистями, отирая руки после гуаши, в обстановке творческого беспорядка улучшенной планировки и большого метража...

— Ну и как, вошёл?

— Нет, ему таланта не хватило...

— А зачем ты тогда такой некролог про него в газете разместил? Как будто бы Суриков наполоам с Репиным умер?

— Понимаешь, внучок! — трепал дед волосы Кости рукой в подсохших красках. — Хотеть — это тоже очень много... Людьми-то нас делает только это желание встать вровень с вечностью! А без этого кем бы мы были? Машинами по производству какашек?

И дед пытался объяснить не всё пока понимавшему Костику, что материальный быт — всего лишь упаковка, коробочка для жизни, а внутри должно лежать что-то вечное. Потому что даже самая красивая коробочка — если она пустая — остаётся упаковкой, и отправляется в итоге на помойку.

— Хотел бы ты на день рождения получить вместо подарка коробку от подарка?

— Нет, конечно...

— А если это была бы очень красивая коробочка? Цветная и яркая?

— Ну зачем она нужна, если в ней ничего нет?!

— Эх, внучок... К сожалению, далеко не все это понимают... Многие даже

и не знают, что у коробки должно быть содержимое... Упаковка жизни – то, что для тебя сделали... А содержание жизни – то, что ты сделал сам... Многие не делают сами ничего, кроме кала...

И дед рассказывал про какого-то нехорошего «хорошего знакомого», который купил собрание сочинений Льва Толстого «для красоты». А чтобы книги не таскали из полки и не пачкали – пробил всю книжную полку железным штырём с боков, нанизав престижные томики, как мясо на шампур...

И выходило по деду, что самое главное – содержание жизни, а не её форма и упаковка. И что человек содержательный – даже в страшной нищете и скорбях найдёт счастье, а человек бессодержательный будет глубоко несчастным даже на бархатной подушке, обшитой жемчугами. Ибо ему вместо самой жизни подарили на День Рождения упаковку от жизни...

3.

*...Мы там, где ребята толковые,
Мы там, где плакаты: «Вперед!
Где песни рабочие новые
Страна трудовая поет...*

В.Харитонов,
«Мой адрес – Советский Союз»

Понимая, что переговоры на пике – тёртый жизнью Соломон Фельдман грузно встал и отошёл к перилам верхней палубы. Пусть главное говорит старший партнёр, да и загорающих, натирающих друг другу спинки кремом для загара девочек эскорта в откровенных бикини отсюда лучше было видно...

– Что вы хотите этим сказать? – поинтересовался как бы невзначай Андрей Бангор, но глаза его стали совсем нечеловеческие – как будто бы вытянулись воронками куда-то далеко за его затылок и всасывали чёрными дырами реальность в себя...

– Я в этой сделке не преследую финансовых интересов... – склонив скуластое лицо, ввинчивался взглядом в партнёра Ранаев.

– А какие вы тогда интересы преследуете? – оскалился москвич и космополит Андрей. И было за оскалом нечто библейское: «и приходил лев, и приходил медведь, и забирал овцу...».

– Вы хотите, чтобы ваша страна производила побольше товарного аммиака? Это такая странная форма патриотизма?!

За бортом белоснежного теплохода с зеркальной, гранатовых тонов полировкой отделки кают проплывали великолепные пейзажи уральской дикой природы: и бесконечность вод, и бесконечность неба, и весёлая, брызжущая жизнью кайма прибрежных красот... А ещё кое-где за поручнями, обтянутыми мягким пластиком, – тяжело ухали и вздыхали изрядно проржавевшие «качалки» Фирса Ранаева... Скрежетали, распугивая обильную в этих краях рыбу, и накачивали на удалённые маховики энергию вселенной...

– Мы существуем по соседству со Свердловской областью... – мрачно начал Константин Ранаев, наливая себе в конический хрустальный стакан томатный сок из обложенного льдом в серебряном поддоне широкогорлого графина. – С городом Екатеринбург, бывшим Свердловском, родиной ельцинизма и по совместительству героиновой столицей России... От нас

туда на машине часов пять езды, для Европы много, а по нашим меркам — в тапочках сходить можно... Трудно нам жить по соседству с героиновой столицей... Очень трудно...

И Бангор и подошедший Фельдман, овеваемые речным ветерком под гулко трепещущим тентом, — пили томатный сок, смотрели на Константина и недоумевали. При чём тут они? Они к наркоте никакого отношения не имели и не собираются иметь, у них чистый высокодоходный бизнес: воровать электричество. Только электричество, чинно, тихо, благородно... И делать из него, из дармового, как из воздуха, — алюминий, азотные удобрения, аммиачные составы...

— Вам не отстёгивают свердловские оптовики? — посочувствовал более молодой, и потому быстрее соображавший Бангор.

— Да нет, не в этом дело! — как-то кудахтливо всполошился Ранаев, досадуя, что его настолько неправильно поняли. — Прямо противоположная проблема: я хочу их всех из Кувы выставить. Вон. И навсегда. Это моя территория. Я не хочу, чтобы тут дурь толкали возле каждой школы...

— Ну подождите... — морщил высокий умный семитский лоб Фельдман. — А от нас вы чего хотите? Спонсорской помощи на антинаркотическую пропаганду? Рока против наркотиков?!

— Я хочу... — Ранаев медленно тянул речь, мучительно выбирая слова. — Я хочу... Чтобы ваше руководство поговорило в Кремле... На самом высоком уровне... Чтобы мне не препятствовали... Больше мне ничего не нужно, я их в два дня отсюда... Собственными силами... Но чтобы сверху федеральная ответка мне не прилетела...

— Константин Феликсович! — отрицательно качал головой Бангор. — Вы ведь не ребёнок, и в деле давно, и правила знаете... Всё поделено, в чужой пирог лезть моветон... Вот конкретно наша контора... Мы занимаемся аммиачным и азотным экспортом, толлингуюм алюминий... Мы же не лезем там в нефть, газ, в алмазы... К героинщикам тоже не лезем, потому что там ведь свои хозяева... И они к нам не лезут — и потому порядок... И даже в шоу-бизнес мы не суёмся, нам зачем лишний шум? Когда речь идёт о миллиардах долларов экспортной выручки, Константин Феликсович... А речь идёт именно о миллиардах! Чем меньше людей про вас знает, тем лучше! Вот на том стоим, и вам советуем...

Зависло молчание. Лишь плескалась вода за кормой, шумели винты теплохода и хлопал брезентовый тент над головами «высшего общества».

«Вы же средиземноморская раса... — думал Ранаев и зло и устало. — Вы пришельцы... Кочевники... Для вас эта земля — как другая планета! Вы выжрете её недра, соскребете плодородный слой, высосете атмосферу и бросите бездыханной в ледяном Космосе... Улетите к себе — или на новую планету... И вам никогда меня не понять... Меня, здешнего... У которого эта земля на два метра вглубь пропитана прахом предков...

*Она всегда во мне... А я уйду в неё —
Когда-нибудь, хотелось бы попозже!*

И боль и корчи этой суровой земли я чувствую, как свою, и в себе и на себе... Разве понять это вам, засланцам издалека, вахтовикам с лазурного берега, на котором с добычей вас заждались семьи, — для которых эта земля только добыча и жратва, заваленный буйвол для прайда?!

...А может, они и вправду неплохие парни, чьё дело — сторона? Они же

химики, они своих жертв не видят, как лётчики не видят жертв своих бомбардировок... Для лётчика бомбёжка — что-то вроде компьютерной игры, и для аммиачной мафии её дело — доходное и чистое...

Как там пели в старину, когда сталинских палачей осуждали?

*Смерть пьянела в поле страшной жатвой,
Ты ж, урвав своё, нырнул в кусты...
Даже глаз своей последней жертвы
Ухитрился не заметить ты...
И узнай, что в том кровавом месиве
Ты распял невинного Христа —
Ты б не застрелился, не повесился
И ночами спать не перестал...*

Да эти сталинские палачи — даже если правда всё то, что насочиняли про них эти «химики» со шнобелями до губы, — невинные младенцы по сравнению с тем, что лично довелось повидать Ранаеву..

Ведь это не они, в чистеньких белых летних костюмах лондонского кроя, в шелковых шейных платках под небрежно расстёгнутым воротничком сорочек тончайшего виссона денди, — а Ранаев смотрел в пустые и страшные, бездонные глаза наркоманки, за очередную дозу отдавшей своего малолетнего сынишку «чёрным хирургам», чтобы они его распотрошили на органы...

Ведь это не они, а Ранаев — зверь, монстр, известный под прозвищем «кувинского мясника» — прямо в операционной, которую устроили в подвале городской больницы, тростниковым тесаком рубил этим «чёрным хирургам», охотникам за детскими донорскими органами их музыкально-тонкие, длиннопалые кисти рук, оглохнув от ультразвука их воя и визга...

Ведь это не они, электрические воры, а Ранаев — пригласил дежурного врача, чтобы «черным хирургам» наложили жгуты и швы... Чтобы они выжили, не истекли кровью, и чтобы рассказали всем своим коллегам то, как встречаются в Куве представителей их промысла...

А дежурным врачом оказалась Инга Кублицкая, первая любовь Костика Ранаева, стройная блондинка, которая, когда увидела друга детства в этой обстановке, стала лицом белее своих от природы льняных волос, белее своего медицинского халата...

— Господи, Костя... За что ты их так?!

— За дело! — буркнул Ранаев. Ну что, он будет объяснять своей первой любви, что в подвале её больницы чуть было ребёнка на органы не выпотрошили?

И пока Инга накладывала жгуты и зашивала разруб культей бывших хирургов-гастролёров, Ранаев поучал их на всю оставшуюся их поганую жизнь:

— Из следующих, кто за ЭТИМ приедет, — сделаю «самовар»! Отрублю руки, ноги, язык отрежу и глаза выколю! А жить оставлю! Вы поняли? Так и передайте, пусть на смерть не рассчитывают...

Инга всё это слушала — можете себе представить, что она о Косте подумала?

Ничего такого не делали аристократично-банковского вида Бангор и Фельдман, представители «тишайшей из мафий». У них цепочка короткая: миллиардов сто киловатт задаром где-нибудь в утилизируемой стране — миллиард долларов на счета...

Ни крови, ни скотобоен, ни рук отрубленных, ни голов на колах... Они хорошие ребята — и они не лезут в чужие дела, в наркопритонные гетто

городских окраин, им хватает пентхаусов в бизнес-центрах, в районах элитных застроек...

И голосов из прошлого у них, химиков-финансистов, тоже, наверное, нет... Таких вот навязчивых голосов из бесконечно провалившихся в иное измерение 80-х годов...

— ...Это какой Ранаев? Это сын того самого Ранаева, что ли? — спрашивал один уроженец заводской слободки со странным именем Иморс у другого...

— Да! Ведь и тот тоже ранний был, в точности по фамилии... Как Бог у нас на заводе был... «Я» — говорил — «сделаю Иморс вторым Чикаго»...

— Ну и что, сделал?

— Да какой там... Что он, Бог, что ли?

Были в таких диалогах странным образом сплетавшиеся уважение и насмешка — над человеком гордым и властным, который заявленной высоты не взял, но попытку ему народ засчитал, факт!

Тень знаменитого отца сходила и на сына, молодого и перспективного, нового кандидата в «Зевсы» советского олимпа, теперь кооперативного.

— ...Ты на себя-то посмотри! — волновался покровитель Ранаева, мало-значущий в партийных раскладах второй секретарь крайкома (обычно бодались первый и третий секретари, первый был силён первенством, а третий — тем, что он «по идеологии» ставлен). — Пиджак-то у тебя какой!

А пиджак был знатен, как и весь костюм, нездешний, как бы вообще неземной, с отливом, с томной банкетной искрой, с ресторанным приталенным шармом...

— Ох, заключают тебя наши вороны, Костян... — суетился партийный покровитель. — На-ко вот, мой пиджачок примерь... Авось скромнее выйдет...

И Ранаев одел мешковатый серый пиджак со старомодно-широкими лацканами, как у певца Джо Дассена, только более потёртый. Стал и вправду казаться скромнее, хотя... Разве в этом дело?!

Молодой «перестроечный» гранд Константин Ранаев придумал один из первых в этом медвежье-сайгачьем углу кооператив. Про этот хитрый кооператив одни говорили, что он помогает экономить народное имущество, а другие — что он легализовал воровство и порчу этого самого народного имущества.

— Суть нашего начинания, — балаболит в духе времени на бюро крайкома КПСС Ранаев, — в полной реализации ленинского призыва экономить материальные ресурсы производства! В краевом, так сказать, масштабе, товарищи, мы оплачиваем трудящимся экономию расходных материалов на их производствах! Это прогрессивное и доброе начинание, которое даёт дополнительную копейку нашим рабочим, колхозникам, служащим! Они экономят выделенные им производственные материалы, и на этом зарабатывают! Я считаю, тут не только материальная прибыль, товарищи, но и моральное начинание, в духе тех, которым учит нас сегодня перестройка...

— Говорить-то ты мастер, Костя! — сердито раскуривал сигарету прямо над красным кумачом конференц-стола третий секретарь крайкома. — Прости, что на «ты», не первый день тебя знаю... Ты вот объясни по человечески, без этих лозунгов: как можно выкупать расходные фонды?! Они же расходные! Их же расходуют в процессе производства! Если ты их выкупаешь — получается, ты же предприятиям производственный план срываешь!

Присутствовавшие на бюро директора предприятий возмущённо за-

гомонили, каждый норовил похвалить Костю, в котором был кровной копеейкой заинтересован. Но Костя за спину матёрых и прикормленных им производственников прятаться не стал, сам заговорил не менее бойко, чем в начале:

— Очень просто, Степан Перфильевич, очень просто... Например, отработанное масло у водителей наших автоколонн принимают по 2 копейки за литр... Им с этим возиться неохота, конечно... Они масло сливают, природу портят, а наша химическая промышленность лишается ценного вторичного сырья! Этим мы и занялись — мы же берём оптом: с автоколонны, с автогазального кооператива! Там уже не литры, а тонны, и не копейки, а рубли получают! Понимаете?

— Как не понять?! — хмыкнул кто-то из инструкторов крайкома. — Когда Раскольников стыдили, что он бабушку за 20 копеек убил, он возмутился, и говорит: «Так ведь, ребята, пять старушек — почитай, что рубль!».

— Неуместная это аналогия, совершенно неуместная! — отмахивался Ранаев в чужом пиджаке. — Вы представьте, сколько отработанного, ядовитого масла благодаря нашему кооперативу в землю не слили возле гаражей! И это только один пример нашей работы...

— Да, да... Ты про марлю расскажи! — выкрикнул кто-то из-за длинного стола.

— А что там с марлей?! — заволновались другие.

— А вот пусть расскажет... Каждой доярке положено два квадратных метра марли на неделю выдавать... Доярка метром обошлась, другой метр Косте Ранаеву продала! Прибавку к зарплате получила! И таких доярок тысячи! Всем хорошо: одним премия, другому барыш — в проигрыше только потребитель! Раньше доярка марлю тратила, как положено, не думала её беречь... А теперь норовит вообще без марли обойтись, у неё же в кооперативе ухаждёр готовый...

— Пусть ещё расскажет, зачем он наших авторов на английский язык переиначивает! — встрял суровый второй секретарь крайкома. Дядька был тёртый, хитрый, и теперь делал вид, что не в его пиджаке стоит за гербовой трибуной Костя Ранаев. Почуял дядька-пестун, что опасным становится разговор про марлю, и переключил всех на идеологическую любимую тематику...

И сработало. Заволновалось всё собрание — мол, как так? Почему наших авторов? Английским манером?!

— Товарищи, мы ведём издательскую деятельность, публикуем фантастику, детективы! — благодарно улыбнулся Ранаев покровителю. — Понимаете, в связи с перегибами прошлых лет сложился дефицит переводной литературы этих жанров...

— Он Ренарта Шарипова издал как Рона Шеппарда! — возмущённо взвизгнул комсомольский вожак.

— Почему Ренарта?! Наверное, Рината?! — умело вносил сумятицу ранаевский парт-пестун.

— Товарищи, всё в полном согласии с волей и желанием самих авторов... Они тоже заинтересованы получить хороший гонорар, а гонорар у нас от продаж... Они сами берут себе англоязычные псевдонимы... свобода, товарищи, в том числе есть и уважение к мнению автора и его авторскому выбору...

— А скажите, куда кооператив деваает выкупленные расходные материалы? — снова вернулся третий секретарь на опасную для докладчика тропу.

— Дело в том, что всё это остродефицитные товары... — вынужден был сознаться Ранаев. — Они поступают в продажу через точки в нашем кооперативе, по свободным ценам, и население их охотно разбирает... При этом я хотел бы подчеркнуть, что речь идёт именно о резервах экономики! Поймите, с директоров предприятий, с которыми я работаю, никто не снимал плановых заданий! Они обязаны выполнить план, и они не станут продавать мне нужную для этого номенклатуру... Всё, что мы забираем — это именно излишки, это следствие прежней расточительности, когда расходники выдавались не глядя, тратились на что попало, растаскивались «несунами», просто выбрасывались в помойку...

— А теперь вам?!

— А теперь каждый трудящийся края, каждый директор завода или председатель колхоза в крае — личной копеечкой заинтересован экономить материальные средства производства, как говорит народная поговорка: «Хлеба к обеду в меру бери! Хлеб — драгоценность, им не сори!».

Голоса минувшего... Порой они гулко отдавались в памяти Ранаева, заставляя снова и снова спрашивать: что было неверно? Что неправильно, где слукавил? Почему за такими точными словесами началась почти с места в карьер лютая вакханалия? Разве поспоришь вот с этим:

— Превращать накопительство в самоцель, действительно, нельзя! — проповедовал Ранаев. — Но где копеек не считают — там и рубли на ветер улетят! Партия учит нас, что пора покончить с мотовством за фабричный счёт!

А его поддерживали. Сам первый секретарь выступил, сказал весомо и улыбочиво:

— Я из земледельцев, знаете, как нам претит неуважительное отношение к хлебу, какой ценой он достаётся людям? Но и марля, и полиэтилен для парников, и даже спички — они не с неба в руки падают! Тут не только в экономии дело: это ещё и нравственное правило!

Ну, и в чём он не прав? В том, что через пару лет улетит в кадровую трубу, окажется никем и ничем и превратится в алкаша, собирающего по помойкам бутылки?! Слезливого старого алкаша, всеми брошенного и забытого, ищущего — кому бы напомнить о своих заслугах, проживающего в квартире улучшенной планировки? И заманивающий туда выпить кого-нибудь из старых знакомых...

— Мы ещё подумаем! — оптом возражал таким отставникам бухой Ельцин. — Может, мы вас ещё всех государственными преступниками объявим...

Но где ошибка, где роковой поворот? Неужели просто в желании хорошо, обеспеченно жить? Или в попытке рационально хозяйствовать, сперва такой благонамеренной и кумачёвой до рези в глазах:

— ...Мы решили установить такой порядок, — объяснял Ранаев уже комсомольскому активу. — Всё, что нужно, выдаём в штуках, метрах, килограммах! Трать, как знаешь, но помни: сэкономленная тобой натура пересчитывается в рубли и поступает в фонд материального поощрения! Тот, кто взял лишнего у государства — недосчитается копейки в своём кармане!

Это уже не старые партийные волки... Это молодые, горящие и алчные глаза ровесников и ровесниц на пылающем светом в бархате ночи прогулочном теплоходе, откуда начиналась новая страница рваной биографии...

Первое столкновение со злом у проживавшего в холе и неге Константина Феликсовича Ранаева случилось при ознакомлении с карикатурой какого-

то ныне забытого графика из К-ского краевого союза художников. Карикатура была «антиклерикальной направленности», как тогда говорили, и называлась «Мои кормильцы пошли!».

По сюжету хитроликий поп пьёт чай с более крепкими напитками на балкончике, а балкончик — над крыльцом его уютного домика, что называется, «полной чаши». Поп распивает напитки различной крепости не один, а с развязного вида женщиной, и, указывая на церковь вдали, к которой идут бабульки в платочках, говорит эту фразу: «Мои кормильцы пошли!».

Сатира ясна и прозрачна: прихожане несут в храм последние копейки, а поп на них возвёл себе хоромы и трескает дефицитные деликатесы под херес и «саперави»...

Со всей глубиной зрения, свойственной невинным детям, Костя Ранаев понял сразу же и другие планы картинки.

Прежде всего, понял, что домик попа срисован с дачи его деда, Ефимиама Янтарёва, возглавляющего Союз художников К-ского края. Видимо, рисовальщик, подлец, побывал у Ефимиама в гостях, на даче, и наверняка даже занял денегат... А завистливая память обличителя сфотографировала всё, вплоть до мелких деталей...

Дачка Ефимиама Янтарёва, дар любящей его КПСС, была не то чтобы очень велика, но необычайно уютна и казалась «пряничным домиком». Как и жилище лукавого попа с карикатуры, она была обнесена дощаным забором, секции которого крепились на прямоугольных белёных кирпичных столбах с алебастровыми шарами поверху.

Действительно, во дворе стояла «Волга» последней модели, на раскалённом солнцем песочке маялись сторожевой пёс, утки и куры, которых Ефимиам держал просто «для красоты» — обычно он их потом дарил кому-нибудь, или если продавал — совсем уж за бесценок...

И было это крыльцо, покрытое ковровой дорожкой (особый шик для советских людей), пузыристо сбегавшей со ступеней в самый песок... Вело крыльцо, поднимаясь над низеньким полуподвалом, изящно сложенным из дикого камня, в высокие сени, украшенные по-деревенски наивными, но забавными витражами: цветные стёклышки в рамке из реек...

После того, как они подмигнули гостю всем спектром радуги, — гость попадал на первый этаж с высокими потолками и невообразимо-роскошной для своего аскетического времени обстановкой. Лестница вела на второй этаж, где потолки были уже пониже, комнатки поменьше...

Именно отсюда и выходили Ефимиам с роднёй или гостями пить чай на балкончик, кривший козырьком крыльцо и веранду, и смотрели вдаль — вид был сельским и завораживающе-просторным: на сосновый бор со строевыми, корабельными янтарными стволами, на реку С-ль, на простирившиеся до самого горизонта гречишные и пшеничные поля...

Конечно, простой, крытый клеёнкой столик на балконе был излюбленным местом семьи в душные вечера после знойных дней к-ского лета. Сюда был выведен телефон, что не преминул завистливо отразить художник-обличитель: телефонный аппарат-вертушка стоял в зоне досягаемости хозяина славной дачки, на деревянной полочке, под козырьком, как раньше иконы над воротами крепостей ставили.

Всё подмечал завидуший глаз Ефимиамова должника: и то, что из комнаты выглядывал куб в светлом полированном окладе — как тогда говорили «комбайна» — то есть телевизора «Беларусь», совмещённого с радио и граммофоном. Экран у телевизора был квадратным, но по углам квадрат закруг-

лялся... А лапка проигрывателя пластинок «апрелевского завода грампластинок, г.Ташкент» была пластмассовой, белой и очень напоминала отварную куриную ножку...

И то не укрылось от богоборца, что за парковочным местом для «Волги» был садик, и росли в нём не только привычные к-ским местам яблони, но и редкие в нашем климате груши... И что с другой стороны был вазон с душистым табаком, а за вазоном — колосилось великое множество ярких красных тюльпанов, продукт знатного цветоводства супруги народного и заслуженного художника...

Все эти «элементы сладкой жизни», обеспеченной партией её представителю в мире художников «согласно чину», весь этот «шёпот благополучия» — отразился при осуждении попа при рисовании заказа краевого общества «Знание» (бывшего общества воинствующих безбожников). Добавилась только церковь на заднем плане и вид убогих прихожан, бредущих по дороге, ведущей к храму.

— Мои кормильцы пошли! — задорно хохочет поп-мошенник с ватманского листа, приподняв жлобским жестом изящную чашку недешёвого фарфорового сервиза. И в этом хохоте — тоже увидел детским чистым взглядом Костик черты своего дедушки...

Много открытий посетило в тот миг юного Ранаева, внука Янтарёва. И то, что его деда, его любимого и милого, заботливого и безобидного, такого славного и весёлого деда не только любят, но и ненавидят. И то, что ненавидят по-советски двоедушно, то есть осуждая за стяжание и одновременно остро завидуя, что самим не удалось стяжать того же самого...

«Я ненавижу тебя за то, что там сидишь ты, а не я» — кричал весь пафос пасквильной картинки. Но было и ещё много прозрений, обрушившихся на ребёнка. Понять их разумом он в те годы не мог, он скорее видел их и чувствовал, чем думал...

Он ощущал липкой волной болезненно-рахитичную и чахоточно-румяную впалыми щеками советскую тоску по обустроенности, по обеспеченной полнокровной жизни. Эта тоска точила изнутри миллионы, боявшиеся себе признаться, что кочевать по общагам «комсомольскихстроек» и кушать воблу с газетки, постеленной на тарные ящики, им надоело...

Советская власть вытащила этих людей из лютой нищеты, из землянок, гнилых бараков, из курных изб, дала им электричество — но оставила тосковать по некоторым электроприборам. Она дала им автобусы вместо многокилометровых пеших маршей — но оставила тосковать по персональному автомобилю. Советская власть вытащила этих людей из нищеты — но... в бедность.

Их бедность была когда разухабистой, показушно-бескорыстной, когда — старушачьей (не старушечьей!), чистенькой и постиранной, аккуратной. Она была на порядок лучше их прежней нищеты, в которой они умудрялись поколениями жить и умирать, ни разу досыта, «от пуза» не наевшись, ни на свадьбах, ни на поминках...

Но будучи лучше нищеты — бедность была хуже изобилия. Оттого и отношение к советской власти было двояким, шизофреническим: её одновременно и почитали, как благодетельницу (ибо ещё помнили, из какого дерьма вылезли с её помочами), и сами себя пугаясь — кляли за «недоданное»...

Совершенно необязательно быть неблагодарной свиньёй, забывшей всё хорошее о советской власти, чтобы вспомнить присущее тем, кто там жил — тоскливое и потайное томление насчёт обустроенности, собственности —

представавшей не просто окладом человека, а каким-то чудом, и одновременно демоническим искушением. Человек, глотая слюни, воображал себя владельцем СОБСТВЕННОГО — ну, например, двухэтажного, как у Ефими-ама Янтарёва, особнячка... Не особняка даже, особнячка...

Откуда бы такой особнячок — или сверкающие пределом мечтаний «жи-гули» взялись — человек не знал, тут был именно элемент чуда и волшебства, неразрывно связанный с чёрной магией.

— А что бы ты сделал за такой домик, как у Янтарёвых?

— Жёну бы с детьми бросил, а? А убил бы? Ограбил сберкассу? Роди-ну продал?

И человек отвечал, чаще, конечно, отрицательно — не все ведь советские люди были будущими приватизаторами... Но отвечая — с трупно-сладкова-тым привкусом воображал, сочинительствовал разные истории, возникаю-щие с ним, с домиком «навроде как у Янтарёва» и чертями-искусителями...

Не потому ли «полную чашу», в стране аскетов кажущуюся рогом изоби-лия, это обустроенность с балконом для чаепитий, с банькой белого бруса, с машиной во дворе и дурмящим сонным ароматом тюльпанов, с ленивым Бобиком, из миски которого торчат крупные мослы, — советский обличитель перенёс на антирелигиозную тематику заказной карикатуры?

Поп-хитрец, поп-обманщик, врущий о Боге, а сам живущий для брюха... И для подружайки своей в цветастом ситцевом коротковатом платьице, с сигаретой в зубах...

Он вызывал у художника смешанные чувства осуждения и восхищения. Предлагалось бабушкам в платочках незамедлительно перестать носить в кружку для пожертвований копеечки со своих малых колхозных пенсий, чтобы поп перестал так шиковать, чтобы согнать его наглую образину с это-го удивительно-уютного балкончика для чаепитий...

Много лет Костя потом пытался сформулировать умом то, что сердцем почувствовал, будучи учеником третьего класса: страх. То был не страх, что бабкам в платочках не хватит из пенсии копеечки на покушать — советская власть от этой беды бронировала знатно. И то был не страх за разоблачение попа, который явно не верит в то, что проповедует (достаточно на женщину его взглянуть, разбитную и наглую).

Нет, то был смутный и тревожный страх за мир, в котором люди с лопа-той перестанут давать копеечки людям без лопат. Скажут — по канону совет-ской чести — иди копай, как все, или с голоду сдохни...

В этой строгости к людям духа была какая-то убийственная правота, нео-долимая метафизическая справедливость. Но в то же время в ней был и нео-чевидный ребёнку изъян, некий кальвинистский ужас, сулящий общество мрачное, глухое, беспощадное, как муравей из басни Крылова...

Одно дело — осудить поющую стрекозу, и совсем другое — осудить саму песню. Попы работают с духом человеческим — и их советская власть объявляет паразитами общества. Они недостойны получать ко-пеечки трудящихся...

Ну, а художники? Поэты? Музыканты? Писатели? Философы? Разве не с тем же самым духом людским они работают? Костик вообразил себе антите-атральный плакат наподобие советского антирелигиозного:

Очередь в будку с надписью «Билеты», сидящий на таком же уютном му-шараби режиссёр, или актёр, или тенор в галстук-бабочке, вальяжно пояс-няющий своей блуднице:

— Во! Мои кормильцы в очереди стоят!

И ведь не поспоришь... Лопаты-то у тенора нет... Поп в церкви, а тенор в театре... Получаются, обманывают, обирают людей, каждая копеечка которых – это капелька трудового пота? Не о том ли гремел с кафедры зловещий Кальвин в средневековой Женеве? Гонитель католических попов, бродячих актёров, сочинителей романов и духа праздности, вместе с самим понятием о празднике...

Внук Янтарёва, чуткой и развитой душой уже понимал, что любимый и ласковый дедушка «немножко обманщик» – просто потому, что ребёнок видит, когда плохо рисуют, не умеют толком рисовать, его не обмануть заумью насчёт «особого видения». Но неужели справедливость лишь в том, чтобы убить в человеке всякую мечту о высоком? Всякую мечту о том, что не лопатой добывается?

Нет, это вопрос непростой, он один из сложнейших и величайших для всей истории человеческой... Что лучше – десяти мошенникам дать щедрые гонорары незаслуженно, или пуританской скупостью лютеранского узколоба уморить голодом одного гения?

В антирелигиозных потугах советской карикатуры, обильно выставившейся в фойе Союза художников К-кого края (были там и старинные, типа «Все люди братья, люблю с них братья я!»), маленький Костя Ранаев прозрел зловещее будущее своей страны.

Он прозревал неоплачиваемых романистов и пианистов, отсутствие гонораров в газетах и журналах, как, впрочем, и самих газет с журналами, потерявшими всякий тираж... Отнятое у людей право на творческую и духовную «распушенность», на право «смотреть в потолок» – в котором больше не видят ничего, кроме тунейдства... Напряжённая и оголтелая заикленность всех на том, что дед называл «производством кала» – ни крошки хлеба тому, кто не помогает нам наращивать горы кала!

Да, было, было: в 1986-1987 годах вылупились на свет из невинной скорлупы человеческого себялюбия и гедонизма рептилии первых кооперативов. Тогда ещё был ЦК ВЛКСМ, и там придумали комсомольско-студенческий аналог – центры научно-технического творчества молодежи (сокращенно НТТМ).

Один из таких НТТМ районного масштаба создала у себя тогдашний секретарь Каменецкого райкома ВЛКСМ Олеся Игумникова, очень молодая и привлекательная «номенклатурка». Возможно, это кончилось бы совсем ничем или почти никакой выставкой детских поделок – если бы Олеся не оказалась на том гуляющем, танцевальном теплоходе, рвущем именно тот самый вечер... И если бы она не танцевала лучше всех под хрипловато-возбуждающий голос певицы Gill'ы, певшей из динамиков:

*Johnny (oh, yeah),
You got it all figured out
Johnny (oh, yeah),
You know just how to go about...*

Это был волшебный летний речной вечерок, свежий и пылкий, а они – Игумникова и Ранаев – были ещё так молоды, и казалось – вся жизнь впереди, и вся жизнь раскатана красным ковром под ноги...

– Ранаев! – сказала она ему в приказном тоне, провокационно изгибаясь

в танце, в обтягивающем голубом шерстяном платье, напоминающем длиннополый свитер. — Кончайте заниматься марлей и мусором, переходите к нам в НТТМ...

И это были первые слова, которые Костя от неё услышал. Первые слова великого надвигающегося потопа...

— Ранаев, — бесстыдно и белозубо улыбалась сирена острова скелетов. — Вы умница, и я вас люблю! Чего вам черенки от лопат пересчитывать, сейчас такое время... Всё идёт в руки... Вы мне нужны...

И вот что она имела тогда в виду, под звуки «How romantic near the fireplace You and I together face to face»?

Что он ей нужен как деловой партнёр? Или как друг? Или как главный мужчина её жизни? Он тогда не понял, и для верности стал и тем, и другим, и третьим...

— Здесь плохо слышно! — крикнул ей Костя на ухо, коснувшись губами тёмных, вьющихся, роскошных волос. — Пойдём в каюту, переговорим...

И, взяв её за руку, удерживая за тонкую, хрупкую, почти прозрачную ладонь — увёл на нос теплохода, где полированные двустворчатые дверки каюты встретили их — и закрылись за ними...

Здесь тоже слышна была музыка танцпола, но уже тише, здесь скакали по стенам сумасшедшие разноцветные жирные зайцы светомузыки, и здесь эта смуглянка понтийского греческого типа окончательно показала Ранаеву женщиной-вамп...

— Перейдём на ты? — наглед Костя, чувствуя, как она податлива и, модное тогда слово — «конструктивно» настроена...

— Давай! Ты всё круто придумал с колхозами этими, с ватно-марлевыми рулонами, но смотри, какая сейчас тема нарисовалась... — жгла она, не спуская с него топазовых глаз. — У нас есть право пропускать через наш счет заказ любого завода, любого НИИ! Хвала Горбачёву! — она комично изобразила мусульманский жест молитвенного умывания. — Понимаешь штуку?! Заводу обналить безнал нельзя, запрещено... А нам, в качестве поддержки, дали такое право...

— Обналичивать деньги госпредприятий? — криво ухмыльнулся Ранаев, думая отнюдь не про деньги и тем более не про госпредприятия...

— Да, и... Костя, ну ты чего... Ну я же серьёзно с тобой разговариваю...

Она отступила от Ранаева шага на два, не больше, а потом упёрлась в стенку и отступать стало некуда. Ранаев со всем пылом юности облапал её, и буквально вдавил в эту пластиковую перегородку...

— Ну, Костя... — жарко шептала она, выпутываясь, но не вырываясь. — Ну что?! Ну, ты прям хуже армяна...

— Не будем сеять межнациональную рознь... — пристыдил её на ушко Константин. — И потом, девочка: я лучше армяна...

— Послушай, но я правда... хотела о деле... Первым делом самолёты... Ну что ты, право, ну не здесь же... Нас заметят... Или наше красноречивое отсутствие...

— Не волнуйся! — сыпал Костя куртуазностями. — Об этом нашем приключении никто и никогда не узнает...

— Ах, для тебя это только приключение?! — с женским коварством возмущалась она, правой рукой отталкивая, мол, между нами всё кончено, но левой обнимая за шею...

— Нет, Олеся, моя лесенка в небо! Это не приключение... По крайней мере, для меня... Я знаком с тобой недавно, — самозабвенно врал перевозбу-

дившийся юнец. — Но я тебя ждал всю жизнь... Может быть, я грубый и резкий, Лесенка моя, но когда я вижу тебя — я не могу ни о чём, кроме тебя, думать! И жизнь моя теперь представляется мне мрачным погребом, откуда я никогда бы не вышел к свету, если бы ко мне не спустилась в прозу обыденности волшебная Леся — лесенка...

Успешный кооператор нёс ещё какую-то хрень в этом духе, плохо сам понимая, что говорит, и мысленно уговаривая себя, что в такой ситуации женщине важны не слова, а их тембр и успокоительная непрерывность...

А она — сомлела в его объятиях. И хотелось верить, что от его бесконечных комплиментов, хотя, если разобраться — она же сама его выбрала там, на танцполе ликующего и фонтанирующего лучами прогuloчного теплохода...

Он был у Леси не первый, и «начальный опыт борьбы против потных рук» она осваивала где-то до него, без него. Но ему суждено было стать Первым по значению. А ей — действительно лесенкой. Но не туда, куда они оба думали...

Несколько дней после вечера на корабле они оба использовали самые дикие и нелепые предлоги, чтобы сбежать друг к другу. Он любил её немного бездушно, но очень энергично, потому что буквально лопался в те годы от распирающей его энергии. В их ещё простенькой, по-советски обставленной спальне пеленой висел табачный дым, а когда она порывалась идти, он обещал вызвать «такси», и снова затаскивал под себя, как водоворот затаскивает утопленника...

Этот период корпоративной истории будет потом обозначен как «деловые переговоры». Более нелепого названия трудно и приискать, хотя, всё же, деловые переговоры были. Они велись отрывисто, в какие-то асимметричные паузы, в какой-то совсем безумной и непостижимой для переговоров обстановке...

Иногда влюблённые даже находили время философствовать: обычно, когда она лежала на нём или он на ней...

— У меня к большевикам свои счёты! — хвастался Ранаев, закуривая в постели. — У меня бабка-то урождённая Миломёдова... Слыхала про таких?

— Нет, — создалась «товарищ секретарь».

— Первогильдейские купцы были! Первогильдия... Вот центральный гастроном с колоннами — наш, Миломёдовский был... А вот этот дом, знаешь, где сейчас Союз художников? Теремок такой расписной, узорчатый в стиле нарышкинского барокко... ко-ко! — курицей закудахтал Костя. — Это был особняк Миломёдовых... Правда, по совести разобраться, если бы не большевики, то дедушке моему бабки-то и не понюхать бы... Получается, что и меня бы совсем тогда не было! Вот ведь судьба какие загадки ставит!

А в другой раз Ранаев пустился в неуместные для постельной сцены рассуждения о сути человеческой истории:

— Вся она, Лесь, борьба человека с нищетой — и с собственной жадностью... И никогда не поймёшь: то ли человек нищ, потому как другие жадны? То ли кажется самому себе нищим, потому что сам очень жадный?

— Ты про наших митингующих сограждан? — лениво поинтересовалась она, закинув на него длинную, стройную ногу.

— Я, когда маленький был, — откровенничал Костя, — раз пошёл с бабушкой за капустой... Ну, с той самой бабушкой, которая урождённая Миломёдова, купеческая дочь... Она так в «совке» обтёрлась-то неслабо, знает туго — где

очереди короче, где товар на три копейки дешевле... Вот представляешь, Лесенка, такой серый денёк, дождик моросит, небо низкое, лужи оловянные... Капуста эта – тоже мне, ценность! И вот стоит открытый грузовик, там туча народу, такого тёртого-притёртого, как моя бабка, народные умельцы копеечного выживания... И они этой капусте вожделяют вилка по четыре каждый, ибо им же солить надо зачем-то! Один мужик, такой пожилой уже, залез туда, в кузов, советской торговле помочь, и оттуда, ноги расставив, кочаны вниз передаёт... Штаны у мужика, такие, знаешь, убогие... И от натуги у него в промежности шов лопнул, он на народ голой ляжкой сверкает, а сам не видит, капустой занят, погрузочно-разгрузочными, блин, работами... И навис этот добровольный грузчик над нами с бабкой, как судьба... А над ним – свинцовое небо осени и мерзостно-промоглый будний день...

– Хватило вам капусты-то? – поинтересовалась Леся, наманикюренным ноготочком играя с завитками на груди любимого.

– Хватило... Не столько нам, сколько бабке, она фанат осенних заготовок...

– А в чём мораль всей этой трогательной бунинской истории?

– Может быть в том, Леся, что я тем днём кооператором стал. Был пионером, а там в кооператоры переродился. Впервые ожгло меня, что не хочу я быть таким вот беспонтовым мужичком, который залез в грузовик снимать грязные кочаны, и у которого штаны лопнули... И оттуда, Лесенка моя, всё началось: мысли всякие про экономику, выбор профессии и все дела...

– Ну, если бы каждые лопнувшие брюки порождали экономиста твоего уровня... – мечтательно улыбалась Олеся. – Тогда... Хорошо бы было...

– А может быть и плохо, я сейчас думаю! – меланхолично посетовал Ранаев. – Кто знает? Что и сколько человеку по жизни нужно? Может быть, эту капусту на засолку и моток ниток, чтобы штаны после оказии зашить, да и жить, ни о чём не думать... Мы же вот с тобой взлетели, чтобы никогда не штопать носков, – а место посадки наше неизвестно...

– Типун тебе на язык! – возмутилась Игумникова. – Посадки! Тьфу, скажешь тоже... Нашёлся тут – лётчик-налётчик...

– Нет, ну ты мне вот скажи, как женщина, как мать, – приставал Ранаев, – человеку чего и сколько в жизни нужно?! Он же, гадёныш, Чернобыль взорвал и Арал высушил – потому что всё ему мало... А если по совести смотреть, вот что ему надо?!

– стакан молока каждому! – дала Леся странный и непонятный ответ.

Но Ранаев хорошо её понял: они вообще были созданы друг для друга, если не как мужчина с женщиной, то как деловые партнёры.

– Понятно, что стакан молока каждому.. – горячо заспорил Костя. – А сердце-то не приемлет! И никогда... Никогда так не бывает, что стакан молока – прямо каждому и всем без разбору.. Обязательно кто-нибудь без молока останется...

– И с другой стороны. – засмеялась хищница. – Никогда такого не бывает, чтобы кому-то одного стакана молока хватило... Первое, что он сделает, когда в руки получит стакан молока – скажет, мало!

– А иди-ка сюда, Сократ мой ненаглядный, – хихикнула она же, когда увидела, что партнёр «загрузился». – Давай-ка ты во мне забудешься и всю эту «по*бень Рахманинова» из репертуара выкинешь...

...И он выкинул. Надолго – но не навсегда. Свадьба их с Лесей была по советским меркам роскошной, по грядущим – более чем скромной. Первая

квартира – кооперативной, по линии молодёжных стройотрядов, МЖКХ, которые Леся у себя в райкоме курировала... Официально получая 180 «рэ»...

Когда её плоский спортивный животик стал заметно выпирать, Костя пришел домой и кинул на стол пачку «пятерок» – 500 рублей.

– Боже! – разулыбалась Олеся. – Где наксерил?!

А он кидал пачками деньги: еще одну и еще две по сто червонцев...

– Костя, ты меня разыгрываешь?! – недоумевала новоявленная Ранаева.

– Учти, я в положении, мне волноваться нельзя...

Всё было впервые. Не только «железная леди» из райкома ВЛКСМ, но и сам Ранаев прежде столько денег на одном столе в кучке не выдывал...

В какой-то момент даже она – с её-то железным, негибачим характером – испугалась:

– Костя... Нас же посадят...

На что Ранаев, поглаживая её округлившийся живот, беззаботно лопотал:

– Не бойся, я с правильными ребятами теперь работаю... Все будет отлично...

Сколько было в Лесе Игумниковой железной мужественности – столько же было в Константине Ранаеве бархатной, кошачьей, художественно-эстетической женственности, неизбежно выпестованной его семьёй, его воспитанием и его прошлым. Эта внутренняя женственность души художника делала Ранаева для окружающих гораздо страшнее, чем если бы он просто был brutальным стандартным мужланом-уголовником. Потому что скрывая свою внутреннюю слабину, Ранаев создавал ажурную архитектуру слов и жестов, с виду выдававших то ли виртуозного садиста, то ли утончённого маньяка...

Когда в К-ву прибыл кто-то из чеченских головорезов, важный на Кавказе криминальный авторитет, то разветвлённая уже служба безопасности «Минотавра», инфильтрованная во все правоохранительные конторки Края, тут же донесла про «официальный недружественный визит» Ранаеву.

Ранаев отреагировал так, как может отреагировать только художник-авангардист. К залётному Аслахану Бироеву явились ребята Беркута и Каймакова, положили милицейскими укороченными «калашами» всю охрану мордой в ковры (потом их закрыли в СИЗО, но Аслахан об этом уже не узнал).

– Чё за беспредел?! – возмутился только что принявший душ Аслахан. В его чёрных, чуть вьющихся волосах блестели бисером капельки воды...

– Приглашаем вас проехать к нашему смотрящему! – предложил Беркут.

– За тем и прибыл! Пошли!

Но Бироеву не дали усесться в джип, как он рассчитывал.

– Ты в прицепе поедешь! – мрачно пообещал Каймаков...

Примерно квартала два скованного наручниками чеченского гостя волочили за машиной по асфальту, привязав за ноги. Столько же времени он, забыв о мужестве джигита, – орал благим (а не русским) матом, как напуганный ребёнок...

Два квартала – две минуты пройти, даже пешком, но для сто раз помершего на привязи Аслахана они показались вечностью.

На перекрёстке его встретил Ранаев с группой товарищей. Молодой, импозантный, в приталенном чёрном пальто тонкой верблюжьей шерсти, в широкополой, по моде времени, фетровой шляпе – он действительно, выглядел, как успешный художник перед входом на собственную выставку...

Бироева освободили, и шатающегося, всего в ссадинах и кровоподтёках,

подвели под руки к Константину. Все ожидали от босса приличной для мафии грубости, но Ранаев заговорил учтиво, предупредительно, ласково:

– Сигару?!

Плохо понимая, что делает, сглатывая юшку из рассечённой губы и разбитого носа, кавказский гость закурил. Пальцы его, ободранные на костяшках, предательски дрожали.

– Ну, как вам у нас? – с елейной вежливостью поинтересовался Костя. – Будете с нами работать?

– Спасибо... – пробормотал Бироев не своим голосом. – Мне домой... надо...

– Это хорошо, домой! – мечтательно зажмурился Ранаев. – Я вот тоже вас провожу, и домой... Дочке косички заплетать, с сынишкой в железную дорогу поиграю... Может, вам тоже косичку заплести? В железную дорогу поиграть не желаете?

Своей неопределённостью и «косичка» и «железная дорога» звучали страшнее, чем упоминание конкретных пыток...

– Спасибо, я тороплюсь... – прохрипел Бироев.

– Вы меня поймите, – задумчиво ворковал Ранаев, – мне куда спокойнее было бы вас при себе оставить... навеки... Но в крае нужно туризм развивать, понимаете? На то у меня и расчёт: что вы поедете, и всем друзьям своим, абрекам, расскажете, как тут принимают, как угощают... Достопримечательностей у нас мало, приходится выезжать на гостеприимстве! Кроме асфальтных дорог у нас есть ещё и гравийные... Впечатления – ах! Колоссальные! На всех хватит! Так что вы им расскажите, мы ждём...

– Я всё понял... – хлюпал кровавым носом Аслахан. – Я всё передам...

– А сейчас мои люди вас на вокзал проводят! – словно горлица, гулил Ранаев.

– Спасибо, я сам доберусь...

– Ну что вы, что вы! – замахал руками Константин, словно заправский гид. – У нас так не принято! Гостеприимство в нашем крае не знает пределов радушия! – И дал распоряжение своим ребятам: – Специально для нашего гостя с Кавказа – плацкарт, боковушку, возле туалета! Билет за мой счёт! А то гость поиздержался на наших аттракционах, ни копейки своей не осталось...

...Больше с Кавказа в К-ву «работать» никто из блаоты не приезжал. Вспоминая этот случай, подручные Ранаева восхищались его «художественностью» и подчёркивали, что он живописец.

– А не акварельки рисует? – интересовались смельчаки, намекая на первую профессию Гитлера.

– Что вы! Картины маслом!

И никто – кроме, может быть, компаньона, железной Олеси – не догадывался, что Ранаев вовсе не выделяется, не выпендривается, что все его пугающие обороты – следствие внутренней дрожи, леденящего внутреннего страха...

Начинали Константин и Олеся Ранаевы с двух полуподвалов, напоминавших более студии рок-групп, чем солидные офисы преобразованного и укрупнённого кооператива «МИНОТАВР». Начинали, ревнуя к славе тогда гремевших золотопромышленника Владимира Туманова, кооператора Артема Тарасова и других «взрослых» предпринимателей.

Один полуподвальчик, на Кучеревке, около автомобильной заправки, вонявшей в открытые окна бензином (так и мучились, пока не установили кондиционеры) считался легкомысленным и числился за Лесей. Здесь, в

основном, занимались отмывкой денег заводов и колхозов края: монополия на обналичку не давала отбоя от клиентуры...

Второй полуподвальчик закрепился за Костей, он находился рядом с первым валютным магазином, «долларовым комком» под величественным названием «София». Здесь торговали только за иностранные деньги и здесь — единственное место в миллионном городе — не было ни дефицита, ни очередей...

Скорее всего, двусоставное чудище «Минотавра» без Ранаева выродилось бы в одну из множества пирамид, вроде МММ, корпорации «Экорамбус», Властелины, Хопёр-инвеста, Тибета, и сгнуло бы через несколько лет под стоны и проклятия обманутой публики. А без Олеси Ранаевой «Минотавр» оказался бы безрогой, яловой дойной коровой со средней доходностью и ориентацией на «реальный сектор», в 90-е более чем бесперспективный...

Но всё было так, как было, «Минотавр» не стал пирамидой МММ, и не стал скучным заводом, вроде завода гибких валов, где директорствовал отец Константина, Феликс Ранаев. Шальные деньги из воздуха возникали благодаря Олесе, и вкладывались во что-то земное, тяжёлое, благодаря Косте.

Сперва были эйфория заграничных командировок, больше похожих на туристические путешествия в неведомые края, — и закупки в Германии компьютеров, во Франции — напиток «Наполеон», который в России продавцы выдавали за коньяк...

Всё это были невиданные для вчерашнего советского человека товары, и они приносили чете Ранаевых немыслимые сотни процентов прибыли...

А потом Костя придумал то, что никогда не пришло бы Олесе в голову, — открыть товарно-сырьевую биржу, на которой стремительно обесценивавшиеся деньги депонировались в товары, в основном — металлы.

— Понимаете... — объяснял Ранаев, — мировые цены на медь, например, они же не зависят от кризиса советской экономики... Ваши бумажные 100 рублей через полгода будут, в лучшем случае, рублём, а если вы купите слиток меди и разместите его у нас по весу — то он и через десять лет будет стоить столько же, сколько и сегодня... Но, скорее всего, дороже...

В декабре 1989 года Ранаевы с большой помпой открыли так называемый «Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса». В просторечии его дразнили КИБ НТП. Чтобы не пугать людей многословием, в 1990-м году банк тоже переименовали в «Минотавра». А через год по телевидению пошла его реклама, с бодростью обещавшая наивным: «Мы идем к рынку со скоростью полутора миллионов рублей в час!»...

В этой афере пересилило легкомыслие Олеси и пошли во всесоюзную продажу векселя номиналом 1000 рублей за 333 рубля. Врали, что будут дивиденды 40 рублей в год... Ничего, конечно, такого не было, да и быть не могло — потому что через год деньги рухнули и на тысячу рублей купить стало возможным только пирожок с картошкой... Но собрали знатно, и успели вложить до краха финансовой системы!

В 1991 году Ранаев стал депутатом краевого совета и советником краевого правительства по экономике. Ненадолго занял пост начальника краевого управления топлива и энергетики, но потом ушёл: скучным показалось, а высокими постами и фигурами он уже тогда играл, словно в бирюльки...

Балаболит с высоких трибун, что намерен активно идти в промышленность.

— А то, товарищи, стыдно перед родителями, что спекуляциями деньги зарабатываю...

То ли кривлялся, то ли искренне говорил внук народного художника, сын действующего директора завода гибких валов — кто теперь уж разбе-

рёт... Думается, он и сам уже не разбирал, что от сердца, а что в рамках стратегии захвата...

Как только разрешили приватизацию, Ранаев начинает бешено и без разбора скупать акции различных краевых предприятий. Ну, а к 1995 году успели и знаменитые залоговые аукционы. Банк Ранаева давал краевым властям кредиты под залог акций лучших промышленных предприятий, а после — заложенные акции власти и не подумали выкупить...

Иногда случается так: кушает человек восторженно какую-нибудь немислимую вкуснотищу, ну например, шашлык. И на пике наслаждения гурмана вдруг слышит странный хруст... Что это? Косточка на зубы попалась? Хрящик? Нет, это неожиданно-негаданно треснул зуб, раскололся вдруг пополам... И человек не сразу понимает, что случилось, и острая боль приходит тоже не сразу...

Трудно сказать, каким видел мир управляемый монстрами вроде его «Минотавра» Ранаев. Но доподлинно известно, что видел он этот новый мир совсем не так, как на деле вышло. Наверное, Ранаеву по молодости и неопытности казалось, что этот мир будет прежним, как у отца, у бабушки — только всяких благ побольше... И он, Костя, в обход всех номенклатурных очередей выйдет сразу в дамки, в большие начальники, усядется в кресло вроде кресла первого секретаря крайкома КПСС... И станет оттуда помыкать людьми мудро и рачительно... Так думали многие кооператоры — избалованные успехом и выросшие среди цветиков-семицветиков брежневских клумб...

Но, конечно, мир приватизации таким не стал, да и не мог стать. Ранаев и сам, исходя из «пользы дела», помыкал не слишком мудро, не слишком рачительно, и был окружён нелюдью, которая изначально ни на что такое не настраивалась...

Неожиданно для упоённых успехом первых кооператоров-романтиков стали смещаться и рушиться базовые устои, те, казавшиеся незыблемыми колонны-опоры мироздания...

Прежде всего, пребывая в приятных хлопотах по обустройству уютных родовых гнёздышек-усадеб, «сильные мира сего» не заметили распада своей страны. Он прошёл мимо, как дело постороннее, их не касавшееся, и лишь потом, да и то лучшие из них — удивлённо спрашивали: как же так?! Муравьи разрушили свой муравейник? Пчёлы разломали свой улей?!

А им отвечали: «Получили своё? Жрите и заткнитесь!». И вскоре канула в чёрные воды Леты казавшаяся Эверестом цивилизации заповедь «не убий!». Это ещё больше изумило Ранаева, отнюдь не готового к такому повороту событий. Конечно — рассуждал он — в буквальном смысле слова эта заповедь никогда не выполнялась... Люди всегда убивали врагов, преступников, упырей — и без этого, наверное, невозможно жить. И не об этом вовсе речь. Но раньше «грохали» того, кто «заслужил». Раньше имели к умерщвляемому какую-то моральную претензию...

Новое время принесло новый счёт убитым: они утратили индивидуальность, их, как рыбу на сейнере, стали считать не по головам, а тоннами и кубометрами. Речь не шла о том, чтобы убить врага или преступника: убивали людей совершенно незнакомых, не достаивая их никаких обвинений, никаких личных претензий...

Убивали за принадлежность к определённом народу — русскому, армянскому или ещё какому. Или вообще ни за что, даже не замечая жертв: украл зарплату у научных сотрудников, божьих одуванчиков, а они молчаливо по-

мерли, ничем тебя не потревожив... О причинах убийства перестали думать, а о жертвах убийств — помнить.

Ранаев, оглядевшись по сторонам, обнаружил себя в диких джунглях. Здесь жизнь и смерть переплелись, потому что жизнь одних строилась на смерти других, и все принадлежали к одному биологическому виду...

Не было более ни света, ни тьмы, а всё слилось в грязные, смутные сумерки. Не было ни палачей, ни жертв — они перемешались и сочетали в себе качества и того и другого. Изменилось мышление: если раньше оно стремилось к громоздкой сложности, за что и уважалось окружающими, то теперь стало стремиться к зловещей острой убийственности. Мысль затачивали, как кол, устраняя всё лишнее, мешающее охоте на людей...

Оказавшись в полумгле без страны и без морали — Ранаев обнаружил, что исчезло и ещё одно, очень дорогое ему с детства явление: культура. Раньше люди передавали её из рук в руки, даже умирая (что поделать, человек смертен!) — и пытались обрести в её преемственности бессмертие... Теперь же даже розовощёкие крепыши, у которых всё хорошо, — избавлялись от культурного багажа, как от балласта: «мешает в драке!»...

— Погодите, но в чём же тогда смысл жизни? — растерянно спрашивал Ранаев. Но он был окружён людьми, которых такие вопросы никогда не волновали. Эти люди жрали всё вокруг себя с неистовостью триасовых гадин...

И эти люди говорили ему — иногда прямым текстом, но чаще иносказательно, что Жизнь сама по себе — нагромождение абсурдных ситуаций, которые не ведут ни к чему и никуда, а просто глупо меняются... «Пляска скелетов, — с ужасом думал об этом впечатлительный Ранаев. — Большие рыбы пожирают малых, гравюра Брейгеля»...

От этого ужаса Ранаеву хотелось, как в детстве, бежать в уютный погребок дедушки Ефимиама на его славной, номенклатурной дачке, где когда-то школьник Костя воображал себе ядерную войну и выжженную землю...

У дедушки были два погребочка, и оба поражали советское детское воображение своим нестандартным экзотическим строением! Один, маленький, был на кухне, там двусторчато, как раковина, открывались полы и под ними виделось манящее жерло большой бочки или широкой круглой трубы... Это был винный погребок любившего красиво пожить Ефимиама Янтарёва! С него, диагонально цилиндру, сбегала полированная лесенка, и, если спуститься по её гладким ступеням — вокруг тебя со всех сторон обступали винные бутылки, лежавшие по-младенчески, на боку, в специальных полочках-ячейках, напоминавших пчелиные соты.

Здесь было очень мало места, словно в афишной тумбе или будке суфлёра: только ты в полный рост и круги винных полок вокруг тебя... Пара вяленых гусей или какой-нибудь иной дичи свисала, вот, собственно, и всё убежище... Нет, мальчик Костя был не настолько наивным, чтобы в этой тесной трубе искать спасения от ядерной войны!

Второй погреб размещался под сенями, под высокой лестницей крыльца. У него было маленькое оконце, в ширину одного кирпича, затянутое оргстеклом, и почему-то зарешёченное двумя грозными толстыми прутами, хотя влезть в такое окошечко могла бы разве что кошка.

Это маленькое оконце было совсем незаметно со двора, оно приходилось Косте на уровень сандаликов, и было укутано тюльпановой порослью. Зато внутри оно располагалось под самым потолком и из него загадочно лился дневной свет, в прохладном полумраке погреба, составлявшего уже не бочку, а небольшую комнату.

Внизу в ящиках с широкими продувными щелями дед хранил капусту, картофель, морковь, даже яблоки с грушами. Выше тянулись полки, на которых стояли домашние маринады, трёхлитровые банки с солёными огурцами и помидорами, разные компоты, разномастные банки с лечо, кабачковой или баклажанной домашней икрой, консервированным болгарским перцем...

Здесь, в стенах из дикого камня, Костя воображал себя укрывающейся жертвой атомного апокалипсиса, и сладко холодея внутри, покрываясь мурашками от внешнего холодка — всерьёз прикидывал, на какое время хватит ему здешних припасов, чтобы выживать под землёй... Он не думал тогда, что маленькое, и несмотря на свою малость, забранное прутьями окошечко над потолком пропустит радиацию... Он верил, что дедовский погреб — абсолютное убежище от ядерного кошмара... Ребёнок, что возьмёшь?

Повзрослев и возмужав, войдя в так называемую «элигу» (как ужасно звучало это слово в приложении к гнойному сброду хозяев 90-х!), Ранаев иногда мечтал найти по настоящему герметичный погреб, и укрыться в нём, бросив судьбы земной поверхности на самотёк...

Иногда он даже думал написать роман о человеке, по какой-то причине безвылазно запертом — то ли по причине ядерной войны, то ли укрывающегося от врагов, — и о том, как обостряются чувства человека, чьё зрение и слух бедны на впечатления...

Восприятие мира, думал Ранаев, каждый раз имеет свой масштаб, своё разрешение: в одних случаях человек даже и главные вещи не все улавливает, в других — обеднев на приключения — он умудряется ухватить мельчайшие детали микроскопических предметов. Таковым было бедное на впечатления советское детство в стране стандартов, где сказкой казался не только винный погребок в виде бочки, но даже и старая ржавая «опасная» бритва — найденная во дворе, кем-то очевидно, выброшенная, никчёмная, но детской фантазией преобразуемая в волшебную вещь...

Если бы человек — думал Ранаев на досуге — сидел бы в погребе годами, десятилетиями, то насколько обострились бы его способности различать грани и тонкости бытия! Насколько много смог бы он извлечь из одной-единственной точки, в которую смотрел бы часами, днями, месяцами! Какой интересной собеседницей стала бы для него даже самая пустяковая деталька реальности!

Думая о романе, Ранаев даже как-то написал шесть страниц, посвящённых взгляду человека на банку с солёными огурцами. Он подбирал слова и образы, чтобы коснуться каждой мельчайшей черты, каждого микроскопического движения в мёртвом, стерильном солёном растворе, он воображал лёгкие колебания укропа, неповторимый силуэт каждого огурца... Среди того, что поражало юного Костю, сидевшего с банкой «на просвет», — было и затаившееся в рассоле небытие: солнце пронизывало весёлыми лучами этот уютный и аппетитный мир — но там, за стеклом, надёжно изолированным закатывательной машинкой бабки, — не было жизни, там остановилось время, исключилась всякая динамика...

Только внешний, посторонний наблюдатель может придать этому безжизненному миру форму и таинство существования, обрести его внутреннее бытие со стороны, из-за пронзающего стекло луча света...

Конечно, Ранаев не мог написать такого романа — потому что у него никогда не было времени, и потому, что такая творческая задача — совершенно бессмысленна, и заманчива, в основном-то, именно своей какой-то вопиющей к Небу бессмысленностью. Всякий роман пишется о событиях, чем

быстрее и ярче события, тем он интереснее, а тут в основу положена судьба закрытого в погреб с маринадами и компотами человека, по сути, замурованного в вынужденную неподвижность... Насколько такое отсутствие событий можно описать? И если можно – то зачем?!

Естественно, не для публикации. В бурных стремнинах пореформенного времени балансирующий на гребне потока Ранаев находил в своих мыслях о погребе своеобразную терапию успокоения, бежал в смутные мечты о бомбоубежище, о бункере – потому что дальше всего его текущая жизнь напоминала собой убежище...

У семьи Ранаевых в их усадьбе тоже был бункер. Конечно, стилизованный под винный погреб, но прочный и основательный, как настоящее бомбоубежище...

Константин Феликсович всё чаще уходил туда, спускался по отделанному диким неровным камнем кривому ущелью витиеватой, узенькой и вычурной лестницы. Путь этот напоминал башенные ходы средневековых крепостей – в которых, по замыслу обороняющихся, – мог пройти лишь один человек с мечом и в доспехах, дабы в бою с любым, сколь угодно многочисленным, войском у рыцаря поединок был...

Внутри был не просто погреб – подземный, стилизованный под древность винный замок. Шершавые стены серо-зелёных лишайниковых оттенков, массивная, циклопическая кладка, тяжёлые, как бы давящие гнутые арки сводов. Вдоль стен – светлых ореховых оттенков ячеистая винная мебель, в которой на боку, заботливо уложенные – ждут своего часа бутылки «великих вин»...

Самые дорогие и знаменитые вина – дальше всего, в «окончательной» зале, под сводами которого – массивная, литая и витая, чугунная люстра. Те, что попроще, для повседневного употребления – поближе ко входу... Стандартные бутылки – в ромбовидных ложах, нестандартные, слишком большие или слишком пузатые – на приставных и угловых полочках...

Бесконечно далеко ушли эти размах и громадьё подземелий от самодельных дедушкиных погребков, по-деревенски наивных и тесных... Тех, в которых советский мальчик Костя надеялся спрятаться от ядерной войны, хотя в них и невозможно было спрятаться. А вот в этом погребе – можно. Вопрос только – зачем прятаться, когда ядерная война уже случилась?! Сто лет тут сидеть среди пыльных марочных бутылок, зная, что наверху – радиоактивный пепел былой жизни?!

В «начальной зале» винного комплекса стоял овальный ажурный стол, на котором дежурили незаметно протираемые прислугой сменные бокалы богемского стекла и чёрная большая рыба. Сперва гостю показалось бы, что рыба – копчёная, положена для закуски. И только приглядевшись, он понимал, что это черно-стеклянная пепельница, дошедшая до верха натурализма, и что в широко раскрытый, приподнятый рот рыбы полагается стряхивать сигаретный пепел...

– ...Я эта... артистку привёз... Александру Дарьину... – виновато сознался нарушивший покой шефа Гера Каймаков.

Ранаев посмотрел на него мутно-кровавым похмельным взглядом, прижимая хрустальный конус стакана к виску, и выдал фразу, бессмысленную как грамматически, так и семантически:

– А нахрена она кому тут обосралась?!

Поскольку понять это было невозможно, Каймаков и не понял, шмыгнул обиженно:

– Константин! Ты велел привезти, я привёз... Откуда я-то знаю?!

Александра Дарьина была молодой актрисой, очень приятной наружности, с большими невинными глазами и выпирающей верхней пухлой губкой над скошенным подбородочком. Из-за этого она слегка пришепётывала в речи, и это очень умиляло, как у ребёнка. Она была очень юной, лет 18-ти, начинающей, ей был нужен покровитель, и она напрашивалась с этой целью к Ранаеву, чтобы он протекцию оказал.

Константин при первой встрече лениво процедил сквозь зубы:

– Вообще-то я такими вещами не увлекаюсь...

Но потом, оценивая прикинув в уме кукольные локоны Сашеньки, кивнул на Каймакова за своим плечом:

– Ладно, в этот раз... С ним договаривайся! Когда я буду свободен – он тебя привезёт...

Что Каймаков и сделал, тем более что Леся с детьми отдыхала на Мальдивах. А Ранаев про случившееся мимоходом – просто забыл...

– Ладно... – смиловался Константин Феликсович. – Посади её в каминной, и включи телевизор... Будет настроение – поднимусь... Предложи выпить...

– Шеф, может мне её и это... Опробовать в деле?! – заржал придурок Гера.

– Чё ты в этом можешь понимать?! – обидел слугу Ранаев, сам того не заметив. – Ты чё, продюсер? Режиссёр?!

Справедливости ради нужно отметить, что Ранаев тоже не был ни продюсером, ни режиссёром, и никакого отношения к артистическому миру не имел. Но люди его уровня сами не замечают – как начинают считать себя всекомпетентными всезнайками, лучше любого профессионала владеющими любым ремеслом. Порой комично смотреть, как эти вельможные пузаны учат дантистов зубы драть, а журналистов – статьи писать. Иногда смешно. Но чаще трагично...

– Иди, Гера, иди... У меня голова раскалывается из-за вас... Всем чего-то надо...

– Пьянь! – подумал Каймаков, но конечно, вслух этого не сказал. Он и не подумал бы, наверное, так грубо – но Сашенька Дарьина его завела своей блондинистостью, фигуристостью и лёгкомысленностью одежд.

5.

*...Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что, море,
И роцет мыслящий тростник?*
Ф.И. Тютчев

Под тентом верхней палубы прогулочного теплохода Костя озвучил своё условие сделки – после чего переговоры с Бангором и Фельдманом исчерпали себя. Из деликатности Ранаев не спрашивал – да и без спроса знал, что полномочий решать такие вопросы переговорщики из «центра» не имеют, и должны, как говорит киноклассика «сперуапосоветуоваться з шефом»...

Дело отошло – остались простые радости жизни. Ранаев пригласил гостей пройти в стеклянную башню «малого банкетного зала», нелепую снаружи, но уютную изнутри, в советские годы бывшую надставным кафе «Мороженое».

Эта малая банкетная зала, громоздившаяся над речными просторами в вышине, казалась чем-то средним между кораблём и летательным аппаратом: человек, закусывая внутри неё, никак не мог понять – плывёт он или летит? Больших компаний здесь не предполагалось, оттого казалось, на избалованный вкус москвичей, даже несколько тесновато...

Стол под нежно-розоватой, какая бывает у снега на заре, хрустящей от накрахмаленности скатертью напоминал по форме восклицательный знак. То есть это было два стола: круглый и приставленный к нему продолговатый прямоугольный...

Круглый, для высшего начальства, входил в «подкову» дивана белой кожи. А диван обрамлял многоугольный стеклянный «фонарь» смотровой рубки. Это была самая высокая точка на теплоходе, и отсюда, с белокожего диванчика, лучше всего было смотреть на речные и заречные дали.

Вдоль стандартно сервированного прямоугольника тянулись ряды хромированных металлических стульев – для гостей попроще. На этом, собственно, камерный уют малой банкетной залы теплохода исчерпывался... Кондиционеры тянули неплохо, взмокшие от калёного жара уральского лета снаружи здесь гости вздохнули в прохладе с облегчением.

Кроме Ранаева, Бангора и Фельдмана сюда пригласили заместителя Кости Георгия Каймакова и капитана корабля – человека нескладного, в пышных галунах стилизованной без меры форменной одежды. Капитан больше походил на ресторанный швейцара и постоянно вскакивал, пытаясь услужить...

Гера Каймаков сидел в костюме парижского кроя не в своей тарелке, галстук его явно душил, и вообще из всей его равной физиономии проглядывала органика «олимпиек», «треников» и кожанок...

Девушки эскорта, оставаясь в купальниках-бикини, сели за приставной столик, молчаливые, но соблазнительные. Глядя на них, припасённых как роля в кустах, Бангор думал, что эта провинциальная прямолинейность приёма столичных гостей раздражает топорностью, но в то же время и соблазнительна в своей первобытной простоте. «Наверное, так и надо...» – мысленно развёл руками Бангор.

Сюда, в «фонарь речного обозрения» – подавали маринованное в текиле и лайме куриное филе, со сладким перцем и авокадо, медальоны жареной баранины с медово-горчичным соусом в окружении свежих ягод, розоватые и скользкие куски лосося, выдержанные в коньяке и лимоне. А ещё – рулетики из белой рыбы, ассорти из маслин и оливок, с крошечными красными овалами помидорок черри... Сюда на закуску доставили фламбированную в коньяке грушу на подушке салата, припорошенного метелью сырного серпантина...

– Батюшки, никак селёдка... – попытался умилиться, но выдал своё брезгливое недоумение Бангор, трогая вензельной вилкой содержимое в ажурных фарфоровых лепестках десертной тарелочки. – Селёдка?

– Сэ-эльдь... – выдал важно седовласый кельнер в малиновом жилете, похожий на университетского преподавателя, каковым он, скорее всего и был в былой жизни.

Смотрелся он солидно, но в ресторанном ремесле путался, и называл

минеральную воду «федеральной водой», видимо, стремясь подчеркнуть её статус... Это заставляло комично-услужливого капитана всё время панически тушеваться.

Впрочем, закуски длились недолго. Потанцевав для приличия немного под медленную музыку романтической коллекции с приглянувшимися девчонками, Бангор и Фельдман увели каждый свою в «отдельные номера». Гера Каймаков поступил аналогично, едва дотерпев, пока гости сделают первый выбор – впрочем, девки были как на подбор, и особой разницы этот грубоватый братан в них всё равно не видел...

Ранаев остался с капитаном и прислугой, прогнал весьма струхнувшего от такого обращения официанта и сам стал наливать себе коньяк. Попутно отплёскивал и капитану, чтобы не пить в полном одиночестве.

– Нам самое главное – что? – спрашивал Костя капитана, всё равно умевшего только кивать и поддакивать. – Нам самое главное – сохранить и продержаться...

– Продержаться докуда? – услужливо поинтересовался капитан, чтобы не молчать, как кукла.

– Хороший вопрос! – похлопал его по галунам и позументам широкого плеча речника «Хозяин». – «Докуда» нам с тобою продержаться... А ещё один ты не задал...

– Виноват... – привскочил капитан, как на пружинке.

– Да сиди ты... Что сохранять-то? Тех, кто сами себя сохранять не желают?! – Костя одним рывком вымахнул целый фужер с коньяком, заменив этим винным инструментом полагавшуюся по штату маленькую рюмку.

– Я говорю... – откровенничал Ранаев, дыша перегаром. – Там! – он показал пальцем в пластиковый потолок кабины, над которым раскинулось роскошное свето-гроzdное, уральское летнее чистое звёздное небо. – Говорю... Наркомафия... Мне знаешь, что говорят? Их, говорят, кто-нибудь заставляет?! Ну если они сами не против, ты-то, главный выгодополучатель, куда лезешь?! Ты же и срать-то, говорят, скоро паюсной икрой начнёшь, ты зачем смуту вносишь в процесс?!

«Кого спасать-то? Осталось ли кого спасти? И что сохранять – осталось ли? И продержаться – правильно спросил этот швейцар у парадного подъезда – до-ку-да?!».

За гранёным стеклом обзорного экрана пульсировали равнодушные большие, словно бы приблизившиеся в чистом загородном воздухе звёзды. Для них человеческие пузыри – настолько мгновенны, что и заметить невозможно, где закончился Александр Македонский и начался Миша Горбачёв...

Наверное, об этом, именно об этом пытались сказать Ранаеву во время «разговора по душам» в столице...

– Удивительный вы человек, Константин Феликсович... – сказал главный рыжий приватизатор, и посмотрел с подвывертом, очень пронзительно, словно препарировать Ранаева хотел. – Первый раз вижу, чтобы один и тот же персоналий поддерживали и «красные директора» в Тэ-Пэ-Пэ, и воровские авторитеты на «маяке»... Выходит, у вас личное обаяние на высоте...

– С директорами я давно работаю... – скромно жался Ранаев, как будто пописать хотел. – А с блатными... Вы же слышали, что у нас в соседней области беспредел был, двенадцать «законников» завалили... Наши

опасаются большой крови... Пришли ко мне, сказали, что я «умный» и «совестливый»...

– Хорошая характеристика! – осклабился Рыжий. – Особенно если учесть, что она от матёрых рецидивистов... В губернаторы метите, Константин Феликсович?!

– Ну почему сразу... – растерялся Ранаев.

– Не сразу! – осёк Рыжий. – Мы к вам туда в глубинку идиота поставим... Так вернее будет, а то... – Рыжий на миг задумался, но решил договаривать. – За идиотом присмотр нужен: вот вы и будете присматривать, вы же умный! И за вами присмотр нужен... Тоже... Идиоту я этого не скажу, потому что он ведь идиот... А вам скажу прямым текстом: вы же умный, всё равно догадаетесь... Только не один вы умный, Константин Феликсович... Я ведь сразу понял, что нет у вас под заповедником никаких хромовых руд...

– А при чём здесь я... – залепетал, потея под пристальным взглядом убийцы миллионов Константин. – Это геологи... справку...

– Не надо... – скривился Рыжий. – Люди мои заповедник на кругляк срывать хотели? Хотели... Вы с ними спорить не стали, потому что просекли, что они мои люди! Хвалю! И потому вы, любезнейший Константин Феликсович, подсунули это фуфло про хромовые руды... Время протянули, лесозаготовок в Крае не ведётся, и рудных разработок тоже не ведётся... Ждёте, когда меня повесят? Не ждите... Вместе на одном столбе висеть будем, вы и я...

– Дело в том, что разработка хромитов действительно перспективнее лесозаготовок...

– Перспективнее, если бы они были! – ударил по столу Рыжий. – А только сдаётся мне, что ты, сука, русского леса пожалел... Вы же там все на местах жалостливые... Хотите, хитрожоппы, и рыбку съесть и раком сесть?! Думаете, и виллы в Испании купить и патриотами себя выставить?! А мне деньги нужны, мне на ваши вековые боры шишкинские насрать! Потому что всё на деньгах стоит, понимаешь, ты, сучара хитрожоппая, – чтобы танки по Кремлю не стреляли, надо с генералами делиться! А если нас сегодня сметут – любоваться своими лесами русскими ты, Костик, будешь на лесоповале, с пилой в руках... И не в К-ве своей, а много-много северо-восточнее...

Так и познакомился впервые Ранаев с Фокой Лукичом Паяцковым...

– Губернатором ты не будешь, я об этом позабочусь... – мрачно пообещал рыжий приватизатор. – Хочешь гордиться, что ты последний римлянин среди вандалов, – гордись на здоровье... Если подумать, такие, как ты, тоже нужны... Но за всё, Костя, надо платить... Поедет к вам губернатором Фока Лукич Паяцков! Он тебя захочет первым делом съесть – да ты не бойся, если что – мне звони... Но сразу предупрежу, чтобы потом не обижался: если ты этого несчастного идиота схарчишь – я первый буду, кто узнает и накажет...

Новый губернатор К-кого края Фока Лукич Паяцков имел одну интересную особенность: на третьей фразе публичного выступления у него отключался мозг, а речевой аппарат продолжал работать...

Это сделало его одним из самых ярких политиков 90-х. Это же его и сгубило. Как и непонятные в этом алкаше и холуе аристократические замашки. Вроде пристройки оранжереи с тропическими птицами к своему кабинету...

...Вот они, степи к-ские, необозримые... Поле, едет комбайн. Вдруг перед комбайном садится вертолет. Из вертолета выходит Паяцков со свитой,

подходит к комбайнеру. Тот стоит ошалевший — он начальства старше главы сельсовета в жизни не видел.

— Так! — хлопает его по плечу губернатор. — Как зовут? Семья? Дети есть? Отлично! А это что у нас тут?! Почему, бл*дь, колос за собой оставляешь?! Аккуратнее надо, *б твою кукурузу.. — потом вдруг сменил гнев на милость:

— Ладно, молодец...

Снимает с руки «командирские» часы и вручает мужику. Все садятся в вертолет... Ранаев, прочувствовав момент, снял с руки золотой «Ролекс» и протянул молча губернатору. Тот так же молча принял и застегнул украшенный бриллиантами браслет...

Снова остановка: Паяцков увидел сверху группу мужичков на «нивах», которые, судя по их виду, собирались заехать в лесопосадку. Приказал сесть на свежескошенную стерню примыкавшего к лесополосе поля, и выскочил снова общаться с народом...

«Часов-то на сегодня у меня больше нет!» — мысленно усмехнулся Ранаев. Но и сам Паяцков был не такой дурак, чтобы «Ролекс» дарить встречным «шир-нар-массам» (что на его сленге означало «широкие народные массы»).

Отчитал губернатор мужичков за приписанное им намерение, и в заключение выдал фразу, достойную быть запечатлённой в бронзе:

— Смотрите! Сами в лес не заезжайте, и кого увидите в посадках — берите шило и прокалывайте все пять колес!

Что он имел в виду? То, что нарушителю экологии нужно в багажнике запаску тоже проколоть губернаторским шилом из одного места, на котором Паяцкову никогда спокойно не сиделось? Не было в новой жизни ответа на такие вопросы...

Как-то затейник Гера Каймаков изготовил плакат, на котором большое изображение Паяцкова, вещавшего с трибуны, увенчивалось знаменитой его, на всю Россию прогремевший фразой: «Нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Поэтому мы будем двигаться через неё маленькими шажочками».

А вы говорите — пять колёс прокалывать велел... Ранаев посмеялся, а потом порвал дурацкий плакат и велел Гере больше такой ерундой не заниматься.

— Как ни крути, Гера, а мы с ним в одной лодке!

— Так я же тайн военных не выдаю... — оправдывался Каймаков. — Это же он на российском телеканале центральном брякнул...

— Ну.. Теперь забывать стали, ворошить не нужно...

Забудешь тут, пожалуй! Пока Ранаев на мелкие клочки рвал шутовской плакат, Паяцков успел вылезти с новым перлом, который Россия месяц потом смаковала, покруче всякого КВН:

— Я сам себе же поставил памятник. На улице Рабочей в виде роддома...

Смех и слёзы в этой немислимой, невообразимой жизни пост-советского края так перемешались, что разобрать, где одно кончается, другое начинается — было просто невозможно. А вокруг мелькали и суетились люди с прожекторами, один безумнее другого: кто-то хотел назад, в СССР, кто-то, напротив — был полон решимости «тянуть зуб мудрости» клещами реформ до полного отрыва...

Странно, но ретроградами оказывались почему-то люди более обеспеченные, более устойчиво стоящие на почве практики: может быть, потому, что они умнее? Наиболее оголтелый либерализм сыпался на Ранаева почему-то от наиболее нищих прожектёров, порой стоявших одной ногой в могиле, но упорно требовавших себе лопату — дозакопать...

Тем, кто хотел назад, — Ранаев объяснял всю несбыточность и утопичность их планов:

— Как можно вернуть советскую власть, дурья ты голова? Издать указ, что она возвращается? А она что, куда-то уходила? Ну, издашь ты указ, люди, устав от всего этого дерьма, может быть, даже тебе поплодируют... И продолжат заниматься каждый своим, что он делал до указа... Пойми, нельзя приказать гнилому яблоку стать обратно свежим! Хорошее общество могут построить только хорошие люди! А если вокруг тебя дегенераты — то либо ты их приберёшь, либо они тебя убьют, вот и всё...

Госдума РФ одним из первых своих актов признала незаконность Беловежский соглашений и «восстановила» Советский Союз. Вышло всё точно по Ранаеву: люди порадовались, поликовали — и... забыли! Державы не создаются бумажками и не восстанавливаются бумажками...

— Константин, друг! — советовал один из заместителей, Гера Каймаков, — Нужно понять главное: проблемой для человека становится только то, на счет чего он заморачивается! Зачем ты мучаешь себя?! Если ты перестанешь думать про распад империи — он для тебя перестанет быть проблемой... Если ты не станешь думать про вымирающие миллионы — они тоже оставят тебя в покое... Какое тебе до всего этого дело — когда у тебя собственная фирма?! Занимайся ею, и просто забудь про всё, что её не касается...

Может быть, поднатужившись и скинув балласт «лишних» знаний — Ранаев смог бы забыть и про распад Державы, и про миллионы лишенцев... Державе он не царь, а лишенцам — не отец... Гибли и прежде империи, вымирали и раньше люди миллионами... А история шла дальше, мимо трухи опрокинутых пограничных столбов и косточек собственных жертв...

Но было ещё кое-что в зловещей, свистящей паровым свистком холодной мгле времени, кое-что, по правде сказать, пугавшее Ранаева больше, чем смещение границ и горы трупов...

Воспитанный дедом-художником в почтении к мировой культуре, к вечности, передаваемой бережно из рук в руки, от поколения к поколению, в коробке «не кантовать», Ранаев не мог не отметить ЭТОГО. А именно — потрясающей бесплодности новой эпохи, в которой суровое зверство правителей не противостояло слабоумному скотству толп, но напротив, плетёно сочеталось с ним. Эта эпоха не строила на костях плебса Петербургов, но напротив, с тем же количеством костей и пыток — все мыслимые и немыслимые Петербурги разрушала.

А это значит, что человек, решивший смириться с временем царя-самозванца Бориса, должен смириться не только с утратой этики, но и с утратой всякой эстетики. Новая аристократия ошалелых паяцев, опьяневшая от большого хапка, — разрушала культуру впереди тёмных масс, так что тёмные массы оказывались всякий раз в истории хранителями культуры... Бомжи подбирали выброшенные из «хороших домов» на помойки книги классиков, дворники утаскивали в дворницкие бесценный антиквариат...

А баран-губернатор, возлюбленный царем Борисом за совместные пьянки, полетел с Ельциным в Америку (Ранаев думал, что хоть на пару недель вздохнёт спокойно) — и там, с какого-то перепою, был представлен Самозванцем как преемник.

Самозванец менял своих преемников с каждой поездкой, но Паяцков так возгордился, что тут же, в своём фирменном стиле, заявил в объективы камер телекомпаний всего мира:

— Билл Клинтон — классный мужик! Завидую Монике Левински!

Эту новость, заставившую хохотать весь мир, от Аргентины до Новой Зеландии, как сенсацию Ранаев впервые увидел по «Евро Ньюс»...

Горя не чуя, завтракал он у себя в загородной резиденции, в поместье Чурилово, переименованном неистовым Паяцковым в Столыпино, на полуоткрытой мраморной веранде. Маленькая чашечка кофе, яичница из перепелиных яиц, лёгкий творожок с зеленью... Пение соловьёв в кустах бурно разросшейся сирени, добежавшей почти до самых резных каменных перил террасы... Телевизор на подвесной турели в уголке...

А на экране знакомый до боли образ начальника, с сообщением на всех языках мира: вот, этого человека царь Борис в присутствии Билла Клинтона назвал своим преемником, а преемник, оплывая маслами и парафинами счастья, сверкая поросычьими глазками, — объявил, что завидует Монике Левински...

— Твою мать!!! — заорал Ранаев, прыскавая кофе и бросив столовое серебро на скатерть с такой силой, что нож и вилка разбились, соответственно, фарфоровый молочник и блюдец с маслинками... — Идиот!!!

Зазвонил мобильник. Звонил пресс-секретарь царя Борис Ястреб-Женский.

— Костя, видел? Что делать будем?!

— Ну а что тут сделаешь... Выступи с заявлением, что это особый гостевой юмор Бориса Годунова... Мол, шутка была, а вы и не поняли...

— Костя, ты понимаешь в каком мы все дерьме из-за твоего Паяцкова?! Преемник в тот же день, как его короновали, завидует вафлёрке! Ну, ладно бы у нас, а он же на весь мир! На весь свет...

Но Паяцков был в ударе. Статус преемника царя пьянил его, внимание мировых СМИ, собиравшихся по первому его щелчку, — безумно льстила. К вечеру Паяцков рассказал «всем-всем-всем», что решительно намерен легализовать в отдельно взятом К-ком крае проституцию, и даже назвал место, где возведёт первый легальный бордель: в городе-спутнике Балаково...

Ястреб-Женский уже и не звонил Ранаеву, понял, что бесполезно, сам выкручивался... Перед всем миром, несмотря на все его усилия — вставала картина крон-принца некогда-Римской некогда-империи, мечтающего пососать у американского президента и завидующего публично тем, кому это уже удалось...

— Он у себя на малой родине церковь построил, — добивал Каймаков, зашедший, в связи со всемирным скандалом, показать досье на Паяцкова. — Там на всю стену фреска, где он изображён в тунике, с нимбом, под видом святого...

— Это уже мелочи! — отмахивался Ранаев, понимая, что плохо «присматривал» за идиотом, и что оргвыводы могут сделать не по одному Паяцкову...

Однако в общей обстановке распада и разложения американские похождения Паяцкова быстро сошли на нет и оказались затянуты тиной новых скандалов с другими губернаторами, ещё более тупыми и хищными, чем даже эта гиено-свинья...

По мелочи Паяцков ещё несколько раз опозорил Смотрящего-Ранаева: когда хотел за что-то плохое или в качестве поощрения (хрен уже поймёшь!) отправить краевого уполномоченного по правам человека... в космос. И, вырвавшись от присмотра, стал радостно, как псих, рассказывать это на пресс-конференции, где запись вели, к несчастью, кроме покорных местных — ещё и московские журналисты-приколисты...

Когда зачем-то выпросил у губернатора Подмосковья Громова танк «Тигр» на выставку боевой славы, а отдать... забыл. Танк отдали в итоге по приказу

Ранаева — когда дело уже дошло до суда... Это были неприятные уколы для самолюбия Кости. Но с Моникой Левински ничто уже не могло сравниться или превзойти накалом...

Когда в Кремле уселся узурпатор византийского древнего трона, маньяк-потрошитель и одновременно с тем расчленитель тысячелетней империи... то вместе с Узурпатором, Потрошителем и Расчленителем в мир вошло великое Зло.

Но вошло оно не так, как ждут люди великое Зло. Не так, как ждал матушкиного проклятия Иудушка Головлёв — полагавший при сём действе всенародный сход, разверстый храм и удар грома с молниями... Великое Зло вошло бочком, скромно, почти незаметно. Оно было сереньким и имело красный клоунский нос...

Ранаев не мог понять стыка. Вот в памяти его, цепкой и глубокой, старая жизнь — пресная, вегетарианская, скопческая, бледно-дистиллированная. Жизнь, которую КПСС занудно разливала поровну мензуркой, сперва хотя бы по стопкам, а после антиалкогольной компании и вовсе по кефирным гранёным стаканам, всем поровну...

А вот, без всякого перехода — новая жизнь, наполнившаяся в одно мгновение немисливо-уродливыми, когтистыми, клыкастыми, безмозглыми мохнатыми тварями из преисподней... Что страшнее этой нелюди, приведённой снизу Узурпатором и Расчленителем, видело человечество?! Страшны и дики были феодалы — но ведь и они, при всех их пытках и зверствах, кому-то служили — королю ли, римскому папе, хотя бы уж Бафомету, если вести речь о тамплиерах... Страшны были фашисты, заживо сжигавшие белорусские деревни, — но ведь не свои, немецкие...

А те, кто пришёл с Расчленителем — превзошли всё, что прежде видели глаза человеческие. Это и спасло засевшего в Кремле негодяя-алкоголика: будь он менее масштабен в своём злодействе, сохраняй он хотя бы тонкую нить, соединяющую с чем-нибудь человеческим, — его бы свергли, изгнали, как Лжедмитрия через год или три года...

Но масштабы пришедшего зла были столь неоглядны, а само оно настолько нечеловеческое, что людские умы попросту отключились, выпали в какой-то интеллектуальный обморок, эмоциональную кому, как случается, когда боль сильнее, чем способен вынести человек.

Существовало великое таинство прежней жизни — выносившей, выпестовавшей в себе гадину, но при этом как-то связанной с умом и совестью.

Существовало и великое таинство новой жизни, для которой ошеломляющим маневром извлекли откуда-то из болотных топей десятки, сотни миллионов людей, лишенных ума и чести, прошлого и семейных преданий. Людей, лишенных даже самых простейших представлений о культуре и праве, не принадлежащих ни к какому народу, ни к какой традиции...

Сотни миллионов оголтелых, хрюкающих скотов — голодных и пожирающих друг друга, аннулировавших пять тысяч лет предшествовавшей их выходу цивилизации...

Как это возможно вообще? И как это могло совмещаться с космодромами, с атомными электростанциями, с электропроводкой и центральным отоплением, ведь ещё и остаточные космонавты кружили над планетой на ещё не упавших орбитальных станциях, когда пришло великое Зло...

В этом великом Зле мгновенно растворились и средства, и смыслы и цели

человеческого существования. Жить стало нечем и незачем. Страну застлал кровавый дурман, в котором убийства чередовались с варварскими плясками на костях, пытки сочетались с эстрадными песенками, кошмарная погань сочеталась мозаично с детской слабоумной инфантильностью...

...А мозг разумного человека понять и вместить этого не мог... Человек из XX века среагировал бы, если бы попал в мир каннибалов...

Но он не среагировал на обратную ситуацию, когда мир каннибалов попал в него!

Даже в самые лютые годы политических репрессий — убивал всё же кто-то и кого-то, а тут убивали все всех и никто никого отдельно взятыми... Вершилось какое-то тотальное преступление, в котором не было ни отдельного преступника, ни отдельной жертвы, а было лишь поглощение самого себя, как будто безумец обглаживает до кости собственную ногу, жадно засунув её в рот...

Отец Константина, Феликс Георгиевич Ранаев, привёл с собой на приём к державному отпрыску какого-то своего инженера или контролёра с завода гибких валов, на котором без малого уже тридцать лет оставался директором. В огромном и роскошном, сверкающим «евро-детальями» кабинете «хозяйина Края» оба растерялись: отец слегка, а его дружбан — совсем сильно.

Он был напуганным, пришибленным, с прозрачными, бесцветными глазами и удивительно честным лицом заводчанином, который в новой жизни не понимал решительно ничего и нигде. Отец, впрочем, недалеко от подчинённого ушёл...

Говорил, в основном отец, его протеже лишь трусовато кивал и поддакивал в ключевых местах. А отец говорил по-советски, с наивной суровостью, с которой в былые годы резать правду-матку к нему врывались в промасленных спецовках рабочие-рационализаторы...

Он рассказывал про безобразную ситуацию: сын мэра, юный избалованный повеса, изнасилował дочку этого, доставленного им на верхний уровень «небоскрёба Ранаева», терпилы. Ситуация там вышла в чём-то неоднозначная, дочка, вроде как, в компании себя как-то неправильно повела, но главным образом, конечно же, насильник — сын сити-менеджера... В итоге все кривоохранительные наши органы разбираться отказались, и семейство, хорошо знакомое Феликсу Георгиевичу много лет, — сильно страдает от такой чёрствости и бездушия прокуратур-макулатур...

А Константин, глядя на возмущённое, фарфорово-подчёркнутое старостью пасторальное личико отца, думал, как мало, в сущности, он знаком с этим человеком, подарившим ему жизнь... При живом отце вырос безотцовщиной, потому что у папы всё время то квартальный план летел, и был аврал, то трансформаторные будки сгорали, и был разбор... И вот получился в итоге человек, с которым много лет этот визитёр ночевал под одной крышей, не более того... А когда человек по имени Костя съехал — визитёр нынешний этого, кажется, и не заметил... Он приходил, когда Костя уже засыпал, а уходил с утра, когда Костя ещё спал...

Любит ли его Константин Феликсович? Конечно, да. Но как мало, Боже, как мало понимает папа в современных делах!

Теоретически, если бы этот молодой стрекозёл, сынок мэра, изнасилował бы самого Феликса Георгиевича, старенького дурачка с неизменным кронциркулем в нагрудном кармане тёртого пиджака, — наверное, месть сына

поняли бы бандиты, правящие страной. Одобрили бы и не стали «возникать»... Сын за отца, и всё такое...

Но ведь старый пенёк привёл ничего не значащего заводского технолога, которого давно бы уже сократили, давно бы уже и в живых не было — если бы великий сын не опекал особо завод гибких валов своего папы!

И ради незнакомого человека, с которым отец тридцать лет закуривал сигарки возле никому не нужных станков предприятия «оборонки», — сенатору Ранаеву предлагается войти в прямой конфликт с градоначальником миллионного мегаполиса! Шутка дело, да? А ведь он не «просто так», как и все в этой жизни, мэ-то К-вы... «Просто так» — только Костин папа Ранаев-старший с его никому не нужным заводом гибких валов, потому что Костя щадит папино самолюбие и покрывает папу инкогнито...

А мэ-то не с дуба рухнул! Его ставили, его опекают, за ним хорошо знакомый Константи́ну клан... Только сунь палку в этот муравейник, такое начнётся!

Семейка мерзкая, что и говорить... Ранаев знал, что у сына мэра репутация «второго Берии», что замятое дело об изнасиловании — уже третье в К-ве. Видимо, это существо испытывает какую-то особую потребность в насилии, просто так, с «согласными», его, видать, не «вштыривает»... Да, Ранаев в курсе, что он выродок, и папа у него выродок, и вся их порода — выродки... Ранаев вообще в курсе всех дел, которые творятся в ЕГО краю. И что?

Барабания пальцами по зеркальной рубиновой полировке стола с золотым, в бриллиантах, письменным прибором — Константин устал слушать папины инвективы, и, преодолев сыновью почтительность, перебил мрачно:

— Понятно это... А от меня вы чего хотите?

Возникла немая сцена. Видимо, отец по дороге сюда своему технологу не то обещал... Тёмное равнодушие сына к трагедии близкого ему человека заставило отца покрыться пегими пятнами то ли гнева, то ли недоумения...

— Как чего?! — пробормотал отец, и Костя разглядел в нём первые признаки приближающегося маразма. — Покарай...

— Я?! — улыбнулся загробной улыбкой вампира Константин. — Кого? Сына мэра? Или сразу уж самого мэра, за то, что выродков плодит?!

— Ну ты же сенатор! — лопотал отец, сам не зная, что говорит. — Ты же выше какого-то там мэра... Что он тебе может сделать?!

Объяснять папе устройство страны «по понятиям» — о том, что существует зональность, секторальность, что «братва» внимательно следит — не зашёл ли кто на чужой участок, — было бесполезно. Поэтому Константин поступил иным образом. Набрал по селектору одного из своих замов, тесно связанного с тёмными делишками и оружейной комнатой, Геры Каймакова, и попросил зайти.

И снова висело звенящее молчание — пока не явился Гера...

— Гера, — спросил Ранаев-младший, когда громила со шрамом на левой брови показался в дверях. — Мы с тобой сможем найти чистый «ствол», чтобы на нём никаких дел и жмуров не висело?

— Об чём разговор! — разлыбился Каймаков, похожий на драного в собачьих боях, массивного волкодава.

— Ну, вот и хорошо... — закивал Константин. — Дорогой товарищ... Как вас?

— Павел Львович... — подсказал технолог.

— Так вот, Павел Львович... Хотите мстить — мстите. Ваша дочь, ваше право. Оружие мы вам дадим нулёвое, с отличной убойной силой... Друзья

моего отца — мои друзья, считайте эту волюну моим подарком, вы ничего за неё не должны мне...

— И что? — не понимал Павел Львович.

— И то. Пойдёте и застрелите вашего обидчика в удобном для вас месте. Потом попытаетесь скрыться, но это уж как повезёт...

— Да как же?! Да что же?! — закудахтал пустоглазый технарь, завертев головой по сторонам, но преимущественно с мольбой взирая на своего директора Феликса. — Да я сам что ли?! Так, а... Я и не умею... Я же никогда...

— А какие у вас варианты?! — начинал разгоняться на крик Костя Ранаев. — Чтобы я за вас пошёл мстить за вашу дочь?! Или своего человека послал на мокруху, чтобы вы мне потом спасибо сказали?!

— Костя, но ты же как сенатор мог бы... — забормотал отец Ранаева.

— Ничего я не мог бы!!! — уже орал Константин Феликсович. — Вас таких, потерпевших, сотни миллионов! Вам уже сигары в ухо бычкуют, как в пепельницу! А вы всё ждёте дурака, который вместо вас за вас мстить пойдёт?! Вы страну свою просрали, жизнь свою, работу, жильё, средства к существованию — вы всё просрали, потому что вы евнухи!!!

— Извините... — технолог-терпила вскочил со стула, чуть не опрокинув его и завертелся волчком под испепеляющим взглядом «крёстного отца», в этой ситуации — сына его начальника. — Извините... Я не так понял... Вы меня не так поняли... Я думал... Феликс Георгиевич...

— Сядьте! — уже приказным тоном, как своим подчинённым, рявкнул Константин. — Не мельтешите, Павел Львович...

И тот покорно сел — как покорно готов был бежать от гнева Хозяина...

Ранаев охватил ладонями свои, всё глубже врезавшиеся в лоб, залысины. «Это твой Край... — стучало в висках, — Ты смотрящий... Третий случай безнаказанного изнасилования, явно не последний... Как эта мразь смеет регулярные сафари устраивать в ТВОЁМ регионе?»...

Ранаев думал. Закурил поданную Каймаковым сигару, плеснул в конический хрустальный стакан вискаря, выпил. Показалось мало, в горле шелушисто першило пустынными суховеями. Снова налил — и снова вымахнул в напряжённой и нетерпеливо-ждущей мушинокрылой тишине...

И почему-то навязчиво всплыли в памяти блатные аккорды:

*...Там, за красным столом... Одурманенный дымом...
Прокурор осушал за стаканом стакан...*

В былой жизни — там, где были миллионные тиражи у литературных журналов, и где начальство принимало просителей не только, чтобы отвязаться от них, — были и такие чудачки, как прокуроры...

Они и сейчас якобы есть — как якобы остались библиотеки и якобы публикуются якобы книги... На самом деле, конечно, ничего этого нет — и Костя Ранаев теперь заместо прокурора... И вообще заместо всех...

Потому что в этой смрадной мгле нет ничего, кроме имитаций-пересмешников, Видимости, видимости — за которыми нет содержания. На бутафорских фанерках плоские паспарту — «типа прокуратура», «типа милиция», «типа суд»... А будет всё так, как Ранаев решит...

А он, Ранаев-то, давно уже не знает — по совести он решает, или дикий произвол свой «совестью» назвал... Свериться-то в чёрном тумане среди кислотных айсбергов, где отчаянной болью перекликаются гудками тонущие пароходы, — не с чем: ни компаса нет, ни звёзд не видно!

– Ты же умный... и совестливый... – надавил отец на больное место.

– Я не знаю, кто такие глупые слухи обо мне распускает! – рассердился Константин. – Но ты-то, папа, зачем эти сплетни повторяешь?

– Но ты же хозяин Края! – взорвался отец, который, по старости и директорскому своему статусу к возражениям не привык.

– Это, папа, сильно преувеличено народной молвой!

– Извините... Извините... – торопливо и скомкано бормотал папин друг. Потом вдруг вскочил одним порывом – и... убежал.

Возникло долгое и тяжёлое молчание среди оставшихся.

– Мне стыдно, что ты мой сын! – наконец, выдохнул Феликс Ранаев, как проклятие, и гордо встал, давая понять, что разговор окончен.

– А тем не менее я твой сын! – встал навстречу грозный Константин. – Думаешь, дёшево мне обходится, чтобы ты оставался на заводе гибких валов директором?! Думаешь, это просто так, задарма твой завод из плана обязательной приватизации, там, у самого Рыжего, выпал?! И к тебе никто не приходит, папа, ни с битой, ни с вольной, ни с кастетом?!

– Так ты что же... – лицо отца мгновенно посерело, он сам стал как-то уже, словно бы его с боков сплющило. – Так это ты... Ты, что ли...

Казалось, старого индустриала Феликса сейчас хватит инсульт. Но Константин Феликсович уже не мог сдержать обиду, и выпалил, не подумав:

– А ты что думал, папа? Что кому-то в современной России нужны твои гибкие валы?! Или что кто-то сегодня твой трудовой стаж и заслуги оценит?! Держи карман шире, батя! Это я! – Константин кричал надрывно и истерически: – Это я запретил тебя трогать!!!

– Ну что тебя так расстроило? – спросила вечером Олеся в шёлковом халате, подходя к угрюмому мужу сзади, обвивая шею руками, целуя его в лысеющую маковку мыслителя. И добавила игриво, проводя по затылку грудями: – Может быть, твоя девочка может тебе чем-нибудь помочь?

Ранаев рассказал весь неприятный случай с отцом и его другом. А что? Лесенка – баба умная, любое дело разрулит... Так и вышло...

– Погоди-ка, я сейчас! – сказала она, меняя воркующе-эротичный тон на деловой, металлический (недаром про неё в центральных таблоидах выходили фоторепортажи с заголовками типа «Гуляй, шальная императрица!»). – Только к сейфу схожу..

И она принесла из домашнего сейфа Ранаевых, в те времена уже больше напоминавшего целую комнату, со шкафами, отделами и маленькими сейфами внутри, – мятый обрывок бумажки, какую-то записку, вроде тех, что влюблённые школьники своим пассиям через парты передают...

– Это что ещё за эпистолярный жанр?! – удивился Ранаев.

– Пистолярный! – змеисто улыбалась Олеся. – Пистолетный. Ты почитай записочку-то, да осторожнее, не повреди... За такую бумагу миллиона долларов отдать не жалко...

Ну записка как записка. Оторвана, судя по её фактуре, от страницы в деловом ежедневнике. Корявым почерком начертано – наискосок, с явной привычкой класть резолюции:

«В случившемся виноват лично Паяцков. Прошу иметь в виду». И витиеватая подпись мэра...

– Года два уж этой записке... – лыбилась чертовка-Ранаева. – Совещание было, когда сорок детишек в детском саду отравились... Помнишь, когда

этот му*ак специализированный комбинат питания отставил и своё ООО «Ягодка» вместо него кормить детей поставил? Его тогда чехвостили на совещании за его гнилую креатуру, мол, нашёл на чём зарабатывать, детям тухлятину скормил... Ну а он мне — как бы защищаясь — такую вот записку в президиум прислал...

«В случившемся виноват лично Паяцков. Прошу иметь в виду».

— То есть он имел в виду, что ООО «Ягодка» заменила советский комбинат питания не по его воле, а выше? — туго доходило до Ранаева.

— Он имел-то в виду это... — хихикнула Олеся. — А похоже на... Я два года в особом отсеке эту бумажку хранила, знала, что понадобится тебе...

— А похоже на предсмертную записку самоубийцы... — задумчиво закивал Ранаев, и клочок из блокнота сразу как-то потяжелел в его руках, сделался золотым и бриллиантовым...

— Строго сказать, Кост... — мурлыкала хищная кошка, подсаживаясь к мужу под бочок. — По градоначальнику у нас никаких тёрков нет... То, что он с твоим папой пошалил, — так никто не знает, и не он это, а сынуля его... На нас стрелки чё переводить? У нас сектора разделённые, мы к нему не лазим, он к нам... Даже как-то жаль его, пацан был правильный... — клоунничала Ранаева, к тому моменту — уже мать двоих детей, утирала невидимую, воображаемую слезинку.

— А только свёкор в чем-то прав Кост... И не по поводу девчонки я, девчонка дрянь, сама далась, надо компании умнее выбирать... Тоже, небось, фифа заводская, из Иморса, жениха-банкира ищет, в одной тусе с сыночком мэра просто так не оказываются... А вот только, Кост, я тебе скажу, как самый близкий человек самому близкому человеку: борзеет Паяцков-то, сильно борзеть начал... Вчерась зятька своего, кретина, поставил на Крайэнерго... Как писал Михаил Афанасьевич — если раньше электричество отключали раз в двадцать лет, теперь будут два раза в день... Да это ладно... Хуже, что с нами не посоветовался... Он с тобой советовался?

— Нет...

— Конечно нет, мой котик... Я же знаю, что ты сразу бы своей кошечке рассказал... Про мэра я плохого ничего не скажу, советуется... Но если он поможет Квашню убрать, то молодец будет...

Всё сошлось одно к одному. Мэр краевой столицы уехал в свой загородный коттедж и несколько дней там «бухал по-чёрному». В роковой день он «почему-то» отпустил прислугу (её в количестве трёх человек Беркут держал в гараже, на мушке, объяснив, что нужно рассказывать, когда спросят), а сам «застрелился».

Его нашли только через сутки, уже несколько опухшего не только от пьянки, но и от разложения, с аккуратной дырочкой в виске и пистолетом в руке. На столе перед самоубийцей лежала его собственноручная записка:

«В случившемся виноват лично Паяцков. Прошу иметь в виду».

Поимели в виду и это. Но расчёт коварной пантеры Леси на этот раз оказался неправильным: с таким «компроматом» Паяцкова не только не сняли с должности, но и закрепили там: удобно! Чтобы ни случилось — на всё пойдёт, чтобы выслужится перед покровителями «по мокрому делу»...

Не успели негодяя-мэра похоронить — пробудилась священная ярость в краевой милиции. Не то, чтобы там ждали случая — подогрел ярость Паяцков личным звонком начальнику УВД. Паяцков не понимал причин такого подлого поступка мэра, с которым был, в общем-то в дружественных отно-

шениях, и который подло оклеветал друга, упившись до смерти и по пьяни застрелившись...

– Подлая тварь, гадюка! – ругался в трубку губернатор. – Ишь чего накалякал! Я виноват, что он алкаш запойный! Гадёныш! Все дела по его семье поднимите, всё, что есть...

Шаловливый сынок мэра, в одночасье ставший никем, пошёл по всем собственным изнасилованиями, плюс на него и другие навесили от усердия. И уехал в зарешеченном вагоне далеко на северо-восток...

Потом позвонил папа, и проникновенным голосом сказал:

– Прости меня, Костя, сынок, я был не прав...

– Ну, а я-то здесь при чём? – ответил Константин. Хотя разговор и шёл без обозначения предмета – Ранаев знал, что его прослушивают, и попытался дать самую невинную интонацию...

6.

Сам собою задавался вопрос – как такое могло случиться со страной, людьми, народом? Но этот казённый и гладкий, как морской камень, вопросик был лишь оборотным «э» другого, главного вопроса: как такое могло случиться со мной?

История слишком быстро мотала чёрную, асфальтную ленту своей кинохроники. Не давала пауз осмыслить...

Вот ты в весёлой юношеской компании на пикнике – смеёшься, веселишься, балагуришь и вообще – «душа курса»... Вот ты склонился к уху товарища, друга, брата, соседа – что-то сказать анекдотическое... И вдруг понял, что твой брат и сосед – целый центнер мяса... И не стал рассказывать анекдот, а укусил... Он даже сразу не понял, что происходит... А ты впиваешься зубами всё глубже и глубже, пьянеешь с красного вина артериальной крови... И ты жрёшь того, с кем минуту назад обсуждал новый роман в журнале «Новый мир», жрёшь, потому что ты человек, ничто человеческое тебе не чуждо, а люди едят мясо...

Наверное, так выглядела приватизация со стороны – если бы кто-нибудь мог её увидеть со стороны. Упирь, загрызший друзей, соседей, родных людей, а может, и любимую девушку, которая ему шейку подставила, думая о поцелуе... Люди едят мясо. Люди – мясо. Следовательно, люди едят людей...

И вот через некоторое время, которое тебе лично, упившемуся кровью, показалось мгновением, секундой, – ты оглядываешься по сторонам. И начинаешь задавать казённый глупый комсомольский вопрос с укором: как такое могло случиться с народом, людьми, страной?

Где компании студентиков, читавших «самиздат», обтянутых шерстяными свитерами с вышитыми олешками? Почему вокруг тебя груды освежёванных и разделанных тел и облитые кровью упыри? А некоторые, аккуратные, упыри ещё сохраняют видимость себя прежних, не все растеряли очки и книжку под мышкой...

Некоторые и видимости уже не сохраняют: в своём оранжерейном пристрое к кабинету Паяцков сально и с нелепым в его возрасте (и при его половой принадлежности) жеманством фотомодели выламывался перед муляжом берёзки... Фотографы щёлкали вспышками...

– Извините, я кажется не вовремя... – смутился Ранаев.

– Да ладно, заходи... – заржал гостеприимный хозяин края. – У меня

тут выборная фотосессия... Видишь с берёзкой родной... — Паяцков изобразил позу почвенного мыслителя. Явно ждал одобрения. И нравоучительно заметил:

— Вот так, прислонившись к берёзке... думы думаются, и в слова выливаются...

Подумал, и добавил:

— Эх, хорошо тут! Ну ладно, пойдём в кабинет, у меня к тебе, Костя, разговор серьёзный намечается...

Паяцков давно уже мечтал взять Ранаева за жабры. Чувствовал, что Ранаев при нём соглядаем из центра состоит. И вот, как ему казалось, нащупал ниточку, чтобы затянуть на кукан:

— А как это так получилось, Костя, что ты теперь имеешь контрольный пакет завода «Промсвязь»? — прищурился с ленинским лукавством во взоре Паяцков. Играл в руке брелоком от каких-то неведомых дверей и ждал ответа. Думал, что в упор поразил...

— Ну, а что же такого? — играл невинность Ранаев. — Были акции ОАО «Промсвязь» у господина Алибарсова, родом из славного города Баку... Подумал господин Алибарсов, пораскинул мозгами и продал их мне... Всё, как положено, договор, регпалата, нотариус...

— А чё-то больно дешёво он тебе их продал, Кость?! — щерился Паяцков недобро.

— Ну, за сколько продавать, Фока Лукич, это ведь его дело... А мне тоже не резон выгоду свою упускать... — пожал плечами Константин.

На заводе «Промсвязь» в советские времена работало больше десяти тысяч человек... Оставалось около трёх... Алибарсов посчитал, что ему выгоднее закрыть завод и сделать на промплощадке торговые павильоны пополам с ангарно-складским комплексом...

Почти успел... Но потом передумал, и продал завод господину Ранаеву, сенатору от К-кого региона, как иногда ещё в шутку добавляли, «эсквайру»...

Плакал господин Алибарсов, завод продаваючи: алчным сердчишком закавказского проныры прирос он к этим раскидистым кварталам посреди миллионного мегаполиса... Думал о перспективах торгового центра «Садарак»... А вон как всё повернулось...

Дело в том, что подписывая договор, не-гражданин Алибарсов стоял в свежерытой могиле на городском кладбище, в тишине и птичьем пении, вдали от мирской суеты. Над кромкой ямы возвышалась только его голова, а доверенные лица Ранаева Кирьян и Беркут следили, чтобы она слишком оттуда не высывалась...

И это показалось уроженцу легендарного Баку, подданному шемаханской царицы, убедительным аргументом. Не нашёлся он, что против такого аргумента возразить... И подписал...

Потом, гадёныш, правда в милицию сбегал, несмотря на честное слово, что ворошить былое не станет... Но милиция она своя, краевая, она заявление брать отказалась, и ничего расследовать не стала... А один капитан прямо на глазах у обалдевшего Алибарсова, проклинавшего российскую коррупцию и административные барьеры для бизнеса, прямо при потерпевшем цинично позвонил родственнику, работнику кабельного цеха «Промсвязи»:

— Дядя Миша? Сокращение твоё отменяется... Да, поработаешь ещё... Ушли Алибарсова... Ранаев завод взял... Да, да, сам Ранаев! Не за что...

А потом капитан славянской внешности, но с фамилией поволжского немца, «не для протокола» сказал господину Алибарсову:

– Знаешь, коке¹, ехал бы ты к себе обратно в Баку... Если бы я мимо твоей процедурной проходил – я бы тебя там же и закопал бы... Молись на Ранаева своему богу...

Алибарсов уехал, но вскоре по поводу этого случая поступил звонок уже из столицы, из центра азербайджанской диаспоры, которая там сопоставима со всем населением города К-ы. И поступил не в коррумпированную милицию, а повыше: напрямую губернатору Паяцкову, по внутренней правительственной линии...

– ...Мы понимаем, Фока Лукич, – говорили с сильным и угрожающим турецким акцентом, – у вас выборы, электорат, популярность... Случай с Алибарсовым можно рассматривать вторым, а первым – предлагаем вам рассмотреть случай с вашим земляком, Николаем Потыкиным...

– Который инвестиционный фонд «Гунн» возглавлял? – проявил осведомлённость Паяцков в подведомственных ему делах.

– Он самый... Он сейчас тоже в Москве, и утверждает, что история его отставки «ничем не отличается от той, которая произошла с акционерами «Промсвязи»...

– Неужели правда?! – охнул Фока Лукич.

– Ну, только без кладбища... Пришли от Ранаева, сказали: «У тебя с партнёром 100% бизнеса, будет 25%, а остальное будет наше». Он отказался – и его партнёр тут же пропал... А потом он согласился, и партнёр вернулся. И до сих пор отказывается объяснить, где был... Предположительно – его вывозили на пикник, на природу, и стращали паяльником...

– Как можно на природе стращать паяльником? – недоумевал сметливый Паяцков. – Розеток же там нет...

– Для него нашли. Если вас так уж интересуют технологии – подключили паяльник к аккумулятору автомобиля...

– А ещё мне на тебя жаловался этот проходимец Потыкин... – интересовался у Константина «вооружённый знанием» губернатор.

...Потыкин хотел застраивать прибрежный микрорайон Княжегородку. Для этого нужно было снести те шалманы, которые там выросли за 100 лет слобожанщины... Те, кто в Княжегородке имели документы на домостроения, – без разговоров получали от Потыкина квартиру. Но таких было меньшинство... Большинство жителей – это бежавшие в 30-х в город от голода и раскулачивания крестьяне. В затопляемой бросовой зоне они рубили себе избы, ставили дома – и никаких документов на жильё не имели.

А поскольку их домики по закону уже лет семьдесят как самостроем были – Потыкин решил их снести безвозмездно, то есть, для себя, даром. Там тоже трагедии начались, как и на «Промсвязи», какая-то истеричка облилась бензином и зажгла себя, и в таком виде под бульдозер бросилась...

Приостановили снос, чтобы пригласить судебных приставов, потому что Потыкин был «европейцем духа» и старался работать строго по закону. Никакого нарушения он в своих действиях не видел, наоборот – он считал, что помогает городу сносить незаконно возведённые постройки... Поэтому и не послал Потыкин на баб и стариков «братву» синюю, а, преисполненный правосознанием, нанял на выселение сотрудников правоохранительных органов...

Это ему и помешало дело до конца довести. Пока неуклюжая административная машина раскачивалась, приводя в действие приговор суда – По-

тыкин перестал быть главным в инвестиционном фонде, ведущем Княжегородский проект, переуступил все дела Ранаеву..

А Ранаев не европеец, он бандюган конченный, про то всему краевому бизнесу известно из взаимного тревожного шёпота. Ранаев никакой самострой сносить не стал, а наоборот, полный правовым нигилизмом, помог узаконить самовольные постройки людям через фонд, выкупивший этот берег под строительство...

Как теперь объяснить свои мотивы губернатору? Долго все детали перечислять. Ранаев подошёл к окну кабинета Паяцкова и поманил его рукой.

— Чего ещё?! — недовольно отозвался грузный боров Паяцков, вставая с необъятного кожаного кресла.

— Посмотрите, пожалуйста, Фока Лукич...

— Ну, чего там?!

Площадь перед зданием Краевого Правительства была залита весёлым солнцем и совершенно пуста. Даже машин парковалось в этот день почему-то меньше обычного. Дылда-милиционер, нескладный, как цапля, ходил от нечего делать туда-сюда, охраняя дальние подступы к обители власти...

— Видите толпы протестующих с плакатами, Фока Лукич? — поинтересовался Константин.

— Нет...

— И я не вижу... А они бы были... Вот слева, видите, у паркета... Там бы три тысячи сокращённых с «Промсвязи» стояли, орала бы «Банду Ельцина под суд!» и ваше чучело на виселице держали... А слева, ближе к парковке, там человек двести новоиспечённых бомжей с Княжегородки обливались бы бензином и воняли прямо в вашу сторону горелым мясом... Хорошо было бы, Фока Лукич?

Губернатор рассмеялся. Грузно опёрся пудовыми кулаками на подоконник, покачал лысеющей башкой:

— Костя, ты умный человек... Я тебе доверяю... То, что разрулил — молодец... Но ты пойми, времена другие пришли, надо как-то чище работать... Как-то без этой твоей уголовщины, по закону...

— По закону... — грустно возразил Ранаев. — Соблазнительно звучит... Только по закону и Конституции «Промсвязь» закрыть положено, как решил её собственник и главный акционер... А Княжегородку бульдозерами разровнять, насчёт чего и решение райсуда имеется, ныне в архив пылиться отправленное... Потому как райсуд на стороне честно работающего инвестора, Фока Лукич...

— Это всё эта... «Шта», как Папа говорит... Несовершенство правовой базы, во! Хули ты, Костян, мне предъявы кидаешь, когда ты сам сенатор? От Края в Совете Федерации сидишь², зря мы тебя, штоли, посылали?! Жопу там протираешь, в верхней палате, а правовая база, видишь, какая неотработанная...

— Справедливый упрёк, Фока Лукич, — паясничал Ранаев. — Как и все ваши слова, справедливо отмечено...

В самую зимнюю стужу вздумалось чокнутому губернатору открывать памятник Петру Столыпину на центральной площади столыпинского посёлка переселенцев Буреёво. Ранаев спонсировал начинание, как и многие другие — из числа невинных — забавы своего шефа, и потому оказался в составе делегации.

Круглый, толстый, выпускающий изо рта густые белые клубы пара, Паяцков был похож на паровоз. Глядя на него, скучающий Ранаев меланхолически думал:

– Почему летом нельзя было сделать? Бойтся, не доживет?

– Прекрасный памятник! – витийствовал Паяцков, и казалось – багровым, как рана, мясистым ртом он сейчас проглотит микрофон. – У Петра Аркадьевича прописано каждое выражение лица, ордена, каждая складка тела...

– Что он опять мелет? – устало сердился Константин Феликсович. – Кто ему речь писал?! Если на крокодила надеть колпак шута – то это будет портрет нашего времени... Будет каждая складка тела выписана, и каждое выражение ордена...

– Мы ошибались! – зыбко и зябко эхолотировала небольшая, привыкшая за прежние годы к бюсту Ленина, сельская площадь. – Мы не понимали всего богатства наследия Петра Аркадьевича Столыпина! Я из своего личного опыта расскажу: помню, как я строил коммунизм, у меня даже уши опухали, я все время там гонялся за горизонтом, хватал коммунизм за ноги...

Толпа насильно согнанных сельчан стучала валенком о валенок, тёрла отмерзающие носы и уши. Но Паяцков даже на морозе не умел говорить кратко...

– Один из главных уроков Петра Аркадьевича, который я отношу и к себе: рядом с государственным деятелем всегда должна быть очень сильная команда. Чтобы она не пристраивалась, извините, к заднице...

Поскольку фашисты в посёлок Буреево не дошли, ничего страшнее Паяцкова эта переселенческая деревня в своей жизни не видела, он был поистине вне конкуренции. В числе его обычных референтов, чуть ли не прижимаясь к его дублёнке от холода, стояла девушка лет 20, высокая и миловидная блондиночка, новый его «помощник», которого (которую) этот старый бесстыдник стал таскать с собой в командировки...

– Наверное, эта Анжела речь и писала... – хихикал про себя Ранаев. – Чувствуется отсутствие опыта текстовика...

После того как с памятника, на котором выписано «каждое выражение ордена и каждая складка тела» Столыпина, ниспало покрывало, и толпа жиденько похлопала варежками, глушившими аплодисменты, Фока Лукич потащил Ранаева с собой в сауну.

«Держи друга близко, а врага ещё ближе!» – думал этот агрономистый пройдоха, и самому себе казался необычайным хитрецом. Потому как куда уж ближе, если голыми сидеть на сколоченном из ароматного орехового дерева полке?

Сверху, ступенькой выше, так что затылки касались матовой кожи, – метра на два модельного роста улеглась совершенно голая Анжела.

– Ну чё? – щербато скалился этот колобок Паяцков. – Хорошо она речи пишет?

Анжела подняла кукольную головку в белокурых прядях, в её больших и невинных глазах читался страх: что скажет всемогущий Ранаев?

– Хорошо... – мрачно кивнул Константин, стараясь основательнее задрапировать свой срам простынёй. – Куда же лучше-то...

– Уф, хорошо! – потел пузатый Паяцков. – Ну, надо бы в бассейн окунуться... Ты как, Константин?

– Я повременю, – брезгливо отозвался Ранаев, не имевший никакого желания прыгать в маленький, отделанный лазоревым кафелем бассейн с этой свиньёй в губернаторской ермолке.

— А я не могу уже! — кокетничал Фока Лукич. — Здоровье не то, годы не те долго в парилке сидеть...

Звонко шлёпнул Анжелу по голой попке, и, подмигнув, приказал:

— Пошли, скупнёмся...

Они вышли вдвоём, голые, самовар на ножках и девушка формата глянцевого журнала, и до конца не затворили за собой дверь. К тому же дверь была матовой, полупрозрачной...

Ранаев в сауне уже совсем спёкся, как в детстве у бабки в духовке печёные яблочки, но он не хотел выходить, ему было противно выходить. Ему даже и отсюда видно было нестерпимо много из гнусной кухни современной политики...

Через зазор он видел, что новый «помощник губернатора» встала на колени и совершает какие-то ритмичные, раскачивающиеся движения, а полоумный хряк закинул от наслаждения голову, словно звёздами любоваться решил...

— Ну почему я должен всё это видеть?! — обиженно спросил Ранаев у Бога. Но Бог молчал. Давно молчал. Уже много лет Бог с людьми не разговаривал...

Стараясь не смотреть на влажный срам, Ранаев, подобный римлянину в белой тоге, вышел к бассейну. И повернулся к раздевалкам...

— А давай вот так... — слышал он за спиной до боли знакомый губернаторский голос. — Раздвинь-ка ягодки...

— Может, туда не надо? — звенел серебристый девичий голосок.

— Надо, Анжелка, надо... Душа упругости просит после бани, а у тебя дупло расхожено уже...

Ранаев стал торопливо одеваться. Он подозревал, что промешкай здесь ещё немного — ещё и не такое услышит, а ему на сегодня хватило с гаком, и Столыпина, и реформаторства...

...Он вышел через заднюю дверь самой роскошной на селе, принадлежавшей главе администрации, сауны, глубоко вздохнул и пошёл через какую-то ломкую, бурую ботву сам не зная куда. Над головой мигало небо — гроздьями неведомых миров... Особенно холодно было после бани, но Ранаеву стало на всё наплевать...

Холодный полумрак под звёздами... Холодный белый свет, ломаемый зыбью парного дыхания... скрипучая походка по искалеченному пинками и колёсами снегу сельской улицы... Глухие дома с антеннами и зловещим фиолетовым миганием телевидения из тёмного нутра...

Где-то сбоку и вдали возятся собаки, тревожно, обмороженными голосами перетягиваются на шорохи, не желая покидать налёженных тёплых выемок в соломе конуры... Фонари в колпаках, ослепшие через одного бетонные часовые дороги, пытаются подкрасить снежный наст золотистым оттенком ламповых кругов... Всё живо — и всё мертво...

Когда-то давным-давно, в семьдесят лохматом году, три мальчика-школьника пели на творческом вечере романс на стихи Лермонтова. Один из мальчиков несколько лет назад умер. Другой эмигрировал, и теперь, если верить легендам, — в Аргентине... А третьим был Костя Ранаев.

И пели они, вроде бы, в К-ве. А вроде бы — и в совсем другой, параллельной галактике, бесконечно чуждой этого мира, несовместимой с ним...

Повинуясь неожиданному порыву (общение с психом Паяцковым заразно) — Ранаев по-волчьи запрокинул лицо к Луне и попробовал давно не пользованный бархатный баритон:

*Выхожу один я на дорогу
Сквозь туман кремнистый путь блестит
Ночь тиха... Пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит...*

Замерзали на его крутых, чувашского склада, скулах мелким бисером непрошенные расслабленные слёзы. Хоть это и безумие — но он готов был поклясться, что как и тогда, в семьдесят лохматом году, звучат три голоса, и слышно именно три хорошо слаженных, долго репетировавших голоса! И если не опускать головы от небесной бездны, то прямо чувствуешь: слева от тебя поёт Михасик, который умер... А справа — Сашка, который в Аргентине, и неизвестно, жив ли... Волшебный сон уха — сон о минувшем, таком невозможном, но таком реальном...

Этот сон разорвал приятный голос Анжелы. Кутаясь в долгополую шубку из серебристой норки, она незамеченной оказалась рядом, и прокомментировала:

— Потрясающе!

Ранаев взглянул на девуцу: без Паяцкова она сразу выглядела умнее.

— Что потрясающе?

— Вы один поёте на три голоса... — созналась она с виноватой улыбкой, сомневаясь — не сойдёт ли за сумасшедшую.

— Ты тоже это слышала?! — изумился Ранаев.

Неужели правда, мертвецы пели рядом с ним, как в позабытых 70-х? Как такое возможно?! Но он слышал, и она слышала...

Поддавшись неожиданному порыву благодарности за этот немыслимостонкий слух, Ранаев вдруг выпалил:

— Анжела, хочешь я тебе работу найду?

Она смотрела на него умно и грустно, и он понял, что речь она написала хорошую, просто Паяцков сам испортил текст...

— Константин Феликсович, а зачем?

— Ну как зачем?! Больно мне смотреть на тебя, ты что с собой делаешь?! Ты же красивая баба, такие данные... И пишешь — значит, неглупая...

— Вот поэтому, наверное, Константин Феликсович, я возле губернатора, а не в сортире на вокзале... Фока экстравагантный мальчик, но в целом неплохой и щедрый... Ну, а к вам мне нет резону переходить: работать? Так от работы конидохнут... Или досуг? Так у Олеси Викторовны в застенках окажешься, чего доброго... Пойдёмте, нельзя на холоде после бани долго стоять, простудитесь... А меня не жалеите: я свою судьбу сама выбрала...

...После открытия памятника Столыпину Паяцкова понесла нелёгкая на кавалькаде его бронированных джипов открывать новое ремонтное Депо на железной дороге. По правде сказать, Депо было старым, просто его закрывали — а теперь за каким-то чёртом обратно открыли, но Паяцкова такие мелочи никогда не волновали...

...Ну, пройдёте! — предложил титулованным гостям директор Депо. Делегация развернулась, словно рота по команде, и прямо перед губернским «бомондом» возникла нечаянно затесавшаяся сюда бабка, торговка пирожками. Она нелепо застыла, глупо улыбаясь беззубым ртом, а в руках у неё дрожала огромная корзина, выстеленная замурзанной наволочкой...

Ранаева умилило это бесхитростное дело — кормить железнодорожных рабочих домашней выпечкой да снедью. Он спросил два пирожка с картошкой и сунул бабке не глядя, какую-то крупную купюру. Надо всей сценой висело всеобщее смущение нелепостью композиции...

Получив деньги, явно превышавшую всю её месячную пенсию, старуха стала нелепо старорежимно кланяться Ранаеву — так же неуместно, как ранее столбом стояла, попав под прицел внимания именитых особ...

— Будешь, Фока Лукич? — предложил Константин один пирожок Паяцкову.

Тот взглянул на своего сенатора, как на сумасшедшего, и не сразу нашёлся ответить. А когда нашёлся — то ответил всё одно глупо:

— У неё... эта... негигиенично...

Ранаев в знак протеста тут же закусил пирожок со всем простонародным аппетитом. Невелика демонстрация — а всё ж в пользу бедных...

«Ишь, нашёлся поклонник гигиены! — сердито думал Ранаев. — Письку совать в анальное отверстие ему гигиенично было, а пирожки у бабки — негигиенично... тьфу, пропасть!».

Одним из пирожков он угостил Анжелу. Она благодарно и немного печально кивнула — не за пирожок, конечно, а за то, что он один из всех завистников или насмешников в ней человека признал...

Это, в общем-то, и было всё, что он смог для неё сделать...

...Председатель Госкомимущества РФ Альфред Тиф посмотрел на приехавшего к нему «с данью» Ранаева, нескрываясь подсмеиваясь:

— А что, тебе Костя плохо живётся? На что не хватает?

— Дело же не в этом! — попытался объяснить Ранаев, хотя и понимал уже, что беседует с болезнетворной палочкой, бактерией, разросшейся до человеческих габаритов. — Доходы подогреваются трупами... Каждый мой день стоит кому-то жизни, судьбы, карьеры... Я день прожил, а кто-то целую жизнь за этот день отдал... Трупами каминны топим...

— Ну, горят-то они неплохо! — подмигнул Тиф. — Если ты в фигуральном смысле... Я аллегория люблю, Костя, понимаю аллегория... Потому что в реале трупы плохо горят... Ты, наверное, и сам уже убедился, а?

Тиф заглянул Ранаеву в глаза поглубже, он вообще был эпатажный весельчак, и любил шокировать собеседника.

— Ты чего пургу гонишь, Кость? Боишься, что на твой век трупов для каминна не хватит? Хватит, Костя, не такой уж он и долгий, век-то человеческий... Тебя за стол посадили, ты жри и заткнись... На твою жизнь трупов у страны хватит...

— А потом? — не выдержал Ранаев, хотя и знал, что ни к чему весь этот разговор.

— А потом — суп с котом... — мерзко захихикал Тиф. — Потом не будет, Костя, ничего не будет, да и не может ничего быть: Вселенная умрёт вместе с тобой! Сложится в чёрную точку и сгинет... Ты живи, наслаждайся, о всякой ерунде не думай!

— У меня дед был художником... — грустно сказал Ранаев. — Который по матери... Он меня учил, что главное — после себя след оставить... Жили, мол, мастера два, три века назад, давно уж истлели, а мы их помним...

— Дураки были эти твои мастера! — откровенничал Альфред с фамилией-болезнью. — От того, что их помнят, им ни жарко, ни холодно, потому что их просто нет... Надо уметь от жизни брать всё, Костя... От жизни, а не от смерти, как ты, потому что смерть ничего не даст, как ни пыжься...

Тяжек и свинцов был взгляд Альфреда Тифа. Тяжки, радиоактивны были его улыбки и гримасы, слова и жесты, поступки и планы. Он и был той самой термоядерной войной, которую так боялись «совки», от которой ма-

ленький Костя думал спрятаться в дедушкином погребе... А теперь, повзрослев, понимал: в погребе от неё не спрячешься, глубже надо рыть...

Пришла невеста откуда, то ли из тёмных глубин косматого дарвинизма, то ли из закоулков сернистого ада, целая генерация существ, которых и людьми-то не назовёшь... Пришла, и стала с успехом жрать Вселенную — объявив жителей цивилизации — пищей, творцов цивилизации — дураками, учителей человечества — ничтожествами, а медицину — «порчей породы»... Пришла оголтелая стая «свободных радикалов» — ни к чему не привязанных привязанностью, прошивающих насквозь живые ткани, раскалывающих ядра атомов, как грецкие орехи...

Бывали в истории и палачи и чудовища... Но разве сравнится им с рыжим орангутангом, заведующим приватизацией, каннибалом, которому неизвестный вивисектор привил логико-вычислительный блок Сократа прямо под скошенный лоб обезьяны... Кто или что может быть страшнее Альфреда Тифа — воплощённой в человеческий рост бациллой, болезнетворной палочкой, прежде видной только в микроскоп, а нынче требующей телескопа, дабы оценить масштабы её деяний?

Трудно понять, какие мутации мозгового вещества, какие коллизии воспитания могли породить в итоге настолько суицидальную власть, которая даже не столько врагов своих пыталась убить, сколько опору свою, страну собственную, захваченную с бою...

Никто из тиранов былого не мог до такого додуматься: ненавидеть и презирать собственный дом, собственную власть, преклоняясь перед собственными убийцами... Оттого и масштабами катастрофы никто из тиранов прошлого не мог сравниться с этими недочеловеками, в слабоумной гордыне вознамерившимися проглотить, переварить в ненасытном чреве, и калом выпустить весь белый свет, и всё, что в нём есть, от звёзд и комет до бактерий и планктона...

Рядом с этой нечистью Ранаев вспоминал фильм «Письма мёртвого человека» — про жизнь в бункере после ядерного апокалипсиса, фильм напуганных советских пацифистов, — и с ужасом понимал, что всё, предсказанное там, сбылось, и без ядерных бомб сбылось!

7.

— ...Я привёз мир вашему поколению! — улыбался Андрей Бангор, последний год часто бывавший в Куве, и даже по-своему полюбивший этот суровый край. Он сдружился с семьёй Ранаева, запросто бывал у Константина Феликсовича дома, дарил его жене роскошные букеты голландских роз, а детям — разные замысловатые игрушки...

Тихая аммиачная мафия сказала своё слово: в Кремле её лоббисты надавили на определённые рычаги, посетовали, что предприятиям с многомиллиардной валютной выручкой нужны спокойствие и безопасность. «Российская Федерация — среднесрочный проект, — ответили химикам-финансистам. — Но если вы настаиваете... Один край на отшибе страны ничего не решает.. Хотите безопасности — делайте всё по закону.. Торговля наркотиками действующим законом запрещена — мы вмешиваться не будем, вышибайте героинщиков, если у этого вашего Ранаева «пунктик» такой в голове засел...».

— Я привёз мир вашему поколению! — улыбался теперь Андрей Бангор с улыбкой Невилы Чемберлена. — Куве в порядке исключения разрешено стать чистой от наркотиков...

– Поздно... – сказал Константин Ранаев, пристально вглядываясь в лицо делового партнёра и уже почти приятеля.

– Что, простите? – растерялся Андрей.

Ранаев и сам не знал, что именно поздно. Это слово сказал не он сам, а кто-то сверху и внутри него.

На Урал пришёл подслеповатый февраль с его офсетными метелями, свежий белый снежок, напоминавший по виду больше всего толчёную сахарную пудру, не скрипел под ногами, а лип к ним, словно посыпушка к булочкам.

Константин Ранаев собственноручно деревянной лопатой расчищал дорожку к бане на садовом участке, где росли яблоневые и вишнёвые деревья, ёлки и туи, а летом поднималась высокая трава обычного лугового уральского разнотравья...

И баня тут, на участке, была деревенской – из оцилиндрованного бревна, срубом «в лапу». Возле неё имелись для летних семейных пикников – мангал, тандыр, приспособления для гриля на углях...

Правда, перегнувшись через невысокую, смахивающую на кладбищенскую, оградку садового участка Ранаевых – вы бы увидели не соседские грядки и не просёлочную дорогу. Перед вами бы разверзлась пропасть, на самом дне которой, маленькие, как букашки, ползали по оживлённой городской улице автомобили...

Садоводство Константина Феликсовича расположилось на крыше пентхауса, в самом высоком жилом доме-свечке города Кувы. Под срубной деревянной банькой, под деревьями и травами – располагалась аквариумная гигантская гостиная – с элегантным чёрно-зеркальным роялем, с кожаными диванами, мраморным камином, с разбегающимися кругами орнаментов наборного паркета...

Именно туда, к семье, – окончив расчистку снега, любимую забаву русских царей, спустился раздумавшийся Ранаев с озябшим Бангором.

– Ну наконец-то! – приветствовала Олеся с фужером в тонкой руке. Соломон Фельдман увлечённо, на карачках, рассматривал бег составов по игрушечной железной дороге, которую ему с великим восторгом демонстрировал младший сынишка Константина...

Бангор подарил детям хомячка и толстую гибкую пластиковую трубку. Трубка гнулась. Её можно было сложить, как шланг.

Бангор это и сделал. Ползавший в трубке хомяк оказался передавленным где-то в районе живота, выпучил глаза-бусины (один его глазок выскочил из орбиты) – а потом брызнул кровавой требухой внутри трубки, и спереди, изо рта, и сзади, через анальное отверстие...

Получилась очень показательная и чистоплотная казнь бестолкового зверька: и всё видно, потому что трубка прозрачная. И ни капли крови на паркет – потому что изолированная...

Раздавлив хомяка перегибом трубки, Бангор весело захохотал, как будто показал детям весёлый фокус. Следом засмеялась беззаботно жена Ранаева... Потом стали смеяться удачному трюку и старшая дочь, Светланка, и младший сын, Ефим, названный в честь именитого деда, народного художника Янтарёва...

Соломон Фельдман, стоя у крыла рояля, чуть в стороне, тоже смеялся. Такой вот трогательный домашний опыт для «юных натуралистов»

— мол, посмотрим, детки, что у хомяка внутри, и что будет, если грызуна сдавить...

Один только Константин Феликсович Ранаев не смеялся со всеми. Он остолбенело, не понимая причин поступка Бангора и радости своих отпрысков по его поводу, — положил ладони на скулы и кончиками пальцев давил себе на глазные яблоки. Так делают — когда ослепли внезапно и пытаются прозреть...

Что это было? Друзья семьи привезли хомячка и резиновый прозрачный шланг... Пустили хомяка в шланг и перегнули его... Хомяка раздристало на стороны — зачем?! Дети смеются и хлопают в ладоши, словно им домой цирк привезли — почему?! И жена, Лесенка, Олеся, вполне благосклонна к этому живодёрству — как?!

«И это моя семья... — думал Ранаев. — Моя жена, мои дети и мои друзья семьи... Это тёплый и душевный семейный вечер — с бокалом игривого «Асти», с цветами в китайскую вазу от гостей, с анекдотами, последними сплетнями и ритуальным удушением декоративного хомячка из зоомагазина...».

Круг замкнулся... «мир для моего поколения»... Ранаеву дали то, что он просил — искренне недоумевая, зачем это нужно отцу будущих лондонцев и владельцев палаццо испанской ривьеры... Раз пристал, как банный лист, — дали: выгони «толкачей дури», коли приспичило... Понять, мол, не можем, что это за чудачество такое, но дешевле тебе дать, чем запрещать, чем бы дитя не тешилось...

Вот теперь и становится понятным то слово «поздно», которое соскочило с уст в заснеженном саду в ответ на «мир вашему поколению».

Своды inferно окончательно сомкнулись над Ранаевым, и он понял, что выхода уже никуда нет. Он вырастил живодёров, окружён живодёрами, живодёры ему покровительствуют, и он сам — будем честны — такой же живодёр...

Перехватило дыхание, остановилось сердце. Умирая от внутреннего паралича, никем не замеченный Ранаев (семья была увлечена разглядыванием и обсуждением останков хомяка в прозрачной трубке) выскочил в одну из сверкающих хромом и керамикой ванных комнат...

На белой шлифованной до зеркального блеска мраморной полочке лежали щипчики его жены, которыми она подправляла брови.

Ранаев, задыхаясь, ухватил этими косметическими щипчиками крайний левый верхний клык — и резко рванул его из десны... За кровавым хрустом последовала острая боль, здоровый зуб выходил тяжело — но именно эта боль вернула лёгким дыхание, а сердцу — ритм пульса...

Ранаев стоял перед огромным затейливым зеркалом с собственным зубом в щипцах, с кровавой, как у вурдалака, пастью, взмокший до тёмных пятен пота на тонкой рубашке... Но он уже дышал, и сердце снова было запущено...

Правда, зачем — он уже не знал.

Декабрь 2016 — февраль 2017 г., Уфа

¹ Коке, или «старший брат» — форма уважительного обращения у кавказских тюрок.

² До 1996 года в ельцинском Совете Федерации сидели не сами губернаторы (главы региональной исполнительной власти) и председатели законодательных собраний субъектов Федерации, а отдельно избранные по их представлению лица.



Максим ЯКОВЛЕВ

АПОЛЛИНАРИЯ, КОТОРАЯ ВСЕХ ОГОРОШИЛА

Рассказ

В воскресенье вдруг затрещал будильник. Рита не спала. Она хлопнула по нему ладонью и осталась лежать на боку, как и лежала до этого, глядя на тёмную бесцветную стену... Долго не рассветало. И так продолжалось и продолжалось бесконечно неопределённое время, хотя ей казалось, что время не продолжается, а стоит на месте в пустой оглушительной тишине. В воскресенье предстояло идти к врачу, к Борису Аркадьевичу, он назначил ей сначала на пятницу, но в тот же день заболела Полина, и тогда он сказал: «Хорошо, в таком случае, давайте в воскресенье, к трём часам, другого выхода нет, в понедельник я уезжаю». Она нахмурилась и провела руку вниз живота...

Наконец, стена стала слабо светлеть, с воем промчался троллейбус. С каждой минутой тишина становилась всё более рыхлой, прозрачной, различался далёкий голос диктора в «Новостях», потом прибавилась громкая музыка, загомонили какие-то голоса уже совсем близко...

— Вот и день начался, — сказала она себе.

Но в детской пока было тихо. Она приподнялась, помогая себе рукой, и села, спустив ноги с кушетки. Посмотрела на пустую раскладушку в углу.

Яковлев Максим Леонидович родился в Москве. Получил художественное образование и долгое время работал художником-оформителем, скульптором-керамистом, занимался графикой, монументальным искусством. Свою первую повесть — "Блаженны плачущие" написал в 1998 г. В том же году стал сотрудником православного миссионерского журнала "для сомневающихся" "Фома". Впоследствии на страницах данного издания были опубликованы и другие произведения автора: сборник коротких рассказов "Фрески", повести "Пир" и "Время дороги" Также из под пера Максима Яковлева вышли такие книги, как «Ничего не бойся», «Димитрий и Евдокия» и другие. Автор пишет очерки и статьи, посвященные современной культурной и литературной жизни.

Ухмыльнулась, и встала, и пошла, ухмыляясь, в ванную, и скоро послышались оттуда всплески и другие звуки воды, похожие со стороны на частые всхлипы, на быстрый и мокрый шёпот и причитания...

Когда она уже стояла на кухне и снимала с плиты вскипевший кофе, ей вдруг подумалось, что с минуты на минуту может заявиться Лудин, — она всегда предчувствовала приход мужа, хотя теперь совершенно не хотела этого и не ждала, нет, ждала... но если только совсем уж в неразличимой для самой себя глубине... Вещи свои он почти все забрал, остались коробки со всякой техникой и набитый рюкзак в прихожей, но не хотелось, чтобы это случилось сейчас. В детской по-прежнему было тихо, и можно идти к Борису Аркадьевичу, потому что температура у дочки спала. Обязательно, срочно нужно идти. А Полина ребёнок послушливый, тихий, побудет спокойно одна, авось, и не догадается ни о чём...

В этот момент раздался звонок, и Рита звякнула чашкой о блюдец, и споткнулась о табуретку, и скинула с головы полотенце у зеркала... Но у самой двери задумалась, медленно повернула ручку замка, открыла. На пороге стоял он.

— Привет.

— Привет, Лудин.

— Разбудил вас?

— Ты за вещами?

Он был ухожен и бодр, замечательно улыбнулся:

— Кофейком не угостишь, по старой памяти?

Она хотела ответить совсем по-другому, а получилось:

— Проходи...

— Аполлиария спит? — спросил он. — Как она?

— Великолепно, — Рита достала из холодильника масло и пакетик со сливками.

— В каком смысле? — спросил он.

— Извини, сыра нет. Ты тут угощайся пока, а я пойду к ней схожу. Твои коробки с рюкзаком там в углу...

— Что-то всё расхотелось резко.

Она повернулась к нему спиной и добавила:

— Я прошу тебя, только не долго. Будешь уходить, просто захлопни дверь, но не сильно.

И почувствовала, как муж двинулся за ней следом, и поэтому в детскую не пошла, а вошла в комнату. Он шёл за ней, пока она не остановилась у окна, и не сказала ему:

— Лудин, мы же договаривались ещё две недели назад, что ты тихо-спокойно заберёшь свои вещи, и оставишь нас, наконец, в покое.

— Я хочу поговорить с ней, — сказал он.

— А вот она не хочет, — сказала Рита.

— Хочу! — услышали они вдруг, и обернулись.

В дверях комнаты стояла Аполлиария в одной нижней сорочке.

— Я хочу сказать папе и тебе, мама... Я хочу сказать вам!..

— Ну-ка, марш в постель, — сказала Рита, — я сейчас приду к тебе.

— Мама, я не пойду! — сказала Аполлиария, дрожащим от твёрдости голосом.

— Что с ней? — насторожилась Рита. — Скажи хоть ты ей, вчера только температуру сбили. Бредит что ли?

Лудин растерялся, он не думал, не предполагал даже, что его дочь могла себя так вести. Он не знал её такой.

– Аполлинару... – произнёс он.

– Вот! – выкрикнула она, протянув руку. – Видишь?

Он увидел в её руке зажатую вертикально между большим и указательными пальцами какую-то чёрную пилюлю, похожую на маленькую ампулу с красной поперечной полоской.

– Видишь? – повторила она. – Видите? Я всё знаю, вы не думайте... и я решила!..

– Где ты взяла? – спросил он осевшим голосом.

– Нашла под твоим столом.

– Что у неё? – спросила Рита.

– Яд, – он еле выговорил это.

– Тот самый?! Ты же говорил, что выбросил его!

– Я думал, что... я был уверен, клянусь тебе...

– Дай мне её сюда! – не выдержала Рита. – Полина!

Ничего не действовало, она лишь затрясла головой, и продолжая смотреть на мать, поднесла ампулу ко рту.

– Отдай немедленно! – рванулась Рита.

Но Аполлинару опередила звенящим криком:

– Мама!!

– Назад! – Лудин рывком оттащил жену.

Рита, отступив, ткнулась спиной в подоконник; закрыла лицо руками.

– Доча, говори, что хочешь, – сказал отец, – только убери руку от лица.

– Обещайте мне! Прямо сейчас! Обещайте! – то ли требовала, то ли умоляла Аполлинару. – Что вы никогда не будете так поступать! Вы не будете злыми, нечестными.

Он видел, как трясётся её лицо, её рот, он смотрел в её прыгающие губы, и ничего не понимал, не доходило до сознания никакого смысла.

– Мы обещаем тебе, – говорил он, – мы обещаем тебе, всё будет хорошо, мы всё тебе обещаем... Пожалуйста, положи её пока на стол, мы не возьмём её, мы будем стоять на этом месте, прошу тебя...

Но опять ничего не действовало, она упрямо трясла головой:

– Нет! Я не верю тебе! Ты обманываешь нас! Ты всё время всех обманываешь! Ты обманываешь маму! Ты всегда врёшь! Врёшь! Ты... ты нечестный, папа!

В другое время Лудин бы, пожалуй, нашёлся ей чем ответить, но не сейчас. Он всё ещё не мог поверить в происходящее...

– Ну, хорошо, говори. Говори всё, что ты хочешь, мы тебя слушаем. Только ты не волнуйся так, ладно? – произнёс он с видом, внушающим если не доверие, то хотя бы поддержку, сочувствие.

Аполлинару смотрела на него и молчала.

– Ну, говори, – сказал Лудин.

Он видел, как она перевела взгляд на Риту, стоявшую всё так же уткнув в ладони лицо.

– Папа... – Аполлинару поджала губы.

Он кивнул ей.

Она смотрела на него, боясь заплакать.

– Пап... обещай, что ты будешь любить маму и не уйдёшь!

– Доча, – сказал он, – ты уже всё понимаешь, давай говорить повзрослому...

– Ты обещаешь!? – крикнула она.

Он почувствовал, как заплакала Рита.

– Дурочка... вот дурочка... – услышал он от Риты, и не в силах оторвать взгляда от ампулы в опасной близости от её потресканных губ, сказал:

– Обещаю.

– И ещё... – заморгала она от слёз, – обещай, что ты не будешь больше ни про кого никогда говорить плохо! Никогда не будешь обижать никого! Будешь самым честным, самым добрым и не будешь врать!

Лудин опешил.

– Но это же шантаж, – нашёлся он, наконец. – Девочка моя, так не делается.

– Значит, ты не хочешь быть честным, да?

– Аполлинару, оставь, не надо. Это непростые вещи, – сказала вдруг Рита.

– Папочка, я прошу тебя! Я тебя очень прошу! Ну, пожалуйста!

– Это моя работа, – выдавил Лудин.

Аполлинару вздрогнула, словно от резкой боли.

– Ты всех ненавидишь, ты всех обманываешь... я не хочу... – сказала она чуть слышно, – мне всё время плохо за тебя. Я больше не могу так, папа...

Она прижала ладонь к губам.

– Что ты с ней делаешь, Лудин!

Он понял, что уже ничего не спасёт, и едва произнёс от ужаса:

– Обещаю... что буду хорошим.

– Честно?

– Честно, только отдай ампулу.

Он опустил голову, зная, что дочь продолжает смотреть на него исподлобья.

– Что ещё я должен обещать? – глухо спросил он.

– Что не будешь курить!

– Хорошо. Что ещё?

– Обещайте, что вы никогда не будете друг с другом ссориться и разводиться! Никогда!

– Полина, мы можем наобещать тебе всё, что хочешь, но это жизнь, понимаешь? – сказала Рита. – Ты ещё не разбираешься в этом, ты не знаешь, что не всё может зависеть...

– Мама! Я всё знаю! – закричала Аполлинару. – Обещай, что не будешь делать аборт!

– Какой аборт? – повернулся Лудин к жене. – Ты что беременна?

– Не твоё дело, – ответила она.

– Мама, ты обещаешь? Скажи, обещаешь?!

Лудин подался к Рите:

– Ты, правда, беременна?

Но она ничего не ответила, она опустилась в кресло и разрыдалась.

– Мама! Ну, мама же! Ты обещаешь?! – кричала Аполлинару.

– Д-да... – вырвалось, наконец, из Риты, – да! Да-а!..

Ей стало плохо, Лудин метнулся к серванту, потом на кухню.

Аполлинару стояла, не двигаясь, и он не видел ни белого её лица с дорожками слёз, ни сжатых, стиснутых с силой глаз... Боясь дотронуться, обогнул её, как гипсовую скульптуру.

Рита выпила капли из чашки с отколотой ручкой. Он помог ей встать с кресла, но Аполлинару в комнате не оказалось. Осталась неплотно приоткрытая дверь в детскую. Войдя туда, они увидели Аполлинару, лежащую ничком на своей кровати, и заметили, как дёрнулась её рука к подушке. Рита была уже рядом, но к своему удивлению извлекла из-под подушки про-

стую картонную иконку с изображением Спасителя; она сунула её в карман и присела на край постели. Погладила дочь по спине.

– Полина... – сказала она, чувствуя под рукой её прерывистое дыхание, – ты видишь, дочка, мы пошли на всё, мы согласились на все твои требования. Я думаю, ты можешь нам верить... Отдай, дочка. Отдай мне эту ампулу, чтобы всем было спокойней, слышишь? С этим не шутят.

Но Аполлинария не шевельнулась. Не качнулся, не дрогнул этот жалкий цыплячий затылок с узким желобком её шейки, торчащей из ночной рубашки. Рита достала иконку и, глядя на неё, спросила:

– А скажи мне, пожалуйста, как же так, ведь ты же крещёная, и молитвы, я знаю, читаешь, и вдруг решила на самоубийство? Это же грех... Разве не так?

Аполлинария хлюпнула носом. Молчала.

– Что молчишь? Разве я не права? Это же страшный грех, Полина. Даже подумать об этом и то грех считается, а уж убийство, это... это ужасное преступление! Да как же ты могла пойти на такое? Да как же тебе не стыдно после этого перед Богом, ведь ты же знала, что это грех! Ты не имеешь права на это! Ты не имеешь права убивать себя, ты слышишь меня?

– Мама! Это не я! Это же вы меня!.. – забилась всем телом Аполлинария, – Вы! Вы!..

На следующий день был дождь, за ним мороз, и дороги заледенели. Аполлинарию увезли в больницу с воспалением лёгких, ещё не успевшую оправиться от нервного срыва. Рита провела с ней в палате весь день; вернулась поздно.

Лудин был дома. Он стоял на кухне, и курил под открытой форточкой у кипящей кастрюли с картошкой.

– Ну, как она? – спросил он уже в прихожей.

– Пока никак, – ответила Рита.

– Устала, наверное?

– Причём тут я...

Лудин снова стоял у форточки и курил.

– Ты извини, но ужинать я не буду, – сказала она.

– Картошка уже готова... Я хорошей ветчины купил, огурчиков...

– Да? Ну, немножко тогда.

– Пиво будешь?

– Буду, – она смотрела ему в спину, – а почему ты куришь?

– Я же не сказал, что брошу прямо с той самой минуты.

– Понятно, – сказала она.

– А с врачом говорила? – спросил он.

– Он подошёл сразу, как ты ушёл.

– Надо же.

Лудин вспомнил, что оставил в машине мобильник, но тут же и забыл об этом.

– Говорит, что ничего страшного нет, продолжила Рита, – область воспаления вроде бы небольшая, а вообще всё выяснится завтра.

– Она справится, – сказал он.

Но Рита не ответила. Они сели за стол и ели молча и без охоты. И она не спросила его про дела, а он не сказал ей, что проторчал полдня у компьютера за статьёй для аналитического еженедельника...

– Во сколько будить тебя? – спросила она, заводя будильник.

- Да сам встану.
- Как хочешь.
- Не обижайся, – он задержал её руку.
- Не представляю, как мы теперь будем вместе, – сказала она, – я уже отвыкла от тебя, Лудин.
- У меня не выходит из башки эта ампула! Куда она девала её?
- Не знаю, не говорит, – сказала Рита, – и ты не пытай её об этом. Знаю только, что она нашла эту ампулу ещё вчера, в корешке старого томика «Сказки Ганса Христиана Андерсена».
- Я всё перерыл! – начал заводится Лудин. – Такая послушная была... Уму непостижимо!
- Наша «послушная» всё молчала да молчала в последнее время, я-то, дура, на болезнь списывала – мало ли, а она вон что удумала, «раба Божия»...
- Самое смешное, если всё это не поможет.
- Что ты имеешь в виду?
- Ну, что будем жить, «как обещали», и не сможем спасти её. Не сумеем.
- Почему?
- Ну, не знаю, что-нибудь опять не так ей покажется, возьмёт и...
- И что ты предлагаешь? – не дала ему договорить.
- «Что, что»... – отвернулся он, – никому это не нужно, вот что!
- Он ждал взрыва. Но взрыва не последовало.
- А может правда... пожертвовать ею? – услышал он. – Она ведь наверняка обречена с такими-то убеждениями. А иначе мы становимся, по сути, её заложниками, и в любой момент..
- Ты что, совсем спятила? Не надо никем жертвовать, но надо же на что-то решаться! – не выдержал он. Что-то надо делать, ведь нельзя бесконечно ждать! Можно с ума сойти.
- Как я тебя понимаю! От этого действительно можно сойти с ума: Лудин становится честным человеком! Возвращается в семью! И даже вынужден любить свою жену! И... всё напрасно. Да, это высокая трагедия!
- Между прочим, ты тоже кое-что обещала.
- Обещала. Я рожу тебе сына, Лудин. Только вот интересно, что скажет он, когда ему тоже исполнится одиннадцать лет.
- Но как ты себе всё это представляешь? Как?!
- Рита обняла его за шею и улыбнулась:
- Лудин, какой ты дурак. Ты же видишь – переходный возраст, пройдёт пара-тройка лет, и она сама всё поймёт. Поймёт, что жизнь зачастую сильнее прекрасных наших намерений, поймёт, что нельзя заставлять людей любить друг друга, даже если они... Потерпи, а? Потерпим друг друга, я не буду к тебе придираюсь, докучать тебе разными глупостями. В конце концов, ты отец, она твоя дочь! Можешь ты для неё это сделать! Не для меня, для неё?
- Она отдёрнула руки, отошла к окну.
- Мрази мы с тобой, Лудин, мрази, а не родители. Мы уже сейчас предаём её, исподтишка.
- Ну, хорошо! Допустим, я уволюсь с телевидения, но куда я уйду, куда? В какой журнал? В какую газету? Везде то же самое, это же смешно!
- Рита смотрела на его отражение в ночном окне.
- Значит, всё-таки ты соврал ей.
- Посмотри по сторонам, Рита!
- Мразь.

Лудина осенило:

— Вау! смотри, как это будет выглядеть, смотри сюда: вот мы выходим... Вокруг всё, конечно, как всегда: мир вертится-крутится — ловит момент, делает деньги, всюду носятся «бабки», «баксы», «еврики» всякие! везде и всюду с блеском подсаживают и устраняют себе подобных... И вот они — Лудины, наперекор всему! впереди — Аполлинария с барабаном, за нею — ты с дудкой, а сзади — я с огромной гармошкой, нет, лучше с плакатом: «Мы — ум, честь и совесть!»... «маленький оркестрик» такой, все гордые, все в ногу идём! А за нами машина «Скорой помощи», с санитарями из психушки... Рит? Это — натуральная картина, без пародии, так всё и будет выглядеть, ты же сама знаешь!

— По-твоему все только и делают, что рвут друг у друга, ничем не брезгуя, любимыми способами...

— Не все, нет, только дееспособные!

— То есть, способные на подлость.

— А что опять «не кради, не суди, не желай зла»? И что там ещё? «Не завидуй, не лги»? Опять «родина-дом-семья», да? Это давно уже... Сейчас другая реальность!

— Какая другая? Что, воздух другой?

— Другой.

— Снег другой?

— Другой, другой, ты разве не видишь? И вода другая, и мы тоже! Мы, люди — другие! Да, пойми, для наших предков мы все давно уже сволочи, но подумай: когда большинство людей составляют эти самые сволочи, то это нормально! Это становится нормой. Мир усложнился, произошла объективизация другого сознания, новой морали...

— Ты хочешь сказать антиморали.

— Пусть антиморали, всё равно! Но на этом теперь стоит всё, абсолютно! Цивилизация! «Всё имеет право и место быть, и никто никому ничего не должен» — вот что! и все отношения, политика, экономика, наука — всё выстраивается на этих правах человека. Они там, сто пятьдесят лет назад, и не задумывались об этих правах, для них всё проще было.

— Дураки, в общем.

— Дураки не дураки, но прямолинейности и наивности хватало.

— Бедные.

— А что, разве не так? Закручивали свою свободу в узел, закручивали, зажимали... потом как рвануло!

— И все в дерьме.

— Ну, это как посмотреть, разные сочетания встречаются, на то она и демократия. Как сказал мне на фуршете один весёлый политолог: «Все демократы делятся на две категории — «питоны» и «бандерлоги». Помнишь, в «Маугли», там есть такой заросший, заброшенный «Великий город», выстроенный некогда какими-нибудь великими правдолюбцами? Так вот, «питоны» — это не те, кто представляет номинальную власть, это не администрация, «питоны» — это те, кто диктует правила, обеспечивающие будущее за счёт «бандерлогов». Эти «питоны» обычно вне «города», а «бандерлоги» — это просто-напросто хорошо отлаженная структура, так называемое «общество потребления» — сверху донизу: их кормят в основном всякими «ценностями»...

— Значит и ты «бандерлог»? — спросила она.

— Разумеется. И ты тоже, дорогая. Но в отличие от других «бандерлогов»,

я принадлежу к числу тех, кому очень хорошо платят за увеличение их поголовья. Я профессионал, Рита. Меня смотрят и слушают!

– Зачем всё это, Володя? Ты прекрасно понимаешь, что если с ней что-нибудь случится, у тебя не может быть оправданий.

– Да не оправдываюсь я... Я вообще не понимаю, зачем я всё это рассказываю, не понимаю! Я не знаю, что со мной происходит! – перешёл он на крик, – я никогда не говорил ничего подобного! Никогда!!

Потом была тишина, и никто из них не знал, чем всё это кончится.

– Я пойду, покурю, – сказал он.

Он готов был поклясться, что она обернулась, потому что в спину его толкнулся её голос:

– Ну, помоги нам, Лудин. Помоги ей выжить... Я знаю, ты подлец, но мне некого больше просить! Помоги нам!..

Следующий день был долгим.

Он звонил из бара на Никитской. Сначала говорил со знакомым психологом: он не мог отделаться от навязчивого подозрения, что поведение Аполлинарии имеет все признаки психического отклонения, а может быть, даже психического заболевания, и в таком случае это меняло всю ситуацию. И всё-таки не понимал, чего он боится больше: её болезни или её здоровья. Но, рассказывая подробно о её требованиях и о ней самой, о том, что успел подметить в её состоянии, почувствовал, что совершает всё-таки нечто преступное, как будто открывает и выставляет напоказ что-то такое, чего нельзя выставлять, что должен был бы беречь, как зеницу ока от чужого взгляда... и стало ему тошно и гадостно, и он уже собирался нажать кнопку мобильного и оборвать разговор, но протянул, неизвестно почему, протянул...

– Молится, говоришь? – оживился психолог, – ну, что ж, может быть, и церковь подгадила. Скорее всего, из-за этого. А так, ничего особенного: атавизм идеалистического сознания плюс детский максимализм, детерминированный неустойчивой тонкой психической организацией... В обеспеченных семьях иногда встречается, так сказать, от противного, на контрасте. Будьте с ней понежней, поласковой, больше «да», меньше «нет», и всё загладится с возрастом. С такими уступчивость как раз уместна и даже необходима. Окружите подружками соответствующими, какими-нибудь занятиями, увлечениями, страстишками, отрывайте её от самой себя! Дискотеками её! Компьютерными игрушками! Больше классных мультиков, гламурных журнальчиков – они хорошо адаптируют, развлечений всяких разных! «симпотных мальчиков»... наращивать положительные эмоции так, чтобы она попала в зависимость от получаемых удовольствий! Со временем, потребность в них перерастёт в требовательность, тогда можешь спокойно отойти в сторону – она сама поплывёт куда надо... На церковь, ненавязчиво так, открой глаза ей, это легко: столько везде статей и историй про батюшек, про их грешки и делишки... Вот так, старичок. Всё уладится, не бери в голову...

– «Поплывёт куда надо», – повторил Лудин, – что она у меня, дерьмо, что ли?

– Так мы все плывём, – захохотал психолог, – куда ж деваться! Зато не тонем.

– Ну, плыви, плыви, – Лудин с силой нажал на кнопку.

И всё больше одолевала его эта злость, какая-то отчаянная и весёлая злость, похожая на заполошную пропащую удаль, которую он не знал даже с

чем сравнить... прыжок в армии с парашютом не мог тягаться с этим пьянящим ужасом!

Он звонил шефу, Гаецкому. Тот включился с пол-оборота:

— Наконец-то! Куда ты пропал? Слушай сюда: голосование сдвинуто на послезавтра, но это уже крайний срок, будет «мясорубка». Кислюк хочет затащить тебя на свою передачу, и сам понимаешь, гонорар царский, мы уже всё с ним обговорили...

— Плевал я на него.

— А? Что?.. Не понял. Луда, тебя ищут ребята из пятой студии, нужен большой, жутко вонючий скандал! Надо хорошенько пропоносить нашего «Корифея», ты понял? Так, чтобы ни единого белого пятнышка на нём не осталось, и вокруг него тоже, в общем, как ты умеешь — «на сто метров против ветра, не считая мелких брызг»! Все окрысились, дерьма будет много, а я знаю, ты любишь «бабки» с пикантным запахом, тем более в таком количестве, а? — Гаецкий зашёл в мокром прокуренном кашле. — Сейчас мухой ко мне, заберёшь информацию, тут тебя жирная папочка дожидается от пиарщиков, и вперёд!

— «Корифей»... — сказал Лудин, — седой, заслуженный человек, академик... Один из немногих, кого боятся всерьёз...

— Слушай, не набивай себе цену, гонорар и так уже запредельный!

— ... и стоило ж ему всю жизнь ухлопать на репутацию честного человека, чтобы потом кто-то пустил всё это под откос, в жижу, в тухлую смрадную жижу?

— Да уж выпадет ему вечерочек!

— У него, говорят, что-то серьёзное с почками, вроде рака, — продолжал Лудин, — и, кажется, с внуком что-то.

— В аварию попал. На то и рассчитано, чтобы до Думы не добрался, а доберётся, так чтоб не опасен был. Ставки большие, Луда, ты понял?

— Представляю, что с ним будет. Он не перенесёт такого позора. Слишком он... слишком прям.

— А мы его и надломим! и переломим! и навалимся! Сделаем из него трясущегося желчного старикашку! ничтожнейшего, бормочущего оправдания! А не уймётся, так мы его в кашу! в кашу! в кашу! В дерьмо собачье!!

Гаецкий надсадно свистел, никак не мог отдышаться от смеха:

— Ну, ты завёл меня... класс! нет слов! Давай ко мне, жду.

— Я не буду в этом участвовать, — сказал Лудин.

— Почему?

— Потому что подло.

— Не понял, что ты сказал?

— Да уж куда тебе.

— Что такое? Слушай, хватит разыгрывать, приезжай.

— Я отказываюсь работать на вас, Гаецкий. И мне плевать на твоего Кислюка и на всех вас!

— Ты понимаешь, что ты несёшь, Лудин? У тебя «все дома»?

— У меня дома все, и скоро ещё прибавится.

— Так и скажи — перекупили, но я тебя хочу предупредить...

— Нет, не перекупили, а просто подло и всё.

— Это твоя работа! У тебя бешеный гонорар!

— Нет, Гаецкий, это подлость... Господи, какой кайф!

— Лудин, прекрати! Я не...

— Да пошёл ты!..

- Ну что, что случилось?! Что-о?!
- Прощайте, мистер.

Жанна пришла как всегда с опозданием. Быстро окинула взглядом зал, заметила его в углу за стойкой, и тогда направилась прямо к нему, уже совершенно взяв себя в руки, стряхивая на ходу с волос морозный, тающий мелким бисером снег. Он поднялся навстречу.

- Ку-ку, – сказала она.
- Ку-ку.

Коротко и влажно поцеловала его, чуть прикусив за губу. Уселась рядом.

- Хулиганка.
- Лудин, ну где ты шляется? Я тут звонила Гаецкому, он кроет тебя трёхэтажным, все тебя ищут!
- Я говорил с ним только что.
- Что с тобой? Что-то случилось? Мобильник не отвечает.
- Ничего.
- Ну, рассказывай, куда тебя занесло, не звонил... Надеюсь, сегодня спим вместе?

– Что-нибудь выпьешь? стакан сока, – сказал он бармену.

– Нет, я хочу «Мартини»!

– Тогда «Мартини», – сказал он.

– Никак не могу разобрать твои вещи, так и стоят в углу, представляешь? – она вытащила сигарету. – Я успела отгладить только три рубашки, у тебя их так много... я, наверное, буду ужасной женой, ты бросишь меня через месяц, нет, через два...

Он подставил ей зажигалку.

– Ну, так где же тебя носило? – она затянулась и выпустила вверх струйку дыма.

– Я ухожу от тебя, – сказал он.

– Так я и знала.

– «Как всё оказывается просто», – сказал он себе. – Вещи постараюсь забрать на днях, может быть завтра. Ключ будет в почтовом ящике.

– Только не говори мне, что ты вернулся к жене.

– Не буду.

Они сидели, глядя друг другу в глаза.

– Лудин, от меня просто так не уходят, скажи мне, кто она? Чем она могла тебя взять, скажи мне, мне больше ничего не интересно.

Он взглянул на часы.

– Лудин, у меня тоже есть самолюбие, я не собираюсь устраивать истерик, но я имею право знать, что в ней... Я прошу тебя, ну? Кто она? Актрисочка? Супермодель? Дочь банкира?

– Ты сама просила не говорить.

– Что?... Что-о?!

– Не ори, прошу тебя, – он оглянулся на зал.

– Значит, всё-таки к ней.

– Да.

– Ну, такой подянки я от тебя не ожидала, – Жанна улыбнулась, изменившись в лице, – дорогой...

– Прости.

– Ты делаешь ошибку, Лудин, это не то, что тебе нужно. Я уж не знаю, что тебя подвигло на такой шаг, но... ты извини, конечно, но это отработанный

материал, вы же не совпадаете, и ты прекрасно знаешь об этом! Лудин, ты не такой человек, тебе нужна не баба, не «курочка-ряба», тебе нужна искусная наездница, сладкая озорная пиявочка, которая очень аккуратно и умно будет совпадать с тобой во всём... особенно в горизонтальном положении.

– Ты как-то забыла, что это моя жена и мать моих детей.

– Детей?

– Скоро она родит мне сына.

– Агас!..

– А потом ещё одного, и ещё! А дети рождаются только от «бабы», от жены, а не от «пиявочки»!

– Не кричи на меня!

В баре играла музыка, что-то страшно знакомое, и каждую минуту прибавлялось народу.

– Прости, – сказал он.

– Ты меня не любишь?

– Жанна...

– Лудин, ты же любил меня. Любишь...

– Жанн... – он не мог смотреть на неё.

– Тогда почему? Зачем? Ничего не понимаю. Маразм какой-то.

– Да потому что подло. Подло это всё, понимаешь?

– Не уходи, пожалуйста. Она всё выдержит, она сильная, не уходи!

– Хорошо, – сказал он, – если я не уйду и мы поженимся, ты родишь мне ребёнка?

– Дело не хитрое, я и родить могу.

– А ещё одного?

– Если так надо...

– Ладно. Пусть дети подрастут, пойдут в школу или спецшколу, не проблема. Главное, у тебя есть муж, семья, храм твоей жизни! Дети, планы... а может быть, мы и ещё одного зарядим, а что?

– Да ради Бога.

– И вот тут я тебя бросаю и ухожу.

– Почему это?

– А нашлась вот одна «наездница», помоложе, «послаще», ну, ты понимаешь. Так кто я буду тогда?

– Ну, ты артист.

– Не «артист», а подлец.

Жанна вдруг расплакалась.

– Лудин, не уходи.

Он не ответил.

– Ты будешь приходить ко мне, как раньше? Так ведь раньше и было у нас, помнишь?

– Было. Ты хочешь, чтобы я был подлец не снаружи, а как бы внутри?

– А почему «подлец»? Рита тоже с тобой спать будет... иногда.

Она улыбнулась.

– Знаешь, чего тебе не хватает, Жанн?

– Знаю, тебя, – сказала вдруг жёстко.

Он понял, что продолжать бессмысленно.

Лудин, встал, расплатился. Она сидела как изваяние. И вышел.

На улице прохватил его до костей жёсткий ветер, и пришлось запахнуться до подбородка, но он так и не дал себе оглянуться.

– Не хватает тебе глаз твоего ребёнка, – ответил он ей, садясь в машину.

По вечерам зимний город переворачивает освещение: свет идёт снизу, тяжёлый и мутный от текучей оранжевой лавы с фонарями, огнями и фарами, от реклам и витрин, подымаясь вверх, но не достигая и не находя ушедшего в космос неба...

Он подъехал к больнице, и какое-то время просто сидел, глядя перед собой... Потом дошёл до кирпичного старого корпуса, вошёл в вестибюль, поднялся на третий этаж. Увидел идущую по коридору Риту, она уже увидела его, но была далеко, и попытался представить в ней идущую навстречу Жанну... Она подошла и сказала:

– Устал?

Он смотрел на неё.

– Голодный, небось?

Всё-таки это была Рита.

– Как она там? – спросил он.

– Заснула. Сегодня получше.

Лудин, слушал. Всё было невероятно родное...

– Это тебе, – она протянула ему сложенный вдвое листок бумаги.

Развернув, он увидел дочкин рисунок. Аполлиария постаралась: на него смотрел шкафообразный, величественного вида человек, судя по всему, в весьма неплохом настроении. Лудин обнаружил на нём свой любимый галстук, и по наличию у этого господина характерно подстриженных усов и причёски догадался, что это он сам и есть. В руках нарисованный Лудин держал солидный блокнот и авторучку; за ним, далеко внизу на горизонте чернел своими башнями город, не смея и спорить по масштабу с его доброт-но сработанными ботинками. Сияло солнце над ухом...

С каждой стороны, на груди его, имелось по одному карману: в одном из них высывалась по пояс Аполлиария с морским биноклем на шее, а в другом, без сомнения, Рита, – с малышом на руках... И было им хорошо!.. Внизу было подписано аршинными буквами: «ПАПОЧКА, МЫ С ТОБОЙ!».

– Ты что-нибудь чувствовал сегодня? – спросила она.

Лудин вспомнил события этого дня.

– Твоя дочь весь день молилась о тебе.

– Правда? А что это значит? – он не знал, что ответить... накатило так, что он едва устоял на ногах.

– Скажи, ты действительно хочешь... – сказала она, и осеклась, потому что увидела в нём слепые от слёз глаза...

– Рита, я боюсь, – сказал он дрогнувшим голосом.

– Я тоже.



Михаил ПОПОВ

ЛЮБИМЕЦ
Измышление

— Я слышал об отце твоём.
— Он раб твой, и я раб твой.
— Встань и повтори, как зовут тебя. Когда дух от Бога бывает на мне, то плохо разбираю в тоске своей слова человеческие.

Юноша медленно, как учил отец и как подобает, оторвал лоб от пропахшего пылью войлочного пола. Потом осторожно поднялся на ноги. Он был рослый, жилистый, загорелый до черноты, как всякий пастух; на груди длинный белый шрам; ноги с панцирными ногтями и каменными пятками. Убрал с расчесанного из-за вшей лба грязные, спутанные космы. Взгляд почтительно потуплен, но тверд.

В шатре стоял удушливый полумрак. Царь лежал на львиной шкуре, покрывавшей ложе, опираясь правым локтем на парчовую подушку. Справа и слева от него стояли на закопчёных треногах плоские жаровни с тлеющими углями. В них тихо дымились палочки ароматического дерева. Благовонные пары скапливались под потолком шатра как безумие под черепом одержимого.

— Имя мое Эхананан. Я пришел сразиться с НИМ.

Царь был бледен и выглядел измождённым, почти старым, хотя по числу лет своих мог считаться лишь в начале зрелости. Глаза светились тускло, губы искривляла улыбка спесивого недоверия.

Михаил Михайлович Попов родился в 1957 в Харькове. Прозаик, поэт и публицист, критик, киносценарист.

Закончил Литературный институт, работал в журнале «Литературная учёба», заместителем главного редактора журнала «Московский вестник». Член редакционного совета «Роман-газета XX век». С 2004 года возглавляет Совет по прозе при СПР.

Автор более 20 прозаических книг, сценариев к двум художественным фильмам. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Москве.

– Он велик. Он возвышается на голову над любым из моих людей.

Эхананан одним движением поднял с пола свою большую, как два винных меха, дорожную суму. Поднял безмянным пальцем, самым слабым из всех, и легко протянул перед собой.

– Здесь ефа сушёных зёрен, и десять хлебов, их я отдам братьям, что теперь при твоём войске. И ещё здесь десять сыров, их я отдам тысяченачальнику, так велел отец. Я могу так держать суму эту до заката. Одним пальцем.

Царь устало покосился на молчаливого бородача Авенира, главного над войском Израиля. Седая приземистая башня в кожаных латах промолчала, только косматые брови сошлись на переносице, да руки сложились на груди, глухо звякнув медными налокотниками.

Решив, что приведённого доказательства силы недостаточно, Эхананан бросил сумку на пол и, подхватив руками свою пастушескую палку, выставил её перед собой. На его обнажённом торсе выпукло прорисовались эластичные мышцы, они переливались вдоль своей длины.

– Когда лев утаскивает овцу от стада, то я всегда догоняю его, и отнимаю овцу от его пасти. А если он нападает на меня, то я беру его одной рукой за гриву, а другой вырываю ему горло. Без всякого ножа.

Царь и военачальник вновь переглянулись. Царь закрыл глаза, и медленно откинулся всем телом на подушки, так что его голова оказалась рядом с мёртвой львиной. Злой дух от Бога встал на нём, и это было видно. Военачальник мрачно вздохнул.

Эхананан вернул пастушескую палку в вертикальное положение и растеряно вытер пот с широкого лба. Голос его сделался менее уверенным.

– И когда медведь утаскивает овцу, то я и медведя догоняю и убиваю.

– Ты пастух? – чуть слышно спросил лежащий.

– Я раб твой.

– Ты услышал, что победителю ЕГО я отдаю в жены свою дочь Мелхолу, и потому пришёл?

– Я слышал о дочери твоей, но больше слышал о поношении и поругании Израиля, и решил придти.

– Ты пастух? – всё не открывая глаз, опять спросил царь.

Эхананан смущенно покосился на военачальника, тот кивнул головой, мол, отвечай.

– Пастух и раб твой.

– Может, ты ещё что-нибудь принёс кроме хлебов и сыров в своей сумке?

– Там только хлебы и сыры. И сухие зёрна. И моя пастушеская свирель.

– Свирель? Всё-таки есть и свирель. Сыграй мне на ней.

Авенир повторил приказ жестом – играй.

Сбитый с толку этой просьбой Эхананан пожал плечами, развязал узел на суме и, порывшись, извлёк на свет камышовую дудочку. Постучал по мозолистой ладони, вытряхивая хлебные крошки.

– Я жду.

Поняв, что царь не шутит, Эхананан приблизил камышину к губам и она издала протяжный и чуть скулящий звук, как будто в ней ожил голод шакала. Перебирая пальцами по вырезанным отверстиям, молодой пастух сначала возвысил добытый звук, потом возвысил ещё, и тут же направил вниз. Так делал раз за разом до пяти раз.

– Хватит, – сказал царь, открывая подёрнутые влагой затаённого отчаяния глаза, – уж больно проста твоя музыка.

Какое-то время он молчал, глядя в невидимый из-за испарений потолок.

– Может быть, не твоя это вина, а камыша.

Авенир, подчиняясь незаметному жесту господина, подал Эхананану большую критскую кифару, сделанную из рогов кедронского оленя, украшенную лазуритом и серебром. Пастух пробежался пальцами по струнам, они отозвались слишком вразнобой.

– Не умеешь взять музыку от неё?

– Нет, господин, я и вижу такую впервые.

– Тогда должен знать, что и первейшие мастера игры на кифаре, которых мне удалось сыскать в Фимне, Цере, Вифсамисе, Лахисе, Анаве, уклонились от встречи с НИМ. Убоялись ЕГО великого искусства.

Пастух недоумённо повёл головой.

– Другое я представлял себе дело здесь – прекратить поношение сорокадневное Израиля. Что мне в кифарной игре?!

Вновь опустив веки, царь продолжил, словно и не услышал возгласа собеседника.

– Но оставим струны. Может статься, твоя сила в голосе?

– Моя сила – ловкие руки, быстрые ноги, меткий глаз!

Авенир поднял руку, Эхананан остановился, а царь продолжил:

– Все пастухи поют по ночам. Кто овцам, кто звёздам. Спой теперь мне.

Молодой пастух посмотрел на угрюмого военачальника, больше смотреть было не на кого. Он пытался определить, не смеются ли над ним. Нет, над ним никто не смеялся. Надо было петь. Эхананан запел. Просил Господа сохранить его малое стадо от волчьих зубов и от холодного ночного ветра, просил, чтобы ручей не пересох, и снег не пошёл в этом году. Песня была длинная, мотив варварский, голос хриловатый. Выходило нехорошо. Пастух сам остановился, почувствовав, что уже надо остановиться.

Спустя молчание царь сказал:

– Песня от простого сердца. При моём войске были лучшие храмовые псалмопевцы. Они услаждали мой слух и возвышали мой дух, и я считал себя властителем красоты, слушая их, и видел Израиль воистину избранным перед всеми племенами. Я велел им пойти к НЕМУ и показать себя. Они отказались, сказали, что не смеют и боятся, что они никто перед НИМ.

– Что мне красота речений. Одно верно знаю – необрезанный не может возводить клеветы на воинство Бога Живого.

Царь вдруг быстро сел на ложе, опершись ладонью о львиную голову.

– Но может, ты пророк-прозорливец? Может, имеешь наущение от Бога и выйдешь перед необрезанным, и смутишь ЕГО!

– Молод я, и пастух, как же мне прозревать и пророчествовать? Не в моих то силах.

– Когда бы только не в твоих, – с болезненным сарказмом в голосе воскликнул царь. – Нет пророка в моём войске. Я звал Самуила, он не пришёл и не откликнулся. Если Самуил боится выйти перед НИМ, как же Саул может победить! ОН высылает, и уже сорок дней, возвестить над всей долиной и над всем войском, что Израиль беззвучен, бессловесен и беспросветен. И где же здесь клеветы?!

Услышав эти слова, Эхананан подумал, что царь сидя бредит в густом благовонном настое, и всё утопает в этом бреде. И светильники, и длиннобородый, безмолвный Авенир, и он сам, пастух с палкою.

– Бог оставил меня, и оставил Израиль за грехи наши.

– Не слова лишь одни, все эти слова?

– Ни один из моих воинов, пятидесятиначальников не поднимет копья,

видя, что дух Израиля повержен красотой и мудростью необрезанного. Израиль юн, горяч, слеп, дик и погибнет; филистимлянин древен, спокоен, возвышен, красив и пребудет.

– Но слышал я, что истукан Дагона пал ниц перед Ковчегом Завета, хотя бы и плененным.

Царь застонал.

– Тогда Бог был с Израилем. Необрезанные думали, что Ковчег в их руках, а он прочно был в руках Божиих. И даже пленив Ковчег, они сомневались, а не поклониться ли ему? Теперь всё не так. Наше войско велико, а мои воины меж собою говорят, что теперь они не рабы Божии, а рабы лишь Сауловы. А Саул – власть не от Бога, потому немощен духом. Не поклониться ли тому, кто воистину силен?

И царь медленно повалился на спину.

– Позволь мне выйти против НЕГО.

Саул не успел ответить, как в шатре появился, отвалив матерчатую занавесь и впустив внутрь клубы пыльного света, молодой мужчина в боевом облачении. Кожаный панцирь его был покрыт серебряными пластинами в виде рыбок, в рукояти меча тускло блеснули драгоценные камни, на голове широкий золотой обруч со священными письменами. Облачение было богатое, но на фигуре вошедшего смотрелось неподобающе, как будто надел он его нехотя. Между тем, это был царский сын Ионафан. Не обращая внимания на босоногого пастуха, он наклонился к отцу и начал шептать что-то яростное, быстро шевеля тонкими губами. Такое было впечатление, что слова он вливает прямо в ухо сухой львиной головы, и та в ответ оскаливается.

Саул проговорил убитым голосом:

– Я этого боялся, это и случилось.

Ионафан скорбно кивнул.

Царь обхватил голову руками, что-то бесшумно причитая.

Авенир взял Эхананана за локоть и направил к выходу, давая понять, что теперь царь занят и у него нет времени на праздные разговоры.

– Отправляйся домой.

Поклонившись и подхватив суму, молодой пастух вышел из шатра. Остановился, на мгновение ослеплённый сиянием утра, вдохнул чистый, прохладный воздух и залюбовался величественной картиной, открывшейся перед глазами. Войско Бога живого и войско филистимское занимали вершины двух обширных, пологих холмов – образуя как бы два спящих муравейника. Меж холмами располагалась небольшая долина, покрытая нежной, свежей травой. Посреди долины росло всего лишь одно дерево – старая чуть наклонённая смоковница. В сочной тени дерева стоял белый полотняный шатёр с синим овальным пятном входной занавеси. Это было ЕГО жилище. И рядом не было никакой охраны. Поблизости с шатром поблёскивала в траве лишь большая алмазная булавка – изгиб родникового ручья.

Эхананан долго смотрел в сторону шатра и дерева, надеясь разглядеть хозяина его, но тот не появлялся. Молодой пастух пошел разыскивать братьев. И отыскал их скоро. Они спали под одним войлочным пологом у погасшего костра, от холодных углей его ещё шёл запах горелого бараньего жира. Элиав, Аминадав и Самма. Когда Эхананан разбудил их, они не обрадовались. Даже вид отцовских гостинцев не рассеял их пасмурности. Может быть, им всем приснился дурной сон. Младший брат не стал спрашивать об их сне, он сразу спросил о НЁМ.

Элиав, рассматривая куски разломанной хлебины, недовольно вздохнул.

Аминадав упрекнул младшего брата в легкомыслии. Самма добавил, что тут не одно лишь легкомыслие, но и греховное любопытство.

– В чём же вы видите одно и другое?

– Ты захотел потешить себя необычным зрелищем, оттого и вызвался доставить посылку от отца. Горе Израиля для тебя развлечение – вот в чём грех, – объяснили братья, лениво жуя.

– Не наблюдать только, но сразиться с НИМ пришёл я.

– Сразиться? Ты с НИМ? Каким же образом? – удивились братья, и даже перестали есть.

Вокруг, на звук разговора, стали собираться любопытные. Люди на войне без дела всегда скучают и рады случаю развлечься.

– Да, сразиться! И я прошу вас, братья, дать мне оружие и панцирь.

– Ты обезумел, и не знаешь, что говоришь! – сказали Элиав, Аминадав и Самма, уже не насмешливо, а раздражённо.

– Я выйду против НЕГО и убью ЕГО.

Братья молча переглянулись, пряча неприятные ухмылки в бородах. Старший из братьев Элиав сказал:

– Ладно, возьми тогда вон там мой щит, и меч рядом с ним тоже возьми.

– А там, видишь, лежит мой панцирь из медной чешуи, бери, – сказал Аминадав.

– Можешь взять мое копьё и поножи, – последним из братьев сказал Самма.

– Шлем не забудь. Наплечники возьми, мои возьми. Смотри, какая перевязь для ножен! – со смехом предлагали столпившиеся воины.

Элиав, Аминадав и Самма хмурились, им казалось, что младший брат позорит их. Они хотели отделить себя от него, и смеялись над ним вместе с чужими.

Эхананан смущенно глядел на гору собранного оружия. По молодости лет никогда ему ещё не приходилось облачаться для битвы по всем правилам. Братья и прочие помогли ему, находя много развлечения себе при виде его неловкости и неопытности.

На голоса явился Авенир, такой живой шум давно уже был редкостью в лагере Израиля. Военачальник едва узнал пастуха под воинским облачением, и спросил, для чего он затеял такое.

– Я хочу с НИМ сразиться, и должен сразиться.

Мудрый Авенир, воин опытнейший, спросил у него тогда:

– Зачем же тебе оружие, если ты хочешь выйти против НЕГО?

Эхананан уже привык немного к странным словам в царском шатре, не сбился с толку и ответил быстро:

– Говорят повсюду, что у НЕГО броня весом в пять тысяч сиклей меди, и щит в три тысячи сиклей, и копьё тоже в тысячу сиклей, как же мне выйти против него безоружным?

Ответил пастуху Ионафан. Он вышел из царского шатра вслед Авениру и слышал весь разговор. Ответил с усталой и бескровной ухмылкой на брезгливых губах:

– Слух про то, что броня ЕГО весит пять тысяч сиклей, а щит в три тысячи и копьё тяжёлое, правильный. Но если рассудить, слух этот на старый лад, ничего не поймёшь. Уразумел?

Эхананан помотал головой, великоватый шлем съехал ему на лоб, отчего вид у воина сделался глуповатый. Все снова засмеялись. Ионафан переждал, пока смеялись, потом объяснил:

– Сикль это наша мера, а у необрезанных филистимлян мера другая – талант. Пять тысяч сиклей, и три тысячи и тысяча – это три ТАЛАНТА, коими ОН обладает. Но это не золото, не серебро и не медь. Он владеет словом, он владеет музыкой, он владеет даром предвиденья. И каждый талант велик. У нас нет слов, чтобы их объяснить, и тогда мы их как бы взвесили. Отсюда и пошли рассказы про его баснословное вооружение. Ты понял меня, пастух, ты понял, что тебе нельзя выйти против такого человека? Тебя ждёт позор, и это будет новый позор Израиля.

По мере того как Ионафан говорил, Элиав, Аминадав и Самма снимали с младшего брата воинские доспехи. И вот он снова, в чём пришёл. Крепкий, загорелый, грязный, и непреклонный.

– Но с нами Бог Живой!

Царский сын нахмурился. Он хотел сказать: почему же ни в чём не сказывается то, что Бог с нами?! Он хотел сказать это, но вовремя сообразил, что ему не к лицу такие речи. Негоже наследнику сомневаться в предназначенном наследстве. Негоже спрашивать, где же он? про Бога, Бог пребывает всегда. Ионафан отвернулся и пошел к царскому шатру. Это выглядело так, будто он разочаровался в пастухе, не желает более тратить на него слов. И все, кто стоял рядом, именно так и подумали. Эхананан же, наоборот, почувствовал, что он победил в этот момент царского сына.

– Теперь же и пойду к НЕМУ и убью ЕГО, – твёрдо сказал он.

В ответ он услышал даже не презрительный смех, а оскорбительные возгласы. Этот пастух-выскачка очень злил бывалых воинов. Эта злость не испугала Эхананана и не смутила. Она успокоила его. Он посмотрел исподлобья на тех, кто стоял вокруг него плотным кольцом. Рты отверсты, руки подняты. Были слышны крики, но не было слышно слов. Нельзя было понять, они проклинаят его, или приветствуют. Не одно ли это и то же, подумал он, и удивился, что так подумал. А потом сразу же пошёл на человеческую стену. И стена расступилась, не переставая при этом кричать. Толпа некоторое время следовала за Эханананом, редея и вытягиваясь клином вниз по склону холма. Наконец клин этот остановился, от острия отделилась одна капля и покатила дальше. Голый по пояс юноша с пастушеской палкой в руке.

Во вражеском лагере его тоже заметили. Филистимляне выбежали во множестве за ограду лагеря и расположились на своём склоне как на трибуне.

Эхананан не оглядывался и не поднимал глаз, он смотрел на шатёр в тени дерева. Он шёл не прямо на него, он брал чуть левее, но делал это не от нерешительности. Он давал ЕМУ возможность услышать шум Израиля и филистимлян. Эхананан хотел, чтобы поединок был честным и открытым. На глазах у всех.

Ступая по мягкой юной травке он вышел на берег ручья, рассекавшего дно долины.

Белый шатёр молчал, но было ясно, что он не пуст. Эхананан остановился шагах в двадцати от него. Край солнца выплыл над смоковницей и свет хлынул в лицо пастуха. Шум левого и правого холма стих, только голос струящейся воды у левой ноги был слышен теперь.

Шатёр безмолвствовал, но Эхананан понимал, что выкликать никого не надо. Там в шатре известно, что противник явился.

Солнце уже по пояс высвободилось из древесной кроны, и теперь уже не только слепило, но и обжигало.

Эхананан встал на одно колено и наклонился над водой, собираясь напиться и освежить чело. И в этот момент услышал, как холм слева от него и

холм справа вздохнули. Пастух скосил взгляд и увидел в проёме шатра ЕГО. Пот кипел у юноши в бровях и натекал в глаза, отчего фигура противника была искажённой и сверкающей. Эхананан опустил руку на дно ручья и взял со дна камень величиной с крупный лимон. И медленно выпрямился во весь рост. Хозяин шатра не пошевелился. Пот по-прежнему заливал глаза Эхананану, но он всё же смог несколько яснее рассмотреть ЕГО. Это был высокий, но не громадный мужчина средних лет, с волосами до плеч и чёрной бородой, уложенной кольцами по сирийской моде. Облачён он был в белый хитон, на запястьях горели браслеты. И ОН улыбался. И дружелюбно, и с превосходством. Эхананан почувствовал, что человек этот хорош и светел. Но вместо того, чтобы шагнуть ЕМУ навстречу и поприветствовать, пастух изо всех сил сжал в ладони камень, добытый с ручейного дна.

И тут в воздухе разлился цветочный мед и Эхананан почувствовал приятный холод на щеках и немного в душе. Это ОН сказал:

— Меня зовут Голиаф. Ты утолил жажду тела, юноша, войди ко мне, и я утолю жажду души твоей.

Эхананан вытер пот рукою, но видеть лучше не стал.

— Подойди же ко мне.

И тут пастух понял, что уже начал подчиняться этому голосу и скоро подчинится совсем.

— Что же стоишь, приблизься!

Эхананан остался на месте.

— Я не буду тебе петь, я не буду тебе играть.

Эхананан не шевельнулся.

— Я предскажу тебе, кем ты станешь.

— Я стану тем, кто победит тебя.

Хозяин шатра тихо засмеялся.

— Ты знаешь слишком мало. Войди в мой шатер и ты узнаешь такое, о чем даже и помышлять не мог.

— Если я убью тебя, этого будет довольно.

— Если ты убьёшь меня, ты вечно будешь мучить себя вопросом — зачем я не выслушал его? Что ты теряешь, войди в шатер. И потом, как же ты убьёшь меня, разве палкой, но ведь я же не собака.

— А вот как... — Эхананан одним движением распоясался, и у него в руках образовалась праща. Он вложил в неё камень из ручья и стремительно раскрутил. Сладкоголосый хозяин протянул в испуге руку, было видно, что он быстро говорит. Но пастух, не дожидаясь, когда он договорит, выстрелил. Камень попал точно в лоб чернородому, и он сразу же рухнул на спину. Продолжая говорить. Эхананан подбежал к нему и склонился над телом, встав на одно колено.

— Царь иудейский, ты Царь иудейский, — шептали губы.

На горе филистимлян началась паника. Те из необрезанных, кто подошел близко к шатру, начали карабкаться вверх по склону к ограде своего лагеря. Напротив, воины Саула широкой, возбуждённой толпой неслись вниз по своему склону, размахивая оружием.

— Ты Царь Иудейский, — шептали губы лежащего, хотя сам он был беспомощен.

Пастух озабоченно огляделся, ощупал тело и обнаружил на поясе бородача, под благоуханными греческими одеждами, обыкновенный сирийский обоюдоострый меч. Он был невелик, никак не тянул на три тысячи сиклей по весу, но для задуманного дела годился. Эхананан вытащил клинок из ножен,

взял бредящую голову за волосы и несколькими ударами отсек её. Ионафан, возглавлявший воинов Израиля, бегущих с горы, был уже совсем рядом. Пастух не хотел, чтобы царский сын слышал слова, которые говорит голова.

Эхананан поднял отрубленную голову и показал Ионафану и своим братьям, толпившимся в первых рядах.

– Теперь никто не скажет, что ОН на голову выше любого из воинов Израиля.

Саул ждал Эханана возле шатра. Тот медленно поднимался по горе, неся в вытянутой голове уже почти не кровоточащую голову. Ионафан шёл рядом с пастухом, но все чувствовали, что он всё же на шаг отстаёт от него.

Царь сказал, когда процессия остановилась, и приветственные крики стихли.

– Ты победил Голиафа, как и обещал. Отныне ты будешь называть не Эхананан, но Давид, что значит – любимец!

Приветственные крики вспыхнули с новой силой.



Александр СУВОРОВ (1965-2016)

«Я ПАССАЖИР В НОЧИ ЗЕМНОЙ...»

* * *

Взвесь, поэт полночный,
Строки на весах —
Голубь непорочный
Замер на часах.
Оттого так чисто,
Так свежо вокруг,
Что нечистой мысли
Не помыслишь, друг.

* * *

Ещё душа не охладела,
Но иссякает дар любви
И сердце вторит неумело
Напевы давние свои.
Ещё вино течет рекою,
Но берег виден сквозь туман
И страшно горбится порою
Волнами хаос-океан.

Александр Естиславович Суворов родился в 1965 году в Казани. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького и аспирантуру. Был постоянным автором журналов «Наш современник» и «Москва», газет «Литературная Россия», «День литературы», «Российский писатель».

Автор книги стихов. Жил в Москве. Скончался 13 июля 2016 года...

Ещё душа не оскудела,
Но взор понур и грустен вид.
Пусть до известного предела
Душа голубкой долетит.
А там средь пасмурного неба
В зените тающего дня
С косою вьётся злая небыль
И с неба целится в меня.
Так пусть визжат людские страсти,
Которым тесно взаперти,
А в дверь колотятся напасти:
Им тоже суждено войти.
Любовь иссякла. Мир мрачнеет –
Огромный разноцветный шар
Плывет к закату, пламенея,
Как гаснувший впотьмах пожар,
И пассажиры дальних странствий,
Объяты заживо огнем,
Летят в зияющем пространстве
В ночи всё дальше день за днем.

* * *

Кофеем пахнет и шалфеем
В моём доме,
Кленовый лист в окне алеет
Мне одному.
Иль это вновь рассвет стучится
Ко мне, звеня,
Иль это осени жар-птица
Манит меня.
Я одинок, как прежде, осень,
В своём доме,
Ты мне в окно гроздь ягод бросишь,
Я подыму.
Повеешь пряным ароматом
Пустых садов,
Фальшивым осчастливишь златом
Грязь городов.
И вдруг исчезнешь, словно фея,
Впустив зиму.
Кофеем пахнет и шалфеем
В моём доме.

* * *

Мужчина ждет от женщины тепла
Студеными и темными ночами,
Чтобы она светилась и цвела,
Чтобы зарю средь ночи возвещала.

Мужчина ждет от женщины чудес
И в небеса возносит лик богини,

Чтобы Христос угаснувший воскрес
И руки протянул к Своей Марии.

Мужчина ждет от женщины любви –
Во вражьем стане, среди лиц разбойных
Ты о пощаде Бога не моли,
Молись любимой, одинокий воин.

Все будущее вам принадлежит,
Вы, если и умрете – оживете,
Лишь двое знают, что такое жизнь:
Мечта влюбленных о ночном полете.

Мужчина ждет от женщины тепла –
От матери, сестры и от любимой,
Чтобы она молилась и ждала
И жизнь спасла надеждами своими.

* * *

Жизнь порвалась, как кинолента,
И темен безразличный зал,
Уж я-то знал: судьба – легенда,
Ведь наспех сам её создал.
Смотрел, участвовал и думал:
Настанут светлые деньки,
И мы уйдем от зла и шума
На берег медленной реки.
И будем вспоминать, как было,
Как дни неспешные текли,
Как ты меня тогда любила
И как друг друга мы нашли.
Да, все века смешались ныне:
Кто был смешон, тот стал свиреп,
Где был дворец – лежат руины,
Кто был велик – теперь нелеп.
Была любовь желанным бредом,
Хоть легкомыслен всякий бред,
А мы брели по белу свету –
И ослепил нас белый свет.

* * *

Много пьяных людей на Москве,
Чаша смерти полна до краев.
Люди-люди, я тоже в тоске,
Мы из чаши забвения пьем.
Не излечишь себя без любви.
Под гортанные крики татар
Льются деньги, молчат соловьи –
Не театр этот мир, а базар.
Много пьяных людей на Москве
Мне встречается этой весной...
О туманный, властительный век,
О тупик человечий, чумной!

* * *

А. Кувакину

Они стояли в подворотне
И спички жгли, огонь роняя.
Там, сдвинув веки плотно-плотно,
Зима косила их слепая.

Она раскинула метели
Своим покровом вдохновенным,
А мимо них века летели
Из подворотни всей вселенной.

«Ну что ж, – сказал один, – напьемся,
Коль века ход так неизменен?».
Другой ответил: «Нет, прорвёмся –
Ведь призречен напиток гений».

Они стояли у порога
Времен последних, незабвенных.
Весна притихла, недотрога.
Зима царила во вселенной.

* * *

Соловья ослепили, чтоб пел –
Так Гомера судьба ослепила,
Чтоб лепил он свой вещий удел,
Чтобы песни, не видя, лепил он.
И на кончиках пальцев Гомер
Создавал неземные созвучья,
И глядел на него Люцифер
Из Аида, от зависти мучась.
Соловья ослепили, чтоб пел,
Чтобы вечная ночь продолжалась
И неведом был жизни предел.
Чтоб душа наших лиц не пугалась.

ЗВЕРЬ

Я заведу себе дружка –
Не кошку – нет – и не щенка,
И не гремучую змею:
Я тварь иную люблю.
Её не манят облака,
Ей жизнь сладка,
А мне – горька.
Она игрушка и палач,
И тень моих земных удач.
Она – Нарцисс, а я – родник,
Я этой твари не двойник.
Пусть старый Фрейд рассудит нас,

Я ж — зверю подолью вина
И накормлю, и причешу, случись —
И плеткой пригрожу:
Пусть знает, что хозяин строг,
Пусть знает место и порог.
В хоромы зверю путь закрыт,
Он на меня шутя рычит,
Две страсти у него в крови:
Он ищет смерти и любви.

* * *

Как трудно жить, как просто умереть.
Уйти в безвестность ничего не стоит.
Ни ветер веять и ни солнце греть
Уже не смогут под травой густою.
И будет плыть безмолвный мой ковчег —
Куда? Зачем? — Навеки, без возврата.
И станет надо мной журчать ручей —
Весной, — а осень понасыплет злата.
Был я или не был Божий человек,
А может, окаянный и пропащий...
Я больше не пекусь о голове,
Я в вечность стал заглядываться чаще,
Коль есть она, к чему на мир смотреть:
Ведь можно даже вовсе не родиться.
Как трудно жить, как страшно умереть,
А потому — не надо торопиться.

СПАСИБО

Спасибо за кровь и за кров,
За кротость, за краткость, за ясность
Осенних сырых вечеров,
За вешнюю ярость ненастья.
Прости мой варяжий набег:
Сама же меня выбирала.
Россия, твой сумрачный берег
Изведал я. Легче мне стало.
Спасибо, родная, прости.
Словами твоими горжусь я
Измучился я на Руси,
Но как надыхаться мне Русью!
Спасибо, родная, тебе
За то, что — поэт и не боле,
За то, что в бессильной мольбе
Ломаю железную волю.
Спасибо, родная, прости
Мои суетливые мысли,
Сама им предел очерти,
Сама их согни коромыслом.

* * *

Есть сила свыше и слова в тиши,
Единственной музы огласимы.
Не оборвать сей век, сей мир не сокрушить,
И жалкие слова не сделать золотыми.

И, одинокие в немом пространстве лет,
Как бабочки, летим в огонь, сгорая век от веку,
Рожденные – гореть. И наш печальный свет –
Свет невечерний льётся над планетой.

И ты гори, но знай: так истина черна,
Когда один во тьме блисташь искрой рока!
Визжат лишь голоса, сереют времена,
Да имя не в чести, да впереди дорога.

* * *

Цепочка следов колдовская
На первом декабрьском снегу,
Кто шёл – никогда не узнаю,
Пусть даже и вслед побегу.

Он был, без сомнения, первым
Тем утром морозным, седым,
По веточке зимнего нерва
Он первым проложил следы.

Тем утром, больным и морозным,
На сером пустынном дворе
Я понял: теперь уже поздно.
Я понял, что начал стареть.

* * *

Пришли на погост графоманы,
Поэта пришли помянуть –
Он умер от колотой раны,
Он в вечность сумел заглянуть.

Они обступили могилку –
Вокруг колыхался репей –
И солнце пекло им затылки,
И тут же свистал соловей.

И вот появилась колбаска
Селедка с зеленым лучком...
Но водка нужна для завязки –
И водка явилась рядком.

Ну что, открывай, да помянем.
Стихи он когда-то писал, –
Сказал графومان Соловьянин
И взглядом ушел в небеса.

Там солнце пекло по-июльски,
Ни тучки окрест, ни дымка.
Испей-ка, Серега, по-русски, —
И дрогнула чья-то рука.

* * *

Среди обледенелых глыб
В космических полях
Смешным цыпленком среди мглы
Нахохлилась Земля.

Ей горе, впрочем, не беда:
Она внутри чиста —
На ней и воздух, и вода,
И — след стопы Христа.

Вот человеку черт не брат,
А может быть и брат.
Придет вечерняя пора —
Я выйду на Арбат.

Ведь там кучней всего земля,
Тучней всего толпа.
Орда расхристанных гуляк
Пьет водку от пупа.

И я остался бы в толпе,
Но мне милей покой.
Несется поезд по трубе
От станции Тверской.

Там пахнет тленом и землей —
Нахохлилась Земля,
Я — пассажир в ночи земной
В космических полях.



Светлана СУПРУНОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

Дружеские – и не очень...

ДАЙ БОГ

*Дай бог не вляпаться во власть
И не геройствовать подложно,
И быть богатым, – но не красть,
Конечно, если так возможно.*

Евгений Евтушенко

Дай бог не обижать жену,
Прощенья всем, кого обидел,
И если что-то умыкну,
Дай бог, чтоб кто-то не увидел.

Дай бог судье на лапу дать
И верить: всё в суде уладят,
И дальше книги издавать,
Конечно, если не посадят.

Супрунова Светлана Вячеславовна родилась во Львове. Медсестрой в 1985 году уехала в Афганистан. Вернувшись, закончила Литературный институт.

Возглавляет редакцию научного журнала Калининградского технического университета. Печаталась в отечественных и зарубежных изданиях, лауреат ряда российских и международных конкурсов. Член Союза писателей России, автор четырёх поэтических сборников. Живёт Калининграде.

Дай бог, чтоб срок был небольшой
И впрок тюремная котлета,
Чтоб быть поэтом, — но с душой,
Достойной звания поэта.

ПРЕВОСХОДСТВО

*Когда, раздвинув остриём поленья,
Наружу выйдет лезвие огня,
И наваждение стихосложенья
Издаликат накатит на меня...
Я вспоминаю лепет Пастернака.*
Сергей Гандлевский

Когда свой томик трепетно беру
И с ним ложусь в тенёк под куст малины,
То вспоминаю всякую муру —
Сюсюканье Цветаевой Марины.

Когда автограф с важностью даю
И еду на побывку в Комарово,
То вспоминаю, как галиматью,
Сухое бормотанье Льва Толстого.

Когда на свадьбе через тёмный сад
До ветру будем бегать мы, слабея,
То мы поймём, что пили суррогат,
И вспомним стих Гандлевского Сергея.

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

*Я бы в Томске томился,
В Туруханске струхнул,
На окно бы косился,
Опустившись на стул.*
Александр Кушнер

Города изучаю
И жую беляши.
Я в Сахаре бы чаю
Насластил от души.

Съем я в Тете тетерю,
Выпью в Були бульон,
Я по атласу сверю
Свой дневной рацион.

В Гусь-Хрустальном румяный
Будет ждать меня гусь,

Я на стул, словно пьяный,
Тяжело опускаюсь.

Съев в Салайне салаку,
По стихам загрущу,
А пока Титикаку
Я на карте ищу.

И СНОВА О ЛЮБВИ

*В любви вовеки не умру,
И что мне бесов рать!
Я с женщин денег не беру,
А мог бы, мог бы брать.*

Лев Котюков

Она проснулась поутру,
Открыла кошелёк.
«Я с женщин денег не беру», —
Её предостерёг.

В окне звезда. Привычный вид —
Расправлена кровать.
Стараюсь, а внутри свербит:
«А мог бы, мог бы брать!».

О как трудился я, горел,
Ручьями пот стекал,
Но вот однажды посмотрел —
Не выдержал и взял.

Червонец мятый, божий дар,
Считай из чепухи.
Подумал: чем не гонорар
За эти вот стихи?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

*Да простит меня Бог и Природа,
В ком и символ, и смысл естества,
Я ворую Слова у народа,
Не стыдясь своего воровства.*

Владимир Молчанов

Это гены такие, порода,
По-другому уже не бывать,
Я ворую Слова у народа,
А ведь мог бы и не воровать.

Жаль народ, но привычка сильнее,
Благо совесть утихнет к утру.
Он богатый, а я победнее,
Потому у него и беру.

И к тому же народу я родный,
Никогда не предъявят мне счёт.
Знаю, знаю характер народный —
Не поднимется, стерпит народ.

Я вчера возле Слова крутился
(В нём загадочный образ сиял),
Всё курил, ну, короче — крепился.
Видит Бог: не хотел, но украл.

Слово к Слову — вот сборничек новый,
Снова слава, почёт до седин,
И пришёл, не стерпел участковый:
«Одевайтесь, — сказал, — гражданин!»

МАЯСЬ УХОДОМ

*Когда умру, о сколько будет слёз!
И сколько слов! И сколько возлияний!*
Надежда Мирошниченко

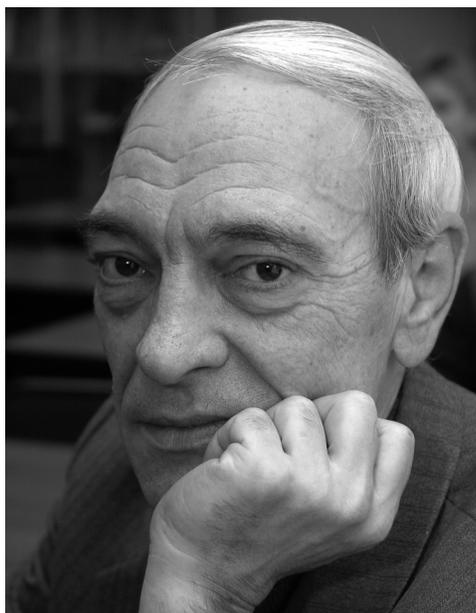
Писатели, правление, родня,
Сбежится люд, барышники с базара,
И понесут притихшую меня
По улицам родного Сыктывкара.

И к образу поэта, как штрихи,
Появятся — ни много и ни мало —
На плюшевых подушечках стихи —
О как трудилась, сколько написала!

А сколько слов приятных и речей,
Как много всё же о себе не знала!
И сладость слов — как на душу елей.
Подумаю: зачем я умирала?

И прокурлычат громко журавли,
Прислушаюсь: всё слёзы и рыданья,
И вот уже бросают горсть земли.
Последние мгновенья расставанья!

Но голоса знакомые слышать,
Замечу, эти были не речисты.
«Тебя нам будет очень не хватать!».
И догадаюсь — это пародисты.



Пётр КРАСНОВ

**«ЭТА ТЕРРИТОРИЯ ВЗЯТА НАШИМИ ПРЕДКАМИ
НА ВЫРОСТ»**

(Из цикла «Национальная идея»)

– Уважаемый Пётр Николаевич, здравствуйте! Вопросы, которые я постараюсь задать Вам в нашей новой рубрике «Национальная идея» будут простые, как воздух и вода. И уверен – столь же необходимые; без ответа на эти вопросы нация превращается в случайное сообщество экономически или географически объединённых людей.

Кто мы – русские? Ведь не у меня же одного, глядя на картины Константина Васильева или просто на заснеженные русские дали, появляется чувство, что всё это напрямую растёт из моего сердца? Как поле ржи в Вашем романе «Заполье»...

Одни говорят, что нам десятки тысяч лет, другие настаивают на тысячелетии собственно русского этноса (чётко выделившегося изобщеславянского и занявшего территорию современных России, Украины и Белоруссии). Третьи (по обе стороны самостийности)

Петр Николаевич Краснов родился в 1950 году в Оренбуржье. После окончания сельхозинститута работал агрономом, писал стихи, прозу.

В 1978 году вышла его книга рассказов «Сашкино поле», удостоенная Всесоюзной премии им. М. Горького за лучшую первую книгу автора. Был принят в Союз писателей и окончил Высшие литературные курсы. Его рассказы и повести публиковались в журналах «Наш современник», «Дружба народов», «Молодая гвардия», «Литературная учёба», «Новый мир», «Москва», в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия», во многих выпусках «Роман-Газеты», в других периодических изданиях, сборниках и альманахах. Вышло полтора десятка его книг.

Лауреат одиннадцати литературных премий. Секретарь Правления Союза писателей России. Живёт в Оренбурге.

вообще утверждают, что говорить о русских можно не раньше, чем начиная с Ивана Калиты...

— Дело в том, наверное, что мы искусственно пытаемся вмести́ть в надуманные нами же временные рамки явление, которое имеет, в сущности, вневременной характер. А именно этногенез русских как непрерывный «акт творения», уходящий во тьму тысячелетий или даже их десятков, мы самонадеянно делим на некие умозрительные отрезки: вот с такого-то момента он, видимо, стал собственно русским, а до этого... А что, за год или век до этого он был «никаким», прежде чем стать «каким»? Неверно, некорректно поставленный вопрос и ответы даёт столь же сомнительные. И я бы сказал даже так: зряшный труд — ставить перед собой и другими вопросы, которые «вне компетенции» твоей, человек, а явно в ведении Вышнего. Все этносы одинаково древние по своим корням, разве что находятся на разных стадиях своего развития, но это уже постановка иной проблемы, это исторически развёрнутая судьба того или другого народа.

— *Тогда следующий вопрос — кто такие сегодняшние русские? Насколько далеко мы ушли в XX веке от наших даже не отцов, но дедов? Как говорил Юрий Кузнецов: «когда мы бездну перешли»? Ведь, несмотря на всё (ТВ, интернет, пропаганду), генетики недавно подтвердили — свыше 80% современных «россиян» являются родственниками друг другу...*

— И наиболее «чистыми» в генетическом отношении, добавлю, чем «человек непонятных кровей» Европы, по его же словам, где «вселенская смазь», смешение народов работали куда интенсивнее и грязнее... Не думаю, что мы «далеко ушли» не только от своих дедов, но и от предков XII века — по тому судя, хотя бы, с каким внутренним изъятием любви и тоски читаем мы «Слово о полку Игореве»... Русские переходили «бездну» во все смуты и нашествия не раз, испытываясь в них, и национальный дух этих преодолений всегда един что у Евпатия Коловрата, что у Александра Матросова, из одной с моим отцом землянки полевого Краснохолмского пехотного училища 1942 года, — самопожертвование «за други своя», за Отечество. Как и в «горячих точках» бывшей страны Советов, за Россию воюя, подтверждали это множество раз. И в том наша родственность и преемственность с предками не менее достоверна, чем научная генетическая.

— *У каждой исторической нации есть цель, сверхзадача её одушевляющая: у греков создание великой греческой (собственно, европейской) культуры, у древних римлян — создание на основе этой культуры великой цивилизации и распространение её на весь подвластный Риму мир, у армеев (византийцев) — просвещение потомков этой античной цивилизации и сопредельных ей народов неискажённым (православным) светом Христовым...*

Что с русскими? Поразительно маленький народ (по слову Генри Киссинджера), по численности равный японцам или англичанам, удерживает самую большую в истории территорию. Зачем?

— Мы не «маленький», мы — великий народ, сделавший то, что не смогли сделать все другие, даже «цивилизованные» народы, и не Киссинджеру бы это говорить, принадлежащему к действительно сверхмалому народу, а вернее к международной корпорации, которая имеет совершенно несоизмеримое её численности значение и влияние в современном мире, «зоопарке без решёток»... и не зависть ли это, думается? Завидуют большему и, подчеркну, вышнему в особенности, чего у корыстной корпорации в принципе быть не может, и момент такой зависти тут, я полагаю, есть. Держать за глотку мировые финансы лестно, конечно же, и сверхприбыльно; но что за душой-то — пусто-

та, виртуальной «зеленью» набитая? Скандальные претензии, какие прикрывают злостное хищничество и ментальный паразитизм? Но, конечно, главное тут – синдром «железной леди» Тэтчер, российские территории-кладовые не дают им спокойно спать, тем паче что расширяться рыночной – и политической – экспансии Запада на маленькой Земле уже некуда.

Эта территория, разумеется, взята нашими предками на вырост, на возможность оплодотворять и облагораживать эти несметные земли, сделать их благоустроенным домом для наших народов, продолжить то, что на них уже сделано. И эта возможность, я убеждён, у России есть, несмотря на всю драматичность её истории, на все нынешние потери. Она не раз это доказывала, спасая в критические моменты народы и культуры, и никто, кроме Руси-России, не смог противостоять мировым по масштабам нашествиям татаро-монголов, европейским варварским ордам Наполеона, европейской же «коричневой чуме» как концентрированного выражения западного, расистского по сути, грабительского экспансионизма, – противостоять и победить.

Но есть и другое высшее предназначение русского народа, которое прозрели многие мыслители, заботники человечества и на Западе, и у нас, какое остаётся в силе и сейчас. Его в своё время выразил П.Я. Чаадаев: «России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней не затронутым людскими страстями и земными интересами...». Ему же принадлежит, кстати, никак не потерявшая сегодня своей актуальности формула: «социализм победит не потому, что он прав, а потому, что неправы его противники...»

Говоря о духовности русского народа, нужно сознавать, что она состоит не только в православном мировосприятии, Вере, но и в связанной с нею приверженностью к Христовой правде-справедливости в её земном, человеческом измерении и понимании. Человек равен человеку, утверждало первохристианство, и несмотря на все последовавшие извращения этого Вышнего посыла, мечту об осуществлении великого равенства уже нельзя было изъять из самосознания человечества. История знает немало попыток добиться этого предуказанного свыше равенства-справедливости, но не находилось народа даже из самых развитых наций, который сумел бы, смог решительно пойти до конца, чтобы взломать ненавистную мировую парадигму угнетения и насилия, попытаться изменить, сменить кричащую несправедливость социального мироустройства на человечность, достойную разума и совести форму своего существования. Речь здесь о русском, советском социализме, материальные и правовые плоды и ценности которого «созрели» по известным причинам только к началу 60-х годов.

И русский народ первым пошёл на решительное преодоление этого гнусного – и антихристианского именно – миропорядка. Он открыл дорогу, дал надежду на иное, лучшее будущее и доказал всем осуществимость этих чаяний, собою пробивая, прокладывая для всех путь, на горчайших порою ошибках учился, строил, создавал совершенно новую социально-политическую реальность, формацию, общность – русский социализм с его вызревшими к шестидесятым годам высокими нравственными установками человеческого общежития, каких не было до сих пор и быть не могло ни в одном социуме, ни в одном самом что ни есть христианском государстве, и старшее поколение помнит ещё «Кодекс строителей коммунизма». И в короткий исторический срок, несмотря на тяжелейшую войну, построил основы социализма, свою социалистическую систему и предопределил все главные события в мире, совсем не зря XX век называют «Русским веком»...

Когда же речь заходит о «цене» революционных репрессий и Гражданской войны, многие почему-то забывают о том, что жертвы «русского социализма» не составляют и сотой, может, доли тех поистине чудовищных гекатомб и преступлений, включая две мировые и сотни других войн, какие совершил в мире и в России и продолжает творить на наших глазах капитализм, та самая злостная парадигма без каких-либо моральных запретов вообще. Это, разумеется, не оправдание революционного (ответного, подчеркну) насилия, а говорит лишь об огромных трудностях и сложности первопреходческого дела, пути — с невесёлой констатацией того, что человечество не умеет, не научилось ещё (и научится ли когда?) по-другому вершить свои коренные преобразования, если даже и в сравнительно малых льются потоки крови...

Русский социализм выявил и востребовал невиданные доселе запасы народной энергии, разума и воли, пробудил и вызвал к творческой жизни десятки и десятки миллионов из «простого народа», из самых низов подняв их к высотам культуры, искусства, науки и техники, прогресса вообще, из земледельческой создав индустриальную и самую образованную и читающую страну в мире. Это был, по сути, «пассионарный взрыв» русского и других народов страны, предсказанный Чаадаевым, Тютчевым и многими другими мыслителями, уверенными в нравственной его силе, и направлен он был на созидание, претворение в действительность лучших общечеловеческих чаяний, на достижение и обретение социально-экономических, культурных и духовных ценностей, благ — в том их понимании, конечно, какое диктовалось условиями времени. А что мы можем вспомнить о последней четверти века, кроме мерзостей «первоначального накопления капитала»? Пожалуй, лишь второе (после сталинского) возрождение нашей Православной Церкви, но это тема отдельная.

И русский народ стал первым — и единственным — выразителем, защитником и помощником всех «униженных и оскорблённых» в мире (разрушение колониальной системы тоже является прямой заслугой СССР), и нельзя иначе расценить эту его миссию человечности на планете, где царит «закон джунглей», как близкую к христианской... Если же всё это не удалось осуществить вполне и бесповоротно с первого раза, то такое положение вовсе не означает ублюдочного «конца истории» Фукуямы... ишь чего захотели!

— Разделяете ли Вы идеологему «Москва — Третий Рим, и четвёртому не бывать!» и известное изречение блаженной памяти владыки Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского: «Россия без Христа — Богу не нужна!»?

— Разделяю, конечно, и я об этом уже сказал. И сама Россия более чем убедительно доказала всем, кто хочет слышать и понимать, что она носит Христа «не в брёвнах, а в рёбрах», несмотря даже на внешнюю атеистическую идеологию в советский период единой своей истории. Пришло теперь и «время брёвен» — и, мне всё-таки думается, оно не сразу, но рано или поздно пришло бы само собой и в наш социалистический социум, продлился он дольше в развитии, дальше... К тому, как говорится, всё шло. Да вот не дошло, иуды из Политбюро опередили.

Ну, а в том, что «четвёртому не бывать», у меня, грешного, сомнений современная ситуация с христоцентричными исповеданиями не вызывает. В «первом мире» царит апостасия, прикрытая теплохладностью в лучшем случае, разгул дрянной мистики и оккультизма, масонщины и откровенного сатанизма. Правда, в «третьем мире», в Латинской Америке особенно, есть молодой, с горячей искренней уверованностью социум, который мог бы в

чём-то «обновить веру» возвращением к первоапостольскому учению. Но для этого надо отложиться от католической ереси, от интенсивно тёмной папской курии в Риме — да, тут нужна своего рода «христианская революция». И воссоединиться с «Третьим Римом»... Но это уже мечты, непозволительные в нашем жестоком мире.

— Как Вы думаете — где мы, Россия и русские, сейчас оказались? В каком участке исторического пути?

— В очередной русской Смуте после контрреволюционного переворота, растянувшегося на 1985-1991 годы, и потери наши неисчислимы... Что ж, контрреволюция — это нередкая в истории спутница попыток вырваться из обветшалых, самим временем приговорённых к отмиранию форм социально-политических изжитков. Она может надолго остановить движение вперёд; но, как правило, те причины и противоречия, которые вызвали начальную революцию, никуда не деваются, а лишь нарастают многократно и делают следующую неизбежной — если, разумеется, власть не предпринимает решительных и действенных реформ, не идёт по эволюционному пути. Но вот уже четверть века после своего переворота и насильственного развала СССР как исторической России тупая россиянская власть, ставленница правящего в стране олигархата и насквозь коррумпированной бюрократии, не хочет и не может идти ни на какие серьёзные перемены, превратив этот олигархический «конструкт» в своего рода Антисистему с прописной, в какой могут процветать только хищники и паразиты, русофобскую по всей своей гнусной природе. Дело-то, однако, в том, что антисистема, где-либо возникнув, не может не подрывать свои же шаткие «основы», пожирает самоё себя, и перспективы подвластных ей крайне незавидны.

Но русский народ ещё не сказал своего последнего слова, да и не будет оно «последним» у него, обладающего уникальным историческим опытом, нравственными разумом и волей в лучших своих представителях, способностью к сверхмобилизации в случае суровой необходимости. Он злостно, намеренно обманут и дезориентирован, но морок этот, слава Богу, спадает — хотя не так скоро, как нам хотелось бы...

— Ну и, пожалуй, главный вопрос: камо грядеши, русский народ? Куда мы идём? И куда — должны идти?

— К трезвому осознанию и осмыслению самих себя, своих интересов и целей в мире и в стране отцов и матерей наших. К объективной оценке своей единой, без диверсионных изъятий и вбросов, истории во всей полноте её и неизбежных противоречиях, которые разрешимы лишь нашей доброй волей и заботой о будущем. К пониманию крайней губительности нынешней Антисистемы, которую нам смонтировали с помощью западных «доброжелателей», превратив страну в нарочито бесхозную территорию, где орудуют всякоразные «воры в законе РФ» и транснациональные корпорации... И вот как раз осмысление всего этого и является самым трудным делом, находясь под массивным применением СМРАДа (по А.Фурсову) — средств массовой рекламы, агитации и дезинформации, какую пытаются всячески заблокировать русскую мысль, подавить русское сопротивление олигархическому компрадорскому беспределу. Обрести национальную, государственную независимость — вот наша первая и главнейшая задача, и пока что мы находимся на опаснейшем распутье.

Беседовал Алексей ШОРОХОВ



Елена ГАЛИМОВА

СЕВЕР В ПОЭЗИИ СТАНИСЛАВА КУНЯЕВА

*Без Архангельского Севера я в полной мере
не состоялся бы ни как поэт, ни как русский человек.*
Станислав Куняев

О главном содержании и глубинной сути своей поэзии Станислав Куняев с полным правом может сказать вслед за Сергеем Есениным: «Чувство Родины — основное в моём творчестве». Пишущие о нём поняли это давно. Ещё 35 лет назад, в 1973 году, Олег Дмитриев, характеризуя лирику поэта, отмечал, что «все его главные стихи — это раздумья о человеческой судьбе, о её неразрывном единении с Родиной: со всей огромной Россией и со своими родными местами, со своей округой, наделённой неповторимыми, шемяще дорогими чертами»¹. Конечно, «своя округа», Калужская земля — «края, знакомые насквозь»: «эти кручи, и эти поля, и грачей сумасшедшая стая», «зелёный простор над неторопливой Окою» — лирический центр русского пространства художественного мира Куняева. Полевая дорога, которая «убегает в поля», «пылит и пылит, как в полу-

Галимова Елена Шамильевна — литературовед, литературный критик, член Союза писателей России. Родилась в Архангельске. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, а затем аспирантуру при ЛГУ.

Профессор кафедры литературы Северного федерального университета (Архангельск), доктор филологических наук.

Автор ряда литературоведческих и литературно-критических книг, книги рассказов и свыше 130 опубликованных научных и публицистических статей. С 2007 по 2011 годы возглавляла Архангельское отделение СПР. Живёт в Архангельске.

забытые годы», словно пуповиной привязывает лирического героя к малой родине. И потому, что пуповина эта есть, не оборвана, в его скитаниях по белу свету всегда будет ощущаться её удерживающая сила.

Русский Север, образ которого занимает видное место в лирике Станислава Куняева, в его поэтическом восприятии связан с чувством свободы, точнее – воли. Воля, стремление к ней, непреодолимая потребность в ней – один из важных мотивов лирики Станислава Куняева и одно из определяющих качеств его лирического героя. Потребность в воле неудержимо влечёт его в дорогу, «когда эта жажда охватит» – жажда бесконечного пространства, которое открывается ему в Сибири, на Дальнем Востоке и на Русском Севере.

Как пишет о Куняеве, человеке и поэте, Владимир Бондаренко, «у него и в жизни, и в поэзии всё выстрадано, всё пережито. Всё пройдено. Недаром “путь” – одно из корневых слов его поэзии. Путь – это тайга и горы, Тянь-Шань и Тайшет, реки Мегра и Северная Двина, это его родная Калуга и Саров, Охотское море и Балтика... Путь – это вёрсты лет и вехи исторических событий»².

Противоположное стремление – тяга к дому, желание покоя, связанное с мотивом возвращения в родные места:

*Жизнь моя в середине – пора,
я далёкою родиной болен,
где стоят над водой вечера,
где туманы гуляют над полем.*

*Жажда странствий, я больше не твой.
Жажда скорости – что же такое?!
Ты навек расстанешься со мной
и становишься жаждой покоя.
(«Надоело мне на скоростях...»)*

Это стихотворение датируется 1963-м годом; впереди – не одно десятилетие борьбы «жажды воли» с «жаждой покоя»; вновь и вновь лирический герой будет признаваться в том, «что пуще неволи охота, / что время придёт отдохнуть... / И древнее слово “свобода” / волнует, как в юности, грудь».

Эти два разнонаправленных стремления – к воле и к покою, потребность в странствиях и тяга к дому и составляют один из напряжённых сквозных сюжетов лирики Куняева. Не случайно многие сборники поэта открываются стихотворением, являющимся своего рода эпиграфом к этому сюжету:

*Цокот копыт на дороге,
дальних колёс перестук –
звук довоенный, далёкий,
доисторический звук.*

Этот древний звук, казалось бы, «навсегда заглушённый / временем, жизнью, войной», словно всё время звучит в душе лирического героя Куняева, воспринимается его внутренним слухом, влечёт и зовёт его в дорогу, как звал когда-то многие поколения его предков. И вновь и вновь устремляется он в путь, чтобы испытать такое необходимое ему ощущение воли:

*Хоть немного, но выпало дней,
заклеймённых печатью свободы!*

*Я когда-нибудь вспомню о ней,
вспомню эти бродячие годы.*

Затоскую о воле своей...

Но вдали от дома охватывает иная тоска, иное стремление, и лирический герой из всех своих странствий возвращается назад, «затосковав по дому, / по семье, / скучая по единственному сыну...».

Символическим воплощением мотива покоя и образа дома становится огонь очага, а символом стремления к свободе — свет звезды. Оба источника света: домашний рукотворный огонь, обещающий тепло и уют, и небесный таинственный свет, влекущий в неизведанное, — в равной мере имеют власть над лирическим героем, оба жизненно необходимы ему. От этой борьбы двух начал, ведущейся в душе, немудрено устать, и тогда лирический герой просит

*...об одном — чтобы хватило шири
соединить игру двух вечных сил,
враждующих и неразрывных в мире.
Чтобы, пока я жив, над головой
сливались в свет, таинственный и властный,
блеск очага — невзрачный, но живой —
и луч звезды — бесплодный, но прекрасный!*

И это, казалось бы, невозможное слияние оказалось возможным. Произошло это благодаря постепенно крепнувшему и набиравшему силу мотиву восприятия всей бескрайней России как родного дома. В том, что это не декларация, не идеологическая риторика, а выстраданное ощущение, убеждает, прежде всего, именно то внутреннее лирическое напряжение, которое отличает развитие мотива противоборства «воли» и «дома» в поэзии Куняева. И потому вздохом облегчения звучит признание, рождающееся в душе лирического героя при виде «мерцающей дали» русского осеннего пейзажа:

*Не знаю, как тебя назвать:
судьба? отчаянье? прощанье?
Не объяснить. Не рассказать.
Ни в песне и ни в завещанье.*

*Осталось чувствовать одно:
всё неразрывней год от года
смыкаются в одно звено,
в одно родимое пятно
моя неволя и свобода.*

Постепенно вся Россия, по просторам которой поэт с таким восторгом и упоением странствовал, словно заново, вслед за своими далёкими предками открывая и осваивая её, предстаёт перед ним как завещанная в наследство вотчина:

*...я ощутил и понял вдруг:
я часть России плоть от плоти —*

*наследник всех её основ —
петровских, пушкинских, крестьянских,
её издревле вещих снов,
её порывов мессианских...*

Чувство родины обостряется настолько, что кажется невозможным мыслить себя чем-то отдельным от неё: любовь требует полного слияния, растворения друг в друге:

*Золотая болотная ржавь,
золотые цветы зверобоя...
Как бы мне всё, что вижу, прижать
прямо к чреву, чтоб сделать собою.*

Это ощущение в конечном итоге определило и восприятие поэтом Русского Севера: отправляясь сюда на зов воли, свободы, он оказывается в далёких и тем не менее родных краях.

В одном из писем Станислава Юрьевича есть такое признание: «...в целом за 35 лет, начиная с 1972 г., я ... провёл в Архангельской тайге и на берегах Белого моря в общей сложности года три, не меньше, приезжал, как правило, два раза в год — осенью и весной, и многие лучшие стихи свои 70-х — 90-х годов написаны мною на берегах Мегры, Сояны, Золотицы, в зимовьюшках и в палатках... Без Архангельского Севера я в полной мере не состоялся бы ни как поэт, ни как русский человек»³.

Как писал Михаил Лобанов, «Север стал для Куняева особой точкой на земле. Его влечёт к себе сама стихия этого края с суровостью во всём — в природе, быту поморов, и этим его стихи оздоравливающе действуют на читателей. И понимаешь, когда автор жалеет тех, кто не испытал того, что пережито им на Севере, и — на охоте, на рыбалке, при встречах, разговорах с поморами, с охотниками в зимовьях. Но и те, кто никогда не был на Севере, по куняевским стихам могут почувствовать “вкус” беломорского бытия. Он, кажется, замечает, видит то, что так завораживает его слух:

*Я опустил глаза к реке —
Вихрь зародился вдалеке,
Качнулась ивовая ветка.
Вихрь воду сморщил, и на ней
Вдруг стало ясного ясней
Невидимое тело ветра.*

Заветные для поэта места — знаменитая река Мегра, деревня Ручьи обернулись для него открытием красоты природы и людей, оттуда и виднее для него всё мнимое, подлое, никчёмное в столице. Куняев не просто знает, а, можно сказать, выпитал в себя северную стихию, и она вошла как органичная часть в его мировоззрение»⁴.

Лирический герой Куняева испытывает особенно полное, всеобъемлющее ощущение свободы именно здесь, на Русском Севере, где «обмирает душа от простора». В русском национальном сознании представление о воле (точнее, наверное, нужно говорить о чувстве воли) связано, прежде всего, с огромными пространствами, с бескрайними просторами; воля не знает границ, она близка стихиям, она стремится к беспредельности. На

зов Севера, этот властный зов воли устремляется лирический герой с почти инстинктивной силой, которую невозможно заглушить в себе, невозможно преодолеть:

*Есть золото славы и медь похвалы,
есть жизни обыденный лепет,
но с углем под серым налётом золы
целуется северный ветер.*

*Есть время, которое просит у нас
отдать ему силу и волю...
Но вот засверкала звезда, как алмаз,
над линией береговою.*

*Из древних лесов вытекает река,
там сосны — как медные трубы...
От солнца, от спирта, от табака
растрескались нежные губы.*

*Пусть белые ночи меня разлучат
со всеми, кто близок и дорог...
Что делать,
 коль гуси так звонко кричат
на дальних Мегорских озёрах.*

Здесь, на безлюдных просторах Поморья, лирический герой словно оказывается насквозь пронизан токами природной жизни, её ритмами и импульсами, высвобождающими его изначальную сущность. Мощная стихийная сила включает в единый поток жизни и человека, подчиняет его общим законам существования:

*По северным звёздам угадывать путь,
брести от зари до ночлега,
свалиться без сил и ладонью черпнуть
воды из лосиного следа.*

*По тропам звериным сквозь бурю гать
стремиться к прозрачным истокам,
выслеживать птицу и спирт разбавлять
холодным берёзовым соком.*

*А белые ночи стоят в сосняке,
ползут на болота и взгорья,
и красная рыба по чёрной реке
крадётся из Белого моря.*

Неслучайно в этом стихотворении глаголы движения: брести, стремиться, ползут, крадётся — объединяют и человека, и зверя, и рыбу, и белые ночи.

В одном из лучших северных стихотворений поэта — «Вековые деревья сплелись» (1976 год) — природный мир предстаёт во всей полноте своей интенсивной жизни, проявления которой — таинственные звуки, неведомо

кем и чем производимые: шорохи, шелесты, вздохи. Это мир без человека, словно бы существующий ещё до человека. Стихия природной жизни так могуча и грандиозна, таким цельным, гармоничным и самодостаточным предстаёт мир безлюдной северной тайги, что человек – словесное существо – растворяется в нём, а произносимые им слова теряют своё лексическое значение, распадаются на звуки и уподобляются звукам природным:

*Вековые деревья сплелись,
как враги или кровные братья,
запрокинули головы ввысь,
распахнули друг другу объятия.*

*Странный звук – и опять тишина...
Если можешь – спроси у собаки:
то ль вздохнула под ветром сосна,
то ли зверь оступился во мраке.*

*То подносишь ладони ко рту,
и раскатистый зов человека
полный смысла летит в темноту...
Но вернёт тебе слабое эхо*

*только а-а! только о-о! только у-у!
А тайга обступила, нависла,
и согласные звуки в траву
зарываясь, лишаются смысла.*

*А без них человечья молва
приближается к речи звериной...
Только у-у! только о-о! только а-а!
догоняют косяк журавлиный.*

Ощущение «узловой связи» с природой высвобождает в лирическом герое и подлинно мужское начало – инстинкт охотника и рыбака, первобытного добытчика. Это начало тоже связано с потребностью в воле, возможностью хотя бы ненадолго вырваться из регламентированного мира общественных отношений, идеологических битв, политических дразг. Охота и рыбалка в поэзии Куняева – не хобби современного изнеженного горожанина, а «древнее дело», трудное и опасное мужское занятие, настоящее испытание на выносливость:

*Палатку снегом занесло,
похлёбка в котелке
замёрзла...
Скользкое весло
не держится в руке.*

Это «древнее дело» не противопоставляет лирического героя природному миру, а напротив, усиливает чувство единения с ним (не случайно о герое поэмы «Солнечные ночи» говорится, что он «брёл по земле походкой зверя»). В северных стихах Куняева передаётся ощущение возможности при-

близиться к главным тайнам жизни — тайнам рождения и смерти — в их неразрывной и вечной взаимосвязи:

*Чёрные тучи над чёрной водой,
снегом присыпанный вереск...
Ветер свистит над песчаной грядой —
время на нерест.*

*Вечное дело вершится во мгле,
в холоде, в тёмных глубинах.
Угль дотлевают в горячей золе...
Что разбудило тебя на заре?
Звон голосов лебединых!*

*Пламя рождений и холод смертей,
тайны любви и гнездовья,
кровные пути отцов и детей
требуют мглы и безмолвья.*

*Время исчерпано. Птицы на юг
тянутся к вечному лету,
словно кричат: «Не разгадывай, друг,
тайну последнюю эту!».*

Ощущение естественности, нормальности, природосообразности такой жизни обостряется при сопоставлении с тем суетным шумным миром, из которого попадает на тихие берега таёжной реки и на простор беломорского побережья лирический герой Куняева. Эта жизнь с её простыми и насущными думами «о хлебе, о войне, о светлой рыбе и о чёрном дне», становится для поэта своего рода эталоном истинности, в сопоставлении с которым он оценивает даже жизнь зарубежной Европы. В книге воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия» Станислав Куняев передаёт свой разговор с женой во время их первой поездки за границу, в Германию. В ответ на восхищение жены немецким порядком и комфортом он противопоставляет этому несвойственному русским людям стремлению к «орднунгу» тягу на простор, на волю, и опять вспоминает свою Мегру⁵.

А в стихах Куняева шуму и треску, которые производят «парламентарии всех стран», а также всякого рода «рифмачи, трубачи, хохмачи», тому враждебному шуму, подобный которому вызвал гневное вопрошание Пушкина: «О чём шумите вы, народные витии?», противопоставляется чистый голос мироздания, врачующий душу лирического героя:

*Какая жизнь шумит вокруг!
Какие страсти в птичьих звонах!
Мне грустно, друг, мне скучно, друг,
радеть о правовых законах!
Засну под мягкий шум дождя,
проснусь под грозный голос ветра,
чтобы не слышать ни вождя,
ни лидера, ни президента.*

Сквозным мотивом, связанным в поэзии Станислава Куняева с северорусским простором, становится мотив тишины. Тишина для поэта — это не отсутствие звуков, это отсутствие шума. Состояние тишины в его лирике — это состояние, которое раскрывает одно из традиционных значений слова «тишина», зафиксированных в словаре В.И. Даля: «мир, покой, согласие и лад»⁶. Природные звуки не нарушают эту тишину, а насыщают её; без них мир был бы мёртвым. Поэт слышит «дыханье трав», «бормотанье чёрного ручья», «свадебный стон лебедей» и «как шелестит о траву лиственничная мягкая хвоя», и «как лист летит с берёз». Тишина и состоит из этих гармоничных звуков, насквозь пропитана ими, и голос лирического героя вновь вплетается в симфонию природы:

*Покой и тишина...
Слышать, как талый снег
ползёт по берегам,
шурша и осыпаясь,
и как ручей стремится
к реке журчащий бег,
и как свистит кулик,
с ручьём перекликаясь.
Где каменная падь,
где золотая гарь,
я отложил ружьё
и к древу прислонился,
и что-то бормочу,
как молодой глухарь,
который надо мной
на ёлке притаился.*

Встречаются в северном тексте поэта и стихотворения, посвящённые жителям Поморья; это «охотники, крестьяне, рыбаки», чаще — старые люди, которые сохраняют традиционный уклад жизни, веками сложившийся здесь. Поэт не изображает их детально, индивидуализировано, а показывает именно общее, родовое, характерное для всех поморов: верность родным краям, несуетность, достоинство, молчаливость и способность терпеливо переносить все тяготы очень нелёгкой жизни («Я не знаю, жива ли старуха...», «Из жизни поморов»). Общим изначальным законам жизни подчиняются на Севере и природа, и люди:

*Северный ветер свищет,
сёмга спешит на нерест —
устье родное ищет,
тычется в чёрный берег.*

*Кто на волнах как мячик
пляшет призрачной тенью —
то ли топляк маячит,
то ль голова тюленья?*

*Иней блестит на брёвнах,
блещет в жемчужных зёрнах*

*скользящая, как резина,
чёрная древесина.*

*Фёдор уху заварит,
спирт разольёт по кружкам,
папиросу запалит
и поплывёт к ловушкам.*

*Вечный закон природы
знают земные дети —
рвёшься в родные воды, —
значит, в родные сети...*

Часто в стихотворениях метонимической заменой изображения людей становится описание облика деревни, избы, кладбища; о том, как веками жили здесь северяне, рассказывает «поморский чёрный крест на берегу крутом», «старославянский шрифт раскольничьих заглавий», русская печь, «завывавшая глухо», «в божнице коричневый лик», «ряды фотографий».

Но всё же чаще Север Куняева безлюден. Сюда лирический герой отправляется, чтобы врачевать душу, чтобы напитываться токами жизни, ощущая, как «сама мать сыра земля насыщает здоровьем»⁷. В книге воспоминаний Станислав Юрьевич пишет о том, как в 1991 году, когда «давление на очаги патриотического сопротивления достигло предела», он «каждый раз, доходя до предела усталости, уезжал на пару недель в беломорскую или североуральскую тайгу на охоту и рыбалку, а возвращался похудевший, надышавшийся таёжным воздухом, облучённый незакатным северным солнцем, как будто заново рождённый для борьбы»⁸.

Однако, наверное, самым главным из того, чем поделился с поэтом Архангельский Север, стало то, что здесь ему довелось пережить ощущение вечности — одно из наиболее редких и драгоценных ощущений, доступных человеку. Вдали от мегаполисов на безлюдных северных просторах утрачивают своё значение и свою власть над людьми все календари, кроме природного. И это даёт чувство победы над отмерянными сроками короткой земной жизни:

*Я знаю только время,
что мчится, как река,
я вижу — злато семя
летит на берега,
где жёлтые купавы
стоят в реке до плеч,
где северные травы
ведут со мною речь.*

Здесь, на Севере, душа остаётся один на один с вечностью и нележно ощущает своё бессмертие.

*Тишина. Ни собак, ни людей
здесь не видно со дня сотворенья.
Только свадебный стон лебедей,
только царственный блеск оперенья.*

*Только ягель да зубчатый лес,
да в безмолвные белые ночи
тусклый пламень полярных небес
отражают озёра, как очи.*

*Если есть в человеке душа –
да придёт она после разлуки
под струящийся шум камыша
на озёрные эти излуки.*

*Пусть останется с миром вдвоём
без меня на закате багряном
и лепечет о чём-то своём
безымянная над Безымянным.*

*Пусть витает, в пустынном краю
о прошедшей судьбе забывая,
и да примет её, как свою,
лебединая белая стая.*

Черты обетованного Беловодья в суровом облике Архангельского Севера можно увидеть только сердечным сыновним зрением, «гордый взор иноплеменный» их не разглядит.

Архангельск

¹ Дмитриев О. [Предисл. к подборке стих. С. Куняева] // Мы – молодые / Сост. В. Гейдеко, И. Купцов. Вып. 3. М., 1973. С. 203.

² Бондаренко В.Г. Чувство пути Станислава Куняева // Русский Дом. 2002. № 11.

³ Письмо 2007 года (Б.д.). Личный архив Е.Ш. Галимовой.

⁴ Лобанов М. Энергия слова // День литературы. 2002. 15 нояб. № 11 (75).

⁵ Куняев С.Ю. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 3. М.: Наш современник, 2002. С. 92.

⁶ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1956. С. 407.

⁷ Куняев С.Ю. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 2. «Есть ещё океан». М.: Наш современник, 2005. С. 343.

⁸ Там же.



Валентина ЕРОФЕЕВА

«И НАМ СОЧУВСТВИЕ ДАЁТСЯ...»
О повести Михаила Тарковского «Фарт»

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, —
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать...
Фёдор Иванович Тютчев*

Каждым из людей творческих эти провидческие слова Тютчева переживаются и переосмысливаются по-своему — иногда болезненно-остро (как пример — Гоголь, уничтоживший «Мёртвые души»), иногда смиренно-покорно, когда трактовка «понимающих» и «внимающих» более щадяща к автору.

Но... ответственность за «*как слово наше отзовётся*» должна быть обоюдострой. Внимающий этому слову тоже должен отвечать за отсутствие *благодати* и *сочувствия* в понимании его. А вот об этом предупреждении Тютчева расслабленно забывают практически все. И сам творец, в отчаянии самобичевания посыпавший голову пеплом, и внемлющий ему потребитель сотворённого.

Попробую на абсолютно конкретном примере анализа повести Михаила Тарковского «Фарт» (*журнал-приложение «День литературы», №2 — 2017*) поговорить сейчас именно об этом, ни в коем случае не претендуя на истину

Валентина Григорьевна Ерофеева родилась в Оренбуржье.

Филолог по образованию, поэт, прозаик. Вела авторскую поэтическую передачу на оренбургском радио. Член СПР с 2003 года, автор нескольких поэтических книг, публикаций малой прозы в журналах «Юность», «Берега Тавриды», «Гостинный двор» и других.

С 2002 года работает в редакции «Дня литературы», в данное время — выпускающий редактор газеты и журнала-приложения.

Живёт в Подмосковье.

в последней инстанции, но обладая достаточным количеством материала для анализа. И использованные мною отзывы присланы в редакцию читателями и критиками, прикоснувшимися к *слову* автора «Фарта» — Михаила Тарковского.

Начнём с того, что определённое количество *внимавших* нашли для себя наиважнейшим настоятельно посоветовать продлить, крупнее разработать линию некоего, по их мнению, обиженного автором, обделённого его вниманием персонажа, — Ежа.

Что за существо такое, линию которого так жаждет расширить и углубить (совсем по-горбачёвски) именно эта категория *внимавших* «Фарту»?

Вот лишь одна из авторских характеристик сего персонажа:

«Серёжа Шебалин был знаменитый, с гусарскими повадками парень. Когда просили его описать, отвечали: «Помните казака с картины Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»? Там один с веслом. А другой, второй с кормы — с ружьём который: вот это он! Не помните — обязательно посмотрите».

Сходство было удивительное: совпадало именно стремительно-грозное выражение лица, летящий покат лба и свирепые белки. Только Сергей был поплотней, поухоженней, посинеглазей. И нос имел, что называется орлиный, а усы поменьше и позолотистей. Со школы был необыкновенно взрослый, крепкий, брился и курил класса с восьмого, а в студенчестве был наколотке с мужиками-преподавателями».

Далее автор (в лице писателя Баскакова) ярко описывает «чужачества» Сергея-Ёжика:

«Будучи коноводом, потащил как-то всех в пивную. ...Пивнушка закрывалась, и ребятам пришлось взять пива с запасом. Запас оказался столь основательным, что, несмотря на приказ Ежа допивать, пиво встало столбом в пищеводах. Добыли где-то прозрачных пакетов и по-хозяйски залили остатки. ...Долго ловили машину — компанию с янтарными пакетами никто не брал. Пузатые подушки подтекали с углов. ...Наконец он ухитрился остановить скорую помощь, компания в неё взгромоздилась и помчалась под крики Ежа: «Шеф, включай сирену, гони на красный!».

И тут же, пытаясь быть объективным, что автору (и Баскакову как главному персонажу) удаётся иногда даже сверх меры — закапываясь с головой в утончённый психологический анализ:

«Но, пожалуй, главный его талант заключался в сочетании двух умений: бескорыстно сиять идеей науки и, чувствуя людей, оказываться рядом в нужный момент. Всем казалось, будто за ним кто-то всегда стоит, так умел он обобщить своим видом дух любого из кругов — чиновники думали, что за ним наука и иностранные деньги, наука — что иностранные деньги и чиновники. ...При всей любви жить на широкую ногу он стоял на принципах братства за идею и свои успехи делил на друзей: кураж и товарищество были его главные опоры. Очень поддерживал Баскакова, когда тот жил впроголодь, и издал его первый сборник рассказов...».

Но далее парадоксальное наблюдение (уже только Баскакова) о том, что «чем больше печатаюсь и утверждаюсь в опорах и внешних и внутренних, тем сильнее рушится Серёжа. Он уже поменял с десятков работ, с которых всё чаще вылетает, потому что или пьёт или пребывает в таком звеняще-придирчивом и гневном раздражении, что от него стараются избавиться. Питьё совмещается с ночным рытьём в новостях и отслеживанием моих выступлений и интервью, где Ёж наполняется бесконечным несогласием и осуждением, которые выплёскивает при встрече».

Начинается спор, тяжкий ещё и тем, что Ёж ничего на свете уже не любит, кроме «нескольких людей» и общей идеи «организованности». Когда его спрашивают, что он сам предлагает сделать сегодня в России, отвечает, что каждый должен заниматься «своим делом», что не его обязанность что-либо предлагать, что не берёт на себя такую ответственность в отличие от «некоторых», и, вывернув на поле нападения, разворачивает атаку.

Говорит дежурные три вещи: что в «нормальных странах» всё по-другому, что хватит нам идей — пусть каждый «на своём месте хорошо дело делает», и что *здесь* ни при какой идеологии ничего *путного* не выйдет».

И так далее и тому подобное...

И почти как апофеоз — о русском народе в вечно нетрезвой голове постепенно становящимся уже бывшим друга угнездилось такое: «...дерьмо народ, завистливый, ленивый, тупой. Ни мне, ни соседу. Лишь бы дальше носа не видеть... Духовность, б.! В Приморье батёк церкву строит — китайцев нанимает! Ваши-то православные где?».

Вот такая, почти чаадаевская «правда» исповедуется Ежом, выстроившим для себя жизненным идеалом «ранчо в Монтане. До чего там прекрасно всё организовано. Тебе бы *просто* понравилось! Просто. Ты не представляешь, сколько там ручного труда! И всего натурального. Традиционного. И как они берегут это. ...Казак твой, Михайлов, рассказывал, как их в Швейцарии принимали. В горах. Какие там деревни, музеи, спевки-гармошки! Прекрасно живут именно тем традиционным, за которое вы ратуете, — и снова отстранённо, как мохом проложит: — Не-е-е. Ни-че-го не будет... — И следующее бревно наваливает: — Это у *вас* тут не могут порядок навести. Элементарные вещи. На Урале человек сделал музей, а орава дармоедов из управления культуры его в такой угол загнала, что он кони двинул. Игоряшенька, дорогой. Ник-ко-му ни-че-го не надо. Одни бабки на уме. Бабки и халява».

«Пытаешься возразить, что в *тебе* дело всегда! Не в том, *какой* народ, а в том, что *ты* для него сделал. И что на тонущем судне можно сколько угодно в гармошки играть», — мягко, интеллигентно (верующе!) защищается, направляет Ежа Баскаков-автор, но...

Даже не то что безрезультатно, а с обратным эффектом завистливой капризности получает отпор. Его принципиально не слышат! И он начинает вдруг невольно замечать, как сильно польсел Ёж, «и сейчас напоминает уже не орла-беркута, а стервятника или сипа: худая костлявая голова с орлиным носом, и особенно страшный, меловой с похмелья вид — трупно-синие мешки под глазами и в самих глазах сумрак... Могильный сумрак... Не могу.. Не могу.. Серёжа, прости...».

И смотрит Баскаков в эти мёртвые глаза и мучается, мается — без вины виноватый: «Прости меня, братка, прости! Ну как? Ну как мне тебя спасти!? Было б на войне — на руках вынес бы! Иль полегли бы оба! А сейчас — как помочь? Если ты даже сам себе помочь не хочешь! Сколько уж всего переговорено. Ну как? Как?! Да что же за горе-то!».

И смотрит в эти глаза и погибает, каменеет, молчит, и всё больше и больше в этом молчании лжи и предательства. А в глазах Ежа чёрным по белому: «Пристрели меня! Или без войны тащи...».

Вот так — «без войны тащи...». В этом весь Ёж: «Тащи...».

Тащить, «идти на духовную жертву» — как определил это состояние души Баскакова отец Лев?!

Товарищи *понимающие* и *внемлющие* (и оттого жаждущие длить и длить — разрабатывать эту линию Ежа), ну хоть капля спартанского духа жива в вас?

– Вспомните один из самых жестоких законов Спарты. Вы хотя бы краем воображения представляете, *сколько сил* бездарно нужно убить, ухлопать и автору, который – по вашему настоятельному совету! – возжелает углубить и расширить своё знание и понимание этого «блистательного» персонажа, да и его герою Баскакову? Верит ли даже он в воскрешение, возврат своего бывшего друга из животногоподобия хотя бы не к *человеку*, а лишь к человекоподобию? Ведь друг бывший до такой степени изменился за последние годы, что внешне да и внутренне стал напоминать крайнюю степень опустившегося бомжа: беспробудные пьянки (благо, денешки какие-то накопленные ещё не все пропиты), грязь внешняя, развившаяся в нём до патологической боязни воды – умывания, мытья в бане, в ванне; и грязь внутренняя: «Пошёл ты из моей жизни навсегда со своими попами, и моралью, и Россией...».

Ладно, пусть будет так: ну верит читатель, *понимающий и внемлющий*, – в это воскрешение, оттого и просит развить линию... Тогда ещё один вопрос: само это животноеподобное существо способно ли совершить сей подвиг восхождения? Скорее всего, здесь многие из уверовавших поскребут в затылке: вряд ли способно.

А если не оно само себя, то *кто* будет тащить его из этого мерзкого болота, в которое оно вляпалось? Кто?! При условии, что само-то оно и не собирается оттуда выползть, сладострастно булькая в нём и разлагаясь. Не согласны?! – Ну, это ваше право. Но ведь вы читаете Михаила Тарковского, а он-то, как *родитель* данного субъекта, лучше вас знает и понимает бесперспективность возни с такими, с позволения сказать, Ежами. Хотя и здесь он в своём стиле:

«Ёж это как наша совесть... Всем охота быть чистенькими и безгрешными. А здесь человек, которому ты обязан по гроб жизни, а она (эта жизнь) так придумана, что помочь ему нужно – кровь из носа, а кишка тонка. И всё нутро противится и возмущается. И себя презирать начинаешь. И придумываешь, что если человек сам себя спасти не хочет, то никакая помощь не спасёт. В глубине души знаешь, что всё равно помочь можно. Добрым словом, вниманием, смирением».

И после долгих-долгих размышлений по этому поводу единственно верный (на мой взгляд) вывод Баскакова: «Как я могу ему помочь? Только молитвой?»

Вот так-то...

Не сможет «из болота тащить бегемота» против его воли столь совестливый и благодарно помнящий добро главный персонаж «Фарта» писатель Баскаков. Думаю, что и сам автор именно поэтому не пожелал здесь разработки этого тупикового (минимум, для него самого) пути в своей повести. Пути, не ведущего – к свету.

Разве вы ещё не поняли, что не может Тарковский-прозаик выписывать ни сатиру на окружающую его действительность, ни анализировать тупиковые пути в ней. Минимум в этой повести – не хочет и не может. Не ставит перед собой этой задачи. Ведь вы читаете именно «Фарт», а не что-то иное. И именно Тарковского, а не кого-то иного. Так откуда такие непонимающе-поучающие интонации в голосе «внемлющих» – разработать линию Ежа?

В своём «Фарте» Тарковский не об ином хотел с вами поговорить. Иное хотел донести до вас. Поэтому, штрихами обозначив тупиковый, болотный путь человека вообще, и Ежа в частности, попытался вывести остальных, не вляпавшихся в это болото, к свету. И, как ни странно, вывел. Расписал этот

путь во всех деталях и спотыканиях (но не провальных, как у сгинувшего Ежа), и – вывел.

А вы, «внемлющие», *слона-то* и не заметили... Только ежа...

Нет, один из *внимавших* (но это уже другого сорта внимавшие) вот как умудрился истолковать этот путь. Позволю себе процитировать, не называя фамилии «критика»:

«А как сидится-то хорошо после душевной бури да после исповеди за столом у отца Льва среди гостей монастыря, где “грузди в сметане, в блюде драгоценный, будто гипсовый творог с сеточкой от марли, прозрачная красная икра”, рядом с “молодой состоятельной парой из Томска”, помогавшей монастырю, с бледным и значительным Леонидом и Наташей откуда-то из Ростовской области. В общем, все свои, избранные. Отец Лев, хозяин застолья, просит “классика” подарить книгу, а Баскакову это как мёд на сердце – “классик” и книжку подписал. Хорошо, внимание всех на тебя...».

Да, хорошо, но здесь внимание всех оттянуто «критиком», скорее, именно на себя любимого, на свою ярость неприятя, на свою хлещущую через край сатиру, уничтожающую на корню и главного персонажа повести писателя Баскакова, и его более всех потерпевшую и пострадавшую на пути к свету жену. И священника – отца Льва, обвиняемого в «страшном грехе» – цитирую:

«– Отец Лев, сейчас в трапезной шоколад выдавали, всем не хватило. Что, ещё взять? – спросил вошедший монах.

– Возьмите, – коротко распорядился хозяин.

“Многа-а-я-я лета-а-а...” – раздалось за дверью».

У внемлющего «Фарту» «критика» Баскаков – не кто иной, как чистоплюй, самовлюблённый «классик»; загулявший гость-казачина – попросту «ряженный»; отец Лев – тут ещё проще – никчёмный, жадный попик.

И так далее и тому подобное...

В общем, всем достаётся – без исключения. А больше всех – самому автору. *«Правда у Тарковского, через себя пропущенная, в самое сердце бьёт, мучает и спокойно жить не даёт. Верно, и сам писатель мучается. А как по-другому? Жить-то как? А вот так, от стыда к покою и снова, и снова».*

Всё правильно, всё чудно вы восприняли и поняли в повести Тарковского, дорогой «критик». Но... вы ведь сами верно заметили: *«Жить-то как? А вот так, от стыда к покою и снова, и снова».*

От стыда к покою. Именно этими нравственными, библейскими, в сущности, категориями вооружён Михаил Тарковский более чем какими-то иными. Стыд и покой; совесть и душа – тесно переплетены и взаимосвязаны у автора: чистая совесть дарит светлый покой душе.

Не яростью, переходящей в очернение всех и вся, не поисками виноватых, не злостью к миру сему болен как сам автор, так и почти двойниковый персонаж его писатель Баскаков. Не-ет! Поисками того самого высшего, гармонизирующего начала в себе переполнены практически все «действующие лица» повести (кроме, быть может, некоего Леонида-Шикардоса – блестящего шаржа Тарковского на определённого вида явления русской жизни).

И странные, дикие для вас слова скажу я сейчас, дорогой «критик»: спрямляет их витиеватый путь в поисках истины ни кто иной, как священник –

отец Лев. Вот так-то! Перечитайте внимательнее повесть. А ярость, кипящую в вас, отложите в сторону куда-нибудь, хотя бы на время перепрочтения. Иначе получится медвежья услуга столь любимому вами автору: «лучше умный враг, чем глупый друг» – гласит народная мудрость.

Очень аккуратен и осторожен Тарковский и в том, чтобы донести до читателя именно этот аспект своей прозы – поиски высшего, гармонизирующего начала в человеке как творении Божьем. Здесь не бич хлесткий в руках автора, не молнии яростные мечет он во врагов. Потому что враги эти – не враги внешние, а внутри каждого из нас сидят, и пищи постоянно требуют от нас, всё жирнее и жирнее, всё слаще и слаще. И ежели мы позволим им гипертрофированно раздуться до размеров, пожравших Ежа, то они и нас превратят в такие же болотные сероводородные отходы.

Вот за это предостережение Тарковского – тщательно, ступень за ступенью, не насильственно, а уважительно и доверительно выписанное – мы и должны быть благодарны ему.

А ярость в собственных трактовках и неуместные советы длить и разрабатывать некие линии в повести, якобы, для её более убойного звучания, давайте оставим за бортом. Пусть *Слово*, сказанное Тарковским, словом Тарковского в нас же и отзовется. А никак не нашим толкованием его, искривлённым – в меру нашей всеобщей и частной, личностной испорченности.

На доверие нужно отвечать доверием. На благое раскрытие – раскрытием внимлющим и от того таким же благим.



Александр ТОКАРЕВ

ЭТО НАША С ТОБОЙ РЕВОЛЮЦИЯ...

К столетию Великого Октября

Не каждое событие в истории человечества признаётся великим. Лишь то, что коренным образом меняет ход истории, облик мира и представления о нём человека.

История — не прямая и ровная дорога, по которой неторопливо и размеренно движется общество. Время от времени в той или иной части планеты история совершает резкие скачки вперёд, безжалостно разрушает старый мир, закладывает фундамент мира нового. Эти скачки называют революциями. И лишь две из них по праву считаются великими.

Французская буржуазная революция потрясла устои консервативной Европы, изменила сознание людей, перекроила границы государств. Октябрьская революция в России изменила ход мировой истории. Рискну сказать — меняет его по сей день. Потому и стали эти революции великими. Но если Великая Французская буржуазная революция, несмотря на кровавый якобинский террор и отсечённые головы венценосных особ, считается сегодня временем рождения светлых идеалов свободы, равенства и братства, то Вели-

Токарев Александр Михайлович родился в 1978 года в Астрахани. Окончил педагогический университет. Работал экспедитором, грузчиком, разнорабочим.

В настоящее время активно занимается общественно-политической деятельностью, является редактором газеты «Астраханская Правда», где продолжает публиковаться. Особое место в его творчестве занимают литературные и кинокритические, имеющие, как и вся публицистика автора, остросоциальный характер.

Автор двух книг публицистики: «Против течения» и «Между прошлым и будущим». Член Союза писателей России.

кой Октябрьской социалистической революции повезло меньше. Как какое-то тёмное пятно в истории человечества воспринимается она её идеологическими противниками – и за рубежом, и в самой России, нами же, русскими, которые родом всё больше из рабочих да из крестьян.

Может быть потому французы (да и европейцы в целом) не предали свою революцию, как это сделали русские, что понимают, откуда собственно идут истоки их сегодняшнего благополучия – из потрясений былых веков, разрушавших в своё время до основания старый мир феодализма и средневековья. И потоки крови, пролитой на парижских улицах, – это вполне естественная и закономерная плата за тот социально-политический и мировоззренческий перелом. Почему же столько камней брошено в Великую Октябрьскую?

Сегодняшняя российская власть, которая не смогла проигнорировать столетие Октября, вместо Великой Октябрьской социалистической революции предпочитает обобщённо говорить о Русской революции в целом. Конечно, никакого Октября без Февраля не случилось бы. Но их разделила гражданская война, в которой красные отстояли не только свою власть, но и свой проект развития. Все иные проекты, по которым могла бы развиваться Россия в XX веке, – монархический, либеральный, белогвардейский – потерпели крах. Здесь и кроется причина того, почему именно Октябрьская революция вызывала и вызывает столь резкое неприятие у наших противников – как в прошлом, так и в настоящем. **Потому что она победила!** И это вопреки распространённому представлению, что победителей не судят. Ещё как судят! Строже, чем проигравших, которые не реализовали на практике задуманное, а потому воспринимаются в качестве носителей лучшего (безболезненного и успешного) варианта развития. А победителям всегда можно выставить счёт. Найдётся, за что.

Ещё и потому ненавидят нашу революцию, что именно Октябрь открыл широкие ворота в историю русскому народу, до той поры находившемуся под сапогом барина. В эти, открытые революцией ворота и хлынула народная стихия. Именно её испугалась русская интеллигенция, даже та её часть, что приветствовала «вежливый» Февраль с его гражданскими правами и парламентаризмом. Эта стихия и стала главным субъектом революции. С ней приходилось считаться и бороться и белым, и красным. Но только большевикам удалось не подавить её и даже не возглавить, а слиться с ней. Недаром ведь писал Сергей Есенин в поэме «Анна Снегина»:

*Дрожали, качались ступени,
Но помню
под звон головы:
«Скажи, кто такое Ленин?»
Я тихо ответил: «Он – вы».*

Ленин в восприятии поэта является органической частью самого народа, воспринимает интересы людей, как свои собственные, живёт одной с ними жизнью. И никаким террором не удалось бы усмирить русскую народную стихию, если бы не почувствовал народ, что за большевиками правда. Что обрёл он долгожданную землю и подлинную волю благодаря Октябрю. А что за белыми? Лишь старые порядки да новая кабала...

Стихия народной воли, разбушевавшаяся в 1917-ом, направлялась большевиками в русло созидания. Именно созидание, успешное и стремитель-

ное, осуществлённое уже Сталиным, показало жизнеспособность революции, правильность выбранного пути развития. Но вот тут-то и обострились противоречия, приведшие в итоге к внутрипартийной драме конца 30-х годов. Те, кто рассматривал Россию, уже новую, советскую, лишь в качестве материала для раздувания мирового пожара, сами сгорели в этом огне.

Революция не только одержала победу, но и утвердила её в мировом масштабе. Победа в Великой Отечественной войне над страшным врагом человечества стала окончательной победой Великого Октября. Май 1945-го примирил красных и белых. А тем из них, кто выбрал иной путь, история не оставила шансов оправдаться.

Не станем идеализировать революцию. «Прогрессивное человечество» вовсе не стремилось к ней на протяжении всей своей истории. Революция — это не яркая ослепительная молния, не свет восходящего солнца, освещающий своим лучами находившуюся до той поры во тьме землю. Это хирургическая операция, которая была необходима для удаления опухоли, развивавшейся столетиями. Отточенной секирой разрубает революция клубок противоречий, который уже невозможно распутать. А вместе с этим клубком рассекает и саму жизнь людей. И потому брат идёт на брата, а сын на отца.

Революция никогда не приводит к быстрому улучшению жизни. Напротив, жить становится тяжелее. Рушатся устоявшиеся экономические отношения, разрываются хозяйственные связи, выстраивается новая система управления, формируется новая структура общества, преодолевается сопротивление внутреннее и внешнее, долго не заживают раны, нанесённые братоубийственной гражданской войной. И необходимо время, чтобы наладить и обустроить новую жизнь. А его у России никогда нет.

Вот и приходится совершать революцию на селе (теперь уже сверху), надрываться на стройках во имя создания индустриальной мощи страны, жертвовать материальными и культурными ценностями — всё для того, чтобы революция выжила, чтобы жертвы, принесённые на её алтарь, не оказались напрасными, чтобы отстоять перед всем миром свой выбор.

А потом ещё воевать со всей Европой, а после вновь восстанавливать разрушенное. А сколько всего восстановить невозможно! Человеческих жизней, например.

Так и качается маятник российский истории от триумфа к трагедии, от упадка к величию.

Революция — не только социальный переворот, это ещё и переворот духовный. Это отрицание предшествующих ей морально-нравственных норм, устоев, стереотипов, привычных представлений о добре и зле, о допустимом и запретном. Всё это и создавало у современников революции, не принявших её, впечатление какого-то дьявольского мрака, опустившегося на Россию. Например, у Ивана Бунина, описавшего свои впечатления в «Окаянных днях». И лишь немногие прозорливые, подобно Максимилиану Волошину, смогли увидеть грядущую праведную Русь «в ревущем пламени и дыме» настоящего.

*Рождённые в года глухие,
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забывать не в силах ничего.*

Так писал горячо принявший революцию Александр Блок. И хотя стро-

ки эти датируются 1914-м годом, их по праву можно применить и собственно к революционным временам, ко всей революционной эпохе.

Действительно, страшно даже представить всё происходившее тогда на российских просторах.

С одной стороны, Триумфальное шествие советской власти, «Кто был никем, тот станет всем», свобода, равенство, братство... И в то же время — распавшаяся, раздробленная и растаскиваемая по кускам Российская империя, теперь уже бывшая; не работающая экономика; не желающая воевать армия, насквозь пропитанная анархией; наступающие немцы и заседающие со всех сторон «союзники» по Антанте; первые очаги белоказачьего сопротивления на Дону; а главное — та самая народная стихия Разиных и Кудяров, для которой революция — это разгул народной воли, всегда желанной, но, увы, недолговечной. Потому что, каким бы злейшим врагом ни было для русского человека государство, ещё более страшный враг — безвластие, перерастающее в хаос.

Потому-то и пришлось большевикам выстраивать основы нового государства, оказавшегося ещё более сильным и централизованным, чем романовская империя. Потому-то и отстояли красные в гражданской войне ту самую единую и неделимую, за которую воевали белые.

Свой кровавый порядок большевики противопоставили стремительно разраставшемуся кровавому хаосу.

А главное — пришлось новой власти формировать и человека нового. Потому как многомиллионная неграмотная и безыдейная масса, желающая лишь грабить награбленное, анархисты и мародёры — плохой фундамент для построения светлого будущего. А значит — надо учить и просвещать тот самый народ, во имя которого и совершалась революция. И если не каждая кухарка была способна управлять государством, то дорогу к управлению революция открыла всем.

Повсеместная борьба с безграмотностью, новые школы, училища, институты, академии, через которые за двадцать лет после революции прошли миллионы, сформировали человека нового типа. Человека-победителя в Великой войне, человека-созидателя, человека, покоровившего космическое пространство! И в этом величайшее достижение революции!

Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. Ну это уж точно не про нашу революцию. Уж сколько было пролито слёз по поводу уничтоженной большевиками русской культуры, отправленных в эмиграцию писателях, философах и мыслителях. Но что, в конечном счёте, дала русской и мировой культуре эмиграция? Лишь злобой, унынием да стенаниями о России, которую они потеряли, пропитана эмигрантская литература. Лишь «Чёрная моль», которую мы знаем по фильму «Государственная граница», приходит на ум, если припомнить эмигрантские музы.

И это в то время, когда шли «державным шагом» по Петрограду во главе с Христом блоковские «Двенадцать», когда кустодиевский «Большевик» врывался с красным знаменем в руках в русло революционной стихии, и купался в солнечных лучах красный конь Петрова-Водкина, когда в рядах красноармейцев раздавалось бодрое «Смело, товарищи, в ногу!», а «Сотня юных бойцов из будёновских войск» скакала в поля на разведку.

Революция, нетерпимая ко всему старому, последовательно борясь с религией, обещавшей человеку райскую жизнь после смерти, сама символически преодолела смерть. И символом этого преодоления стал Мавзолей её

вождя. У революции появились не только свои герои и великомученики, но и свои атеистические святые. Такие, как Павел Корчагин из автобиографического романа Николая Островского, ставшего настольной книгой революционеров всего мира. Само коммунистическое учение воспринималось тогда миллионами русских крестьян, никогда не читавших Маркса, как воплощение давней мечты человека о построении рая на земле. Да и не стало бы учение Маркса столь востребованным в мире, в том числе в мире сегодняшнем, если бы ни Октябрьская революция в России, реализовавшая марксистскую теорию (хоть и с крестьянским уклоном) на практике.

Революция подарила миру не только новую надежду, но и показала своим примером, что возможно жить иначе, что есть иные пути развития общества, чем ранее известные человечеству. Что тот миропорядок, при котором сын крестьянина, всю жизнь пахавшего землю, готовил своего сына к той же судьбе, потому что иной не предвиделось в принципе, — этот миропорядок может быть изменён.

На Великую Октябрьскую социалистическую революцию, на Россию, её породившую, ориентировались революционеры всего мира, ведя освободительную борьбу в разных частях планеты: в Азии и Африке, в Восточной Европе и Латинской Америке.

Но уж слишком большую опасность для мира чистогана представлял советский строй и советская система ценностей, являвшаяся его духовной основой, чтобы спокойно мириться с их существованием. Именно по ценностям и был нанесён главный удар наших противников. Именно в духовной сфере корни переворота, приведшего к реставрации капитализма. Ведь «В Россию можно только верить». И как только брошенные в нашу революцию камни мы перестали швырять обратно в тех, кто их запускал, как только мы отреклись от своей правды, выстраданной в борьбе с тяжкими испытаниями, выпавшими на долю русского народа в двадцатом веке, мы и стали предавать свою революцию.

Сегодня, в канун столетия Великого Октября, Россия всё ещё является маяком, ориентиром и центром притяжения сил, противостоящих новому мировому порядку, тому порядку, что был нарушен в 1917-м, тому порядку, что пытались навязать миру чёрно-коричневые демоны во главе со своим фюрером, тому звёздно-полосатому порядку, что сегодня под благовидными предложениями свергает неугодные ему режимы и уничтожает неугодные ему государства. И объясняется это притяжение не имитационными антиглобалистскими потугами сегодняшней российской власти, а тем, что именно здесь, в России, сто лет назад произошло событие, изменившее ход мировой истории.

Великая Октябрьская социалистическая революция не нуждается в оправдании, но нуждается в защите. От наветов и лжи, от глумления и осмеяния, от предательства и забвения. И кому, как не нам, русским, вставать сегодня на её защиту? Мы — наследники нашей революции. Мы выросли на костях наших предков, сложивших свои головы за Россию советскую, социалистическую, за новый мир, за светлое будущее, за коммунизм.

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...» — писал Владимир Ленин в годы гражданской войны. А чего стоим мы, если не сможем защитить свою революцию даже в год её столетия?

«День литературы»

№ 3, 2017 г.

Журнал русских писателей

Технический редактор Е.И. Косырева

Подписано в печать 29.11.2017 г. Формат 84x108 ¹/₁₆
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton С.
Печать офсетная. Печ. л.: 22,5
Тираж 500 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом «Российский писатель»
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13
тел: 8-962-965-51-64, факс: 8(499)246-53-11.
sp@rospisatel.ru
www.rospisatel.ru

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 230-20-52